ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН
ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

*

INSTITUTE OF WORLD HISTORY
CENTRE FOR INTELLECTUAL HISTORY
RUSSIAN SOCIETY OF INTELLECTUAL HISTORY

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

75

DIALOGUE WITH TIME

DIALOGUE WITH TIME

INTELLECTUAL HISTORY REVIEW

2021 Issue 75

EDITORIAL COUNCIL

Carlos Antonio AGUIRRE ROJAS
La Universidad Nacional
Autónoma de Mexíco

Mikhail V. BIBIKOV
Institute of World History RAS

Vera P. BUDANOVA
Institute of World History RAS

Tamara A. BULYGINA
North-Caucasus Federal University

Wojciech WRZOSEK
Uniwersytet im. Adama Mickiewica
w Poznaniu

Piama P. GAIDENKO
Institute of Philosophy RAS

Stefano GARZONIO
Università di Pisa, Italia

Galina I. ZVEREVA
Russian State University
for the Humanities

Valentina P. KORZUN
Omsk State University

German P. MYAGKOV
Kazan Federal University

Igor V. NARSKIJ
National Research
South Ural State University,
Cheljabinsk

Valery V. PETROFF
Institute of Philosophy RAS

Jefim I. PIVOVAR
Russian State University
for the Humanities

Jörn RÜSEN
Kulturwissenschaftliche Institut, Essen

Irina M. SAVELIEVA
Higher School of Economics
National Research University

Gyula SZVÁK
Eötvös Loránd University,
Budapest, Hungary

Natalia B. SELUNSKAYA
Lomonosov Moscow State University

Andrej B. SOKOLOV
Yaroslavl State Pedagogical University
named after K. D. Ushinsky

Rolf TORSTENDAHL
Uppsala Universitet, Sweden

Victoria I. UKOLOVA
Moscow State Institute of International
Relations (University) MFA of Russia

Chen QINENG
The Institute of World History,
Chinese Academy of Social Sciences

Pavel P. SHKARENKOV
Russian State University
for the Humanities

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

АЛЬМАНАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

2021 Выпуск 75

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Карлос Антонио АГИРРЕ РОХАС
Национальный автономный университет Мехико

М. В. БИБИКОВ
Институт всеобщей истории Российской академии наук

В. П. БУДАНОВА
Институт всеобщей истории РАН

Т. А. БУЛЫГИНА
Северо-Кавказский федеральный университет

Войцех ВЖОСЕК
Университет им. Адама Мицкевича, Познань, Польша

П. П. ГАЙДЕНКО
Институт философии Российской академии наук

Стефано ГАРДЗОНИО
Пизанский университет, Италия

Г. И. ЗВЕРЕВА
Российский государственный гуманитарный университет

В. П. КОРЗУН
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

Г. П. МЯГКОВ
Казанский федеральный университет

И. В. НАРСКИЙ
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, Челябинск

В. В. ПЕТРОВ
Институт философии Российской академии наук

Е. И. ПИВОВАР
Российский государственный гуманитарный университет

Йорн РЮЗЕН
Институт наук о культуре, Эссен, ФРГ

И. М. САВЕЛЬЕВА
НИУ «Высшая школа экономики»

Дюла СВАК
Будапештский университет им. Лоранда Этвеша, Венгрия

Н. Б. СЕЛУНСКАЯ
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

А. Б. СОКОЛОВ
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского

Рольф ТОШТЕНДАЛЬ
Уппсальский Университет, Швеция

В. И. УКОЛОВА
МГИМО (Университет) МИД России

Чен ЧИНУН
Институт мировой истории Академии социальных наук, КНР

П. П. ШКАРЕНКОВ
Российский государственный гуманитарный университет

ББК 63.3

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Лорина Петровна РЕПИНА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

АФАНАСЬЕВА А. Э., кандидат исторических наук, доцент
ВЕДЕШКИН М. А., кандидат исторических наук (отв. секретарь)
ВИШЛЕНКОВА Е. А., доктор исторических наук, профессор
ВОРОБЬЕВА О. В., кандидат исторических наук, доцент
ГОРЕЛОВ М. М., кандидат исторических наук
ИОНОВ И. Н., кандидат исторических наук
КИСЕЛЕВА М. С., доктор философских наук, профессор
КОРЧИНСКИЙ А. В., кандидат филологических наук, доцент
МАЛОВИЧКО С. И., доктор исторических наук, профессор
НЕДАШКОВСКАЯ Н. И., кандидат филологических наук, доцент
ПЕТРОВА М. С., доктор исторических наук, доцент (зам. гл. редактора)
РУМЯНЦЕВА М. Ф., кандидат исторических наук, доцент
СЕЛУНСКАЯ Н. А., кандидат исторических наук
СЕРЕГИНА А. Ю., доктор исторических наук
СТОГОВА А. В., кандидат исторических наук, доцент
ЭКШТУТ С. А., доктор философских наук

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ 75

М.: Аквилон, 2021. — 432 с.

Журнал «Диалог со временем» посвящен проблемам интеллектуальной истории, которая изучает исторические аспекты всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты.

ISSN 2073–7564
Эл. № ФС 77-53624

DIALOGUE WITH TIME 75

Moscow: Aquilo-Press, 2021. — 432 p.

Journal “Dialogue with Time” is specially intended for consideration of the problems of intellectual history understood as a study of historical aspects of all kinds of human creative activity, including its conditions, forms and products.

Подписной индекс в общероссийском каталоге «Роспечать» — **36030**

© Общество интеллектуальной истории, 2021
© Институт всеобщей истории, 2021
© Издательство «Аквилон», 2021
© Журнал «Диалог со временем», 2021
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания или его части любым способом без письменного соглашения с издателем запрещается

З.А. Чеканцева

ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ АНТРОПОЦЕНА

Тема времени и истории в условиях антропоцена приобрела статус одной из самых актуальных тем современности. В масштабных дискуссиях об историческом времени, вращающихся вокруг нескольких вопросов (линейность, имманентность, контингентность, синхронизация) концептуально утверждается анахроничная, множественная и многослойная природа темпоральности. В свете междисциплинарного обсуждения темпорального содержания исторического опыта календарное и хронологическое время истории, воспринимаемое как спонтанное проявление естественного порядка вещей, предстает как совокупность управленческих техник, сложившихся анонимно и стихийно, но при поддержке различных институций, прежде всего государственных. В стремительно меняющемся мире, идет настойчивый поиск аналитических инструментов для осмысления множества темпоральностей с тем, чтобы понимать не только прошедшее, но также настоящее и будущее нашей планеты.

Ключевые слова: *антропоцен, трансдисциплинарность, история, историческое время, темпоральности, темпорализации, историчность*

Единственный долг перед историей – переписать ее.
Оскар Уайльд

Британский ученый Джеймс Лавлок в начале нового тысячелетия разработал теорию Гайи (Gaia), в которой Земля предстает как живой организм, регулирующий свою жизнь в соответствии с потребностью в самосохранении. Наша планета не только вертится, как говорил Галилей, но меняется, приспосабливаясь к обстоятельствам[1]. В 2016 г. основательная наука стратиграфия официально признала, что человечество уже более полувека живет в новой, сменившей голоцен эпохе, которую нарекли антропоценом[2]. В обсуждении порожденной этой эпохой проблематики принимают участие философы и представители всех научных дисциплин, в т.ч. историки[3]. Наблюдаемые сейчас глобальные изменения – результат более длительных процессов. Человеческий фактор накладывает отпечаток на изменения среды, но не определяет их. Тем не менее в последние полвека деятельность человека, по мнению многих ученых, приобрела геологическое измерение, требующее осмысления.

В антропоцене сегодня сконцентрированы все важнейшие проблемы планеты Земля и населяющих ее живых организмов[4]. При этом обсуждаются не только естественнонаучные проблемы (изменение клима-

[1] Lavlok 2000; 2006.

[2] Неологизм ввел в науку эколог Юджин Стормер в середине 1980-х, но популярность он приобрел в самом начале нового тысячелетия благодаря специалисту по химии атмосферы Нобелевскому лауреату Паулю Крутцену.

[3] См. Domanska 2014; Quenet 2017; Chakrabarty 2018.

[4] Bonnueul et Fressor 2016. [2013]; Zalasiewicz 2017.

та, исчезновение видов, экология), но и вопросы, связанные с основами социальных и гуманитарных наук. Например, выясняется, что кризис переживает не только европоцентризм, но и антропоцентризм, поскольку отчасти именно агентность человека завела мир в тупик. Помимо человека на нашей планете существует множество живых видов, а также материальный мир вещей, которые изучены недостаточно. Бруно Латур образно представил эту ситуацию, сравнив мир с театром: «Сегодня декорации, реквизиты, кулисы, все здание поднялись на сцену и оспаривают право актеров на главную роль. Это меняет все сценарии, предполагает совершенно новые результаты. Люди больше не являются единственными действующими лицами, даже если они думают, что главная роль доверена им»[5]. Изменилось также наше понимание природы[6]. Соединяя человеческое время и время Земли, человеческие действия и нечеловеческую агентность, антропоцен отрицает темпоральное, онтологическое, эпистемологическое и институциональное разделение между природой и культурой, природой и обществом[7].

На смену междисциплинарности в XXI веке приходит трансдисциплинарность как ключевая исследовательская практика, необходимая для понимания времени и мира, в котором мы живем. В интеллектуальной культуре рушатся тематические барьеры, растворяются дисциплинарные границы, и трудно понять, что именно вызывает это тектоническое движение. Все это влияет на экологическое, историческое и политическое мышление, акцентируя внимание на необходимости радикального обновления словаря и инструментария философии и науки. Вновь пересматривается понимание исторического нарратива как эвристического и эпистемологического инструмента, связанного с жизнью. Речь идет о том, чтобы выйти за пределы лингвистического поворота, «покинуть зеркальный дворец репрезентации» и освободиться от нее[8].

Меняется и процесс формирования теоретического знания. Михаил Ямпольский полагает, что теперь теория складывается по эмерджентному типу – без «звезд», без доминирующей фигуры, но как коллективный плод труда большого интеллектуального сообщества. Такое движение захватывает разные страны, различные профессии и получает необходимое философское обоснование, что свидетельствует о «насущной потребности новых онтологий и нового системного мышления». Важнейшее свойство формирующейся теории сложных систем, органично связанной с теориями хаоса, катастроф, информации и коммуникации, философ представляет, как «прорыв за пределы репрезентативно-символического мышления, за пределы мышления в терминах кодификаций и иерархий»[9]. Ямпольский относит историю к теоретически «отсталым»

[5] Latour 2017: 60.
[6] См.: Дескола 2012.
[7] Chakrabarty 2009: 197–222.
[8] Runia 2010: 231.
[9] Ямпольский М. 2011. См. также Юрчак 2018.

областям гуманитарного знания, поскольку теоретические новации влияют на историков «слабо и с большим опозданием». Американский историк С. Танака подчеркивает консервативность исторического знания, объясняя ее прежде всего тем, что историки пока не разобрались с темой исторического времени, оставаясь в плену классической таксономии и упрощенной хронологии[10]. Тем не менее историографии принадлежит огромное место в трансдисциплинарном переосмыслении исторического времени. Трудно переоценить также вклад современных специалистов по истории науки, истории философии и теории истории[11].

«Ирония семантической истории “истории” заключается в том, что “сама история” (Geschichte selber) или “история чистая и простая” (Geschichte schlechthin) первоначально означала необходимость теории в нашей дисциплине, – писал Р. Козеллек. – Когда термины “сама история” и “философия истории” (Geschichtsphilosophie) впервые появились примерно в 1770 году, они имели одинаковое значение. Со временем метаисторическая составляющая этих выражений была поглощена недавно придуманным термином “историчность” …Обсуждение историчности сталкивается с теоретическими проблемами, которые возникли в результате кризиса историзма». При всей своей неопределенности понятие «*историчность* и проясняющие его категории открывают такую историю (*Historik*) и метаисторию, которая исследует мобильность вместо движения и изменчивость вместо изменения в конкретном смысле»[12]. Ряд философов считают, что в конце XX в. обновленная философия истории стала философией историографии, историки размышляют о рефлексивном повороте в историографии и эпистемологии истории[13].

Переосмысление исторического времени

Козеллек полагал, что из всех вопросов, поставленных исторической наукой, одним из самых трудных является «определение того, что собой представляет историческое время»[14]. Ответ на этот вопрос до сих пор не найден, хотя историки много думали об историческом времени, пытаясь в материале преодолеть философские апории темпоральности[15]. В последние годы становится ясно, что связанное с прогрессом историческое время, в структуре которого прошлое навсегда остается в прошедшем, а будущее всегда лучше настоящего, устарело. Вызовы антропоцена актуализировали тему исторического времени, сделав ее одной из ключевых проблем современности. Что такое историческое время? Как оно структурировано? Как проявляет себя кризис времени? В чем заключается «вывихнутое, расколотое время»? В каком времени мы жи-

[10] Tanaka 2015.
[11] При этом следует учитывать радикальную трансформацию этих познавательных полей за последнее столетие. См.: History: Twenty-First-Century Perspectives 2020.
[12] Koselleck 2002.
[13] Чеканцева 2018.
[14] Koselleck 1990: 9.
[15] См. подробнее Чеканцева 2011: 55-75.

вем? Что такое презентизм? Что такое современность? Ответов на эти вопросы в мировой философии и науке, включая историографию, великое множество. В этой связи наряду с необозримым количеством индивидуальных исследований реализовано немало коллективных проектов, многие из которых воплощены в опубликованных трудах, созданных авторитетными специалистами из разных областей познания[16].

В России тема исторического времени остается периферийной. Даже переводчики пока не сумели договориться о том, как переводить связанные с этой темой слова. Например, *modernity* часто переводят как *современность*, *модерн*, или *Новое время,* а *temporality* как *временность* или *временные рамки*, что не вполне соответствует содержанию этих понятий в зарубежных исследованиях. Недавняя международная и междисциплинарная дискуссия на страницах «Нового литературного обозрения», обнажив эвристический потенциал теорий модерности, оставила больше вопросов, чем ответов[17]. Некоторые историки отказываются даже слышать о слове *темпоральность*, видя в нем лишь ненужное наукообразие. Хотя термин *темпоральность* родился в естествознании и давно используется не только в философии, но и в гуманитарном и социальном познании[18]. Во Франции, например, уже четверть века существует трансдисциплинарный журнал «*Temporalités»*, а в мировой науке перешли от времени как априорной формы чувственной интуиции к темпоральностям, зависящих от людей, культур и исследуемых эмпирических рядов[19]. «Встряхивая плодородное дерево темпоральности, историк всегда надеется собрать новые плоды», – писал А. Буро в конце прошлого века[20]. Впрочем, необходимость обсудить парадоксы исторического времени осознана и у нас[21].

В основе проекта семантики исторического времени Р Козеллека лежит категория *темпорализации*, которую немецкий историк встречал у М. Хайдеггера и А. Лавджоя. Вот как он представляет эту категорию:

> «Исторические и прогрессивные взгляды на мир имеют общее происхождение. Они дополняют друг друга, как лики Януса. Поскольку модерность непрерывно предлагает что-то новое, надо открыть и осознать другое прошлое, то есть его странность, которая возрастает с годами. История стала нововременной наукой в тот момент, когда разрыв в традиции качественно отделяет прошлое от будущего. С тех пор было необходимо разработать специальные методы, которые учат нас распознавать инаковость прошлого. С тех пор стало возможным, что истина истории меняется с течением времени, или, если быть более точным, историческая истина может устареть. С тех пор исторический метод также означает необходимость определять точку зрения, из которой можно сделать выводы. С тех пор очевидец боль-

[16] Lorenz and Bevernage 2013; Debating New Approaches… 2018; Ethos of History 2018; Rethinking Historical Time… 2019.
[17] Споря о модерности 2016.
[18] Лукьянов. 2007.
[19] Dubar 2014: 20.
[20] Les formes de l'expérience.1995: 23.
[21] См. обзоры в Хронике научной жизни 2019.

ше не является главным свидетелем события; его роль будет осмыслена в свете меняющихся перспектив, которые использовались в прошлом. Наконец, только с тех пор аксиома уникальности всей истории и ее индивидуальности стала возможной. Все это противостоит предыдущему историческому опыту, когда в русле античности и христианства не ожидали в будущем ничего принципиально нового, но лишь что-то похожее или аналогичное. Вместе с Лавджоем можно назвать эти процессы, которые я кратко описал, "темпорализацией истории"»[22].

Козеллек одним из первых обратил внимание на то, что историческое мышление и прогрессивное мировоззрение имеют общее происхождение. При этом именно рождение будущего, как ни парадоксально, породило прошлое как объект исторического знания, что недавно еще раз убедительно показал Люциан Хельшер[23]. В эпоху модерности понятие прогресса стало важнейшим инструментом *политики времени*[24]. Эта синтагма, которую в числе первых ввел в науку немецкий антрополог Йоханнес Фабиан[25], сегодня используется в конкретно-исторических исследованиях на материале разных континентов и регионов, связывая изучение темпоральностей с проблематикой власти[26]. Пример политического использования времени в историографии – понятие *анахронизм*, введенное в автономной исторической дисциплине в качестве основополагающей нормы для того, чтобы отделить прошлое от настоящего. Сегодня *анахронизм*, длительное время воспринимаемый как недопустимая темпоральная ошибка, полностью реабилитирован[27]. В многочисленных текстах показано, что смешение времен – норма в историографической практике. Особенно убедительно это сделано в исследованиях по истории памяти, коммеморации, травмы, ностальгии, в гендерных и постколониальных исследованиях. Проблема обязательной темпоральной дистанции, призванной обеспечить объективность исторического исследования несомненно тоже связана с политикой. По поводу ее установления в классической философии истории и традиционной историографии К. Лоренц заметил, что с этого момента «не только сова Минервы, но и сова Клио начинает летать в потемках».

Еще один важный инструмент политики времени в истории представляет хронология, которую нередко отождествляют с периодизацией. Как особая форма учености хронология существовала задолго до эпохи модерности. Вольтер, которого считают одним из основателей нововре-

[22] Koselleck 2002.

[23] Hölscher 2014.

[24] Хельге Джордхейм полагает, что сегодня темпоральная синхронизация структур опыта происходит с помощью понятия *кризис*. Существует зонтичное понятие *большого кризиса*, вбирающее в себя разнородные структурные кризисы (экологический, финансовый, культурный, миграционный и проч.) Jordheim, Wigen 2018: 421–39.

[25] Fabian 1983; См. тематический номер «Политика времени» журнала «Социология власти» 2016.

[26] Osborn. 1995; Mudrovcic 2019: 456–473

[27] Loraux 1993; Rancière 1996; Олейников 2014; Политика времени: анахронизм и современность Дебаты. 11.12.2015

менной философии истории, в статье «История» (1765) в Энциклопедии, открыл путь для принципиального различия между темпоральностью и хронологией, отделив время естественной истории от времени исторического. Он полагал, что темпоральность принадлежит к истории, а хронология соответствует наукам о природе[28]. Однако в XIX в. мощное соединение хронометрии и идеологии привело к тому, что качественное историческое время заменили упрощенной хронологией, которая превратилась в однородную дисциплинарную и дисциплинирующую систему. Именно это обстоятельство по мнению М. де Серто сделало время истории «немыслимым». Точнее, хронология заменила для историков качественное многомерное время истории, которое они просто перестали замечать. Периодизация, будучи тривиальной операцией в исследовательской практике историков, является самой политизированной процедурой исторического исследования[29].

В современной литературе обосновывается мысль, что в условиях темпорального поворота хронология снова распадается, позволяя сравнивать длительности, периодизации, скорости, ритмы. Так, М. Ямпольский пишет: «По существу, история перестает быть историей духа, она становится историей жизни. Но одновременно история утрачивает качества хронологической непрерывности, континуальность уступает место разным историям, не связанным между собой хронологиям»[30]. С. Танака в книге с провокативным названием «История без хронологии» признает, что хронология нужна, но при условии ее радикального обновления, с тем чтобы историки получили доступ к многочисленным темпоральностям, составляющим качественное историческое время/времена[31]. Необходимо более решительно историзировать хронологию как исследовательскую практику, чтобы сделать ее полезной для более сложного понимания исторической динамики, которое предполагает рефлексивное отношение к мультимпоральному миру, с учетом концептуального единства понятия время и разнообразных способов сочленения главных модусов времени в разных «местах» и культурах.

Давно установлено, что привычное для нас линеарное историческое время с троицей главных модусов (теперь его называют классическим) утвердилось в Европе в качестве стержня исторического познания в эпоху модерности. Очевидно, что в этом процессе участвовали люди, институты и структуры, в т.ч. государство. Швейцарский историк Марио Виммер предложил более конкретное объяснение происхождения такого исторического времени. Детально изучив архивные практики, включая не только связь архивов с государством и бюрократическими процедурами, но и технологические трансформации архивного дела, он показал, что историческое время родилось из «анонимной архивной

[28] Walter 2006.
[29] См. Breaking Up Time 2013.
[30] Ямпольский 2013.
[31] Tanaka 2019.

практики XIX – начала XX столетия»[32]. В ходе исследования он обнаружил в такой практике множество темпоральностей. Например, документы, которые складываются в архиве для хранения – это свидетельства прошлого. Но есть еще очень важный для архива документ, который создается в настоящем – опись или реестр. Архив вовлекает архивиста в сложную сеть материальных следов множества исторических времен, а не только «прошлого». Складывается ситуация, в которой решения о том, что сохранить, а что удалить из архивов принципиально не имеют основания. Экономика архивных следов вводит в пространство архивов темпоральность более сложную, чем основополагающее для модерной исторической науки понятие «История в единственном числе». Виммер предложил переосмыслить ключевые операции и принципы организации архивного дела как «часть проекта анонимной истории настоящего, который связывает настоящее с прошлым не как его неизбежный результат, но как случайный продукт изменений во властных отношениях». Он считает, что только основательно изучив историю архива можно переосмыслить время и его отношения с историей. В противном случае мы будем «продолжать писать о прошлом в соответствии с понятием истории, опасно близким к государственному организму XIX века и его историко-политическим механизмам как имперской власти, так и колониальной гегемонии, а также в соответствие с бюрократическими принципами организации архивного дела, которые нередко противоречат интересам историка, предпочитая процедуры, гарантирующие институциональный порядок и минимальные издержки»[33].

В теоретических размышлениях о множественных темпоральностях в историографии одно из центральных мест принадлежит стратиграфической модели времени, ставшей популярной благодаря Ф. Броделю и Р. Козеллеку. Согласно этой модели, историки могут мыслить множественность темпоральностей в терминах темпоральных пластов, подобно тому как геологи мыслят земную кору в терминах геологических пластов. Бродель считается пионером в историографическом переосмыслении линеарной темпоральности. Множество времен присутствовало уже в его диссертации о Средиземноморье, структура которой была определена к 1939 г. В программной статье 1958 г. историк предложил социальным наукам общий язык, в котором важную роль играла идея множества времен, среди которых он выделял *longue durée*. Однако дисциплинарное соперничество наряду с другими обстоятельствами, блокировало это предложение. Только в XXI в. идея *longue durée* оказалась вновь востребованной, позволив значительно расширить территорию историков[34]. В 1980-е гг. Козеллек придумал концепцию «слоистого

[32] Понятие «анонимная история» Виммер взял из исследований процесса механизации. Смысл такой истории состоит в раскрытии отношений между материально-символическими объектами.

[33] Wimmer 2015: 165-183.

[34] См. Smail 2008; Shryock, Smail 2011.

времени», в которой «отложения времени» (Zeitschichten), так же как их геологический прототип, предполагают наличие множества темпоральных уровней различной длительности и происхождения, которые, тем не менее, присутствуют одновременно. В этой концепции все, что возникает из разнородных жизненных обстоятельств, как синхронно, так и диахронно, происходит одновременно[35].

Преимущество стратиграфической модели видят в том, что она не только схватывает многомерность исторического времени, но также позволяет понять *«одновременность неодновременного»,* т.е. одновременное соприсутствие множества темпоральных слоев, имеющих разное происхождение и место в хронологическом времени. Несмотря на привлекательность глубинной аналогии между геологическими пластами и слоями времени и ее широкое распространение в исторической теории, она требует дополнительной рефлексии. Преодоление телеологии в такой модели, по мнению Лоренца, оказывается фикцией, так как идея одновременности неодновременного все равно содержит в себе нормативную привилегию, основанную на идеологии прогресса. Лоренц отмечает также, что историческое время политично, в отличие от аполитичного геологического времени. Кроме того, стратиграфическая модель мало использовалась в конкретно-исторических исследованиях и пока остается привлекательной метафорой[36].

Бруно Латур предложил в качестве альтернативы доминирующему представлению о времени истории спиральное его понимание:

> «Давайте предположим, что мы собираемся перегруппировать нововременные элементы, располагая их не по линии, а по спирали. Мы имеем будущее и прошлое, но будущее в форме круга, расширяющегося во всех направлениях, и прошлое, являющееся не пройденным, но возобновляемым, повторяемым, очерчиваемым, защищаемым, заново комбинируемым, интерпретируемым и вновь создаваемым. Элементы, которые нам кажутся далекими, если мы будем двигаться по спирали, могут оказаться совсем рядом, если мы сопоставим витки этой спирали. И наоборот, почти одновременно существующие элементы, судя по их расположению по линии, оказываются удаленными, если двигаться по радиусу к центру. Подобная темпоральность вовсе не обязывает нас использовать такие ярлыки как "архаичное" или ‘’продвинутое’’, поскольку любая группа одновременно сосуществующих элементов может объединять элементы всех времен. В такой рамке наши действия могут, наконец, рассматриваться как политемпоральные»[37].

Темпоральности задают и структурируют исторические феномены. Какой «порядок времени» их поддерживает? Другими словами, каково оптимальное соотношение основных модусов времени в истории? «История становится видимой только через призму настоящего», – вслед за Хладениусом и Хайдеггером утверждал Козеллек. Многие интеллектуалы сегодня разделяют это мнение и связывают его с зыбким, но важным

[35] Escudier 2009.
[36] Lorenz London: Bloomsbury, 2021/ Ch.4.
[37] Латур 2006. (фр. 1997): 144.

для философии и науки понятием *историчности*[38]. Широко обсуждается синтагма *режим историчности*[39], которую почти сразу же дополнили понятием *режим темпоральности*[40]. Ключевые понятия, используемые историком, «имеют тенденцию создавать свой собственный темпоральный режим и впитывать в себя всю возможную историчность ментальных и аффективных состояний агентов истории» (А. Буро).

Франсуа Артог выделил три основных режима историчности: пассеизм, футуризм и презентизм, но их значительно больше, так как время, сотканное из темпоральностей, гетерогенно и многослойно. Тем не менее режимы историчности нередко помещаются в линейное историческое время, и в результате утрачивается заложенная в них эвристическая сила исследовательского инструмента «порядков времени» в ситуациях темпоральных кризисов. Артог не устает объяснять в этой связи, что *режим историчности* – это идеальный тип, конструкция историка, несуществующая в реальности[41]. Поэтому нельзя думать, что один режим следует за другим. В зависимости от места в каждой из модальностей времени присутствует собственный темпоральный порядок, от которого зависит поведение людей, характер историописания и проч.

Понимание работы историчности с ее мерцающими темпоральностями является одним из ответов интеллектуалов на вызовы современности. Речь идет о необходимости переосмыслить разнообразные формы опыта, учитывая многочисленные темпоральные инстанции при условии разрыва с телеологическими представлениями о темпоральном становлении людей и с классической реконструкцией преемственности, в которой не удается избежать времени как исторического априори. Но это предполагает выход за рамки привычного позитивизма историков[42]. Сегодня существует множество исследований, в которых прошлое и настоящее неразрывно связаны, при этом историчность соединяется с действием, коммуникацией и интерсубъективностью. Особенно это очевидно в текстах по истории памяти, травмы, забвения, когда историки изучают «прошлое, которое не проходит»

Историцистский хронотоп, а вместе с ним и дистанция между прошлым и настоящим были поставлена под вопрос как в повседневном опыте, так и в ученом мире уже в период Первой мировой войны. В 1920–1930 гг. в условиях очередного обострения беспокойного разума[43] сформировались критические концепции исторического времени.

Поворотным моментом в признании несостоятельности дисциплинарного разделения прошлого и настоящего, по мнению Ф. Артога, является отмена срока давности за преступления против человечности ре-

[38] Чеканцева 2018: 5-20.
[39] Hartog 2003.
[40] Bachet 2018.
[41] Артог 2008. № 3 (59).
[42] Riot-Sarcey 2002.
[43] Gattinara 1998.

золюцией ООН от 26 ноября 1968 г. В темпоральности такого преступления время не проходит, потому что «преступник навсегда остается современником своего преступления»[44]. В начале XXI в. Э. Рунья ввел понятие «присутствия» (*presence*)[45], которое принимают далеко не все историки. Б. Бевернаж полагает, что историкам мешает ухватить феномен «присутствия» в истории стоящая за понятием времени на Западе метафизическая картина геометрической линии, состоящей из точек, прочно связанная с наследием Аристотеля. Поэтому любая попытка разработать альтернативную теорию времени, в которой отводилось бы место для странной устойчивости «присутствия прошлого» в настоящем, должна иметь дело с этим наследием, выступив с критикой понимания настоящего как точечного момента»[46]. Тем не менее утверждается мысль, что «прошлое уже не то, что было раньше». (К. Лоренц). Теперь прошлое – это не только все отжившее и мертвое. Прошлое не уходит навсегда. а накапливается в каждой клеточке и трещинах различных «сейчас», «превращая эти настоящие в хронологические гибриды»[47].

Д. Лоуэнталь, пытаясь объяснить работу времени с точки зрения разных дисциплин, постоянно встречал сопротивление предмета изучения[48]. Культ «аутентичного прошлого» не делает его неизменным. Податливость прошлого связана не только с тем, что оно может быть источником выгоды. Она неизбежна, поскольку прошлое независимо от воли людей существует как часть настоящего.

Темпоральности и грамматика историографии

Включение темпоральных категорий в историческое исследование значительно его усложняет[49]. Современные поиски качественного исторического времени проявляют потребность лучше понять когнитивные возможности *исторического* подхода и разобраться в «грамматике историографии». М. Блок и Ж. Ле Гофф считали историю наукой об изменениях. Однако, что такое изменение? Каким образом оно присутствует в историографии? Ст. Танака, опираясь на конкретные исследования, показывает, что признание множественности темпоральностей меняет существующие представления об изменении, которые, как принято думать, призвана исследовать история. Прежде всего важно учесть, что пространственное время – это внешнее условие существования темпоральности. Пространственная локализация (государство, нация, город), возвышающая время над длительностью и мобильностью направлена на определенность, организацию и контроль, обеспечивая стабильность. Однако темпоральность предполагает учет внутреннего состояния организма или системы. Множественные темпоральности сосуществуют;

[44] Артог 2013.
[45] Runia 2006.
[46] Бевернаж 2012.
[47] Olsen 2012: 182.
[48] Лоуэнталь 2004 [1985].
[49] См, напр.: Koselleck 2002.

они могут быть независимыми или совпадать, взаимодействовать и сталкиваться. Изменения могут быть поддержанием (гомеостаз), распадом, инновацией или ростом. Такая разнородная деятельность порождает общее пространственное распределение времени. События, разделенные хронологическим временем, могут не слишком отличаться, в то время как уровни активности и их ритмы разнообразны: вирусы размножаются очень быстро, общество движется довольно медленно, геологические массы перемещаются еще медленнее, а среда обгоняет по скорости и социум, и геологические пласты[50]. Танака не отрицает необходимость календарного и хронологического времени, которое сейчас остается доминирующим, но объясняет, почему учет множества других времен позволит сделать историю более убедительной.

> «Когда мы призн**а**ем эту множественность времен, исторических изменений станет гораздо больше, чем движения в хронологическом времени. Изменения связаны с активностью, взаимодействием и результатом одного, связанного с другими. При этом каждый живет в своем времени и работает с разной скоростью. Особая роль принадлежит среде, и история также действует как фильтр того, что вы видите, того, как вы понимаете, и того, что вы игнорируете. Перспектива, неоднородность и множественность предполагаются, а отношения и локализация становятся фундаментальными условиями»[51].

Некоторые историки и теоретики истории, не слишком доверяющие эволюционной теории и наследию Аристотеля в понимании природы движения и времени, полагают, что историк изучает не изменения, а процесс становления как людей, так и всего, что их окружает.

В контексте историцистского хронотопа мантрой историков была непрерывность, а воплощением – неординарные события в жизни людей или в мире идей, которые нередко скрывались или нивелировались. По мнению современных аналитиков, разрыв в истории остается эмпирической и экзистенциальной загадкой, которая, помимо прочего, связана с ключевым вопросом познания: как возникает новое. В XXI в. разрывы нередко изучают в связи с авангардом, который ассоциируется с проявлением исторической темпоральности[52]. Человек и его динамичное существование всегда включено в ситуацию и перспективу. Такая онтология предполагает присутствие будущего в любом действии. «Историческое познание не ограничивается лишь осмыслением прошлого, – пишет французский историк, – но включает в себя и размышления о будущем. История является носителем видения будущего, потому что, защищая способность критического разума понять то, что иногда кажется непостижимым, она поддерживает волю к мысли и сопротивлению тому, что угрожает этому будущему. Именно в этом заключается смысл битвы за преподавание живой истории, которая не сводится к комментированию актуальных новостей»[53]. Однако центр тяжести категорий разрыва и

[50] Tanaka 2019: 145.
[51] Ibidem.
[52] Осборн 2016. Т.8; Papaioannou 2017.
[53] Duclert 2010.

преемственности остается в прошлом. Поэтому механизмы изменения в истории, если учитывать их темпоральные характеристики не всегда укладываются в модель преемственности и разрыва. Для правдоподобного объяснения необходимы дополнительные аналитические процедуры, выводящие историка за пределы дисциплинарного знания[54].

У историков и социально-гуманитарных наук общий предмет исследования – человек и социум. Вызовы антропоцена, заменяя базовые дихотомии устоявшихся познавательных практик *природакультурой, межвидовой коммуникацией и агентностью*, требуют расширения этого предметного поля. В масштабных дискуссиях об историческом времени, вращающихся вокруг нескольких основных вопросов (линейность, имманентность, контингентность, синхронизация), концептуально утверждается анахроничная, множественная и многослойная природа темпоральности. В свете кросс-дисциплинарного обсуждения темпорального содержания исторического опыта календарное и хронологическое время истории, воспринимаемое как спонтанное проявление естественного порядка вещей, предстает как совокупность управленческих техник, сложившихся анонимно и стихийно, но при поддержке различных институций, прежде всего государственных. В современной литературе убедительно показано, что эти техники стали в западном мире основой социального порядка эпохи модерности, породив архивы, автономную историческую науку и соответствующие управленческие практики.

В XXI в. образ истории, сложившийся в эпоху модерности стал проблемой как в интеллектуальной культуре, так и в повседневной жизни. Глобальное, постколониальное, медийное настоящее, в котором мы живем, все более убеждает, что история не движется по прямой и не является непрерывной. Телеологический миф о времени прогресса потерял свою объясняющую и мобилизующую силу. Непредсказуемая историческая динамика последнего столетия привела к появлению более сложных и разнородных темпоральных отношений, в которых глобальное время экономики, торговли, технологий и средств массовой информации вступает в конфликт с разнородными ритмами в разнообразных культурах и сообществах. Одновременно природная история Гайи, погруженная в «глубокие времена», обсуждаемые в контексте антропоцена, бросает вызов ограниченным темпоральным горизонтам социальных отношений и политических решений, вынуждая пересмотреть устоявшиеся концептуальные представления об историческом времени и соотношении темпоральных модусов, сформировавшихся в культуре европейской модерности. Понимание стремительно меняющегося мира настоятельно требует думать *исторически* таким образом, чтобы понимать не только прошедшее, но и настоящее, а также будущее нашей планеты. Поэтому интеллектуальный мир настойчиво ищет адекватные аналитические инструменты для осмысления политемпоральности.

[54] См. подробнее Ингерфлом. 2018: 171-204.

Расширяющееся поле исследований исторической памяти, темпоральный поворот, возрождение интереса к философии истории, к литературным и семантическим аспектам ремесла историка, свидетельствуют о необходимости реконфигурации научного подхода к прошлому, изучения многомерного мира разнородных темпоральностей и исторического мышления как основ исторической культуры, что наряду с другими новациями порождает потребность в переосмыслении этоса истории и идентичности историка[55].

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Артог Ф. Какова роль историка во все более «презентистском» мире? // Гефтер. 15.03.2013. [Artog F. Kakova rol' istorika vo vse bolee «prezentistskom» mire? // Gefter. 15.03.2013.].

Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. 3 (59) [Artog F. Poryadok vremeni, rezhimy istorichnosti // Neprikosnovennyj zapas. 2008. 3 (59)].

Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.: НЛО, 2012. 580 с. [Deskola F. Po tu storonu prirody i kul'tury. M.: NLO, 2012. 580 s.].

Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб. Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге. 2006. 240 с. [Latur B. Novogo Vremeni ne bylo. Esse po simmetrichnoj antropologii. SPb. Izd-vo Evrop. un-ta v S.-Peterburge. 2006. 240 s.].

Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб.: «Владимир Даль». 2004. [Louental' D. Proshloe – chuzhaya strana. SPb. "Vladimir Dal'". 2004].

Лукьянов О.В. Экзистенциальный анализ и природа времени. Транстемпоральный характер экзистенциального опыта // Вестник Томск. гос. ун-та. 2007. № 299. С. 164-170. [Luk'yanov O.V. Ekzistencial'nyj analiz i priroda vremeni. Transtemporal'nyj harakter ekzistencial'nogo opyta // Vestnik Tomsk. gos. un-ta. 2007. № 299. S. 164-170.].

Олейников А. Откуда берётся прошлое? Апология анахронизма // НЛО. 2014. 2 (126). [Olejnikov A. Otkuda beryotsya proshloe? Apologiya anahronizma // NLO. 2014, 2 (126)].

Осборн П. Темпорализация как трансцендентная эстетика: авангард, модерн, современность // Художественный журнал. 2016. Т. 8 [Osborn P. Temporalizaciya kak transcendentnaya estetika: avangard, modern, so-vremennost'// Hudozhestvennyj zhurnal. 2016. T. 8].

Политика времени: анахронизм и современность. Анахронизм: между «политикой» современности и «историей» прошлого? // Гефтер. Дебаты.11.12.2015. [Politika vremeni: anahronizm i sovremennost'. Anahronizm: mezhdu «politi-koj» sovremennosti i «istoriej» proshlogo? // Gefter. Debaty.11.12.2015].

Савчук В. В. Топологическая рефлексия. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2012. 416 с. [Savchuk V. V. Topologicheskaya refleksiya. M.: Kanon+ROOI «Reabilitaciya», 2012. 416 s.].

Споря о модерности // НЛО. 2016. 110 (4). [Sporya o modernosti // NLO. 2016. 110 (4).].

Чеканцева З.А. «Нарративное время» историка // Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ. 2011. С. 55-75 [CHekanceva Z.A. «Narrativnoe vremya» istorika // Istoricheskaya nauka segodnya. Teorii, metody, perspektivy. Pod red. L. P. Repinoj. Moskva. LKI. 2011. C. 55-75].

Чеканцева З.А. Антропологизация историографии и идентичность историка XXI века // Электронный научно-образовательный журнал "История". Т. 9. Выпуск 8 (72). 2018. [CHekanceva Z.A. Antropologizaciya istoriografii i identichnost' istorika XXI veka // Elektronnyj nauchno-obrazovatel'nyj zhurnal "Istoriya". T. 9. Vypusk 8 (72). 2018.].

Чеканцева З.А. Историчность и история в интеллектуальной культуре XXI века //Диалог со временем. Вып. 65. М. 2018. С.5-20. [CHekanceva Z.A. Istorichnost' i istoriya v intellektual'noj kul'ture XXI veka //Dialog so vremenem. Vyp. 65. M. 2018. S.5-20.].

Юрчак А. Мышление за пределами символического // Кон Э. Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека. Париж. ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018. [YUrchak A. Myshlenie za predelami simvolicheskogo // Kon E. Kak myslyat lesa: k antropologii po tu storonu cheloveka. Parizh. OOO «Ad Marginem Press», 2018.].

Ямпольский М. Без большой теории? // НЛО. 2011. 110 (4). [YAmpol'skij M. Bez bol'shoj teorii? // Novoe literaturnoe obozrenie. 2011. 110 (4)].

[55] The Ethos of History 2018.

Ямпольский М. Пространственная история. Три текста об истории. СПб: Книжные мастерские; Мастерская «Сеанс». 2013. [YAmpol'skij M. Prostranstvennaya istoriya. Tri teksta ob istorii. SPb: Knizhnye masterskie; Masterskaya «Seans». 2013.].
Bachet J. Défaire la tyrannie du présent. Temporalites émergentes et future inédits. Paris: La Découverte, 2018.
Bonnueul Ch. et Fressor J-B. L'événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous. Paris: Editions du Seuil, 2016. [2013].
Breaking Up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. Edited by Chris Lorenz and Berber Bevernage. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2013.
Burges J., Elias A. J. Introduction: Time Studies Today // J. Burges and A. J. Elias (Eds). Time: A Vocabulary of the Present. New York. 2016. P. 1–32.
Chakrabarty D. Anthropocene time // History and Theory. 2018. 57, no. 1. 5-32.
Chakrabarty D. The Climate of History: Four Theses // Critical Inquiry. 2009. 35 (2). P. 197–222.
Debating New Approaches to History / Tamm M., Burke P. eds. L.: Bloomsbury Academic. 2018.
Domanska E. The New Age of the Anthropocene // Journal of Contemporary Archaeology. 2014. N 1. P. 96–101.
Dubar C. Du temps aux temporalités: pour une conceptualisation multidisciplinaire // Temporalités. 2014. 20.
Duclert V. L'avenir de l'histoire. Paris: Armand Colin, 2010.
Escudier A. «Temporalisation» et modernité politique : penser avec Koselleck // Annales HSS, 64-6, 2009, p. 1269-1301.
Ethos of History: Time and Responsibility / Eds. St. Helgesson, J. Svenungsson. N.Y.: Berghahn Books, 2018.
Fabian J. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. N.Y.: Columbia U.P. 1983.
Gattinara E.C. Les inquiétudes de la raison. Epistémologie et histoire en France dans l'entre-deux-guerres. J. VRIN. 1998.
Hartog F. Régimes d'historicité: Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003.
Hölscher L Time Gardens: Historical Concepts in Modern Historiography // History and Theory. 2014. 53. P. 577-91.
Jameson F. The End of Temporality// Critical Inquiry 29. Summer 2003.
Jordheim H. Forum: Multiple Temporalities. Introduction: Multiple Times and the Work of Synchronization // History and Theory. 2014. 53. P. 498-518.
Jordheim H., Wigen E. Conceptual Synchronisation: From Progress to Crisis // Millennium: Journal of International Studies. 2018. 46 (3): 421–39.
Koselleck R. Le futur passé: contribution à la sémantique des temps historiques. Paris: Ed. de l'EHESS, 1990. 334 p.
Koselleck R. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Stanford University Press. 2002. 363 p.
Latour B. Où atterrir? Comment s'orienter en politique. Paris: La Découverte. 2017, p. 60.
Lavlok D. Homage to Gaia. Oxford University Press. 2000.
Lavlok D. Revenge of the Gaia. Basic Books, 2006.
Le temps et l'histoire. Entretien avec J. Chesneaux // Genèses, 29, 1997, pp. 123-140.
Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale / Dir. de B. Lepetit. P.: Albin Michel. 1995.
Loraux N. Éloge de l'anachronisme en histoire // Le genre humain, n.°27. 1993. P. 23-39.
Lorenz C. Blurred Lines: History, Memory and the Experience of Time // International Journal for History, Culture and Modernity. 2014. 2.
Lorenz Ch. Out of Time? Critical Reflections on Francois Hartog's Presentism // Marek Tamm & Laurent Olivier (eds.), Rethinking Historical Time. New Approaches to Presentism, London: Bloomsbury Academic. 2019. P. 23-43.
Lorenz Ch. Probing the Limits of Metaphor: On the Stratigraphic Model in History and Geology // Historical Understanding: Past, Present and Future / Eds. Zoltan Boldizsár Simon and Lars Deile. London: Bloomsbury, 2021.
Lorenz, C., and B. Bevernage (eds.) Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. Göttingen: Vandenhoeck. 2013.
Mudrovcic M.I. The politics of time, the politics of history: who are my contemporaries? // Rethinking History. 2019. Vol. 23. N 4. P. 456–473.
Olsen N. History in the Plural: An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck. New York: Berghahn. 2012.

Osborn P. The Politics of time: Modernity and Avant-Garde. London: Verso. 1995.
Papaioannou Ch.A. Ahead of its Time: Historicity, Chronopolitics, and the Idea of the Avant-Garde after Modernism. The University of Leeds School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies. January. 2017.
Philosophy of History: Twenty-First-Century Perspectives / ed. J-M. Kuukkanen. L., 2020.
Prigogine I. La redécouverte du temps, Conférences Marc Bloch, 1987, mis en ligne 28.06.2006.
Quenet G. L'antropocène et le temps des historiens // Annales. HSS. 2017/2 72e année. P. 267-299.
Rancière J. Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien // L'Inactuel, n°6, 1996, p. 53-68.
Rethinking Historical Time. New Approaches to Presentism. Edited by Tamm M. and Olivier L. Bloomsbury academic. 2019.
Riot-Sarcey M. Temps et histoire en débat. "Tout s'oublie" et "rien ne passe"// Revue d'histoire du XIXe siècle. 2002/2 (n° 25).
Runia E. Inventing the New from the Old – From White's "Tropics" to Vico's "Topics" // Rethinking History. 2010. 14 (2): 229-241.
Runia E. 'Presence'// History and Theory 45. February 2006.1-29.
Shryock A., Smail D. L. Deep History: The Architecture of Past and Present. Berkeley: University of California Press, 2011.
Smail, D. L. On Deep History and the Brain. Berkeley: University of California Press. 2008.
Tanaka S. History without Chronology // Public Culture 2015. 28:1.
Tanaka S. History without Chronology. Lever Press. 2019.
Walter F. L'historien et temporalités // Royer J. La perception du temps. Genese. 2006. P. 95-105.
Wimmer M. The Present as Future Past: Anonymous History of Historical Times // Storia Della Storiografia, 68, 2015: 165-183.
Zalasiewicz J. The Extraordinary Strata of the Anthropocene // Environmental Humanities: Voices from the Anthropocene / ed. S. Oppermann, S. Iovino. L.: Rowman and Littlefield. 2017.

Чеканцева Зинаида Алексеевна, *доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, ИВИ РАН; achekantzev@mail.ru*

Time and history in the Anthropocene intellectual culture

The theme of time and history in the Anthropocene has acquired the status of one of the most pressing topics of our time. In large-scale discussions about historical time, which revolv around several basic issues (linearity, immanence, contingency, synchronization), the anachronistic, multiple, and multilayered nature of temporality is conceptually asserted. In the light of the interdisciplinary discussion of the temporal content of historical experience, the calendar and chronological time of history, perceived as a spontaneous manifestation of the natural order of things, appears as a set of management techniques that have developed anonymously and spontaneously, supported by various institutions, primarily state ones. In a rapidly changing world, there is a persistent search for analytical tools for comprehending the multitude of temporalities in order to understand not only the past but also the present and the future of our planet.

Keywords: Anthropocene, transdisciplinarity, history, historical time, temporality, temporalization, historicity

Zinaida A. Chekantseva*, Dr. Sc. (History), Professor, leading researcher, Institute of World History, Russian Academy of Sciences; zinaidachekantseva@gmail.com*

И.Н. Ионов

КОРРЕКЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНОГО РЕЖИМА И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ИСТОРИИ
Статья 3[1]

В статье показано, как проблемы смены темпорального режима связаны с ситуацией дискурсивной гегемонии. Ретротопия, как назвал ее З. Бауман, попытки возродить идеальное прошлое, опасна лишь тогда, когда ее сопровождает отстаивание «прочной» (*solid*) модели времени. Тогда она порождает антиисторизм в разных его формах: идеалы исторической амнезии (Ф. Ницше), уход от историзма к этернализму и мифотворчеству (П. Сорокин), критику релятивизма как проявления архаики (З. Бауман). Однако в российской историографии мы сталкиваемся с другими вариантами ретротопии, связанными с процессом перехода от пассеизма к футуризму и проявляющими себя как мягкие формы контргегемонии. Примером ретротопии как самоидентификации с эксплуатируемым народом служит история староверчества, а терапевтического варианта времени – теория персональной ретротопии, «мерцающего времени» В. Набокова. Основа их развития – убежденность в «зыбкости» времени модернизации как нормы (А. Асмолов), а не признание отдельных ошибок государства или сциентизация исторического знания, связанная с идеей «прочного» времени.
***Ключевые слова*:** *темпоральный режим, гегемония, контргегемония, информализация, этернализм, зыбкое время, мерцающее время.*

Е.Н.Ш.: прошлой, настоящей и будущей

Актуализация исторической памяти, «прочные» модели времени и дискурсивная гегемония

Опасности коррекции темпорального режима в связи с кризисом прогрессизма и актуализацией исторической памяти, вслед за А. Ассман, обратившей внимание на утрату способности идентифицировать себя с жертвами прошлого, обозначил З. Бауман в книге «Ретротопия», отметив растущее разочарование в глобализации и переход от «эпидемии безумия прогресса» к «глобальной эпидемии ностальгии», порождающей «антимодерное мифотворчество истории», связанное с реставрационными и просто реакционными националистическими движениями. Проявления нового пассеизма Бауман видит в разрушении позитивного образа не только будущего, но и настоящего; в разрыве публичной истории с традициями научного знания; в политике памяти, предполагающей «избирательное запоминание вперемешку с избирательным забыванием» и обеспечивающей «податливость и управляемость» прошлого; в новом «заколдовывании мира» в форме возрождения геополитики и теорий заговора; в борьбе с кризисом идентичности при помощи возврата к архаичным моделям самоидентификации племенного общества, воплощенным в национальных и имперских моделях государственного устройства, в возвращении от социальной политики к растущему имущественному неравенству[2].

[1] Продолжение. Начало см.: Ионов 2019(б) и Ионов 2020.
[2] Ассман 2017; Бауман 2019: 17, 22, 63, 67, 122.

Если рассматривать эти проблемы в контексте смены разных форм дискурсивной гегемонии, обращает на себя внимание одна из разновидностей ретротопии, связанная с идеалом «прочного» (*solid*) исторического времени. Ее кризис имеет давние корни и тесно связан с началом кризиса прогрессизма в 1870-е гг. Прогрессизм уже в это время оставался устойчиво нормативным только в странах Западной Европы. На фоне разочарования в философии истории Гегеля и идее прогресса, утратившей убедительность в условиях экономического кризиса, в Германии возникла «проблема историзма» – разочарование мыслителей в самой идее *историчности* всего сущего. В работе «О пользе и вреде истории для жизни» (1874) Ф. Ницше высказал идеи, сходные с критикой «зыбкости» времени у З. Баумана. Историчность подверглась им всесторонней критике во всех своих проявлениях, от священной до естественной истории. Неприемлемым для него оказался как универсализм истории, так и локалистский «карнавал религий, нравов и искусств»; как объективизм в форме «бессубъектности», так и субъективизм оценок историка как морально слабого человека; отвратительной предстала сама гротескная фигура историка-ученого, никак не совпадающая с величественным образом демиурга, который чудился философу[3]. На этом негативном эмоциональном фоне у Ницше появляются апокалиптические картины «затопляющего, оглушающего и насильственного историзирования», порождающего «захирение и вырождение жизни... гибель человека, народа или культуры»; зыбкость «безнадежной скептической бесконечности». Формулируется потребность в забвении как антитезе историзму, обосновывается стремление к неисторическому и антиисторическому. Формируется идеал историка как выдающейся личности, руководимой инстинктами, аморальной деятельности «необузданной натуры» человека, обладающей свойством эстетической возвышенности[4].

Возникает философия истории именно в той форме, которая смущает А. Ассман и З. Баумана – в форме ретротопии «белокурой бестии», возвышающей собственное видение истории в ущерб традициям презираемых ею слабых людей. В работе «К генеалогии морали», задуманной как развитие идей труда «По ту сторону добра и зла» (1886) историчность критикуется в форме философии истории христианства, которое рассматривается как крайнее проявление неприятия (рессентимента, от франц. *ressentiment* – злоба, злопамятность) по отношению к жизненной позиции героя Ницше – «хищного зверя, роскошной, похотливо блуждающей в поисках добычи и победы *белокурой бестии*». Тем самым философ обращается против тенденции к «самоприручению» человека, в которой Н. Элиас видел стержень процесса цивилизации. Для Ницше идеалом является фиксируемая им у гомеровских героев, древнерим-

[3] Ницше 1990. Т. 1: 180, 186, 191-195, 204, 206, 209-210, 213.
[4] Там же: 159, 163, 165-166, 187, 189-190, 195, 197-200, 203, 222, 227, 229.

ской, арабской, германской, японской знати, а также викингов «“смелость” благородных рас, безумная, абсурдная, внезапная в своих проявлениях... их ужасная веселость и глубина радости, испытываемой при всяческих разрушениях, всяческих сладострастиях победы и жестокости», которую древние греки идентифицировали как «варварство», а антиидеалом — «выведение из хищного зверя “человек” некой ручной и цивилизованной породы животного, *домашнего животного*»[5].

Важной ценностью при этом выступает отсутствие сопереживания со слабым, чем так уязвлена А. Ассман. Ницше оправдывает аристократию и «благородные расы» в том, что они, считая себя добрыми, прекрасными, счастливыми, «чопорно чураются» слабых, «недооценивают презираемую ими сферу, сферу простолюдина, простонародья». Ведь «вытесненная ненависть, месть бессильного» кажется ему еще отвратительнее, он видит в ней проявление негативной идентичности, противопоставляющей «злому врагу... “доброго” самого себя». Гегемония «благородных» кажется ему естественной, в то время как появление любой формы контргегемонии «гноится ядовитыми и враждебными чувствами»[6]. Отрицая существующие подходы к истории и провозглашая альтернативу забвения (зла, свершенного «бестией»?), Ницше упрекал своих христианских оппонентов в стремлении к выстраиванию контргегемонии и ее превращению в гегемонию. Ведь их образ истории основан на аскетическом идеале, на узких, свойственных только им «интересах человеческого существования», он «беспощадно налегает на все времена, народы, людей, подчиняя их этой единой цели, он не допускает никакого другого толкования, никакой другой цели, он бракует, отрицает, утверждает, подтверждает исключительно в смысле *своей* интерпретации...»[7]. Это позволяет ему критиковать идеалы морали, цивилизации, религии, науки. Но одновременно такая позиция, опирающаяся прежде всего на «варварский» идеал прошлого (ретротопию) обрекает ее носителя на самоизоляцию, а провозглашенную им гегемоническую позицию низводит до псевдогегемонии, исключающей сочувствие и диалог в обществе, что проявилось в трансформации идей Ницше о «белокурой бестии» и сверхчеловеке немецкими нацистами[8].

Подобного рода ретротопии возникали не раз. Они с годами все более походили на вариант З. Баумана в его критике релятивизации темпоральности. Наиболее последовательную версию можно найти у Питирима Сорокина, который, как и Ницше, обрушился на «зыбкость» современных ему общественных отношений и исторических представлений о времени. Задолго до Баумана Сорокин писал, что в современном ему американском обществе «все находится в текучем состоянии... бес-

[5] Ницше 1990. Т. 2: 428-429.
[6] Там же: 425-427.
[7] Там же: 513.
[8] Горшков 2011: 200-204.

форменном, неопределенном и расплывчатом». По его мнению, система человеческого знания как целое стала «разжижаться и ускользать из рук… не остается ничего прочного»[9]. В основе этого недовольства – кризис идеологии прогрессизма, связанных с ним эмпирических теорий «как надуманных и претенциозных экспонатов бесплодной эрудиции»[10].

Сорокин подобно Ницше считал, что таким образом разрушается ценностная ориентация человека и общества. Наука «перестает удовлетворять человеческую потребность в правильной ориентации во вселенной… общественные и гуманитарные науки… не способствовали ни нашему пониманию социально-культурных явлений, ни нашей способности предвидеть их будущее развитие»[11]. Реакция на этот естественный процесс релятивизации знания была парадоксальной. Вместо попытки адаптации к более современным, «мягким» моделям времени, представленным трудами М. Вебера, Э. Трельча, К. Маннгейма и др., Сорокин, как и Ницше, направлял свой взгляд в прошлое мировых цивилизаций и предвидел тотальную инверсию процесса релятивизации представлений о времени, возврат к ценности неисторического, т.е. вечного, которую он обозначил как *этернализм*[12].

Сорокин нападал при этом не только на позднее Новое время, постиндустриальное общество и ретротопию, как Бауман, но прежде всего на высокое Новое время (до 1920 г.), лишившееся представлений о сакральной истории; на экономическую жизнь вне традиционного общества, на непереносимое для него «проклятие темпорализма». Только религиозный этернализм, по его мнению, позволяет «приладить человеческое существование к чему-то твердому, надежному, способному устоять при всех штормах эмпирической реальности». Он рассматривал историзм Нового времени как патологическую ограниченность сознания: «Мы ни на что не можем смотреть иначе, чем исторически». В этом плане, как и для Ницше, для него оказывались равно неприемлемы исторические модели времени. Ведь темпоралистская культура «разрушает саму себя и подготавливает собственное уничтожение, постепенно становясь все более невозможной, отравляющей, смертоносной»[13]. «Прочный», нормативно заданный и ценностно укорененный этерналистский мир Сорокина настолько радикально антиисторичен, что не предполагает существования исторической науки и исторического сознания. В нем «прошлое, настоящее и будущее… безнадежно перепутаны, никакая подлинная история, никакое удачное развитие истории не предполагались и не могли случиться». Этернализм устраняет само измерение времени, разделение событий во времени, «поскольку излишни и сами события», как

[9] Сорокин 2000: 366, 362.
[10] Сорокин 1992: 485.
[11] Там же.
[12] Там же: 429, 474.
[13] Сорокин 2000: 359-364, 367-368.

в индийской культуре, где различие между историей и мифом стирается. Зато он дает человеку религиозную когнитивную карту, в центре которой Бог как «фиксированная точка отсчета». Он возвращает представления о вечных ценностях, о «незыблемой абсолютно достоверной истине»[14].

Эмоционально окрашенная концепция Питирима Сорокина, провинциального российского эсера, пережившего мировые войны и революции, безвозвратную потерю родины и идеалов, бросает яркий свет на позицию Баумана, с которым его связывают метафизическое макроисторическое мышление, левые взгляды и травматичный жизненный опыт. Бауман с его идеалом «утопии для реалистов»[15] из своей перспективы демонстрирует весьма *умеренную* степень отчаяния по сравнению с Сорокиным[16]. Но характерно и то, что наиболее радикальные идеи Сорокина после ряда «поворотов» исторического сознания 1960–1970-х гг. фактически утратили поддержку на Западе. Вместе с тем эти идеи неизменно служат фоном для рассуждений современных сторонников неоазианизма, стремящихся в интересах авторитарных властей Юго-Восточной Азии реанимировать идеалы традиционного общества[17].

Возникновение идей Ницше, Сорокина и Баумана можно связать с периодами перехода от господства строгих норм поведения, иерархизации обществ, империализма и самоизоляции (того, что Н. Элиас, К. Вутерс и М. Даннинг называют эпохами формализации и реформализации) к менее строгим нормам поведения и стиранию различий между истеблишментом и аутсайдерами (эпохами информализации[18]). Тенденции к таким переходам отмечались в 1870–1880-е, 1940–1950-е, 2010-е гг., на пороге «конца века» 1890-х и «революции самовыражения» 1960–1970-х.

Но можно заметить в их произведениях и следы исторических «поворотов». Солидаризируясь с Ницше и Сорокиным, Бауман описывает ситуацию кризиса прогрессизма как превращение будущего в «обитель кошмаров», уход от футуристского идеала к неопассеистскому, «приватизацию/индивидуализацию идеи прогресса», но совершенно определенно опирается при этом на достижения постмодернизма и релятивизма[19]. Бауман осуждает историцистский линейный подход к историческому времени и человеческому существованию, подчеркивает разницу между историческим и нарративным временем, рассуждает о роли фреймов (когнитивных карт) в познании и жизни[20]. Более того, в отличие от Сорокина, его не удовлетворяет «детемпорализация» социального

[14] Там же: 361-370.
[15] Бауман 2019: 117.
[16] Недаром травмированный модернизацией А.Г. Дугин в своей консервативной философии истории опирается на Сорокина, а не на Баумана: Дугин 2010. № 1: 22-30.
[17] Lau 2009.
[18] Civilisation... 2019.
[19] Бауман 2019: 19.
[20] Там же: 23-24, 74-75.

пространства в условиях глобализации[21]. Но архаичный стиль его мышления (влияние марксизма, объективизма, реанимация ценностей социальной утопии, адаптированной «для реалистов»)[22] делает для него релятивизм времени «зыбкого» модерна неприемлемым. Тот разрушает его финалистскую «мечту о совершенстве», порождает рост индивидуализма и связанную с ним «приватизацию» утопии и идеи прогресса. Восприятие этих процессов Бауманом катастрофическое: для него это возврат к обществу войны всех против всех из политической теории Т. Гоббса (пусть со знаком вопроса), движение «назад к племенам» и даже «назад в утробу». Отмечу, что эти претензии носят запутанный или метафорический характер. В конце концов Бауман возводит реакционную политику памяти к тому же релятивизму, «невозможности подвергнуть исторический нарратив окончательной проверке на истинность»[23].

В итоге в большинстве случаев речь идет об опасности развития научного знания и возникновения его неклассических форм, позитивную сторону «дерегулированности» которых Бауман не видит. Характерно его одностороннее отношение к описанию Элиасом «процесса цивилизации». Бауман замечает в нем только внешнее устранение актов насилия из поля зрения общества, связанное с процессом формализации поведения в XVI–XIX вв., но игнорирует нарастание самоконтроля, эмпатии и диалога в условиях возвратных эпох информализации поведения в конце XIX–XX вв.[24] Бауман видит «отказ от… непреложных, *sine qua non* черт цивилизованного порядка» там, где наследники Элиаса указывают на «высоко цивилизованную децивилизацию человеческих существ», подчеркивая, что «каждое движение в направлении к цивилизации сопровождается возвратным движением в децивилизационном направлении и наоборот», что «в формализационном и информализационном процессах нет абсолюта». Вутерс подчеркивает ошибочность взглядов исследователей, видевших в событиях 1960–1970-х гг. «упадок цивилизации», связывает процесс информализации с реакцией на эксцессы предшествующей формализации поведения[25].

Баумана раздражают недостижимость истины, «неполнота и спорность всякой попытки дать исчерпывающий и непротиворечивый рассказ “как это было на самом деле”», для него когнитивные карты истории «чересчур подвижны». Он верит в возможность «прочной», нормативной, ценностно укоренной темпоральности и надеется, что современность «даст миру четкую карту, разбитые дороги обозначит надежными, прочными, устойчивыми перед непогодой указателями»[26]. Прав-

[21] Kilminster 2019. P. 339.
[22] Бауман 2019: 21, 23, 62, 70, 126.
[23] Там же: 18, 21, 26, 56, 67, 70, 117.
[24] Там же: 26, 53, 84, 86; Civilisation... 2019.
[25] Бауман 2019: 22; Wouters 2019. P. 20, 25-27.
[26] Бауман 2019: 69-70.

да, это все же финалистская историческая, а не внеисторическая «амнистически-варварская» (у Ницше) или религиозно-этерналистская когнитивная карта (у Сорокина). Но за ней стоит сходная травма от нормативно-ценностной неопределенности и непредсказуемости нового мира, подспудное стремление к возвращению прозрачности мироздания, пусть не столь откровенное, как у Сорокина. Оно воплотилось в попытках реанимации концепций финализма, целевой причинности и детерминизма, нарушение которых Бауман воспринял как форму инверсии причинно-следственных связей, а также в ориенталистских, европоцентрических моделях истории (один из примеров он дает в конце книги), в чересчур серьезном отношении к теории столкновения цивилизаций Хантингтона. Все это уменьшает ценность перспективы диалога цивилизаций на основе католического социализма, предлагаемой З. Бауманом[27].

Ретротопия и историческая эмпатия в русской культурной традиции

Между тем история стран, в которых перелом исторического сознания от пассеизма к футуризму, описанный Р. Козеллеком[28], происходил медленно и противоречиво, таких как Россия, дает примеры успешного взаимодействия ретротопий и исторической эмпатии, противостояния которых боится А. Асманн, если это происходит в условиях информализации. Типичным случаем такого рода является ретротопия народа и особенно староверов как носителей его лучших черт, возникшая в 1850–1860-е гг., когда в России нарастала волна нигилизма, направленного против традиционного цивилизованного этоса, созданного в России дворянством и романтиками, переориентации на новый, разночинский и интеллигентский этос, связанный с социализмом, позитивизмом и критическим реализмом в искусстве.

Изучение староверов исследователями народнического направления, активизировавшееся в 1850-е гг., помогло возбудить чувство сочувствия и сопричастности к группе населения, самоидентификация с которой была до тех пор крайне маловероятна, если не невозможна, считавшейся изгоями («раскольниками»), подвергавшейся гонениям и отвечавшей на них самыми радикальными мерами (вплоть до самосожжений), противопоставлявшей себя российскому государству (как новоявленный идеал Беловодья/Иерусалима антиидеалу растленного Рима/Вавилона)[29]. Это происходило на фоне формировавшегося национального самосознания, поиска народных героев, роста чувства вины интеллигенции перед закрепощенным и страдающим народом, которое долго оставалось основой демократических тенденций в общественном движении. В определенном смысле эту тенденцию можно соотнести с отмеченной А. Ассман тенденцией самоидентификации немецкой молодежи поколения

[27] Там же: 145-147, 151-156.
[28] Koselleck 2004.
[29] Дутчак 2010: 163-172.

1968 г. (на пике эпохи информализации) с жертвами нацизма и прежде всего Холокоста, ставшей основанием для формирования новой немецкой нации и демократического государства[30]. В России все произошло иначе, что не в последнюю очередь было связано с эпохами реформализации 1900–1910-х и 1930–1950-х гг. Основная разница состояла в том, что нация здесь формировалась в условиях сужающейся, а не расширяющейся нормативной идентичности[31].

Базой для подобных процессов была самая настоящая ретротопия, сформулированная в книге А.П. Щапова «Земство и раскол» (1862), содержание которой О.Б. Леонтьева характеризует как «своеобразную историческую утопию. На страницах этой работы историк отстаивал идею, что русский народ по сути своей является народом-социалистом; что основой бытового строя народа со времен Древней Руси было земство – общественное устройство, где действует священное правило "вольному воля", где нет сословий, а есть лишь естественное разделение труда, где каждый человек имеет право на землю». Нарушение этого общественного идеала в XVII в. и породило раскол, «могучую, страшную общинную оппозицию податного земства, массы народной против всего государственного строя – церковного и гражданского». Сохранение крепостнического государства веками поддерживало актуальность протеста староверов. Эти идеи развил его ученик Н.Я. Аристов на примере Выговской общины беспоповцев в Олонецком уезде[32]. А.С. Пругавин писал: «Раскол, в лице передовых сект, путем критики современных отношений, вырабатывает идеал будущего и отношений в человечестве»[33].

Изучение темы староверов способствовало не только узким идеологическим задачам славянофилов и народников-социалистов, сводившимся к созданию контргегемонического дискурса, таким как расчленение уваровской формулы «православие, самодержавие, народность» с целью противопоставления государственнических идеалов самодержавия и православия идеалу народности как антикрепостническому и противостоящему официальной церковности, а также конкретизации образа носителей лучших черт русского народа (общинность, автономия, братство, трудолюбие, жертвенность, начитанность, страсть к дискуссиям, свободолюбие, вплоть до стихийного коммунизма). Оно глубоко повлияло на русскую культуру и идентичность в целом, вписало новые яркие страницы в историю народного и национального самосознания, для которого знаковыми стали образы протопопа Аввакума и боярыни Морозовой[34]. На их примере возвышалась такая универсальная, привлека-

[30] Ассман 2017: 22-32, 70, 188, 197, 219.
[31] Фицпатрик 2011.
[32] Леонтьева 2011: 304-305.
[33] Цит. по: там же: 306.
[34] Там же: 305-306, 310-323.

тельная для людей самых разных убеждений этическая ценность, как самоотверженность вплоть до самоотречения, способность «страдать с дерзновением»[35]. В результате староверы стали неотъемлемой частью разных гегемонических дискурсов о России.

Решалась и важная познавательная задача, близкая к актуальной для А. Ассманн: она заключалась в признании значения «непрошедшего прошлого» и проработке связанных с ним исторических травм[36]. О. Леонтьева пишет по этому поводу: «Существует некая диалектическая напряженность между задачами академической исторической науки и задачами исторической памяти общества: наука стремится конституировать прошлое как “Другое”, а память – превратить “Другое” в “свое”, далекое – в близкое. Но эти задачи могут и переплетаться друг с другом, если историческое повествование служит целям создания коллективной идентичности… формирования исторической памяти общества»[37].

Еще у С.М. Соловьева в рамках прогрессистского видения истории старообрядцы рассматривались как реакционеры, а потому оттеснялись из образа истории России в его фон. Но у А.И. Герцена, А.П. Щапова, А.С. Пругавина, Н.И. Костомарова и др. они оказались в самом центре истории России и были изучены в разных связях и проявлениях. Это помогло расширить представление о староверии, перейдя от картины конфессионально-церковных разногласий на уровень политических и социальных проблем древней Руси, а также ментальных особенностей русского народа[38]. Эта тенденция не ограничилась народнической историографией, так как староверы не только поддерживали общинные традиции, но и создавали мощные предприятия, а из их числа вышли многие крупнейшие промышленники России. Как выяснили некоторые дореволюционные и в полной мере современные историки и философы, староверческий уклад стал для нашей страны аналогом протестантской трудовой этики, впоследствии в значительной мере утраченной в процессе национализации промышленности, раскулачивания и коллективизации в сельском хозяйстве[39].

Для наших целей важнее всего зафиксировать, что образ старообрядчества трансформировал необратимый, отсекающий прошлое, линейный образ времени, который размывался под влиянием культурной памяти об этом трансисторическом феномене, «делающем прошлое современным»[40]. Этот образ существовал в мультитемпоральном хронотопе пересекающихся или противостоящих друг другу осциллирующих темпоральных измерений. Леонтьева перечисляет “широкий спектр образов

[35] Там же: 323-324.
[36] Ассман 2017: 190, 192, 211.
[37] Леонтьева 2011: 297.
[38] Там же: 300-328.
[39] Там же: 309-310; Уэст 2008: 130-143; Керов 2016; Крихан 2018: 1-125.
[40] Ассман 2017: 33.

раскольников-старообрядцев: от борцов против крепостнического Московского царства – до благочестивых консерваторов, последних хранителей истинно русской идентичности; от фанатиков-мракобесов – до носителей прогрессивной этики Нового времени»[41]. При этом ни одна идентичность не была устойчивой. Староверы постоянно порождали двоякие оценки, они разочаровывали революционеров как традиционалисты и пассивные начетчики, а славянофилов и реакционеров – как акторы капиталистической модернизации. Старообрядчество то пытались отсечь как принадлежность обрядоверия, темноты и архаики, преодолеваемых современностью, то порой представляли как идеал, соединяющий прошлое, настоящее и будущее. На примере староверов решали проблемы истории Древней Руси, национальной модели модернизации и социалистических идеалов[42].

Наиболее остро российские ретротопии стали развиваться с распадом традиционного общества, модернизацией, развитием революционного движения и особенно после 1917 г., в среде эмиграции, «приговоренной к жизни в прошлом»[43], когда нарастала аномия, а самоидентификация стала крайне проблемной. С ростом ощущения фантомности настоящего современность рассматривалась, как и у З. Баумана, как зыбкое эрзац-время, оторванное от подлинного, прочного, сакрализованного времени дореволюционного прошлого, распадавшегося на осциллирующие образы времен, соответствующих разным идентичностям. Было не так важно, насколько реальны эти времена. Экзистенциальные хронотопы смешивались с литературными, нарративными, воображаемыми. Большую роль в их создании играли образы жертв модернизации (начиная с обедневших помещиков[44]) или революции. Идентификационный боваризм[45] дополнялся темпоральным боваризмом, сотворением альтернативных воображаемых хронотопов. Отчасти это была компенсаторная реакция, отчасти – творческий ответ на непредсказуемость ситуации.

Жизнь в виртуальном времени сакральной истории стала инструментом обретения смысла жизни для религиозных философов зарубежья, достижения единственной общезначимой реальности. Но эта тенденция не была единственной. С.Л. Франк полагал, что в условиях гибели кумиров революции, политики, культуры, «идеи» и «нравственного идеализма» спасет лишь прямое обращение к любящему тебя Богу как высшей и единственной Реальности, противостоящей низкой действительности[46]. Напротив, Л.П. Карсавин и П.А. Флоренский считали, что частные воспоминания прошлого также интегрируют и преображают

[41] Леонтьева 2011: 311.
[42] Там же: 307, 325.
[43] Аверин 2003: 273.
[44] Терпигорев-Атава 1958.
[45] Ионов 2019[6]: 30.
[46] Франк 1990: 113-180, 488-497.

личность. Если последняя отказывается от «прошлого ее аспекта», но тем самым нарушается ее целостность. Память способствует воссозданию, а значит и воскрешению и воссоединению ипостасей личности, как бы вызывает ее из небытия, так что целостность личности может быть дана не во всякий момент жизни, а лишь в ее конце, когда контексты жизненной деятельности человека исчерпаны. На этой стадии личность достигает всевременности[47]. Таким образом прошлое и воспоминания о нем – не только чистилище, страдания в котором заставляют обратиться к Богу, но они имеют и положительное содержание.

Особенно ярко возрождение ушедшей реальности с ее надеждами и перспективами проявилось у И.А. Бунина, И.С. Шмелева и В.В. Набокова. По замечанию Б.В. Аверина, для последнего характерна стратегия тотального воспоминания, такое единство текста жизни, воспоминания и литературы, которые соединены единой «системой кровообращения»[48]. При этом картина времени, порой приобретавшего статус героя произведения, получалась противоречивой и даже зеркально-альтернативной, что нашло яркое выражение в романе «Ада, или радости страсти» (1969). В нем присутствует вставной текст «Ткань времени», над которым Набоков работал начиная с 1959 г. В нем мы находим образ весьма специфического времени иного мира, воображаемой планеты Антитерры, где в стране Эстотии (помесь дореволюционной России и США) живет его герой. Время в этом мире, отмечают И.В. Бибина и Л.М. Чук, прямо противопоставлено монохроническому, объективному, линейно-движущемуся «прочному» времени, которое так нравилось П. Сорокину, но ассоциируется у Набокова с «тяжким длением боли» и «черной глиной». Время Антитерры – это полихроническое проживаемое заново субъективное время, емя судьбы, которое обладает способностью сдвигаться и тем дарит автору свободу представлять прошлое из разных перспектив, почти обеспечивая ему бессмертие (как у Л.П. Карсавина)[49]. Это «зыбкое»[50] время, оно «переливчато мерцает в ином пространстве – воображаемом, а места, которое поможет нам перейти из одного в другое, не существует». Это *мерцающее время* воспоминания, соединяющего прошлое и настоящее, характеризуемое и как «нежное», «вуалевидное» или «дымчатое». Такая характеристика настолько важна для Набокова, что указана в имени одной из его идеальных героинь-читательниц, которые придают темпоральный объем его произведениям, Зины Мерц, и в определении некоторых своих произведений как «мерцающих»[51].

[47] Аверин 2003: 42-45, 80-96.
[48] Там же: 15; Набоков 2015.
[49] Бибина 2008: 57; Чук 2015: 284-302; Шапиро 2015: 45-46.
[50] Такое время именно зыбко, а не текуче, как иногда переводят слово «liquid». Набоков прямо возражал против представления о течении времени («текущего времени водяных часов и ватер-клозетов»). См. Бибина 2008: 56; Шапиро 2015: 46, 48.
[51] Аверин 2003: 310, 312-313, 337.

Это *терапевтическое* время романа, в котором Набоков ведет игры со своей актуальной живой памятью, несбывшимися, но сохранившими силу для автора привязанностями и надеждами прошлого, которым по силам творчески реконструировать для него историю, географию и космологию, которые порождают новые хронотопы, возможные миры. В центре этой терапии образы судьбы и любви, формирующих время таким образом, что «существует лишь Прошлое и мгновения Настоящего». И поэтому образ прошлого Антитерры, порожденный воспоминаниями и воображением автора, где ему являются лики его прежних возлюбленных, единственно реален и нагляден, несмотря на фантастическую географию и хронологию. Только он «обладает вкусом, цветом и запахом», его можно вновь пережить, а образ «прекрасной Терры», где происходят события, напоминающие мировую историю, абстрактен, недостоверен и не имеет реального смысла. Это не история, а извращенная больным сознанием пародия на нее, изучаемая психиатрией[52].

Тем самым В.В. Набоков дает пример борьбы с тем, что Г. Бейтсон называл «двойным посланием» в том, что касается восприятия времени: с противоречащими друг другу образами объективного и субъективного времени, настоящего и воспоминаниями о прошлом. Он предлагает «терапевтическое двойное послание», в котором бовариствский воображаемый образ времени, характерный для утопии будущего или ретротопии, ограничивается как жанрово – рамками литературного произведения, так и сущностно, связывается с личными воспоминаниями и фантазиями конкретного человека. Будущее в этих проекциях обладает разным смыслом. В объективном времени это лишь «вечность безвременья», в субъективном мире литературного произведения оно функционально и играет роли пролептического анахронизма[53]. Занимая сугубо эгоистическую позицию и не выражая сочувствия кому бы то ни было, Набоков гуманно предлагает другим эмигрантам (внешним и внутренним) пример работы с психологической травмой, с унижением, какими были для него утрата родины, имения, привычного бытового уклада, возлюбленных[54].

Это напоминает стратегию исторической амнезии Ницше, но это не борьба с историзмом и релятивизмом, как у последнего, а их использование для терапии травмы. Если память – «становой столб сознания», то каждый может пересоздать свое прошлое. Набокова роднит с П.А. Флоренским и Л.П. Карсавиным представление о роли непрошедшего и даже не состоявшегося прошлого в становлении личности. Для него время – не устремленная вперед прямая, а совокупность сложных узоров, которые могут совпадать и не совпадать с настоящим[55].

[52] Бибина 2008: 55, 58; Чук 2015: 290.
[53] Там же: 286-293.
[54] Бейтсон 2000: 232-233, 240, 294-300; Ионов 2020: 17-18.
[55] Аверин 2003: 94, 246, 265.

В данном случае мы имеем дело не с забвением или мифологией, а с иронической постмодернистской игрой с образами прошлого, отрицающей будущее и объединяющей их смакование и пародию на эти образы. Таким образом искажающему восприятие образу *зыбкого времени*, в котором человек не может найти собственную идентичность и собственное будущее, выдвинутому З. Бауманом, противостоит обогащающий возможности взаимодействия человека с памятью о прошлом образ *мерцающего времени*, который создал В. Набоков, адаптировавшийся в мире множества идентичностей и времен, разнообразных масок и внешних оценивающих взглядов, внимательно фиксирующий изощренные ловушки релятивизирующего сознания (что отметил еще Ж.-П. Сартр)[56].

В современной России данные тенденции получили продолжение. Это определяется как переходным характером развития страны, травмой от разрыва с советской исторической традицией разных периодов, а то и с дореволюционной имперской или культурной традицией. «Зыбкость» времени в этих условиях может рассматриваться как норма или проблема. В этих условиях важное значение приобретают сетевые сообщества, обращающиеся в персональной памяти («Одноклассники») или к коллективной памяти людей (региональные группы), а также организации историков (Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Вольное историческое общество).

Психолог А.Г. Асмолов характеризует подобные жизненные стратегии как адаптацию к изменению условий развития в XXI в.:

> «Картина современности, как правило, оказывается травмированной историей, историческим прошлым человечества, Освенцимом и ГУЛАГом... Личностный и когнитивный диссонанс при освоении современности состоит в том, что современник, как бы он ни пытался овладеть современностью, неизбежно не успевает за бегущим днем. “Синдром современника” – синдром диссонанса со временем, с нелинейностью и безмерностью настоящего – вызывает эффекты... невроза современности… Заслуживает особого внимания высказанная Лиотаром гипотеза о том, что человечество в ответ на рост неопределенности, сложности и разнообразия все более дифференцируется на людей, готовых воспринимать сложное, и людей, склонных к упрощению реальности... Тогда цивилизованность может трактоваться как освоение сложности и неопределенности современности, а архаика – как тенденция социальных систем к адаптации, равновесию и избеганию неопределенности, к жизни в более простом мире»[57].

В современную эпоху Холокост выступил как явление, относительно которого рассматривается смысл истории и которое теолог П. Тиллих ассоциировал с понятием кайрос (время жизни Христа)[58]. Но особенностью периода после 1989 г., когда в Германии утвердилось современное отношение к Холокосту, а в России стало складываться современное

[56] Там же: 339-343.
[57] Асмолов 2018: 16-20.
[58] Лезов 1995: 461-471.

общественное устройство, было то, что тенденция к информализации вновь сменилась тенденцией к реформализации с ее возрождением имперских идеалов и наступлением «новых правых». В терминах теории цивилизации Н. Элиаса и дискурсивной гегемонии Э. Лаклау это было связано с *фазой замыкания* высшей группы под напором миграций аутсайдеров, претендующих на контргегемонию[59]. Возрождаются отстраненность, эксклюзивизм, стратегия «врачующего забвения», историки опускаются до характеристики уровня экономической эффективности как критерия сравнения колониальных и постколониальных обществ[60]. В этих условиях прежние формы гегемонии, прежде всего колониальные империи, оказываются предметом не столько покаяния и исследования, сколько исторического фантазирования.

В результате ретротопия в XX–XXI вв. совмещается с боваризмом, фантазиями на тему своей геополитической и дискурсивной гегемонии, идентичности и виртуального будущего. Для Запада это надежды «возродить величие Америки», для не-Запада – стремление «встать с колен» в ожидании будущего краха «старой» Европы и США. Характерно конструирование альтернативных моделей восприятия Европы, таких как образы «будущей Европы по ту сторону городской цивилизации», народно-демократической «подлинной Европы» коммунистов, консервативной «другой Европы» неоевразийцев, как потенциальных союзников СССР и России[61]. Подчеркну, что в отличие от художественного образа Антитерры Набокова, подвергающего терапии персональную травму, связанную с прошлым, эти модели их создатели пытаются маркировать как нормативные и истинностные, в то время как исконные староверческие ценности размываются и теряют свое цивилизационное значение[62].

Ретротопия может маскироваться под форму традиционной культуры. Так, созданный для поддержания колониальной гегемонии негативный образ деспотического Востока, деконструированный на излете эпохи информализации в 1978 г. Э. Саидом и обозначенный им как проявление идеологии ориентализма, в последнее время воссоздан в контргегемонической форме в странах, успешно осуществляющих модернизацию, в частности в Индии и Юго-Восточной Азии в варианте, который Л. Лау называет ре-ориентализмом. Перед лицом реанимации имперских представлений об истории ре-ориентализм призван обозначить суверенное место стран Востока в истории глобализирующегося мира и попутно легитимировать местные авторитарные и националистические режимы, дистанцируя их от неугодных им глобальных явлений, в частности, от универсализма прав человека[63].

[59] Элиас Н. 2001. Т. 2: 308.
[60] Ионов 2015: 337-339.
[61] Ионов 2019[a]: 163-169.
[62] Крихан 2018: 123.
[63] Lau 2009.

* * *

В этих условиях все большее значение приобретает и растущее сопротивление встречает деятельность организаций и лиц, направленная на активизацию индивидуальной памяти о жертвах репрессий в СССР, таких как международное историко-просветительское общество «Мемориал», которое приобрело статус «иноагента», актуализация у школьников семейной памяти о Великой отечественной войне путем написания сочинений об этом времени, движение «Последний адрес», стремящееся установить индивидуальную связь жителей городов и жертв репрессий как жильцов одного дома, а также многие другие. При данных обстоятельствах формальные признания российского государства в отдельных ошибках и сциентизация исторического знания (основанная на физикалистской модели «прочного» времени) могут стать лишь очередными средствами манипуляций. Не надо забывать, что новые повороты в исторических исследованиях не изобретаются, а рождаются на фоне изменившейся исторической реальности и мировоззренческих основ, путем внесения изменений в повестку дня исторических исследований и вопросник историка, как это было с возникновением в России социальной истории или истории культуры в XIX в., истории ментальностей в XX в.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Аверин Б.В. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003. 399 с. [Averin B.V. Romany Nabokova v kontekste russkoj avtobiograficheskoj tradicii. SPb.: Amfora, 2003. 399 s].

Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия [II приглашение к диалогу] // Mobilis in mobili. Личность в эпоху перемен. Междисциплинарный проект Александра Асмолова / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: ЯСК, 2018. С. 16-20. [Asmolov A.G. Psihologiya sovremennosti: vyzovy neopredelennosti, slozhnosti i raznoobraziya [II priglashenie k dialogu] // Mobilis in mobili. Lichnost' v epohu peremen. Mezhdisciplinarnyj proekt Aleksandra Asmolova / Pod red. A.G. Asmolova. M.: YASK, 2018. S. 16-20].

Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: НЛО, 2017. 272 с. [Assman A. Raspalas' svyaz' vremen? Vzlet i padenie temporal'nogo rezhima Moderna / Per. s nem. B. Hlebnikova. M.: NLO, 2017. 272 s.].

Бауман З. Ретротопия / Пер. с англ. В.Л. Силаевой. М.: ВЦИОМ, 2019. 160 с. [Bauman Z. Retrotopiya / Per. s angl. V.L. Silaevoj. M.: VCIOM, 2019. 160 s.]

Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Пер. с англ. Д.Я. Федотова, М.П. Папуша. М.: Смысл, 2000. 476 с. [Bateson G. Ekologiya razuma. Izbrannye stat'i po antropologii, psihiatrii i epistemologii / Per. s angl. D.YA. Fedotova, M.P. Papusha. M.: Smysl, 2000. 476 s.]

Бибина И.В. Пространство и время в романе В.В. Набокова «Ада, или Радости страсти» // Известия Саратовского университета. Серия Филология. Журналистика. 2008. Т. 8. Вып. 1. С. 53-59. [Bibina I.V. Prostranstvo i vremya v romane V.V. Nabokova «Ada, ili Radosti strasti» // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya Filologiya. ZHurnalistika. 2008. T. 8. Vyp. 1. S. 53-59].

Горшков Ю.Е. Философия Ницше в идеологии германского нацизма // Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». 2011. № 3. С. 200-204. [Gorshkov YU.E. Filosofiya Nicshe v ideologii germanskogo nacizma // Vestnik MGOU. Seriya «Istoriya i politicheskie nauki». 2011. № 3. S. 200-204].

Дугин А.Г. Консервативная парадигма и критика прогресса в теории Питирима Сорокина: актуальность для современной России // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2010. № 1. С. 22-30. [Dugin A.G. Konservativnaya paradigma i kritika progressa v teorii Pitirima Sorokina: aktual'nost' dlya sovremennoj Rossii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18. Sociologiya i politologiya. 2010. № 1. S. 22-30].

Дутчак Е.Е. Геополитическая символика сквозь призму эсхатологии (Вопросы формирования социальной основы старовериа) // Общественные науки и современность. 2010. № 3. С. 163-172. [Dutchak E.E. Geopoliticheskaya simvolika skvoz' prizmu eskhatologii (Voprosy formirovaniya social'noj osnovy staroveriya) // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2010. № 3. S. 163-172].

Ионов И.Н. Игры со временем: российские образы «другой Европы» // Общественные науки и современность. 2019(а). № 4. С. 158-173. [Ionov I.N. Igry so vremenem: rossijskie obrazy «drugoj Evropy» // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2019. № 4. S. 158-173].

Ионов И.Н. Коррекция темпорального режима и проблемы теории истории. Ст. 1 // Диалог со временем. 2019(б). Вып. 67. С. 17-33. [Ionov I.N. Korrekciya temporal'nogo rezhima i problemy teorii istorii. St. 1 // Dialog so vremenem. 2019b. Vyp. 67. S. 17-33].

Ионов И.Н. Коррекция темпорального режима и проблемы теории истории. Ст. 2 // Диалог со временем. 2020. Вып. 70. С. 5-22. [Ionov I.N. Korrekciya temporal'nogo rezhima i problemy teorii istorii. St. 2 // Dialog so vremenem. 2020. Vyp. 70. S. 5-22].

Ионов И.Н. Мировая история в Глобальный век: Новое историческое сознание / Отв. ред Л.П. Репина. М.: Аквилон, 2015. 464 с. [Ionov I.N. Mirovaya istoriya v Global'nyj vek: Novoe istoricheskoe soznanie / Otv. red. L.P. Repina. M.: Akvilon, 2015. 464 s.]

Керов В.В. «Се человек и дело его…»: Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства России. М.: Экон-Информ, 2016. 654 с. [Kerov V.V. «Se chelovek i delo ego…»: Konfessional'no-eticheskie faktory staroobryadcheskogo predprinimatel'stva Rossii. M.: Ekon-Inform, 2016. 654 s.].

Крихан Д.Р. Особенности старообрядческого предпринимательства и его отношений с властью в современной России // Бизнес. Общество. Власть. 2018. № 2(28). С. 1-125. [Krihan D.R. Osobennosti staroobryadcheskogo predprinimatel'stva i ego otnoshenij s vlast'yu v sovremennoj Rossii // Biznes. Obshchestvo. Vlast'. 2018. № 2(28). S. 1-125].

Лезов С.В. Теология культуры Пауля Тиллиха // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: Юрист, 1995. С. 461-471. [Lezov S.V. Teologiya kul'tury Paulya Tilliha // Tillih P. Izbrannoe. Teologiya kul'tury. M.: YUrist, 1995. S. 461-471].

Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в. Самара: Книга, 2011. 448 с. [Leont'eva O.B. Istoricheskaya pamyat' i obrazy proshlogo v rossijskoj kul'ture XIX – nachala HKH vv. Samara: Kniga, 2011. 448 s.].

Набоков В.В. Ада или Радости страсти / Пер. С. Ильина. М.: Азбука-Аттикус, 2015. 618 с. [Nabokov V.V. Ada ili Radosti strasti / Per. S. Il'ina. M.: Azbuka-Attikus, 2015. 618 s.]

Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1990 [Nietsche F. Sochineniya v 2 t. M.: Mysl', 1990].

Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права, и общественных отношений. СПб.: РХГИ, 2000. 1056 с. [Sorokin P. Social'naya i kul'turnaya dinamika: Issledovanie izmenenij v bol'shih sistemah iskusstva, istiny, etiki, prava, i obshchestvennyh otnoshenij / SPb.: RHGI, 2000. 1056 s.].

Сорокин П. Кризис нашего времени // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с. [Sorokin P. Krizis nashego vremeni // Sorokin P. CHelovek. Civilizaciya. Obshchestvo. M.: Politizdat, 1992. 543 s.].

Терпигорев-Атава С.Н. Оскудение. В 2 т. М.: ГИХЛ, 1958. 426, 330 с. [Terpigorev-Atava S.N. Oskudenie. V 2 t. M.: GIHL, 1958. 426, 330 s.].

Уэст Д.Л. Старообрядцы и предпринимательская культура в царской России// Современная конкуренция. 2008. № 3 (15). С. 130-143 [West D.L. Staroobryadcy i predprinimatel'skaya kul'tura v carskoj Rossii// Sovremennaya konkurenciya. 2008. № 3 (15). S. 130-143].

Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М.: РОССПЭН, 2011. 375 с. [Fizpatrik SH. Sryvajte maski! Identichnost' i samozvanstvo v Rossii XX veka. M.: ROSSPEN, 2011. 375 s.]

Франк С.Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. 607 с. [Frank S.L. Sochineniya. M.: Pravda, 1990. 607 s.].

Чук Л.М. Время в романах Набокова // Вопросы литературы. 2015. № 1. С. 284-302. [CHuk L.M. Vremya v romanah Nabokova // Voprosy literatury. 2015. № 1. S. 284-302].

Шапиро А.Е. «Ада, или Радости страсти»: функции времени и пространства в творчестве В.В. Набокова // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Литературоведение. Журналистика. 2015. № 3. С. 44-53. [SHapiro A.E. «Ada, ili Radosti strasti»: funkcii vremeni i prostranstva v tvorchestve V.V. Nabokova // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Ser. Literaturovedenie. ZHurnalistika. 2015. № 3. S. 44-53].

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. В 2 т. М.-СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 2. 382 с. [Elias N. O processe civilizacii. Sociogeneticheskie i psihogeneticheskie issledovaniya. V 2 t. M.-SPb.: Universitetskaya kniga, 2001. T. 2. 382 s.].

Civilisation and Informalisation Connecting Long-Term Social and Psychic Processes / Eds. C. Wouters, M. Dunning. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2019. XXI, 390.

Kilminster R. Informalisation, Sociological Theory and Social Diagnosis // Civilisation and Informalisation Connecting Long-Term Social and Psychic Processes / Eds. C. Wouters, M. Dunning. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2019. P. 315-346.

Koselleck R. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. N.Y.: Columbia U.P., 2004. 344 p.

Lau L. Re-Orientalism: The Perpetration and Development of Orientalism by Orientals // Modern Asian Studies. 2009. Vol. 43. Iss. 02. P. 571-590.

Wouters C. Civilisation and Informalisation: The Book. Six Chapters // Civilisation and Informalisation Connecting Long-Term Social and Psychic Processes / Eds. C. Wouters, M. Dunning. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2019. P. 1-184.

***Ионов Игорь Николаевич**, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Отдел историко-теоретических исследований, Институт всеобщей истории РАН; cih@igh.ras.ru*

Correction of the temporal regime and problems of the theory of history. Part 3

The article shows how the problems of the change of temporal mode, in particular the departure from self-identification with the victims of the Holocaust, are related to the situation of discursive hegemony. Retrotopy, as Z. Bauman called it, attempts to revive the ideal past and is dangerous only when it is accompanied by the upholding of a «solid» model of time. Then it gives rise to antihistoricism in its various forms: the ideals of historical amnesia (F. Nietzsche), the departure from historicism to aeternalism and mythmaking (P. Sorokin), criticism of relativism as a manifestation of archaism (Z. Bauman). However, in Russian historiography and cultural history, we come across other variants of retrotopy associated with the process of transition from passéism to futurism and manifesting themselves as mild forms of counter-hegemony. An example of retrotopia as self-identification with an exploited people is the history of Old Believers, and of a therapeutic version of time – the theory of personal retrotopia, «shimmering time» by V. Nabokov. The basis of their development is the conviction in the «fluidity» of the time of modernization as a norm (A. Asmolov), and not the recognition of some mistakes of the state or the scientization of historical knowledge.

Key words: temporal regime, hegemony, counter-hegemony, informalisation, aeternalism, fluid time, shimmering time

***Igor Ionov,** PhD (History), senior researcher, Department of Historical and Theoretical Studies, Institute of World History, Russian Academy of Sciences; cih@igh.ras.ru*

О.В. Заиченко

«РУССКАЯ ТЕМА» В РАННЕЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ Э.М. АРНДТА НА ФОНЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ДИСКУРСА О РОССИИ НА РУБЕЖЕ XVIII–XIX ВВ.

В статье предпринята попытка анализа ранних сочинений немецкого публициста Эрнста Морица Арндта как индикаторов трансформации европейского дискурса о России 1790–1810 гг. В центре внимания – его программная работа «Краткое слово о России» (1808/1809), в которой образ России впервые становится одним из инструментов формирования немецкой национальной идентичности.

***Ключевые слова**: Эрнст Мориц Арндт, Россия, Просвещение, французская и немецкая публицистика, «европейская идея», национальная идентичность*

Короткий по времени, но весьма насыщенный событиями период между Французской революцией, наполеоновской экспансией в Европу и началом освободительной войны в Германии ознаменовался ощущением наступившего «разлома эпох», после которого Европа уже никогда не будет единой. Космополитизм, рациональная картина мира, заложенная просветителями XVIII в, а также позитивный взгляд на историю на рубеже XVIII–XIX вв. уступили место общему ощущению растерянности и беспомощности, вызвав кризис европейского самосознания, на смену которому шла стремительно развивающаяся национальная идентичность. Одним из идейных лидеров нового для Европы национально-освободительного движения стал немецкий публицист и политик Эрнст Мориц Арндт. Будучи последовательным оппонентом наполеоновской пропаганды, именно он был одним из тех, кто формировал европейский внешнеполитический дискурс и новый взгляд на Россию, как одну из главных составляющих этого дискурса.

Внешнеполитические успехи России последней трети XVIII в. требовали осмысления «русского феномена», и первыми взяли на себя эту миссию французские и немецкие просветители. Благодаря им Россия вошла в европейское сознание как «страна ожидания», которая хотя и находилась в «темноте невежества», но все же двигалась к «свету» цивилизации. В ее исторической судьбе они видели подтверждение тезиса об общественном прогрессе, связанном с успехами просвещения и реформаторской деятельности «монархов-философов».

После Французской революции интеллектуальную жизнь континента начинает определять не философия, а политика. Идейную повестку формировал раскол между сторонниками и противниками революции. На этом фоне идет быстрая политизация восприятия «северной» империи в общественном мнении Европы. Сначала во французской публицистике, а затем и в немецкой либеральной среде происходит стремительная коррекция «заблуждений» философии «классического»

Просвещения, которая сопровождалась отказом от целостного непредвзятого взгляда на Россию, заложенного во второй половине XVIII в. Целенаправленное конструирование ее нового образа исключительно через призму внешней политики неизбежно порождало множество спекуляций. Спасительница Европы от революционного хаоса по версии «охранителей», для либералов Россия становится главной угрозой европейской цивилизации. Причем обе эти противоположные позиции опирались на одну и ту же концепцию сохранения «баланса сил», которая играла определяющую роль в международном дискурсе XVIII – первой половины XIX в. И здесь не обошлось без идейного раскола. С одной стороны, Россия и консерваторами, и либералами осознавалась как важная часть этого баланса, а, следовательно, и часть Европы. С другой стороны, она сознательно выводилась последними за рамки европейского континента и перемещалась в Азию. По версии французской пропаганды, Россия являлась азиатской империей, стремящейся к мировой гегемонии, и поэтому представляла собой постоянную угрозу политическому равновесию, а значит и Европе. С помощью французской цензуры и подконтрольной ей прессы европейскому обывателю на протяжении почти 20 лет навязывался образ России как чужеземного агрессора, который вторгается в Европу из-за ее пределов с целью подчинить себе местное население и присвоить плоды более развитой цивилизации. Именно этот подход к восприятию России, разработанный французскими и немецкими либеральными публицистами на рубеже веков, а затем усовершенствованный наполеоновской пропагандой в первое десятилетие XIX в. лег в основу концепции «русской угрозы»[1].

Родоначальником концепции, надолго определившей особенности европейского внешнеполитического дискурса, стал публицист швейцарского происхождения Жак Малле дю Пан, анонимно опубликовавший в 1789 г. памфлет «Об угрозе политическому балансу Европы, или анализ причин, поколебавших его основы на Севере со времен восшествия на российский престол Екатерины II». За короткое время этот текст был переведен практически на все европейские языки. Автор одним из первых ввел в политическую литературу частично заимствованный у просветителей принцип формирования образа страны через призму внешней политики и личных качеств правящего монарха. Главной составляющей его восприятия России была культивируемая им «русская угроза», главным воплощением страны и этой угрозы стала действующая на тот момент правительница – Екатерина II. Малле дю Пан обвинял ее в варварской системе правления и узурпации власти как внутри страны, так и в отношении соседних государств. Тема внутреннего варварства России и внешней экспансии была подхвачена и дополнена французскими и немецкими публицистами на рубеже XVIII–XIX вв. Свой законченный вид она обрела в виде антитезы «цивилизация против варварства» в наполеоновской пропаганде, призванной сплотить народы Европы во-

[1] Заиченко 2018.

круг французского лидера перед лицом «русской угрозы». В частности, военная экспансия Франции интерпретировалась как борьба цивилизации против варварства: Наполеон представал как лидер всех европейских наций, отстаивающий их свободу перед лицом наступающего с окраин континента варварства в лице России и островной Англии.

Эрнст Мариц Арндт был одним из первых политиков, кто в момент наивысшего военного триумфа Франции осмелился противопоставить «европейской идее» Наполеона собственную трактовку национальной идеи, в которой «русская тема», связанная с поиском альтернативы французской гегемонии, занимала не последнее место. Его размышления о роли России в Европе в ранних публицистических произведениях 1800–1809 гг. и, прежде всего, в «Кратком слове о России», которое до настоящего времени не попадало в фокус интересов отечественных историков, станут предметом нашего исследования. В этом сочинении ему удалось соединить аналитический подход и абстрактные теории просветителей с пропагандистскими приемами французских публицистов, придав тем самым дополнительную убедительность собственной идее «германской исключительности», размышлениям о немецкой национально-освободительной войне и России в роли потенциального союзника.

Эрнст Мориц Арндт (1769–1860) был выдающимся мыслителем, поэтом и общественным деятелем, очень эффективно пропагандировавшим свои политические воззрения в различных публицистических изданиях. В своих сочинениях он последовательно отстаивал идею сильного единого немецкого национального государства, продолжая оказывать воздействие на состояние умов в Германии и многие годы спустя после своей смерти. Во всяком случае до тех пор, пока немецкий национализм и имперская идея не были полностью дискредитированы после разгрома Третьего Рейха во Второй мировой войне.

До 1871 г. воспетая Арндтом идея «немецкого отечества» в общественном мнении Германии была тесно связана с образами двух его более сильных соседей – России и Франции. Как и многие другие патриотически настроенные идеологи XIX в., Арндт активно использовал тему французской и русской «угрозы» для достижения национальной консолидации немцев. Он действовал в парадигме «отечество в кольце врагов», опираясь на распространенное в этот период представление о том, что две великие, стремящиеся к захватам империи – Франция и Россия, между которыми оказались зажаты разобщенные германские земли, с Запада и Востока периодически угрожают нарождавшемуся немецкому единству. Очень долго и идеологические последователи Арндта, и его противники продолжали ссылаться на его мнение о России, не придавая большого значения тому, что оно несколько раз кардинально менялось в зависимости от политической ситуации в Германии и Европе.

За свою продолжительную жизнь Арндт как минимум трижды менял позицию в отношении «северного соседа». На заре своей научно-публицистической карьеры он претендовал на роль беспристрастного

исследователя, который, полемизируя с просветителями, изучает русскую историю с точки зрения ее национальной специфики и культурной самобытности на фоне унифицированной европейской цивилизации. Сделанные на этой основе выводы он использовал в качестве аргументов, подтверждающих правоту его собственной историософской теории о закономерностях развития человеческих сообществ. После создания Рейнского союза и поражения Пруссии осенью 1806 г. негативный образ России, помимо академических рассуждений, стал активно использоваться им в политическом антифранцузском дискурсе. За короткий период освободительных войн с Наполеоном (1812–1815) Арндт, вынужденный вслед за бароном фон Штейном бежать в Россию, из немецкого националиста превратился в ярого русского патриота[2]. Затем, разочаровавшись в политике Александра I в отношении Германии после Венского конгресса, он вновь занял к России критическую позицию, что не помешало ему сохранить уважение и добрые чувства к ее императору.

Мы коснемся начального периода увлечения Арндта Россией и ее историей, который можно обозначить как «научно-политический», когда немецкий идеолог пытался совместить в себе две ипостаси: кабинетного ученого и политического публициста. Впервые он обращается к теме России во время работы над диссертацией в 1800 г., когда, как и многие немецкие интеллектуалы того времени, выбирает для себя академическую карьеру. Получив диплом Йенского университета по теологии, несмотря на успехи на литературном поприще, Арндт в этот период позиционировал себя, прежде всего, как историка. В 1800 г. в Грейфсвальдском университете он защитил докторскую диссертацию по истории и философии на тему «Историко-философское исследование, останавливающееся на некоторых моментах, связанных с критикой взглядов Руссо на государство и общество»[3]. В этом сочинении, направленном против идеи Руссо о превосходстве естественного природного состояния человека над цивилизацией, которую последний считал причиной падения нравственных ценностей в обществе, впервые в качестве контраргумента у Арндта появляется негативный и весьма схематичный образ «московита». Наряду с американскими индейцами, ставшими в полемике с Руссо классическим примером «умственной и духовной деградации, а также жестокой бесчувственности диких народов», в этой работе вместе с турками и персами фигурируют и народы России в качестве «индейцев Европы»[4]. С «бесчувственностью» индейцев он сравнивает «душевную черствость» и «грубую примитивность» «московитов», которые принципиально отличаются от европейцев, впитавших в себя гуманистические и правовые основы античности. По мнению Арндта, индейцы не меньше гордятся своей способностью переносить боль и лишения, чем русские, которые безразлично сносят голод, холод и «ужасное нака-

[2] Заиченко 2019.
[3] Arndt. Dissertatio…: 1-150.
[4] Ibid. T. VIII: 20.

зание кнутом», порожденные «суровым климатом и местным варварством»[5]. Произвол вместо закона, наличие системы жестоких физических наказаний, «насилие, возведенное у московитов в ранг нормы»[6], наряду с их готовностью безропотно сносить любые страдания рассматриваются Арндтом как один из главных признаков интеллектуальной неразвитости и примитивности русского народа. При этом сам народ, его история и образ жизни были представлены в виде абстрактной схемы и, очевидно, мало интересовали автора. Пример «условной» России, как и Турции, Персии и американских индейцев был необходим Арндту для доказательства ключевого тезиса, сформулированного им для опровержения теории Руссо: «Народы, привыкшие к жестокости и лишениям, не способны к возвышенным стремлениям и великим порывам, а, следовательно, обречены на вечную тьму варварства»[7].

В том же году Арндт получил место приват-доцента филологии и истории в Грейфсвальдском университете, а уже в 1806 г. стал экстраординарным профессором. В это время он увлекся политикой. После французской оккупации германских государств он превратился в одного из самых последовательных врагов Наполеона и одновременно защитников независимости немцев как единой нации.

После захвата французами в 1807 г. Мекленбурга и померанских земель Арндт за свои взгляды и политическую деятельность лишился доцентуры в Грейфсвальде и оказался под угрозой ареста. Будучи уроженцем острова Рюген, входившего в состав шведских прибалтийских территорий, он бежал в Швецию от преследований французской администрации. В Стокгольме Арндт поступил на государственную службу и получил возможность издавать собственный политический журнал «Северный контролер» на немецком языке, предназначенный для немцев, населявших оккупированную французами шведскую часть Померании. Журнал выходил во время последней русско-шведской войны 1808–1809 гг. тиражом 1000 экземпляров и финансировался правительством Густава IV Адольфа. Этим объясняется не только антифранцузская, но и ярко выраженная антирусская направленность издания и публикация в нем большого числа официальных документов, военных бюллетеней и сводок, а также пропагандистских статей, защищающих внешнеполитическую позицию Швеции в связи с французской оккупацией и войной с Россией. Помимо размещения в журнале вышеназванных обязательных материалов, Арндт имел возможность публиковать собственные произведения на темы, которые казались ему актуальными. Самым важным из них по объему и содержанию является большое эссе полемического характера, полностью посвященное России и напечатанное частями в нескольких номерах журнала под названием «Краткое слово о России, ее отношении к остальной Европе до и после Петра Великого».

[5] Arndt E. M. Ein kurzes Wort. T. X: 22–24; T. XI: 26–30.
[6] Ibid. T. X: 22.
[7] Ibid. T. XI: 28.

Это было не единственное обращение Арндта к проблематике, связанной с российской империей, за рассматриваемый период. Он эпизодически касался ее в работе «Германия и Европа»[8] (1803), а в первой части его раннего программного труда «Дух времени» (1806)[9], изданного в датской Альтоне, можно найти даже целую главу, посвященную России. Но все эти попытки носят отрывочный характер и скорее напоминают подготовительные наброски к более серьезному исследованию занимавшей его в то время «русской темы». В отличие от «Краткого слова о России» они не дают той оригинальной картины «русского мира» на фоне развития европейской цивилизации, которую Арндт впервые рисует в «Северном контролере» в 1808 г. Наряду с многочисленными спекуляциями, к которым прибегает автор для подтверждения своих политических выводов, здесь он делает попытку переосмысления места и роли России в Европе, которая сопровождалась демонстративным отходом от общепринятых трендов европейского дискурса на эту тему, сложившихся после Французской революции.

Очевидно, что после Тильзита – на фоне русско-шведской войны и развала очередной антифранцузской коалиции – общая тональность этого программного сочинения, написанного в Стокгольме немецким патриотом, могла быть только негативной по отношению к России. В этот период эту негативную оценку разделяли многие политические деятели Германии. Большинство немцев, возлагавших серьезные надежды на молодого русского государя, было разочаровано последствиями Тильзитского мира 1807 г., превратившего Россию в союзницу Франции, и декларируемым «братским союзом» двух императоров - Наполеона и Александра. Очень влиятельный германо-австрийский политический деятель Фридрих фон Генц, писал в 1807 г. шведскому дипломату и по совместительству немецкому поэту Карлу Густаву фон Бринкману, что «самая большая, пагубная и, к сожалению, неизлечимая наша иллюзия – ожидать помощь от России, – ...привела Австрию, Пруссию и Англию ко всем современным бедам[10]». Барон Генрих Фридрих фон Штейн, возглавивший в октябре 1808 г. прусское правительство, также был скептически настроен по отношению к России. «Если Австрия однажды потерпит поражение, – предостерегал он в меморандуме от 8 сентября 1808 г. короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III, – то Франция во главе со всей Европой выступит против России», и эта страна, «находящаяся под властью развращенной бюрократии и населенная рабами», «лишь недолгое время сможет противостоять образованной Европе»[11]. За всем этим стояла плохо скрываемая досада и недоверие поверженных Наполеоном союзников по коалициям друг к другу. Нелицеприятные оценки коалиционного взаимодействия европейских государей на фоне верени-

[8] Arndt 1803: 330 – 332; 418ff.
[9] Arndt 1806. T. I: 265 – 289.
[10] Genz an Brinckmann vom 16. Oktober 1807… Bd. 2: 284.
[11] Freiherr vom Stein. Denkschrift vom 8. September 1808… Bd.2: 12ff.

цы поражений в борьбе с Наполеоном нашли отражение на страницах политического эссе Арндта. Главную вину за развал коалиции он возлагал на Россию, которую обвинял в слабости и предательстве общих интересов. Хотя в ходе антифранцузских войн все монархи, заключая союзы, клялись в верности и при этом обманывали друг друга. Европейские государи с негодованием выступали против политики Наполеона, призывая к объединению в борьбе с этим «корсиканским выскочкой», «головорезом», «воспитанником якобинцев», и одновременно соперничали друг с другом, сражаясь за его расположение[12].

На этом фоне общей фрустрации политика Александра в период военного триумфа Франции едва ли выглядела более последовательной, чем действия его немецких союзников. В течение первых лет после заключения Тильзитского мира Наполеон и Александр вели себя по отношению друг к другу как настоящие друзья и „августейшие братья". В 1807 г. Россия поддержала Берлинский декрет Наполеона, присоединившись к континентальной блокаде, что было воспринято бывшими союзниками по коалиции как предательство. При монаршей встрече в Эрфурте в 1808 г. оба императора выступали как верховные правители Европы на фоне подчиненных им князей и королей. Не удивительно, что в течение следующих лет многие в Германии верили, что Россия станет союзницей Наполеоновской империи. При прусском дворе тогда открыто заговорили о «Тильзитской измене».

> «Ради благосклонности Бонапарта, – писал, выражая общие настроения, Эрнст Мориц Арндт, – русские пожертвовали своей честью, то есть самым дорогим и важным, что есть как у нации, так и у отдельного человека. Что они обещали? – Освободить Германию, заключить взаимовыгодный и равноправный союз с королями Швеции и Пруссии, чтобы во всех своих действиях поддерживать друг друга. И что в итоге? – Мы видим несчастного короля Пруссии с разгромленной армией. …А действия России в отношении Швеции? – Это сплошной стыд и предательство. А действия России в отношении Англии? – Это был смертельный удар в спину»[13].

На этом эмоциональном фоне вполне ожидаемо воспринималось то раздражение, с каким прусский министр барон фон Штейн, выражая общее мнение, вынес суровый приговор России, не оправдавшей надежд большинства «немецких патриотов». «Европе нечего ждать от России, – писал он в письме фрейлине австрийского двора графине Людовике Ланцкоронской в 1810 г., – это всего лишь необработанная инертная масса, которая имеет так же мало привлекательности в настоящий момент, как и перспектив в будущем»[14].

Однако, соглашаясь во многом со Штейном, Эрнст Мориц Арндт не мог не осознавать того, что в сложившейся безнадежной ситуации

---

[12] Достаточно вспомнить об императоре Австрии Франце II, который, будучи лишен Наполеоном короны Священной Римской империи после ряда военных поражений, в 1810 г. отдал ему в жены свою дочь Марию-Луизу.

[13] Arndt. Ein kurzes Wort… Teil II: 383.

[14] Freiherr vom Stein. Brief an die Gräfin Ludovica… vom 17. März 1810… Bd. 3: 245.

Александр I оставался единственным европейским монархом, помимо короля Англии, который не был разгромлен Наполеоном на собственной территории, а, следовательно, сохранил потенциал к сопротивлению. Стремление призвать Россию и ее императора к исполнению своей «исторической миссии» и «священного долга» перед народами Европы, а именно к бескомпромиссной борьбе с Францией, заставило его взяться за перо. Личные и внешние обстоятельства наложили свой отпечаток на сочинение, которому сам автор придавал большое значение, сделав его ключевым для своего издания за 1808/09 гг.

Как мы уже отмечали, в первое десятилетие нового века, имея большой успех в качестве политического публициста, Арндт, несмотря на лишение его университетской кафедры, пытается предстать перед читателем в образе одновременно и ученого, и журналиста. При написании политических статей он довольно успешно использовал приемы, наработанные за восемь лет академической карьеры. Он быстро осознал, что сочетание претензий на беспристрастную аналитику с внешними признаками научной объективности придавали дополнительную убедительность его политическим доводам даже в откровенно пропагандистских текстах. Подобный дуализм присутствует и в рассматриваемом нами сочинении Арндта «Краткое слово о России». Его условно можно разделить на две неравные части: политическую и академическую.

Политическая часть пронизана упреками в адрес России и ее императора. Критикуя Александра I за непоследовательность, он ставил ему в вину даже не столько нынешнюю войну со Швецией, сколько последовавший вслед за этим столкновением бывших союзников по четвертой коалиции 1806–1807 гг. кризис в антифранцузском лагере, а также ослабление и подрыв единства европейских сил, готовых к сопротивлению экспансии Наполеона. Россия, по мнению Арндта, не преследует в ходе русско-шведской и русско-турецкой войн, которые она вела на тот момент, своих подлинных интересов, а преимущественно озабочена тем, чтобы понравиться французам. «Тот факт, что сами русские не хотят признать, что сегодня они являются всего лишь самыми важными холопами Бонапарта, что они до сих пор пытаются сохранить видимость независимой нации, лишь подтверждает простую истину: никто не хочет признать собственное поражение и позор»[15].

В вину Александру Арндт ставил нарушение перемирия с Османской империей 1808 г. и возобновление Россией в 1809 г. военных действий против Турции в рамках затяжной русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Еще один пример бездумного следования России в фарватере французской политики он видел в факте неучастия Александра в войне пятой коалиции, хотя русский император, связанный на тот момент союзным договором с Бонапартом, сделал все возможное, чтобы избежать военных столкновений с Австрией. Уступая настойчивым требованиям Наполеона, он ограничился лишь формальной отправкой в Волынь на

[15] Arndt E. M. Ein kurzes Wort… Teil II: 382.

русско-австрийскую границу 20 тысячного корпуса. «Но теперь маски сброшены, и звучат новые призывы к войне, – писал Арндт по поводу пятой коалиции. – Пруссия, Россия и Англия должны совместно противостоять французскому высокомерию… Но что сделали русские за пять месяцев?.. Мы видим лишь слабость и лень, непонятные мне легкомыслие и безмятежность»[16]. По мнению Арндта, при Александре I Россия отказалась от завещанной Петром Великим европейской миссии. Она подчинилась Наполеону, разрушившему европейский порядок, вместо того, чтобы сопротивляться ему всеми силами. Самое очевидное проявление слабости русских – Тильзитский мир. Однако позорные мирные условия и ненасытное желание экспансии французского императора, в конце концов, надеется Арндт, еще принудят их к активным действиям, и они вспомнят о своих подлинных политических задачах, которыми пренебрегали в течение последних 10 лет.

Как мы видим, в этой части эссе Арндт, полностью отказавшись от использования пропагандистской концепции «русской угрозы», меняет привычные акценты. Он четко формулирует и последовательно связывает между собой идеологемы о «французской угрозе» и «русской вине», получившие распространение в германском антифранцузском дискурсе после Тильзитского мира. Немецкие дворы, с которых автор снимает всякую ответственность за неудачную политику и военные поражения, предстают в качестве «несчастных жертв французской агрессии и русской беспечности»[17]. В оценках европейской политики Александра Арндт идет в фарватере общественного мнения Германии, выражая общую точку зрения «немецких патриотов». Таким образом он дает одну из наиболее полных картин восприятия России, распространенного среди оппозиционно настроенных германских элит, особенно в Пруссии.

Тем не менее. несмотря на отсутствие внешней оригинальности при изложении перипетий современной европейской политики, сочинение Арндта в своей историософской части отличается безусловной новизной в подходе к анализу русской истории и места Российской империи в Европе. Более того, автор демонстрирует еще и новаторство в методе подбора и изложения информации, превращая искусственно сконструированный им образ в инструмент идеологической борьбы. Впервые в немецкой публицистике у Арндта образ России окончательно утратил даже намек на какую-либо объективность и самостоятельное значение, превратившись в абстрактную функцию в борьбе за национально-политические интересы патриотически настроенных немцев. Такой сугубо прагматичный подход к подбору и трактовке фактов русской истории мы могли наблюдать уже при написании Арндтом его докторской диссертации с критикой учения Руссо о «естественном человеке». Теперь же он идет еще дальше. Относительно целостная картина, созданная его предшественниками, у Арндта распадается на отдель-

[16] Ibid: 375.
[17] Ibid: 371.

ные элементы, которые он затем «складывает», словно кубики, по своему усмотрению. Исходя из политической целесообразности, он делает акцент на одних событиях, искажая или замалчивая другие. Кроме того, в зависимости от конъюнктуры он часто меняет оценки на прямо противоположные, приводя множество противоречащих друг другу аргументов, которые должны подтверждать их справедливость.

Одним из примеров может служить довольно спорная для немцев фигура Павла I. За два года до написания «Краткого слова о России» во второй части его более раннего большого труда «Дух времени» Павел I был подвергнут Арндтом резкой критике в стиле французской публицистики начала века. В 1806 г. он рисовал образ Павла как трусливого, капризного и деспотичного монарха, «лишенного всех достоинств и унаследовавшего все пороки своей матери»[18]. Оценивая провозглашение российским православным императором себя магистром католического Мальтийского ордена как «подлинное безумие», Арндт, в частности, отмечал, что даже «облаченный в рыцарскую мантию, русский деспотизм все равно остается самым безжалостным и варварским в Европе»[19]. Однако уже в «Кратком слове о России» 1808/09 гг. Павел характеризуется им как властитель, отличавшийся «редкой активностью» и «твердой волей», которые при благоприятных обстоятельствах могли обеспечить ему «бессмертие в памяти потомков»[20]. Арндт обрушивается с критикой на хулителей Павла, в число которых сам он совсем недавно входил, за предвзятость и недальновидность в оценках этого «великого человека»:

> «Первой и самой большой глупостью, которую он якобы совершил, многие считали его антифранцузской коалицию с Англией и Австрией в 1798 г. и отправку русской армии в Италию. Говорили, что довольно глупо вести войну против государства, с которым нет общих границ и вообще никаких точек соприкосновения, и не только одни парижские газеты называли этот поход крестовым походом Дон Кихота. Но последующий период доказал, что решение Павла было вполне оправдано. Сегодня французские войска подошли к границам России. Если бы все правители заблаговременно подумали о возможных «соприкосновениях» с государствами, пусть даже не имея с ними общих границ, многих несчастий удалось бы избежать»[21].

Арндт резко поменял свое мнение о Павле, так как тот в свое время присоединился к антифранцузской коалиции, и на данный момент этот факт представлялся ему чрезвычайно актуальным. Именно подобных действий немецкий публицист ожидал в 1808–1809 гг. от Александра I, который, однако, не собирался делать ничего подобного. Напротив, он заключил с Наполеоном сепаратный Тильзитский мир и начал войну со Швецией, которая, как считал Арндт, велась исключительно в целях раскола антифранцузской коалиции и была специально инспирирована тайной дипломатией Франции.

[18] Arndt E.M. 1806. T. 2: 50ff.
[19] Ibid: 56.
[20] Arndt E. M. Ein kurzes Wort…T. II: 365.
[21] Ibid: 366.

Но главным новшеством, которое использовал Арндт в этом сочинении, была разработанная им философско-антропологическая теория развития рас и наций, в которую он, отсекая все лишнее, пытался встроить Россию вместе с населявшими ее племенами и народами. Несмотря на свое новаторство и историософский спор с просветителями, Арндт был сыном своего времени, и идейно-исторические корни его теории обнаруживаются, прежде всего, в эпохе Просвещения, а также в трудах более ранних европейских гуманистов, на которые, в свою очередь, опирались французские и немецкие просветители. Речь идет об очень распространенном в середине XVIII в. представлении о том, что физический облик и «характер нации», т.е. ее интеллектуальный и духовный потенциал, сформированы в первую очередь средой ее обитания: «Человек таков, какова его страна». На этой основе Арндт развивает ранние натурфилософские представления, выделив из них для себя три направления: климатическую теорию, теорию противопоставления моря и суши и теорию «природных границ» государства. Именно с этих трех позиций Арндт пытался определить сущность различий между русской и западной цивилизациями и место России в современной ему Европе.

То, что природные условия: климат и ландшафт, формируют качества людей, было глубоко укоренившимся и широко распространенным мнением. Теория климата, сформулированная еще в XVI в. французским философом Жаном Боденом в его знаменитом труде «Шесть книг о государстве», особенно широко и эффективно использовалась Монтескье во втором томе его самого значительного сочинения «О духе законов», где он утверждал, что миром управляет не божественный промысел или фортуна, а действующие в любом обществе объективные общие причины морального и физического порядка, определяющие «дух народа» и соответствующие этому «духу» формы и нормы его государственной и правовой жизни. Прежде всего, климат рассматривается Монтескье, как главная детерминанта, определяющая, в конечном итоге, производные от него компоненты, влияющие на формирование «духа народа», такие как религия, законы, принципы правления, история, нравы и обычаи. В рамках этой теории Монтескье также подробно изучал воздействие природных условий на человека[22]. Арндт, следуя за французскими просветителями, полагал, что правильного понимания «национальной сущности» русских и их истории нет ни у самих русских, ни у иностранцев потому, что «до сих пор никто не был готов рассматривать русский народ, исходя из его внутренних и необходимых отношений с природой, с самим собой и остальной Европой»[23]. Беря за основу анализ «физического» и «географического» аспектов существования народа, он пытается делать выводы о «духовном» и «политическом» уровне его развития, а также его предопределенности. «Очевидно, – констатировал он, – что

[22] Montesquieu Ch. De l'Esprit des loix. T.II: 477-530, 565ff.
[23] Arndt. Ein kurzes Wort… T. I: 101.

русские в сравнении с остальной Европой находятся еще в варварском состоянии. Таковыми являются их обычаи, их конституция, их правительство, их государственные перевороты и революции. В этой связи мы хотим выяснить, – является ли это виной народа и порожденного им квазидворянства, или, может быть, причина этого кроется также в положении страны, во внешних условиях и других случайностях»[24].

Арндт считал, что в отличие от исторического и культурного средиземноморского центра Европы Россия лежит в климатически неблагоприятной зоне, и именно климатические условия обусловили основные различия между европейскими и русским народами: «Север России принадлежит к тем землям, которые малопригодны для жизни человека… А ее центр представляет собой скорее холодную, чем теплую страну, территорию, мало заселенную и еще очень мало застроенную. И даже тогда, когда Россия достигнет наивысшей степени развития своей культуры, никогда народ ее не сможет жить в той красоте и радости, что давно стали естественными для жителей других европейских стран»[25].

Еще одним фактором, определявшим, по мнению Арндта, отличие «внутренней сущности» русских от европейцев, является преобладание равнинного рельефа низинной болотистой местности, в отличие от разнообразного, прежде всего, гористого и морского ландшафта стран Европы, что также должно было служить препятствием на пути экономического и культурного развития русского народа. «В этой стране, - пишет он о России, - Бог не создал гор, лишив местных жителей их божественного влияния…. Почти повсюду можно увидеть лишь унылую и бескрайнюю равнину с туманной нездоровой атмосферой, отравленной испарениями, населенную неприхотливыми крестьянами, занятыми тяжелым монотонным трудом, но совсем не пригодную для смелых и дерзких сыновей свободы»[26]. Суровый, мало пригодный для жизни климат, и равнинный рельеф неблагоприятно отразились на формировании «духа» народа, предопределив «варварство» и «рабскую сущность» русских, отличающих их от свободной и цивилизованной Европы. «Чем больше гор и чем больше моря, – пишет Арндт – тем больше смелости, высокого смысла и полета духа у народов. На равнинах и болотах вместе с мглой и туманами господствуют меланхолия, уныние, грубость, короче все сопутствующие проявления слабости и рабства»[27].

Доказывая природную предопределенность «варварства» и «рабства» русских, Арндт «обогатил» климатическую теорию просветителей собственными идеями. Речь идет о факторе неблагоприятного соседства, ведущего к смешению с «народами-паразитами», «со скверной и подлой чернью, которая не может быть полезна основному капиталу нации»[28].

[24] Ibid. S.119.
[25] Ibid. S.106.
[26] Ibid: 107.
[27] Ibid: 107.
[28] Ibid: 111.

Он впервые применил к анализу «природы» русских тезис о «чистоте расы», введенный в оборот еще немецкими гуманистами XVI–XVII в. для обоснования превосходства древних германцев и современных немцев, как их потомков, над итальянцами и французами, как потомками римлян, подвергшихся смешению с другими племенами. Констатируя факт отсталости России как подтвержденную многочисленными аргументами данность, и продолжая исследовать причины этого «варварского состояния», Арндт придает особое значение «близости и тесным связям русских с варварами», определивших их исторически обусловленное отделение от Европы. «При отсутствии морского побережья около половины ее границ окружены дикими народами, которых ни Бог, ни Герой никогда не приведут к процветанию культуры… Исходя из этих соображений, следует рассматривать исторические обстоятельства существования России»[29]. Русским не повезло так, как народам Европы, которые начали свое развитие на обломках античной цивилизации, унаследовав ее культуру. Русский народ развивается на голом месте, а соседство с варварскими «народами-паразитами», как считает Арндт, убивает в русских всякое «стремление к более счастливому и цивилизованному состоянию». Постоянная борьба с «полудикими племенами» мешает им сконцентрироваться на собственном развитии[30].

Неблагоприятное соседство порождает еще один негативный фактор, отрицательно влияющий на «дух» наций, а именно, их смешение, невозможное для «благородных» народов. Исходя из этого, Арндт рассматривает многонациональность российского государства как отягчающее обстоятельство, мешающее его развитию: смешение русских со времени монгольского ига с «толпой всяческого человеческого отребья», пригнанного монгольскими завоевателями, было наказанием, которое «бесконечно умножило холопскую сущность народа, хотя она не была присуща ему изначально», и «опорочило благородную русскую породу скверными примесями, наделив ее многими отвратительными чертами из тех, что присущи русским до сих пор»[31]. Все перечисленные выше геополитические компоненты, включенные Арндтом в теорию климата, должны были, в конце концов, придать научное обоснование ответу на поставленный им в самом начале вопрос о причинах того, почему русские до сих пор являются «наполовину дикими варварами».

Объяснению географически предопределенной отсталости России также служила разрабатываемая Арндтом на основе более ранних геополитических идей европейских философов теория о значении близости к морю для культурного развития нации. Эта морская теория встречается у него во многих сочинениях, посвященных истории России, прежде всего, правлению Петра Великого, который, по мнению Арндта, вел все свои войны только с одной целью – чтобы получить выход к незамерза-

[29] Ibid: 109.
[30] Ibid: 121.
[31] Ibid: 122.

ющему морю. Говоря о различиях России и Западной Европы, Арндт продолжал описывать их в принятой в XVIII в. парадигме противоположности суши и моря, а именно как противопоставление нерасчлененной суши в виде закрытой системы, обреченной на застой, и открытого моря, оказывающего развивающее воздействие на прибрежные государства с помощью распространения торгового и культурного обмена.

> «Если мы задумаемся о возможностях, которые Россия получает вместе с выходом к морю, о цивилизации и силе, которые она может приобрести вследствие свободного судоходства, то каждый легко поймет, как ничтожны были ее первоначальные шансы на развитие, и как далек и труден был путь к нему, если сравнивать ее с большинством других европейских стран»[32]. Поэтому Россия изначально была обречена на застой: «Ни буржуазия, ни предпринимательский дух не могут развиться в этой несчастной стране до сих пор, и ветер рабства продолжает пронизывать это далекое государство»[33].

С морской теорией связана теория природных границ, т.е. границ, которые естественны и оптимальны для каждого конкретного государства. Оно стремится к ним, пока развивается, но достигнув, не должно никогда превосходить их. Россия, по мнению Арндта, страдает от слишком большого размера своих территорий. Пожалуй, ей было бы достаточно достичь «ее природных границ» на Балтийском и Черном море. «Восточная граница России, дающая ей господство над территорией, кишащей толпами диких варваров от Оби и Волги до Ледовитого океана и Камчатки, что часто расценивают как преимущество и опору ее власти, на самом деле является ее наибольшим несчастьем. Тот, кто смог бы утопить все, что находится к востоку от Урала, оказал бы русским самую большую услугу, дав им стимул для улучшения собственного состояния и возможность сконцентрировать внимание на самих себе»[34].

На первый взгляд сформированный Арндтом образ России в рамках его философско-антропологической концепции также не отличается большой оригинальностью. Но, присмотревшись внимательнее, можно заметить, как автор, используя старые теории просветителей и идеологические формулы французской пропаганды, наполняет их новым смыслом. Например, нельзя не заметить, что его доктрина о том, что бесконечное расширение государства в ходе экспансии, опасно, прежде всего, для него самого, внешне очень похожа на активно использовавшийся французскими публицистами и их немецкими последователями в конце XVIII – начале XIX в. пропагандистский тезис о России как «колоссе на глиняных ногах», который обязательно должен развалиться под собственной тяжестью. В дискуссии о сохранении баланса сил он являлся одним из аргументов для обоснования «русской угрозы» и подразумевал, прежде всего, опасное расширение России в ходе ее продвижения на Запад для захвата территорий европейских государств. Политический дискурс, развивавший «русскую тему» после Французской революции,

[32] Ibid: 112.
[33] Ibid: 122.
[34] Ibid: 110.

базировался на идейном консенсусе о том, что Россия, как чуждое и враждебное Европе образование, должна быть вытеснена на периферию континента, чтобы вечно оставаться окраинным государством, сосредоточенном на Востоке, на своих «исконных» территориях.

В 1808 г., задолго до изменений общественных настроений в отношении России, Арндт одним из первых предпринял стилистическую и смысловую попытку нарушить этот консенсус. Во-первых, в своем сочинении он намеренно отказывается от популярной роли пропагандиста, имитируя стилистику просветителей XVIII в. и делая упор на изложении историко-философских, т.е. сугубо теоретических изысканий. Он пытается позиционировать свое сочинение как объективное исследование, во всяком случае, в его главной методологической части, где полностью отказывается от спекулятивной политической риторики в отношении России. Во-вторых, он наполняет старые пропагандистские клише новыми смыслами. Главной угрозой для Европы, прежде всего для Германии, он считает Францию, которая уже установила свое «иго» на всей территории германских земель. Противостояние «варварства» и «цивилизации», связанное с «европейской идеей» Наполеона, утратило свою актуальность для порабощенных немцев. Европейского баланса, о сохранении которого так беспокоились французские и немецкие интеллектуалы на рубеже веков больше не существует. В этой ситуации Арндт мог делать ставку только на Россию, которая, «забыв о своем долге» перед разгромленными союзниками, в этот момент всячески демонстрировала приверженность политике «европейского диктатора» – Франции. Поэтому для него уже не существует «русской угрозы», служившей отправной точкой для анализа внешнеполитической ситуации его предшественниками, ее место заняла угроза французская. А правящий русский император рассматривается им не как беспринципный захватчик, а скорее как «сбившийся с пути» потенциальный союзник, преступно пренебрегающий своими обязанностями. Арндт также отказывается от взгляда на Россию как на азиатскую империю, устремившуюся на завоевание Европы. Напротив, он воспринимает Россию как европейское государство, которое забыло о своем «священном долге» перед народами континента. Поэтому он, в отличие от его французских предшественников, формировавших долгое время политический дискурс, призывает Россию полностью переместиться в Европу, отказавшись от балласта – отягощающих ее бесполезных восточных территорий.

Важным вкладом Арндта в формирование нового политического дискурса о России был его отказ от унаследованного от просветителей персонифицированного подхода к истории. На протяжении 20 лет с легкой руки Малле дю Пана именно с политикой царствующего монарха европейские публицисты связывали причину всех бедствий России. Созданная ими негативная картина русской жизни оставляла надежду на то, что со сменой дурного правителя на хорошего должен измениться и вектор развития не только отдельной страны, но всего континента. Не

зря Малле дю Пан заканчивал свое сочинение надеждой на то, что «мы еще можем… увидеть в России государя, который будет руководствоваться в своей политике исключительно принципами благородства… Тогда он утешит нас за горечь стольких бесполезных войн. Он заменит, наконец, ложный блеск на истинное величие, которое проистекает из самоограничения правителей и счастья их подданных»[35].

У Арндта надежды на постепенное вхождение России при мудром правлении благородного монарха в число европейских государств нет и в помине. Германия уже была «беременна» национально-освободительным движением, одним из главных идеологов которого был Арндт. Закладывая основы немецкого национализма, как главной движущей силы антифранцузского сопротивления, он начинает формировать «доказательную базу» об исключительности потомков «древних германцев», т.е. современных немцев, которые должны повторить подвиги великих предков и вновь разбить «проклятых галлов», объявивших себя наследниками Рима. Для немцев, не имевших ни национальной государственности, ни связанной с ней национальной идентичности, чьи земли были вечным полем боя для всех европейских войн, формирование национального дискурса было очень актуально. Пытаясь имитировать научность и объективистскую отстраненность, свойственную эпохе Просвещения, Арндт в основу своих рассуждений положил климатическую теорию просветителей, которая должна была доказать биологическую предопределенность высокого развития одних наций и неполноценности других. Отсюда тезис о природном детерминизме «рабской сущности» и «варварстве» русских, исключающий, по сути, всякие надежды на изменение ситуации к лучшему. В итоге противоположность Европы и России снова укладывалась им в старые рамки дихотомии «цивилизация – варварство». Только на этот раз она увязывалась с национальной идеей и объявлялась природной, неизменной, а, значит, вечной.

Кризис прежних идентичностей – религиозной, сословной, европейской, - на фоне наступающей эпохи национальных государств требовал поиска новых теорий, дефиниций и мифологем для самоидентификации, а также новых ответов на старые вопросы. Окончательный отход от космополитизма и объективизма Просвещения и использование образа России в качестве инструмента для конструирования собственных идеологических теорий сделали ее какое-либо адекватное восприятие невозможным. На смену научному интересу и традиционным образам пришли политические лозунги, идеологические схемы и национальные мифы, ставшие реакцией на обостряющийся европейский кризис.

ИСТОЧНИКИ

Arndt E. M. Dissertatio historico-philosophica, sistens momenta quaedam, quibus status civilis contra Russouii et aliorum commenta defendi posse videtur (Arndt E.M. Dissertation wider Rousseau // Gerettete Arndt-Schriften / Hrsg. V. Dühr A., Gülzow E. Arolsen: Weizacker-Verlag, 1953. S. 1-150.

[35] [Mallet du Pan] 1791: 160.

Arndt E. M. Ein kurzes Wort über Russland und sein Verhältnis und Verhalten gegen das übrige Europa vor und seit Peter dem Großen"// Der Nordische Kontrolleur. 2 Bde. Stockholm: J.P. Lindh; 1808/09. Teil I (6 Hefte: vom März bis September 1808); S. 1-384. Teil II (7 – 12 Hefte: vom September 1808 bis zum Februar 1809); S. 385 - 701.

Arndt E.M. Germanien und Europa. Altona: bei T.F. Hammerich, 1803.

Arndt E.M. Geist der Zeit. Teil I-II, Altona: T.F. Hammerich, 1806. (2. Auflage, 1807).

Freiherr vom Stein. Brief an die Gräfin Ludovica von Lanskoronska vom 17. März 1810 // Briefe und amtliche Schriften. Herausgegeben von Walther Hubatsch, 10 Bände, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1957–1974.

Freiherr vom Stein. Denkschrift vom 8. September 1808 // Briefe und amtliche Schriften / Hrsg. Walther Hubatsch, 10 Bände, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1957–1974.

Genz an Brinckmann vom 16. Oktober 1807// Briefe von und an Friedrich Von Gentz. Auf Veranlassung und mit Unterstützung Der Wedekind-Stiftung Zu Göttingen/Hrsg. Von Fr. C. Wittichen. 2 Bde. München und Berlin: Verlag von R. Oldenbourg, 1909.

[Mallet du Pan J.] Über die Gefahr des politischen Gleichgewichts in Europa oder Auseinandersetzung der Ursachen, die dasselbe seit der Thronbesteigung der rußischen Kaiserinn Katharina II. im Norden erschüttert haben. London: Cadell & Davies, 1790; Leipzig: D.Y.K. Verl., 3te Aufl., 1791.170 S.

Montesquieu Ch. De l'Esprit des loix. Ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c: à quoi l'Auteur a ajouté Des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les Successions, sur les Loix Françoises, & sur les Loix Féodales. 2 T. Geneva : Chez Barrillot & Fils, 1748.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Заиченко О.В. Между «большим страхом» и «великими надеждами». Россия в восприятии германской элиты накануне и во время Отечественной войны 1812 года // Россия XXI. 2019. № 1. С. 116-143. [Zaichenko O.V. Mezhdu «bol'shim strahom» i «velikimi nadezhdami». Rossiya v vospriyatii germanskoj elity nakanune i vo vremya Otechestvennoj vojny 1812 goda // Rossiya XXI. 2019. № 1. S. 116-143].

Заиченко О.В. Формирование комплекса «русской угрозы» как реакция на кризис европейского самосознания в первое десятилетие после Французской революции // Диалог со временем. 2018. Вып. 64. С. 131-148. [Zaichenko O.V. Formirovanie kompleksa «russkoj ugrozy» kak reakciya na krizis evropejskogo samosoznaniya v pervoe desyatiletie posle Francuzskoj revolyucii // Dialog so vremenem. 2018. Vyp. 64. S. 131-148.]

Заиченко Ольга Викторовна, *кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН;* o.v.zaichenko@gmail.com

“Russian Theme” in the early publications of Ernst Moritz Arndt in the context of transformations of the European discourse about Russia at the 18th – early 19th cc.

The article attempts to analyze the early works of the German publicist Ernst Moritz Arndt as indicators of the transformation of the European discourse on Russia in 1790-1810. The research is based on his programme work “A Brief Word about Russia” (1808/09), where for the first time the image of Russia becomes a tool for the formation of German national identity.

Key words: Ernst Moritz Arndt, Russia, Enlightenment, French and German journalism, "European idea", national identity

Olga Zaichenko, *PhD (History), Senior Researcher, Institute of World History, Russian Academy of Sciences; o.v.zaichenko@gmail.com*

А.Б. Соколов

«В ПОИСКАХ РУССКОЙ ДУШИ»: ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

В статье рассматривается возникновение современного национализма в первой половине XIX в. под влиянием Французской революции конца XVIII в. и патриотизм как форма его выражения. Если на Западе развивался политический национализм, направленный на достижение независимости народов, сочетавшийся с борьбой за права граждан, то в России сложился культурный национализм, проявлением чего была ассимилятивная модель национального устройства, которую отстаивали фактически все течения в идейном движении, в т.ч. декабристы. Подавляющей части российских авторов была чужда идея гражданского патриотизма; даже мыслители либерального толка рассматривали его как исконное чувство, данное человеку от рождения. Главным пунктом патриотического мировоззрения становится вопрос об особых чертах русского национального самосознания по сравнению с Западом. В то же время степень отчужденности Запада и России понималась по-разному, от мягкого противопоставления до полного отторжения западных ценностей и устоев. Действительно ли в русском сознании присутствует комплекс «неполноценного европейца»? Отправным моментом формирования патриотического мировоззрения, в противовес космополитизму элиты в предшествующую эпоху, стали войны с наполеоновской Францией, особенно 1812 год. К началу 1830-х гг. сложились две модели российского патриотизма: государственная, выраженная в теории официальной народности, и либеральная, выраженная во взглядах славянофилов и западников. Тогда были сформулированы проблемы, составившие ядро русского патриотизма.

Ключевые слова: *политический национализм, культурный национализм, исконный патриотизм, гражданский патриотизм, 1812 год, декабристы, народность, Россия и Запад, славянофилы, западники*

Вряд ли есть необходимость обоснования актуальности изучения патриотизма, или, как предпочитали говорить в России в XIX в., любви к отечеству, в историческом контексте. Патриотизм подразумевает готовность индивида использовать все доступные ему способы для защиты позитивного образа нации, с которой он себя соотносит, ее интересов, которые он признает таковыми, даже путем самопожертвования. Отсюда вытекает, что патриотическая риторика неразрывно связана с идеей нации, и является, по сути, националистической. Историки и социологи исследовали национализм на протяжении, по меньшей мере, полутора веков, неудивительно, что многие аспекты его теории и эволюции были и остаются предметом научных дебатов, в т.ч. вопрос о генезисе. В некоторых случаях истоки национализма искали в трудах деятелей культуры Возрождения, апеллировавших к античности. В других – к Англии, где во время революции XVII века утвердилось понятие «нации» как народа, обладающего правами суверенитета. В XVIII веке патриотизм все чаще становился частью политической риторики, включающей большую или меньшую толику ксенофобии.

Консенсус в историографии существует только в признании особой роли Французской революции XVIII в. для зарождения национали-

зма, давшего всему XIX веку свое имя: «Революционное национальное государство, которое постоянно трансформировалось под воздействием необходимости, вызванной войной и внутренней борьбой, уже содержит в себе бо́льшую часть элементов последующего национализма. Прежде всего, оно потребовало от граждан прямого и непосредственного участия, все более заметного выражения "национальной" идентичности через институционные процедуры»[1]. В средние века лояльность и готовность к самопожертвованию адресовались суверену, отныне адресатом становилась коллективность, к которой индивид принадлежит.

Возникновение патриотического дискурса в России связывалось, как правило, с войной 1812 г. Господствующее в историографии мнение о патриотическом характере идей декабристов представляется более обоснованным, чем превращение их во «врагов отечества». Во время следствия С.П. Трубецкой говорил: «Нападение Наполеона на Россию в 1812-м году возбудило в русских любовь к Отечеству; счастливое окончание сей войны, беспримерная слава, приобретенная […] императором Александром Павловичем, блеск, коим покрылось оружие российское, заставило всех русских гордиться своим именем»[2]. В августе 1812 года, в разгар наполеоновского нашествия, Александр I спросил своего адъютанта князя С. Волконского о настроении в войсках. Тот ответил, что все, от главнокомандующего до последнего солдата, готовы отдать жизни за патриотическое дело. Император спросил о настроении простого народа, и Волконский с уверенностью ответил: ими можно гордиться, «каждый крестьянин – патриот». Однако, когда последовал вопрос об аристократии, князь промолчал. Александр настаивал, и князь сказал: «Мне стыдно, что я принадлежу к этому классу. У них одни слова». Это был решающий момент в жизни Волконского – жизни, повествующей об истории его страны и его класса в эпоху поиска национального самоопределения»[3]. В мемуарах о заграничном походе 1814 года адъютант Александра I А.И. Михайловский-Данилевский, в будущем военный историк, свидетельствовал: «До царствования Государя в России еще не было общего мнения: прежде его опасались у нас произносить слова правительство и отечество, тем менее рассуждать об оных, равно как и о своем монархе». Предшественники Александра были заключены в тесных пределах своих дворцов, подобно азиатским царям.[4]

1812 год дал толчок русскому национальному самосознанию, но патриотическая риторика актуализировалась уже после Тильзита, «когда разговоры о преимуществах Запада отошли на задний план», от чего больше всего выиграли консерваторы[5]. А. Миллер указывал, что с самого начала патриотизм приобрел черты ксенофобии: в 1806-1807 гг. в

[1] Nationalism 1996: 10.
[2] Декабристы 2010: 226.
[3] Figes 2002: 72.
[4] Михайловский-Данилевский 2001:146.
[5] Гросул 2003: 139.

публицистике (Н.М. Карамзин, Ф.В. Ростопчин) формулировались тезисы, в которых выражалась неприязнь к иностранцам, их роли в империи[6]. Декабрист Н. Тургенев вспоминал о негативных проявлениях патриотизма у Ростопчина. Накануне вступления французов в Москву «он запятнал своей патриотизм насилием и жестокостью». По его наущению толпа растерзала молодого человека, которого обвинили в переводе «мнимой декларации Наполеона, напечатанной в гамбургской газете»[7].

Относительное единодушие имеется в рассуждениях историков о моделях национализма. Признается различие западноевропейского и восточноевропейского (в частности, российского) вариантов. Западную модель, господствовавшую примерно до 1870 г., называют политической, и связывают с развитием либеральной идеологии, направленной на создание национальных государств и предполагающей закрепление за индивидом его политических прав. В ту эпоху апогеем борьбы за национальную свободу явились революции 1848 г., хотя уже в 1820-30-х гг. национализм становился главнейшим лозунгом в Испании, Италии, Греции, Бельгии и других странах. В России данная модель не реализовывалась, хотя отдельные элементы присутствовали. У В.Я. Гросула есть краткое упоминание о том, что декабристов разделяло не только деление на конституционных монархистов и республиканцев, но и на тех, «кто строил планы федерации, то ли по территориальному, то ли по национальному принципу, как члены Общества соединенных славян»[8].

Бросается в глаза, по контрасту с Западом, сколь мало места в идеологии декабризма занимал национальный вопрос. Дело фактически ограничивается «Русской правдой» П.И. Пестеля, в которой провозглашалась программа ассимиляции нерусских народов. В параграфе под названием «Все племена должны быть слиты в один народ» говорилось: Верховное Правление «беспрестанно должно непременную цель иметь в виду, чтобы составить из них всех только Один Народ, и все различные оттенки в общую массу слить так, чтобы все обитатели целого пространства Российского Государства все были Русские»[9]. Главным средством достижения этой цели Пестель считал господство «одного только языка Российского». Он также призывал, хотя менее категорично, к религиозной ассимиляции, считая, что магометан надо «дружелюбием и кроткими убеждениями склонять к восприятию святого Крещения», но «всякое насилие при этом воспрещается»[10]. Исключение составляли поляки, которым Пестель обещал восстановление Польского государства, подразумевая их участие в революции, направленной на свержение царизма. Материалы по делу 14 декабря позволяют заметить, что следствие более всего интересовал именно этот аспект заговорщической де-

[6] Imperium 2010: 49.
[7] Тургенев 2001: 23.
[8] Гросул 2003: 162.
[9] Декабристы 2010: 109.
[10] Декабристы 2010: 101.

ятельности, а не национальная программа Пестеля как таковая. Исключение другого рода составляли евреи. Чертой мировоззрения Пестеля, исключавшего их из процесса ассимиляции и предполагавшего, что решением может быть изгнание их из России, был антисемитизм. Т. Жамуэли вовсе называл «Русскую правду» документом «националистическим, авторитарным, эгалитарным и примитивно социалистическим (хотя это последнее слово еще не было изобретено). Он был бескомпромиссен в преданности добродетели и справедливости – двум базовым конституционным принципам, которые внедрялись правительством, обладавшим фактически неограниченными полномочиями. Представляя собой смесь прогрессивных европейских идей и традиционных русских представлений, этот документ производит странное впечатление»[11]. В.А. Дьяков характеризовал взгляды Пестеля не в национальной, а в территориально-государственной парадигме: «Будучи решительным противником федеративного устройства государства, автор "Русской правды" последовательно проводил принцип централизации по отношению ко всем частям Российской империи»[12]. Не называя их экспансионистскими, историк напоминал о планах Пестеля по включению в состав империи Дальнего Востока, Закавказья, Молдавии, т.е. территорий, процесс присоединения которых еще не завершился. По мнению британского историка О. Файджеса, ассимилятивной модели придерживалось абсолютное большинство декабристов, и именно потому, что держало в голове европейский образец национальных государств[13]. «Государство» Пестеля и было национальным, в том смысле, что он видел в нем одну нацию русских, к каким бы «племенам» они ни принадлежали.

Вопрос о характере влияния западной модели национализма на декабристов почти не рассматривался. В.А. Федоров отмечал, что взгляды Пестеля об устройстве «многонациональной Российской республики отличались противоречивостью и непоследовательностью»; «осуществление «права благоудобства» означало бы ассимиляцию всех малых народов России с русским народом»[14]. О.В. Орлик, тщательно рассмотрев влияние европейских событий и идеологий на взгляды декабристов, подчеркивала, что «всякая мысль о федерации» решительно отвергалась Пестелем. Она оправдывала это тем, что такая идея вызывала у него ассоциации с феодальной раздробленностью на Руси. В то же время, анализируя ситуацию на Балканах, Пестель находил федерацию приемлемым проектом устройства для этого региона, по крайней мере, на первое время после освобождения от власти Турции[15].

Как видим, даже на декабристов, испытавших влияние западного либерализма, идея политического национализма почти не повлияла.

[11] Szamuely 1988: 245.
[12] Дьяков 1979: 82.
[13] Figes 2002: 86.
[14] Федоров 1992: 119-120.
[15] Орлик 1975: 97;130-131.

Объяснение этому можно видеть в той же «Русской правде». Как писал С. Вульф, «в отличие от Западной Европы, где оседлость сельских поселений установилась еще в средние века, пограничные районы Восточной Европы, от Южной России до Балкан, с XVIII века находились в высшей мере нестабильном положении вследствие борьбы в мусульманской Османской империи. На огромной территории, растянувшейся от Балкан до северо-восточной Польши и юго-западной России, с XIV по XVIII век происходило движение религиозных фронтов, что вело к повторяющимся переселениям народов, имевших разные культурные и религиозные представления. Это способствовало, с одной стороны, быстрому формированию этнического самосознания и ощущения особой миссии и чувства исконности на военной границе, и наложению и смешению разных культурных, религиозных и лингвистических групп, с другой»[16]. Разумеется, такая логика может быть перенесена и на другие границы с учетом региональной специфики. Российская монархия «последовательно осуществляла политику «национальной гомогенности», насаждаемую доминирующим народом, чтобы подавить языковую и культурную этничность меньшинств. Националистов подталкивала православная церковь, стремившаяся к религиозной унификации, и уже в 1830–1840-х гг. министр Уваров внедрял эти принципы»[17].

В отличие от западного «политического национализма» в России утвердилась модель «культурного национализма». Ее довольно точно описал в середине XX века Х. Кон. Особенности модели, господствовавшей в Центральной (он относил к ней Германию до 1870 г.), Восточной Европе и Азии, этот автор объяснял отставанием в политическом и социальном развитии этих регионов. В Германии и России «культурный национализм» формировался под сильным влиянием философии романтизма, и нашел отражение не в политике, а в образовании, пропаганде (и литературе), в первую очередь. Осознание догоняющего развития, копирование западного опыта травмировало российский образованный класс, в конечном счете, привело к восприятию Запада, с его рационализмом и либерализмом, как чуждого России. Кон писал:

> «Если западный национализм являлся попыткой создать нацию в политической реальности, то в Центральной и Восточной Европе он вытекал из мифов о прошлом, мечты о будущем идеальном отечестве, что тесно увязывалось с прошлым, было вне прямой связи с настоящим и рассматривалось как то, что станет реальностью в неопределенном будущем. Это позволяло приукрашивать черты будущего, поскольку ответственность за этот проект отсутствовала, зато имелась возможность воодушевлять рождающуюся нацию желаемым образом ее самой и ее миссии. В то время как западный национализм с момента зарождения был связан с концептами личной свободы и разумного космополитизма, сложившимися в XVIII веке, поздний национализм, в целом, тяготел к противоположному. Зависимый от влияний извне и стремившийся им противостоять, новый национализм, не имевший

[16] Nationalism 1996: 16.
[17] Nationalism 1994: 164.

корней в социальной и политической реальности, страдал от комплекса неполноценности, пытался компенсировать его чрезмерной самоуверенностью. Националистам в Германии, России или Индии их национализм казался глубже западного по проблематике и возможностям. Поиск "души" нации, ее миссии, бесконечные размышления об отношениях с Западом стали характеристиками этой новой формы национализма»[18].

Файджес отмечал, что сердцевиной русской литературы было размышление о России, «ее характер, история, традиции, духовность и ее предназначение». Вся российская художественная энергия была направлена на поиск национальной идеи.

«Нигде, кроме России, художник не был так озабочен задачей морального лидерства и национального пророчества. И нигде власть так не боялась и не преследовала его. Отчужденные от России официальной политически, а от России крестьянской образованием, художники создавали систему национальных ценностей и идей средствами литературы и живописи. Что значит быть русским? Каково место и миссия России в мире? Где настоящая Россия? В Европе или Азии? В Санкт-Петербурге или Москве? Что такое Россия: величественная царская империя или грязная деревня с одной дорогой, в которой проживал "дядюшка" Наташи [Ростовой]? Это были "проклятые" вопросы, занимавшие умы любого серьезного писателя, критика или историка, художника и композитора, богослова и философа в золотой век русской культуры от Пушкина до Пастернака»[19].

Двойственность видна в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина, с одной стороны, ощущавшего себя «своим» в интеллектуальных кругах Европы, с другой стороны, не уверенного в собственной европейской идентичности. Он пришел к заключению, что столетняя европеизация России оказалась искусственной. Собственно, за те же мысли сумасшедшим объявили П.Я. Чаадаева, заявившего, что за западной культурной оболочкой русские оказались не способными принять базовые ценности и идейные принципы Запада. Герцен заметил, что Чаадаев просто высказал то, что уже долгие годы чувствовал каждый русский; «эти запутанные чувства недоверия, неприязни и зависти к Западу определяют русское национальное сознание»[20]. Как и Кон, Файджес писал о комплексе «неполноценного европейца»:

«Русские сомневались по поводу своего места в Европе (как и сегодня), и эта двойственность является важнейшим ключом к их культурной истории и идентичности. Проживая на границах континента, они не были уверены, куда направила их судьба, на Запад или на Восток». Со времен Петра I Империя, самая обширная и могущественная в Европе, обещала модернизировать Россию, и в то же время государство осознавало, что Россия – не Европа, и возможно, ею не станет, и, если так, «надо гордиться своей особостью. Националистическая идеология проповедовала, что "русская душа" обладает более высокой моральной ценностью, чем материальные успехи Запада. Ее христианская миссия в том, чтобы спасти мир»[21].

[18] Nationalism 1994: 164-165.
[19] Figes 2002: XXVII.
[20] Figes 2002: 63.
[21] Figes 2002: 66.

По мнению Кона, ведущей категорией культурного национализма выступал ресентимент, чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной его неудач. Образ врага создается, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи, становится толчком к созданию системы ценностей, отличной от системы ценностей врага. Понятие «ресентимент» было введено Ницше в «К генеалогии морали», в которой оно рассматривалось как определяющая черта морали рабов, в этом качестве могущая иметь творческий характер. Кон утверждал: «В России, где местные культурные ресурсы отсутствовали или были ограничены, ресентимент стал единственным важнейшим фактором, определявшим специфику понятий, которыми характеризовалась национальная идентичность. Везде, где он имел место, ресентимент стимулировал узколобую гордость и ксенофобию, подпитывал зарождающиеся национальные чувства и поддерживал их, когда они начинали колебаться»[22].

Вряд ли кто-то в середине XIX века выразил идею грядущей гибели западной цивилизации и противоположности Запада и России сильнее и категоричнее, чем С.П. Шевырев:

> «Россия, к счастью, не испытала тех двух великих недугов (“разврат личной свободы” и раскол церкви – *А.С.*), которых вредные крайности начинают сильно там действовать. Мирно и благоразумно созерцала она развитие Запада, принимая его как предохранительный урок для своей жизни, счастливо избегла раздора или двойства начал, которому Запад подвергся в своем внутреннем развитии, и сохранила свое заветное и вседержащее единство; усваивала только то, что могло быть ей прилично в смысле общечеловеческом и отвергала постороннее… И теперь, когда Запад, как Мефистофель в заключении Гётева Фауста, готовясь открыть ту огненную бездну, куда он стремится, является к нам и гремит своим ужасным: Komm! Komm! – не пойдет за ним Россия: никакого обета она не дала ему, никаким договором не связала бытия своего с его бытием: она не делила с ним его недугов, она сохранила свое великое единство, и в роковую минуту, может быть, она же предназначена от Провидения быть великим Его орудием к спасению человечества»[23].

Даже авторы, принципиально отличавшиеся по взглядам от Шевырева, определенно соглашались с идеей особой миссии России, как бы по-разному не понимали ее. По утверждению князя И. Гагарина, дипломата, а в дальнейшем эмигранта и католического священника, ее особость вытекает из промежуточного положения между Европой и Азией: «Некая притягательная сила влечет Россию к Европе. Ее юная и еще недостаточная цивилизация двигает ее к центру европейской цивилизации, к которой она принадлежит и к которой она тяготеет, как планета к солнцу. В то же время другая сила, которую можно назвать силою расширительной, толкает ее к Азии. Возможно, что приграничные страны Юга и Востока, будучи не в состоянии противопоставить ей цивилизацию более компактную, более энергетическую, более сильную, чем ее собственная, имеют тенденцию быть ею поглощаемыми, ибо нельзя от-

[22] Nationalism 1994:170.
[23] Шевырев 1841: 288.

рицать, что Россия в Азии – это Апостол Европейской Цивилизации»[24]. Роль России поменялась со времен Петра и Екатерины, последовательно направлявших страну по европейскому пути:

> «О, Россия, самая юная из сестер европейской семьи, твое будущее величественно и прекрасно; оно достойно того, чтобы заставить биться самые благородные сердца. Внешне ты сильна и могущественна, и твои враги тебя страшатся, твои друзья надеются на тебя, для многих ты предмет надежд и упований. Но ты еще молода и неопытна среди других наций – твоих сестер; пора тебе больше не считаться младшей в семействе и пойти вперед наравне с другими, пора твоему несовершеннолетию закончиться, пора тебе стать взрослой. …Один из твоих сынов, великий, мудрый и сильный, отправился искать твоих старших сестер, и вернувшись, принес добрую весть. С тех пор ты держишься за руку своих старших сестер и следуешь за ними, но из-за того, что они ушли далеко вперед, ты была вынуждена долго бежать, чтобы их догнать, и ты все еще бежишь; ты прошла уже большой путь, но тебе еще предстоит идти дальше, и поэтому твои сыны должны пойти впереди тебя и расчищать камни и тернии, устилающие тебе дорогу»[25].

В первой половине XIX века существовало представление о двух видах патриотического чувства. Алексис де Токвиль после посещения США в 1830-х гг. писал, что есть любовь к родине инстинктивная и рациональная. Первая – это «неосознанные, бескорыстные и неуловимые чувства», к которым «примешивается приверженность к древним обычаям, уважение к предкам, память о прошлом, и люди любят свою страну так же, как отцовский дом». Второй вид «возникает в результате просвещения, развивается с помощью законов, растет по мере пользования правами и, в конце концов, сливается с личными интересами человека». Ссылаясь на опыт американцев, либерал по взглядам Токвиль полагал, что есть «мощное средство, способное заинтересовать людей судьбой своей страны: надо привлечь их к управлению ею. В наши дни гражданские чувства неотделимы от политических прав, и в будущем число истинных граждан будет зависеть от расширения или сужения предоставляемых им политических прав»[26].

В России в условиях самодержавия идея гражданского патриотизма отсутствовала, любовь в родине воспринималась, даже либеральными деятелями, как исконное чувство, как «любовь к отеческим гробам». В.Н. Каразин, близкий к Александру I в самом начале его царствования, основатель университета в Харькове, выступал в августе 1818 г. в Филотехническом обществе в этом городе:

> «Привязанность к своей отчизне не есть добродетель. Это чувствование, и самое естественное: одно из ближайших к нашей природе. Мы любим страну, в которой родились и живем, как младенец любит питающие его сосцы и объятия, в которых он покоится. Самые дикие народы имеют сию привязанность, чувствуют сие предпочтение любимого края предо всеми прочими, как бы последние не превосходили его дарами природы или другими приятностями

[24] Гагарин 1996: 99-100.
[25] Гагарин 1996: 109-110.
[26] Токвиль 1992: 186-187.

жизни». Истинное чувство, «развивающееся в сердцах народов», так же естественно, как «бессловесные привязаны к местам рождения», как «возвращение птиц в леса и кровы, где они в предшедшее лето на свет произошли»[27].

Рациональный, или гражданский патриотизм он отвергал, обличая «лжефилософию, научающую, что власть есть установление человеческое». Критика властей, «преднародное суждение об их погрешностях» представлялась проявлением ложного патриотизма, «ибо дух оппозиции противен самому существу порядка и согласия в народных семействах, не есть любовь к Отечеству!». Но и «умолчание несовершенств правительства, неудач, увеличивание успехов, все сие не есть просвещенная любовь к отечеству»[28]. Каразина пугало, что «радикалы» готовы обратиться к народу. Он, видимо, считал умеренную критику правительства прерогативой избранных, даже их патриотической обязанностью. Каразин отвергал и другой вид ложного патриотизма, ксенофобию: «наша любовь к Отечеству не есть исключительная привязанность к стране рождения, к единоплеменникам. Она совершенно согласуется с любовью к роду человеческому»[29]. Международная коммуникация полезна во всех сторонах деятельности, особенно в сельском хозяйстве (здесь сказались его собственные увлечения). Полезное изобретение сделано в Америке (пароход Фултона), всего через год оно исполнено в устье Невы. Монархи Священного союза, именующие себя друзьями и лицом к лицу решающие судьбы Европы, подают пример народам. Каразин осознавал, что у такого подхода много противников: «К стыду просвещенной Европы не в одном царстве находим хулителей царств других. Сие гонение иностранных не есть любовь к Отечеству». Подчас преступления каких-то лиц или дела правительства «безрассудная толпа» приписывает народам: «Таким-то образом имена: Француз у одних, Турок у других, Руской у третьих, сколь безвинно, столь и безумно становятся порицанием. Укоризны воздаются за укоризны. Народы как бы умышленно содержатся в непримиримой неприязни, а все они суть чада единого Бога»[30]. Противясь приглашению иностранных учителей, «мнимые сии патриоты осуждают на посредственность тысячи юношей». «Россияне продемонстрировали любовь к Отечеству на поле брани, но было бы лестно для отечественного нашего самолюбия предстать не меньше на гражданском славном поприще». «Сограждане! Перестанем оскорблять братий своих и наставников. Отдадим справедливость их *доброму*, дабы они нашему *лучшему* оное отдали. Возлюбим и почтим Европу, которая в Великом Царе нашем обожает своего благотворителя»[31].

Рискнем предположить, что эта речь могла быть навеяна впечатлением от выступления Александра I на открытии польского сейма в мар-

[27] Каразин 1818: 312-313.
[28] Каразин 1818: 330-331.
[29] Каразин 1818: 317-318.
[30] Каразин 1818: 328-329.
[31] Каразин 1818: 331-332.

те того же года. Как писал С.В. Мироненко, «Александр представал в этой речи сторонником конституционного устройства… Правда, о последующем распространении конституционных порядков на всю Россию Александр говорил крайне осторожно и в самой общей форме. И тем не менее слова о возможности и желательности конституции для России были произнесены»[32]. Это было последнее такого рода публичное заявление царя. Риторика Каразина отличалась от идеологических позиций, доминировавших в 1830–1840-х гг.

Обсуждение целесообразности привлечения на государственную службу иностранцев стало частью патриотического дискурса. В написанных на склоне лет воспоминаниях Н.И. Греч всецело оправдывал привлечение Александром I на службу иностранцев: «Помышляя о спасении России, он искал пособий и средств повсюду и предпочитал иностранцев, говоривших ему правду, своим подданным, которые ему льстили, лгали, интриговали и ссорились между собой»[33]. Греч сам был выходцем из семьи немецкого происхождения, в совершенстве знавшим немецкий язык, и лютеранином. Декабрист И.Д. Якушкин, наоборот, осуждал предпочтение, которое Александр I отдавал иностранцам: «До слуха всех беспрестанно доходили изречения Александра, в которых выражалось явное презрение к русским. Однажды возвратившись из дворца, граф Ожеровский рассказал: “Император, говоря об русских вообще, сказал, что каждый из них или плут или дурак”»[34]. В мемуарах, изданных в 1831 г., А.И. Михайловский-Данилевский утверждал, что Россия единственная страна, в которой дипломатический корпус состоял почти весь из иностранцев. В списке на 1815 г. автор насчитал 73 фамилии дипломатов, из них только 16 русских: «Ум их и память обогащены познаниями, но душа их и сердце не написаны истинной любовию к отечеству, привязанностью к престолу и уважением к русским нравам и обычаям». Его поражало, что русские дипломаты пренебрегают русским языком, даже многие «природные русские». Он резюмировал: «От небрежения к отечественному языку происходит небрежение отечественными нравами»[35]. К. Нессельроде, более сорока лет возглавлявший дипломатическое ведомство, не писал и почти не говорил по-русски.

Ф. Глинка рассказывал о шутке, которую сыграл с ним французский язык. В Сен-Ароле в своей комнате в трактире «слышу чистый и плавный выговор французский. Привыкнув слушать язык сей в лучших наших обществах, невольно предаюсь мечтам и воображаю, что там за стеной сидит какая-нибудь знатная женщина, женщина воспитанная, потому что говорит по-французски, и верно милая, потому что так нежно произносит слова». Уступая любопытству, Глинка идет на этот голос, а там кухарка, «неопрятная, в грязи, в крови и в саже запачканная рас-

[32] Мироненко 1990: 20.
[33] Греч 1990: 211.
[34] Якушкин 1905: 5.
[35] Михайловский-Данилевский 2001: 163-164.

трепа! Очарование исчезло, но представилось рассуждение: сколько подобных этой кухарок, прачек и проч. и проч. выезжают к нам в наставницы! Возьми запачканную француженку, брось ее в России, где-нибудь на поле: не пройдет недели, и ты увидишь ее в богатом доме, в роскоши и почестях»[36]. В патриотическом дискурсе скрещиваются темы языка и Петербурга. Засилье иностранцев Михайловский-Данилевский объяснял тем, что в Петербургской губернии «почти нет коренного русского дворянства; суровый климат не привлекает к себе никого; в северную столицу приезжают только для чинов, для мест, для двора, по делам, и рано или поздно оттуда удаляются во внутренность империи тем охотнее, что надобно иметь огромное состояние, чтобы постоянно жить в Петербурге в так называемом лучшем круге»[37].

Государственный вариант национализма нашел выражение в формуле С.С. Уварова «Православие, Самодержавие, Народность». Влияние Уварова на русскую литературу 1830–1840-х гг. было значительным. Например, на некоторое время Н.В. Гоголь стал его ближайшим сотрудником в «Журнале Министерства Народного Просвещения», где опубликовал несколько статей исторического характера. Гоголевские публикации хорошо вписывались в сконструированный Уваровым идеологический дискурс. Второй раздел «Плана преподавания всеобщей истории» направлен на то, чтобы сбалансировать просветительскую идею всемирности истории подчеркиванием важности народного и государственного начала. Излагать материал должно так, пишет Гоголь, «чтобы каждый народ, каждое государство сохраняли свой свет, свои краски, чтобы народ со своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко. Для этого нужно собрать не многие черты, но такие, которые высказывали бы много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ»[38]. Что это, как не обращение к романтической категории «народного духа», обнаруживаемой у Гердера и значимой для всех консервативных историков той эпохи, в первую очередь, Л. фон Ранке. Не случайно, тогда же Россия получила патриотический гимн «Боже, царя храни», впервые исполненный в Большом театре в декабре 1833 г. На этом исполнении императрица и придворные дамы присутствовали в русском национальном платье и головном уборе. Итальянский автор Б. Тобиа повторял сказанное еще в конце XIX в.: «Нации находятся в поиске своего стиля: немцы возвращаются к стрель-чатому стилю, англичане к тюдоровскому, русские тянутся к византийскому, французы между готическим и ренессансным»[39].

Стержень поиска национальной идеи – дискуссии западников и славянофилов. Славянофилов, чьи взгляды оформились к концу 1830-х гг., подчас ошибочно отождествляли со сторонниками официальной

[36] Глинка, 1990: 319.
[37] Михайловский-Данилевский, 2001: 163.
[38] Гоголь 1834.
[39] Nationalism 1996: 171-172.

народности, но они не были приверженцами царской бюрократии и официальной церкви, и видели слабость последней именно в зависимости от власти. В современной историографии доминирует подход, при котором подчеркиваются не отличия, а известная близость славянофилов и западников. В.Я. Гросул называет эти группы двумя формами русского либерализма, хотя славянофилы не любили, когда их так называли, подчеркивая тем самым негативное отношение к Западу[40]. А.И. Кошелев вспоминал профессора права Росси, чьи лекции посещал в Женеве: «Этот человек развил во мне много новых мыслей и утвердил во мне *настоящий либерализм*, который, к сожалению, у нас редко встречается, ибо, в среде наших так называемых либералов, по большей части, встречаются люди, проникнутые западным доктринерством и руководствующиеся чувствами и правилами скорее деспотизма, чем истинного свободолюбия и свободомыслия»[41].

Представителей обеих групп объединяло негативное отношение к крепостному праву. О сомнительности противопоставления славянофилов и западников свидетельствуют взгляды А.И. Герцена, которого по традиции считают виднейшим представителем последней группы. По словам американского историка, «Герцен никогда не поддался на искушение западной культуры, никогда не верил в превосходство Запада, никогда не отказывался от веры в особенный и отдельный путь развития России. Наоборот, чем больше он знакомился с Западом, тем больше разочаровывался в западном образе жизни, в европейской буржуазной цивилизации и прогрессе капитализма. В юношестве, на родине, он был западником; в изгнании, как зрелый политический мыслитель и писатель, он все больше превращался в славянофила»[42]. Приехав в Париж, близкий ему, «как Москва», в 1852 г., через пять лет, Герцен с явным разочарованием писал: «Меня манила иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение. Я нашел все, чего искал, – да сверх того, гибель, утрату всех благ и упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не останавливающееся не перед чем, посягающее на все, и нравственное растление»[43]. «Западник» В.П. Боткин признавался в письме П.В. Анненкову: «Славянофилы выговорили одно-единственное слово: народность, национальность. И в этом их великая заслуга… они первые почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию»[44].

Идеалом славянофилов была допетровская Русь, в которой справедливость и равенство поддерживались не законодательно (сама кон-

[40] Гросул 2003: 209.
[41] Кошелев 1884: 39.
[42] Szamuely 1988: 261.
[43] Герцен 1969: 446.
[44] Цит. по: Дудзинская 1983: 37.

цепция государственного регулирования была им чужда), а мистической русской душой, выраженной идеалами аскетизма, толерантности к другим, способностью к самоотречению во имя высоких целей. Собственно, подобные мотивы звучали и раньше. В сочинениях участников войны 1812 г. заметен патриотический настрой и противопоставление русских другим народам. В Польше Глинка обратил внимание на многочисленные руины замков и комментировал: «У нас в России не видно подобных укреплений от того, что русские ограждали Отечество свое любовию к нему и, подобно спартанцам, грудь свою подставляли твердейшим оплотом противу врагов»[45]. Русским приписывалась абсолютная готовность к самопожертвованию в защите рубежей, тогда как воины других стран искали способы, чтобы сохранить жизни, например, строя замки. Тот же Гоголь, по мере сближения со славянофилами, все больше утверждался в мысли о великой миссии русской души, которую он выразил в «Тарасе Бульбе» и особенно в «Мертвых душах». Знаменитый отрывок «Эх, тройка! Птица тройка» о том, куда несется «вдохновленная Богом» Русь, и это вопрос, на который Гоголь не давал ответа.

Лелеемая многими славянофилами идея, что Москва – «русский город», а Петербург – лицо чуждой цивилизации, враждебный и искусственный, также распространилась после 1812 г. Представление об иностранном характере этого города возникло с его появлением. «Для славянофилов город Петра был символом катастрофического разрыва со Святой Русью, для западников знак прогресса в европеизации России. Для одних это был триумф цивилизации, покорения природы по повелению и по разуму, других – чудовищная прихоть, империя, построенная на человеческих страданиях, судьба которой трагически предрешена»[46]. Москва провинциальна, и жизнь в ней соответствует привычкам русских людей. Она как большая деревня, состоящая из многих дворянских усадеб. Она хлебосольная, веселая; ее жители связаны узами дружбы. Над этим образом слегка иронизировал в 1844 г. петербуржец барон М.А. Корф. В связи со смертью в Париже князя Д.В. Голицына, московского губернатора на протяжении почти четверти века, он писал в дневнике: Голицын «в шумливой «первопрестольной» столице нашей, этом пепелище остатков старинного боярства, смешанных с недоварившимися новыми идеями Запада и учениями славянофильства, умел всегда охранять, по крайней мере, внешний покой и тишину». Корф давал Голицыну довольно язвительную характеристику как патриоту:

> «Как Воронцов был менее русский, чем англичанин, так Голицын, получивший свое образование во Франции, воспитанник старинной французской школы со всеми ее фразами и общими местами, худо даже знавший наш язык, был более француз, нежели русский; при всем своем горячем патриотизме, мало знакомый с делами и мало ими занимавшийся, не всегда счастливый в выборе людей и окруженный всякими пронырами, либерал более

[45] Глинка 1990: 24.
[46] Figes 2002: 160

на словах, а в существе более приверженец всех предрассудков и поверий высшей касты, он не в силах был произнести ничего великого монументального. Голицын был очень любим в Москве, хотя больше по старой привычке, по преданию, тою безотчетною любовью, которую русский человек исповедует к месту начальствующего, независимо от качества лиц»[47].

А.И. Кошелев, упомянув о посещении театра в Лейпциге, заметил: «Я, как русскому подобает, взял самое дорогое место в ложе, заплативши за него целых двадцать грошей»[48]. В этих словах слышится легкая самоирония, но свойство не мелочиться в расходах («широкая душа») рассматривалось как проявление «русскости».

Ступень отчужденности от Запада всегда определялась политическим дискурсом. Общий взгляд на развитие русской культуры показывает: полное неприятие, как у Шевырева (есть ирония в том, что он окончил жизнь в столь неприязненном ему Париже) – это явление не доминантное, а скорее маргинальное. По словам Файджеса, «сама идея европейского образования должна была заставить русских чувствовать себя дома и в Париже, и в Петербурге. Это образование было до некоторой степени космополитическим, что стало одним из устойчивых культурных достоинств России. Оно дало образованным классам чувство принадлежности к широкой европейской цивилизации и стало ключом к достижениям национальной культуры XIX века. Пушкин, Толстой, Тургенев, Чайковский, Дягилев и Стравинский – они все несли в себе "русскость" с европейской культурной идентичностью»[49].

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Гагарин И.С. Дневник. Записки о моей жизни. Переписка. М.: Языки русской культуры, 1996. 352 с. [Gagarin I.S. Dnevnik. Zapiski o moey Zhizni. Perepiska. M.: Yaziki russkoy kulturi, 1996. 352 s.]

Герцен А.И. Былое и думы. Т. II. М.: Художественная литература, 1969. 630 с. [Gerzen A.I. Byloe b dumi. T. II. M.: Khudoshestvennaya literatura, 1969. 630 s.]

Гоголь Н. План преподавания всеобщей истории // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 2. С. 189-209. [Gogol N. Plan prepodaveniya vseobshey istorii // Zhurnal ministerstva narodnogo prosvesheniya. 1834. N. 2. S. 189-209]

Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.: Книга, 1990. 402 с. [Grech N.I. Zapiski o moey zhizni. M.: Kniga,, 1990. 402 s.]

Гросул В.Я. Русское общество XVIII–XIX веков. Традиции и новации. М.: Наука, 2003. 519 с. [Grosul V.Ya. Russkoe obshestvo XVIII-XIX vekov. Tradizii I novazii. M.: Nauka, 2003. 519 s.]

Декабристы. Избранные труды / Сост. О.И. Киянская. М.: РОССПЭН, 2010. 712 с. [Dekabristi. Izbrannie trudi / Sost. O.I. Kiyanskaya. M.: ROSSPEN, 2010. 712 s.]

Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М.: Мысль, 1983. 271 с. [Dudzinskaya E.A. Slavyanofili v obshestvennoy borbe. M.: Myisl, 1983. 271 s.]

Дьяков В.А. Освободительное движение в России. М.: Мысль, 1979. 288 с. [Dyakov V.A. Osvoboditelnoe dvishenie v Rossii. M.: Myisl, 1979. 288 s.]

Каразин В.Н. Об истинной и ложной любви к отечеству // Благонамеренный журнал. 1818. Т. IX. С. 309-337. [Karazin V.N. Ob istinnoy I lozhnoy lubvi k otechestvu // Blagonamerenniy zhurnal. 1818. T. IX. S. 309-337.]

Корф М.А. Дневник 1838 и 1839 гг. М.: «Рубежи XXI», 2010. 576 с. [Korf M.A. Dnevnik 1838 i 1839 gg. M.: "Rubezhi XXI", 2010. 576 s.]

[47] Корф М. Записки. М.: Захаров, 2003: 258.

[48] Кошелев 1884: 34.

[49] Figes, 2002: 54.

Корф М.А. Записки. М.: Захаров, 2003. 720 с. [Korf M.A. Zapiski. M.: Zaharov, 2003. 720 s.]
Кошелев А.И. Записки. Berlin: B. Behr's Verlag, 1884. XII,272, 232 с. [Koshelev A.I. Zapiski. Berlin: B. Behr's Verlag, 1884. XII, 272, 232 s.]
Мироненко С.В. Страницы тайной истории самодержавия. М.: Мысль, 1990. 239 с. [Mironenko S.V. Stranizi taynoy istorii samoderzhaviya. M.: Myisl, 1990. 239 s.]
Михайловский-Данилевский А.И. Мемуары 1814–1815 годов. СПб.: Изд-во РНБ, 2001. 400 с. [Michailovskiy-Danilevskiy A.I. Memuari 1814–1815 godov. SPb.: Izd-vo RNB, 2001. 400 s.]
Орлик О.В. Декабристы и европейское освободительное движение. М.: Мысль, 1975. 191 с. [Orlik O.V. Dekabristi I evropeyskoe osvoboditelnoe dvishenie. M.: Myasl, 1975. 191 s.]
Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 554 с. [Tokvil. A. Demokratiya v Amerike. M.: Progress, 1992. 554 s.]
Тургенев Н.И. Россия и русские. М.: ОГИ, 2001. 742 с. [Turgenev N.I. Rossiya I russkie. M.: OGI, 2001. 742 s.]
Федоров В.А. Декабристы и их время. М.: Изд-во МГУ, 1992. 274 с. [Fedorov V.A. Dekabristi I ih vremya. M.: Izd-vo MGU, 1992. 274 s.]
Шевырев С.П. Взгляд русского на современное образование Европы // Московитянин. 1841. № 1. С. 219-296. [Shevyirev S.P. Vzglyad russkogo na sovremennoe obrazovanoy Evropi // Moskovityanin. 1841. N 1. S. 219-296].
Якушкин И.Д. Записки. М.: Общество распространения полезных книг, 1905. 216 с. [Yakuskin I.D. Zapiski. V. Obshestvo po rasprostraneniu poleznih znaniy, 1905. 216 s.]
Figes O. Natasha's Dance. A Cultural History of Russia. L.: Penguin Books, 2002. 729 p.
Imperium inter pares: роль трансферов в истории Российской империи [1700–1917]. М.: НЛО, 2010. 392 с.
Nationalism / Ed. by J. Hutchinson &A.D. Smith. Oxford: University Press, 1994.
Nationalism in Europe, 1815 to the Present / Ed. by St. Woolf. L.: Routledge, 1996. IV+215 p.
Szamuely T. The Russian Tradition. L.: Fontana Press, 1988 (1st ed.1974).

Соколов Андрей Борисович, *доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского; sokolov1457@mail.ru*

«In Search of the Russian Soul»: about the features of Russian nationalism in the first half of the 19th century

The article is focused on the emergence of modern nationalism in the first half of the 19th century and patriotism as form of its' manifestation under influence of the French revolution of the end of the 18th century. While in the West the political nationalism emerged that sought independence of peoples and civil rights, in Russia cultural nationalism appeared in an assimilative model of national system, which in fact was present in all ideological movements including the Decembrists. Civil patriotism was alien to most Russian authors; even liberal thinkers regarded it as innate feeling. The question about specific features of Russian national consciousness in comparison with Westerners became the main point of patriotic worldview. At the same time degree of alienation between Russia and the West was understood in different ways, from mild confrontation to absolute rejection of Western values and foundations. Is there really a complex of being "incomplete European" in Russian consciousness? The wars against Napoleonic France, especially that of 1812, constituted a starting point in emergence of patriotic worldview, in contrast to elite of the previous epoch. By the beginning of 1830s' two models of Russian patriotism came into being, the state model represented in theory of official narodnost, and liberal model expressed in the views of Slavophiles and Westernizers. The problems that constituted the core of Russian patriotism had been formulated at that time.

Keywords: political nationalism, cultural nationalism, native patriotism, civil patriotism, 1812, Decembrists, narodnost, Russia and West, Slavophiles, Westernizers

Andrey B. Sokolov, *Dr. Sc. (History), Professor, Head of the Department of Methods of the Teaching of History and Social Science Disciplines, K.D. Ushinsky Yaroslavl State Pedagogical University; sokolov1457@mail.ru*

К.А. Руденко

К ВОПРОСУ О ЦИКЛИЧНОСТИ НАУЧНЫХ ГИПОТЕЗ ОТ XVII ДО XXI В. (на примере этногенеза волжских булгар)

В статье на основе изучения гипотез происхождения волжских булгар (булгары – славяне и булгары – потомки сармат) с XVII –до начала XXI в., делается попытка выявить причину возвращения концептуальных идей в научных исследованиях, механизмы конструирования этногенетических теорий на основе разных источниковых материалов: письменных сведений и археологических данных. По мнению, автора, возникновение гипотезы о том, что волжские булгары – славяне или сарматы, было связано с характером письменных источников и особенностями идеологии эпохи. Ранние гипотезы решали задачи государственного масштаба. А возрождение этих гипотез произошло на основе археологических данных, без очевидной связи с предшествующими идеями и стало объектом обсуждения региональной науки.
Ключевые слова: *сарматы, волжские булгары, славяне, А.П. Смирнов, Е.П. Казаков, А.Х. Халиков, этногенез, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов*

Жизнь научной гипотезы в исторической науке – явление своеобразное и непостоянное. Одним суждено долгое существование, другим – краткосрочный взлет и быстрое забвение. Наиболее долговечны те из них, которые уже в новейшее время становятся частью идеологии научной школы или научного направления[1]. Но есть вероятность, что, пройдя определенный этап, гипотеза вновь актуализируется на новом витке научного знания, в иной исторической ситуации и даже в социуме с другим менталитетом и иными научными ориентирами. Вопрос о причинах этого рассмотрим на примере гипотезы, связанной с проблемой раннего этапа этногенеза волжских булгар – народа, проживавшего на Средней Волге с VIII по XIII в., а потомки которых живут здесь и по сей день.

Вопросом о том, кем были волжские булгары, задавались российские историки, начиная с XVII в. К этому времени сгладились в исторической памяти народов, проживавших в Волго-Камье, воспоминания о Волжской Булгарии и даже об эпохе Золотой Орды, сохранившись лишь в образах эпических сказаний. Далекие события прошлого, в т.ч. грандиозные по своим масштабам, такие как монгольское нашествие и гибель целой страны – Булгарии, были вытеснены бурными потрясениями XVI – первой половины XVII в.: присоединением Поволжья к Московскому царству, событиями Смутного времени[2] и противостояния с кочевниками, опустошавшими русское пограничье весь XVII в.[3]

Однако геополитические цели московских государей, объявивших себя при Иване III наследниками Византии, требовали убедительных доказательств древности российской истории и государственности. Как

[1] Мягков 2000.
[2] Перетяткович 1882.
[3] Новосельский 1948.

ни парадоксально, в решении этой проблемы одно из первых мест заняло Среднее Поволжье. В 70-х гг. XVII в. в трудах российских историков складывается «сарматская концепция» происхождения Московского государства, где исходной точкой славянского расселения была Средняя Волга с центром в историческом Болгаре[4]. А.И. Лызлов, подробно ее изложивший в своем исследовании «Скифская история», считал, что волжские булгары, получившие свое название от реки Волги, были изначально славянами[5], непосредственно связанными со скифами и сарматами, известными со времен античности. Из использованных им многочисленных письменных источников отметим сочинения римских авторов, а также труды польских историков XVI – начала XVII в., в первую очередь «Хронику Сарматии Европейской» М. Пашковского[6].

Идеи Лызлова продолжил в XVIII в. В.Н. Татищев, подкрепив ссылками на археологические остатки древностей в Казанской губернии, в первую очередь Болгарского городища, что придало им определенный местный колорит и конкретику, а также идентифицировав предков волжских булгар как исторических аргиппеев и фиссагетов (по Геродоту). Причем аргиппеи, по его мнению, и были сарматами – исконными жителями Среднего Поволжья, а фиссагеты – славяне – стали соседями аргипеев. Они во времена амазонок переселились сюда из Малой Азии и Сирии. Это версия была поддержана М.В. Ломоносовым и императрицей Екатериной II, приобретя, с одной стороны, оттенок официальности, а с другой – очевидный мифологизм[7]. Однако гипотеза была оспорена немецкими учеными из Российской академии, наук (Шлецер, Миллер, Стриттер), отрицавшими славянство волжских булгар и считавшими, что их народом родственным гуннам. В этой трактовке ее принял Н.М. Карамзин, что отразилось в его многотомной «Истории Российской», опубликованной в начале XIX в. Последним сторонником сармато-славянской гипотезы, почти в том виде как излагали ее Татищев и Ломоносов, был болга́рский ученый Ю. Венелин, опубликовавший свое исследование в первой четверти XIX в. Он, соглашаясь с тезисом об исконности славян на Волге, уточнил, что славян нужно видеть и под именами других народов – скифов, авар, хазар[8] и, видимо, сармат.

Несмотря на то, что славянская гипотеза о происхождении волжских булгар просуществовала до начала XX в., идея булгар-сармат под давлением появившихся новых источников, прежде всего лингвистических, и критического переосмысления уже известных письменных сведений в трудах российских ученых-славистов, постепенно потеряла свою популярность и оказалась практически забытой[9].

[4] Руденко 2007: 121.
[5] Лызлов 1787: 25-26.
[6] Руденко 2007: 126.
[7] Там же, 169-170, 177-183.
[8] Венелин 1829, 1989-199.
[9] Руденко 2014, 420, 438-439.

В последней трети XIX в. славянскую гипотезу булгарского этногенеза сменил спектр мнений, согласно которым волжские булгары по происхождению оказывались то уграми, то тюрками, то финнами. Причем их выход на историческую арену большинство ученых относили только к эпохе гуннского нашествия (IV–V в. н.э.), делая акцент не на ранние страницы булгарской истории, а наоборот, погружаясь в этнографию народов Волго-Камья, пытались доказать, какой из ныне живущих в Поволжье этносов является их прямым потомком. В конце XIX – начале XX в. на основе лингвистических штудий утвердилась мысль, что культуру волжских булгар наследовали современные чуваши, положив тем самым начало чувашкой гипотезе булгарского этногенеза[10], существующей и поныне. Происхождение казанских татар в таком случае связывалось с эпохой Золотой Орды.

С 1930-х в решении вопросов этногенеза народов Поволжья в рамках программы коренизации стали активно привлекать данные археологии. Археологические источники как нельзя лучше отвечали взглядам советских историков-марксистов на изучение прошлого, исходя из новых методологических принципов, и на ситуацию, когда именно археологические данные были единственным способом восстановить прошлое бесписьменных народов бывшей Российской империи. Это имело отношение и к населению Среднего Поволжья. Несмотря на то, что существовавшая в этом регионе в X–XIII вв. Волжская Булгария имела письменность на основе руники и арабской графики, собственно булгарских документов и книг не сохранилось, а сведения русских летописей, средневековых восточных географов и немногочисленных путешественников были отрывочны и нередко вызывали сомнение в достоверности имевшихся в них сообщений. Требовались иные подходы и источники.

Первым, кто стал применять к историческому прошлому волжских булгар археологические материалы, полученные на уровне современной по тому времени методики, был московский ученый Алексей Петрович Смирнов, крупнейший специалист по древней и средневековой археологии Волго-Камья. В его вѝдении волжские булгары были сарматами – автохтонными обитателями восточноевропейских степей, обосновавшимися в Южном Предуралье с III–II вв. до н.э. и дошедшими до Средней Волги в IV–V вв. н.э., хотя сам факт переселения булгар-сармат на север ученый относил ко времени образования Хазарского каганата, т.е. к VII в.[11] Исходной точкой для такого вывода (кроме археологических следов их пребывания на Южном Урале) для А.П. Смирнова были данные не археологии, а письменных источников, в основном византийских V–XIV вв.[12] Археологические материалы были привлечены, исходя из территориальной локализации предков булгар на карте степей Восточной Европы. Заметим, что этногеография этого региона достаточно по-

[10] Ашмарин 1902.
[11] Смирнов 1951: 10-11, 19.
[12] Там же, 9-10.

дробно была описана римскими авторами первых веков н.э.[13] В лесостепной полосе юга России в первой четверти XX в. была выявлена салтовская культура, которая в тот период уверенно связывалась с аланосарматами. Исходя из этого, Смирновым и был сделан вывод о булгарах-сарматах. Правда, возникли некоторые интерпретационные сложности, которые касались истории прабулгар в Приазовье – письменные источники в V–VI вв. в Приазовье и Причерноморье упоминают множество племен или племенных союзов, но очень редко болгар[14]. При этом другие исследователи никак не связывали эти племена с сарматами и, естественно, с волжскими булгарами. Например, М.И. Артамонов, ведущий специалист по хазарской эпохе, считал большую часть этих племен и племенных союзов отюреченными уграми[15]. Эти источниковедческие тонкости А.П. Смирнов в начале 1950-х гг. не комментировал. Он в основном акцентировал находки, как ему казалось, сарматской керамики на Булгарском городище, а также керамики салтовского типа, исходя из чего делал вывод о приходе на Волгу «значительной и однородной массой по этническому составу группы [сармат – *К.Р.*], сумевшей сохранить на новом месте в продолжении длительного времени среди чужих племен свои этнографические признаки»[16].

Гипотеза булгар-сармат Смирнова гармонично вписалась в автохтонную концепцию этногенетических изысканий в советской довоенной исторической науке и археологии. Стоит отметить, что тезис о сарматах как коренных обитателях обширных территорий степного пояса Восточной Европы в первых веках н.э. считался аксиоматичным[17] и не вызывал сомнений ни тогда, ни сейчас. Кроме того, гипотеза о булгарах-сарматах помогала снивелировать дискуссионный вопрос о «культурном наследии» волжских булгар, на которое претендовали в научных изысканиях чувашские и татарские ученые-гуманитарии[18]. Более того, данная гипотеза обосновывала и историко-формационные сюжеты согласно новой, советской, методологии исторической науки. По мнению А.П. Смирнова, сарматское общество на позднем этапе своей истории имело все признаки социального неравенства с институтом патриархального рабства, а на Средней Волге у булгар-сармат по мере развития производительных сил и производственных отношений уже был практически классический феодализм[19]. Этот тезис в середине 1940-х гг. вызвал небольшую дискуссию с ведущим советским историком Б.Д. Грековым, считавшим что булгарское государство было дофеодальным[20]. Любопытно, что во-

[13] Скрипкин 1986: 85-87, 94-95.
[14] Артамонов 1962: 157.
[15] Артамонов 1962: 98. Книга М.И. Артамонова была опубликована через 10 лет после выхода в свет монографии А.П. Смирнова.
[16] Смирнов 1951: 10-11.
[17] Смирнов 1964: 193.
[18] Руденко 2014: 483.
[19] Смирнов 1951: 16-18, 35; Руденко 2014: 468-470.
[20] Руденко 2014: 478-479.

прос о седентаризации сармат, косвенно затронутый А.П. Смирновым, стал обсуждаться только в начале XXI в., например, по материалам могильника Нейзац II–III вв. н.э. в Крыму[21].

В позиции А.П. Смирнова о булгарах-сарматах был и субъективный момент: помимо средневековой археологии, он занимался античными древностями, особенно скифами[22], что усиливало его желание найти факты, сближавшие волновавшую его научную тему с булгарским материалом, который он изучал несколько десятилетий. Следуя традициям русских археологов начала XX в., он связывал истоки средневековой культуры местного населения Волго-Камья с эпохой раннего железного века (ананьинской и пьяноборской культурами). Тем более что скифская эпоха Волго-Камья к началу 1950-х гг. была исследована А.В. Збруевой. В ее фундаментальной монографии были подробно рассмотрены древности ананьинской культуры VIII–V вв. до н.э.[23]

Гипотеза булгар-сармат соответствовала и общему представлению в науке того времени о развитии сарматской культуры, последний этап которой датировался VII–VIII вв. н.э., а гуннское нашествие IV–V вв. привело к складыванию гибридной гунно-сарматской культуры, что, кстати, не противоречит и мнению ряда современных исследователей[24]. Хотя весомых аргументов в пользу того, что гунны в большей степени вытеснили сармат из степей Нижнего Поволжья немало, и в последующем сохранялись лишь «отдельные элементы сарматской культуры»[25]. Смирнов считал, что влияние сарматских традиций отразилось в культуре волжских булгар X–XIV вв., а ее реминисценции проявлялись даже в XIX в. в ювелирных украшениях казанских татар[26].

Помимо этого, такое понимание генетических корней волжских булгар соответствовало ведущему направлению в советской науке конца 1930-х – 1950-х гг. в установлении начал славянской истории. Его озвучил лидер советских археологов Б.А. Рыбаков, выводивший славян от скифов[27], в чем его поддерживала часть советских ученых-скифологов и археологов-славистов[28]. Вопрос был, безусловно, политизирован и базировался во многом на глобальном противостоянии советской археологии взглядам буржуазных ученых, позиции которых в отношении интерпретации ряда археологических культур Восточной Европы, по мнению советских исследователей, праславянских[29], были иные. Это выглядело как отражение идеологического противостояния советской науки и антисоветских направлений в зарубежной науке, подчеркивавших неспо-

[21] Храпунов 2011, 50-51.
[22] Смирнов 1966; Овчинников 2007, 25-29.
[23] Збруева 1952.
[24] Скрипкин 1986, 91-92.
[25] Засецкая 1986: 102-107, 112; Мошкова 1989: 202.
[26] Смирнов 1951: 19-20.
[27] Рыбаков1994: 328-330.
[28] Там же, 55.
[29] Монгайт 1974: 346, 362-363.

собность славян к самостоятельной истории – созданию государства и собственной культуры (норманнская теория). Однако сама постановка вопроса о скифах и сарматах и дискуссии вокруг него стимулировали активное изучение советскими археологами памятников скифо-сарматского времени степной полосы восточноевропейских степей.

Впрочем, несмотря на авторитет А.П. Смирнова, его точка зрения на булгарский этногенез не была единственной. В конце 1930-х – начале 1950-х гг. казанский археолог Н.Ф. Калинин высказал мнение, что единовременного прихода булгар на Среднюю Волгу не было, а небольшие их группы вместе с гуннами «просачивались» сюда постепенно[30]. Сарматами он булгар не считал. Взгляды Н.Ф. Калинина сначала разделял его аспирант В.Ф. Генинг, который вместе с А.Х. Халиковым, учеником Калинина, в 1960-е гг. разрушил булгаро-сарматскую гипотезу Смирнова. Но взгляды Генинга – Халикова на проблему отличались от взглядов не только А.П. Смирнова, но и Н.Ф. Калинина.

Опираясь на материалы Больше-Тарханского могильника второй половины VIII – IX вв., самого раннего из некрополей булгар на Волге, относящегося к языческому периоду их истории[31], исследователи кардинально пересмотрели гипотезы предшественников, утверждая, что главный их недостаток – отсутствие археологического материала, документирующего время появления булгар на Средней Волге. Без этого все выдвинутые ранее версии оказывались, по их мнению, гипотетичными, и в первую очередь это касалось сарматской гипотезы Смирнова[32]. Еще раз проанализировав сведения письменных источников, корпус которых с XIX в. практически остался неизменным, авторы безуспешно пытались найти в них намеки на территорию, откуда болгары начали миграцию на север[33]. Обратившись, как и Смирнов, к материалам салтово-маяцкой культуры, которая к тому времени стала известна существенно лучше благодаря масштабным исследованиям Волго-Донской экспедиции[34], они интерпретировали их не в связи с сарматами, а с теми многочисленными племенами (оногурами, утигурами, котрагами и др.), которые фигурируют в письменных источниках. Притом они пришли к парадоксальному выводу, что, несмотря на множество общих черт в комплексе находок из Больше-Тарханского могильника с материалами салтовской культуры, различий гораздо больше. Опираясь на сравнительный анализ антропологического материала, исследователи предположили, что возможным районом изначального обитания тарханцев было Подонье, а на Средней Волге оказалось уже смешанное население в основном тюрко- и угроязычное, но никак не сарматское, и истоки его следовало искать на востоке – в Приуралье и Сибири[35].

[30] Руденко 2014: 479.
[31] Генинг, Халиков 1964: 5-66.
[32] Там же, 102.
[33] Там же, 117.
[34] Плетнева 1967.
[35] Там же, 129-130, 132, 143.

Главная проблема, которую авторы не могли тогда решить однозначно, – отношение к судьбе населения, занимавшего Среднее Поволжье до булгар, оставившего именьковскую археологическую культуру. В начале 1960-х археологическая картина раннесредневекового времени Волго-Камья существенно изменилась по сравнению с 1930–1950-ми годами: были выделены новые археологические культуры, в т.ч. именьковская, изучение которой находилось на самой ранней стадии накопления материала и его исследования. Но не только новизна только что полученного археологического источника вышла на первый план в аргументации преимуществ тюркской гипотезы Генинга – Халикова. Основным стал ее контртезис гипотезе Смирнова, согласно которой булгары-сарматы смешались с местным населением и образовали новый этнос под политонимом «булгары». Генинг и Халиков утверждали, что какого-либо контакта между пришлыми тюркоязычными булгарами и предшествовавшим населением именьковской культуры не было, не отрицая связи Больше-Тарханской группы булгар с поволжскими финнами. Следующий вывод был неожиданным: утверждалось, что Больше-Тарханская и родственные ей группы булгар, обосновавшиеся на Средней Волге в VIII – начале IX в., в формировании собственно булгарского государства и его этноса почти не принимали участия[36]. Это несколько поспешное заключение, тем не менее, стало основой для выделения отдельного этапа в периодизации догосударственного периода булгарской истории на Волге в трудах казанского археолога Е.П. Казакова[37]. Впрочем, это мнение было оспорено авторитетным советским археологом-кочевниковедом С.А. Плетневой, которая рассматривала памятники типа Больше-Тарханского могильника как часть ареала салтово-маяцкой культуры, определяя верхний предел его функционирования началом X в., а нижний – IX в. По ее мнению, население, оставившее Больше-Тарханский могильник, как и население более позднего – Танкеевского могильника, участвовали в формировании Волжской Булгарии[38].

Возрождение интереса к сарматской тематике и сарматской гипотезе булгарского этногенеза произошло во второй половине 1990-х. Началось это с исследования археологических памятников Пермского Прикамья в 1980-х, в частности, Мóкинского могильника, где сарматские черты проявлялись наиболее явственно[39]. В 1980–1990-е уфимские археологи интерпретировали несколько археологических культур Южного Урала эпохи раннего средневековья как позднесарматские[40]. А интереснейшие раскопки царских сарматских курганов у с. Филлиповки, датированных второй половиной V – первой половиной IV в.[41], еще больше стимулировали интерес к этой проблеме. Археологические следы позд-

[36] Там же, 153-161, 170.
[37] Казаков, 1992.
[38] Плетнева 1981: 77, 78.
[39] Колобов, Мельничук, Кулябина 1999: 46-53; Перескоков 2018: 118.
[40] Сунгатов, 1998.
[41] Золотые, 2001; Пшеничнюк, 2012; Яблонский 2013.

несарматского присутствия на Южном Урале, в Пермском и Удмуртском Предуралье в последнее время активно обсуждаются[42]. В конце 2000-х гг. самарский археолог Д.А. Сташенков выдвинул гипотезу, согласно которой сарматское присутствие на Средней Волге имело место уже в III–IV вв., на раннем этапе становления именьковской культуры в Среднем Поволжье, ссылаясь на раскопки городища Лбище[43].

В 1980-х гг. возродилась и славянская гипотеза, правда, сначала не в отношении волжских булгар, а их предшественников – населения именьковской культуры. Самарскому археологу Г.И. Матвеевой и ульяновскому археологу Ю.А. Семыкину удалось доказать, что именьковцы смешивались с мигрировавшими на Среднюю Волгу группами кочевников, в т.ч. с болгарами, и, следовательно, вошли в состав населения Волжской Булгарии. Это предположение в начале 2000-х гг. поддержал ведущий российский археолог и историк-славист В.В. Седов[44].

На этом фоне Казанское Поволжье выглядело исключением. Гипотеза А.Х. Халикова о ранней, с первых веков н.э., тюркизации края, утвердившаяся в казанской археологии с 1970-х гг., исключала какие-либо иные трактовки этногенетических процессов в регионе Среднего Поволжья. При этом в осмыслении исторических явлений эпохи средневековья в трудах казанских археологов-медиевистов причудливо переплетались идеи автохтонизма и неомиграционизма[45].

В конце 1990-х гг. казанский археолог Е.П. Казаков предпринял попытку изменить исследовательский вектор в отношении интерпретации этнокультурных процессов в Казанском Поволжье в предбулгарское время. По его мнению, в VI–VII вв. в восточной части Казанского Поволжья сложилась особая археологическая культурная общность в рамках именьковской культуры, где произошло смешение представителей последней с населением турбаслинской и бахмутинской культур Предуралья, которые их исследователи считали сарматскими. Следовательно, и в Казанском Поволжье, по мнению ученого, обитали поздние сарматы или генетически связанные с ними племена[46]. По мере развития этих идей взгляды Казакова на булгарский этногенез претерпели существенную эволюцию[47]. Он отказался от версии Генинга – Халикова, по которой булгары-тюрки на Средней Волге самостоятельно эволюционировали в первые десятилетия после миграции без контактов со своими предшественниками – именьковцами. Исследователь стал утверждать, что сарматская субстратная основа, носителем которой в Казанском Поволжье он определил население именьковской культуры VI–VII вв., являлась основной частью собственно ранних булгар, что, по сути, явилось реновацией идей А.П. Смирнова о булгарах-сарматах.

[42] Перескоков 2018: 116-119.
[43] Сташенков: 2010, 274.
[44] Седов 2001: 6.
[45] Руденко 2014: 500-505,508-518.
[46] Казаков 2011: 8-39.
[47] Руденко 2019, 189-202.

Тем не менее гипотеза Е.П. Казакова не была формальным клонированием идей его предшественника. В конце XX – начале XXI в. кардинально изменилась археологическая источниковая база: и количественно, и качественно: была реконструирована новая этнокультурная карта Волго-Уральского региона, где присутствовала целая палитра археологических культур, выделенных в 1960–1990-х гг. в Уральском регионе и Предуралье, и соотносимых с ними этносов. Это касалось прежде всего угров, которым Казаков отводил особое место в этнокультурных процессах, в т.ч. и в булгарском этногенезе[48]. По его версии, именно движение угров (кушнаренковская культура) в VII в. с востока на запад привело к тому, что именьковско-турбаслинское население оказалось вытесненным в Саратовское Поволжье. Здесь, в конце VII – первой половине VIII в., они смешалось с бóлгарами. Восточные авторы упоминают этот народ под именем «буртасы». В середине VIII в. эти племена возвращаются на Среднюю Волгу (Больше-Тарханский и Автозаводской могильники), где в IX в. оказываются поглощены новой волной мигрантов с северо-востока – населением неволинской и ломоватовской культур, что документируют материалы Танкеевского и Тетюшского могильников и вместе образуют этническую и культурную основу народа, ставшего известными как волжские булгары.

Подводя итог, можно сказать, что две гипотезы, тесно связанные друг с другом, – о булгарах-славянах и булгарах-сарматах, появившиеся в российской науке в XVII–XVIII вв. и исчезнувшие из научных штудий в конце XIX в. и после кратковременного возвращения в середине XX в., стремительно возродились в начале XXI в., на новой источниковой базе и в ином контексте. Корпус письменных источников, бывших основой конструирования этих гипотез в XVIII–XIX вв. мало изменился, а в исследованиях по древней и средневековой истории Волго-Камья ключевое место заняли археологические материалы, накопленные в 1960–1980-х гг. Вместе с тем этот фактор породил множество проблем в отношении этнических реконструкций на основе археологических данных.

Идеи Лызлова, Татищева и Ломоносова можно рассматривать как смелую догадку, освященную мыслью об историческом фундаменте государства Российского и патриотическим чувством. В какой-то момент она, по сути, стала политическим манифестом и в то же время – частью новой картины мира, рождавшейся в трудах немногочленных русских историков, где господствовавший ранее сакральный библейский сюжет о происхождении народов эволюционировал в профанный мир античной исторической мысли, приближая далекое прошлое славянских народов к базисным основаниям европейской культуры. Тем самым историческая задача идей славян–булгар и сармат–булгар была достигнута.

В этом плане интересно скорее всего не постепенное затухание этих гипотез, а процесс медленной эволюции одной из них – славянской (сарматы–булгары в исследованиях российских ученых в XIX в. уже не

[48] Казаков 2007.

встречаются) в научном поле российской науки, происходивший на фоне накопления источников[49], развития источниковедения, а также научных институций в России. Можно предположить, что ее «долгожительству» в немалой степени способствовал патриотический отклик научной общественности страны на интересы российской внешней политики на Балканах, особенно в последней трети XIX в. (например, русско-турецкая война 1877–1878 гг.), что стимулировало поиск древних и фундаментальных связей народов этих стран с Россией.

В советской науке позиция А.П. Смирнова с выбором и обоснованием булгаро-сарматской гипотезы и подчеркиванием роли славянского компонента в истории Волжской Булгарии была, с одной стороны, отражением идей дореволюционной историографии, а с другой – попыткой осмыслить процесс булгарского этногенеза на основе новой источниковой базы – археологической и на основе советской методологии. Несмотря на то, что этногенетическая гипотеза А.П. Смирнова просуществовала недолго, его идея о сарматских корнях волжско-булгарской культуры прочно закрепилась в штудиях по булгарскому средневековому искусству и в той или иной степени существует по сей день.

«Опровержение» булгаро-сарматской гипотезы и конструирование В.Ф. Генингом и А.Х. Халиковым нового вȉдения картины булгарского этногенеза в первой половине 1960-х гг. основывалось на созданной ими модели пространства археологических культур Волго-Камья, из которой были полностью исключены сарматы и славяне (скорее по субъективным причинам), а на первый план поставлены тюрки и угры/самодийцы. Отметим, что эта гипотеза не закрепилась в научной школе А.Х. Халикова, формирование которой в казанской археологии так и не завершилось в XX в., и не была в целом поддержана представителями других археологических научных школ региона, например, школой Р.Д. Голдиной (Ижевск) или В.А. Оборина (Пермь). К тому же при стремительном накоплении археологического материала этногенетическая тюрко-угорская гипотеза к началу 1990-х гг. эволюционировала только в тюркскую, а тема угорского компонента выделилась в самостоятельную исследовательскую линию, которую развивал ученик В.Ф. Генинга Е.П. Казаков. Она была поддержана в 1980–90-е гг. уфимскими археологами Г.Н. Гарустовичем и В.А. Ивановым. Последний в конце 2000-х вместе с пермским археологом А.Н. Белавиным, бывшего до того сторонником «булгароцентризма» в развитии культуры народов Предуралья в средневековую эпоху[50], эту тему глобализировали, представив угров коренным населением Предуралья, что вызвало оживленную, но недолгую и в общем

[49] Особенно стоит отметить публикацию отрывков из сочинения Ибн Фадлана, секретаря арабского посольства, побывавшего у волжских булгар в 922 г., где упоминались русы, которых тогда отождествляли с русскими. При этом булгарского правителя араб именовал «царем славян».

[50] Здесь, скорее всего, сказалось влияние идей его коллеги В.А. Иванова, считавшего, что этническую основу домонгольских булгар составили, главным образом, угры.

безрезультатную дискуссию. Любопытно, что в настоящее время и эта глобальная угорская теория постепенно деактуализируется, замещаясь в ряде новых публикаций А.М. Белавина и его коллег идеями приоритетов культуры пермских народов.

По сути, частичное возрождение булгаро-славянской гипотезы в исследованиях Г.И. Матвеевой и ее единомышленников, постепенное усиление позиций сторонников сарматского компонента в раннесредневековых культурах Предуралья и Волго-Камья оказалось закономерным явлением, которое можно расценить как определенный показатель развития региональной археологической науки, ее зрелости и способности решать не только локальные, но и более общие проблемы в контексте масштабных исторических процессов. Показательно в этом плане появление в начале 2000-х гг. идеи, а затем гипотезы Е.П. Казакова об особой роли сармат в культурогенезе народов Среднего Поволжья в предбулгарское время, а в первой половине 2010-х гг. – и формирование его новой концепции о субстратном сарматском компоненте булгарского этноса, что стало в какой-то мере результатом пересмотра его же собственных, более ранних, идей. Сложное, подчас противоречивое переплетение мнений, взглядов, гипотез, их быстрое рождение и смена другими в реконструкции этнической карты раннего средневековья Волго-Уральского региона, – явление, не завершившиеся в настоящее время, и, скорее всего, оно не завершится и в ближайшем будущем.

Циклическая реновация идей о славянских и сарматских основах этнической культуры волжских булгар, произошедшая в конце XX – начале XXI в., стала следствием развития научного знания. В данном случае, существенно расширившиеся источниковедческие возможности археологии позволили в чем-то подтвердить догадки предшественников, живших в XVIII–XIX вв. Новый виток развития этих гипотез стал также определенным ответом на усиление национальных акцентов в региональной науке и на распространение в археологии методических подходов, которые исключали «этничность» археологических артефактов.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Ашмарин Н.И. Болгары и чуваши. Казань, 1902. 135 с. [Ashmarin N.I. Bolgary i chuvashi. Kazan', 1902. 135 s.].

Венелин Ю.И. Древние и ныняшние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. М., 1829. 230, L с. [Venelin Iu.I. Drevnie i nyniashnie bolgare v politicheskom, narodopisnom, istoricheskom i religioznom ikh otnoshenii k rossiianam. M., 1829. 230, L s.].

Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). М., 1964. 200 с. [Gening V.F., Khalikov A.Kh. Rannie bolgary na Volge (Bol'she-Tarkhanskii mogil'nik). M., 1964. 200 s.].

Засецкая И.П. Гунны в Нижнем Поволжье // Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья. Саратов, 1986. С. 98-113 [Zasetskaia I.P. Gunny v Nizhnem Povolzh'e // Drevniaia i srednevekovaia istoriia Nizhnego Povolzh'ia. Saratov, 1986. S. 98-113].

Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. М., 1952. 326 с. (Материалы и исследования по археологии СССР. №30) [Zbrueva A.V. Istoriia naseleniia Prikam'ia v anan'inskuiu epokhu. M., 1952. 326 s. (Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR. № 30)].

Золотые олени Евразии. СПб., 2001. 247 с. [Zolotye oleni Evrazii. SPb., 2001. 247 s.].
Казаков Е.П. Культура ранней Волжской Болгарии. Этапы этнокультурной истории. М., 1992. 335 с. [Kazakov E.P. Kul'tura rannei Volzhskoi Bolgarii. Etapy etnokul'turnoi istorii. M., 1992. 335 s.].
Казаков Е.П. Этнокультурная ситуация IV – VII вв. н.э. в Среднем Поволжье // Finno-Ugrica. 2011. № 12-13. С. 8-39 [Kazakov E.P. Etnokul'turnaia situatsiia IV – VII vv. n.e. v Srednem Povolzh'e // Finno-Ugrica. 2011. № 12-13. S. 8-39].
Казаков Е.П. Волжские болгары, угры и финны в IX-XIV вв.: проблемы взаимодействия. Казань, 2007. 208 с. [Kazakov E.P. Volzhskie bolgary, ugry i finny v IX-XIV vv.: problemy vzaimodeistviia. Kazan', 2007. 208 s.].
Лызлов А.И. Скифская история. 2-е изд. М., 1787. Ч. 1 [Кн. 1-3]. 206 с. [Lyzlov, A.I. Skifskaia istoriia. 2-e izd. M., 1787. Ch. 1 [Kn. 1-3]. 206 s].
Колобов А.В., Мельничук А.Ф., Кулябина Н.В. Римская фалера из Пермского Приуралья // Вестник древней истории. 1999. № 1. С. 46–53 [Kolobov A.V., Mel'nichuk A.F., Kuliabina N.V. Rimskaia falera iz Permskogo Priural'ia // Vestnik drevnei istorii. 1999. № 1. S. 46–53].
Матвеева Г.И. Среднее Поволжье в IV–VII вв.: именьковская культура. Учебное пособие. Самара, 2003. 158 с. [Matveeva G.I. Srednee Povolzh'e v IV–VII vv.: imen'kovskaia kul'tura. Uchebnoe posobie. Samara, 2003. 158 s.].
Монгайт А.Л. Археология Западной Европы: Бронзовый и железный века. М., 1974. 408 с. [Mongait A.L. Arkheologiia Zapadnoi Evropy: Bronzovyi i zheleznyi veka. M., 1974. 408 s.]
Мошкова М.Г. Позднесарматская культура // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 177-202. [Moshkova M.G. Pozdnesarmatskaia kul'tura // Stepi evropeiskoi chasti SSSR v skifo-sarmatskoe vremia. M., 1989. S. 177-202].
Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт «русской исторической школы». Казань, 2000. 298 с. [Miagkov G.P. Nauchnoe soobshchestvo v istoricheskoi nauke: opyt "russkoi istoricheskoi shkoly'. Kazan', 2000. 298 s.].
Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948. 448 с. [Novosel'skii A. A. Bor'ba Moskovskogo gosudarstva s tatarami v pervoi polovine XVII veka. M.; L., 1948. 448 s.].
Овчинников А.В. Проблемы древней и средневековой археологии и истории кочевых народов евразийских степей в трактовке А.П. Смирнова // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Т. 6. Вып. 3: археология и этнография. С. 25- 34 [Ovchinnikov A.V. Problemy drevnei i srednevekovoi arkheologii i istorii kochevykh narodov evraziiskikh stepei v traktovke A.P. Smirnova // Vestnik NGU. Seriia: Istoriia, filologiia. 2007. T. 6. Vyp. 3: arkheologiia i etnografiia. S. 25- 34].
Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного века. Пермь, 2018. 320 с. [Pereskokov M.L. Permskoe Priural'e v finale rannego zheleznogo veka. Perm', 2018. 320 s].
Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII и начале XVIII века: (очерки из истории колонизации края), 1882. 206 с. [Peretiatkovich G.I. Povolzh'e v XVII i nachale XVIII veka: (ocherki iz istorii kolonizatsii kraia), 1882. 206 s.].
Плетнева С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М., 1967. 209 с. (Материалы и исследования по археологии СССР. № 142) [Pletneva S.A. Ot kochevii k gorodam. Saltovo-maiatskaia kul'tura. M., 1967. 209 s. (Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR. № 142)].
Плетнева С.А. Ранние болгары на Волге // Степи Евразии в эпоху Средневековья. М., 1981. С. 77-80 (Археология СССР) [Pletneva S.A. Rannie bolgary na Volge // Stepi Evrazii v epokhu Srednevekov'ia. M., 1981. S. 77-80 (Arkheologiia SSSR)].
Пшеничнюк А.Х. Филипповка: Некрополь кочевой знати IV в. до н.э. на Южном Урале. Уфа, 2012. 278 с. [Pshenichniuk A.Kh. Filippovka: Nekropol' kochevoi znati IV v. do n.e. na Iuzhnom Urale. Ufa, 2012. 278 s.].
Руденко К.А. Волжские булгары в зеркале истории (X–XIX в.). Часть I. Казань, 2007. 420 с. [Rudenko K.A. Volzhskie bulgary v zerkale istorii (X–XIX v.). Chast' I. Kazan', 2007. 420 s.].
Руденко К.А. История археологического изучения Волжской Булгарии (X – начало XIII в.). Казань, 2014. 768 с. [Rudenko K.A. Istoriia arkheologicheskogo izucheniia Volzhskoi Bulgarii (Kh – nachalo XIII v.). Kazan', 2014. 768 s.].

Руденко К.А. Концепции булгарского этногенеза во 2-й половине XX – начале XXI в. (к 85-летию Е.П. Казакова) // Теория и практика археологических исследований. 2019. №4(28). С. 189-202 [Rudenko K.A. Kontseptsii bulgarskogo etnogeneza vo 2-i polovine KhKh – nachale XXI v. (k 85-letiiu E.P. Kazakova) // Teoriia i praktika arkheologicheskikh issledovanii. 2019. № 4(28). S. 189-202].

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. 2-е изд. М., 1994. 608 с. [Rybakov B.A. Iazychestvo drevnikh slavian. 2-e izd. M., 1994. 608 s.].

Седов В.В. К этногенезу волжских болгар // Российская археология. 2001. № 2. С. 5-15 [Sedov V.V. K etnogenezu volzhskikh bolgar // Rossiiskaia arkheologiia. 2001. № 2. S. 5-15].

Скрипкин А.С. Проблемы расселения и этнической истории сарматов Нижнего Поволжья и Дона // Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья. Саратов, 1986. С. 82-98.

Смирнов А.П. Скифы. М., 1966. 200 с. [Smirnov A.P. Skify. M., 1966. 200 s.].

Смирнов К.Ф. Савроматы: ранняя история и культура сарматов. М., 1964. 380 с. [Smirnov K.F. Savromaty: ranniaia istoriia i kul'tura sarmatov. M., 1964. 380 s.].

Сунгатов Ф.А. Турбаслинская культура. Уфа, 1998. 168 с. [Sungatov F.A. Turbaslinskaia kul'tura. Ufa, 1998. 168 s.].

Сташенков Д.А. О хронологическом соотношении памятников лбищенского типа и ранних памятников именьковской культуры // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12. 2010. № 6. С. 272-275 [Stashenkov D.A. O khronologicheskom sootnoshenii pamiatnikov lbishchenskogo tipa i rannikh pamiatnikov imen'kovskoi kul'tury // Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, t. 12. 2010. № 6. S. 272-275].

Храпунов И.Н. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац // Исследования могильника Нейзац. Симферополь, 2011. С. 60-114 [Khrapunov I.N. Nekotorye itogi issledovanii mogil'nika Neizats // Issledovaniia mogil'nika Neizats. Simferopol', 2011. S. 60-114].

Яблонский Л.Т. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004-2009 гг.). Каталог коллекции. Книга 1. М., 2013. 232 с. [Iablonskii L.T. Zoloto sarmatskikh vozhdei. Elitnyi nekropol' Filippovka 1 (po materialam raskopok 2004-2009 gg.). Katalog kollektsii. Kniga 1. M., 2013. 232 s.].

***Руденко Константин Александрович**, доктор исторических наук, профессор, Казанский государственный институт культуры; murziha@mail.ru*

On the Question of the Cyclicity of Scientific Hypotheses from the 17th to the 21st Century (on the Example of Ethnogenesis of the Volga Bulgars)

In the present article, based on the study of the hypotheses of the origin of the Volga Bulgars (Bulgars – Slavs and Bulgars – descendants of the Sarmatians) from the 17th century to the beginning of the 21st century, an attempt is made to identify the reason for the return of conceptual ideas in academic research, the mechanisms of constructing ethnogenetic theories based on different source materials: written information and archaeological data. The author traced the evolution of views on this problem using an analysis of the scientific views of researchers in their dynamics. In his opinion, the emergence of the hypothesis that the Volga Bulgars are Slavs or Sarmatians was connected with the nature of the written sources on this topic and the peculiarities of the ideology of the era. The revival of these hypotheses occurred on the basis of archaeological data, without an obvious connection with previous ideas, and became the object of discussion of regional science, while the early hypotheses solved problems of a national scale.

Keywords: Sarmatians, Volga Bulgars, Slavs, A.P. Smirnov, E.P. Kazakov, A.Kh. Khalikov, ethnogenesis, V.N. Tatishchev, M.V. Lomonosov

***Konstantin Rudenko,** Dr. Sc. (History), Professor of Kazan State Institute of Culture; murziha@mail.ru*

К.М. Белик, Н.В. Гришина

ПРЕДИСЛОВИЯ К ДИССЕРТАЦИЯМ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА КАК ФОРМА ТРАНСЛЯЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНВЕНЦИЙ И ПРАКТИК[1]

Изучение научного языка и структурных элементов диссертации является важным аспектом в исследовании диссертационной культуры[2]. На рубеже XIX–XX в. формируются негласные правила написания вводного раздела диссертаций. Авторами предпринята попытка проанализировать процесс оформления академических конвенций. В статье проведен сравнительный анализ текстов предисловий диссертаций по русской истории представителей Московской и Петербургской школ. Были сделаны выводы о специфике вводного раздела диссертации в разрезе научных школ, выявлены особенности презентации отдельных компонентов введения.

Ключевые слова: диссертации, Российская империя, диссертационная культура, университетские исследования, Московская историческая школа, Петербургская историческая школа, история образования, интеллектуальная история

Квинтэссенцией российской диссертационной культуры второй половины XIX – начала XX в. является такой «интеллектуальный продукт» как диссертация[3]. Статус научной диссертации можно очертить достаточно чётко – это особый исследовательский текст, призванный осуществлять профессиональную квалификацию автора. В свою очередь, это содействовало структурированию сообщества ученых в виде научной иерархии. Диссертации чаще всего представляли собой исследования монографического типа. Именно в них аккумулировались основные академические правила, принятые в научной среде конкретного периода. Предисловие к диссертации не только выполняло функцию постановочной части, но и обладало особенной информационной насыщенностью. В нем автор определял исследовательское поле своей работы. ее место в научном ландшафте, раскрывал свою методологическую лабораторию, давал характеристику историческим источникам.

Диссертация была нацелена на диспут, а, значит, имела своего коллективного адресата в лице членов факультетских советов, оппонентов и слушателей. Согласимся с Н.Н. Алеврас, что «научное сообщество, выступая референтной группой, обеспечивало диссертацию научной экспертизой, традициями и ритуалами ее публичной защиты, нормативной и неформальной легитимацией деятельности и статуса соискателя»[4].

[1] Статья подготовлена в ходе проведения работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации "5-100".
[2] Исследование модели российской диссертационной культуры в ее историческом измерении осуществляется при поддержке гранта ФПНИ ФГБОУ ВО «ЧелГУ», приказ № 70-1 от 04.02.2020.
[3] Алеврас 2016: 6.
[4] Там же: 7.

Следовательно, оно непосредственно участвовало в постепенном закреплении необходимых элементов диссертации, со временем приобретавших все более стандартизированные формы, вырабатывавшиеся как отражение принимаемых учеными конвенций. Если в современной практике структурные части диссертации предельно формализованы, то в XIX в. не существовало требований или каких бы то ни было рекомендаций к написанию научного труда.

В настоящее время имеется некоторый требующий обобщения опыт изучения текстов диссертационных исследований как таковых и предисловий как составной части диссертации. К примеру, Е.Е. Савицкий подверг анализу отдельный структурный элемент введений – историческую новизну; он попытался определить роль данной категории и критерии ее выявления в научных исследованиях по «новой истории»[5]. Рассуждая во введении о научно-исторической традиции второй половины XIX – начала XX в., Савицкий подметил, что нахождение и введение в научный оборот нового источникового материала перестало быть «наиболее важным критерием новизны». Он писал: «Историк субъективен, и облик прошлого определяется во многом как раз тем исследовательским подходом, который он априорно выбирает (или принимает) и использует в работе»[6]. Преумножение знаний о прошлом было связано не с обработкой новых документов, а в большей степени с поиском новых интерпретаций, с созданием новых подходов к их изучению.

Материалы вводных частей диссертаций 1990-х гг. по педагогике и языкознанию были изучены Н.А. Ведяковой, рассмотревшей введения диссертаций как стандартизированные тексты, формирующиеся по законам научного жанра, для которого характерен особый язык. Исследовательница утверждает, что «стереотипные средства реализации типовых смыслов, формирующих структуру научного текста, представляют собой результат унификации языковых вариантов как проявления внутристилевой нормативности научного стиля». Автор фиксирует сложившийся композиционный инвариант текста введений и большой диапазон языковых вариантов для характеристики разных частей введения, что «означает выход из плена автоматизма»[7], а также утверждает, что стандартные элементы вводной части диссертации – актуальность, значимость исследования, новизна – продолжают видоизменяться[8].

Попытки проанализировать введения современных исторических диссертаций осуществлялись О.Б. Леонтьевой и О.В. Воробьевой. Леонтьева, рассматривая докторские диссертации историков-русистов, защитившихся с 1995 по 2015 гг., делает вывод о переменах в «модели науч-

[5] Савицкий 2006: 348.
[6] Там же: 6.
[7] Ведякова 2011: 7.
[8] Ведякова 2018: 42-48.

ной культуры»[9] российских историков. Автор фокусируется на нововведениях в оформлении диссертаций, как вносимых официальными нормативными регламентами, так и складывающимися благодаря внутренним негласным процессам в научном сообществе. Леонтьева выявляет методологический кризис, тенденцию к выяснению «правды истории» как исследовательской задачи, способы обоснования практической значимости, специфику источниковых обзоров и др. Всё это позволяет проследить процесс формирования составных элементов введений – какие из них со временем пропадали (и почему), а какие добавлялись.

О.В. Воробьева рассматривает дискурсивный поворот рубежа XX – XXI вв. на примере диссертаций по всеобщей истории и историографии, защищенных в России в тот же хронологический отрезок. По мнению автора, происходило переосмысление категориального инструментария исследователя. Отвечая на вопрос «Как осуществляется историческое познание?», историки по-новому воспринимали свои первоочередные задачи как исследователей. В этом смысле одним из способов самоидентификации становятся диссертационные исследования, которые, в силу своих жанровых особенностей раскрывают ценностные ориентиры научного сообщества, нормативные установки и требования, эпистемологическую культуру[10]. Конструирование нового проблемного поля, выделение категории «научности», трансформация представлений о целях и задачах научной деятельности отражены в постановочных частях научных текстов. Именно они формулируют «правила академической игры» в разные периоды развития исторической дисциплины.

Вводные части диссертаций уже попадали в орбиту внимания авторов статьи. В частности, обращение к предисловиям как концентрации исследовательского замысла диссертации осуществлялось при исследовании научной программы историков школы В.О. Ключевского[11].

Авторы поставили себе целью проследить, как формировались постановочные части диссертаций, какие элементы были характерны для большинства из них, как шел процесс их закрепления на практике. Компаративный анализ вводных частей диссертаций по русской истории представителей Московской и Петербургской научных школ позволяет определить принятые во второй половине XIX – начале XX века критерии научности, выявить специфику их отражения/трансляции в диссертационных введениях. Главными авторами стали представители школ В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова. Были выделены диссертации москвичей – В.О. Ключевского, М.К. Любавского, П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, М.М. Богословского, Н.А. Рожкова, Ю.В. Готье, А.И. Яковлева, а также петербуржцев – С.Ф. Платонова, С.В. Рождественского,

[9] Историки в поисках новых перспектив 2019: 170.
[10] Там же: 210-211.
[11] Гришина 2018: 193-217.

И.И. Лаппо, М.А, Полиевктова, П.Г. Васенко, А.Е. Преснякова, А.И. Заозерского, П.Г. Любомирова, Г.В. Вернадского. Мы обратились и к диссертации А.С. Лаппо-Данилевского как к примеру инновационной подачи исследовательского материала, что подчеркнуто им в предисловии к диссертации и речи на диспуте[12]. Его фигура важна и для понимания научных ориентиров петербургских историков. Было проанализировано 26 предисловий к диссертациям, что составило немногим более 19% от всех диссертаций, защищенных в российских дореволюционных университетах по разряду «русская история».

Мы пытались выявить в предисловиях анализируемых диссертаций типичные маркеры и элементы, используемые учеными для презентации исследуемой научной проблемы. Для этого адаптированные тексты предисловий загружались на специальный портал Advego.com с целью проведения SEO-анализа. В результате был осуществлен перевод качественной (в нашем случае – текстовой) информации в количественные показатели с их последующей обработкой. Благодаря этому стало возможным выявить наиболее часто употребляемые в предисловиях понятия, в ряде случаев уловить логику построения текста.

Для анализа языка введений был применен подход Нормана Фэрклоу[13], подразумевающий восприятие дискурса как социальной практики. В этом смысле диссертационное исследование и его защита является частью принятой процедуры присуждения ученых степеней как разновидности социальной практики. При этом оно одновременно и воспроизводит ее, и расширяет/меняет/трансформирует. Основной задачей предисловия являлась репрезентация критериев научности, демонстрация базовых исследовательских навыков и оформление академических конвенций. Поэтому его анализ и интерпретация способствуют пониманию того, как в рамках диссертационной культуры ученые «снизу» активно формулировали и создавали мир, ограниченный правилами.

Восприятие текста диссертационных предисловий происходило на трёх уровнях смыслового распределения.

На первом **структурном** уровне текст рассматривался с точки зрения его жанровых особенностей, внутреннего порядка и формы организации. Текст диссертации, которая изначально готовится для публичной защиты, ориентирован на специфическую аудиторию, в которой диссертация будет представляться, а также отражает достижения соискателя. В этих условиях предисловие выполняет функцию означения, конструирования системы знаний. Если сам текст диссертации устанавливает традицию научного мнения в рамках определенного вопроса, то вводная часть воспроизводит порядок устройства дисциплины в целом (базовых принципов, критериев научности и академичности).

[12] Алеврас, Корзун 2014: 165-173.
[13] Fairclough 1995: 265 .

Второй **дискурсивный** уровень дает представление о предисловиях к диссертациям как элементе трансляции принятых норм и правил в академическом сообществе. При этом в тексте мы прослеживаем двойной порядок репрезентации: видно и складывающуюся традицию практики представления результатов, и условия научной работы в университетской среде (особенности архивной политики, складывание научных школ, отсылки к бытующим парадигмам). Текст, при этом, выполняет функцию отношения к формулируемым и принимаемым конвенциям.

Наконец, на третьем **стилистическом** уровне выявлялась специфика жанра и его смысловая нагрузка через особенности используемого языка. В этом случае текст предисловий устанавливает соотношение между стилистическими решениями и конструированием идентичности автора текста. Предисловия ещё и задают тон всей диссертации (как и почему её можно отнести к академическому корпусу). В диссертациях второй половины XIX – начала XX в. можно отметить частые отсылки к установленным схоларным традициям (соискатели идентифицировали себя как последователей), принципиальное использование определенных терминов (означение себя и своей позиции в контексте этимологических споров рубежа веков).

Диссертации можно отнести к академическому порядку дискурса – конфигурации всех типов дискурсов, используемых в Академии. Выбранный подход дал возможность понять через анализ текста предисловий наличие связи между использованием языковых особенностей текста и конкретной социальной практикой.

«Стоявший на очереди вопрос»: актуальность и научная новизна

Историки считали необходимым объяснить выбор научной проблемы, решению которой посвящалась диссертация. Их рассуждения на эту тему в современной традиции характеризуются как актуальность исследования. Данный раздел содержится во всех диссертациях нашей выборки. Чаще всего в них применялись следующие объяснительные формулировки: «научный интерес», «научная своевременность», «крупное историческое значение», «стоявший на очереди вопрос». Определение актуальности в большинстве диссертаций вписывается в одну из двух тенденций: 1) авторы подчеркивают особенность и уникальность своего исследования, указывая на стремление поставить и решить в нем ранее не изученный научный вопрос, т.е. актуальность исследования тесно увязывается с его новизной; 2) диссертанты помещают свой труд в существующую научную «волну» как продолжение сложившейся исследовательской традиции, определившей «очередность» поставленного вопроса. В обоих случаях авторы труда скромно артикулировали робкую надежду на то, что он не затеряется среди других исследований. Принадлежность к научной школе не оказывала определяющего влияния на выбор стратегии презентации научной проблемы, избранной для

диссертации. И у петербуржцев, и у москвичей находим примеры следования обоим вариантам описания актуальности исследования.

Часто диссертанты подчеркивали, что обратились к новой, ранее не изученной теме. В.О. Ключевский в докторской диссертации писал, что ученый, изучающий Боярскую Думу, «встречает много трудного, пока неразрешимого», в этой теме «остается много любопытного, возбуждающего живейший научный интерес»[14]. Подобные рассуждения о новизне прослеживаются и в других диссертациях. Так, магистрант С.В. Рождественский писал о значении истории служилого землевладения в общем контексте русского исторического процесса, что «вполне оправдывает научный интерес этого явления»[15]. И.И. Лаппо писал, что изучение внутреннего строя великого княжества Литовского второй половины XVI столетия «представляет весомый научный интерес»[16]. В том же русле о новизне проблематики магистерской диссертации рассуждал А.А. Кизеветтер: «Мне казалось, что изучение фактического состояния русской городской общины в период такого столкновения глубоко архаических корней городской жизни с идущими сверху законодательными экспериментами может представить несомненный научный интерес»[17]. Ту же линию видим у Н.А. Рожкова: «Выпуская в свет свое исследование, автор считает излишним подробно говорить о побуждениях, руководивших им при выборе темы: неразработанность вопроса и его важность, <…> слишком очевидно указывают на потребность в труде, подобном предпринятому»[18]. Важность изучаемого вопроса придавала теме работы «крупное исторические значение»[19], как пишет А.Е. Пресняков об изучаемом в магистерской диссертации «княжом праве», включаясь тем самым в известную полемику рубежа XIX–XX вв. о том, исследование каких проблем было достойно получения ученой степени.

С другой стороны, ряд диссертантов старается предстать в качестве продолжателей сложившейся исследовательской традиции. П.Н. Милюков, отмечая историографическую лакуну в изучении Петровской реформы, писал, что видел своей задачей «этот-то пробел… пополнить»[20]. В предисловии он заявлял, что изучение материальной стороны исторического процесса имеет «более близкое отношение к очередным запросам исторической науки»[21]. Сторонники презентации избранной научной проблемы как продолжения определенной исследовательской линии достаточно быстро нашли клишированную форму подачи актуальности,

[14] Ключевский 1882: I.
[15] Рождественский 1897: I.
[16] Лаппо 1901: I.
[17] Кизеветтер 1903: III.
[18] Рожков 1899: I.
[19] Пресняков 1993: 5.
[20] Милюков 1905: XII.
[21] Там же: XI.

выработав фразу о своевременности изучения вопроса. П.Г. Любомиров писал, что «в последние годы опубликовано не мало новых материалов по истории нижегородского ополчения. И теперь, во дни «Трехсотлетия нижегородского подвига», своевременным, кажется, будет снова заняться этим интересным моментом…»[22]. П.Г. Васенко отмечал бесспорную важность изучения Степенной книги, подчеркивая «своевременность намеченной им цели»[23]. М.А. Полиевктов также описывал «научную благовременность» своего труда, рассуждая о необходимости связи опыта дипломатических отношений Петровского периода с современной ему международной обстановкой[24].

«Маленькая доля большого общего дела»: историография вопроса

Устоявшейся практики характеризовать степень изученности проблемы исследования не было. Встречаются как упоминания предшествующих работ по теме в формате ссылки в подстрочнике, так и их перечисление в контексте описания того или иного вопроса.

Для представителей московской научной школы в большей степени был характерен интерес к презентации предшествующего исследовательского опыта. Продемонстрируем преемственную линию в историографическом обосновании темы исследования на примере ряда диссертаций учеников Ключевского. А.А. Кизеветтер в магистерской работе заявил о намерении взглянуть на повседневную жизнь города, что позиционировалось им как «новый» угол зрения[25]. Видимо, «старый» взгляд, выраженный в характеристике законодательной стороны организации городской жизни в XVIII в. в трудах Л.О. Плошинского, А.П. Пригары, И.И. Дитятина[26], его не удовлетворял. Кизеветтер хотел пойти дальше. В речи на диспуте он говорил, что предыдущая историография осветила лишь «крышу здания», в то время как «стены и фундамент остаются еще в глубокой тени»[27]. Он также назвал еще одного предшественника, сказав, что его взгляд на состояние городской общины в XVIII в. исходит из выводов новейшей историографии. Кизеветтер считал, что ему удалось «набросать жизненную картину общих условий нашей государственной и общественной жизни за то знаменательное время, когда, по выражению одного новейшего историка, “ценою разорения страны Россия возводилась в ранг великой европейской державы”»[28]. Приведенная цитата «одного новейшего историка» принадлежит П.Н. Милюкову[29]. Некоторые его выводы, презентованные в магистерской диссертации, Кизевет-

[22] Любомиров 1939.
[23] Васенко 1904: I.
[24] Полиевктов 1907: VIII.
[25] Кизеветтер 1903: IV.
[26] Плошинский 1852; Пригара 1868: 182; Дитятин 1875: 508.; Он же., 1877: 565.
[27] Кизеветтер 2006: 248.
[28] Диспут 1904: 804.
[29] Милюков 1905: 546.

тер повторил, подчеркнув тем самым, что его работа является продолжением исследования старшего коллеги. Он указал, что «правительственные начинания превышали наличные ресурсы общества, реформа шла сверху, принудительным путем», писал о «глубокой бездне» между Россией регламентов и указов и реальностью повседневной жизни[30].

Можно отметить, что исследователи апеллировали к результатам коллег, а научная культура общей резюмирующей оценки историографической ситуации и корректного цитирования работ предшественников только зарождалась. М.М. Богословский в магистерской диссертации дал краткий обзор исследований эволюции местного самоуправления, подчеркнув «тянущееся непрерывной цепью последовательное изучение областных учреждений России» с И.Е. Андреевского до П.Н. Милюкова[31]. Ю.В. Готье в магистерской работе указывал, что «по некоторым вопросам государственного и народного хозяйства этого времени сделано, правда, очень много; но другие освещены недостаточно»[32]. Особое место во введении занимает анализ полемики между Милюковым и Лаппо-Данилевским вокруг значения писцовых книг[33]. В докторской диссертации Готье существенно углубил историографический анализ, попытавшись определить собственное место в Московской исторической школе. Анализируя сложившуюся историографическую ситуацию вокруг преобразовательной деятельности государства в XVIII в., он заметил, что она восходит к «государственной школе». Оценивая труды Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, П.Н. Мрочек-Дроздовского и других историков-юристов, Готье подчеркнул, что изучение нормативно-правовой базы применительно к государственным учреждениям шло вне связи с реальной жизнью, которая «нередко безжалостно ломает самые стройные и самые разумные нормы»[34]. Тем самым он определил свою принадлежность к исследовательской традиции, основателем которой был Ключевский. Готье назвал Ключевского «пионером» в области изучения государственных учреждений во взаимосвязи с общественной жизнью, считая, что его книга о Боярской думе «легла в основу последующих работ и ближайших последователей Василия Осиповича, и некоторых современных историков-юристов». По мнению Готье, «приемы, примененные Ключевским к изучению думы, были применены его ближайшими учениками к изучению местного управления как московского времени, так и времени Петра Великого». Среди учеников он называет Милюкова и Богословского. Готье считал свою монографию продолжением «Областной реформы Петра Великого» Богословского[35].

[30] Кизеветтер 2006: 250, 251.
[31] Богословский 1902: IV.
[32] Готье 1906: III.
[33] Там же: 2-5.
[34] Готье 1913: 2.
[35] Там же: 2-5.

А в речи на докторском диспуте историк подчеркнул, что рассматривает свое исследование как «маленькую долю большого общего дела»[36].

Идея принадлежности к «общему делу» витала в резюмирующей части большинства предисловий, где авторы благодарили своих коллег и учителей. В ряде случаев упоминание лиц, причастных к тому, что диссертация состоялась, заменяло историографический раздел. Этот элемент предисловия можно рассматривать как рефлексию диссертантов относительно принадлежности к определенной научной школе.

П.Н. Милюков в своем предисловии перечислил многочисленных архивистов, помогавших ему в выявлении источников, но, что особенно важно, благодарил своих университетских учителей – «В.О. Ключевского, университетские чтения которого в весьма значительной степени определили самое содержание моих воззрений по данному вопросу, и П.Г. Виноградова, благодаря историческому семинарию которого я имел возможность ознакомиться со взглядами современной западной науки на задачи и приемы исторического исследования»[37]. М.К. Любавский подчеркивал свой интерес к славистике, сформировавшийся при участии Н.А. Попова, памяти которого автор посвятил свою книгу[38].

Говоря о представителях петербургской исторической школы, отметим сложившуюся традицию выражения признания за поддержку своему учителю – С.Ф. Платонову. Такую благодарность, будто бы ритуально, выражает каждый его ученик. А.Е. Пресняков особенно подчеркивает важность длительности такой научной коммуникации со своим наставником: «Особенно трудно мне оценить в словах то многое, чем я обязан многолетнему личному и научному общению с глубокоуважаемым и дорогим учителем моим С.Ф. Платоновым. Без его дружеских настояний и эта книга не была бы написана»[39].

Интересно в этой связи предисловие к диссертации Г.В. Вернадского. Впитав в себя научную культуру обоих университетов, о чем он упоминает в предисловии, Вернадский благодарил за помощь целую плеяду историков, так или иначе оказавших ему поддержку, в том числе С.Ф. Платонова, А.С. Лаппо-Данилевского, С.В. Рождественского[40].

«Поставили себе задачей…»: цели и задачи исследования

Раздел с характеристикой стоявших перед исследователем задач является достаточно репрезентативным. Наиболее распространен сам термин «задачи». Лишь изредка авторы используют словосочетание «поставленные вопросы» или термин «задание». При этом присутствует некоторая расплывчатость в понимании задач исследования. В ряде диссертаций задача выступает синонимом цели исследования, в других

[36] Готье Ю.В. АРАН. Ф. 491. Оп. 1. Д. 4а: 1.
[37] Милюков 1905: XIII.
[38] Любавский 1892.
[39] Пресняков 1993: 6.
[40] Вернадский 2001: IV-V.

встречается ставшее со временем классическим понимание задач как этапов решения общей проблемы. Авторы старались описать не только основные задачи, которые решались в процессе написания труда, но и показать, что они были весьма востребованы, просили решения.

В диссертации Кизеветтера формулировка задачи является примером целеполагания и связывается с новаторством всего труда: «Мы поставили себе задачей выяснить те реальные условия, в которых протекала фактически жизнь городской общины того времени и которые могут быть изучены только на основании еще неизданного архивного материала»[41]. Любавский в магистерской диссертации подчеркивает, что изучение основного вопроса диссертации «…необходимо для правильного изображения и оценки последовавшей эпохи в истории Литовской Руси»[42]. Изучение «встречи идей с действительной жизнью» ставилось Богословским в качестве главной исследовательской задачи. Он стремился «показать не только то, чем должны были быть учреждения 1719 г., но чем они действительно были, посмотреть на них в их ежедневной практике… выяснить, какие условия в окружающей среде и в них самих были причинами их падения»[43]. Наиболее оригинальна (с лингвистической и стилистической точки зрения) формулировка поставленных задач в докторской диссертации московского историка А.И. Яковлева: «Автор стремился к тому, чтобы, заглянув в домашнюю интимную обстановку, в которой шла работа учреждения, вглядеться в московский приказ в его внутренней жизни и выйти из того заколдованного круга общих определений московских приказов, которые уже начинают утомлять нас своим однообразным повторением. Вторым заданием было вскрытие развившихся при взимании сборов, порученных Приказу с.р.л [сбора ратных людей], взаимоотношений между властью и служилым обществом. Решению этой задачи, неизбежно очень кропотливой по характеру изучаемых данных, автор придавал наибольшее значение»[44].

«Заставить говорить самые документы»: источниковая база

Традиционно принято считать, что школа С.Ф. Платонова выступает классическим примером научного сообщества позитивистского толка. Фактически так и есть – у представителей школы были особые, «трепетные» отношения с источниками, что легко выявляется из переписки и дневниковых записей. Однако анализ количества употреблений в предисловиях диссертаций понятий, характеризующих источниковую базу исследования, показал, что петербуржцы не уделяли должного внимания характеристике источников. Авторы диссертаций использовали различные термины для наименования источников работы: «источник», «памятник», «архивный документ», «материал», в ряде случаев в дис-

[41] Кизеветтер 1903: IV.
[42] Любавский 1892: V.
[43] Богословский 1909: 7.
[44] Яковлев 1917: IV.

сертациях встречаются виды исторических источников – писцовые книги, официальные акты, делопроизводство. При этом наибольшее упоминание исторических источников демонстрируют диссертации москвичей (мы фиксируем от 11-15 упоминаний у П.Н. Милюкова, М.К. Любавского, Н.А. Рожкова до 40-50 у М.М. Богословского и А.А. Кизеветтера). Из всех представителей школы Платонова данный блок во введении имеется лишь у троих – И.И. Лаппо, М.А. Полиевктова и А.И. Заозерского.

Детальный анализ используемых документов провели Полиевктов и Заозерский. Полиевктов, упомянувший составные элементы источниковой базы около 40 раз, делает акцент на том, что комплекс подобранных источников введен им в научный оборот впервые: «В основу настоящего исследования положен архивный материал, в значительной своей части почти не подвергавшийся еще научной обработке, по крайней мере, в русской исторической литературе. Тем не менее автор не решился бы назвать свой труд написанным на основании, главным образом, неизданных источников»[45]. Заозерский также даёт подробный перечень используемых документов (36 упоминаний), проводит их атрибутивный и текстологический анализ. Он отмечает группу делопроизводственных документов: «Будем ли мы изучать хозяйственное ведомство Тайного приказа или самый Приказ, как учреждение, в обоих случаях основным источником будут служить “дела” Тайного приказа, но не в одинаковом составе»[46]. Менее обстоятельна характеристика источников у И.И. Лаппо (18 упоминаний). Он отмечает лишь то, что «в настоящее время детальное исследование внутренней истории великого княжества Литовского является совершенно возможным. Полная доступность для научных занятий драгоценных исторических сокровищ Литбийской Метрики, хранящейся в Московском Архиве Министерства Юстиции, должна быть отмечена, как особенно благоприятное условие для этого»[47]. Мы не находим здесь перечня используемых документов, их первичной атрибуции и текстологического анализа.

Представители московской исторической школы в большинстве своем тщательно подходили к характеристике источников. Милюков, по сути, сформулировал принцип достаточности источниковой базы: «Мы не могли в нашем труде исчерпать их», но «…дальнейшее изучение не прибавит ничего существенно нового и не изменит основных выводов, полученных в результате работы»[48]. Богословский очень подробно классифицировал не только документы, используемые для своей диссертации, но и состояние архивов и библиотек, в которых они находились. Он привлек большой массив делопроизводственных документов из архивов областных и центральных учреждений, и предпринял попытку их клас-

[45] Полиевктов 1907: VIII.
[46] Заозерский 1937: 10.
[47] Лаппо 1901: VII.
[48] Милюков 1905: XII.

сификации по ведомственному принципу. Значительное место в предисловии заняли размышления автора над принципами работы с источниками. Если документы областных учреждений приоткрывали фактическую, повседневную сторону их работы, то центральное делопроизводство имело скорее обобщающее значение и позволяло понять принципы принятия и продвижения управленческих решений. При этом автор отмечал, что документы различных ведомств удачно дополняли друг друга, позволяя восполнить пробелы. Особо Богословский подчеркивал, что, помимо прямых свидетельств, источники содержали «следы не только практики учреждений, но и той творческой мысли, которая их созидала, не только делопроизводства уже функционирующих учреждений, но и всякого рода проекты, соображения и предварительные расчеты, и планы различных преобразований и изменений». Богословский писал о важности «внутренней критики» источников, в ходе которой задача исследователя состояла в прочувствовании пульса жизни анализируемых учреждений за неподвижной, стиснутой в жесткие формуляры информацией делопроизводственных документов[49]. Встречаемые в документах намеренные и случайные искажения Богословский умело использовал в работе для обогащения реконструируемой управленческой картины. В докторской диссертации он вновь показал себя скрупулезным источниковедом и подключился к известной в то время дискуссии о значении писцовых книг и предпринял новую попытку классифицировать источники, на этот раз по видовому признаку[50]. Тщательная работа с источниками (Богословскому приходилось проводить перенумерацию многих архивных дел), поиски ответа на вопрос об их достоверности становятся характерной чертой Богословского-исследователя.

Ю.В. Готье не хватило предисловия для характеристики источниковой базы. В нем автор ограничился указанием, что «свойства архивного материала, который пришлось положить в основу исследования, сообщили работе некоторые особенности. Во-первых, слишком большое количество первоисточников экономической истории XVII века заставило автора ограничиться исследованием одной только части территории Московского государства. <…> Во-вторых, важное значение хозяйственных описаний и переписей, составляющих главнейший источник исследования, и недостаточное критическое изучение писцовых и переписных книг, и предпослать исследованию, в качестве введения, главу критического содержания»[51]. Вопрос изучения источников Готье вынес в отдельную главу, где пытался, опираясь в основном на исследования Лаппо-Данилевского и Милюкова, решить вопрос, поставленный Ключевским применительно к диссертации Рожкова, о «неотложности ши-

[49] Богословский 1902: V-VIII.
[50] Богословский 1909: V-VI.
[51] Готье 1906: 3.

рокого и детального исследования писцовых книг». Работая с писцовыми книгами как историческим источником, Готье посчитал нужным обозначить методику их анализа. Во-первых, он выяснял конкретные условия создания писцовых книг для каждой местности, начиная от момента их создания до редакционных правок; во-вторых, проводил сравнительно-сопоставительный анализ писцовых книг различных местностей[52]. Источниковедческий почерк Готье вполне узнаваем в его докторской диссертации. Свою задачу как источниковеда он видел в выборе «ярких и типичных примеров из документов, беспрерывно и бесконечно обращающихся вокруг одних и тех же фактов и явлений», а также в попытке «заставить говорить самые документы»[53].

Историк Яковлев в магистерской работе описывает характеристики архивных дел, которые помогли ему в процессе создания научной диссертации: «Свойства материала исключали возможность его частичной обработки и требовали полноты и законченности обзора. Перед этим материалом наблюдатель чувствовал себя как перед разорванными кусками большой и сложной картины, понять которую в целом можно было, только подобрав и соединив прихотливо разорванные, разбросанные и перепутанные части ее. Но зато сосредоточенность материала, относящегося в огромном большинстве своем именно к лету 1638 г., делала задачу такого целостного изучения особенно привлекательной: по удачному выражению одного историка, исследователь, изучающий подобный материал, как бы занимает возвышенное положение, с которого ему сразу открывается вся обозреваемая местность. Ценным дополнением к указанному материалу переписки о работах 1638 г. послужили отмеченные В.Н. Сторожевым в печати писцовые книги №№ 389, 390, 415, 416 и др.»[54]. В данном сюжете прослеживаются также элементы историографической характеристики изучаемого вопроса.

Итак, анализ предисловий, представляющих собой важную часть диссертаций, вносит дополнительные штрихи в понимание диссертационной и университетской культуры в целом. Предисловия концентрируют в себе негласные академические и этические нормы, исследовательские намерения и цели написания труда. Подводя итог, можно говорить о большей информативности вводного раздела диссертации у представителей московской исторической школы, в то время как петербургские историки писали весьма краткие предисловия к своим работам. Значительное место в предисловиях петербуржцев занимали слова благодарности, адресованные главе школы историков-русистов. В диссертациях же москвичей мы находим анализ исследовательской традиции, которая складывалась на кафедре русской истории и к которой себя

[52] Там же: 4, 6-7.
[53] Готье 1913: 7.
[54] Яковлев 1916: III.

причисляли диссертанты. Вместе с тем встречаются случаи, когда авторы подчеркивают иные источники идейного влияния на их диссертации (П.Н. Милюков, Г.В. Вернадский). Общим местом в предисловиях становится обоснование выбора темы, что происходило чаще всего через подчеркивание актуальности/своевременности обращения к ней, а также определение пути ответа на поставленный в диссертации вопрос. Необходимо отметить, что практики презентации методологически ориентированных обоснований диссертационных исследований долгое время не складывалось, единого «шаблона» так и не было выработано. В то же время в текстах предисловий в ряде случаев мы видим весьма зрелые примеры источникового анализа (М.М. Богословский) и характеристики историографической традиции (А.А. Кизеветтер, Ю.В. Готье).

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Алеврас Н.Н. Диссертационная культура российских историков: взгляд шесть лет спустя // Диссертации по истории в контексте российской научной культуры XIX – середины XX в.: опыт и перспективы изучения: сб. статей / под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной. Челябинск: Энциклопедия, 2016. [Alevras N.N. Dissertatsionnaya kul'tura rossiiskikh istorikov: vzglyad shest' let spustya // Dissertatsii po istorii v kontekste rossiiskoi nauchnoi kul'tury XIX – serediny XX v.: opyt i perspektivy izucheniya: sb. statei / pod red. N.N. Alevras, N.V. Grishinoi. Chelyabinsk: Entsiklopediya, 2016].

Алеврас Н.Н., Корзун В.П. Речь А.С. Лаппо-Данилевского на диссертационном диспуте // Мир историка: Историографический сборник. Омск, 2014. С. 41-59 [Alevras N.N., Korzun V.P. Rech' A.S. Lappo-Danilevskogo na dissertatsionnom dispute // Mir istorika: Istoriograficheskii sbornik. Omsk, 2014. P. 41-59].

Алеврас Н.Н. Лаппо-Данилевский и диссертационная культура русских историков в конце XIX – начале XX века // Диалог со временем. 2014. № 46. С. 165-173. [Alevras N.N. Lappo-Danilevskii i dissertatsionnaya kul'tura russkikh istorikov v kontse XIX – nachale XX veka // Dialog so vremenem. 2014. № 46. P. 165-173].

Богословский М.М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. I. Областное деление Поморья. Землевладение и общественный строй. Органы самоуправления. М., 1909 [Bogoslovskii M.M. Zemskoe samoupravlenie na russkom Severe v XVII v. T. I. Oblastnoe delenie Pomor'ya. Zemlevladenie i obshchestvennyi stroi. Organy samoupravleniya. M., 1909].

Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719–1727 гг. М., 1902 [Bogoslovskii M.M. Oblastnaya reforma Petra Velikogo. Provintsiya 1719–1727 gg. M., 1902].

Васенко П.Г. «Книга степенная царского родословия» и её значение в древнерусской исторической письменности. Часть первая. СПб., 1904. [Vasenko P. G. «Kniga stepennaya tsarskogo rodosloviya» i ee znachenie v drevnerusskoi istoricheskoi pis'mennosti. Chast' pervaya. SPb., 1904].

Ведякова Н.А. Понятия актуальности, значимости, новизны в рамочных клише русского научного текста // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические науки. 2018. № 10 (420). С. 42-48. [Vedyakova N.A. Ponyatiya aktual'nosti, znachimosti, novizny v ramochnykh klishe russkogo nauchnogo teksta // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki. 2018. № 10 (420). P. 42-48].

Ведякова Н.А. Стереотипность и вариативность в научном тексте (на материале авторефератов диссертаций). Lap Lambert Academic Publishing Saarbrucken, 2011. [Vedyakova N.A. Stereotipnost' i variativnost' v nauchnom tekste (na materiale avtoreferatov dissertatsii). Lap Lambert Academic Publishing Saarbrucken, 2011.].

Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб.: Изд. им. Н.И. Новикова, 2001 [Vernadskii G.V. Russkoe masonstvo v tsarstvovanie Ekateriny II. SPb.: Izd. imeni N.I. Novikova, 2001].

Готье Ю.В. Вступительное слово на защите докторской диссертации «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II» // АРАН. Ф. 491. Оп. 1. Д. 4а. [Got'e Yu.V. Vstupitel'noe slovo na zashchite doktorskoi dissertatsii «Istoriya oblastnogo upravleniya v Rossii ot Petra I do Ekateriny II» // ARAN. F. 491. Op. 1. D. 4a.].

Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М., 1906. [Got'e Yu.V. Zamoskovnyi krai v XVII veke. Opyt issledovaniya po istorii ekonomicheskogo byta Moskovskoi Rusi. M., 1906].

Готье Ю.В. История Областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Том I. Реформа 1727 года. Областное деление и областные учреждения 1727–1775 гг. М., 1913 [Got'e Yu.V. Istoriya Oblastnogo upravleniya v Rossii ot Petra I do Ekateriny II. Tom I. Reforma 1727 goda. Oblastnoe delenie i oblastnye uchrezhdeniya 1727–1775 gg. M., 1913].

Гришина Н.В. Диссертации представителей «школы В.О. Ключевского»: к вопросу об исследовательской программе школы // Мир историка и пространство истории: сборник статей к юбилею профессора Н.Н. Алеврас / под ред. Н.В. Гришиной, Т.А. Андреевой. Челябинск: Энциклопедия, 2018. С. 193-217 [Grishina N.V. Dissertatsii predstavitelei «shkoly V.O. Klyuchevskogo»: k voprosu ob issledovatel'skoi programme shkoly // Mir istorika i prostranstvo istorii: sbornik statei k yubileyu professora N.N. Alevras / pod red. N.V. Grishinoi, T.A. Andreevoi. Chelyabinsk: Entsiklopediya, 2018. P. 193-217].

Диспут А.А. Кизеветтера // Исторический вестник. 1904. Т. ЧСМ [Disput A.A. Kizevettera // Istoricheskii vestnik. 1904. T. ChSM].

Дитятин И.И. Устройство и управление городов России / И.И. Дитятин. СПб.: Тип. М.М. Меркульева, 1875. Т. 1 [Dityatin I. I. Ustroistvo i upravlenie gorodov Rossii / I.I. Dityatin. SPb.: Tip. M. M. Merkul'eva, 1875. T. 1.].

Дитятин И.И. Устройство и управление городов России. Ярославль: Тип. Г.В. Фальк, 1877. Т. 2 [Dityatin I.I. Ustroistvo i upravlenie gorodov Rossii. Yaroslavl': Tip. G.V. Fal'k, 1877. T. 2]

Заозерский А.И. Царская вотчина XVII века. М.: Изд. «Соцэкгиз», 1937 [Zaozerskii A.I. Tsarskaya votchina XVII veka. M.: Izdatel'stvo «Sotsekgiz», 1937].

Историки в поисках новых перспектив / Под общ. ред. З.А. Чеканцевой. М.: Аквилон, 2019 [Istoriki v poiskakh novykh perspektiv / Pod obsh. ked. Z.A. Chekantsevoi. M.: Akvilon, 2019].

Кизеветтер А.А. Новизна и старина в России XVIII столетия. Речь перед магистерским диспутом // Кизеветтер А.А. Исторические очерки (М., 1912). М., 2006 [Kizevetter A.A. Novizna i starina v Rossii XVIII stoletiya. Rech' pered magisterskim disputom // Kizevetter A.A. Istoricheskie ocherki (M., 1912). M., 2006].

Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII ст. М.: Университетская тип., 1903 [Kizevetter A.A. Posadskaya obshchina v Rossii XVIII st. M.: Universitetskaya tip., 1903].

Ключевский В.О. Боярская Дума Древней Руси. М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1882. [Klyuchevskii V.O. Boyarskaya Duma Drevnei Rusi. M.: T-vo tip. A.I. Mamontova, 1882].

Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–1586). Опыт исследования политического и общественного строя. Т. 1. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901 [Lappo I. I. Velikoe knyazhestvo Litovskoe za vremya ot zaklyucheniya Lyublinskoi unii do smerti Stefana Batoriya (1569–1586). Opyt issledovaniya politicheskogo i obshchestvennogo stroya. T. 1. SPb.: Tipografiya I.N. Skorokhodova, 1901].

Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892 [Lyubavskii M.K. Oblastnoe delenie i mestnoe upravlenie Litovsko-Russkogo gosudarstva ko vremeni izdaniya pervogo Litovskogo statuta. M., 1892].

Любомиров П.Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг. Переиздание. М.: Соцэкгиз, 1939 [Lyubomirov P. G. Ocherk istorii nizhegorodskogo opolcheniya 1611–1613 gg. Pereizdanie. M.: Sotsekgiz, 1939].

Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. Изд. второе. СПб.: Книгоиздательство М.В. Пирожкова. Тип. М.М. Стасюлевича, 1905 [Milyukov P. N. Gosudarstvennoe khozyaistvo Rossii v pervoi chetverti XVIII stoletiya i reforma Petra Velikogo. Izd. vtoroe. SPb.: Knigoizdatel'stvo M.V. Pirozhkova. Tipografiya M.M. Stasyulevicha, 1905.].

Плошинский Л.О. Городское или среднее состояние русского народа в его историческом развитии от начала Руси до новейших времен. СПб., 1852 [Ploshinskii L.O. Gorodskoe

ili srednee sostoyanie russkogo naroda v ego istoricheskom razvitii ot nachala Rusi do noveishikh vremen. SPb., 1852].

Полиевктов М.А. Балтийский вопрос в русской политике после Ништадского мира (1721–1725). СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1907. [Polievktov M. A. Baltiiskii vopros v russkoi politike posle Nishtadskogo mira (1721–1725). SPb.: Tip. M.A. Aleksandrova, 1907].

Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М.: Наука, 1993 [Presnyakov A.E. Knyazhoe pravo v drevnei Rusi. Lektsii po russkoi istorii. Kievskaya Rus'. M.: Nauka, 1993].

Пригара А.П. Опыт истории состояния городских обывателей в Восточной России. СПб.: Печатня В. И. Головина, 1868. Ч. 1. [Prigara A. P. Opyt istorii sostoyaniya gorodskikh obyvatelei v Vostochnoi Rossii. SPb.: Pechatnya V. I. Golovina, 1868. Ch. 1.].

Рождественский С.В. Служилое землевладение в московском государстве XVI века. СПб., 1897 [Rozhdestvenskii S.V. Sluzhiloe zemlevladenie v moskovskom gosudarstve XVI veka. SPb., 1897].

Рожков Н. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке. М., 1899 [Rozhkov N. Sel'skoe khozyaistvo Moskovskoi Rusi v XVI veke. M., 1899].

Савицкий Е.Е. Критерии новизны в историографии 1990-х годов: На примере нового медиевализма // Дисс… к.и.н. М.: ИВИ РАН, 2006. [Savitskii E. E. Kriterii novizny v istoriografii 1990-kh godov: Na primere novogo medievalizma // Dissertatsiya na soiskanie nauchnoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk. M.: IVI RAN, 2006.].

Яковлев А.И. Засечная черта Московского государства в XVII веке. Очерк из истории обороны южной окраины Московского государства. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1916 [Yakovlev A. I. Zasechnaya cherta Moskovskogo gosudarstva v XVII veke. Ocherk iz istorii oborony yuzhnoi okrainy Moskovskogo gosudarstva. M.: Tip. G. Lissnera i D. Sovko, 1916].

Яковлев А.И. Приказ сбора ратных людей. 146-161/1637-1653 гг. М.: скл. изд. у авт., 1917 [Yakovlev A.I. Prikaz sbora ratnykh lyudei. 146-161/1637-1653 gg. M.: skl. izd. u avt., 1917].

Fairclough N. Critical discourse analysis: papers in the critical study of language. N.Y., 1995. [Fairclough N. Critical discourse analysis: papers in the critical study of language. N.Y., 1995].

Белик Ксения Михайловна, *стажёр-исследователь, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева, НИУ «Высшая школа экономики»; kseniabelik2402@gmail.com*

Гришина Наталья Владимировна, *кандидат исторических наук, доцент, декан, историко-филологический факультет, Челябинский государственный университет; natalyagrishina@mail.ru*

Introductions to the dissertations on Russian history at the turn of the 19th – 20th cc. as a form of the translation of academic conventions and practices

The study of the scientific language and the structural elements of the dissertations is an important aspect in the study of dissertational culture. At the turn of the 19th-20th centuries, unwritten rules were formed for writing the introductory section of dissertations. The authors attempted to identify the process of formulating academic conventions. The article provides a comparative analysis of the prefaces to the dissertations on Russian history written by scholars from Moscow and St. Petersburg. The authors make conclusions about specifics of the introductory section of the dissertation in the context of scientific schools, and the presentation features of the individual components of the introduction.

Keywords: *dissertations, Russian Empire, dissertation culture, university studies, Moscow Historical School, Petersburg Historical School, educational history, intellectual history.*

Belik Ksenia M., *research assistant, A. Poletaev Institute for Theoretical Historical Studies in the Humanities (IGITI), National Research University Higher School of Economics, Russian Federation; kseniabelik2402@gmail.com;*

Grishina Natalya V., *Ph.D. (History), associate professor, Dean of the Department of History and Philology, Chelyabinsk State University; Russia; natalyagrishina@mail.ru*

А.А. Зайцев

МЕДИЕВАЛИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЭПОХИ: «НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» Н.А. БЕРДЯЕВА

Статья посвящена исследованию медиевализма как феномена культуры, имевшего чрезвычайно яркое выражение в начале XX в. Кризис европейской культуры породил разнообразные формы рефлексии. Примером такой рефлексии является философия Н.А. Бердяева. Исследование опирается на его работы, рассматриваемые в интеллектуальном контексте эпохи. Раскрываются ключевые компоненты философии Бердяева, нашедшие выражение в известной концепции «нового средневековья».
***Ключевые слова**: медиевализм, «новое средневековье», история культуры, философия истории, марксизм, идеализм, идеология*

Творческое наследие Николая Александровича Бердяева (1874–1948) занимает особое место в истории культуры XX века. Сложно спорить с тем, что его идеи продолжают оказывать значительное влияние на интеллектуальную культуру современности. Характер этого влияния подвергается разностороннему осмыслению: насколько полемичны тексты самого Бердяева, настолько полемичны и тексты о Бердяеве. То же можно сказать и о круге близких ему мыслителей, в первую очередь т.н. «веховцах», о представителях русской религиозной философии первой половины XX в. При этом складывается впечатление, что обращение именно к бердяевскому наследию вызывает наиболее динамичные споры, вновь инициирует осмысление ряда историологических тем.

Литература о Бердяеве огромна, отношение к нему в историографии– от глубоко позитивного до резко отрицательного. С одной стороны, Бердяев рассматривается как замечательный представитель русской философии в период её расцвета, всё ценное и непреходящее в наследии которого необходимо воспринять[1]. С другой стороны, он предстаёт как обыкновенный реакционер и мыслитель, близкий к фашизму[2]. Оба варианта предполагают относительную простоту решения вопроса о популярности и влиятельности его идей. Однако некоторое повторение, следование в русле его идей или же отождествление всей его мысли с конкретной формой политической реакции всё же не помогают объяснить феномен Бердяева во всей его противоречивости.

Содержательный обзор жизненного пути Бердяева, его основных идей и их оценок в литературе представлен в статье Н.П. Полторацкого[3], в сочинении О.Д. Волкогоновой[4], в автобиографии самого мыслителя[5]. Отдельные вопросы его творчества в интеллектуальном контексте вре-

[1] Гайденко 2001: 302.
[2] Семёнов 2003: 86.
[3] Полторацкий 1975: 190-204.
[4] Волкогонова 2010.
[5] Бердяев 1990.

мени находят отражение в многочисленных статьях и монографиях. Отдельно стоит отметить работу М.А. Колерова, в которой раскрываются тонкие моменты организации «идеалистического направления» российской социалистической и либерально-консервативной мысли начала XX века, принципов её развития, фракционных расколов и союзов, направления внутренней и внешней полемики[6].

В настоящей работе некоторые аспекты творческого наследия Бердяева рассматриваются через призму медиевализма. Под медиевализмом понимается актуализация средневековья через восприятие, создание и трансляцию его образа, присутствие средневековья в культурном поле современности, «присвоение» средневековья как академической, так и массовой культурой. Как справедливо отмечает Е.Е. Савицкий, «всякая репрезентация Средневековья есть нечто большее, чем набор верных или ложных сведений о нём»[7]. Особенно точно это высказывание применимо к наследию Бердяева, буквально пронизанному специфическим отношением к средневековью: многие философы, поэты, историки начала XX в. вынуждены, так или иначе, соотносить себя, своё творчество со Средними веками. Вопрос о значении средневековья, его наследия, как и вопрос о значении Ренессанса, приобретает в этот период особое звучание. Так, Волкогонова замечает, что, например, идея добытийственной свободы в философии зрелого Бердяева «явно вырастала из средневековой мистики»[8]. Рассмотрение медиевализма в творчестве Бердяева несомненно важно для понимания и его идей, и культурного и социально-политического содержания времени. Поэтому и понятие «новое средневековье», и то, что за ним стоит, требует дополнительного изучения, несмотря на то, что сам Бердяев, хотя и ценил свою названную таким образом книгу, считал её далеко не основной в своём творчестве[9]. Об актуальности такого прочтения свидетельствует, например, появление статей В.А. Бойко о рыцарском идеале Бердяева[10], или статьи О.И. Ивониной, посвященной, собственно, бердяевской концепции «нового средневековья»[11]. Ивонина подробно анализирует историческую концепцию Нового Средневековья в свете мировоззренческого, исторического и идейно-политического контекста, имея в виду актуальную аналитику и прогноз на будущее. Но, кроме этого, конечно, важно сделать акцент на собственно медиевалистический аспект концепции. Для этого следует рассмотреть идейные установки Бердяева, вопрос о его идеализме, спорах с марксистами и народниками, национализме, о специфическом сочетании «архаичности» и «революционаризма», которое было характерно для его мысли на протяжении всей жизни.

[6] Колеров 1996.
[7] Савицкий 2016: 73.
[8] Волкогонова 2010: 7.
[9] Бердяев 1990: 235.
[10] Бойко 2017а, 2017б.
[11] Ивонина 2020.

Был ли Бердяев марксистом? Сам Бердяев называет марксистским целый период своей жизни, когда он, по его выражению, был марксистом, «хотя и не ортодоксальным и свободомыслящим». Однако первый же марксистский доклад вызвал у него «не только отталкивание, но и настоящую тоску»[12], а в первой его большой работе, посвящённой критике субъективизма у Н.К. Михайловского, П.Б. Струве торжественно констатирует выражение открытого и решительного поворота к философскому идеализму[13]. Действительно, Бердяев, похоже, «никогда не считал себя материалистом»[14]. В письме к Струве от 25.II.1900, где Бердяев обсуждает судьбу ещё не вышедшей книги, он сообщает, что он прирождённый метафизик и что марксизм не излечил его от этого. Он излагает свою позицию следующим образом: «Самое страстное моё желание – это поднять марксизм до заоблачных высот, придать ему в конечном счёте идеалистический характер»[15], и далее озвучивает некоторые идеи, которые, видимо, уже тогда были основой его мировоззрения. Это жажда абсолютной истины и абсолютной справедливости, самостоятельная и высшая ценность красоты, самостоятельность этической точки зрения, решающее значение и самоценность личности.

В том же письме Бердяев размышляет о прогрессе[16]. Бердяев пишет: «Прежде всего теперь формулой прогресса должно быть "чем лучше, тем лучше", а не "чем хуже, тем лучше"»[17]. Данный принцип озвучивается и в самой работе Бердяева по Михайловскому[18]: так должна выглядеть одна из поправок в марксистскую ортодоксию. На это утверждение Бердяеву отвечает В.И. Ленин, заявляя, что оба принципа, в общей форме, неверны[19]. Фактически Ленин говорит об историзме, диалектичности, ситуативности, о том, что нельзя прогресс выразить в таком абсолютизированном, крайне упрощённом виде. В этой связи важно подчеркнуть, что критикуемые Лениным стремление к абсолютизации, сведение явлений к крайностям, и, вместе с тем, дуализм, будут характерны для всего последующего творчества Бердяева.

Осенью 1901 г. Струве активно работает над сборником статей, который должен был стать новой вехой в движении части интеллигенции от марксизма к идеализму – это знаменитые «Проблемы идеализма» (1902). Колеров пишет, что Струве «...очертил круг привлекаемых им экс-марксистов. В экс-марксистскую курию тогда, по-видимому, были включены Бердяев, Булгаков, Кистяковский, Франк, Туган-Барановский

[12] Бердяев 1990: 108.
[13] Струве 1994: 87.
[14] Волкогонова 2010: 52.
[15] Бердяев 2018: 22.
[16] В этот период он ещё признаёт «наличие общественного прогресса в истории, направленного социального развития. В этом вопросе особенно ярко видно отличие взглядов молодого Бердяева от позиции зрелого мыслителя». Волкогонова 2010: 40.
[17] Бердяев 2018: 25.
[18] Бердяев 1901: 261.
[19] Ленин 1967 (а): 65.

и сам Струве»[20]. По оценке Колерова, собственно социально-экономическая и политическая программа марксизма нисколько не утратила своего значения в глазах Струве и его сторонников, «они стремились лишь "подкрепить" эту программу "философским идеализмом", "метафизикой" и "религией"»[21]. Ленин же в одной из статей (1903) говорит о новой интеллигенции, «либерализм которой почти совсем очистился (не без помощи русского марксизма, конечно) от примитивного народничества и расплывчатого социализма. Образование настоящей буржуазно-либеральной интеллигенции идёт у нас семимильными шагами, особенно благодаря участию в этом процессе столь поворотливых и отзывчивых ко всякому модному веянию оппортунизма людей, как гг. Струве, Бердяевы, Булгаковы и Ко»[22]. Влияние «расплывчатого социализма», о котором здесь пишет Ленин, в действительности останется неотъемлемой частью философии Бердяева. В статье для сборника «Проблемы идеализма» Бердяев, говоря о направленности общественного развития, утверждает, что всякая новая форма производства вместе с соответствующей ей формой социальной организации должна быть оценена и оправдана как средство реализации «естественного права личности, и свободы, и равенства». Эти естественные права абсолютны и самоценны, принцип «народного суверенитета» отрицается им начисто, вместо него полагается принцип неотчуждаемых личных прав[23].

Понятно, что такое представление об обществе, не учитывающее ни классовых противоречий, ни диалектики общественного и частного, вызвало соответствующую критику. С критическими текстами в адрес авторов «Проблем идеализма» выступают и социал-демократы А.В. Луначарский и А.А. Богданов. Вообще, стилистика публицистических текстов того времени отличается особенной остротой, оппоненты не жалеют едких слов. Так, Луначарский в своей рецензии буквально громит метафизику Бердяева: «Бердяев тоже один из жаждущих дурмана и грёзы, и он не обманет нас тем, что тщетно старается приладить марксистское седло к тощему хребту своей идеалистической коровы»[24]. Вступая в спор с Бердяевым, Луначарский, подходит и к вопросу о методах познания[25], и к более широкому, основному вопросу своей статьи о трагедии жизни именно в теоретическом ключе. Его вердикт: «трагизм Бердяева состоит из страха перед жизнью и философских суеверий»[26]. Не менее остро о философии Бердяева высказывается Богданов, находя общее и крайне удачное название для рассматриваемой идейно-философской тенденции: «новое средневековье»[27]. Он определяет клерикализм

[20] Колеров 1996: 20.
[21] Там же: 18.
[22] Ленин 1967 (б): 346.
[23] Бердяев 1902: 118.
[24] Луначарский 1994: 115-116.
[25] Там же: 112-113.
[26] Там же: 116.
[27] Богданов 1994: 120-145.

Бердяева и С.Н. Булгакова, не как проявление «критического марксизма», на что претендовали сами авторы «Проблем идеализма», а в качестве старой буржуазной догмы[28]. Хотя некоторое время спустя тот же Булгаков ещё отдаёт должное марксизму и его значению в общественной жизни прошедшего десятилетия. В книге «От марксизма к идеализму» он пишет: «в 90-ые годы именно марксизм был первым горячим ручейком, растопляющим зимний лёд и реально свидетельствующим самим фактом своего появления, что солнце поворачивает к весне»[29]. Интересно, что к такой же метафоре прибегает в своей упомянутой рецензии Луначарский, сравнивая революцию с весной[30]. Это сравнение станет общим местом в публицистике тех лет. Булгаков последовательно отстаивает идеализм как практический принцип, полагая, что идеалы социальной справедливости и общественного прогресса с необходимостью вытекают из основных принципов философского идеализма, более того, «лишь на этих принципах они и могут вообще основываться»[31]. Булгаков прибегает к критике марксизма с религиозно-философских позиций как религиозного же учения. Бердяев по-своему развивает эту идею. В статье «Социализм как религия» он рассуждает о двух типах социализма. Социализм нейтральный, не претендующий заменить хлеб небесный хлебом земным – желателен, и освобождение в результате его развития должно совершиться. «Социалистическая религия» же, подменяющая небесного Бога богом земным, есть зло, хоть и с прогрессивной внешностью[32]. Уже в этой статье Бердяев разворачивает своеобразную эсхатологическую картину – история близка к завершению, к финальному сражению сил добра и зла.

Идейная борьба, которую ведут Булгаков и Бердяев, видится Богданову выражением «обломков прошлого», которые, тем не менее, важно понять, а не просто раздражаться, ведь «дух прошлого хитёр, как и дух будущего», а «в идейной жизни обманщиками чаще всего бывают обманутые»[33]. Несмотря на то, что в этот период прошлое интересует Бердяева скорее как прошлое философии, и само понятие «новое средневековье» пока что вообще им не используется, тем более в положительном смысле, Богданов почти гениально вскрывает, так сказать, «болевой нерв» мысли Бердяева, принципиальную тенденцию, в большой мере определившую его дальнейшее творчество.

---

[28] Там же: 144.

[29] Булгаков 1903: VII.

[30] «Когда у нас потянуло весной, интеллигенция высыпала праздничной толпою на волю и весело загомонила на весенние темы. Но вот ударили лёгкие морозцы, и зябкие люди побежали опять к натопленным печам… А дома, среди будничной обстановки, стало ещё скучнее. И вот появились маги» (Луначарский 1994: 104). Под магами Луначарский понимает Бердяева, Булгакова и их соратников. Он точно так же критически настроен по отношению к интеллигенции, как и критики «справа».

[31] Булгаков 1903: VI.

[32] Бердяев 1906.

[33] Богданов 1994: 120-121.

Другой показательный пример выражения взглядов Бердяева – его участие в следующем сборнике, ставшем классическим выражением настроений разочарования и самокритики части российской интеллигенции после «первого штурма царизма» – в «Вехах» (1909). Бердяев пишет для сборника статью, в которой обрушивается с критикой на российскую интеллигенцию, на своё поколение, исказившее, по его мнению, все направления философии и просмотревшее, например, такого видного философа, как Вл. Соловьёв, которого можно было бы признать национальным философом, «около него создать национальную философскую традицию»[34]. Философия Соловьёва, очевидно, есть характерный образец русской религиозной философии. Не вдаваясь в подробности построений Соловьёва, отметим только одно понятие, в дальнейшем прочно вошедшее в идейный арсенал Бердяева – «свободная теократия». Ещё в 1880 г. Соловьёв публикует работу, в которой с религиозно-философских позиций отстаивает возможность построения гармоничного общества. Так, внешняя, насильственная теократия, по Соловьёву, подавляет государственные и экономические интересы в их собственной сфере, выражается в стремлении церкви хозяйничать во всех областях человеческого общества[35]. При этом принцип отделения духовной области от светской «есть лишь практическая непоследовательность, столь же неустойчивая исторически, как и логически». Полностью отделить светское от религиозного в общественной жизни, по Соловьёву, нельзя, поэтому необходим их синтез, в котором мирское должно находиться по отношению к божественному в отношении «свободного подчинения»[36]. Такой синтез и будет называться свободной теократией; противоречие и борьба между церковью, государством и «экономическим обществом» в таком обществе, считает Соловьёв, совершенно невозможны[37]. Эта идея станет важной составляющей бердяевского медиевализма[38].

Не только религиозно-философская составляющая «веховской» критики идейного поля того времени, но и общая направленность этой критики вызвали сильнейшую реакцию. О «Вехах» тогда писали много. Эсер В.М. Чернов, выступив под псевдонимом Б. Юрьев, общую направленность сборника определяет как антинародническую: именно так, по его мнению, звучит «неизменный рефрен всех авторов "Вех"»[39]. Хотя, конечно, Бердяев проходится не только по народничеству. Он бичует и социал-демократию в лице её «философствующих» представителей – тех же Луначарского и Богданова[40], и даже, хотя и мягче, критикует мистиков – В.В. Розанова, Д.С. Мережковского, Вяч. Иванова[41]. Чернов

[34] Бердяев 1991: 38.
[35] Соловьёв 1880: 174.
[36] Там же: 177-178.
[37] Там же: 199.
[38] Об отношении философии Бердяева к философии Соловьёва см.: Евлампиев 2000.
[39] Юрьев 2007: 276.
[40] Бердяев 1991: 31.
[41] Там же: 41.

между тем говорит о грубой обобщённости и в целом ошибочности представлений Бердяева о философии и путях её развития, прослеживая некоторые важные составляющие этого процесса – через фигуры Герцена, Фейербаха, Ницше, Лаврова, Михайловского. Бердяев, чьи статьи «давно уже имеют тенденцию превращаться в литературные манифесты – то милостивые, то немилостивые, но всегда категорические, всегда императивные»[42], громя основной философский багаж интеллигенции, расчищает почву для булгаковского нео-православия[43]. Булгаков же осуществляет, что важно в контексте темы, «радикальный поворот – обращение не просто к религии, а к *социальному прошлому* религии. Он хочет подвести религиозный фундамент под общественные явления; он хочет восстановить теократию в области духа; он, в полном смысле этого слова, не *консерватор* даже, а *реакционер* в области религии»[44].

Казалось бы, вот оно, богдановское «новое средневековье», выраженное в данном случае в возвращении религии её ведущей роли в общественной жизни. Колеров отмечает, что ещё в 1902 г. Булгаков задумывается о социально-политическом содержании «вполне литературного направления» «Проблем идеализма» в практическом ключе, в направлении его, так сказать, «общественных перспектив»[45]. Бердяев же, хотя он разделяет и утопию Соловьёва, и идеи Булгакова, в некотором смысле остаётся в стороне. Чернов считает, что Бердяев «прямо одержим страхом, как бы философия, истина не послужили каким-нибудь практическим, общественным целям»[46]. Такое утверждение носит слишком крайний характер: у Бердяева можно обнаружить рассуждения и о роли философии в общественной практике, и о роли общественной практики в деле развития философии. Развитие настоящей, творческой национальной философии будет способствовать культурному возрождению России, а оно невозможно без политического освобождения, в свою очередь политическое освобождение невозможно без культурного возрождения[47]. Бердяев говорит здесь о развитии, причём не столько религиозном, сколько философском. Однако главное дело – не реформа или революция, не «общественные перспективы», а занятие философией, то есть познание истины. Без этого никакие общественные движения не будут иметь верного направления. Ключ к решению важнейших общественных вопросов – именно в развитии философии, в первую очередь, разумеется, метафизики. Чернов точно подмечает эту тенденцию: нападкам Бердяева подвергается любая антиметафизическая, а, следовательно, и антитеологическая философия[48]. Подобным образом о метафизике Бердяева и метафизике вообще ранее критически высказывался

[42] Юрьев 2007: 273.
[43] Там же: 272.
[44] Там же: 271.
[45] Колеров 1996: 39.
[46] Юрьев 2007: 292.
[47] Бердяев 1991: 42.
[48] Юрьев 2007: 287.

Луначарский[49]. Бердяев же будет повторять мысль Соловьёва о необходимости соединения философии с религией[50], прямо противоположно мысли Чернова, ратующего за соединение философии с наукой.

Ещё одной важной чертой мировоззрения Бердяева является национализм. Составляющие «русской идеи» в изложении Бердяева, естественно, вызывают оживлённый отклик у его современников. Чернов даже называет Бердяева «национал-философом»[51], имея в виду то «почвенничество», которое через несколько лет, уже в начале империалистической войны, выразится у Бердяева в таких словах, посвящённых немцам: несмотря на наличие великих творческих индивидуальностей, «расовой, народной, сверхиндивидуальной культуры нет у германцев. Они остаются варварами, и варварство их обнаружилось, к ужасу, всего мира в решительный час истории»[52]. Как отмечает М. Колеров, «веховцы», круг которых без Бердяева, представить просто невозможно, так и не смогли сформулировать русский политический либерал-национализм[53], однако направленность мысли Бердяева на выработку специфического варианта «русской идеи» очевидна. Краткую программу «творческого национализма» можно найти в статье Бердяева 1916 года. Отрицательный, официальный национализм лишён «творческих национальных инстинктов», он сам не верит в русский народ. В положительном национализме «должен чувствоваться могущественный жизненный порыв, порыв к новой, высшей жизни»[54], он необходимо приходит к национальному мессианизму, опираясь на религиозное своеобразие России, раскрывает русскую душу с её абсолютностью и т.п.

В рецензии на сборник статей о Шпенглере Бердяев будет даже охарактеризован как славянофил, в одном ряду с Данилевским, Достоевским и Леонтьевым[55], хотя более детальная картина влияний и заимствований не позволяет говорить о Бердяеве как о классическом славянофиле[56]. Тем не менее, эта составляющая его мировоззрения неизменно обращает на себя внимание: если из-под страниц Шпенглера, «остроумного, местами быть может весьма талантливого, выглядывают большие уши прусского национализма, жаждущего реванша», так и у российской интеллигенции «выглядывает всё тот же старый, заскорузлый национализм, слепой, ничему не научившийся»[57].

[49] «Вселенная ужасна по своему несоответствию с нашими чаяниями: можно бороться с нею, и в борьбе она не кажется страшной; но нельзя безнаказанно долго и неподвижно смотреть в её безумные очи: от этого люди лезут в петлю или придумывают метафизическую систему» (Луначарский 1994: 110).
[50] Евлампиев И.И. 2000: 300-301.
[51] Юрьев 2007: 302.
[52] Бердяев 2004 (б): 26.
[53] Колеров 2017: 6.
[54] Бердяев 2004 (а): 228-229.
[55] Ваганян 1922: 28.
[56] Евлампиев 2000: 298.
[57] Ваганян 1922: 32.

Ещё раньше, к 1907–1908 гг., в результате опыта революционных лет, у Бердяева происходит обращение к «сознательному историзму»[58]. Как напишет В.В. Зеньковский, «в центре всего мировоззрения Бердяева, всей его творческой работы стоят проблемы *истории*»[59]. Правда, историзм этот носит своеобразный характер – это историзм религиозного философа, историзм мистика. Мистичным оказывается не только церковь, но и государство, и вся культура, и таинственные силы, и истоки истории. Как указал Бердяев в автобиографии, у него есть острое чувство судеб истории, и для него это – противоречие, потому что он мучительно не любит истории[60]. Но проблема не в этом, а в восприятии самого времени. По Бердяеву, распадение на прошлое, настоящее и будущее есть признак «несовершенного» времени, необходимо «снятие» непреклонности и неизменности прошлого и будущего, личность должна «преобразовать» прошлое и будущее, которые, как и настоящее, принадлежат вечности[61]. Понятно, что такой историзм мало отвечает задачам конкретного, научного постижения истории.

Бердяев стоит особняком с самого начала. Но если в первые годы оформления «идеалистического направления» он разрабатывает в основном вопросы теории, то – через поворот к истории – со временем он приходит к вопросам политического устройства общества в практическом отношении. Именно «историзм» его мысли, вкупе с его «социальным опытом», становится базой для анализа современного исторического перелома и разработки «практического» образа будущего общества. В 1923 г., уже в эмиграции, Бердяев пишет «свой этюд "Новое средневековье", которому суждено было иметь большой успех»[62]. В роли конкретного материала, образца, исторического основания этого будущего общества выступает для Бердяева образ средневековья. Иначе говоря, чтобы описать «новое средневековье», оказывается необходимым обратиться к средневековью «старому». В более ранних произведениях Бердяев провозглашает необходимость, желательность «свободной теократии» как наиболее справедливого, отвечающего человеческому существу общественного строя, а в «Новом средневековье» он намного подробнее намечает контуры осуществления такой теократии на практике.

Помимо идеи теократии (исторической и возможной), не менее существенна для «нового средневековья» Бердяева идея рыцарства как некоего типа идеального человека. В статье, посвящённой рыцарскому идеалу у Бердяева, Бойко отмечает, что Бердяев говорит о двух линиях идеализации рыцарства: как воплощении средневекового мистицизма и как воплощении человеческого благородства[63]. Самый известный рыцарь Дон Кихот благодаря романтикам предстаёт в трагическом и идеа-

[58] Бердяев 1910: 7.
[59] Зеньковский 1955: 262.
[60] Бердяев 1990: 235.
[61] См.: Евлампиев И.И. 2000: 324-325.
[62] Бердяев 1990: 235.
[63] Бойко 2017 (а): 108.

лизированном виде. В конце XIX в решение вопроса об историческом значении этой фигуры происходят в рамках историко-литературный и философский дискуссии. Например, Н.И. Стороженко ратует за объяснение культурного феномена из его же времени. Рассматривая традицию интерпретации образа Дон Кихота, он утверждает, что критика, хотя и должна раскрывать смысл произведения и делать нравственные выводы, но не должна злоупотреблять этим правом, навязывая автору собственные воззрения. Критика же, по его мнению, оторвалась от исторической почвы и встала на отвлеченно-философские позиции[64]. Фигуру Дон Кихота Стороженко интерпретирует с прогрессистски-либеральных позиций: Дон Кихот воплощает веру в идеал, энтузиазм к добру и справедливости и идею самоотвержения на пользу общую (источники всякой свободы и прогресса)[65]. А, например, Мережковский решает вопрос в духе медиевализма: Дон Кихот, несмотря на время действия на рубеже новой истории, есть «типический представитель не светлой эпохи Возрождения, а клонящейся к упадку средневековой культуры»[66].

И «прогрессистский», и медиевализирующий подходы имеют больше отношения к литературе, чем к истории. В обоих случаях идеальный рыцарь становится олицетворением личностных качеств, актуальных в современности. Вслед за К.Н. Леонтьевым и Мережковским Бердяев приходит к трактовке рыцарства как олицетворения целостной личности, противостоящей обыденности, усреднённости, пошлости и мещанству[67]. Его концепция рыцарства исходит, в духе времени, из ряда интерпретаций фигуры Дон Кихота – парадоксальной, уже содержащей не только и не столько критику рыцарства (этот комический компонент очевиден), и не только романтическое трагическое прочтение: Дон Кихот становится мерилом современности, мерилом модерна.

Бойко, рассматривая формирование бердяевского рыцарского идеала в публикациях 1904–1907 гг., констатирует, что, по Бердяеву, необходимо главенство интересов личности, понятой и имеющей цену только в отношении к Богу, к высшей личности, высшей воле. Достоинство и свобода такой личности должны цениться выше индивидуального благополучия, случайных желаний и интересов конкретного человека, части народа или даже всего народа[68]. Такая формулировка соотношения положения личности и общества несколько противоречива. В этой связи нужно обратить внимание на бердяевскую концепцию элитарности, корни которой восходят к Соловьёву, который утверждает, что «объём прав должен соответствовать высоте внутреннего достоинства»[69]. А Бердяев дополняет эту идею утверждением биологической обусловленности лич-

[64] Стороженко 1885: 310.
[65] Там же: 317.
[66] Мережковский 1889: 12.
[67] Бойко 2017 (а): 113.
[68] Бойко 2017 (б): 96
[69] Соловьёв 1880: 190.

ных качеств. В «Философии неравенства» (1923), где Бердяев превратно толкует идеи эгалитаризма, он утверждает, что «в мире существует дворянство не только как социальный класс с определёнными интересами, но как качественный душевный и физический тип, как тысячелетняя культура души и тела. Существование "белой кости" есть не только сословный предрассудок, это есть неопровержимый и неистребимый антропологический факт»[70]. Подобные соображения Бердяев высказывает и позже: подлинная духовная и умственная аристократия стоит вне классовой борьбы[71], при этом тип аристократа определяется главным образом биологически и психологически, а не социологически[72]. Вслед за Соловьёвым, утверждавшим, что всеобщий и необходимый закон общественной жизни есть любовь[73], Бердяев считает, что истинная иерархия людей будет выстроена так же на основе любви[74]. Бердяев не видит здесь возможных противоречий. Для подтверждения своей «теории элит» он также не нуждается в материале конкретной истории, ему достаточно эффектных образов, сочетающих в себе элементы упрощённо понимаемого прошлого и желаемого будущего. Бердяев, таким образом, «присваивает» себе условное средневековье, придавая ему те смыслы, которые отвечают его собственным идеальным представлениям.

Согласно Бердяеву, эти представления могут выглядеть и реакционными, и революционными, поскольку в ситуации начала нового средневековья всё перемешалось, но, так или иначе, их нельзя отнести ни к одному направлению старой мысли[75]. В разворачиваемой им картине истории видны принципы, рассмотренные выше. Это и своеобразный дуализм (например, чисто поэтическое понимание истории как смены «дневных» и «ночных» эпох[76]), и религиозно-философское понимание личности («Личность есть лишь в том случае, если есть Бог и божественное»[77]), и идеализм вообще: история в очередной раз осуществляет возвращение не к прошлому, а к *вечному в прошлом*[78]. История теперь как бы вскрывает внеисторические основания бытия. Происходит катастрофа старого мира и наступление сатанократии (в лице большевизма, разумеется): так звучит бердяевский алармизм.

Составляющие образа самого средневековья в тексте носят в целом глубоко стереотипный характер. Изображая новое средневековье и проводя параллели со средневековьем как таковым, Бердяев затрагивает темы сакрализации власти, аристократизма и иерархичности, демократии, клерикализма, аскетизма, иррационализма, корпоративизма, поло-

[70] Бердяев 2012: 145-146.
[71] Бердяев 1931: 100.
[72] Там же: 96.
[73] Соловьёв 1880: 177.
[74] Бердяев 1931: 75-76.
[75] Бердяев 2017: 218-219.
[76] Там же: 219-222.
[77] Там же: 229.
[78] Там же: 224.

жения женщины в обществе и другие аспекты. Бердяев пишет, что нет надобности идеализировать средние века, как это делали романтики[79], но в утверждениях, что вся культура средневековья направлена на трансцендентное и потустороннее, в апеллировании к идеальным типам монаха и рыцаря, очевидным образом проявляет себя идеализация и абсолютизация средневековья, столь характерная для Бердяева.

Новое средневековье для Бердяева – формирующаяся реальность, тесно связанная с революцией, кризисом государственности, общей поляризацией в общественной жизни. Само средневековье для него – скорее не историческое, а религиозно-философское понятие, образ, выстроенный на основе ряда специфически интерпретируемых реальных фактов. В последующем этот абстрактный образ начинает прочно ассоциироваться с действительной историей, становится эталоном при рассмотрении как истории самих средних веков, так и новейшего времени, которое со средневековьем явно или имплицитно соотносится.

Самобытность, а также многочисленные противоречия во взглядах Бердяева, которые отмечают и исследователи, и сам философ, проистекают не только из характера его идеологии. Противоречиво само общественное бытие. При этом его религиозная философия вступает в спор с оппонентами крайне избирательно. То противоречие, которое может усилить прозелитский эффект, включается Бердяевым в его картину мира, остальное же в рамках его текстов преломляется или как бы не существует. Отсюда большое число расхождений, расколов с союзниками, общая острота дискуссий. Несомненно, наследие Бердяева продолжает быть невероятно актуальным с точки зрения понимания не только взглядов на историю, но и противоречий общественной жизни его времени вообще, тем более что вопрос о философии и о теории в переломные эпохи часто оказывается вопросом об общественной практике.

Медиевализм – важнейшая составляющая мировоззрения Бердяева: на протяжении всей жизни он черпает в средневековье и вдохновение, и образцы, и смыслы собственной философии. На рубеже двух веков и в начале XX в. он обращается к отдельным элементам не столько истории, сколько поэтического или литературного образа средневековья, решая задачи, связанные с идейно-политической полемикой времени. При этом основные составляющие его мировоззрения, как и авторский стиль, изменяются незначительно. Но в начале 1920-х гг., в контексте Первой мировой войны, революции и гражданской войны в России, т.е. в переломный момент истории, рождается концепция «нового средневековья», до сих пор неизменно привлекающая внимание. Казалось бы, такая характеристика наступающей эпохи (не просто «новое варварство», не «гибель культуры» вообще) требует дополнительного обращения к истории, дополнительного подтверждения в средневековье действительном, а не грядущем. Однако и в этом случае Бердяев остаётся

[79] Там же: 239

верен себе, философски осмысляя, идеализируя и абсолютизируя не только картину грядущего «нового средневековья», но и средневековья исторического. В итоге поэтизированный образ будущего выводится из поэтизированного образа прошлого напрямую.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Бердяев Н.А. Введение // Бердяев Н.А. Духовный кризис интеллигенции: статьи по общественной и религиозной психологии (1907-9 г.). СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1910. С. 1-12. [Berdyaev N.A. Vvedenie // Berdyaev N.A. Duhovniy krizis intelligencii: stat'i po obsestvennoy I religioznoy psihologii (1907-9 g.). SPb.: Tip. t-va «Obsestv. polza», 1910. S. 1-12]

Бердяев Н.А. Новое средневековье (Размышление о судьбе России и Европы) // Бердяев Н.А. Смысл истории. Новое средневековье / сост. и коммент. В.В. Сапова. М.: Канон+, 2017. С. 217-306. [Berdyaev N.A. Novoe srednevekovie (Razmysleniye o sud'be Rossii i Evropy) // Berdyaev N.A. Smysl istorii. Novoe srednevekovie / sost. i comment. V.V. Sapova. M.: Kanon+, 2017. S. 217-306]

Бердяев Н.А. Письма к П.Б. и Н.А. Струве // Колеров М. Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898-1905 / 1921-1925). М.: Издание книжного магазина «Циолоковский», 2018. С. 18-51. [Berdyaev N.A. Pis'ma k P.B. i N.A. Struve // Kolerov M. Iznutri: Pis'ma Berdyaeva, Bulgakova, Novgorodceva i Franka k Struve. Perepiska Franka i Struve (1898-1905 / 1921-1925). M.: Izdanie knizhnogo magazine «Ciolkovskiy», 2018. S. 18-51]

Бердяев Н.А. Положительный и отрицательный национализм // Бердяев Н.А. Футуризм на войне (Публицистика времён Первой мировой войны). М.: Канон+, 2004 (а). С. 226-231. [Berdyaev N.A. Polozhitelniy i otrizatelniy nacionalizm // Berdyaev N.A. futurism na voyne (Publicistika vrem'en Pervoy mirovoy voiny). M.: Kanon+, 2004. S. 226-231]

Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990. 336 с. [Berdyaev N.A. Samopoznanye (opyt filosofskoy avtobiografii). M.: Mezhdunarodniye otnoseniya, 1990]

Бердяев Н.А. Современная Германия // Бердяев Н.А. Футуризм на войне (Публицистика времён Первой мировой войны). М.: Канон+, 2004 (б). С. 22-32. [Berdyaev N.A. Sovremennaya Germaniya // Berdyaev N.A. futurism na voyne (Publicistika vrem'en Pervoy mirovoy voiny). M.: Kanon+, 2004. S. 22-32]

Бердяев Н.А. Социализм как религия // Вопросы философии и психологии. Год XVII, кн.V(85). 1906. С. 508-545. [Berdyaev N.A. Socialism kak religiya // Voprosy filosofii i psihologii. God XVII, kn.V(85). 1906. S. 508-545]

Бердяев Н.А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К. Михайловском. СПб.: Элетккрическая типография, 1901. 365 с. [Berdyaev N.A. Sub'ektivizm i individualism v obsestvennoy filosofii. Kriticeskiy etyud o N.K. Mihaylovskom. SPb.: Electriheskaya tipografia, 1901]

Бердяев Н.А. Философия неравенства (Письма к недругам по социальной философии) // Бердяев Н.А. Философия неравенства / сост. и отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2012. С. 19-303. [Berdyaev N.A. Filosofiya neravenstva (Pis'ma k nedrugam po social'noy filosofii) // Berdyaev N.A. Filosofiya neravenstva / sost. i otv. red. O.A. Platonov. M.: Institut russkoy civilizacii, 2012. S. 19-302]

Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909-1910 / сост., коммент. Н. Казаковой; предисл. В. Шелохаева. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 24-42. [Berdyaev N.A. Filosofskaya istina i intelligentskaya pravda // Vehi. Intelligencia v Rossii: Sb. st. 1909-1910 / sost., comment. N. Kazakovoy, predisl. V. Shelohaeva. M.: Molodaya gvardiya, 1991. S. 24-42]

Бердяев Н.А. Христианство и классовая борьба. Paris: YMCA-press, 1931. 139 с. [Berdyaev N.A. Christianstvo i klassovaya bor'ba. Paris. YMCA-press, 1931]

Бердяев Н.А. Этическая проблема в свете философского идеализма // Проблемы идеализма / под ред. П.И. Новгородцева. М.: Московское психологическое общество, 1902. С. 91-136. [Berdyaev N.A. Eticheskaya problema v svete filosofskogo idealizma // Problemy idealizma / pod red. P.I. Novgorodceva. M.: Moskovskoe psihologicheskoe obsestvo, 1902. S. 91-136]

Богданов А.А. Новое средневековье. О «Проблемах идеализма» // Н.А. Бердяев: pro et contra / Кн. 1 / Сост., вступ. ст. и прим. А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1994. С. 120-145 [Bogdanov A.A. Novoe srednevekovie. O «Problemah idealizma» // Berdyaev N.A.: pro et contra / Kn. 1 / sost., vstup. st. i prim. A.A. Ermiceva. SPb.: RCHGI, 1994. S. 120-145]

Бойко В.А. Концептуальные основания рыцарского идеала Н.А. Бердяева: первые шаги // Идеи и идеалы. № 2(32), Т. 2. 2017 (а). С. 108-119. [Boyko V.A. Konceptual'nye osnovaniya rycarskogo ideala N.A. Berdyaeva: pervye shagi // Idei i idealy. № 2(32), T. 2. 2017. S. 108-119]

Бойко В.А. Рыцарский идеал Н.А. Бердяева в книге «Новое религиозное сознание и общественность» // Идеи и идеалы. №3(33), Т.2. 2017 (б). С. 94-107. [Boyko V.A. Rycarskiy ideal N.A. Berdyaeva v knige «Novoe religioznoye soznanie i obsestvennost'» // Idei i idealy. №3(33), T.2. 2017. S. 94-107]

Булгаков С.Н. От автора // Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму: Сб. ст. (1896-1903). СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1903. С. VI-XXI. [Bulgakov S.N. Ot avtora // Bulgakov S.N. Ot marksizma k idealizmu: Sb. st. (1896-1903). SPb.: Tip. t-va «Obsestv. polza», 1903. S. VI-XXI]

Ваганян В.А. Наши российские шпенглеристы // Под знаменем марксизма. №1-2. 1922. С. 28-33. [Vaganyan V.A. Nashi rossiyskie spengleristy // Pod znamenem marksizma. №1-2. 1922. S. 28-33]

Волкогонова О.Д. Бердяев. М.: Молодая гвардия, 2010. 390 с. [Volkogonova O.D. Berdyaev. M.: Molodaya gvardiya, 2010]

Гайденко П.П. Владимир Соловьёв и философия Серебряного века. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 472 с. [Gaydenko P.P. Vladimir Solovyov I filosofiy Serebryanogo veka. M.: Progress-Tradiciya, 2001]

Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках абсолюта. Ч. I. СПб.: Алетейя, 2000. 415 с. [Evlampiev I.I. Istoriya russkoy metafiziky v XIX-XX vekah. Russkaya filosofiya v poiskah absolyuta. Ch. I. SPb.: Aleteia, 2000]

Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. 2-е изд. Paris: YMCA-press, 1955. 278[3] с. [Zen'kovskiy V.V. Russkie myslitely i Evropa. Kritika evropeyskoy kultury u russkih mysliteley. 2-e izd. Paris: YMCA-press, 1955]

Ивонина О.И. Концепция Нового Средневековья Н.А. Бердяева // Вестник Томского гос. ун-та. История. 2020. №63. С. 123-129. [Ivonina O.I. Koncepcia Novogo srednevekovia N.A. Berdyaeva // Vestnik Tomskogo universiteta. Istoria. 2020. №63. S. 123-129]

Колеров М.А. Не мир, но меч: Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех», 1902-1909. СПб.: Алетейя, 1996. 373 с. [Kolerov M.A. Ne mir, no mech: Russkaya religiozno-filosofskaya pechat' ot «Problem idealizma» do «Veh», 1902-1909. SPb.: Aleteia, 1996]

Колеров М.А. Предисловие // Колеров М.А. От марксизма к идеализму и церкви (1897-1927): Исследования, материалы, указатели. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017. С. 5-7. [Kolerov M.A. Predislovie // Kolerov M.A. Ot marksizma k idealizmu I cerkvi (1897-1927): Issledovaniya, materialy, ukazately. M.: Izdanie knizhnogo magazine «Ciolkovskiy», 2017. S. 5-7]

Ленин В.И. Гонители земства и Аннибалы либерализма // ПСС. Изд. 5-е. Т. 5. 1967 (а). С. 21-72. [Lenin V.I. Goniteli zemstva I Annibaly liberalizma // PSS. Izd. 5. T. 5. 1967. S. 21-72]

Ленин В.И. Задачи революционной молодёжи // ПСС. Изд. 5-е. Т.7. 1967. С.341-356. [Lenin V.I. Zadaci revolucionnoy molodezhi // PSS. Izd. 5-e. T.7. 1967 (б). S. 341-356]

Луначарский А.В. Трагизм жизни и белая магия // Н.А. Бердяев: pro et contra/ Кн. 1 / Сост., вступ. ст. и прим. А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1994.С. 103-119. [Lunacharskiy A.V. tragizm zhizni i belaya magia // Berdyaev N.A.: pro et contra / Kn. 1 / sost., vstup. st. i prim. A.A. Ermiceva. SPb.: RCHGI, 1994. S. 103-119]

Мережковский Д.С. Дон Кихот и Санчо Панса // Северный вестник. 1889. Кн. 8. Отд. 2. С. 1-19. [Merezhkovskiy D.S. Don Kihot i Sancho Pansa // Severniy vestnik. 1889. Kn.8. Otd.2. S. 1-19]

Полторацкий Н.П. Н.А. Бердяев // Русская религиозно-философская мысль XX века / Сб. ст. под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург: Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского университета, 1975. С. 190-204. [Poltoracкiy N.P. N.A. Berdyaev // Russkaya religiozno-filosofskaya mysl' XX veka // Pittsburgh: Otdel slavyanskih yazykov I literature Pittsburgskogo universiteta, 1975. S. 190-204]

Савицкий Е.Е. Preposterous History: анахроничное Средневековье на рубеже XX-XXI веков // Социология власти. Т.28 №2. 2016. С. 62-77. [Savickiy E.E. Preposterous History: anahronichnoe Srednevekovie na rubezhe XX-XXI vekov // Sociologia vlasti. T.28. №2. 2016. S. 62-77]

Семёнов Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). М.: «Современные тетради», 2003. 776 с. [Semyonov YU.I. Filosofiya istorii (Obsaya teoriya, osnovnye problemy, idei i concepcii ot drevnosti do nashih dney). M.: «Sovremennye tetradi», 2003]

Соловьёв Вл. Критика отвлечённых начал / М.: Унив. тип., 1880. 435 с. [Solovyov Vl. Kritika otvlecyonnyh nachal / M.: Univ. tip., 1880]

Стороженко Н.И. Философия Дон Кихота // Вестник Европы. Кн.9. Сент. 1885. С. 307-324. [Storozhenko N.I. Filosofiya Don Kihota // Vestnik Evropy. Kn.9. Sent. 1885. S. 307-324]

Струве П.Б. Предисловие к книге Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К. Михайловском» // Н.А. Бердяев: pro et contra/ Кн. 1 / Сост., вступ. ст. и прим. А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1994.С. 87-91. [Struve P.B. Predislovie k knige Berdyaeva «Sub'ektivizm i individualism v obsestvennoy filosofii. Kriticeskiy etyud o N.K. Mihaylovskom» // Berdyaev N.A.: pro et contra / Kn. 1 / sost., vstup. st. i prim. A.A. Ermiceva. SPb.: RCHGI, 1994. S. 87-91]

Юрьев Б. Научная философия и философствующая мистика // Анти-Вехи. / вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. М.: Астрель, 2007. С. 270-326 [Yuryev B. Nauchnaya filosofiya i filosovstvuyusyaya mistika // Anti-Vehi. / vstup. statya, sost. i primech. V.V. Sapova. M.: Astrel, 2007. S. 270-326]

Зайцев Александр Александрович, *кандидат исторических наук, старший преподаватель, Казанский федеральный университет; alex-q1@yandex.ru*

Mediaevalism as a factor of the epoch's socio-political worldview: the N.A. Berdyaev's "new middle ages"

The article investigates the medievalism as a cultural phenomenon that had an extremely vivid expression at the beginning of the 20th XX century. Crisis of European culture gave rise to various forms of reflection. We consider the philosophy of N.A. Berdyaev as an example of such reflection. The research is based on his work, taking into account the intellectual context of the epoch. The article reveals the key components of Berdyaev's philosophy, which found expression in the well-known concept of the «new middle ages».

Keywords*:* mediaevalism, «new middle ages», history of culture, philosophy of history, Marxism, idealism, ideology

Zaitsev Alexander Alexandrovich*, PhD (History), senior lecturer, Kazan Federal University; alex-q1@yandex.ru.*

И.А. Морозов, И.С. Слепцова

ДИСКУРСЫ ПАМЯТИ В МУЗЕЙНОМ ФОРМАТЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАРРАТИВЫ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ[1]

В статье проанализированы коммуникативные практики, связанные с трансляцией групповой и индивидуальной памяти в семейных (домашних) музеях, принципы организации пространства и предметного наполнения экспозиций, способы их фреймирования и символизации. Рассмотрены ситуации, в которых осуществляется трансляция нарративов о памяти, основанных как на шаблонных схемах (скриптах), так и на мультимодальных схемах с гибкими сценариями. Дискурс памяти возникает в процессе проблематизации музейного пространства. При этом эксплицированные значения, принадлежащие индивидуальной памяти каждого участника коммуникации, порождают новые коннотации, актуализируя общую культурную память на основе совместного эмоционального переживания и интерпретации развертываемых нарративов.

***Ключевые слова*:** *семейный музей, музеефицированное пространство, индивидуальная и коллективная память, дискурсы памяти, семейная история, нарратив.*

В данной статье мы сосредоточимся на мало представленных в научных исследованиях типах мемориальных пространств и локусов, которые пока не имеют общего названия и для обозначения которых мы используем термины *семейный* или *домашний музей*, а также *музеефицированное пространство*[2]. В существующих официальных реестрах музейных учреждений данная категория отсутствует. Наиболее близкой выделяемой единицей в них являются *частные музеи*[3], которые в большинстве случае создаются на основе личных коллекций[4]. Наполнение подобного рода музеев существенным образом определяется интересами и возможностями их владельца, поэтому их контент характеризуется эклектичностью и может включать в себя как предметы старого быта и документы, связанные с семейной историей, так и различные предметы, отражающие личные воспоминания и интересы. По своему функционалу семейные музеи сближаются с мемориальными, основной целью которых является увековечивание памяти определенных людей или событий. Они, как правило, посвящены истории семьи, поэтому героями их экспозиций являются представители предшествующих поколений данного семейства, которые часто обозначаются терминами «предки» или «род». Конечно, подобная привязка характерна для любого мемориального комплекса, однако в экспозиции семейного музея основной акцент делается на увековечивании памяти конкретных членов семьи, т.е. они

[1] Статья написана в рамках НИР ИЭА РАН № 0120-1370-995 «Кросскультурные и междисциплинарные исследования» и № 0177-2018-001 «Народы России в современном мире. Этнокультурное и этнодемографическое развитие».

[2] Каменецкий, Каулен 2001: 390-393.

[3] Равикович 2001: 273.

[4] Частные музеи России 2020.

являются *персональными*. Они близки к категории музеев, обычно называемых «дом-музей» или «квартира-музей», и часто обустраиваются по их подобию. Специфической чертой семейных музеев является их интерактивность, тот их статус, который мы обозначаем как *музеефицированное пространство*, соотносимое в официальных классификациях со статусом «средовой» или «живой» музей[5]. Если семейный частный музей включается в систему официальных туристических маршрутов и получает соответствующие для такого типа объектов характеристики, в частности, установленные часы посещения и иные требования, предъявляемые для музеев, то это может существенно изменять как наполнение, так и сопутствующие нарративы. Это способствует дополнительной мифологизации тех или иных экспонатов или сюжетов семейной истории для того, чтобы увеличить интерес и вовлеченность посетителей[6].

Изучение концепта памяти в контексте семейной истории предполагает обращение к широкому кругу работ, посвященных исторической и культурной памяти[7]. Семейная память часто обсуждается в контексте соотношения коллективной и индивидуальной памяти[8], хотя современные трактовки этих понятий предполагают их сложную дифференциацию и расширение номенклатуры различных типов памяти в разных дисциплинарных дискурсах[9]. Мы сужаем это поле до формата упомянутых музеев, рассматривая их как своеобразный механизм презентации семейной памяти и способ ее трансляции. Целью статьи будет исследование различных дискурсов, использующихся для репрезентации памяти в данных музейных топосах. Это могут быть как собственно *дискурсы памяти*, так и *дискурсы о памяти*. Понятие *дискурсы памяти* включает в себя все типы дискурсов, связанных с практиками памяти и реализацией ключевых потребностей ощутить причастность к значимым событиям или персонам прошлого, в т.ч. и дискурсы о памяти. *Дискурсы о памяти*, в свою очередь, включают в себя весь корпус нарративов, обосновывающих легитимность обращения той или иной группы или того или иного индивида к определенным дискурсам памяти. При их изучении мы используем методы и подходы дискурс-анализа[10], который в последние десятилетия активно применяется при исследовании социальных практик. Использование методов дискурс-анализа при изучении социальных явлений позволяет выявить их универсальные закономерности[11] и помогает детально исследовать, как «социальная память “вырастает” из разделяемых или оспариваемых смыслов и ценностей прошлого, которые “вплетаются” в понимание настоящего»[12].

[5] Каулен 2009: 51.
[6] Ср. Частные музеи России 2019: 24, 60, 64, 138, 176, 244, 352, 456 и др.
[7] Хальбвакс 2007; Нора и др. 1999; Рикёр 2004; Ассман 2004 и др.
[8] Васильев 2008: 24-30.
[9] Ср.: Рождественская, Семенова 2011: 27-48; Репина 2016: 82-99; Шуб 2017: 4-11.
[10] Methods of critical discourse analysis 2001; Jorgenson, Phillips 2002; Макаров 2003.
[11] Fairclough 1992: 63-66; Fairclough 1995; Йоргенсен, Филлипс 2008: 118-131.
[12] Репина 2016: 84.

Нашей задачей является выявление дискурсивной специфики данных мемориальных локусов и пространств, а также типов порождаемых ими текстов о памяти. В статье использована информация о семейных музеях в сети интернет и полевые материалы авторов.

Принципы организации пространства семейных музеев

Выставочное пространство (экспозиция) семейных музеев, как и в других случаях, может быть наполнено любым контентом в зависимости от актуальной потребности, в т.ч. инсталляциями, которые позволяют объединить разрозненные и не связанные тематически предметы в единое целое, нередко заключающее в себе различные символические значения. Необходимо обратить внимание на то, как конструируется экспозиция музея. В ней наряду с фактами (документами и вещами), достоверно принадлежавшими или относящимися к семейной истории, используются и их аналоги (или имитации), которые призваны заполнить определенные лакуны в конструируемой семейной истории.

С точки зрения дискурс-анализа важно различение способов презентации индивидуальной и коллективной памяти в экспозициях музеев. В данном случае уместно применить понятие *фрейма*[13]. Эта структура содержит лишь самую существенную информацию, ассоциирующуюся с тем или иным концептом или ситуацией и предполагает наличие определенного базового знания у адресатов. Принцип фреймирования лежит в основе большинства экспозиций семейных музеев и задает определенную оптику их восприятия. Так, фрейм «Крестьянский быт» в отличие от фрейма «Быт городской интеллигенции (или дворянства)» предполагает особый тип этнографических экспозиций, текстов (фольклора и визуальных презентаций), практик (например, инсценировки традиционных обрядов). Напомним, что фрейм является *статичной структурой* (темой), которая при реализации дискурса дополняется подтемами (*слотами*), определяемыми сценариями взаимодействия акторов коммуникации. Это отражает динамику интеракций и позволяет эксплицировать заложенные в экспозициях скрытые смыслы, актуализировать их значения.

Представляется важным разграничить два способа фреймирования, определяющих принципы организации пространства семейных музеев и опирающихся на разные типы памяти. *Первый из них сосредоточен на репрезентации истории семьи*, что выводит на первый план определенный тип предметного и вербального нарратива, связанного с семейной памятью. Этот тип памяти исследователи обычно помещают на пересечении индивидуальной и коллективной[14]. Особенность дискурсивных практик этого типа заключается в акцентировании и локализации воспоминаний *общих* для всей семейной группы (то, что можно назвать «семантической памятью членов группы»[15]), даже если для этого используются факты из жизненной истории отдельных членов семьи. В этом

[13] Макаров 2003: 153. Ср.: Гофман 2004.
[14] Ср. Хальбвакс 2007, глава «Коллективная память семьи».
[15] Шуб 2017: 8.

случае экспозиция строится вокруг событий, определяющих основные вехи биографий родственников, достигших наибольших успехов в той или иной сфере деятельности, и которыми, с точки зрения создателей музея, стоит гордиться. Тем самым выстраивается оценочная шкала, при помощи которой отбираются определенные факты из истории семейства, что обуславливает предметный состав экспозиции (фотографии, документы, личные вещи) и связанные с ними устные нарративы.

Особое место в экспозиции могут занимать отдельные вещи (*предметная память*)[16], семейные реликвии, которые отмечают вехи жизненного пути представителей предшествующих поколений и характеризуют самые разные стороны их жизни: от рода занятий до личных пристрастий и увлечений – и являются своеобразными «капсулами времени» с посланием будущим поколениям[17]. Так, в музее семьи из деревни Губино «началось все с железнодорожного фонаря. Это семейная реликвия. Прадед работал на узкоколейке, подвозил торф к Шатурской ГРЭС во время войны»[18]. Ценность подобных предметов для потомков совсем не соотносится с их стоимостью как предметов антиквариата. Например, равно важны «прадедов самовар. Прадед привез его, когда вернулся из службы на флоте царской России»[19], и «дедова фуражка, в которой он пришел с гражданской войны. Она так и висела нетронутая. Дедова! Трогать нельзя»[20], и милицейский свисток выпуска 1920-х гг., который достался жителю г. Бузулук Александру Грицаенко по наследству и положил начало семейному музею[21].

Важное значение придается тем экспонатам, которые свидетельствуют о глубине семейной истории и апеллируют к семантической памяти семьи. В этом случае могут сталкиваться вещи из разных социальных групп, отражая социальные трансформации. Так, в экспозиции музея Недумовых «Путешествие в старину» наряду с лаптями, которые сплел дедушка еще до женитьбы в 1903 г., и другими предметами крестьянского быта, демонстрируются старинные книги, сумочка, веер и косметичка бабушки. «Моя бабушка была заядлая театралка, – вспоминает Лия Николаевна, – ходила на спектакли с вязаной сумочкой, в которой помещался вот этот веер, и косметичка с румянами и французскими духами. На руке она носила этот черненый серебряный браслет 1885 года, которые ей достался по наследству от прабабушки»[22].

Аналогичные функции выполняют и семейные родословные. Родословная Недумовых, составлением которой занимается глава семейства, состоит из 37 поколений и включает более 15 тыс. чел., среди которых немало известных имен, в т.ч. Митрополита Московского и Коломен-

[16] Ассман 2004: 20.
[17] Jarvis 2003.
[18] Домашний музей открыли жители Губино 2018.
[19] Домашний музей, за который дают «Волгу» 2004.
[20] Истомина 2015: 583.
[21] Назина 2019.
[22] Баркова 2011.

ского Филарета, княжеский род Шаховских, Татищева, Пушкина и князя Засекина, основателя Самары[23]. В экспозиции размещены фотографии тех людей, чьи имена можно найти на семейном древе, и тут же представлены принадлежавшие им вещи.

Важную роль играют также документы об участии отдельных членов семьи в тех или иных исторических событиях, включая семейную историю в широкий контекст исторической памяти. Статус «исторического артефакта» может присваиваться как районной или областной Почетной грамоте, например, о победе в социалистическом соревновании на производстве, так и документальным свидетельствам о мероприятиях государственного масштаба. Так, П.Н. Крылов, рассказывая о своей матери, Герое Социалистического Труда, Серафиме Константиновне Крыловой, с особой гордостью демонстрирует ее фотографию в составе участников XXIII съезда КПСС[24]. Среди часто встречающихся в экспозиции артефактов и документов обращают на себя внимание фотографии или вырезки из газет, на которых члены семьи запечатлены со значимыми персонами. Например, в семейном музее Недумовых на видном месте находится фотография А.С. Недумова с известным телеведущим передачи «В мире животных» Николаем Николаевичем Дроздовым[25], который является его дальним родственником.

Второй тип дискурсов, определяющих принципы организации пространства семейных музеев, *связан с историей их создателей* и часто встречается в музеях, основанных на личных коллекциях или увлечениях, где семейная история нередко может оказаться погребенной под фактами личной биографии[26]. В отличие от первого типа, экспозиция чаще выстраивается не по хронологическому, а по тематическому принципу, и нарративы, связанные с семейной историей, возникают во время рассказа о месте и значении отдельных предметов и документов в жизни хозяина музея. «Есть в музее один экспонат – рубанок: его Валерий бережет с той поры, когда ему было семь лет. Тогда он еще играл на скрипочке-четвертинке (она, как и рубанок, тоже в музее – в детской), и в их дом – мазанку – пришел немец из пленных делать ремонт. Попросил поиграть на скрипке, что сделал виртуозно. А на следующий день принес в подарок мальчишке рубанок, сделанный собственноручно, специально для него»[27]. Особенность дискурсивных практик этого типа заключается в локализации воспоминаний отдельных членов семьи. Внук староверов часовенного согласия (Свердловская область) в рассказе о своем музее акцентирует внимание на сладостях, память о которых отсылает к семейным праздникам и является для него символом детства. «Жестяные коробки от чая, фантики те самые, 50-60-е. В детстве стави-

[23] Там же.
[24] Полевые материалы авторов (далее ПМА) 2017; П.Н. Крылов.
[25] В Тольятти семья собрала музей из вещей своих предков 2019.
[26] Бывшему губернатору и сенатору при жизни открыли личный музей 2019.
[27] Альперина 2015.

ли елку на Новый год. Мы впервые поставили на Новый 1965 год. Дома попались старые игрушки из папье-маше, конфеты “Маскарад”. Оказывается, елку ставили и раньше, просто я не помнил. И вот я покупаю старые елочные игрушки – те самые! Конфет “Маскарад” уже давно не выпускают, но фантики есть! Как и другие: “Чио-Чио-Сан”, “Ромашка”, “Светофор”, шоколад “Золотой якорь” – самый дорогой, 1 рубль 68 копеек стоил. Целое состояние!»[28]. Повествуя о событиях своей жизни, связанных с предметом из экспозиции, человек, как правило, соотносит их с событиями в истории семьи: это могут быть как экскурсы в далекое прошлое, так и нарративы о современности, об интересных совместных путешествиях, о продвижении по карьерной лестнице, о браках, рождениях, смертях и т.д. Подобные воспоминания основаны на механизмах эпизодической или автобиографической памяти, опирающейся на события жизни человека в контексте семейной истории.

Важной чертой семейных музеев является их *интерактивность*, что дает возможность их осмыслять как *музеефицированное пространство*. Интерактив в музейном пространстве позволяет «оживлять» присутствующие в нем вещи не только при помощи нарративов, но и разного рода практик. Поскольку домашние музеи, как правило, не рассчитаны на регулярное посещение сторонними лицами, интерактивные элементы в них ориентированы прежде всего на круг близких родственников и знакомых, детей и внуков, что предполагает их использование в повседневном обиходе. В общедоступных семейных музеях это позволяется и посторонним посетителям. Так, в музее «Старинная квартира доходного дома» проводятся мастер-классы («Почувствуй себя гимназисткой», «Готовим по рецептам Молоховец», «Дамские штучки», «Организуй свой старинный праздник» и др.), участники которых включаются в ролевые игры, используя экспонаты музея. Например, наряжаются в старинные платья, чтобы поговорить о моде прошлых лет[29].

Музеефицированное пространство можно рассматривать как способ «естественного» функционирования семейной истории в повседневном обиходе. Это относится и ко многим музеям, расположенным в жилых квартирах[30], и к музеям под открытым небом, устроенным на подворьях, вроде музея братьев Тихоновых (с. Кирово Городище Сосковского района Орловской области)[31]. Стены хозяйственных построек представляют собой коллажи из предметов старого быта (утвари, орудий труда и иных хозяйственных принадлежностей, относящихся к первой половине XX века). Высохшие деревья на подворье превращены в стенды со старыми горшками, чугунками, колесами от телег и проч. Хозяйственные постройки, стены которых служат экспозиционной поверхностью, активно используются хозяевами усадьбы в повседневном

[28] Истомина 2015: 584.
[29] Этнографический музей «Квартира доходного дома им. Н.В. Юхнёвой»…
[30] Юхнёва 2018: 256-280; Сокольский 2020.
[31] Кузнецов 2016.

быту. Музеефицированное пространство в подворье братьев Тихоновых, наряду с реконструированными ими святым источником и сельской церковью, интерпретируется как способ возрождения семейной и локальной традиции[32].

Дискурс памяти в пространстве семейного музея

Стандартная схема дискурс-анализа предполагает акцент на трех элементах: *текст* (в широком смысле слова), прежде всего его лингвистические особенности; *дискурсивные практики*, т.е. процессы воспроизводства и потребления текста; *социальные практики*, связанные с данным коммуникативным событием[33]. Необходимо учитывать факторы, формирующие особенности дискурса, в частности, его *внешние* и *внутренние контексты*[34]. С точки зрения коммуникативной ценности развертываемых в пространстве музея интеракций представляется важным выделение таких компонентов, как *топик, формат* и *модус* дискурса, где топик – это содержание дискурса, выраженное в тексте, формат – его ситуативный аспект, а модус – эмоционально-стилевая составляющая, соответствующая типу социального взаимодействия и каналу общения[35]. В контексте анализируемых нами музейных практик «топиком» являются представленные в семейных музеях экспозиции, рассматриваемые как культурный текст (традиционная одежда, старинное оружие или предметы и документы с советской символикой), а также иные элементы (например, название музея), которые в своей совокупности являются *пресуппозицией*, т.е. обладают конвенциональными значениями, соотносимыми с фоновыми знаниями и прецедентными текстами. Эти имплицитные смыслы (*импликатуры*)[36] в процессе коммуникации могут легко считываться носителями определенного культурного кода и фактически обозначают культурную рамку, которой структурируется данное музейное пространство. Дискурс возникает в процессе проблематизации этого пространства, т.е. когда возникает потребность в его *экспликации*, раскрытии содержащихся в нем смыслов.

Опишем общую схему реализации дискурса в семейном музее, используя стандартную процедуру *операционализации*. Поскольку экспозиция и пространство музея в целом организуются при помощи фреймирования, это предполагает, что создатели музея, выстраивая этот конструкт, опираются на определенный набор важных для них концептов. Понятно, что в данном случае наиболее востребованным оказывается фрейм «история семьи», включающий в себя сценарии «происхождение семьи» (родители, предки) и «потомки» (дети, внуки). В качестве подтем (слотов) в дискурсе часто встречаются «подвиг», «трудовая деятельность», «достижения», «травма», а их материальными презентация-

[32] ПМА 2014; братья Г. и А. Тихоновы.
[33] Филлипс 2008: 120.
[34] Макаров 2003: 146-147.
[35] Карасик 2015: 73-79.
[36] Grice 1975: 43-58. Ср.: Макаров 2003: 83-85.

ми могут выступать вещи-символы, вещи-реликвии, которые служат *индикаторами* для экспликации скрытых в конструкте музея смыслов. В случае коммерциализации музея или превращения в общедоступный, на первый план выходят другие смысловые рамки, определяющие фреймирование его пространства. Например, в семейном музее Мерзлых основным фреймом становится «Дом»[37], а в музее Фоминых смысловой рамкой оказывается «Сказка»[38]. «История семьи» в этих случаях становится вторичным, *ситуационным фреймом*, который актуализируется в дискурсе конкретного типа, в первую очередь, с учетом его внутреннего контекста, т.е. особенностей ментальности участников коммуникации и ситуации общения (неформальной или формальной, одноканальной или многоканальной и т.п.). В одних случаях используемые в дискурсе ментальные модели оказываются имплицированными, поэтому нарративы о памяти строятся на свободно «считываемых» всеми участниками шаблонных схемах (*скриптах*). В других случаях применяются мультимодальные схемы с гибкими сценариями, когда экспликация тех или иных смыслов в нарративах существенно варьируется в зависимости от откликов собеседников (вопросов, уточняющих реплик и комментариев), отражающих их убеждения и установки.

Нарратив в рамках дискурс-анализа рассматривается как способ организации жизненного опыта, индивидуальной памяти и коммуникации, т.е. включает в себя *историю* («повествование о произошедшем событии»), *текст* как продукт повествования и *наррацию* как способ его реализации. Как указывает И.В. Троцук, «чтобы речевое действие стало нарративом, репрезентацией ненаблюдаемых пространственно-временных конфигураций социальных практик, необходимо: 1) тщательно отобрать и прокомментировать события прошлого; 2) трансформировать эти события в элементы истории (сюжет, “декорации”, описание героев и т.д.); 3) создать временную организацию повествования так, чтобы она сама объясняла, почему и как события происходили»[39]. Повествование должно быть организовано вокруг последовательных событий с учетом контекста повествования: позиции рассказчика и ситуации коммуникации[40]. Важное значение имеют параметры ситуации, в которой осуществляется трансляция нарратива: ролевая структура (социальные отношения собеседников, их роли и статусы), модус общения (неформальное, полуофициальное или официальное общение, которое связано со степенью взаимной близости собеседников, интерактивность), компетенции участников коммуникации в рамках обозначенной темы (экспозиции, фреймированного пространства).

В семейном музее участниками коммуникации могут быть как представители «узкого круга» (члены семьи, друзья, знакомые), так и

[37] Краеведческо-этнографический семейный музей Виктора и Галины Мёрзлых…
[38] Матросова 2013.
[39] Троцук 2006: 62.
[40] Ярская-Смирнова 1997: 38.

иные посетители. В первом случае обращение к музейной экспозиции чаще всего происходит в формате *бытового общения*, которое предполагает наличие у всех участников коммуникации фонового знания о семейной истории и не предполагает подробных разъяснений о взаимоотношениях между членами семьи, их статусах и актуальных ролях. Это определяет и типы нарративов, представляющих семейную историю через общую семейную память, неформальность и диалогичность коммуникации («Помнишь, дедушка рассказывал?», «А это ведь мамины туфли, в которых она была на свадьбе!», «Не скажешь, кто это на фотографии рядом с папой?» и т.п.), а также «свернутость» информации, ее иконичность, когда участники диалога могут ограничиваться лишь намеками, ссылками на известные им факты, вызывающие взаимную эмпатию.

Во втором случае существенно возрастает потребность в экспликации представленных в музее артефактов при помощи развернутых рассказов о важных членах семьи, реальных или вымышленных фактах их биографии (семейные предания и легенды), связи семейной и большой истории, т.е. в том, что иногда называют *бытийным дискурсом*. Необходимость учета контекстов, связанных с компетенциями посторонних лиц, вызывает потребность в выстраивании *ситуационных фреймов*, помогающих найти общее смысловое поле всем участникам коммуникации. Для этого используются элементы экспозиции, отсылающие к конвенциональным референтным смыслам, связанным с памятью данного социума, например, коллекции различных предметов «старого быта».

На прагматическую макроструктуру дискурса существенно влияет характер социальных отношений участников коммуникации, их статусы[41]. Например, общение взрослых с детьми или подростками в пространстве семейного музея предполагает трансляцию особых нарративов и дискурсивно-психологический фокус, в рамках которого коммуникативная инициатива будет принадлежать взрослому. Иначе организован статусно-ориентированный дискурс, который предполагает «институциональное общение», т.е. коммуникацию представителей разных социальных групп, реализующих свой статусно-ролевой потенциал. Здесь, как, например, в интервью представителю СМИ или ведущему опрос исследователю, коммуникативная инициатива не принадлежит хозяину музея. Проанализируем два показательных примера. В материале о семейном музее Ю.И. Лозовицкого (Ковель, Украина), опубликованном в газете «Сегодня»[42], коммуникация проходит в пространстве музея, который корреспондент описывает как цельный фрейм («другой мир, интересный, интригующий») и обозначает историческую перспективу, связанную с этим пространством – «двухсотлетняя летопись большой семьи». Рубрикация текста статьи на уровне подзаголовков (*тематических ключевых выражений*)[43] задает наиболее важные, с точки зрения интервью-

[41] Дейк 2000: 36 и след.
[42] Домашний музей, за который дают «Волгу» 2004.
[43] Дейк 2000: 59-60.

ера, оси восприятия: глубина исторического среза («Детской колыбели – сто лет», «Здесь можно изучать историю»), семейная травма («Прадеда выменяли на собак»), ценность семейной памяти («Память не продается»). Они помогают уточнить особенности фреймирования данного пространства и обеспечивают эксплицитное выражение в дискурсе основных для внешнего наблюдателя тем (*макропропозиций*).

Интервью с Ю. Лозовицким включает транскрипты, позволяющие выстроить вполне корректную модель статусно-ориентированного дискурса памяти. Хотя коммуникативная инициатива по определению принадлежит корреспонденту, часть вопросов задаются им с позиции ребенка (профана): «А что это?», «А откуда эта чудная вещь?». Это предполагает, что в этих точках диалога коммуникативная инициатива передается хозяину музея, который получает возможность развертывания нарративов, связанных с той или иной частью экспозиции. В ходе интервью могут возникать и другие типы отношений между участниками коммуникации, когда интервьюер встречает среди экспонатов музея знакомые ему вещи: «О, а вон ту “штучку” я в последний раз видел еще в детстве!». Перед нами ситуация «коммуникативной встречи», когда лежащие за конкретной вещью факты эпизодической памяти каждого из участников акта коммуникации образуют общее коммуникативное поле – *коммуникативную память*. Эксплицированные при этом значения, принадлежащие индивидуальной памяти каждого из участников коммуникации, фактически порождают новые коннотации в семантике данной вещи, актуализируя их общую культурную память на основе совместного эмоционального переживания и развертываемых нарративов.

Обратимся к анализу нарративов Ю. Лозовицкого в изложении автора статьи и рассмотрим используемые *нарративные структуры* (*схемы*) в соответствии с *тематическим репертуаром* данного типа дискурса[44]. Первая из них связана с повествованием о семейной истории и истории музея и содержит топик «мотивы создания музея». «Якорная точка» в этом нарративе (по сути – семейном предании), которая позволяет дать обоснование создания и существования музея, – внук как продолжатель рода. «Главный вдохновитель этого музея – мой отец. Собирать экспонаты начал еще он. Прятал по разным закоулкам на нашем хозяйстве в селе Грушивка, где мы жили. А когда у меня родился сын, сказал: “Появился у нас продолжатель рода. Было бы хорошо все это сохранить. Для будущих поколений. Чтобы знали, откуда наши корни”»[45].

Следующий топик «предок – родоначальник» отсылает к семейной родословной, согласно которой предок Лозовицких происходил из Польши. «Нашего родоначальника, Семена Лозовицкого, который родился в 1800 году, привез сюда пан из-под Варшавы. Местный пан выиграл пять крестьян в карты у варшавского и поменял их на собак». Нарративы об основателе рода характерны для всех семейных музеев.

[44] Ср. Там же: 52.

[45] Домашний музей, за который дают «Волгу» 2004.

В большинстве случаев в качестве родоначальника выступает предок 3-4-го поколения. Обычно это тот, от кого сохранились некоторые вещественные следы – от семейных реликвий до портретов и фотографий. Более далекие предки упоминаются в родословной, и эти упоминания служат для утверждения значимости и глубины семейной истории (как, например, в музеях Недумовых и Агишевых). Хотя предок Лозовицкого крепостной крестьянин, что, казалось бы, предполагает ущербный статус, эта оценка снимается второй частью нарратива: «Обстоятельства сложились так, что Неля [дочь Ю. Лозовицкого] вышла замуж за польского священника – через 200 лет потомки Семена Лозовицкого снова связали свою жизнь с этой страной»[46].

Еще одним топиком, часто встречающимся в нарративах, связанных с семейными музеями и семейной памятью, является «увековечивание». Так, в планах Ю. Лозовицкого значится установление памятного знака в честь своих предков. Кроме того, «Юрий Иванович написал пять рукописей, в которых рассказывает о своем роде» и «хочет издать небольшим тиражом свою работу, чтобы она была у всех членов семьи»[47].

Важный топик – эмоциональная привязанность к родителям, которая в случае Ю. Лозовицкого проявляется в особо бережном отношении к их вещам и в коммеморативных практиках, осуществляемых в пространстве музея. «Среди рушников мамы и отцовских рубашек, аккуратно сохраненных и сложенных в уголке, писалось особенно легко. “Я здесь, в этих комнатах, всегда праздную дни рождения своих родителей. Прихожу сюда также и в день их смерти. 25 ноября у отца день рождения. В этот день я иду в музей, зажигаю свечи и пишу стихи, чтобы подарить их отцу. Отца нет уже 22 года. И есть 22 стихотворения...”»[48].

Как отмечает Т. Ван Дейк, «выделение топиков может быть субъективным. Текст как таковой не “обладает” какой-либо макроструктурой; она приписывается ему автором или читателем. В этом смысле темы, или топики, подобно всяким значениям, являются *когнитивными* единицами. Они отражают понимание текста, того, что было признано важным, и то, как эта важная информация организуется в памяти»[49]. Макроструктуры, в свою очередь, «являются структурами самого дискурса и часто единственны в своем роде»[50]. Они «порождаются» в процессе коммуникации и зависят от ситуативных факторов, в частности, от целей и установок участников дискурса, что важно для понимания сущности «дискурса памяти», поскольку он не является «застывшим», неизменным и может дополняться новыми смыслами.

Семейная память транслируется через конкретные вещи в составе экспозиции, которые, если рассматривать ее как текст, могут приобре-

[46] Там же.
[47] Там же.
[48] Там же.
[49] Дейк 2000: 240.
[50] Там же: 49.

тать символические значения и выполнять функции *тематических ключевых выражений – экспликатур* или *индикаторов*. Предметы, которые в первую очередь демонстрирует Ю. Лозовицкий, – это оружие отца, символизирующее доблесть и мужественность, статус воина и защитника Отечества. «Детская плетеная колыбель, которой больше ста лет» в экспозиции символизирует продолжение рода, что вытекает и из семантики слова «колыбель» (ср. «колыбель цивилизации»), и из ее привязки к семейной истории в нарративе: «В ней слушали колыбельные мои дядя, тетка Степанида, отец, мой брат и я»[51].

Для внешнего наблюдателя более важной оказывается вписанность макропропозиции в большую историю и ее связь с исторической памятью. Именно с этой точки зрения автор статьи описывает наполнение экспозиции. «Часы, купленные в 1953 году, когда умер диктатор Сталин, старое радио, которое, кажется, сейчас заговорит голосами полувековой давности, нехитрые советские игрушки, которые вызывают трепетную ностальгию по детству... Здесь можно изучать историю. А вот и портреты вождей тех времен»[52]. Индикаторами эпохи, отсылающими к исторической памяти, выступают «диктатор Сталин», «портреты вождей», «советские игрушки».

В нарративе Ю. Лозовицкого акцент сделан на личной и семейной истории, излагаемой сквозь призму автобиографической памяти. «Этот маленький бюст Ленина стоял на столе в моем кабинете, когда я работал председателем колхоза. Это было в начале 90-х. Как-то ко мне зашел представитель района и, не поздоровавшись, швырнул этот бюст в мусорник: “Сколько этот идол здесь будет стоять?”. Я подобрал этот бюст. Отношение – отношением, но историю не перепишешь»[53].

Фактически в данном дискурсе сталкиваются две разных макропропозиции. Одна из них (интервьюер) предполагает резко негативную оценку советского политического устройства, манифестацией которого являются фигуры вождей, и, одновременно, «трепетно ностальгическое» отношение к советскому детству. Другая (Ю. Лозовицкий) демонстрирует склонность к компромиссу благодаря семейному преданию и фактам личной биографии, которые позволяют ему утверждать, что «отношение – отношением, но историю не перепишешь».

Семейный музей П.Н. Крылова (д. Матвеево Парфеньевского района Костромской области) посвящен родителям и находится в отдельном строении на территории усадьбы. «У нас появилась идея показать старую деревенскую жизнь. Мы построили мастерскую и обозвали “Домик о родных истоках” – вместо мастерской тут музей. И мы решили сохранить нашу старинную деревенскую мебель на первом этаже. Тут летняя кухня, дети собираются летом»[54]. Музейное пространство

[51] Домашний музей, за который дают «Волгу» 2004.
[52] Там же.
[53] Там же.
[54] ПМА 2017; П.Н. Крылов.

основано на фрейме «память о родителях», включающем в себя подтемы «память о родительском доме» и «память о деревне». Об этом свидетельствуют визуальный скрипт при входе в музей, состоящий из трех старых фотографий, и сопровождающий его комментарий П.Н. Крылова. На первой, самой большой фотографии, изображена его мать, на второй – улица родной деревни, на третьей – дом родителей. «Мы решили сохранить память о деревне, о родительском доме. Просто – сохранить родительскую память. Вот так вот. Цель у нас такая»[55]. Кроме ностальгических переживаний, один из побудительных мотивов организации музея – восстановить справедливость по отношению к родителям как типичным выразителям ценностей советской эпохи.

Макропропозицией в музее для П.Н. Крылова является «советское прошлое», на фоне которого разворачивается жизненный путь родителей. Биография и достижения матери представлены личными вещами, наградными грамотами, публикациями в прессе, в т.ч. с поэтическими сочинениями в ее честь. Отдельную часть экспозиции образует история отца, который был отмечен за свои трудовые достижения и удостоился упоминаний в местной прессе. «Идея у нас пришла это всё в памяти сохранить, потому что вот мама в четырнадцать лет уже пошла работать. А когда война началась, она села на трактор – в восемнадцать лет. Мужиков не было. В восемнадцать лет ее уже наградили медалью “За доблестный труд”. А папа, вот скажу, в сорок третьем году получил тяжелое ранение (у него правая рука как плеть висела). Его комиссовали, и он пришёл с одной рукой и тоже сел на трактор, пока мужики не пришли с фронта. И вот когда пришли с фронта, папа пошел в пастухи, мама пошла в доярки. В районе было сто двадцать четыре доярки! И она непосредственно своим трудом завоёвывала первые места. И вот этот переходящий вымпел из дома у нас не уходил. Она была избрана делегатом XXIII съезда, она вот сидит. И ей вручили первого героя Соцтруда. Вот здесь на фотокарточке можно видеть у нее два Ордена Ленина. Ну, про медали я уж не говорю!»[56].

П.Н. Крылов не расширяет рамки истории семьи хотя бы до третьего поколения (бабушек и дедушек). Данный исторический срез представлен у него деперсонализированным образом «предков» (локального сообщества), «памятью о деревне». Она воплощена в «этнографической» части экспозиции с вещами из заброшенных домов односельчан. Рассказ о «старом быте» у Крылова постоянно прерывается воспоминаниями о родителях и их жизни, в данном случае дискурс памяти устойчиво трансформируется в *дискурс о памяти*. «Вот это писали про маму стихи. <…> Вот это зеркало – восемнадцатого года. Вот этот платок – мама носила платок. Вот ее швейная машинка – племянник хотел на помойку выбросить, я не дал. Это сундучки из нашего дома. <…> Вот эти

[55] Там же.
[56] ПМА 2017; П.Н. Крылов.

лапти у нас на повити висели на чердаке, я еще маленький был. Они вот стоят здесь теперь. Вот этим лампами мы пользовались – свету-то не было, потом мы купили побольше лампу, абажур такой! Так светло в доме было! Вот эту собаку [= статуэтку] мама тоже откуда-то с Пленума привезла. Ухо откололи, но это о маме память. А это нам вот подарили пивную кружку [стеклянную], теперь такой не найдёшь. Вот такие кринки у нас даже в Матвеево делали. Вот этот радиоприёмничек папе подарили – он пастухом был. Сейчас таких не найдёшь, только в музеях. Это папин. А это вот – папа пастухом был – на коровах колокольчики»[57].

Много внимания в музее уделено демонстрации успехов детей и внуков, которые символически и фактически продолжают «славное прошлое» семьи. Их фотографии помещены на первом этаже музея, в комнате, где обычно проводятся совместные семейные застолья, и сопровождаются подробными комментариями с описанием их достижений.

Отдельный скрипт представляет собой настенный фотоальбом, размещенный над лестницей, ведущей в основной зал музея. Он заслуживает отдельного описания, поскольку репрезентирует типовую модель разворачивания дискурса памяти в такого рода музеях. Фактически это своеобразный «конспект» нарратива о семейной истории, состоящий из текстов (надписей) и визуальных материалов (фотографий), выстроенных по схеме, напоминающей «семейное древо», и в других музеях часто представленной в виде родословной. Этот культурный скрипт отсылает к хорошо понятным для носителей культурной традиции смыслам. Размещенная на самом верху надпись: «Дорогие родители! Мы Вас любим, помним и гордимся Вами!» – обрамляет три вертикально расположенных фотографии: мать и отец во время домашнего застолья; родители с детьми; бабушка с шестью внуками. Эта вертикаль считывается как связь трех поколений семьи и подкрепляется расположенными по сторонам фотографиями с фактами из их жизни: дни рождения, выпускные вечера, свадьбы и другие знаменательные события. Некоторые фотографии сопровождаются подписями, которые эксплицируют скрытые за ними смыслы. Под фотографией старшего брата: «Гармонь – любовь всей жизни Николая Крылова»; под фотографией старшей сестры: «Шура с Ершовой Татьяной в деревне Тихоново»; под своей фотографией: «Павел – студент московского строительного техникума». Этот скрипт для П.Н. Крылова существует в виде сценария с определенным сюжетом, который он разворачивает в своем нарративе, комментируя данную композицию. В случае замечаний и вопросов других участников дискурса нарратив может видоизменяться, дополняться сюжетными ответвлениями. Воспоминания порождают коммуникативную память, она является результатом дискурсивных практик, «живой» памятью, и охватывает содержание памяти, постоянно меняющееся в процессе коммуникации.

***

[57] Там же.

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о существенной зависимости дискурсов памяти в пространстве семейных музеев от ситуативных факторов. Семейная история может разворачиваться на фоне большой истории или в контексте биографического нарратива, который, в свою очередь, определяется наличием общего коммуникативного поля участников диалога. При сравнении рассмотренного выше музея Ю.И. Лозовицкого с музеем П.Н. Крылова можно констатировать, что первый из них демонстрирует значительно большую глубину семейной памяти, что обусловлено интересом к истории семьи не только самого организатора музея, но и его отца; т.е. занятие историей семьи является семейной традицией. Память, транслируемая в музее П.Н. Крылова, не обладает большой глубиной и охватывает период жизни только четырех поколений. Масштаб личности и значимость трудового подвига матери оттесняет в экспозиции на задний план других членов семьи (отца, детей и внуков). В обоих случаях в дискурсе при воспоминаниях о родителях актуализируется «живая» социальная и автобиографическая память. Но есть различие: музей Ю.И. Лозовицкого опирается на «опосредованную» и «долговременную» историческую память, а в музее П.Н. Крылова доминирует «короткая» историческая память[58]. В воспроизводимых при этом нарративах приводятся воспоминания о родителях, детстве, «старой жизни», которые помогают воссоздать семейную историю в необходимом ракурсе, внести в нее нотки героизма и пафоса.

ИСТОЧНИКИ

Альперина С. Хранитель. Семейный музей Валерий Агишев создал в одиночку в подвале загородного дома // Российская газета – Неделя. 2015. № 17 (6588). http://www.rg.ru/2015/01/29/muzei.html

Баркова М. Семья из 20 человек каждое Рождество устраивает дома театр // Комсомольская правда. Самара. https://www.samara.kp.ru/daily/25618.07/785234/ (07.01.2011).

Бывшему губернатору и сенатору при жизни открыли личный музей // Информационное агентство ‘Znak’. Картина дня. https://www.znak.com/2019-03-28/byvshemu_gubernatoru_i_senatoru_pri_zhizni_otkryli_lichnyy_muzey

В Тольятти семья собрала музей из вещей своих предков // ГТРК Самара. Лента новостей. https://tvsamara.ru/news/v-tolyatti-semya-sobrala-muzei-iz-veshei-svoikh-predkov (22.10.2019)

Домашний музей открыли жители Губино // ТВ «Аист». Новости Ликино-Дулевского округа. http://informc.ru/news/kultura/domashniy-muzey-otkryli-zhiteli-gubino (26.07.2018).

Домашний музей, за который дают «Волгу» // Сегодня № 266 (1910) https://www.segodnya.ua/oldarchive/c2256713004f33f5c2256f5600441e16.html (23.11.2004)

Истомина И.А. Домашний музей старовера: окно в прошлое // Рябининские чтения – 2015. Петрозаводск: Музей-заповедник «Кижи», 2015. С. 584.

Каменецкий И.С., Каулен М.Е. Музеефикация памятников // Российская музейная энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М.: Прогресс; Рипол Классик, 2001. С. 390-393.

Каулен М.Е. и др. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 47-68.

Краеведческо-этнографический семейный музей Виктора и Галины Мёрзлых // Открытый Север. Туристический портал Архангельской области. https://www.pomorland.travel/what-to-see/semeynyy-muzey-myerzlykh/?fbclid=IwAR1uPx8uzR9-bEI_woXXBzR40PzuSVM-1njrPZmZTwgzwnv1AOczk6iccxs (12.04.2020).

Кузнецов В. Как семья Тихоновых сделала село Кирово одним из центров духовной культуры Орловщины // Телеканал «Россия 1». Орловское информбюро. Передача «Аграрный вопрос». URL: https://www.youtube.com/watch?v=F58EbQyY6vw (16.05.2016)

[58] Ср. Репина 2016: 84.

Матросова Е. Колодец живой воды // Земля нижегородская. https://zem-nn.ru/?p=7521 (26.09.2013)
Назина Т. Домашний музей: всё началось со свистка // Orenonline.ru. Обл. информ. портал. https://orenonline.ru/news/obshhestvo/domashnij-muzej-vsyo-nachalos-so-svistka/ (01.01.2019)
Полевые материалы авторов (ПМА) 2014; братья Г. и А. Тихоновы, с. Кирово Городище Сосковского района Орловской области.
Полевые материалы авторов (ПМА) 2017; П.Н. Крылов, род. в 1947 г., д. Матвеево Парфеньевского района Костромской области.
Равикович Д.А. Классификация музеев // Российская музейная энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М.: Прогресс; Рипол Классик, 2001. С. 273.
Сокольский С. Дом Вильямсов в Тимирязевке // CozyMoscow. https://cozymoscow.me/mesta/dom-vilyamsov-v-timiryazevke.html
Частные музеи России. География проекта. https://privatemuseums.ru/o-proekte/geografiya
Частные музеи России. Самородки России / под ред. А. Ю. Шабурова. М., 2019. 1020 с.
Юхнёва Е.Д., Юхнёва Е.В. Историко-бытовая музеефикация жилых квартир Петербурга – новая актуальная задача современного регионоведения // Теория и практика регионоведения. Т. 2. Труды I Международной научно-практической регионоведческой конференции. Кн. 2. СПб., 2018. С. 256-280.
Этнографический музей «Квартира доходного дома им. Н.В. Юхнёвой» приглашает в гости // Музей-квартира. https://vk.com/muzey_kvartira

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 370 с. [Assman Ya. Kul'turnaya pamyat': Pis'mo, pamyat' o proshlom i politicheskaya identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2004. 370 s.]
Васильев А.Г. Современные memory studies и трансформация классического наследия // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 19-49. [Vasil'yev A.G. Sov-remennyye memory studies i transformatsiya klassicheskogo naslediya // Dialogi so vremenem: pamyat' o proshlom v kontekste istorii / Pod red. L.P. Repinoy. M.: Krug, 2008. S. 19-49.]
Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН; ФОМ, 2004. 752 с. [Gofman I. Analiz freymov: Esse ob organizatsii povsednevnogo opyta. M.: Institut sotsiologii RAN; FOM, 2004. 752 s.]
Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с. [Deyk van T.A. Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya. Blagoveshchensk: BGK im. I. A. Boduena de Kurtene, 2000. 308 s.]
Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Д. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр, 2008. 336 с. [Yorgensen M.V., Fillips L.D. Diskurs-analiz. Teoriya i metod. Khar'kov: Gumanitarnyy tsentr, 2008. 336 s.]
Карасик В.И. Интерпретация дискурса. Топик, формат, модус // Известия ВолГПУ. 2015. № 1(96). С.73-79. [Karasik V.I. Interpretatsiya diskursa. Topik, format, modus // Izvestiya VolGPU. 2015. № 1(96). S. 73-79.]
Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с. [Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa. M.: ITDGK «Gnozis», 2003. 280 s.]
Нора П. и др. Франция-память. СПб.: СПбГУ, 1999. 328 с. [Nora P. i dr. Frantsiya-pamyat'. SPb.: SPbGU, 1999.]
Репина Л.П. События и образы прошлого в исторической и культурной памяти // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 1. С. 82-99 [Repina L.P. Sobytiya i obrazy proshlogo v istoricheskoy i kul'turnoy pamyati // Novoye proshloye / The New Past. 2016. № 1. S. 82-99]
Рикёр П. Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 728 с. [Riker P. Pamyat', istoriya, zabveniye. M.: Izd-vo gumanitarnoy literatury, 2004. 728 s.]
Рождественская Е.Ю., Семенова В.В. Социальная память как объект социологического изучения // ИНТЕР. 2011. 1/6. С. 27-48 [Rozhdestvenskaya E.Yu., Semenova V.V. Sotsial'naya pamyat' kak obyekt sotsiologicheskogo izucheniya // INTER. 2011. 1/6. C. 27-48]
Троцук И.В. Теория и практика нарративного анализа в социологии. М.: Уникум-центр, 2006. 207 с. [Trotsuk I.V. Teoriya i praktika narrativnogo analiza v sotsiologii. M.: Unikum-tsentr, 2006. 207 s.]

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с. [Hal'bvaks M. Sotsial'nyye ramki pamyati. M.: Novoye izdatel'stvo, 2007. 348 s.]

Шуб М.Л. Социальная, коллективная и культурная память: новый подход к определению смысловых границ понятий // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14. № 1. С. 4-11. [Shub M.L. Sotsial'naya, kollektivnaya i kul'turnaya pamyat': novyy podkhod k opredeleniyu smyslovykh granits ponyatiy // Observatoriya kul'tury. 2017. T. 14. № 1. S. 4-11].

Ярская-Смирнова Е.Р. Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал. 1997. № 3. С. 38-61 [Yarskaya-Smirnova E.R. Narrativnyy analiz v sotsiologii // Sotsiologicheskiy zhurnal. 1997. № 3. S. 38-61].

Fairclough N. Critical discourse analysis: the critical study of language. L.; N.Y.: Longman, 1995. 265 p.

Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992. 259 p.

Grice H.P. Logic and conversation // Syntax and semantics. Vol. 3 / ed. by P. Cole and J.L. Morgan. N.Y.: Academic Press, 1975. P. 43-58.

Jarvis W.E. Time capsules: a cultural history. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2003. 321 p.

Jorgenson M., Phillips L. Discourse analysis as theory and method. London; Thousand Oaks: Sage Publications, 2002. 229 p.

Methods of critical discourse analysis / ed. by R. Wodak and M. Meyer. London; Thousand Oaks: SAGE, 2001. Pp.209.

Морозов Игорь Алексеевич, *доктор исторических наук, главный научный сотрудник; Центр кросскультурной психологии и этологии человека, Институт этнологии и антропологии РАН; mianov@rambler.ru*

Ирина Семеновна Слепцова (Кызласова)*, старший научный сотрудник, Отдел русского народа, Институт этнологии и антропологии; I_Kyzlasova@mail.ru*

Memory discourses in museum format contemporary narratives of family history

The paper analyzes the communicative practices associated with the translation of group and individual memory in family (home) museums, the principles of organizing space and subject filling of expositions, methods of their framing and symbolization. The study considers the parameters of situations in which memory narratives are translated, which are built both on template schemes (scripts) and on multimodal schemes with flexible scenarios. The discourse of memory arises in the process of problematization of the museum space, while the explicated meanings, which belong to the individual memory of each of the participants in communication, generate new connotations, updating the common cultural memory on the basis of shared emotional experience and deployed narratives.

Key words: family museum, museum space, individual and collective memory, memory discourses, family history, narrative

Igor Morozov, *Dr. Sc. (History), chief research fellow, Department of Cross-Cultural Psychology and Human Ethology, Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Science; e-mail: mianov@rambler.ru*

Irina Sleptsova (Kyzlasova), *senior research fellow, Department of Russian People, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences; I_Kyzlasova@mail.ru*

А.Ю. Серегина

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ АРИСТОКРАТА-КАТОЛИКА СЭР ТОМАС ЭРЕНДЕЛЛ И ОСАДА ЭСТЕРГОМА[1]

В статье рассматривается распространение в Англии XVII в. информации об осаде Эстергома (1595) и подвиге, совершенном там англичанином-католиком Томасом Эренделлом (1560–1639), которому за это был пожалован титул имперского графа. Автор исследует циркуляцию рукописей «Апологии», написанной самим Эренделлом, фокусируя свое внимание на выявленных копиях из собрания Британской библиотеки (Лондон), выдвигает предположение относительно обстоятельств их создания и прослеживает их владельцев на протяжении XVII–XVIII вв. Показано, что в начале XVII в. интерес к венгерским событиям был связан с казусом пожалования английскому дворянину иностранного титула. Однако к середине XVII в. подвиг англичанина, совершенный в Венгрии, вызывал уже интерес англичан к тому, что там происходило. Это объясняется общим ростом интереса к истории Центральной Европы, лучшим знакомством с ней благодаря путешествиям (Grand Tour), а также опыту войны и эмиграции. Соответственно, Томас Эренделл превратился из маргинальной для соотечественников фигуры католика, сражающегося за пределами страны, в символ национальной доблести, хорошо известный англичанам вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.

Ключевые слова: *Томас Эренделл, осада Эстергома, Венгрия, Тринадцатилетняя война, английские католики, конфессия, идентичность, историческая память*

Осада и взятие венгерского города Эстергома (лето 1595 г.) армией императора Рудольфа II и подвиг, совершенный там англичанином, сэром Томасом Эренделлом (1560–1639), который первым взобрался на стену Водного города (квартала Визиварош) и сорвал с нее турецкий флаг, вполне мог бы остаться незамеченным на его родине, или же считаться там своего рода историческим курьезом. Однако этому историческому эпизоду в воображении англичан было придано значение, совершенно непропорциональное ни действиям Эренделла, ни важности взятия самого Эстергома, который, в конце концов, в 1606 г. по условиям мирного договора был возвращен туркам; его окончательного освобождения венграм пришлось ждать еще почти сто лет[2].

За свою воинскую доблесть сэр Томас Эренделл был вознагражден императором Рудольфом II, который в декабре 1595 г. пожаловал ему титул графа Священной Римской империи[3]. Это событие создало важный политический и правовой прецедент, ведь речь шла о получении англичанином иностранного титула. Хотя королева Елизавета I Английская ранее и дала Эренделлу разрешение отправиться в Венгрию и воевать там против турок – что теоретически подразумевало проявление дворянином доблести и возможное вознаграждение, – она все же сочла

[1] Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 20-59-23001 РЯИК_а.

[2] Эстергом был освобожден от турок в 1683 г.

[3] Императорский патент датирован 14 декабря 1595 г. Русский перевод см.: Серегина 2018: 181-182.

такое пожалование несовместимым с английским подданством: «ее» дворяне могли получать титулы только от нее, и ни от кого другого. Поэтому она не только отказалась признать графский титул сэра Томаса Эренделла, но даже отправила его в тюрьму Флит (до 1597 г.). После освобождения и до конца царствования Елизаветы лишившийся королевской милости Эренделл вел жизнь частного лица. Он, впрочем, не отказался от надежды добиться от королей из новой династии подтверждения имперского титула и дважды – при Якове I и Карле I – пытался это сделать[4]. Попытки остались безуспешными, но Яков I счел необходимым в качестве компенсации даровать сэру Томасу титул барона Эренделла из Уордура (1606), который его потомки носили до XX века[5].

Весь этот эпизод мог бы остаться странной маргиналией английской истории и сохраниться лишь в семейной традиции рода Эренделл. Однако он получил куда большую известность. Антиквары и специалисты в области геральдики и генеалогии интересовались казусом пожалования иностранного титула, и потому упоминание о подвиге Эренделла и дарованном ему графском титуле присутствовало на страницах всех сборников и справочников, посвященных английской знати, которые выходили на протяжении нескольких столетий, вплоть до XIX века[6].

Важным оказался несостоявшийся граф и для английских католиков. Для них сэр Томас Эренделл, получивший титул за воинские подвиги, как настоящий рыцарь, имел особое значение. Английское католическое сообщество было ущемлено в своих политических правах: дворяне, сохранявшие верность католичеству и не желавшие идти на компромисс с властями, чтобы не подвергать угрозе спасение своей души, лишались возможности проявлять свои мужские качества в соответствии с предписанными обществом гендерными правилами. Английские католики не могли служить в армии (за исключением периода Гражданской войны в середине XVII в., когда такое разрешение было дано королем Карлом I), занимать государственные должности, избираться в парламент и участвовать в местном самоуправлении. Таким образом, они оказывались лишенными возможности проявить свою мужественность способом, который могли одобрить их современники. В английской антикатолической литературе уже в XVII в. возник образ «феминизированного» (effeminate) католика. Проявление же воинской доблести оказывалось возможным лишь за пределами Англии[7]. Именно так поступил сэр Томас, поехав воевать в Венгрию, а позднее – в Нидерланды (1605).

Если в XVII в. Эренделл был для единоверцев символом традиционной мужественности, то позднее, в XVIII–XIX вв., когда английские католики вели в прессе активную кампанию за предоставление им граж-

[4] В 1604–1605 и 1630 гг.

[5] Последний носитель титула, барон Джон Эренделл из Уордура, скончался в 1944 г. от приобретенного в немецком концлагере туберкулеза, не оставив наследников.

[6] Collins 1878: 47.

[7] Серегина 2018: 165; 2010; McClain 2018: 80-87.

данских прав, его история служила доказательством того, что католики не только не являлись чем-то чужеродным в своей стране, но даже могли стать причиной гордости всех англичан. История Эренделла упоминалась даже в вышедшей в 1878 г. публикации документов по истории миссии иезуитов в Англии, хотя она там была не вполне уместна[8]. Однако в годы войны на Балканах, когда британская публика сочувствовала тамошним христианам, воевавшим против турок, упоминание о доблестном английском рыцаре апеллировало к национальной гордости.

Тем не менее, можно было бы предположить, что история Эренделла так и осталась любопытным примечанием к национальной истории, курьезом, знание о котором не выходило за рамки узких групп антикваров, герольдов и католических историков. Однако дело обстояло совсем иначе. К концу XVIII в. Эренделл и его венгерские подвиги упоминались в многочисленных изданиях, посвященных, например, путешествиям по континентальной Европе[9], а в XIX в. – в популярных журналах[10] и исторических сочинениях[11], обращенных к широкой читательской аудитории. Такой скачок стал возможен потому, что уже в 1695 г. краткое упоминание об Эренделле появилось в популярном историко-географическом сочинении – Thesaurus geographicus[12] Германа Молля[13], опубликованном в Лондоне (и на английском языке). В начале столетия (1603), когда на свет появилась первая английская история Османской империи, имя Эренделла там упомянуто не было, хотя осада и взятие Эстергома имперскими войсками описывалось подробно[14].

В настоящей статье впервые рассматривается распространение сочинения самого Эренделла – его небольшой памфлет, обосновывавший право на получение титула графа Священной Римской империи в Англии первой половины – середины XVII в. Анализируются известные рукописи этого памфлета (он был издан только в 1771 г.)[15]. Будет предпринята попытка установить круг читателей и заказчиков этих рукописей, благодаря которым история Эренделла прочно завладела английским историческим воображением, распространив знания о венгерской истории далеко за пределами собственно Венгрии.

Сэр Томас Эренделл (1560–1639)[16] принадлежал к древнему корнуолльскому роду, связанному родственными и брачными узами как с элитой тюдоровских придворных (и даже с самой королевой), так и

[8] Foley 1878: 336, 520.
[9] Wyndham 1790: 419.
[10] The London Journal 1861: 319.
[11] Walford 1877: 2.
[12] Moll 1695: 370.
[13] Герман Молль (1654–1732), голландский (или немецкий) картограф, работавший в Лондоне с 1678 г. См. Reinhartz 1977.
[14] Knolles1603: 746-752.
[15] Desiderata Curiosa 1771: 278-283.
[16] Биографические данные сэра Томаса Эренделла приводятся по: Hopper 2004. См. также: Серегина 2018: 167-169.

с влиятельными католическими семьями[17]. Отец, сэр Мэтью Эренделл, был лордом-лейтенантом Уилтшира и католиком-конформистом, а его дядя, сэр Чарльз Эренделл (†1587) принадлежал к католической оппозиции, был сторонником Марии Стюарт и в 1584 г. эмигрировал во Францию. Сэр Томас пошел, скорее, по стопам дяди, нежели отца, хотя и не участвовал в заговорах против Елизаветы. Однако он был рекузантом[18], что делало невозможной его политическую карьеру, к большому недовольству отца. К 1590-м гг. Томас Эренделл – талантливый поэт, получивший блестящее образование, не имея возможности проявить себя, страдал от «черной меланхолии». Страдал он, впрочем, в блестящем обществе: его другом и покровителем был брат жены, молодой граф Саутхэмптон, являвшийся политическим союзником фаворита королевы, графа Эссекса, в окружении которого благодаря этому обстоятельству было много недовольных молодых католиков[19].

В 1595 г. сэр Мэтью Эрендел выделил большую сумму (1100 ф.ст.) на экипировку, а также лошадей. Удалось получить и разрешение королевы Елизаветы: Томасу Эренделл было позволено отправиться воевать в Венгрию, где в это время разворачивались события Тринадцатилетней войны (1593–1606). Сэр Томас присоединился к габсбургской армии, осаждавшей Эстергом и вскоре совершил свой подвиг при взятии Водного города, за который император Рудольф II даровал ему титул имперского графа, ставший причиной конфликта между Эренделлом и английским правительством после его возвращения на родину в 1596 г. Сэр Томас захотел признания его имперского титула. Эта ситуация вызвала большой интерес, не лишенный ревности, со стороны других дворян: если бы титул был признан, Томас Эренделл, ранее титула не имевший, оказался бы рангом выше английских баронов и виконтов; выше даже собственного отца, поспешившего лишить его наследства.

Королева Елизавета пришла в ярость из-за того, что Эренделл посмел принять иностранный титул, отказалась признать пожалование и отправила провинившегося дворянина в тюрьму, где тот и пробыл до лета 1597 г. По всей видимости, именно в этот период вынужденного бездействия он и составил письменное оправдание своих действий, представленное как письмо, адресованное лорду-казначею Уильяму Сесилу, лорду Берли. Эренделла освободили, запретив появляться при дворе. В конце 1597 г. его опять арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Ис-

[17] Бабушка сэра Томаса по отцовской линии – Маргарет Ховард (1515–1571, супруга сэра Джона Эренделла из Ланхерна), приходилась двоюродной сестрой королеве Анне Болейн, матери королевы Елизаветы. Его мать, Маргарет (урожд. Уиллоуби), воспитывалась в семье дяди Генри Грея, маркиза Дорсета вместе с его дочерями (в т.ч. «девятидневной королевой» Джейн Грей), а затем служила в свите Елизаветы до ее восшествия на престол. Сам сэр Томас был женат на Мэри Ризли, дочери графа Саутхэмптона и внучке виконта Монтегю.

[18] От recusare – «отказываться» (лат.). Рекузанты отказывались присутствовать на богослужениях в приходских (протестантских) церквях, нарушая тем самым закон.

[19] Серегина 2017: 159-163, 228.

пании, однако на этот раз его держали под домашним арестом в течение нескольких месяцев. В 1598 г. Эренделл, примирившийся с отцом, унаследовал его имущество в Корнуолле и последние годы царствования Елизаветы провел именно там, в родовом замке Уордур.

В начале нового правления сэр Томас попытался добиться признания имперского титула, представив Якову I связанные с этим делом документы. Ситуация разрешилась компромиссом: не признав «чужой» титул, Яков взамен пожаловал Эренделлу титул барона (1606). Подвиги Эренделла в Венгрии отозвались и в другом. В 1604 г. завершилась война Англии и Испании, и по мирному договору английским добровольцам разрешалось воевать в Нидерландах с обеих сторон, т.е., как в армии Генеральных Штатов, так и в армии эрцгерцога Альберта и инфанты Изабеллы, правителей Испанских Нидерландов. В начале 1605 г. из английских добровольцев-католиков был навербован целый полк, командовать которым отправился не кто иной, как Томас Эренделл. Очевидно, Эренделл сохранил связи в габсбургской армии еще со времен своей венгерской кампании. Кроме того, в Венгрии он приобрел репутацию воина, которой не хватало многим аристократам-католикам.

По возвращении в Англию Эренделл вел жизнь богатого дворянина, обладавшего хорошими связями, в т.ч. при дворе. Благодаря бракам самого Эренделла и его сына семья породнилась с влиятельными католическими кланами Вустеров, Монтегю и Бэлтиморов (основателей католической колонии Мэриленд)[20]. Сам Томас Эренделл умер до начала гражданской войны, но его сыновья, внуки и многочисленные родственники в середине XVII в. проявляли свою доблесть, воюя за короля.

Томас Эренделл, вероятно, во время тюремного заключения написал апологию своих действий при осаде Эстергома, обращенную к лорду Бёрли, трактат, разъясняющий правовой статус имперского графа (и законность присвоения ему титула с точки зрения английского права), а также отрывки из письма императора Рудольфа королеве Елизавете[21].

«Апология» Эренделла довольно скупа на детали относительно венгерской кампании; одна из причин тому – в стремлении автора не столько превознести подвиги, совершенные им при осаде Эстергома, сколько обосновать законность принятия титула, пожалованного другим монархом. Кроме того, есть основания полагать, что скромность Эренделла объясняется еще и желанием умолчать о своих связях с армией, предоставленной Филиппом II. Эренделл не указывает, когда именно и при каких обстоятельствах он совершил подвиг, за который его наградили графским титулом. Да и к габсбургской армии он присоединяется как бы случайно, при этом сразу же оказываясь на передовой. Сопоставление рассказа Эренделла с соответствующим разделом «Общей истории турок» (1603) Ричарда Ноллса, посвященном осаде и взятию Эстергома

[20] Там же: 55.

[21] Этот текст датирован 1595 г. и, вероятно, был составлен в первые месяцы 1596 г. по н.ст. (до 1753 г. год в Англии начинался с праздника Благовещения [25 марта]).

габсбургской армией в 1595 г.[22], раскрывает вероятные причины таких умолчаний. У Ноллса есть описание штурма Водного города, во время которого атакующие действительно срывали турецкие флаги. Возможно, Ноллс не знал, кто именно совершил этот подвиг: в Англии на рубеже XVI–XVII вв. информация о нем еще не выходила за рамки придворных кругов, а Ноллс к ним не принадлежал. Однако, согласно Ноллсу, стены крепости Водного города атаковали «валлоны», т.е. солдаты армии Мансфельда, которую тот привел из Испанских Нидерландов[23]. Таким образом, Эренделл воевал в составе испанской армии; вполне возможно, среди т.н. «валлонов» были и английские эмигранты, знакомые Эренделла. Это, в свою очередь, должно было облегчить его «встраивание» в систему габсбургского патроната. Не случайно Эренделл упомянул о том, что именно Мансфельд написал о нем в Прагу императору. Но рассказывать Елизавете и ее министрам о том, что в Венгрии он воевал бок о бок с ее врагами (напомним, что Англия в 1585–1604 гг. находилась в состоянии войны с Испанией), Эренделл не собирался. Поэтому его рассказ о событиях лета 1595 г. выглядит столь расплывчатым.

«Апология» Эренделла, посвященная столь далекому от Англии Эстергому и венгерской кампании, захватила, тем не менее, воображение английских дворян. Несмотря на то, что Англия конца XVI в. воевала с Испанией, боевые действия шли за пределами страны и никогда не вовлекали в себя значительного числа собственно английского джентри. Потомкам средневековых рыцарей оставалось с восхищением и даже некоторой завистью читать о подвигах своих соотечественников, с оружием в руках, защищавших христианский мир. Кроме того, интересовал их и правовой прецедент – пожалование иностранного титула, возможность его признания английским монархом и последствия, которые такое событие могло бы возыметь для иерархии английских титулов. Все эти причины обусловили довольно широкое хождение рукописей «Апологии» в первой половине XVII в., при том, что текст не предназначался для публикации, и был издан намного позже, лишь в 1735 г.

Ни одна из дошедших до нас шести рукописей не является оригиналом, составленным Эренделлом, или даже заказанным им переписчику. Все рукописи представляют собой современные или позднейшие копии конца XVI – первой половины XVII в., и их изучение позволяет судить о том, как циркулировал этот исторический документ в кругу английского дворянства. Лишь одна из этих копий по своему происхождению связана с семьей Эренделлов. Рукопись, ранее входившая в состав их семейного архива, хранится теперь в архиве графства Уилтшир, вместе с оригиналом императорского диплома (Wiltshire and Swindon History Centre, MS 2667/22/3/3), о предполагаемой утрате которого сэр

[22] Knolles 1603: 746-752. Ричард Ноллс (ок. 1545–1610) – историк и переводчик. Получил образование в Оксфорде, преподавал там до 1571 г. С 1571 г. до конца жизни – владелец и директор грамматической школы в Сэндвиче (Кент). См.: Woodhead 2004.
[23] Ibid: 747.

Томас заявил в «Апологии». Эта копия была составлена в самом начале XVII в., вероятнее всего, по приказу самого Эренделла, и была связана с его неудачной попыткой добиться от Якова I утверждения его графского титула в 1606 г. Все остальные копии, которые теперь хранятся в Британской библиотеке, были заказаны другими людьми, и их составление имело совершенно иную мотивацию, нежели семейные интересы или даже генеалогические изыскания. К их анализу мы и обратимся.

Самой ранней по времени составления является рукопись Add MS 48126, ff. 18-31, представляющая собой современную (ок. 1596) копию оригинала «Апологии» Эренделла, состоящую из письма лорду Берли и трактата, обосновывающего пожалование титула. К ним также прилагается краткая выдержка из письма императора Рудольфа II королеве Елизавете (декабрь 1595 г.), в котором речь шла о пожаловании титула (Add MS 48126, f. 29), сделанная другим почерком; таким образом, в составлении рукописи участвовали два писца. Копия была составлена по заказу клерка Тайного совета Роберта Биля (1541–1601)[24], о чем свидетельствуют его собственноручные пометы (Add MS 48126, f. 18, 29).

Роберт Биль – протестант, проведший царствование Марии I в изгнании в Германии, дипломат и парламентарий – был также антикваром, интересовался историей и современной ему европейской политической сценой. Неудивительно, что он заинтересовался делом Эренделла, обсуждавшемся в Тайном Совете. Скорее всего, Биль заказал копию трактата для собственной обширной коллекции, хотя возможен и иной вариант, а именно, подготовка рукописи для одного из лордов совета. Дочь Биля Маргарет вышла замуж за политика и юриста, сэра Генри Йилвертона (1566–1630)[25]. Она унаследовала все бумаги отца, которые впоследствии хранились в доме Йилвертонов, став частью их знаменитого собрания, в 1953 г. приобретенного Британским музеем.

В составе той же коллекции рукописей присутствует еще одна копия «Апологии» Эренделла (Add MS 48088, ff. 36-51). Она была составлена либо практически одновременно с первой, либо несколькими годами позднее, в начале XVII в., но владельческих пометок Биля на ней нет. Следовательно, она не относилась к его коллекции рукописей и попала в собрание Йилвертонов другим путем. Данная рукопись была написана на половинных листах и, видимо, должна была стать частью рукописного сборника формата in octavo. Она является презентационной копией, но неизвестно, кто именно был ее заказчиком.

Еще одна рукопись, Add MS 4214, ff.106-112, из собрания Британской библиотеки также датируется примерно началом XVII в., так что и ее появление можно связать с новой волной интереса к делу Эренделла в 1606 г., а также с завершением Тринадцатилетней войны между императором и Османской империей. Эта копия – тоже презентационная, выполнена для неизвестного частного заказчика. Она неполна: в ней есть

[24] Bell 2004.
[25] Gardiner, Knafla 2004.

только письмо Эренделла Сесилу и начало трактата, остальные страницы утрачены. На протяжении XVII–XVIII вв. рукопись несколько раз меняла владельцев. Во второй половине или в конце XVII в. ее приобрел пребендарий лондонского собора Св. Павла Джон Холл (†1707)[26]. В начале XVIII в. рукопись купил известный коллекционер, антиквар и топограф, член Королевского общества Ральф Торсби (1658–1725)[27], основавший в Лидсе один из первых частных музеев Британии. Собрание Торсби унаследовал его старший сын, после смерти которого в 1764 г. оно было продано на аукционе в Лондоне. Интересующую нас рукопись приобрел другой известный антиквар, секретарь Королевского общества Томас Бёрч (1705–1766)[28], завещавший все свое собрание печатных книг и манускриптов Британскому музею.

Разбиение текста трактата Эренделла на нумерованные арабскими цифрами параграфы идентично разбиению, приведенному в печатном издании «Апологии» Эренделла (1735), так что, вероятно, существовала и еще одна аналогичная рукопись (возможно, из того же заказа), с которой и делалось издание, подготовленное в 1732–1735 гг. другим лондонским антикваром, Фрэнсисом Пеком (1692–1643)[29].

Две других рукописи были составлены несколько позже, в 1620-х – 1630-х гг. «Апология» Эренделла (а точнее, письмо Эренделла к Сесилу) входила в состав сборника политических трактатов, Lansdowne MS 213/2, ff. 7-11, подготовленного, по всей видимости, по заказу антиквара-роялиста из Линкольншира Джервейза Холлса (1607–1675)[30]. Большая часть его обширного собрания рукописей погибла в годы Гражданской войны, за исключением ряда рукописей, попавших в XVIII в. в собрание Уильяма Петти, маркиза Лансдауна (1737–1805), в 1807 г. приобретенное Британским музеем[31].

Наконец, еще одна копия «Апологии», Hargrave MS 216, ff. 36-41, выполненная в 1620-х гг., в XVIII в. вошла в состав коллекции правовых рукописей известного юриста и издателя правовых текстов Фрэнсиса Харгрейва (1740/41–1821)[32]. Его собрание было приобретено государством и депонировано в Британский музей в 1813г.

Выявленными рукописями копии «Апологии» Эренделла явно не исчерпывались, но точно число исходных экземпляров конца XVI – начала XVII в., не говоря уже о более поздних, подсчитать не представляется возможным. Вероятно, большая их часть до нас не дошла. Тем не менее, сохранившиеся рукописи позволяют сделать ряд выводов о циркуляции документа и причинах сравнительно высокого интереса к ним.

[26] Vallance 2004.
[27] Kell 2004.
[28] Miller 2004.
[29] Haycock 2004.
[30] Seddon 2004.
[31] A Catalogue of the Lansdowne Manuscripts 1831: 107.
[32] Baker 2004.

Хронологически рукописи делятся на три группы, относящиеся к последнему десятилетию XVI в., первому десятилетию XVII в. и 1625–1630-м гг. соответственно (хотя сгруппировать их по другим параметрам не представляется возможным). Видимо, мы имеем дело с копиями «Апологии», подготовленными для циркуляции во время предпринятых Эренделлом попыток добиться от английских монархов – Елизаветы I в 1595–1596 гг., Якова I в 1605 г. и Карла I в 1630-х гг. – признания своего графского титула, хотя и необязательно с копиями, заказанными им самим и его родственниками. К последней группе точно относится только одна рукопись из Уилтшира (Wiltshire and Swindon History Centre, MS 2667/22/3/3), происхождение еще трех (Add MS 48126, Add MS 48088 и Add MS 4214) связано с памфлетной кампанией конца XVI – начала XVII в., типичной для католического дворянства: основные доводы, доверенные бумаге, циркулировали в рукописях, распространявшихся среди влиятельных родственников – придворных, но не в печати, так как печатную продукцию жестче контролировали власти. Наконец, еще две рукописи (Lansdowne MS 213/2 и Hargrave MS 216) могли быть связаны с новой кампанией за утверждение титула, развернувшейся в начале царствования Карла I. Возможен, впрочем, и иной вариант – эти рукописи могли возникнуть как проявление растущего интереса антикваров и джентльменов, интересовавшихся историей и правом (см. ниже).

Об истории Эренделла современникам стало известно довольно быстро, хотя при Елизавете это знание еще не выходило за пределы лондонских придворных кругов. Так, еще в 1603 г. Р. Ноллс в своей истории Османской империи, приводя рассказ о штурме стен Эстергома, не упомянул имени Эренделла[33] – возможно, не знал о нем, или же предпочел лишний раз не раздражать королеву, невысоко оценившую подвиги сэра Томаса в Венгрии. Тем не менее, Джон Чемберлен в своем письме Дадли Карлтону из Лондона, датированным 8 ноября 1598 г., упомянул об аресте Эренделла из-за его предполагаемых контактов с испанцами, назвав его при этом «имперским графом» [the Imperiall Count Arundell][34].

Но уже в первом десятилетии XVII в. история Эренделла разошлась гораздо шире и стала достоянием широкой читающей публики, появившись на страницах «Анналов» Уильяма Кемдена (латинская версия 1615 г., английская – 1625 г.)[35]. В своем тексте под 1596 г. Кемден рассказывает о попытке Эренделла добиться утверждения своего титула и дебатах лордов Тайного совета по этому поводу. Он приводит доводы pro и contra, причем они явно не ограничиваются теми, которые привел Эренделл в своей «Апологии»: из всех перечисленных последним исторических примеров Кемден упоминает только один, причем воспроизводя историческую неточность Эренделла. В «Апологии» говорится что «в прошлом папа Иннокентий сделал англичанина графом Сомерсе-

[33] Knolles 1603 P. 747-748.
[34] Chamberlain 1861: 27.
[35] Camden 1615.

том»[36]. В своем перечислении доводов Эренделла Кемден указывает, что король Генрих III утвердил это пожалование. Единственным графом Сомерсетом из семейства де Мохан был Гильом де Мохан, которому титул пожаловала королева Матильда (правда, в понтификат папы Иннокентия II). Этот титул не был признан ни соперником Матильды, королем Стефаном, ни ее сыном Генрихом II, и потомки де Мохана никогда им не пользовались. Откуда же взялись утверждения Эренделла и Кемдена? По всей видимости, оба они воспользовались текстом рукописи на французском языке, составленным аббатом цистерцианского монастыря Ньюнэм (Девоншир) Вальтером де ла Хове в середине XIV в. Монастырь был основан в 1247 г. Реджинальдом де Моханом, поэтому посвященная семье основателя рукопись была преподнесена аббатом его патронессе, леди Джоан де Мохан[37]. Сама рукопись впоследствии была утеряна, однако ее явно видели и Эренделл, и Кемден, и издавший в 1655 г. «Церковную историю Британии» Томас Фуллер. Последний опубликовал отрывок из этой рукописи, в котором и говорилось о том, как в награду за основание аббатства Ньюнэм Реджинальду де Моханy, прибывшему в Лион, когда там заседал церковный собор, папа Иннокентий IV пожаловал золотую розу и титул графа (le counte de l'Est)[38]. Этот непонятный титул и ассоциируется с титулом графа Сомерсета. Все ссылавшиеся на нее авторы вполне могли видеть ее в доме Латтрелов – наследников семьи де Мохан. Сама история почти наверняка была вставлена в текст составителем рукописи и не имеет под собой фактического основания. Во всяком случае, ни в папских документах, ни в английских правовых источниках нет ни следа такого пожалования[39].

Остальные приведенные Кемденом примеры в «Апологии» не упоминаются, но некоторые их них вполне могли быть использованы сторонниками Эренделла. Правда, их использование более вероятно при второй попытке утверждения титула (1605 г.): избранные исторические эпизоды скорее могли быть адресованы королю Якову I, нежели Елизавете I. Первый из них – отсылка к истории сэра Роберта Кёрзона (1460–1535), который в 1501 г. получил от императора Максимилиана I титул имперского барона за подвиги в войне против турок. Начиная с 1513 г., за ним признавался баронский титул (английский), но без права заседать в Палате Лордов[40]. Кёрзон, впрочем, был довольно опасным примером: на рубеже XV–XVI вв. он был противником первого короля из династии Тюдоров, поддерживал йоркистского претендента, графа Саффолка, и в 1501 г. был официально объявлен изменником. Так что его заграничные подвиги оказались вынужденными: в течение нескольких лет ему нельзя было вернуться в Англию. Впрочем, Кёрзону удалось добиться

[36] Camden 1615.
[37] Maxwell Lyte 1909: 22-23.
[38] Fuller 1845: 178-179.
[39] Maxwell Lyte 1909: 24-25.
[40] Camden 1615.

королевского прощения, и впоследствии он верой и правдой служил Тюдорам: Генрих VIII даровал ему не только баронский титул, но также пенсию и придворную должность в знак признания его доблести. В данном примере можно было бы усмотреть намек на то, как именно Якову стоило отнестись к Эренделлу. Стоит отметить, что король понял возможный намек правильно, даровав Эренделлу баронский титул.

Два других примера наверняка были адресованы именно монархам из династии Стюартов: граф Арчибальд Дуглас (ок. 1369–1424), которому в 1421 г. был пожалован французский титул герцога Туренского, и Джон Стюарт из Дарнли (1380–1429), предок короля, которому в 1424 г. был дарован титул графа д'Эврэ[41].

Обращение Кемдена к эпизоду с Эренделлом свидетельствует как о том, что в начале XVII в. его история была уже довольно хорошо известна среди придворных и дворян, прежде всего, благодаря циркулировавшим рукописям «Апологии», так и о том, что изначально читательскую аудиторию интересовал лишь правовой аспект этого казуса и те последствия, которые он мог иметь для иерархии английского титулованного дворянства, озабоченного своими правами и привилегиями.

Однако, как следует из перечня коллекционеров, в руках которых оказались рукописные копии «Апологии» к середине XVII в., к тому времени историю Эренделла начали рассматривать в ином контексте, и интересовались ею другие люди – не столько придворные и титулованные аристократы, и даже не католики, которых могли бы заинтересовать приключения их единоверца на службе Габсбургам, но любители истории и рассказов о путешествиях в далеких странах.

Такая перемена была обусловлена рядом факторов. Во-первых, англичане в XVII в. больше знали об Османской империи и ее европейских владениях, включая Венгрию. Тринадцатилетняя война, в которой участвовал Эренделл, несомненно, сыграла свою роль, способствовав росту интереса англичан к событиям, разворачивавшимся в Центральной Европе. Позднейшие события также сыграли свою роль. Тридцатилетняя война, в которой многие английские дворяне участвовали в качестве добровольцев, также заставила их пристально всматриваться в то, что происходило на их глазах в Священной Римской империи и рядом с ее границами. Затем Гражданская война в самой Англии вытолкнула многих дворян, оказавшихся на проигравшей стороне, в эмиграцию, заставив познакомиться с жизнью в дальних странах из первых рук.

Да и сама Венгрия стала для англичан XVII в. несколько более знакомой. Хотя обычно Центральная Европа не относилась к классическому маршруту Grand Tour, ставшему популярным уже в том столетии, некоторые все же заезжали туда[42]. Появились и английские путешественники, интересовавшиеся Османской империей и пересекавшие ее

[41] Ibid.
[42] Worthington 2012: 19-47.

территорию (например, Томас Блаунт, еще в первой половине XVII в. опубликовавший историю своего путешествия в Левант)[43]. На их пути часто оказывалась Венгрия. Наконец, когда в конце XVII в. началась новая война с турками, дошедшими в своем наступлении до стен Вены, англичане, как и другие европейцы, зачитывались новостями, а некоторые дворяне (и на этот раз не только католики), подобно Эренделлу, отправились туда, чтобы защищать христианский мир и продемонстрировать свою храбрость[44].

В этом контексте образ «доблестного» Эренделла претерпел существенные изменения. Он перестал быть только символом мужественности дворянина-католика, обращенным к относительно узкой аудитории. Собиратели рукописей, поспешившие приобрести его «Апологию» во второй половине XVII и начале XVIII века, не были католиками. Для них Эренделл был, прежде всего, англичанином, а его подвиги демонстрировали доблесть нации. Так католик, маргинальная фигура в начале XVII столетия, к его окончанию превратился в национального героя.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

ODNB online – Oxford Dictionary of National Biography online. 2004.

Серегина А.Ю. Английское католическое сообщество XVI–XVII вв.: виконты Монтегю. М.; СПб., 2017. [Seregina A.YU. Anglijskoe katolicheskoe soobshchestvo XVI–XVII vv.: vikonty Montegyu. M.; SPb., 2017].

Серегина А.Ю. Аристократ в эпоху конфессионального конфликта: трансформация гендерных ролей // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. 2010. Вып. 18. С. 119-139. [Seregina A.YU. Aristokrat v epohu konfessional'nogo konflikta: transformaciya gendernyh rolej // Adam i Eva. Al'manah gendernoj istorii. 2010. Vyp. 18. S. 119-139.].

Серегина А.Ю. Доблесть католика. Сэр Томас Эренделл и осада Эстергома (1595 г.). Приложение. Документы об участии сэра Томаса Эренделла в осаде Эстергома // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем. 2018. Вып. 4. С. 164-196. [Seregina A.YU. Doblest' katolika. Ser Tomas Erendell i osada Estergoma (1595 g.). Prilozhenie. Dokumenty ob uchastii sera Tomasa Erendella v osade Estergoma // Intellektual'nye tradicii v proshlom i nastoyashchem. 2018. Vyp. 4. S. 164-196.].

Baker J.H. Hargrave, Francis // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/12313

Bell G.M. Beale, Robert // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/1804

Blount T. A Voyage into the Levant. London, 1636.

Burke's Genealogical and Heraldic History of Peerage, Baronetage and Knightage. L., 1878.

Camden W. Annales Rerum Gestarum Angliae et Hiberniae Regnante Elizabetha (1615). Online edition by D. Sutton. URL: http://www.philological.bham.ac.uk/camden/

A Catalogue of the Lansdowne Manuscripts // Nicolas N.H. A description of the contents, objects, and uses of the various works printed by authority of the Record Commission. P. 106-110.

Chamberlain J. Letters Written During the Reign of Queen Elizabeth. London, 1861.

Collins A. The Peerage of England. Vol. 7. London, 1779.

Desiderata Curiosa, or a Collection of diverse scarce and curious pieces relating chiefly to matters of English history / Ed. by F. Peck. Vol. I. London, 1771.

Foley H. Records of the English Province of the Society of Jesus: Historic Facts Illustrative of the Labours and Sufferings of Its Members in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Vol. 3. London, 1878.

Fuller T. The Church History of Britain. Oxford, 1845.

Gardiner C.S., Knafla L. Yelverton, Sir Henry // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/30214

[43] Blount 1636.

[44] Worthington 2012: 99, 122.

Haycock D.B. Peck, Francis // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/21738
Hopper A.J. Sir Thomas Arundell, Sir Thomas // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/726
Kell P.E. Thoresby, Ralph // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/27334
Knolles R. The Generall Historie of the Turkes. Vol. II. London, 1603.
The London Journal: and Weekly Record of Literature, Science, and Art. London, 1861.
McClain L. Divided Loyalties? Pushing the Boundaries of Gender and Lay Roles in the Catholic Church, 1534 – 1829. Springer, 2018.
Maxwell Lyte H.C. A History of Dunster, and of the Families of Mohun & Luttrell. L., 1909.
Miller D.P. Birch, Thomas // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/2436
Moll H. Thesaurus geographicus: A new body of geography, or A Compleat Description of the Earth. London, 1695.
Reinhartz D. The Cartographer and the Literati: Herman Moll and His Intellectual Circle. Lewiston N.Y., 1977.
Seddon P.R. Holles, Gervase // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/13552
Vallance E. Hall, John // ODNB online. 2004. URL: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/11970
Walford E. Tales of Our Great Families, Vol. 1. London, 1877.
Woodhead C. Knolles, Richard // ODNB online. 2004. URL: http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/15752
Worthington D. British and Irish Experiences and Impressions of Central Europe, c.1560–1688. Farnham, 2012.
Wyndham N. Travels Through Europe: Containing A Geographical, Historical, and Topographical Description of All the Empires, Kingdoms, States, and Provinces, in that Civilised, Polished, and Enlightened Quarter of the Globe. Vol. 2. London, 1790.

***Серегина Анна Юрьевна**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН; aseregina73@yandex.ru*

Historical memory and confessional identity of a Catholic noble: Sir Thomas Arundell and the siege of Esztergom

The article is focused on the circulation of the information about the siege of Esztergom (1595) and the military exploits of a Catholic Englishman, Sir Thomas Arundell (1560-1639) who was granted a title of a Count of the Holy Roman Empire for his valour. The author has studied the manuscripts of the "Apology" compiled by Arundell and has focused her attention on the copies from the British Library (London). She has offered suggestions about the circumstances of their creation, and has traced their owners in the 17th – 18th cc. It has been shown that in the early 17th c. the interest to the events in Hungary was linked to the case of a foreign title granted to an English gentleman. However, by the mid-17th century the focus of interest shifted to the glorious deeds of an Englishman in Hungary, and to the events that had taken place in that country. This is explained by the general rise of the interest to the history of Central Europe, and by the better knowledge of it, thanks to the English experience of travel (the Grand Tour), war, and exile. Thus, Thomas Arundell was turned from a marginal figure of a Catholic fighting abroad into a symbol of national courage, well-known to all Englishmen regardless of their confessional allegiance.

***Keywords**:* Thomas Arundell, siege of Esztergom (1595), Hungary, Thirteenth Years War, English Catholics, confession, identity, historical memory

***Anna Seregina,** Dr. Sc. (History), leading researcher, Institute of World History, Russian Academy of Sciences; aseregina73@yandex.ru*

Д.М. Бондаренко

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РАБСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1861–1865 ГГ. НА СЕВЕРЕ И ЮГЕ США РАСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ[1]

Культурная граница между Севером и Югом США, образовавшаяся в результате различий в их истории, в первую очередь в связи с рабством черных, не исчезла и по сей день. Она остается значимым культурным и социально-политическим фактором общественной жизни страны, а «северянин» и «южанин» – узнаваемыми типажами. В статье показано на примере сложности и конфликтности исторической памяти о Гражданской войне, рабстве и его отмене в США, как через коллективную память история не просто вторгается в современность, а присутствует в ней, в т.ч. в виде мемориалов, памятников, музейных экспозиций, и в огромной степени определяет ее.

Ключевые слова: *историческая память, репрезентация прошлого, исторические дискурсы, музеи, мемориалы, США, рабство, Гражданская война, расизм*

На протяжении последних лет (особенно интенсивно – в 2013–2015 и 2018 гг.) в больших и малых городах более чем десяти штатов в разных частях США автор изучал африкано-американское сообщество и его место в американском социуме в прошлом и настоящем. Результаты исследования, в частности, показали, что культурная граница между Севером и Югом не исчезла и по сей день. Она остается значимым культурным и социально-политическим фактором общественной жизни страны, а «северянин» и «южанин» – остаются узнаваемыми типажами[2].

Нерешенность расовой проблемы даже более полувека спустя после победы Движения за гражданские права 1954–1968 гг., приведшей к отмене расовой сегрегации, очевидна и на Севере, и на Юге США. Об этом говорят не только научные исследования последнего времени[3]. О том же красноречиво свидетельствуют участившиеся в последние годы и в северных, и в южных штатах акты расового насилия – убийства белыми полицейскими черных граждан, вооруженные нападения белых расистов на черных американцев. На грани позапрошлого и прошлого веков – в 1900 г. – в составленном выдающимся африкано-американским общественным деятелем и ученым Уильямом Дюбуа и принятом Первым панафриканским конгрессом «Послании народам мира» содержалось утверждение: «Проблема двадцатого века – это проблема расо-

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-09-00075 «“Черное наследие”: историческая роль африканцев и их потомков в культурной памяти США». Автор благодарен за помощь в организации и проведении исследования М. Алео, Д. Баллард, К. Баскину, М. Белл, Э. Блэйкли, И. Вайлу, А. Валке, К. Гилламу, А.Е. Жукову, У. Каткарту, К. Линчу, о. С. МакГрэгору-младшему, М. Парсон-Уиллинс, Б. Сорбо, К. Сорбо, К. Тилли, А. Токовинину, Х. Уиверу, В.В. Усачевой, А. Уткину, Р. Чакону, Я. Чакон. Также автор признателен А.А. Банщиковой, О.В. Иванченко и П.А. Попову за помощь в обработке полевых материалов, а И.И. Курилле – за ценные комментарии к предварительному тексту статьи.

[2] Бондаренко 2016.

[3] См., напр.: Bonilla-Silva 2018; Horowitz et al. 2019; Special Section… 2020.

вых границ»[4]. Недавние события наглядно показывают, что XX века для решения этой проблемы не хватило, и она перешла в век XXI. Колоссальные по неистовости и размаху антирасистские протесты 2020 года, последовавшие в разных странах за убийством белым полицейским африкано-американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая, стали ярким свидетельством нерешенности расового вопроса в мире. В США же расовая проблема, очевидно, в принципе до конца неискоренима, поскольку с момента, когда первые черные рабы были привезены в Северную Америку в 1619 г., и по сей день американское общество держится на расовой дихотомии. Расовое деление является его социокультурной основой, фундаментом, на котором оно выросло и который едва ли возможно изменить, не разрушив построенное на нем здание[5].

Тем важнее для американского общества историческая память о ключевом событии в истории страны, с которым связано рождение американской нации, – о Гражданской войне 1861–1865 гг., иначе именуемой Войной Севера и Юга, в ходе которой в 1862–1863 гг. рабство было отменено законодательно, а после завершения войны победой северян – и фактически в штатах Юга. Для южан рабовладение было не только основой плантационной экономики, но и краеугольным камнем их идентичности, фундаментом общественного и семейного быта – вспомним роман «Унесенные ветром» уроженки неофициальной «столицы Юга» Атланты Маргарет Митчелл. Для северян же, среди которых аболиционистские взгляды всегда были распространены гораздо шире, чем среди южан (здесь вспомним вышедший еще до войны, в 1852 г., роман «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу из северного штата Коннектикут) борьба с рабством на Юге, пусть и не была единственной целью в войне, внесла важный вклад в формирование самовосприятия как носителей идеи Свободы. Одним из ее главных символов стал и по сей день остается им президент Линкольн, под чьим руководством северяне победили в войне и который пал от руки тайного агента врага. Среди множества памятников Линкольну, установленных в США, с точки зрения темы данной статьи очень показателен вашингтонский, выполненный в классицистическом стиле в 1876 г. Томасом Боллом. На нем к ногам президента с благодарностью припадает бывший черный раб. Собственно говоря, памятник, хотя и находится в увековечивающем имя Линкольна мемориальном парке (*Lincoln Park*), посвящен именно освобождению рабов (официальное его название – *Emancipation*). Но само событие, естественно, неразрывно ассоциируется с фигурой президента. В 1879 г. авторскую копию памятника установили в родном городе скульптора Бостоне – главной цитадели аболиционизма. В июне 2020 г. на волне антирасистских протестов под лозунгом «Жизни черных имеют значение» (*Black Lives Matter*) власти Бостона приняли, а Вашингтона – заявили, что инициируют принятие решения убрать эти памятники, по-

[4] Fryer 1984: 285.

[5] Painter 2006; Perry 2011; Bonilla-Silva 2018; Jerry 2018.

скольку на них черный человек изображен освобожденным из рабства, но все же коленопреклоненным перед белым президентом Линкольном, что сегодня воспринимается как проявление расовой иерархии[6]. Впрочем, надо отметить, что еще выдающийся черный аболиционист Фредерик Дуглас, выступавший на открытии памятника в Вашингтоне, выражал недовольство его концепцией[7].

Историческая память о Гражданской войне, рабстве и его отмене по-разному формировалась и репрезентировалась на Севере и Юге. Различия подтверждают высказанный в начале статьи тезис о сохранении внешне незаметного, но глубокого культурного разлома, проходящего там, где когда-то пролегала зримая граница между штатами свободного Севера и рабовладельческого Юга. Конечно, сегодня и на Юге очень многие выступают за расовое равноправие и против проявлений расизма. Бо́льшую часть посетителей мемориала Мартина Лютера Кинга в Атланте составляют, по моим наблюдениям, белые американцы. В Музее Нового Юга в Шарлотте, рассказывающем об истории южных штатов от окончания Гражданской войны до наших дней, на выходе посетитель может ответить в письменном виде на вопрос, считает ли он, что «сегодня на Юге все имеют равные права». Ни в одной из более 20-ти просмотренных мною записок я не увидел ответ «да». В свою очередь, на Севере для многих история США есть история прежде всего белых американцев, начинающаяся с прибытием отцов-пилигримов. Как сказал автору статьи черный житель «Города Братской Любви» – Филадельфии – в ответ на вопрос: «Какие исторические события и личности наиболее значимы для Америки?», – «Для меня это черные люди, которых привезли сюда как рабов, – мы построили Америку. Однако все сводится к белым. Вы видите все эти памятники: большинство из них – белым. Есть несколько и черным, но большинство – белым».

И тем не менее кампания по ликвидации монументов, прославляющих Конфедерацию южных штатов, ее политических и военных деятелей, начавшаяся после того, как 17 июля 2015 г. белый молодой человек Диллон Руф убил девять африкано-американцев в церкви в г. Чарльстоне (Южная Каролина) и получившая колоссальный новый импульс после убийства Джорджа Флойда 25 мая 2020 г., превратилась в настоящую «войну памятников», потому что у идеи их сноса нашлось много противников[8]. Этот факт ярко свидетельствует и о силе воздействия на общественное сознание связанных с историей материальных объектов и мест памяти, и о сохранении дуализма типично-северного и типично-южного отражения в исторической памяти Гражданской войны и рабства на Юге США. Также весьма показательно, что, тогда как памятники и мемориалы, возвеличивающие Конфедерацию и ее защитников, появлялись по всему Югу на протяжении долгого времени после оконча-

[6] Guerra 2020; Miller 2020.
[7] Murray 1916: 198–199.
[8] Травкина 2018; Mobilizing… 2018.

ния Гражданской войны, память о черных ветеранах так и не нашла там достойного выражения в камне и металле, несмотря на идущие по этому вопросу практически с момента ее завершения дебаты[9].

Суть различий между типично-северным и типично-южным восприятием Гражданской войны и отмены рабства прекрасно передают два памятника – в Бостоне и городке Форт-Милл в Южной Каролине, и подобных им по вложенному в них смыслу очень много, соответственно, на Севере и Юге США. На бостонском памятнике с тем же названием, что и монумент с Линкольном – «Освобождение рабов» (скульптор – африкано-американка Мета Во Уоррик Фуллер), запечатлены несколько черных людей в героических позах *(илл. 1)*. Памятник был создан в гипсе в 1913 г. в ознаменование 50-летия Прокламации об освобождении рабов, а в 1999 г. отлит в бронзе и установлен в мемориальном парке, носящем имя выдающегося аболициониста Гарриет Табмэн. В 2013 г., к 150-летию Прокламации, на постаменте появились торжественные слова, посвященные увековеченному монументом событию.

На памятнике же в Форт-Милле (1891 г.), также являющемся частью мемориала – Парка Конфедерации, запечатлен в спокойной, исполненной достоинства позе одинокий белый солдат, а надпись на постаменте гласит: «Защитникам суверенитета штата» *(илл. 2)*. Как уже упоминалось, памятник солдату – часть мемориала. Он включает в себя две пушки и четыре монумента: к 1900 г. рядом с памятником солдату появились памятники женщинам Конфедерации и индейцам проживающего в этих местах племени катауба, сражавшимся в армии Конфедерации, а также обелиск (1895 г.), как гласит надпись на постаменте, в память о «преданных рабах», сохранивших верность своим хозяевам в годы войны (возможно, единственный памятник им во всей стране). Земля под парк была выделена ветераном армии Конфедерации капитаном Самюэлем Уайтом, по его же инициативе и отчасти на его средства приобретены монументы (их автора или авторов установить не удалось). На табличке написано, что мемориальный парк создан с целью «сохранения памяти о тех, кто пожертвовал столь многим в 1861–1865 гг.»[10]. Примечательно, что активизация и радикализация в 2020 г. движения под лозунгом «Жизни черных имеют значение» в Форт-Милле, в отличие от Бостона или Вашингтона, не привела к инициированию демонтажа монументов в Парке Конфедерации, включая обелиск «преданным рабам», а также переименования парка, хотя и вызвала оживленную общественную дискуссию и петиции с требованиями такие решения принять: городские власти заявили, что не имеют для этого правовых оснований[11].

То есть если на Севере формировалась и поддерживается, в т.ч. через монументальные репрезентации, историческая память о Гражданской войне как о войне освободительной, чей главный смысл заключал-

[9] Lawrence-Sanders 2017.

[10] Об истории создания мемориала см.: Johnson 2009: 105–110.

[11] Marks 2020; Marks et al. 2020; Rickabaugh 2020.

ся в освобождении рабов и восстановлении нарушенного «мятежниками» единства страны, то на Юге распространилось восприятие Гражданской войны как справедливой оборонительной войны во имя сохранения независимости отколовшихся от федерации штатов и их права на свой жизненный уклад; войны, в которой вопрос о рабстве не играл первостепенную роль. Такая память о Гражданской войне начала складываться на Юге практически сразу после ее завершения. Характерно, что непосредственно в годы войны никто не только на Севере, но и на Юге не сомневался в том, что проблема рабства черных стала одной из ее главных причин[12]. Однако естественный поиск южанами моральной и психологической компенсации за тяжелое поражение очень быстро привел к появлению идеологии «проигранного дела Конфедерации», или просто «проигранного дела»[13]. Именно в ее основу легли представления о благородном и героическом характере трагически проигранного южанами «дела» и о том, что вопрос о рабстве якобы не был существенной причиной войны. При этом рабство на Юге признавалось оправданным, в т.ч. морально, ввиду его экономической выгодности, а рабовладельцы представлялись людьми, не угнетавшими рабов, но, напротив, патерналистски заботившимися о них. Идеология «проигранного дела Конфедерации» начала неофициально, но открыто и широко распространяться практически сразу после окончания войны: уже в 1866 г. вышла книга журналиста из южного штата Вирджиния Эдуарда Полларда «Проигранное дело: новая южная история войны конфедератов», благодаря которой и вошло в обиход само выражение «проигранное дело»[14], и в которой уже в полной мере содержались идеализация образа жизни довоенного Юга и героизация его поражения в войне. В 1868 г. Поллард опубликовал еще одну книгу – «Вновь обретенное проигранное дело»[15]. Идеология «проигранного дела Конфедерации» доминировала в исторической памяти южан о войне в долгую – тянувшуюся 75 лет, с 1890 по 1965 г., – эпоху Джима Кроу, т.е. узаконенной расовой сегрегации.

Несмотря на перемены в общественном сознании за более чем полвека после победы Движения за гражданские права, идеология «проигранного дела» не умерла. Новейшие переиздания книг Полларда датируются 2010-ми гг., а одно из самых недавних подтверждений – выход в 2020 г. книги военного историка, в прошлом – профессора одного из университетов в штате Луизиана С. Митчема-младшего под провокационным названием «Дело было не в рабстве: разоблачение большой лжи о Гражданской войне»[16]. В ней автор повторяет основной тезис сторонников идеологии «проигранного дела»: истинной причиной войны была проблема самоопределения южных штатов, вопрос о рабстве лишь ис-

[12] Алентьева 2004; 2008.
[13] Foster 1987; The Myth… 2000; Blight 2001; Прокопенков 2017: 110–118; Domby 2020.
[14] Pollard 1866.
[15] Pollard 1868.
[16] Mitcham Jr. 2020.

пользовался северянами, чтобы не допустить выхода южных штатов из состава США. Особое внимание обращено на то, что в ходе избирательной кампании 1860 г. республиканцы во главе с Линкольном вели речь не об освобождении рабов, а о недопущении расширения зоны рабовладения. Действительно, накануне и в начале войны решение вопроса о рабстве виделось администрации Линкольна не так, как в ее разгар: только в 1862–1863 гг., из тактических и стратегических соображений военного времени – из желания дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Юге и привлечь на свою сторону черных рабов, правительство Линкольна законодательно отменило рабство на всей территории США, включая объявивший о сецессии Юг[17]. Однако изменения в подходах к решению проблемы рабства не отрицают значимости проблемы: она занимала одно из главных мест в ряду причин войны[18].

Различия в коммеморации и Гражданской войны, и места черных американцев в обществе того времени на Севере и Юге сохраняются по сей день. Например, в 1897 г. в самом центре Бостона воздвигнут помпезный монумент работы одного из известных американских скульпторов Огастеса Сент-Годенса в память о 54-м массачусетском пехотном добровольческом полку, созданном здесь в 1863 г. – сразу после законодательного запрета рабства. Состоявший исключительно из солдат-африкано-американцев под командой белых офицеров, он принял участие в Гражданской войне и стал символом единства белых и черных северян в борьбе за освобождение рабов на Юге, в стремлении американцев всех цветов кожи к свободе как высшей ценности. «Память справедливых благословенна», – начертано на монументе. Примечательно, что инициаторы создания памятника назвали его «Мемориал Роберта Гоулда Шоу» – в честь первого командира полка, погибшего в сражении за Форт-Вагнер 18 июля 1863 г., но в 1982 г. на монументе появились имена 62 черных солдат полка, погибших в той же битве. Героизм солдат полка и их командира воспет и в кинематографе – в оскароносном фильме «Слава», снятом в 1989 г. Эдуардом Цвиком. Однако 31 мая 2020 г. монумент оказался среди 16-ти памятников, осквернённых в Бостоне за один день протестов, последовавших за убийством Джорджа Флойда. Основанием для его осквернения – расписывания граффити – послужило то, что белый полковник Шоу изображен сидящим на лошади, а чернокожие солдаты – марширующими в пешем строю. Это было расценено протестующими как выражение расовой иерархии[19].

В городке же Гантерсвилле в южном штате Алабама в 2010 г. установлена мемориальная доска в память о его сожжении Федеральной армией (т.е. армией северян) 15 января 1865 года. В пространном тексте доски не найти упоминаний о рабах и их освобождении, но можно прочитать об ужасах оккупации города северянами и о том, что «послед-

[17] Foner 2010.
[18] The Causes… 1992; Алентьева 2007; Шихов 2013.
[19] Marcelo 2020; Shea 2020.

ствия Гражданской войны долго ощущались и в XX в.», поскольку еще в 1935 г. в графстве Маршалл (к нему относится Гантерсвилл) жили 43 вдовы военнослужащих армии Конфедерации, а ее последний ветеран в графстве умер только в 1944 г. На кампусе же Университета Алабамы в Тускалузе в 1914 г. был открыт небольшой мемориал (памятный камень с металлическими мемориальными досками на нем между флагами страны и штата; демонтирован в июне 2020 г. по решению руководства вуза под давлением общественности[20]), посвященный тому, как 3 апреля 1865 г. сформированное из студентов ополчение тщетно пыталось с оружием в руках предотвратить разграбление и сожжение университета численно превосходившим отрядом регулярной Федеральной армии. Об этом и об уничтожении северянами в Тускалузе предприятий, разграблении магазинов, складов, жилых домов, несмотря на отсутствие в том военной необходимости, говорится и на мемориальной доске, установленной на главной площади города. В то же время, как и на мемориальной доске в Гантерсвилле, на ней нет ни слова об освобождении рабов.

При этом в г. Остине, имеющем репутацию «единственного либерального города в Техасе» (одном из южных штатов), возведенный в 1902 г. многофигурный мемориал в память о техасцах, сражавшихся в армии Конфедерации, ныне соседствует с открытым только в 2016 г. столь же грандиозным мемориалом в честь освобождения черных рабов и вклада черных граждан в историю штата и до, и после этого – с XVI по XXI в.: победивший еще в 1865 г., а потому ставший официальным «северный» дискурс исторической памяти стремится утвердить себя на Юге, и в таких его либеральных анклавах, как Остин или Шарлотт ему это в целом удается. Вообще сегодняшний Юг, конечно, ни в коем случае нельзя приравнивать к Югу не только времен Гражданской войны, но и периода расовой сегрегации. Так, в «эталонном» южном штате Алабама только с 2000 по 2011 г. открылись 12 африкано-американских исторических музеев и мемориалов[21]. Самым известным стал мемориал, открытый в 2007 г. (архитекторы Р. Леон и Н. Холлант-Денис) на месте массового захоронения рабов, обнаруженного в 1991 г.в центре Нью-Йорка[22] Еще до того, в 2000 г., была установлена ставшая частью мемориала скульптура под названием «Триумф человеческого духа» работы Л. Пэйса *(илл. 3)*. В 2019 г. Сенат США присвоил мемориалу официальное наименование «Международный мемориальный музей и образовательный центр “Африканский могильник”».

Совершенно по-разному выглядят и старые африкано-американские кладбища. В Бостоне, в центре города, существует кладбище Коппс-Хилл, где африкано-американцев хоронили со второй половины XVIII в. На нем более 1000 могил африкано-американцев. То были уже свободные люди: в Массачусетсе рабство исчезло к 1780-м гг.

[20] Taylor 2020.
[21] Рассчитано по: Giliberti 2013: 146, Table 1.
[22] Об этом мемориале см.: Frohne 2015.

К нашему времени кладбище Коппс-Хилл превратилось в достопримечательность, стало пунктом специального маршрута по местам, связанным с историей черного населения Бостона, и содержится в прекрасном состоянии. Иногда у надгробных памятников можно увидеть оставленные посетителями американские флажки. А африкано-американское кладбище при пресвитерианской церкви Эллисон-Крик, возведенной черными рабами в графстве Йорк в штате Южная Каролина, давно заросло травой, кустами и деревьями. На нем похоронено несколько сотен человек, но только на 21 могиле установлены надгробия с именами погребенных – черных рабов хоронили без почестей, без желания сохранить память о них. Кладбище оставалось заброшенным более ста лет. Только нынешний настоятель церкви, о. Сэм МакГрэгор-младший, из желания восстановить историческую справедливость и память об африкано-американцах, чьи судьбы были связаны с церковью Эллисон-Крик, нанял, по личной иннициативе, людей, которые с помощью специальной техники обнаружили точные места захоронений, и о. Сэм поставил над каждым из них по маленькому металлическому кресту.

Если в Бостоне расположенный неподалеку от кладбища Коппс-Хилл баптистский молельный дом 1806 г. постройки, до конца XIX в. служивший местом собраний потомков освобожденных рабов, в 1972 г. превращен в муниципальный Музей африкано-американской истории, то церковь Эллисон-Крик, в которой даже сохранились скамьи, сделанные руками рабов, продолжает функционировать как обычная церковь, и только колоссальными личными усилиями о. Сэма в ней в наши дни восстанавливается память о ее черных строителях и прихожанах.

Музейные экспозиции также отнюдь не нейтральны и объективны: они тоже отражают и выражают разные дискурсы исторической памяти. Причем в ситуации, когда проявления расовой нетерпимости становятся все более частыми, роль музеев как институтов, вносящих несомненный вклад в формирование взглядов людей, возрастает[23]. Официальный дискурс, в основе которого – положения о безмерной ужасности рабства и расизма и, несмотря на них, колоссальном вкладе черных американцев в процветание страны на всем протяжении истории США, достигает апогея в экспозиции главного африкано-американского музея Америки – Смитсоновского национального музея африкано-американских истории и культуры, торжественно открытого в Вашингтоне президентом Бараком Обамой в сентябре 2016 года. В то же время можно найти различия в том, как чаще всего представляют историю и культуру черных американцев в музеях Севера и Юга. Так, в недавно обновленной экспозиции Городского музея Нью-Йорка специальная часть раздела о ранней истории города посвящена черным ньюйоркцам. В ней подчеркиваются прежде всего страдания черных рабов: среди экспонатов – кандалы и объявления о продаже рабов и розыске сбежавшего раба. При этом внимание посетителя обращается и на то, что с ранних пор в городе замет-

[23] Scott 2019.

ную роль играли аболиционистские силы: в экспозиции – грамота, подтверждающая, что ее обладатель является освобожденным рабом, иллюстрации к первому изданию «Хижины дяди Тома» и целый зал, посвященный отмене рабства. А в Городском музее Гантерсвилла и в аналогичном музее соседнего Албертвилла не найти прямых свидетельств рабовладельческого прошлого этих мест. Африкано-американское наследие, по крайней мере до Движения за гражданские права (в Алабаме оно и началось), представлено в этих музеях «аполитичными» экспонатами, посвященными африкано-американским музыке, кухне и т.п.

Как квинтэссенцию борьбы вокруг восприятия прошлого на Юге можно рассматривать то, что в последние годы происходит в превращенных в музеи-усадьбы бывших поместьях плантаторов-рабовладельцев[24], например, в музее-усадьбе «Исторический Брэттонсвилл» в графстве Йорк, штат Южная Каролина. С 1766 г. на протяжении почти полутора столетий в этой усадьбе проживали четыре поколения Брэттонов – семьи шотландско-ирландского происхождения. Среди них были военные и врачи, но основой благополучия семейства неизменно оставалось плантационное сельское хозяйство, которое до поражения Юга в Гражданской войне держалось на труде многочисленных черных рабов. Движение за превращение усадьбы в музей началось в конце 1950-х гг. по инициативе влиятельных белых активистов, в частности бывшего судьи графства и члена законодательного собрания штата С. Менденхолла. При его же активном участии в 1959 г. была создана Историческая комиссия графства Йорк, сыгравшая решающую роль в превращении поместья Брэттонсвилл в музей. В 1997 г. Брэттонсвилл стал частью системы Музеев культуры и наследия графства.

На обширной территории поместья (778 акров) сохранилось более 30 жилых и хозяйственных строений. Среди них – первый дом, возведенный Брэттонами на их земле, и во много раз большая по размерам двухэтажная центральная усадьба, где все говорит о состоятельности, благополучии, высоком культурном уровне и образованности жильцов. Наибольшую историческую ценность представляют чудом сохранившиеся два одинаковых маленьких однокомнатных дома, в которых жили рабы. Эти дома располагаются рядом с главной усадьбой, поскольку в них жили рабы, составлявшие домашнюю прислугу Брэттонов. По образцу этих домов реконструируют рядом еще несколько домов рабов *(илл. 4)*. Жилища рабов, работавших в полях, не сохранились. Через сами же бывшие поля уже давно проходит автострада.

Как отмечалось выше, Брэттонсвилл входит в систему музеев, принадлежащих графству Йорк. Большую роль в деятельности музея-усадьбы, особенно в деятельности просветительской, играет общественная организация, призванная способствовать сохранению и развитию Брэттонсвилла как музея-усадьбы. В эту организацию входят как белые либеральные интеллектуалы, в частности преподаватели расположенно-

[24] Alderman, Modlin Jr. 2014: 279–281.

го в близлежащем г. Рок-Хилл Уинтропского университета, так и образованные, лишенные «реваншистских настроений» черные энтузиасты, в т.ч. прямые потомки рабов Брэттонов (один из них, 80-летний Уоли Каткарт, вспоминал, как, будучи ребенком, слушал рассказы деда, которого освободила из рабства победа северян в Гражданской войне). Их настрой и цели совпадают с главной задачей, поставленной перед собой сотрудниками музея-усадьбы, среди которых не все, но большинство, включая исполнительного директора Кэйри Тилли, – белые.

Эта задача – изменить мировоззрение южан и, в частности, их восприятие прошлого, неразрывно связанного с рабовладением. Поэтому в музее-усадьбе в последние годы делается все возможное для того, чтобы радикально сместить акценты в представлении жизни в поместье Брэттонов, – поставить в центр репрезентации жизнь не рабовладельцев, как это делалось ранее, а рабов. Показать Брэттонсвилл прежде всего не как поместье респектабельного белого семейства, чьи культурность и образованность должны вызывать симпатию к ним, а как место мучений черных рабов, требующих сострадания. История Брэттонсвилла репрезентируется как в первую очередь история рабов и только во вторую – их хозяев. Если в прежние годы основные усилия сотрудников музея направлялись на воссоздание интерьеров домов Брэттонов, и переходя из одной красиво убранной комнаты в другую, посетитель мог перестать думать о том, что их хозяева не только музицировали и пили чай из красивой сервизной посуды, но и жестоко эксплуатировали других людей, то ныне делается все, чтобы внимание посетителя привлекала и история рабов. Традиционная для Юга подача связей между рабовладельцами и рабами в поместьях – как чуть ли не гармоничных отношений заботящихся друг о друге просвещенных «родителей» и неискушенных «детей» (снова вспомним «Унесенных ветром» – и книгу Маргарет Митчелл, и поставленный по ней режиссером Виктором Флемингом фильм, а также обелиск в память о «преданных рабах» в Форт-Милле). Теперь такая подача сменилась однозначным акцентом на жесточайшую эксплуатацию одними других, непреодолимую внутреннюю конфликтность их взаимоотношений и духовную силу униженных, но не сломленных черных людей. В таком русле лежит и упомянутая выше реконструкция домов рабской прислуги, и консервация двух сохранившихся оригинальных домов, включая обнаруженные на стенах отпечатки пальцев их обитателей, и работа археолога из Уинтропского университета Кристофера Гиллама, под чьим руководством студенты ведут раскопки на местах несохранившихся домов рабов, трудившихся в полях, и разнообразные образовательные и познавательные проекты музея, ориентированные в первую очередь на детей и подростков.

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что усилия сотрудников музея-усадьбы и группирующихся вокруг них энтузиастов не только многими поддерживаются, но и встречают неприятие, порой открытое и агрессивное, со стороны некоторой части общества. В частности, со-

трудники много рассказывали автору данной статьи о попытках отдельных людей помешать работе музея, сорвать его просветительские мероприятия, об угрозах, неоднократно поступавших от Ку-клукс-клана.[25] Нельзя не согласиться с Д. Алдерманом и А. Модлином-младшим в том, что «Музеи плантаций Юга, – возможно, точка отсчета в этой борьбе вокруг того, как мы должны (и даже должны ли вообще) помнить прошлые расистские практики и ландшафты»[26]. Притом, что в экспозициях превращенных в музеи-усадьбы поместий колониальной эпохи на Севере на процветании в них рабства давно делается специальный акцент. Например, поместье Филипсбург в штате Нью-Йорк, с 1672 по 1779 г. принадлежавшее роду Филипс, чей основатель переселился в Северную Америку из Голландии, включено не только в список Национальных исторических памятников, но и в Маршрут африкано-американского наследия графства Вестчестер. Стартовая страница сайта музея-усадьбы открывается призывом к посетителям: «Прогуляйтесь по лесной тропе и войдите в 1750 год, когда поместье Филипсбург было процветающим мукомольным и торговым комплексом, в котором проживали 23 порабощенных человека африканского происхождения»[27].

На примере сложности и конфликтности исторической памяти о Гражданской войне, рабстве и его отмене в США мы показали, как через коллективную (культурную) память история не просто вторгается в современность – она присутствует в ней и в огромной степени определяет ее. Но историческая память не есть прямое и заведомо достоверное отражение исторических событий. Она формируется и потенциально направляется многими акторами – от деятелей культуры до государственных институтов. Большую роль в этом играет музейно-мемориальная репрезентация прошлого. Изменения же в оценке прошлого влекут за собой изменения в восприятии настоящего, в представлениях о желательном будущем и заставляют людей направлять свои усилия на достижение иных, чем прежде, общественных целей.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Алентьева Т.В. Сецессия глазами южан // Проблемы преподавания и изучения зарубежных стран / Отв. ред. И.Н. Селиванов. Курск: Изд-во КГУ, 2004. Вып.4. С. 129–164. [Alent'eva T.V. Secessija glazami juzhan // Problemy prepodavanija i izuchenija zarubezhnyh stran / Otv. red. I.N. Selivanov. Kursk: Izd-vo KGU, 2004. Vyp. 4. S. 129–164.].

Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны (1861–1865) в новейшей американской историографии // Новая и новейшая история. 2007. №5. С. 66–79. [Alent'eva T.V. Prichiny Grazhdanskoj vojny (1861–1865) v novejshej amerikanskoj istoriografii // Novaja i novejshaja istorija. 2007. №5. S. 66–79.].

Алентьева Т.В. Усиление антирабовладельческой республиканской риторики накануне Гражданской войны (1856–1861) // Известия Смоленского государственного университета. 2008. № 4. С. 164–174. [Alent'eva T.V. Usilenie antirabovladel'cheskoj respublikanskoj ritoriki nakanune Grazhdanskoj vojny (1856–1861) // Izvestija Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. № 4. S. 164–174.].

[25] Группировка запрещена на территории РФ.

[26] Ibid: 279.

[27] Journey… 2020.

Бондаренко Д.М. Оттенки черного: культурно-антропологические аспекты взаимовосприятия и взаимоотношений африкано-американцев и мигрантов из стран субсахарской Африки в США. Москва: Фонд развития фундаментальных лингвистических исследований, 2016. 216 с. [Bondarenko D.M. Ottenki chernogo: kul'turno-antropologicheskie aspekty vzai-movosprijatija i vzaimootnoshenij afrikano-amerikancev i migrantov iz stran sub-saharskoj Afriki v SShA. Moskva: Fond razvitija fundamental'nyh lingvisticheskih issledovanij, 2016. 216 s.].

Прокопенков Г.Ю. «Старый Юг» в исторической памяти американцев (1870-е – 1910-е гг.). Дис. …к.и.н. Москва: РГГУ, 2017. 255 с. [Prokopenkov G.Ju. «Staryj Jug» v istoricheskoj pamjati amerikancev (1870-e – 1910-e gg.). Dis. …k.i.n. Moskva: RGGU, 2017. 255 s.].

Травкина Н.М. Ожившая история США: гражданская война памятников // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. № 11(2). С. 12–29. [Travkina N.M. Ozhivshaja istorija SShA: grazhdanskaja vojna pamjatnikov // Kontury global'nyh transformacij: politika, jekonomika, pravo. 2018. № 11(2). S. 12–29.].

Шихов В.А. Проблема рабства как важнейшая причина Гражданской войны в США в отечественной и американской историографии // Вопросы всеобщей истории. 2013. № 15. С. 149–156. [Shihov V.A. Problema rabstva kak vazhnejshaja prichina Grazhdanskoj vojny v SShA v otechestvennoj i amerikanskoj istoriografii // Voprosy vseobshhej istorii. 2013. № 15. S. 149–156.].

Alderman D.H., Modlin Jr. E.A. The Historical Geography of Racialized Landscapes // North American Odyssey: Historical Geographies for the Twenty-First Century / Ed. by G.L. Buckley, C.E. Cohen. Langam, MD: Rowman & Littlefield, 2014. P. 273–290.

Blight D.W. Race and Reunion: The Civil War in American Memory. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 2001. 528 p.

Bonilla-Silva E. Racism without Racists. Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2018. 376 p.

Domby A.H. The False Cause: Fraud, Fabrication, and White Supremacy in Confederate Memory. Charlottesville, VA: University of Virginia Press 2020. 272 p.

Foner E. The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American Slavery. New York: W.W. Norton & Company, 2010. 448 p.

Foster G.M. Ghosts of the Confederacy: Defeat, the Lost Cause, and the Emergence of the New South, 1865 to 1913. New York: Oxford University Press, 1987. 318 p.

Frohne A. The African Burial Ground in New York City: Memory, Spirituality, and Space. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2015. 468 p.

Fryer P. Staying Power: The History of Black People in Britain. L.: Pluto Press, 1984. 656 p.

Giliberti M. Rethinking the Memorial in a Black Belt Landscape: Planning, Memory and Identity of African Americans in Alabama // Urbani izziv. 2013. № 24(1). P. 144–159.

Guerra C. Boston Art Commission Votes Unanimously to Remove Emancipation Memorial. 2020. URL: https://www.wbur.org/artery/2020/07/02/boston-emancipation-memorial-park-square-to-be-removed

Horowitz J.M., Brown A., Cox K. Race in America 2019 // Pew Research Center. 2019. URL: https://www.pewsocialtrends.org/2019/04/09/race-in-america-2019/

Jerry A.R. The First Time I Heard the Word: The "N-word" as a Present and Persistent Racial Epithet // Transforming Anthropology. 2018. № 26(1). P. 36–49.

Journey to Colonial America. 2020. URL: https://hudsonvalley.org/historic-sites/philipsburg-manor/

Lawrence-Sanders A. Beyond Monuments: African Americans Contesting Civil War Memory. 2017. URL: http://www.aaihs.org/beyond-monuments-african-americans-contesting-civil-war-memory

Marcelo P. Boston Black Soldiers Monument Faces Scrutiny amid Racial Reckoning. 2020. URL: https://www.wbur.org/news/2020/07/27/robert-gould-shaw-massachusetts-54th-regiment-restoration-controversy

Marks J. Fort Mill's Confederate Monuments Point to Conflict, Heritage. The Debate Goes on. 2020. URL: https://www.heraldonline.com/news/local/article245974750.html

Marks J., Derickson C., Dys A. "History Has a Place": Who should Decide if Confederate Monuments Stand in Fort Mill? 2020. URL: https://www.heraldonline.com/news/politics-government/article243598962.html

Miller M. Norton puts Emancipation statue in Lincoln Park under scrutiny for removal. 2020. URL: https://wtop.com/dc/2020/06/norton-puts-emancipation-statue-in-lincoln-park-under-scrutiny-for-removal/

Mitcham Jr. S.W. It Wasn't About Slavery: Exposing the Great Lie of the Civil War. Washington: Regnery History, 2020. 320 p.

Mobilizing Museum Anthropology: Responses to Public Discourse around Heritage, Monuments, Education, and Racism // Museum Anthropology. 2018. № 41(2). Special Issue / ed. by L.S. McChesney. P. 113–141.

Murray F.H.M. Emancipation and the Freed in American Sculpture: A Study in Interpretation. Washington, DC: The Author, 1916. 332 p.

Painter N.I. Creating Black Americans: African-American History and Its Meanings, 1619 to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2006. 496 p.

Perry I. More Beautiful and More Terrible: The Embrace and Transcendence of Racial Inequality in the United States. New York: New York University Press, 2011. 263 p.

Pollard E.A. The Lost Cause: A New Southern History of War of the Confederates. New York: E.B. Treat & Co, 1866. 752 p.

Pollard E.A. The Lost Cause Regained. N.Y.: G.W. Carleton & Co; L.: S. Low, Son & Co, 1868. 214 p.

Rickabaugh G. Town of Fort Mill on Confederate Park: We Cannot Legally Rename Park or Remove Statues. 2020. URL: https://www.fortmillsun.com/2020/06/21/town-of-fort-mill-on-confederate-park-we-cannot-legally-rename-park-or-remove-statues/

Scott M. Museums Matter in the Current Climate of Anti-Black Racism. 2019. URL: http://www.anthropology-news.org/index.php/2019/03/20/museums-matter-in-the-current-climate-of-anti-black-racism/

Shea A. 16 Statues and Memorials Were Damaged During Sunday's Protests, Including One Dedicated to African American Soldiers. 2020. URL: https://www.wbur.org/artery/2020/06/03/16-statues-memorials-damaged

Special Section: Anthropology of White Supremacy // American Anthropologist. 2020. № 122(1) / Ed. by A. Beliso-De Jesús, J. Pierre. P. 65–162.

Taylor S. University of Alabama Removes Confederate Monument. 2020. URL: https://www.tuscaloosanews.com/story/news/local/2020/06/09/university-of-alabama-removes-confederate-monument/112823838/

The Causes of the Civil War: Revised Edition / ed. K. Stamp. N.Y.: Simon&Schuster, 1992. 256 p.

The Myth of the Lost Cause and Civil War History / Ed. by G.M. Gallagher, A.T. Nolan. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2000. 240 P.

Бондаренко Дмитрий Михайлович, *член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор; Институт Африки РАН, заместитель директора по научной работе; dbondar@hotmail.com*

Representations of Slavery and the Civil War of 1861–1865 in the US North and South: Discrepancy of Historical Discourses

The cultural frontier between the US North and the South that had appeared as an outcome of differences in their history, first of all with respect to slavery, has not disappeared up to now. It remains an important cultural and socio-political factor in public life, and "Northern" and "Southern" character types are still recognizable. By the example of complexity and inconsistency of the historical memory of the Civil War, slavery, and its abolition in the USA, the paper documents how through the collective memory, history does not just invade modernity but is present in it, particularly in the form of memorials, monuments, museum expositions, and therefore determines modernity to a large degree.

Keywords: historical memory, representation of the past, historical discourses, museums, memorials, USA, slavery, Civil War, racism

Dmitri M. Bondarenko, *Ph.D., Dr. Habil., Prof., Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences, Vice-Director for Research, dbondar@hotmail.com*

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 1. Монумент «Освобождение рабов». Скульптор М.В.У. Фуллер, 1913, Бостон. Фотография автора.

Илл. 2. Памятник «Защитникам суверенитета штата». Скульптор неизвестен, 1891, Форт-Милл. Фотография автора.

Илл. 3. Скульптура «Триумф человеческого духа». Скульптор Л. Пэйс, 2000, Нью-Йорк. Фотография автора.

Илл. 4. Музей-усадьба «Исторический Брэттонсвилл», графство Йорк, штат Южная Каролина. В центре – главная усадьба, слева – один из двух сохранившихся домов рабской прислуги, справа – реконструированное жилище рабов. Фотография автора.

А.Г. Васильев

«ГАБСБУРГСКИЕ РАМКИ» ПОЛЬСКОЙ ПАМЯТИ В АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА[1]

Автор анализирует динамику польской национальной памяти в контексте Австро-Венгерской империи второй половины XIX – начала XX в., опираясь концепт «рамок памяти» Мориса Хальбвакса. Основной тезис заключается в том, что польская национальная память формировалась в диалоге традиционной рамки памяти исторической Речи Посполитой и габсбургской рамки памяти Австро-Венгерской монархии. Показано, что в этот период польская история была интерпретирована многими авторами заново, с целью поиска общих, польско-габсбургских, «мест памяти».

Ключевые слова: *культурная (коллективная) память, «рамки памяти», историография, политика памяти, Габсбурги, Австро-Венгерская империя, разделы Польши, федерализм, Оскар Халецкий, Люблинская уния*

Большинство работ, посвященных изучению динамики польской коллективной памяти периода разделов, сосредоточено преимущественно на активности польских интеллектуалов и их взаимодействии с более или менее неблагоприятной для их деятельности средой, создаваемой политикой государств-участников разделов на захваченных территориях бывшей Речи Посполитой. «…Интеллектуалам и элитам, – писал об этом времени Э. Смит, – необходимо было рассказать польские воспоминания, символы, мифы… тем самым пробудив и усилив народные этнорелигиозные чувства миллионов поляков и таким образом реконструировав, и по-новому истолковав польское культурное наследие применительно к современным условиям»[2]. При этом по умолчанию предполагается, что историческая Речь Посполитая двух народов Польши и Литвы выступает “трансцедентальной” рамкой их проектов национальной памяти, задающей ракурс рассмотрения современных вопросов. Между тем, следует учитывать и то, что ко времени, когда в ходе Первой мировой войны вопрос государственной независимости Польши вновь вошел в повестку дня мировой политики, польское историческое сознание, проекты национальной памяти и идентичности уже более века формировались и существовали в рамках Российской империи, Пруссии (Германской империи) и Габсбургской монархии (Австро-Венгерской империи). Для осмысления возникавших при этом эффектов следует

[1] Статья подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 19-01-027, «Польская историография эпохи разделов: культурная память и формирование национальной идентичности») в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2019-2020 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». Автор выражает признательность профессору Педагогического университета им. Комиссии национального образования в Кракове Мариушу Волосу, беседы с которым способствовали выработке теоретического ракурса исследования.

[2] Смит 2004: 244.

обратиться к концепции «рамок памяти» Мориса Хальбвакса с тем, чтобы рассмотреть процессы взаимодействия памяти давней Речи Посполитой и государств, в состав которых вошли ее земли.

В качестве источников исследования нами были привлечены несколько мало известных и не введенных до сих пор в научный оборот текстов историко-публицистического характера польских интеллектуалов «второго ряда», а также некоторые ранние работы Оскара Халецкого, редко привлекающие внимание исследователей творчества этого известного историка. Использование источников такого рода позволяет понять процессы, происходящие в коллективной памяти, гораздо лучше, чем в случае привлечения классических текстов выдающихся авторов.

Рамки памяти» и «мнемонические означающие»

Классическая для memory studies концепция М. Хальбвакса говорит не только о том, что рамки памяти «служат орудием, которым пользуется коллективная память для воссоздания таких образов прошлого, какие в данный период согласны с господствующими идеями данного общества»[3], но также и о том, что рамки эти многообразны и между ними имеют место отношения взаимовлияния. Кроме того, и сами рамки не являются статичными, они меняются, «в зависимости от времени и обстоятельств общество по-разному представляет себе прошлое; оно видоизменяет свои конвенции»[4]. На эти изменения влияет сам ход истории, накопление исторического опыта: «Каждый раз, когда мы помещаем одно из своих впечатлений в рамки своих нынешних понятий, эти рамки трансформируют впечатление, но и впечатление, в свою очередь, изменяет рамку. […] Отсюда – постоянная работа ре-адаптации, заставляющая нас в связи с каждым событием пересматривать всю совокупность понятий, выработанных в связи с прежними событиями»[5].

Опыт пребывания в составе государств-участников разделов, каждое из которых реализовывало свою политику памяти и идентичности, создавал определенную рамку восприятия польского прошлого. Причем рамка эта на протяжении более чем векового периода разделов находилась в постоянной динамике и взаимодействии с памятью исторической Речи Посполитой. Эти соображения позволяют несколько иначе посмотреть и на интеллектуальную историю периода предшествовавшего восстановлению Польского государства в 1918 г. Очевидно, что как политически активные интеллектуалы (например, О. Халецкий), консультировавшие политиков и старавшиеся оказывать влияние на общественное мнение, так и политики, которые опирались на мнения своих научных консультантов и сами имели определенные философские, исторические и историософские представления (например, Ю. Пилсудский и Р. Дмовский) были сформированы в социальных и мнемонических «рамках» империй, участвовавших в разделах Речи Посполитой. Опыт, получен-

[3] Хальбвакс 2007: 30.
[4] Там же: 325.
[5] Там же: 174.

ный ими в ходе социализации (в т.ч. мемориальной) в контексте российской, немецкой или габсбургской социально-политических и культурных традиций должен был сформировать для них определенную перспективу видения польского прошлого и польской идентичности.

Именно в этом смысле речь в статье идет о «габсбургских рамках» того видения прошлого Польши. Память исчезнувшего с политической карты Европы в 1795 г. государства, говоря словами Хальбвакса, это – «старинные представления», которые «являются нам со всей властной силой, полученной ими от былых обществ, где они приняли коллективную форму. Чем они старше, тем шире были разделявшие их группы, тем они сильнее». Однако текущие исторические события, опыт жизни в новых государствах, идеи и образы политической культуры империй, в составе которых оказались польские земли, не могли не повлиять на эту память. «Сегодняшние идеи, – отмечал Хальбвакс, – потому способны сопротивляться воспоминаниям, бороться с ними и трансформировать их, что они соответствуют пусть не столь же старинному, зато более широкому коллективному опыту, потому что они разделяются не только членами данной группы (как и традиции), но и членами других современных групп. […] К тому же современные идеи новы лишь для членов той группы, куда они проникают извне. Всюду же, где они не сталкивались с такими традициями, как в этой группе, они могли свободно развиваться и сами принимать форму традиций. Группа противопоставляет своему прошлому не свое настоящее, а чужое прошлое […] прошлое других групп, с которыми она стремится отождествиться»[6]. Представляется, что эти положения основоположника memory studies достаточно точно описывают взаимодействие исторического сознания польского общества в государствах-участниках разделов с формами политики памяти в этих государствах. Для адекватного понимания процессов, происходивших в польской исторической памяти и национальной идентичности периода разделов следует учитывать динамику «рамок» польской памяти, взаимодействие общей «рамки», связанной с традицией Польского королевства и Речи Посполитой двух народов, окончательно уничтоженной в конце XVIII в. и ставшей историческим «образом-воспоминанием», и подвижных рамок, связанных с пребыванием польского населения, и прежде всего польских интеллектуалов-творцов национальной идеи, в составе империй, захвативших польские земли.

Пользуясь терминологией, предложенной в одной из работ о перспективах развития memory studies[7], историческую Польшу (в т.ч. и Речь Посполитую) можно назвать «мнемоническим означающим», объективированным в качестве социальных фактов актами воспоминания (remembering). Причем это означающее содержит в себе не просто значимый «общий смысл», а целый набор часто противоречивых и даже конфликтующих между собой смыслов: «различные интерпретации, отда-

[6] Там же: 338.
[7] Feindt 2014, Issue 1: 24-44.

ленные во времени и в пространстве, одного и того же мнемонического означающего, приписывает ему меняющиеся значения. В силу этого мнемонические означающие формируют пересечения различных *мнемонических означаемых*»[8]. Нас интересует, какими именно означаемыми наполнялось мнемоническое означающее «Польша» в польской памяти в пределах Австро-Венгерской империи накануне ее падения и восстановления Польского государства. Мы рассмотрим «польскую коммеморацию» в «габсбургской рамке», созданной для польской памяти в той части бывшей Речи Посполитой, которая вошла в результате разделов в состав Габсбургской (впоследствии – Австро-Венгерской) империи. Эта рамка соединяла «польскую память» с габсбургской исторической традицией, что порождало возникновение новых смыслов и означаемых в рамках прежнего «мнемонического означающего». Австро-венгерский контекст в последний период существования империи создавал условия для нового обращения к династической истории Польши, событиям общей военно-политической истории, к «ягеллонской» идее, памяти о Польско-Литовской Унии и т.д., давая возможность проавстрийски ориентированным польским интеллектуалам осознавать габсбургскую монархию как продолжательницу исторической программы Речи Посполитой, особенно при условии превращения ее из дуалистической в более широкий вариант федерации (идея австро-венгерско-польского триализма), в котором Польша заняла бы подобающее место.

Основным носителем культурной памяти в этой ситуации становилась польская историография и связанная с ней политическая публицистика, широко использовавшая историческую аргументацию. На протяжении всего периода разделов польская интеллектуальная элита занималась формированием нарративов национальной памяти и идентичности в литературной, художественной и научной формах. Особенно важную роль играла историография, так как, с одной стороны, этот период совпал со временем превращения истории в профессиональную науку и повышением ее престижа как носительницы «подлинного» знания о прошлом, а с другой стороны, в политической культуре того времени ориентация на исторические аргументы, на принципы «исторических прав» и «исторической справедливости» еще пользовалась признанием.

В период трансформации империи, начавшийся в 1860-х гг. и породивший различные проекты ее федерализации, и особенно в начале XX века, непосредственно перед и во время Первой мировой войны возникла реальная перспектива восстановления Польского государства, для которого вскоре могли потребоваться обоснование границ, та или иная концепция принадлежности к польскому народу, понимание места новой Польши в системе международных отношений. Австро-Венгрия тоже переживала кризис идентичности, искала основания культурной памяти, которая помогла бы спасти единство страны, и в этих конструкциях славянская и польская память играли далеко не последнюю роль.

[8] Ibid: 31.

Основными акторами политики памяти выступали т.н. автономно-ангажированные интеллектуалы. Их установки и формы деятельности описаны австрийским исследователем Й. Фейхтингером: «Автономно-ангажированные исследователи на самом деле строго разделяли науку и политику, инвестируя, однако, свои ноу-хау в такую научную деятельность, которая несомненно была политически релевантна. Это не была та разновидность науки, которая обычно определяется как "чистая наука", поскольку ее представители не отступались перед политической ангажированностью в рамках своих специфических компетенций»[9]. Классический пример такого интеллектуала – историк Оскар Халецкий.

Габсбургский контекст

Стимулом поиска новой политической модели для Габсбургской монархии стало военное поражение в Сардинской войне в 1859 г. Период с 1859 по 1867 гг. был для Габсбургского правительства временем дискуссий и поиска модели государственного устройства, способной обеспечить властям широкую базу социальной поддержки в лице элит народов Империи. В это время федералистские проекты обсуждались[10], но в итоге на следующий год после поражения в войне с Пруссией в 1866 г. была реализована модель Австро-Венгерского дуализма. У проектов федерализации были влиятельные противники, прежде всего – немецкие либералы, считавшие, что государство должно быть более централизованным и не допускать слишком большого влияния местных аристократий, но также и венгерские политики, желавшие добиться венгерского доминирования на всех землях короны Святого Стефана, которое оказалось бы под вопросом в случае федерализации империи и придания прав автономии немадьярскому населению Венгерского королевства. В 1867 г. возникла Австро-Венгерская империя, но федералистские устремления и соответствующие им «мнемонические конструкты» у национальных элит других частей империи сохранились и активизировались по мере наступления кризиса монархии на рубеже XIX–XX в.

Основой новой системы в австрийской части империи был немецко-польский союз, точнее, как пишет известный историк Хенрик Верешыцкий, «в сущности это был союз не между немцами и поляками, а между династией и поляками, точнее – галицийской шляхтой»[11]. Хотя польское общество и выступало большей частью за то, чтобы в союзе с чешским и другими национальными движениями добиваться федерализации империи, в тот момент от этой идеи польской шляхте в Галиции пришлось отказаться и согласиться на роль главного австрийского союзника в австрийской части империи. На рубеже XIX–XX вв. идеи отказа от дуализма, создававшего особое положение для венгров, и перехода

[9] Feichtinger 2013. T. XLIII: 20.

[10] В 1865 г. вышло чешское, а в 1866 г. – немецкое издание книги «отца чешского национального возрождения», либерального историка и политика Фр. Палацкого «Идея Австрийского государства», в которой он прямо назвал федерализм и равноправие всех народов монархии его главной современной идеей (Palacký 1907: 75).

[11] Wereszycki 2015: 189.

к федерализму как единственному средству спасения империи стали популярны в окружении наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда. В 1906 г. австро-венгерский политик румынского происхождения Аурел Поповичи опубликовал проект[12] преобразования империи в Соединенные Штаты Великой Австрии, федерацию из 15 регионов, выделенных по этническому принципу. Это был самый подробный проект федерализации империи накануне ее краха. 16 октября 1918 г. последний император уже исчезающей империи Карл издал манифест о преобразовании Австро-Венгрии в федеративное государство, который, среди прочего, предусматривал объединение Галиции с остальными польскими землями и возрождение Польского государства.

Польское королевство (Речь Посполитая) и Габсбургская монархия были соединены многими историческими связями. Многочисленные династические браки, объединявшие оба государства, важные исторические события, самым ярким из которых стала победа над турками, одержанная войсками Яна III Собеского под Веной в 1683 г., наконец, в политической истории Речи Посполитой второй половины XVI в. было несколько эпизодов, когда избрание Габсбургов на польский трон и создание «Габсбургской унии», включающей в себя Испанию, итальянские и немецкие земли, Чехию, Венгрию, Польшу и Литву, не говоря уже о колониальных владениях, казалось уже почти решенным делом.

Все это стало материалом для формирования «общих мест памяти» и рефлексий об общности исторической судьбы Австрии и Польши. Проанализируем здесь несколько примеров польской исторической публицистики 1860–1880-х гг., которые хорошо показывают, какой именно материал общей памяти при этом задействовался и как с ним работали для построения современных политических программ.

Марьян Хылиньский: «Польша – основа могущества Австрии»

В 1864 г. филолог Марьян Хылиньский опубликовал во Львове брошюру под названием «Австрия и Польша. Ч. I. Прошлое». Он начинает с констатации уникальной ситуации: два соседних сильных государства, имеющие протяженную сухопутную границу, никогда не воевали друг с другом. Напротив, «всегда, как в более важных, так и в менее значительных вопросах, польские оружие и дипломатия помогали интересам Австрии»[13]. Объяснения автором причин исторического австрийско-польского единства лежат в русле популярных в то время географических (геополитических) подходов. Оба государства – чисто континентальные, сухопутные, оба представляют собой крайние пределы распространения римской цивилизации, лежат на границах с Азией и имеют историко-географическое предназначение защищать Европу и обеспечивать продвижение на Восток «европейского духа»[14]. Так Австрия присоединялась к старому польскому образу Речи Посполитой –

[12] Popovici 1906.
[13] Chyliński 1864: 2.
[14] Ibid: 4.

передового рубежа обороны (*przedmurze, antemurale*) христианского (католического, европейского) мира, а также вводилась в контекст «ягеллонской идеи» цивилизационной миссии на Востоке. Затем, к материальным (географическим) факторам автор добавляет факторы духовные – горячая приверженность католицизму, отсутствие «захватнического духа» и, напротив, наличие «либерального духа» у обоих государств. Таким образом, создавалась аналитическая конструкция, близкая Монтескье, объясняющая специфику «духа нации» уникальным сочетанием физических (географических) и моральных (духовных) факторов.

Географическое положение Австрии (исключительно континентальное, без защиты со стороны моря, протяженные открытые сухопутные границы) несколько раз в истории создавало для страны смертельную военную опасность. С другой стороны, и тут к географическому направлению добавляется другой популярный тогда в социальной мысли подход – био-органицизм, Австрия – «сердце Европы»: «Как и к человеческому сердцу стремится вся движущаяся в жилах кровь… так и к Австрии должна стремиться, сюда должна прибывать вся интеллектуальная, моральная, материальная и дипломатическая жизнь Европы, оставляя тут частицы своих богатств»[15]. Неблагоприятные стороны географического положения Австрии компенсировались, по мнению автора, тем, что она граничила с сильной и дружелюбно настроенной Речью Посполитой, выполнявшей по отношению к Австрии ту функцию, которую для других государств выполняет защита с моря. «Польша – основа могущества Австрии» – так и называется обсуждаемый раздел работы[16]. В другом месте автор называет Польшу «крестной матерью» государственности Австрии[17]. М. Хылиньский констатирует единство «природы» двух государств, связь их исторических судеб: вместе Польша и Австрия шли по пути прогресса и вместе падали[18].

Шестой раздел брошюры[19] посвящен обсуждению четырех моментов в истории, когда Австрия и Польша спасали друг друга. Говоря современным языком, автор выделяет «общие места памяти». Все они относятся к периоду выборной монархии в Речи Посполитой, последовавшему за пресечением династии Ягеллонов. Что же касается ягеллонского периода, то «пока правили Ягеллоны сердечнейшая дружба связывала не только Австрию и Польшу как два соседних государства, но дружба соединяла также и две династии, Габсбургов и Ягеллонов. Семь австрийских принцесс находились тогда на польском престоле»[20].

Итак, вот эти исторические моменты. Первый связан с отказом шляхты выбрать на освободившийся после угасания династии Ягеллонов польский престол одновременно и императора Священно Римской

[15] Ibid: 16.
[16] Ibid. V. Polska podstawą potęgi Austrii.
[17] Ibid: 22.
[18] Ibid: 25.
[19] Ibid: 27-31.
[20] Ibid: 36.

империи Максимилиана, и «чудовища и выродка рода человеческого», как его называет автор, царя Московии Ивана Грозного. Тогда, как отмечает автор, Максимилиан отверг предложение Ивана IV о совместной интервенции и разделе Речи Посполитой. Второй раз в середине XVII в., во времена шведского «Потопа», Священная Римская империя вновь сыграла ключевую роль в срыве на этот раз шведского плана раздела Речи Посполитой. Третье и четвертое события связаны с отказом Речи Посполитой присоединиться к антигабсбургской политике Людовика XIV, с перспективой раздела Священной Римской империи и последующей победой Яна III Собеского под Веной в 1683 г., положившей конец экспансии Османской империи в Европе. Автор стремится исторически обосновать взаимную выгоду польско-австрийского союза и гибельность отказа от него как для Польши, так и для Австрии: «Дружба и согласие, которые продолжались на протяжении веков между Польшей и Австрией, имели бесчисленные последствия в виде успехов и величия обоих государств. Под сенью этого союза Польша неустанно отражала агрессию на свои границы, достигла значения и уважения в Европе, а Австрия из маленького княжества стала первостатейной и внушительной державой. …Таковы результаты длившегося веками согласия между Польшей и Австрией. И теперь этот союз прерван!»[21]. Начало упадка польско-австрийского союза автор видит в событиях, последовавших за прекращением династии Ягеллонов и неудачными попытками Габсбургов занять польский трон во второй половине XVI в., а окончательный перелом – в 1683 г., когда Австрия почувствовала себя в полной безопасности и стала усматривать свой интерес в ослаблении Польши.

Эта работа продолжает традицию сравнительной истории, одним из первых примеров которой была книга классика польской историографии Иоахима Лелевеля «Историческая параллель Испании и Польши»[22], опубликованная в 1820 г. Два сочинения представляют два варианта сравнительной истории, выделенные в докладе 1928 г. М. Блоком[23]: во-первых, сравнение «дальнего действия», сравнение обществ, между которыми нет общности происхождения и постоянного взаимного влияния (Польша – Испания); во-вторых, «параллельное изучение» соседних, современных друг другу и постоянно влияющих друг на друга обществ (Польша – Австрия). А с точки зрения memory studies, работа Хылиньского – «мемориальный нарратив», основанный на создании повествования о двух исторических героях – «Австрии» и «Польши» – и их «исторической судьбе». Прошлое должно объяснить настоящее и дать прогноз на будущее. Важно, что эта работа была опубликована до создания дуалистической Австро-Венгерской монархии, поэтому, видимо, среди используемых исторических примеров не нашлось места для Унии и польской федералистской традиции. В вышедшей в 1869 г., ра-

[21] Ibid: 30-31.
[22] Lelewel 1845.
[23] Блок 2001: 65-93.

боте польского писателя и публициста, повстанца 1863 г. Стефана Бущинского (1821–1892) «Будущее Австрии» уже говорилось, что Австро-Венгрию, подобно Речи Посполитой, ждет прусско-российский раздел, если она не преобразуется в федерацию славянских народов[24].

Михал Сухоровский: польский король Франц Иосиф

В 1880 г. во Львове была опубликована работа польского литератора и филолога Михала Сухоровского (1802 – ок. 1890) под названием «Семья короля Яна III Собеского: да здравствует Франц-Иосиф I Габсбург-Лотаринг-Виттельсбах-Собеский!»[25]. По форме книга представляет собой причудливую смесь панегирических виршей более чем скромного литературного качества, адресованных Францу-Иосифу и прославляющих его как новое воплощение Яна Собеского, исторических и генеалогических комментариев, рисунков и фотографий, дополненных обращением в галицийский сейм с предложением просить императора принять титул польского короля. Вся эта композиция приводит на память старопольские silva rerum. Основная идея помещенных в книге материалов заключается в обосновании династической связи Габсбургов с Яном Собеским и вообще Габсбургского дома с польскими королями и права, на основании этого, Габсбургов называться королями Польши. Особенно важным представляется автору, что в Вене, за которую «как лев» бился Собеский, теперь на троне правитель-носитель «польской крови», «племя Собеского». «Польская кровь», текущая в жилах Габсбургов, – предмет гордости и надежд автора, который часто апеллирует к этому генеалогическому факту. Действительно, правящий австрийский дом по женской линии (от дочери Яна Собеского Терезы-Кунигунды) имел прямое родство с Яном III[26]. Все свои аргументы в пользу исконных связей Габсбургов с польской короной и права Габсбургов присоединить к своим титулам польский королевский титул[27] Михал Сухоровский суммирует в обращении к Сейму. Их можно разделить на три группы: династические, исторические и культурно-политические.

Династические аргументы заключаются в том, что Франц Иосиф I по матери является правнуком Терезы-Кунигунды, дочери Яна Собеского, а также потомком Баварского дома Виттельсбахов. По отцу же он вел свою линию от императрицы Марии Терезии и был представителем Габсбург-Лотарингской династии. Таким образом, утверждает Михал

[24] Buszczyński 1869: 5.

[25] Suchorovski 1880. (Орфография оригинала, текст содержит богемизмы).

[26] Вообще, семейные связи Габсбургов и польских королей были к тому времени хорошо изучены. См., напр.: Kozlovski 1866. В 1860-х гг. Габсбургской монархией поддерживался культ Собеского. 22 марта 1862 г. в построенном Собескими фарном костеле Жолкевских, в котором Ян Собески молился после победы под Веной, где похоронены его последние прямые потомки, была проведена торжественная церемония памяти Яна III. 12 сентября 1867 г., в годовщину битвы под Веной, костел был торжественно освящен после обновления.

[27] Страну, королевский титул которой должен принять Франц Иосиф, автор называет «Троепольшей», имея в виду три части Австро-Венгерской империи – Королевство Галиция и Лодомерия, Великое княжество Краковское и княжество Буковина.

Сухоровский, Франц Иосиф I должен именоваться Габсбург-Лотаринг-Виттельсбах-Собеским. Его жена, императрица Елизавета, тоже происходила от Собеских и Баварского дома. Он пишет: «В правящей ныне семье сливаются четыре потока самых благородных семейств мира… кровь Собеских… от Терезы Кунигунды, прабабки нашего императора льется без перерыва до сегодняшнего дня в жилах любимого монарха…»[28]. К числу династических аргументов также можно отнести старательно перечисляемые в документе многочисленные случаи, когда габсбургские принцессы оказывались на польском троне с XI до XVIII в. Аргумент «крови» играет в этом нарративе очень важную роль и наводит на мысль, что здесь мы имеем дело со смешением традиционных монархических аргументов с новыми, характерными для времени возникновения этого сочинения расово-антропологическими доводами. Впрочем, новейший биологически обосновываемый расизм и традиционный аристократический элитизм тогда часто выступали вместе, и первый был своеобразным последним прибежищем и аргументом для второго.

В качестве исторических аргументов выступают три «места общей памяти». Во-первых, речь шла о соглашении между Людовиком I Венгерским и польским королем Казимиром Великим в 1355 г. о переходе польской короны к одной из дочерей Людовика в случае отсутствия у Казимира потомка мужского пола (что и произошло). В 1370 г. Казимир умер, и с ним закончилась династия Пястов. Престол перешел к дочери Людовика Ядвиге, которая вышла замуж за литовского князя Ягелло, соединив Корону и Великое княжество Литовское. Вторая дочь Людовика Мария вышла замуж за императора Священной Римской империи Сигизмунда, основав, тем самым, союз Австрии и Венгрии. Поскольку Людовик Венгерский формально был усыновлен Казимиром Великим, возникала династическая связь Габсбургов с Пястами. Во-вторых, как отмечает автор, три польских короля грудью защищали Австрию, Венгрию и весь христианский мир. Речь идет о Владиславе III Ягеллоне Варненчике, короле Польши и Венгрии, погибшем в битве с турками под Варной в 1444 г., Людовике II, сыне Владислава Ягеллона, внуке Ягелло, короле Венгрии и Чехии, погибшем в 1526 г. в битве с турками под Мохачем, и, разумеется, о победителе османов под Веной в 1683 г., польском короле Яне Собеском[29]. Третьим «воспоминанием» является вассальная зависимость королей Пруссии (бывших Великих магистров Ордена) от польской Короны. Из этого акта делается вывод о том, что и сегодня король Пруссии (а на момент написания книги и император Германского рейха) должен признавать свою зависимость от императора Австро-Венгрии как наследника польских королей.

Третья группа аргументов относится к области культурной политики Габсбургов, которые дали возможность свободного развития поль-

[28] Suchorovski: 70.

[29] Для увековечивания этой победы автор предлагает построить под Веной город Собескоград (или Собеславль). См.: Ibid: 73.

ского языка, поддерживают польскую культурно-историческую память и не стремятся ассимилировать поляков: «Наш мудрейший монарх не уничтожает польский язык и национальность, не сносит польские школы и учреждения, не лишает польских детей последней памяти и самого дорогого для них воспоминания об их героических отцах. Он не желает утратить и изгладить из мировой истории бессмертные имена Мечиславов, Владиславов, Казимиров, Сигизмундов, Собеских так, как это делается в России и в Пруссии. …Следуя голосу своей мудрости и благородным побуждениям, он открыл нам врата свободы и позволил использовать польский язык в учреждениях и в школах»[30].

Вся аргументация автора строится на общности династической памяти, памяти об объединяющих исторических событиях, а также на положительных чертах культурно-исторической политики Габсбургов на польских землях. Таким образом, в период трансформации Габсбургской империи в дуалистическую монархию среди польских интеллектуалов достаточно заметна была тенденция к мобилизации культурно-исторической памяти для помещения польской истории, национальной памяти и идентичности в «габсбургский контекст».

Образ польского прошлого в перспективе Главного национального комитета в Кракове: Оскар Халецкий и Людвиг Кульчицкий

Здесь мы обратимся к деятельности двух польских интеллектуалов в переломный момент поиска пути и выбора модели для восстановления Польского государства. Оба они являлись сторонниками австрийской ориентации для будущей Польши и политически были связаны с проавстрийским Главным национальным комитетом в Кракове.

Ярким примером «автономно-ангажированного» интеллектуала был Оскар Халецкий (1891–1973), происходивший из семьи австрийского фельдмаршала и хорватки, овладевший польским языком (при родном немецком) и в сознательном возрасте сформировавшийся как поляк. Его отец, австрийский фельдмаршал Оскар Алоизий Халецки фон Норденхорст, обнаружил свои польские корни только, когда вышел в отставку и занялся историей своего рода. Он пожелал, чтобы сын выучил польский язык и окончил Ягеллонский университет. В Кракове в годы учебы Оскар начинает свободно говорить и писать по-польски, как бы «вспоминает» себя. «Казус Халецкого» интересен тем, что он позволяет проследить, какую интерпретацию польская память могла приобрести буквально в «габсбургских рамках», т.е. во взглядах ученого-выходца из семьи, принадлежавшей к имперской австрийской элите, ставшего поляком и польским патриотом в сознательном возрасте.

Объект нашего интереса – ранний период научной и общественно-политической деятельности Халецкого (1909–1920). С 1909 по 1913 гг. он учится в Ягеллонском университете. В это время его научные интересы были связаны преимущественно с геральдикой и генеалогией, историей польского протестантизма. Его занятия генеалогией и геральди-

[30] Ibid: 72.

кой – интересный пример сочетания построения личной идентичности и восстановления идентичности и памяти страны. Специальные исторические дисциплины были важны для восстановления национальной памяти, так как, согласно Халецкому, шляхта – основа государства, а история знатных родов даёт ключ к пониманию истории страны. В львовском журнале «Геральдический ежемесячник» в 1908 и 1909 гг. были опубликованы первые тексты молодого исследователя. В 1913 г. как докторат он представил работу «Сандомирский договор 1570 г.», в которой рассматривал соглашение польских лютеран, реформатов и чешских братьев. Уже на раннем этапе творчества обозначились его основные темы – толерантность, уния (федерализм) и необходимость (ре)конструкции памяти и идентичности себя, страны, а затем и всего региона Центральной и Восточной Европы на основе указанных двух топосов.

Характеризуя научную деятельность Халецкого после 1913 г. Мачей Салмон пишет: «После получения докторской степени… на первый план… выходит проблематика, связанная с государством Ягеллонов и польско-литовской Унией. Можно предположить, что эта тема в научных работах потомка кресового шляхетского рода связана с уходящей корнями в годы молодости ученого заинтересованностью руско-литовскими корнями его семьи, в пользу чего говорит хотя бы то, что уже с I курса обучения он выбрал занятия по истории Ягеллонов, Унии, устройства Литвы и христианизации этой страны»[31]. К этому можно добавить только то, что интерес к Литве также был помещен в «габсбургскую перспективу». Его хабилитация 1915 г. была посвящена исторической роли князя Свидригайло, а хабилитационная лекция – Унии 1569 г.

В лекции о Люблинской унии (10 декабря 1915 г.) Халецкий говорит: «Сегодня, более, чем когда-либо еще, историческое исследование должно воскрешать в благодарной памяти народа именно самые прекрасные, самые возвышенные моменты его прошлого. Более чем когда-либо еще отечественная история стала для нас тем единственным источником… тем единственным сокровищем… откуда мы можем черпать то укрепление сердец, которое сегодня нам так необходимо»[32].

Во время войны часть его работ была опубликована на немецком языке Издательским бюро Главного национального комитета (Naczelny Komitet Narodowy), организованного в Кракове в августе 1914 г. и ориентированного на создание триалистической Австро-Венгерско-Польской монархии)[33]. Работы этого периода (1916–1918)[34] имели характер

[31] Salamon 2014: 9-24.

[32] Halecki 1916 (b): 1.

[33] Хотя лояльность Габсбургам не была бесспорной и повсеместной в Галиции. Достаточно сказать, что указанный Комитет постановил создать два Легиона – Западный со штаб-квартирой в Кракове и Восточный – во Львове. В итоге был создан только Западный Легион. Восточный же в массе отказался присягать императору Францу Иосифу. Начальник Военного департамента Комитета Владислав Сикорский поддерживал идею триализма, а комендант Юзеф Пилсудский отвергал ее. См.: Chwalba 2001: 571-572.

исторической публицистики, направленной на решение «польского вопроса» на основе союза с Габсбургской монархией. Наиболее характерной чертой политической культуры Центральной и Восточной Европы Халецкий считал федерализм, а наивысшим его выражением – «ягеллонскую идею» и Люблинскую унию. «Основополагающим принципом ягеллонской системы было соединение двух идей: признание права свободного национального развития во всех этих странах, а также организация совместной обороны против восточного и западного империализма. Конечно, эти идеи не всегда бывали в полной мере реализованы, но они составляли наиболее конструктивную программу центрально-восточной европейской организации»[35]. Габсбургская монархия, по его мнению, стояла на пути трансформации в подобную федерацию после австро-прусской войны 1866 г. и преобразования империи в дуалистическую монархию. До конца этот путь пройден не был, однако именно история Габсбургской монархии выступает у Халецкого как объект сопоставления с Ягеллонской Речью Посполитой. В работе «Национальные вопросы в старой Польше» Халецкий пишет:

> «Как всякий политический союз – возьмем для сравнения, скажем, австрийско-венгерский – также и в польско-литовском, конституционные отношения обеих частей, «дуализм», прошел различные фазы в своем развитии. Не вдаваясь в излишние подробности, выделим здесь следующие моменты: во-первых, несмотря на все неизбежные трудности, лишь однажды, во времена Великого литовского князя Свидригайло (1430–1432 – ок. 1435), он прошел через кровавое столкновение, в то время как все остальные спорные вопросы… были решены на пути мирных переговоров; во-вторых, уже в 1440 г. реально было введено конституционное равенство литовцев и поляков, а с 1499 г. оно было признано юридически с польской стороны; в-третьих, окончательное урегулирование взаимных отношений стало бы гораздо более легким, если бы исчез вопрос о принадлежности руских областей. Несомненно, решение было бы найти проще, если бы ягеллонский польско-литовский дуализм был преобразован в польско-литовско-рутенский триализм. Однако этого не произошло в силу объективных обстоятельств, а не по причине актов насилия со стороны Польши или Литвы»[36].

Автономное положение в Речи Посполитой Ливонии Халецкий сравнивает со статусом Боснии в Габсбургской монархии. Здесь можно увидеть не только очевидное сравнение Австро-Венгрии и Ягеллонской Речи Посполитой, но и параллелизм с идеей «триалистической» монархии Главного национального комитета. Халецкий подчеркивал мирный характер формирования Ягеллонской империи и сравнивал ее в этом отношении с Австро-Венгрией: «Подобно тому, как Австрия благодаря вошедшим в пословицу счастливым бракам, Польша, благодаря мирной унийной политике, добровольным присоединениям иностранных государственных образований, а частично наследуя вымершим династиям… превратилась с многоязычную державу»[37].

---

[34] Halecki 1916 (a); 1916 (c); 1918 (a); 1918 (b); etc.
[35] Halecki 1944: 9-18.
[36] Halecki 1916 (a): 20.
[37] Ibid: 26.

Символическим финалом раннего периода творчества Халецкого была публикация двухтомной истории Люблинской унии[38]. В 1919 г. он получил в Варшаве кафедру Истории Восточной Европы, но вскоре стал экспертом польской делегации на Парижской мирной конференции.

Людвиг Кульчицкий: Габсбурги – законные преемники Ягеллонов

Публицисты находили все новые черты сходства Австро-Венгрии и Польши, прежде всего – Ягеллонской. Ягеллонская империя создала позитивную «рамку» видения Австро-Венгрии, а сама Габсбургская монархия стала не только своеобразной «рамкой памяти» о прошлом Речи Посполитой, но и основой видения будущего новой Польши. В 1916 г. в Лозанне на французском языке, а в Кракове – на польском вышла брошюра «Польша и Австрия» социолога, публициста и левого общественного деятеля Людвига Кульчицкого (1866–1941). Во время Первой мировой войны он был членом того же Главного национального комитета в Кракове, к которому был близок Халецкий. Кульчицкий пишет:

> «Между двумя государствами, и правда, существует глубокая аналогия как в смысле их положения на западе, так и в смысле их территориальной экспансии, равно как и в их социальной и политической организации». И далее: «С общей и интернациональной точек зрения, Австрия и Польша, каждая в своей сфере, осуществляла западное влияние, как политическое, так и цивилизационное. Каждая из них действовала схожим образом, увеличивая свою территорию, используя момент и ситуацию. Польша объединилась с Литвой, чтобы противостоять натиску Тевтонского ордена. Венгрия присоединилась к Австрии из-за турок, а Богемия, чтобы стать сильнее, сделала то же самое. Эти союзы придали своим государствам аналогичные формы, они соединились по схожим причинам и сохранялись, благодаря династической унии. Это территориальное расширение оказало большое влияние на внутреннюю политическую организацию. Различия обеспечивали им автономию. Внутреннее устройство Польши, связанной союзом с Литвой, очень напоминало аналогичный союз Венгрии, Богемии и Австрии, со своей стороны. Республика, как и Монархия вынесла суровую и тяжелую судьбу. Каждая из них выполнила свою историческую роль. К сожалению, с разным успехом»[39]. Поэтому большинство поляков в Австрии в конституционный период «рассматривали Габсбургов как законных преемников угасшей в 1572 г. Ягеллонской династии. Действительно, трактат 1515 г.[40] гарантировал этим двум династиям взаимное наследование их государств – Австрии, Венгрии и Богемии. В 1572 г. только своеволие польского дворянства помешало Габсбургам наследовать Ягеллонам и создать мощное Австрийско-Венгерско-Богемско-Польско-Литовское государство»[41].

В одной из современных работ о «посмертной судьбе» Австро-Венгрии, посвященной исследованию образа Австро-Венгерской импе-

[38] Halecki 1919-1920.

[39] Kulczycki 1916: 8-9.

[40] Очевидно, Кульчицкий имеет в виду т.н. «двойную свадьбу» в Вене в 1515 г. Фердинанд, внук императора Священной Римской империи Максимилиана, был обручен с Анной Ягеллонкой, дочерью Владислава II Ягеллона, короля Чехии и Венгрии, а сын Владислава II Людовик был обвенчан с внучкой императора Максимиала Марией. В 1526 г. Людовик II Ягеллон погиб при Мохаче, и император Священной Римской империи Фердинанд унаследовал Венгрию и Чехию.

[41] Kulczycki: 18-19.

рии в культуре межвоенного периода, эта работа Кульчицкого рассматривается как выражение «внешне кажущейся очевидной» идеи сходства Австро-Венгрии и Речи Посполитой, мобилизованной для целей военной пропаганды[42]. Однако в экстремальной ситуации для целей военной пропаганды имеет смысл мобилизовать только те «места памяти», которые могут получить широкий отклик. В данном случае необходимо было войти в резонанс польской и габсбургской форм коллективной памяти. Идеализированный образ Австро-Венгрии, какой она могла и должна была бы стать при правильном развитии федерализма, позволял посмотреть на Ягеллонскую Речь Посполитую как на более раннее (и, вероятно, более полное, воплощение этого идеала), а польская память о Ягеллонской федерации позволяла взглянуть на «австрийскую идею» как на продолжение «идеи польской».

Формирование польской национальной памяти в Австро-Венгерской империи второй половины XIX – начала XX в. проходило во взаимодействии традиционной рамки памяти исторической Речи Посполитой и «габсбургской рамки памяти», которая оказывала влияние на польское историческое сознание особенно после конституционной трансформации Габсбургской монархии в 1860-х гг. Польская история оказывалась, таким образом, тем «мемориальным означающим», которое наполнялось новыми означаемыми в результате новых актов коммеморации в меняющемся социально-политическом и историческом контексте. В результате последовательного применения предложенного здесь подхода открывается новое, соединяющее подходы memory studies и «новой интеллектуальной истории», направление изучения динамики польской национальной памяти и идентичности в период разделов в контексте всех трех разделивших Речь Посполитую в конце XVIII в. империй. В числе прочих, результатом этого может быть более глубокое понимание позиций акторов политического процесса в период восстановления Польского государства в 1918 г.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Блок М. К сравнительной истории европейских обществ//Одиссей. Человек в истории. 2001. М.: Наука, 2001. [Blok M. K sravnitel`noj istorii evropejskix obshhestv//Odissej. Chelovek v istorii. 2001. M.: Nauka, 2001].

Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М. Праксис, 2004. [Smit E`. Nacionalizm i modernizm. Kriticheskij obzor sovremenny`x teorij nacij i nacionalizma. M. Praksis, 2004].

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. [Xal`bvaks M. Social`ny`e ramki pamyati. M.: Novoe izdatel`stvo, 2007].

Buszczyński S. Przyszłość Austrii. Rozwiązanie kwestii słowiańskiej, Kraków 1869.

Chwalba .A. Historia Polski. 1795-1918. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001

Chyliński M. Austrja a Polska. Cz. 1, Przeszłość. Kraków. 1864.

Feichtinger J. Intelektualiści-naukowcy: autonomiczno-zaangazowana nauka w Europe Środkowej pomiędzy «czystą» a «polotyczną»nauką 1848–1938 // Historyka. Syudia metodologiczne. T. XLIII. 2013.

Feindt G., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimçev R. Entangled Memory. Toward a Third Wave in Memory Studies // History and Theory 53, Issue 1. 2014.

[42] Kożuchowski 2009: 102-103.

Halecki O. Das Nationaletätenproblem im alten Polen. Krakau, Zentral Verlagsbureau Des Polonischen Obersten Nationalkomite. 1916 (a).
Halecki O. Der politishe Werdegang der osteuropäischen Staatenbildung, 1918 (a).
Halecki O. Die Beziehungen der Habsburger zum lituanischen Hochadel im Zeitalter der Jagellonen, Innsbruck: Verlag der Wagnerschen Universitäts-Buchhandlung 1915 (a).
Halecki O. Dzieje Unii Jagiellońskiej». T. 1-2, Kraków: Akademia Umiejętności 1919–1920.
Halecki O. Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka. Kraków: nakł. Akademii Umiejętności, 1915 (b).
Halecki O. Polens Ostgrenzen in dem Lichte der Geschichte Ostgaliziens, des Chelmer Landes und Podlachiens. Wien, Perles. 1918 (b).
Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569. Kraków: nakł. Akademii Umiejętności, 1915.
Halecki O. The Historical Role of Central Eastern Europe // Annals of the American Academy of Political and Social Science, March 1944.
Halecki O. Unia lubelska: wykład habilitacyjny wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim 10 grudnia 1915 r., Kraków: nakł. aut. 1916 (b).
Halecki O. Warum Polen unterging? 1916 (c).
Halecki O. Zgoda sandomierska 1570 r. Jej geneza i znaczenie w dziejach reformacji polskiej za Zygmunta Augusta. Warszawa: Gebethner i Wolff – Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1915.
Kozlovski K. O stosunkch rodzinnych królóv polskich z Austrjǫ. Krakóv. 1866.
Kożuchowski A. Pośmiertne dzieje Austro-Węgier. Obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Wydawnictwo Neriton. Instytut Historii PAN, Warszawa 2009.
Kulczycki L. La Pologne et l`Autriche. Lausanne. Imprimerie Hoirs Borgeaud, 1916.
Lelewel J. Historyczna paralela Hiszpanii z Polską. Poznań, 1845.
Mackiewicz M. Uwagi nad ideą jagiellońską w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku // Folia Iuridica Wratislaviensis. Vol. 3 (2). 2014.
Palacký F. Idea státu rakouského. Praha. Ottovo nakladatelství v redakci Jaroslava Kvapila. 1907.
Popovici A.C. Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich. Politische Studien zur Lösung der nationalen Fragen und staatrechtlichen Krisen in Österreich-Ungarn. Leipzig, 1906.
Salamon M. Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909–1918) // Oskar Halecki i jego wizja Europy. Warszawa-Łódź: IPN 2012. T. 1.
Suchorovski M. Rodzina króla Jana III Sobieskiego: niech żyje Frąciszek Józef I Habsburg–Lotaryng–Vitelsbach–Sobieski! Lvov, 1880.
Wereszycki H. Pod berłem Habsburgów: zagadnienia narodowościowe. Kraków: Wysoki Zamek, 2015.

Васильев Алексей Григорьевич, *кандидат исторических наук, доцент, профессор, Департамент общей и прикладной филологии, факультет гуманитарных наук, НИУ «Высшая школа экономики»,* avasilev@hse.ru

The 'Habsburg Frames' for Polish Memory in the Austro-Hungarian Empire of the Second Half of the 19th – the Beginning of 20th Centuries

The paper is focused on analysis of dynamics of Polish national memory in the context of the Austro-Hungarian Empire of the second half of the 19th – the early 20th centuries. The research is based on the concept of "frameworks of memory" introduced by Maurice Halbwachs. The idea is that Polish national memory had been developing in the dialogue between the historical Polish-Lithuanian Commonwealth's traditional frames of memory and the 'Habsburg frames of memory' of the Austro-Hungarian Monarchy. As we suppose, at that time many intellectuals tried to re-interpret Polish history in order to find common Polish-Habsburg "sites of memory".

Key words: *cultural (collective) memory, 'frameworks of memory', historiography, politics of memory, the Habsburgs, the Austro-Hungarian Empire, the Partitions of Poland, federalism, Oscar Halecki, the Union of Lublin.*

Alexey Vasilyev, *PhD (History), Professor of the Department of Theoretical and Applied Philology, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia).*

Н.Д. Крючкова, И.В. Крючков, Г.В. Рокина

ГАБСБУРГСКИЙ МИФ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ВИШЕГРАДСКОЙ ЕВРОПЫ И ЕЕ СОСЕДЕЙ

Современные политические и культурные процессы в странах Европейского союза вызвали к жизни старые мифы, расставание с которыми казалось окончательным. Авторы статьи анализируют процесс своеобразного ренессанса т.н. габсбургского мифа в государствах Центральной Европы, сохранивших в исторической памяти опыт совместного проживания в империи австрийских Габсбургов. Современная мифология не ограничивается теоретическими построениями и служит инструментом конструирования исторической памяти стран Вишеградской Европы, которые стали заметными оппонентами в политике Брюсселя. В статье рассматривается история идеи вишеградского родства, трансформации габсбургского мифа в XX в. и в Вишеградской Европе на рубеже XX–XXI вв., приводятся примеры иерархий габсбургского мифа в политической и культурной сфере, а также в повседневной жизни народов Вишеградской Европы и их ближайших соседей.

Ключевые слова: *Вишеградская Европа, габсбургский миф, историческая память, габсбургский ренессанс, мультикультурная империя Габсбургов, галицийский миф.*

В последние годы в зарубежной и отчасти в российской историографии набирают силу историко-антропологические исследования имперского прошлого, в т.ч. такого феномена как имперский миф. Воспоминания об империях становятся важным пластом в современном общественно-политическом дискурсе. В то же время в империологии обозначились разные подходы к изучению и ретроспективным оценкам такого инструмента управления поликультурным государством как политика идентичности. Такую политику в XIX в. в целях духовного сплочения разных народностей в своих границах проводила империя Габсбургов. Общеимперская габсбургская идентичность была предметом исследований различных историографических школ. В 1980-е гг., с утверждением понятий «культурная память», «коллективная идентичность», «коммеморативные практики», ученые смогли проследить, как в Дунайской империи с применением имперских институтов мифотворчества (историческая наука, архитектура, образование, государственный аппарат, армия) рождались габсбургский миф и идея «народного императора»[1].

Всеобщая ностальгия по Габсбургам в последние годы, когда ускорились процессы интеграции в Европейский союз, особенно заметна в культурно-исторической жизни Центральной Европы. Политические изменения в структуре Европейского союза и оформление Вишеградской Европы[2], в которую вошли страны, имевшие исторический опыт совместного пребывания в империи Габсбургов, привели к своеобразному габсбургскому ренессансу, возрождению, казалось бы, забытого габсбургского мифа. Вступление Венгрии, Чехии, Словакии и Польши

[1] Комлева 2014.

[2] Вишеградская Европа 2010.

в Европейский союз создали предпосылки для формирования нового «наднационального культурного сообщества», опирающегося, помимо прочего, на общие исторические судьбы в рамках империи Габсбургов.

Дискуссии вокруг понятия «европейские ценности», трудности, возникшие в развитии Европейского союза, Брексит, противостояние Европейского союза с Россией привлекают внимание исследователей и общественных деятелей к историческому наследию империи Габсбургов как попытки создания наднационального государства, особенно в таком сложном регионе, каким является Центральная Европа[3]. Множественная идентичность жителей империи требовала определенной лояльности династии при сохранении региональной и этнической идентичности, что приобрело в Европе начала XXI в. особое звучание[4].

Если, в 1980-е гг. в историографии центрально-европейских стран, наследниц империи Габсбургов, чаще вспоминали отрицательные стороны старой империи как «тюрьмы народов», «лоскутной монархии», то с конца 1990-х и особенно в последнее десятилетие XXI в. оценка роли Австро-Венгрии в европейской истории и культуре кардинально изменилась на позитив. Начиная с 1990-х гг. феномен этого сложного многонационального и многоконфессионального государства, его институциональное наследие и жизнеспособность в коллективной памяти народов Центрально-Восточной Европы непрестанно находится в центре внимания историков. В последние годы был радикально пересмотрен тезис национальных историографий об империи Габсбургов как «тюрьме народов» и анахронизме в истории европейских государств XIX века[5].

Габсбургский миф воспринимается преимущественно как идеал примирения «различий» и «многообразий», а «габсбургский компромисс» как политика мультикультурализма и мультилингвизма. Дискуссии о живучести габсбургского наследия не ограничиваются академическим сообществом. «Пока историки спорят о том, был ли распад империи естественной смертью, вызванной разложением институтов, или жестоким убийством на полях Первой мировой войны, призрак неудавшегося габсбургского эксперимента продолжает преследовать Европу[6]. Еще в середине XX в. венгерский публицист и политик О. Яси не сомневался в перспективности имперского проекта Габсбургов: «...если бы эксперимент Австро-Венгерского государства и впрямь оказался удачным, Габсбургская монархия сумела бы на своей территории решить основополагающую проблему современной Европы… Как можно уравновесить нации с абсолютно разными идеями и традициями таким образом, чтобы они могли и дальше продолжать жить своей особой жизнью,

[3] Оценку подходов современных европейских ученых к термину «Центральная Европа» см.: Шишелина 2019.

[4] Thompson 2020.

[5] См.: Judson 2016. Автор книги утверждает, что империя выступала носительницей идей о национальной общности, а локальные сообщества объединили свои усилия с династией Габсбургов для создания единого и связующего имперского государства.

[6] Крастев 2018: 10.

но в то же время ограничили национальный суверенитет до такой степени, чтобы обеспечить мирное и эффективное сосуществование?»[7]. Итальянский писатель, исследователь австрийской культуры К. Магрис, отвечая в своем интервью 2012 г. противникам концепции центрально-европейской общности, настаивал на ее существовании, видя в ней инструмент против распространения в регионе американизации и глобализации, способных разрушить уникальность региона[8].

Теоретические рассуждения ученых и литераторов использует и ряд известных политиков региона. Так, центрально-европейские консерваторы в лице венгерского премьер-министра В. Орбана и лидера польской правящей партии «Право и справедливость» Я. Качинского убеждены, что специфика региона способна создать противовес навязываемого ему крайнего либерализма и мультикультурализма[9].

Историческая встреча центрально-европейских королей в Вишеграде в XIV в. стала «местом памяти» для народов региона, который всегда был чрезвычайно сложен по этническому (национальному) и конфессиональному составу, здесь практически нет моноэтнических и моноконфессиональных государств. У государств Центральной Европы, народы которых входили в Новое время в состав империи Габсбургов, есть много общего в истории, сохраняются долгие традиции соседства, часто вынужденного и не всегда мирного. Для большинства народов региона характерны взаимопроникающие культуры (особенно это заметно в чешско-словацких и словацко-венгерских взаимоотношениях).

Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, создали 30 лет назад неформальное объединение в интересах координации действий на пути интеграции в ЕС – Вишеградская группа или Вишеградская четверка. Эти страны связывает общность прошлого и настоящего, их народы являются носителями близкой культуры, ментальности, социального уклада; опыт взаимного проживания в Австрийской империи и Австро-Венгрии.

Если первоначально в литературе на первое место ставилась общность государств Вишеградской четверки в экономической сфере, где отмечались наиболее высокие в регионе показатели экономического развития и родственный критический, реформаторский и антикоммунистический настрой (события 1956, 1968, 1980-х гг.)[10], то в последние годы все чаще звучат оценки единого вишеградского культурного кода[11]. В научном обиходе даже появился термин Homo visegradicus, который был впервые употреблен венгерским культурологом Р. Кишш-Семаном, и стал особенно актуальным уже после вступления этих стран в Европейский союз и образования Вишеградской группы[12].

[7] Яси 2011: 18.
[8] Magris (A közép-európai kultúra ereje)
[9] См.: Barša (Habsburský mýtus)
[10] Шишелина 2019.
[11] Ведерников 2017: 79.
[12] Кишш-Семан, 2016.

Миф, созданный династией Габсбургов, развивался со времен Максимилиана I, искавшего своих легендарных предков, и был представлен в расточительных барочных постройках Леопольда I или в «материнском образе» Марии-Терезии. Но в настоящее время габсбургский миф чаще связывают с фигурой императора Франца-Иосифа, правление которого длилось 68 лет: 1848–1916 гг. Выросло несколько поколений, перед глазами которых был постоянно образ императора: портреты в школах и государственных учреждениях, инициалы «FJI» на монетах и почтовых марках, зданиях, мостах, украшениях и посуде. Огромное число его образов должно было символизировать стабильность монархии[13]. Возможно, Франц-Иосиф не был выдающимся императором, но он был выдающимся чиновником[14]. Австрийские законы, государственный аппарат, единая система мер, мундиры, печати, канцелярии, государственное жалованье и карьера – это тот универсальный элемент, вокруг которого и посредством которого возникла общность Центральной Европы и ее особый этос. Многонациональная территория не была объединена ни языком, ни историей, ни культурой, ни вероисповеданием – только обезличенность закона да единая система мер возводили это государственное образование в ранг единства[15]. Австро-Венгрия не была передовой индустриальной страной, но она смогла стать ведущим культурным центром Европы благодаря многообразию культур и традиций.

Из мифотворчества вокруг Габсбургов нельзя исключить еще две фигуры XIX века. Во-первых, это жена Франца-Иосифа, императрица Елизавета, известная под уменьшительным именем Сисси, которая вместе с Роми Шнайдер, воплотившей ее образ в популярной кинотрилогии, сделалась главной туристической приманкой и фактически товаром уже в середине XX в. После вступления в Европейский союз вишеградских стран в 1998 г. в «год Сисси», ее культ пережил невероятную кульминацию. Такого культа Сисси, который сейчас существует в Австрии и Вишеградской Европе, при ее жизни не было и близко. Реальные факты, которые не вписываются в мифологизированный образ «романтичной» императрицы, обыватель и туристическая индустрия просто отбрасывают или не хотят замечать[16]. Подобным же образом культ сына Франца-Иосифа и Елизаветы, кронпринца Рудольфа, раздувался до тех пор, пока не стал вызывать раздражение общества[17].

На протяжении нескольких столетий своего существования габсбургский миф пережил несколько этапов трансформации. Миф о «золо-

[13] Vocelka 2019.
[14] Воцелка 2007.
[15] Белоградский 1986.
[16] См.: Auf den Spuren der Habsburger… 2011.
[17] «Тайна Майерлинга» находила все новые и все более фантастические объяснения в публицистической литературе. Опровержения со стороны Габсбургов, не желавших видеть одного из представителей династии в роли убийцы и самоубийцы, оказались невероятно живучими. Это подтверждает и концепция выставки, прошедшей в нескольких музеях Вены к 100-летию со дня смерти Франца-Йосифа.

том веке» Габсбургов стал создаваться еще при жизни Франца-Йосифа. История и литература приводят примеры того, как катастрофически упали акции Габсбургской династии в ходе и после Первой мировой войны[18]. Современникам той эпохи казалось, что его возрождение в дальнейшем невозможно. Как писал Ярослав Гашек в «Повести о портрете императора Франца-Иосифа»: «Высочайшие портреты хранятся в депозите военного суда в Терезине и ждут часа своего освобождения, когда после распада австрийской монархии какой-нибудь предприимчивый бакалейщик станет завертывать в них селедку»[19].

Осенью 1918 года во многих городах и деревнях развалившейся империи исчезли ненавистные символы старого рейха. Акт освобождения произошел в форме сноса имперских памятников и замещением их культом добровольческих корпусов и легионов, боровшихся с Австро-Венгрией[20]. В Праге после событий 28 октября 1918 г. снесли памятник Францу-Иосифу, а мост императора Франца переименовали в мост «Легионов». В Братиславе памятник Марии Терезии был снесен в октябре 1921 г. В Карловых Варах эпопея со сносом памятника Францу-Иосифу длилась до 1925 г., когда в силу вступил знаменитый закон о защите республики. Судетские немцы хотели его сохранить, а чешская часть горожан настаивала на сносе. Исключением стала Венгрия, где в 1919 г. коммунисты снесли памятники Фердинанду I, Карлу III, Марии Терезии, Леопольду II и Францу-Иосифу (последний они разбили) на площади героев, а М. Хорти их вернул на место, и окончательно их оттуда убрали лишь после прихода к власти коммунистов после Второй мировой войны. Этот пример символизирует различное отношение к габсбургскому прошлому в истории вишеградских стран.

В Чехословакии отношение к габсбургскому прошлому после приобретения независимости определялось концепцией первого президента Т.Г. Масарика, не оставлявшей шансов на ностальгию, хотя еще Ф. Палацкий писал об империи Габсбургов как пристанище малых народов, зажатых между Россией и Германией. Среди межвоенных планов устройства региона наиболее близким к осуществлению казался план Дунайской конфедерации, разработанный Миланом Годжей, словацким политиком и премьер-министром Чехословакии в 1935–1938 гг., но до 1939 г. правящий класс в Праге не допускал реабилитации Габсбургов.

Весьма сложная ситуация возникает в Венгрии, понесшей колоссальные потери в результате Трианонского договора. Порожденная Трианоном национальная травма становится важным индикатором развития страны в 1920–1940-е гг. «Трианон, вне всякого сомнения, был одной из крупнейших катастроф в венгерской истории. Мы должны это призна-

[18] Радль, Томаш 1921.

[19] Пророчество писателя не сбылось. Во время выставки к 100-летию со дня смерти императора в Вене – портрет императора из депозитов достали и иллюстрировали новый миф о величии «отца народов».

[20] Judson 2016: 555.

вать даже в том случае, если мысль о ревизии нам представляется невыносимой», – писал по этому поводу Л. Грендель[21]. В Венгрии габсбургский миф приобретает особые очертания. «Золотой век» в восприятии венгерской общественности приходился на период дуализма (1867–1918), когда страна существовала в «исторических границах», венгры не являлись разделенной нацией, экономический подъем вел к росту благосостояния всех слоев общества. По мнению Л. Гренделя, венгерское общество воспринимало распад Австро-Венгрии как результат поражения империи в Первой мировой войне, игнорируя серьезные политические, национальные и экономические противоречия, набиравшие силу в Венгрии до 1914 г.[22] Особое место в венгерском варианте мифа занимал образ императрицы Елизаветы, «королевы-ангела», приложившей массу усилий для достижения дуалистического соглашения в 1867 г. и не раз выступавшей на стороне венгров в последующих конфликтах. Неслучайно в 1932 г. в Будапеште ей устанавливают памятник.

После завершения Первой мировой войны ностальгия интеллектуальной элиты по поводу ушедшего в небытие габсбургского мира объяснялось несколькими причинами. Многие из них потеряли ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Они наблюдали крах близких им идей либерализма, выросших в недрах Австро-Венгрии. Национализм и партикуляризм новых государств, возникших на развалинах Австро-Венгрии, вызывали у них неприятие, они были воспитаны на имперском универсализме[23]. Образованные современники отмечали быструю деградацию общества после краха империи. Габсбургский миф прочно закрепился в художественной и мемуарной литературе эпохи[24].

Вторая мировая война и наступившая эпоха социализма в странах Центральной и Восточной Европы только укрепили миф о добром императоре Франце-Иосифе и «славных годах» его правления[25]. Все проблемы, с которыми ассоциировалась его политика, отходили на второй план или попросту опускались. Примечательно, что наиболее знаковые символы габсбургского мифа возникли после распада империи и Второй мировой войны, приведших к серьезной исторической травме Австрию. В научной литературе этот процесс объяснялся поиском австрийцами новой идентичности[26]. В результате «австрийство», во многом плавно вытекавшее из габсбургского мифа, противопоставлялось германскому национализму и российскому авторитаризму. Габсбургский миф должен был отвлечь внимание от трагедий мировых войн, от коричневого кошмара нацизма и совместной ответственности за “Ostmärker” (обозначение австрийцев в период с 1938 по 1942 гг.) за преступления нацистской диктатуры. Так он все больше превращался в миф о добром христиан-

[21] Грендель 2011: 122.
[22] Там же: 123.
[23] Baskar 2003: 1-2.
[24] Крючков 2019.
[25] Claudio 1963: 225.
[26] Tonkn 2008: 9.

ском государстве[27]. После войны габсбургский миф был взят на вооружение австрийскими властями[28]. Официальная политика Австрии состояла в том, чтобы не обсуждать недавнее прошлое. Для консолидации дезориентированной нации нужно было событие /явление, положительно окрашенное для любого жителя страны. Им стал придуманный «золотой век» империи Габсбургов, якобы счастливые и спокойными времена: художники и музыканты собирались в кофейнях, все ели шоколадные пирожные, и из каждого дома звучала музыка Штраусов[29].

Даже в период социализма, когда отношение к истории Австро-Венгрии определялось классовым подходом и негативное отношение к Габсбургам было устоявшейся нормой[30], габсбургский миф прорывался через идеологические оковы, чаще всего в литературе и кинематографе[31]. Многие центрально-европейские интеллектуалы в 1950–1960-е гг. в имперском прошлом видели проявление европейскости региона в его противостоянии с советским авторитаризмом. Так, благоприятную основу для возрождения габсбургского мифа породили в чехословацком обществе переводы произведений австрийских писателей в 1960-е гг., а также публицистика бывших диссидентов. Группа интеллектуалов во главе Э. Гольдштюкером вновь открывают для себя Ф. Кафку, меняя некоторые оценки самой Австро-Венгрии. В Польше постепенно идет процесс реабилитации польского наследия в Галиции. В 1986 г. в Будапеште восстановили снесенный после войны памятник императрицы Елизавете, что по сути означало частичную реабилитацию Габсбургов на официальном уровне. «Историческая память» подталкивала эти тенденции.

В 1950–1980-е гг. в исторической памяти народов Центральной Европы прошлое империи Габсбургов переживает трансформацию, несмотря на утверждения официальной идеологии. Коллекционирование марок, открыток, денежных знаков и монет в это время также отражает данный процесс. Новое поколение, родившееся после распада империи, воспринимало ее идеализированно. Миф воплощал в себе толерантность и стабильность в Европе. Появляется интерес к использованию габсбургского наследия для развития туризма.

С распадом социалистической системы ситуация меняется радикальным образом. Вступление стран Вишеградской четверки в Европейский союз послужило причиной «ренессанса» габсбургского мифа. Золотые звезды на флаге ЕС стали напоминанием для чудесных взаимоотношений, связывающих дом Габсбургов с Девой Марией.

С этого времени отношение к историческому прошлому империи заметно корректируется в Чехословакии, чему во многом способствова-

[27] Ляйдингер 2020.
[28] Крючков, Крючкова 2019.
[29] Примерно такую картину мы видим в книге французского популяризатора истории: Кар де Жан 2017.
[30] Pölöskej 1970; Urban 1978, 1982.
[31] Christensen 2006: 5.

ло изменение политического климата и «Бархатная революция». Данный процесс в 1980–1990-е гг. активно поддерживали чешские интеллектуалы. Известный диссидент В. Белоградский рассматривал империю Габсбургов как проявление австро-славянского универсализма, способного спасти регион от империализма соседних великих держав и провинциального партикуляризма малых народов региона. В безличной бюрократической власти империи он видел обратную сторону современности, где легитимность заменяется законностью, естественный язык языком науки и политики. – всего того, что составляло основу империи Габсбургов. Писатель и философ М. Кундера, отражая позицию либерально-консервативных кругов, идеализировал империи Габсбургов с точки зрения распространения ею католического универсализма как естественного барьера на пути национализма и тоталитаризма. Один из основателей чешской политологии Р. Кучера представлял либерально-постмодернистскую точку зрения на империю, видя в ней последнее пристанище от дегуманизации Центральной Европы. Горячий сторонник объединенной Европы, Кучера до самой смерти в 2019 г. возглавлял Панъевропейский союз Чехии, пропагандируя наследие Р. Куденхове-Калерги[32]. Чешская историография в конце XX – начале XXI в. также смягчает исторические оценки империи Габсбургов[33].

Интерес к Австро-Венгрии подогревает политик и самый богатый человек страны К. Шварценберг, известный своим высказыванием, что если ЕС не будет способен модернизироваться, то он повторит опыт прекрасной Австро-Венгрии[34]. Представителям ведущих аристократических семей в настоящее время принадлежит весомое место в жизни страны после реституции. Они занимаются восстановлением замков, дворцов, и делают много для поддержания габсбургского мифа.

Венгрия, Чехия и Словакия активно используют габсбургское прошлое для развития туризма. Повсюду в населенных пунктах можно встретить бары, кафе, рестораны, гостиницы, использующие габсбургскую символику. Предлагаются туры по памятным местам империи Габсбургов и их число увеличивается. В 2019 г. Национальное управление по защите памятников Чехии запустило туристический маршрут «Аристократизм Северной Чехии» с посещением замков, представителей известных дворянских семей империи Габсбургов. В Венгрии культивируется образ Сисси. Только в Будапеште, кроме памятника, есть мост ее имени, бульвар, площадь, район города и три улицы. В 2016 г. в Будапеште установили бюст последнему королю из династии Габсбургов Карлу IV. Венгерская историография предпринимает усилия по реабилитации Венгрии в период дуализма[35].

[32] Рудольф Кучера – диссидент, политолог, европеец // https://ruski.radio.cz/rudolf-kuchera-dissident-politolog-evropeec-8140953
[33] Pernes 2001; Veber, Hlavička 2002.
[34] Will the European Union… 2018
[35] Glatz 1995.

В Польше габсбургский миф имеет четко выраженную региональную специфику. В конце XX в. в польском общественно-политическом и научном дискурсе утвердилось мнение о создании поляками на периферии Австро-Венгрии «империи в миниатюре», уменьшенной копии мультикультурной империи Габсбургов, т.н. «галицкий миф». Галиция, управляемая поляками, становится примером мирного сосуществования народов, культур и религий[36]. Польская элита выступает в качестве политического лидера европейцев. Галиция олицетворяла противоположность традиционному польскому национализму и мессианству, потерянную «малую родину»[37].

В современной Польше демонстрация «галицкой европейскости», возникшей в рамках центрально-европейской общности под эгидой Габсбургов, периодически всплывает в общественно-политической жизни страны. В 1995 г., когда Верховный суд Польши признал законность избрания на должность президента страны А. Квасневского, указавшего накануне выборов недостоверные сведения, группа краковских интеллектуалов и политических деятелей предложили установить символическую границу между Галицией (Европой) и бывшим Царством Польским (не совсем Европой), имевшими различную правовую и политическую практику в XIX – начале XX века[38].

Габсбургский миф оказался очень привлекательным на территории бывшей польской части Галиции. В начале 1990-х гг. в магазинах, барах, ресторанах, гостиницах появляется масса вывесок и различной информации, подчеркивающей имперское прошлое региона. Производятся многочисленные товары, демонстрирующие их принадлежность историческому наследию габсбургской Галиции, включая пиво, кондитерские изделия и др. Портреты императора Франца-Иосифа появляются в редакциях периодических изданий, в ресторанах, барах, кафе.

На свою часть «галицкого мифа» претендует и Украина. В современной Украине на территории Галиции с момента получения независимости происходит своеобразное сращивание габсбургского мифа с политической практикой. В результате возникает ярко выраженная региональная идентичность, где опыт вхождения в состав Австро-Венгрии выступает в качестве «европейскости» региона, общности его интересов с Центральной Европой. Подчеркивание имперского прошлого становится неотъемлемым атрибутом жизни современного Львова и других городов украинской части Галиции. В современной западно-украинской литературе четко прослеживается габсбургский миф, в т.ч. в творчестве Ю. Андруховича, Т. Гарилова и др. Они, возвращаясь к культурному коду империи Габсбургов, стремятся подчеркнуть общность интересов Галиции с народами Центральной Европы и ее европейскость[39].

[36] Bialasiewicz 2003: 28.
[37] Ossowski 1967: 210.
[38] Bialasiewicz 2003: 36.
[39] Simonek 2012: 177-178.

«Галицкий миф» как составная часть габсбургского мифа отражает две важные тенденции развития Польши и Западной Украины: во-первых, идеализацию потерянного времени/пространства, «малой родины», во многом объясняемую вынужденными перемещениями населения по разные стороны линии Керзона, имперского величия Кракова и Львова; во-вторых, культивирование образа идеального несуществующего мира социальной, религиозной, культурной и этнической гармонии.

В Словакии, получившей государственность в начале 1990-х, происходит трансформация национальных символов и национальных героев[40]. В процессе конструирования исторической памяти в современной Словакии активно используется и габсбургский миф. На страницах популярного исторического журнала «Хисторицке ревью» публикуются материалы о временах, когда Братислава была местом коронации венгерских королей; открываются венские кафе в Братиславе и словацких местечках; среди культурных достопримечательностей курортных городов Словакии, основание и расцвет которых в основном пришелся на период правления Франца-Иосифа, возникают новые места памяти[41]. На месте музея русско-словацких литературных связей в Бродзянах открывается музей дворянского быта. Институт истории Словацкой академии наук организует конференции и выставки в юбилейные даты: 300-летие Марии Терезии, 100-летие со дня смерти Франца-Иосифа, 100-летие со дня распада Австро-Венгрии. Во время телевизионного опроса «Самый главный словак», организованного в 2019 г. словацким радио и телевидением, Мария Терезия попала в число 100 имен «великих словаков».

Таким образом, габсбургский миф в странах Вишеградской четверки и ее ближайших соседей характеризует, как высказался И. Крастев, «всеобщая ностальгия Центральной Европы по либеральным Габсбургам – лучшее подтверждение тому, что иногда оценить что-то можно, лишь потеряв[42]. Недавние восьмеричные юбилеи (революции 1848 года, распад Австро-Венгерской монархии в 1918 г. и события 1968 года в Чехословакии), которые во многом касались борьбы чешско-словацкого народа за свою независимость и возвращения стран в Европу, стали дополнительными стимулами для вишеградских историков и политиков обратиться к исторической памяти и подтвердить принадлежность стран-наследниц империи Габсбургов к духовным ценностям Дунайского региона и центрально-европейскому проекту. Жители стран Вишеградской четверки в настоящее время рассматривают прошлое империи Габсбургов как часть своего исторического наследия, склоняясь к его идеализации. Сегодня все чаще можно говорить о габсбургском ренессансе, ностальгии по разрушенным памятникам Марии Терезии, Франца-Йосифа, Елизаветы Австрийской. Бурное развитие туризма во второй

[40] Рокина 2016.

[41] Примером может быть музей Сисси в Бардеевских купелях, которые императрица посетила один раз в 1895 г.

[42] Крастев 2018: 14

половине XX – начале XXI в. придало габсбургскому мифу новое звучание. Туристы хотели видеть «красивую открытку», сконструированную из исторического прошлого империи Габсбургов[43]. Всплеск интереса к габсбургскому наследию Вишеградской Европы показал, что императорско-королевская монархия не исчезла бесследно в 1918 г. Если первоначально она сохранилась лишь социально и психологически, то в дальнейшем она была мифологизирована деятелями культуры, историками и политиками.

Сведения о грантах / Grant information

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 20-09-00279) / This article has been prepared with financial support from of the Russian State Science Fund (project no. № 20-09-00279)

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Белоградский В. Живая плоть против мундира // Континент. 1986. № 2. С. 219-240. [Belogradskij V. ZHivaya plot' protiv mundira // Kontinent. 1986. № 2. S. 219-240].

Ведерников М. Исторические предпосылки вишеградского политического стиля // Современная Европа. 2017. № 7. С. 78-87. [Vedernikov M. Istoricheskie predposylki vishegradskogo politicheskogo stilya // Sovremennaya Evropa. 2017. № 7. S. 78-87].

Воцелка К. История Австрии. М., 2007. [Vocelka K. Istoriya Avstrii. M., 2007].

Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии / Под ред. Л.Н. Шишелиной М.: «Весь Мир», 2010. 586 с. [Vishegradskaya Evropa: otkuda i kuda? Dva desyatiletiya po puti reform v Vengrii, Pol'she, Slovakii i CHekhii / Pod red. L.N. SHishelinoj M.: «Ves' Mir», 2010. 586 s.].

Грендель Л. Венгерская травма – венгерское заблуждение/Венгерский гений Венгры, как они видят себя, Венгрию свое место в истории и современном мире. М.: Логос, 2011. С. 115-143. [Grendel' L. Vengerskaya travma – vengerskoe zabluzhdenie/Vengerskij genij Ven-gry, kak oni vidyat sebya, Vengriyu svoe mesto v istorii i sovremennom mire. M.: Logos, 2011. S. 115-143].

Джонстон У. М. Австрийский ренессанс. Интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии, 1848–1938 / Пер. с англ. М.: Московская школа политических исследований, 2004. [Dzhonston U. M. Avstrijskij renessans. Intellektual'naya i social'naya istoriya Avstro-Vengrii, 1848-1938 / Per. s angl. M.: Moskovskaya shkola politiche-skih issledovanij, 2004].

Кар де Жан. Вена: роман с городом / пер. с франц. яз. М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2017. [Kar de ZHan. Vena: roman s gorodom / per. s franc. yaz. M.: Izd-vo Ol'gi Morozovoj, 2017].

Кишш- Семан Чаба Д. Вишеградское родство. Варшава, 2016. 242 с. [Kishsh- Seman CHaba D. Vishegradskoe rodstvo. Varshava, 2016. 242 s.].

Комлева Ю.Е. Габсбургская школьная политика как способ формирования общегосударственной идентичности в Австро-Венгрии // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2014. №1(124). С. 106-125. [Komleva YU.E. Gabsburgskaya shkol'naya politika kak sposob formirovaniya obshche-gosudarstvennoj identichnosti v Avstro-Vengrii // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 2, Gumanitarnye nauki. 2014. № 1(124). S. 106-125.].

Крастев И. После Европы // пер. с англ. А. Никитиной. М.: Изд. дом ДЕЛО, 2018. [Krastev I. Posle Evropy // per. s angl. A. Nikitinoj. M.: Izdatel'skoj dom DELO, 2018.].

Крючков И.В. Вена и Будапешт: два имперских центра и текстах российских путешественников // Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 213-227. [Kryuchkov I. V. Vena i Budapesht: dva imperskih centra i tekstah rossijskih puteshestvennikov // Dialog so vremenem. 2012. Vyp. 39. S. 213-227].

Крючков И.В., Крючкова Н.Д. Историческая память и габсбургский миф: посттравматический синдром человека XX века и товар общества массового потребления // Диалог со временем. 2019. № 6. С. 86-99. [Kryuchkov I.V., Kryuchkova N.D. Istoricheskaya pamyat'

[43] Auf den Spuren der Habsburger: Anatomie eines Mythos// Die Presse. Print-Ausgabe. 17.07.2011.

i gabsburgskij mif: post-travmaticheskij sindrom cheloveka XX veka i tovar obshchestva massovogo po-trebleniya // Dialog so vremenem. 2019. № 6. S. 86-99].

Ляйдингер Х. Конец монархии Габсбургов – причины и последствия // Новая и новейшая история. Т. 64. № 2. 2020. С. 11-26. [Lyajdinger H. Konec monarhii Gabsburgov – prichiny i posledstviya // Novaya i novejshaya istoriya. T. 64. № 2. 2020. S. 11-26].

Рокина Г.В. Интерпретации трактата словацкого патриота Л. Штура «Славянство и мир будущего» в отечественной и зарубежной историографии // Историческое произведение как феномен культуры. Вып. 10. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. С. 77-88. [Rokina G.V. Interpretacii traktata slovackogo patriota L. SHtura «Slavyanstvo i mir budushchego» v otechestvennoj i zarubezhnoj istoriografii // Istoricheskoe proizvedenie kak fenomen kul'tury. Vyp. 10. Syktyvkar: Izd-vo SGU im. Pitirima Sorokina, 2016. S. 77-88].

Шишелина Л.Н. Возрождение Центральной Европы // Вишеградская Европа: Центрально-европейский журнал. 2019. № 1-2. URL: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2019/10/2-Shishelina.pdf [SHishelina L.N. Vozrozhdenie Central'noj Evropy // Vishegradskaya Evropa: Central'noevropejskij zhurnal. 2019. № 1-2. URL: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2019/10/2-Shishelina.pdf].

Яси О. Распад Габсбургской монархии. М.: Три квадрата, 2011. [YAsi O. Raspad Gabsburgskoj monarhii. M.: Tri kvadrata, 2011]

Auf den Spuren der Habsburger: Anatomie eines Mythos // Die Presse. Print-Ausgabe. 17.07.2011.

Barša: Habsburský mýtus // https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/pavel-barsa-habsbursky-mytus-40285446

Baskar B. Ambivalent Dealings with an Imperial Past: The Habsburg Legacy and New Nationhood in ex-Yugoslavia Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2003. P. 1-21.

Bialasiewicz L. Another Europe: remembering Habsburg Galicja // Cultural Geographies. 2003. № 10 (1). P. 21-44.

Claudio K. Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna. Turin: Einaudi, 1963.

Christensen P.G. "Szabó's Colonel Redl and the Habsburg Myth" // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2006. V. 8.

Habsburgs Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present). Cinematic and TV Productions in the Neighbouring and Succesor States of the Danube Monarchy: Austria, Czechia-Slovakia, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia / Ed. by H. Leidinger. New Orleans, 2018.

Glatz F.Ed. Hungarians and Their Neighbors in Modern Times. 1867–1950. N.Y. Columbia University Press, 1995. 347 p.

Judson P.M. Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740–1918. Munchen, 2017.

Judson P.M. The Habsburg Empire: A New History. Cambridge (Mass.): The Belnap Press of Harvard University Press, 2016. 567 p.

Magris C. A közép-európai kultúra ereje// https://m.magyarnarancs.hu/konyv/a-kozep-europai-kultura-ereje-79666/?pageId=75

Ossowski S. Z zagadnien psychologii spolecznej. Warsaw: PWN, 1967.

Pernes J. Pod habsburským orlem. České země a Rakousko-Uhersko na přelomu 19 a 20 století. Praha: Brana, 2001. 205 s.

Pölöskej F. Kormanyzati politika és parlament: ellenzék 1910–1914. Budapest: Akademiai Klado, 1970. 258 s.

Simonek S. Der Habsburger-Mythos als Moment einer regionalen Identität Galiziens? : (Beispiele aus der zeitgenössischen ukrainisch-galizischen Literatur) // Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. Dohnal, Josef (ed.); Zelenka, Miloš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. P. 177-186.

Thompson H. The Habsburg Myth and the European Union"/ Europe's Malaise (Research in Political Sociology, Duina, F. and Merand, F. (Ed.). Vol. 27. Emerald Publishing Limited, 2020. P. 45-66.

Tonkn K. Joseph Roth's March Into History: From the Early Novels to Radetzkymarsch and Die Kapuzinergruft. Rochester-New York, Camden House, 2008. 233 p.

Unterreiner K. Die Habsburger: Mythos Wahrheit Gebundene Ausgabe. Graz: Styria Premium, 2011.

Urban O. Kapitalismus a česká společnost v 19. století. Praha: Svoboda, 1978. 378 s.

Urban O. Česká společnost. 1848–1918. Praha: Svoboda, 1982. 690 s.
Veber V., Hlavička M., Dějiny P. Rakouska. Praha: Lidové noviny, 2002. 543 s.
Vocelka K., Vocelka M. Cizar rakusky a kral uhorsky 1830–1916. Biografia. Bratislava: Citadella, 2019. 472 s.
Will the European Union–like the continent's old empires–also be swept away? / https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-09/

Галина Викторовна Рокина, *доктор исторических наук, профессор, заведующая, учебно-исследовательская лаборатория этногендерных исследований, Марийский государственный университет; galina@rokina.ru*

Крючкова Наталья Дмитриевна*, кандидат исторических наук, доцент, кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Северо-Кавказский федеральный университет.*

Игорь Владимирович Крючков, *доктор исторических наук, профессор, заведующий, кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений, Северо-Кавказский федеральный университет, igory5@yandex.ru*

The Habsburg myth in historical memory of Visegrad Europe and its neighbors

Contemporary political and cultural processes in the European Union countries actualized old myths, a separation from which seemed final. The authors of the article analyze the process of a peculiar renaissance of the so-called Habsburg myth in Central European countries that preserved an experience of cohabitation in the empire of Austrian Habsburgs in their historical memory. Contemporary mythology does not limit to theoretical constructions and serves as a tool forming historical memory of the Visegrad Europe countries that became considerable opponents in policy of Brussels in the last years. The origins of the idea of Visegrad relationship and transformation of the Habsburg myth in the interwar period and after the Second World War are considered in the article. The article deals with examples of hierarchy of the Habsburg myth in political and cultural spheres and in a daily life of Visegrad Europe nations and their immediate neighbors.

Keywords*: Visegrad Europe, the Habsburg myth, historical memory, Habsburg renaissance, multicultural empire of the Habsburgs, Galician myth*

Galina Rokina, *Dr. Sc. (History), Professor, Head of the Centre for Ethno-gender studies, Mari State University; galina@rokina.ru*

Natalia Kriuchkova*, PhD (History), Associate Professor of Foreign History, Political Science and International Relations Chair, North-Caucasus Federal University; intist08nk@yandex.ru*

Igor Kryuchkov, *Dr. Sc. (History), Professor, Chair of Foreign History, Political Sciences and International Relationships, North Caucasus Federal University; igory5@yandex.ru*

Е.В. Каменев

«ЗАХВАТ ЗИМНЕГО ДВОРЦА»: ОБРАТНОЕ ВРЕМЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕКАБРИЗМА (середина 1950-х гг.)

В статье исследуется интерпретирующий механизм советской историографии декабризма середины 1950-х гг. на примере повествования о декабристской тактике. Показано, что идея революционности декабристов была сформулирована в исследованиях на уровне вторичной знаковой системы через отсылки к ключевым для советской культуры событиям начала XX в. В сталинскую эпоху декабристы мыслились как предшественники большевиков, но интерпретировались на основе истории своих легендарных потомков. Историографическое время текло в обратном направлении, поскольку предшествующие события оказывались в зависимости от последующих. Революции начала XX в. были семантической доминантой, благодаря которой материал исторических источников выстраивался в стройное повествование.

Ключевые слова: *советская историография декабризма, историческая интерпретация, семиотика, интертекст*

8 марта 1918 г. на своем VII съезде РСДРП(б) была переименована в РКП(б). Изменение названия партии свидетельствовало о разрыве большевиков с европейской социал-демократией и выборе собственного пути[1]. Утверждение уникальности требовало, в свою очередь, поиска собственных – неевропейских – корней. Большевикам требовалось найти в истории России своих предшественников, прочертить линию развития революционного движения, которая от первых попыток борьбы с самодержавием вела бы прямо к ним как к победителям.

В 1920-е гг. шли дискуссии о том, стоит ли включать декабристов в пантеон исторических героев, что неудивительно, поскольку вся дореволюционная история после прихода большевиков к власти оказалась в опале. Вызывала сомнение и классовая принадлежность декабристов, а также либеральные черты в их программе. Ситуация изменилась, когда в 1930-е гг., с одной стороны, началась реабилитация дореволюционного прошлого, а с другой, была выработана официальная позиция по отношению к декабристам. В это время была канонизирована ленинская формула трех этапов русской революции, которая послужила идеологическим базисом для осмысления декабризма. Проблема, поэтому, была не только и даже не столько в поиске героев прошлого, сколько в интерпретации их деятельности – декабристы должны были предстать в виде истинных революционеров, а их выступление на Сенатской площади –

[1] «Важнейшим доводом за перемену названия партии, – говорил В.И. Ленин, выступая на съезде, – является то, что до сих пор старые официальные социалистические партии во всех передовых странах Европы не отделались от того угара социал-шовинизма и социал-патриотизма, который привел к полному краху европейских социалистов <…> Наша партия обязана выступить с возможно более решительным, резким, ясным, недвусмысленным заявлением о том, что она свою связь с этим старым официальным социализмом рвет, и для этого перемена названия партии будет средством, наиболее способным достичь цели». Седьмой экстренный съезд РКП(б): 138.

первой попыткой свержения самодержавия. Однако исторический материал может быть осмыслен по-разному. Так, В.М. Бокова в своем фундаментальном труде «Эпоха тайных обществ» показала, что источники не позволяют однозначно говорить о революционности декабристов[2]. Современная историография видит в движении декабристов преимущественно либеральные черты и ставит под сомнение его радикализм.

В настоящей работе нас интересует *механизм интерпретации декабризма* в советской историографии 1950-х гг. – не прямые указания на революционность декабристов, а вторичная знаковая система в исторических исследованиях и ее роль в конструировании концепта революционности декабристов. В центре нашего внимания – не интенции историков, а функционирование языка советской культуры[3]. Исследование основано на анализе компактного и цельного блока работ, вышедших к 130-летию восстания декабристов и отражающих взгляды историков эпохи позднего сталинизма[4]. Эти тексты обнаруживают несомненную повторяемость как исторических сюжетов, так и их трактовок, что позволяет обобщить единичные свидетельства. В рамках статьи будут рассмотрены повествования о тактике декабристов в период подготовки и проведения ими восстания на Сенатской площади.

Методологической основой исследования является семиотический анализ. Труды историков, созданные в пространстве советской культуры эпохи позднего сталинизма и выполняющие помимо научной еще и идеологическую функцию[5], построены по принципу многоярусной семантики[6]. Повествование историков о декабристах включает в себя два смысловых уровня: денотативный и коннотативный. Теория и практика анализа таких текстов разработана и апробирована Р. Бартом[7]. Первичный семиотический уровень представлен естественным языком как де-

[2] Бокова 2003: 3-24.

[3] Мы разделяем тезис Х. Уайта и Ф. Анкерсмита, согласно которым историческое прошлое как упорядоченный (объединенный причинно-следственной связью) и осмысленный феномен конструируется историком при помощи лингвистических и литературных средств (Анкерсмит 2009; White 1990). Язык науки не может быть полностью свободен от литературных приемов (Iggers 1997).

[4] Несмотря на то, что проанализированные тексты были опубликованы главным образом в середине 1950-х гг., работа над ними велась еще при жизни Сталина. В более поздних трудах уже обнаруживается отход от историографических схем и концепций эпохи сталинизма. См., напр.: Ланда 1975.

[5] В 1950-е гг. советские историки должны были фактами подтвердить тезис Ленина о декабристах как первых русских революционерах, стремившихся к свержению самодержавия и ликвидации крепостничества. При этом не имело значения, как высказывания Ленина соотносятся с историческим контекстом (Юрганов 2011: 677). Публикация текстов уже после смерти Сталин, не отменяло необходимости для авторов следовать руководящим указаниям, даже в середине 1950-х – середине 1960-х гг. историкам удалось получить лишь относительную свободу (Сидорова 1997: 266).

[6] В таких текстах «одни и те же знаки служат на разных структурно-смысловых уровнях выражению различного содержания» (Лотман 2002b: 286). По такому принципу построены, например, художественные тексты (см. об этом: Барт 1989; 2001; 2008).

[7] О коннотативной семиотике Барта см.: Косиков 2008.

нотативной знаковой системой. Его семантика доступна всякому, владеющему языком, на котором написан текст, поэтому чтение на этом уровне не представляет проблем. Вторичный семиотический уровень текста представлен его коннотативным компонентом, в основе которого лежит язык культуры. Этот уровень уже непрозрачен с семантической точки зрения, поскольку здесь для выявления смысла сообщения необходимо знание культурно-семиотического кода. Превращение декабризма в знак революционности осуществлялось именно на уровне языка культуры. Для раскрытия семиотических основ концептуализации декабристской тактики в советской историографии середины 1950-х гг. необходимо найти знаки вторичной семиотической системы, определить культурно-семиотический код и выявить семантику знаков вторичной знаковой системы в пределах данного кода.

Знаки вторичной семиотической системы. Проанализированные повествования о восстании 14 декабря 1825 г. отличаются повторяемостью ряда сюжетов: все историки пишут о наличии у декабристов продуманного плана действий, о серьезной агитационной работе членов тайных обществ в армии и подчеркивают военный характер восстания. За разнообразием плана выражения и объема информации[8] в этих сюжетах обнаруживается единство плана их содержания. С семиотической точки зрения каждый из этих сюжетов является знаком, который в советской культуре 1950-х гг. имел свои коннотации.

Первым знаком является *планомерность*. Говоря о подготовке восстания, советские историки делают акцент на наличии у членов тайных обществ тщательно разработанного плана восстания. М.В. Нечкина отмечала, что декабристы готовились к выступлению «не менее пяти лет», причем «отдельные существенные элементы плана» были «много старше» и восходили еще к Союзу Спасения, т.е. к 1816–1818 гг.[9] Наличие плана действий у декабристов отмечается даже в текстах, специально не посвященных восстанию на Сенатской площади. К примеру, Н.С. Захаров в статье о петербургском совещании декабристов в 1824 г. останавливается на обсуждении членами тайных обществ планов восстания[10]. Об энергичной разработке планов переворота членами Южного и Северного обществ говорится и в статье Л.А. Медведской, посвященной связям декабристов с Польским патриотическим обществом[11]. В ряде случаев отмечается наличие сразу нескольких планов выступления, которые принимались и отвергались в зависимости от меняющейся обстановки. У декабристов был общий «революционный план» и «конкрет-

[8] План выражения знака вторичной знаковой системы может соответствовать как одному слову, так и нескольким страницам текста. В этом смысле интересен пример Р. Барта с рекламой фирмы «Пандзани». В слове *Пандзани* коннотативным означающим является фонематическое «дз», отсылающее к итальянской культуре. Разбор этого примера см.: Косиков, 2001.

[9] Нечкина 1955: 224.

[10] Захаров 1954: 113.

[11] Медведская 1954: 291.

ные планы», разработанные на его основе[12]. Так, Южное общество подготовило т.н. Белоцерковский план, ключевую роль в котором играла армия[13], затем, после смерти Александра I, «Пестель создает новый конкретный план реального выступления»[14]. В период междуцарствия из-за резко поменявшейся ситуации был разработан новый план восстания[15].

В повествовании советских историков о планах вооруженного восстания, разработанных декабристами, важную роль играет понятие *организованность*. 14 декабря – ни в коем случае не стихийное выступление в удобный момент, «какого упускать нельзя». Продуманный план должен был свести к минимуму случайность и хаос в действиях восставших. Организованное выступление противопоставлялось стихийности народного бунта, анархического по своей сути, декабристы же «были противниками "пугачевщины" – народного "мятежа", лишенного единого руководства»[16]. Поэтому они заранее определили круг командующих. Еще за год до восстания, как показал Н.С. Захаров, декабристы договорились «утвердить организационные формы, обеспечивающие единое и твердое руководство <…> в период подготовки выступления и во время самого переворота»[17]. Согласно плану, декабристы должны были с помощью армии захватить стратегически важные объекты – Петропавловскую крепость, арсенал, а также Зимний дворец, захват которого планировался в связи с необходимостью ареста царской семьи[18].

Вторым знаком декабристской тактики в использованных нами текстах является *агитационная работа в армии*. Планируя совершить вооруженное восстание, декабристы заранее готовили солдат к перевороту, разъясняя им его цели. Отправные моменты агитационной работы советские историки усматривают уже в послевоенных офицерских артелях и желании будущих декабристов противостоять «аракчеевской реакции»[19]. Далее агитация шла по нарастающей, охватывая уже целые воинские части: «пропагандой были затронуты полки Саратовский, Пензенский и 9-я и 8-я артиллерийские бригады»[20]. Часто в текстах приводятся примеры, свидетельствующие об активной агитационной работе декабристов в армии[21]. Задача пропаганды заключалась в подготовке солдат, сознательно выходящих на площадь. Членам тайных обществ, согласно нашим текстам, не нужен был воин, слепо подчиняющийся приказам. Они хотели вывести под стены Сената части, понимающие и разделяющие цели восстания. Случайность и неосознанность действий

[12] Нечкина 1955: 219.
[13] Порох 1954: 128.
[14] Нечкина 1955: 205.
[15] Там же: 217.
[16] Там же: 341.
[17] Захаров 1954: 114.
[18] См., напр.: Аксенов 1951: 307; Нечкина 1955: 241, 242, 244.
[19] Прокофьев 1953: 130–136.
[20] Нечкина 1955: 187.
[21] См., напр.: Габов 1954: 143; Нечкина 1955: 187; Оксман 1954: 463.

солдатской массы исключались: «пропаганда шла вглубь, – пишет М.В. Нечкина, – знакомила с существованием тайного общества и его главной целью, поднимала солдат на восстание и наметила в солдатской массе определенную организацию»[22]. В этом декабристам сопутствовал успех: на Сенатскую площадь вышли революционно настроенные воинские части. Солдаты действовали исходя из своего революционного настроя в нарушение приказов высших командиров: «противоречие приказу начальства, “воле начальства”, отказ от слепого повиновения, решение действовать по своему разумению <…> бросаются в глаза»[23].

Третьим знаком декабристской тактики в рассмотренных текстах является *вооруженное восстание*. Общее место советской историографии – трактовка событий на Сенатской площади как попытки свержения «устаревшего феодально-крепостнического строя» с помощью оружия. Идея вооруженного восстания, согласно нашим текстам, была выдвинута декабристами задолго до событий 14 декабря. Уже члены Общества соединенных славян (образовано в 1823 г.) «ясно и определенно ставили вопрос о необходимости вооруженного восстания. Для них было совершенно ясно, что царь и помещики добровольно не уступят своей власти, поэтому они должны быть свергнуты с помощью оружия»[24]. И.В. Порох отмечал, что «в основе тактического плана, принятого Южным обществом, лежало разделяемое также и Северным обществом положение, что переворот должен носить характер военной революции»[25].

Вооруженное восстание предполагало силовое принуждение органов государственной власти к принятию условий, выдвинутых декабристами. Выведенные на Сенатскую площадь войска должны были открыть огонь. О готовности декабристов к кровопролитию говорится практически во всех наших текстах. К примеру, согласно К. Аксенову, большинство членов Северного общества придерживалось принципа, согласно которому «крови бояться не должно»[26].

Прямой денотативный смысл всех вышеперечисленных знаков понятен любому владеющему русским языком. Подготовка к восстанию 14 декабря и само восстание на Сенатской площади включали в себя, согласно нашим текстам, во-первых, тщательное планирование декабристами своих действий с целью осуществления организованного выступления; во-вторых, агитацию в армии; и, наконец, в-третьих, вооруженное восстание с захватом стратегически важных объектов столицы. Теперь наша задача заключается в определении коннотаций этих знаков.

Семиотический код. Коннотации актуализируются и приобретают фиксированное значение благодаря ассоциациям, возникающим в пределах той культуры, в которой создан текст. Возникают они на

[22] Нечкина 1955: 184.
[23] Там же: 308.
[24] Габов1954: 142.
[25] Порох 1954: 131.
[26] Аксенов 1951: 257.

основе так называемой памяти контекста, интертекстуальных связей произведения – через актуализацию явных и скрытых отсылок к прецедентным текстам данной эпохи и к знаковым для данной культуры событиям[27]. Поскольку культура представляет собой совокупность семиотических кодов[28], наша задача найти тот код, в рамках которого повествование советских историков о тактике декабристов функционировало как знаковая система, т.е. возникало явление семиозиса.

В отличие от исторического времени, последующие события которого обусловлены предшествующими, историографическое время течет в обратном направлении – от настоящего в прошлое. События прошлого оказываются в зависимости от событий настоящего. Б.А. Успенский, уделивший специальное внимание семиотическим основам исторической интерпретации, показал, что исторический опыт не есть нечто абсолютное и объективно данное, он меняется со временем и выступает как производное от текущей ситуации. Однако далеко не все события настоящего оказывают влияние на осмысление прошлого. Такую силу получают только такие события, которые играют смыслообразующую роль – речь идет о семантических доминантах культуры[29].

В сталинскую эпоху такой семантической доминантой являлась история революций начала XX в. в России. Движение декабристов не было самостоятельным феноменом в интеллектуальном контексте середины 1950-х гг. Оно было погружено в парадигму единого «революционного движения»[30]. Достаточно вспомнить ленинскую идею преемственности революционных поколений, которая в советской культуре была закреплена в виде метафоры искры, высеченной декабристами, из которой впоследствии большевики раздули пламя[31]. Эта идея была воспринята советской историографией: «К 1817 г., – писал П.В. Никандров, – группа молодых революционеров, движимая горячим чувством патриотизма, создала политическое общество для борьбы против деспотизма и тем самым бросила в русский народ первую революционную искру. Ровно через 100 лет эта искра разгорелась в великое пламя пролетарской революции, которая открыла новую эру в истории человечества»[32]. Ленинский тезис о преемственности революционных поколений, связывавший 1825-й год с событиями 1917-го, породил модернизирующую

[27] Как показал У. Эко (Эко 2005: 43), интертекстуальные связи актуализируются в произведении с участием читателя.

[28] Лотман 2002а; Лотман 1992.

[29] Подробнее о семантических доминантах см.: Успенский 2002: 9–45.

[30] Ильин 2014: 6.

[31] Речь идет о знаменитой фразе, связывающей начало революционного движения в России (декабристов) с его завершением (большевиками): «В декабре 1900 года за границей вышел первый номер газеты “Искра”, – говорится в учебнике “История ВКП(б). Краткий курс”. – Под заголовком газеты было изречение (эпиграф): *“Из искры возгорится пламя”*. Эти слова взяты из ответа декабристов поэту Пушкину, который послал им приветствие в сибирскую ссылку». – История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс: 25.

[32] Никандров 1955: 6–7.

интерпретацию декабристов. Этот феномен был отмечен уже Г.Д. Алексеевой, показавшей, что П.И. Пестель стал в советской культуре ни много, ни мало родоначальником большевистской аграрной программы[33].

В целом, интерпретация прошлого сквозь призму революций начала XX в. и истории большевистской партии как семиотической доминанты советской культуры характерна для рассматриваемого нами периода и не ограничивается только лишь осмыслением истории декабризма. К примеру, А.М. Дубровский отметил, что в сталинское время модернизировалась деятельность Петра I. Между ним и большевиками проводилась известная параллель – политика Петра сближалась с советской индустриализацией. Это видно даже на основе дискурса, в рамках которого велось повествование о деятельности Петра I. Говорилось, что он создавал не мануфактуры, а, как и Сталин, фабрики[34].

История революционных событий начала XX в. является тем семиотическим кодом, который позволит нам «дешифровать» повествование советских историков. В рамках этого кода знаки, закрепленные в их текстах, обретали свои культурно-обусловленные смыслы. Далее для краткости будем называть этот код советским революционным кодом.

Одной из основных тем советского метанарратива о революции являлась борьба внутри революционного движения – борьба настоящих революционеров с «попутчиками революции», к которым советская идеология относила «мелкобуржуазных демократов», либералов, соглашателей, «экономистов», оппортунистов и т.п., представленных, прежде всего, эсерами и меньшевиками. Это противостояние мыслилось как один из важнейших факторов, влиявших на все революционное движение, и рассматривалось как дело не меньшей важности, чем борьба с монархией. Поскольку в сталинскую эпоху декабристы были названы предшественниками большевиков, в их образе не могло быть и намека на стихийность и оппортунизм. Советская культура предлагала целый набор критериев, на основании которых можно было верифицировать революционность исторического героя. Одним из них и была тактика. Поскольку большевистская тактика получила статус образцовой, на нее должны были равняться в историографическом смысле все те, кто был зачислен в предшественники радикального крыла русской социал-демократии. На характеристике большевистской тактики и, главное, на том значении в семиотическом понимании этого слова, которое приписывалось каждому ее элементу, мы сконцентрируем свое внимание.

Семантика знаков вторичной семиотической системы. В истории России было немало народных бунтов, но они не получили в советской культуре высокий статус революционных выступлений. Разграничение между революцией и бунтом основывалось в рамках интересующего нас кода на противопоставлении понятий *планомерность* и *стихийность*. Бунт вспыхивает сам собой, он не подготовлен, и в этом его

[33] Алексеева 1997: 124.
[34] Дубровский 2005: 86.

слабость. Революция – плод трезвого расчета, она просчитана до деталей, и каждый ее участник знает свою роль. Революционеры – профессионалы своего дела, умеющие организовать и успешно провести восстание на основе конкретного плана. Именно этому учил советского читателя «Краткий курс»: перед октябрьскими событиями 1917 г. Ленин «давал конкретный план восстания: о том, как использовать воинские части, флот и красногвардейцев, о том, какие решающие пункты в Петрограде необходимо захватить, чтобы обеспечить успех восстания»[35].

Наоборот, отсутствие плана в действиях восставших грозит обернуться поражением. Именно стихийность в действиях восставших, согласно «Краткому курсу», обернулась крахом декабрьского восстания 1905 г. в Москве: «Лишившись руководящего центра, не имея общего по городу плана борьбы, районы ограничивались главным образом обороной. Это было основным источником слабости Московского восстания»[36]. В этом контексте показателен дискурс советских историков, которые не считали действия декабристов на Сенатской площади обороной, вызванной стихийностью выступления: восстание никак нельзя назвать «“стоянием” или “топтанием” на месте», днем 14 декабря шло *развертывание войск*, восстание «не “стояло”, а собирало свои силы»[37].

Если планомерность ассоциируется в рамках советского революционного кода с большевиками как с подлинными революционерами, то стихийность однозначно была связана с «мелкобуржуазными демократами» и анархистами, которые «окружают пролетариат со всех сторон мелкобуржуазной стихией, пропитывают его ею, развращают его ею, вызывают постоянно внутри пролетариата рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, переходов от увлечения к унынию»[38]. Именно из-за своей стихийной природы анархизм, согласно Ленину, был обречен на поражение. В октябрьские дни 1917 г. анархисты, в отличие от большевиков, ничего не смогли сделать для «действительного и полного уничтожения остатков феодализма в России» и «растерянно стояли в сторонке»[39]. Сходные мысли обнаруживаем и в работах Сталина, который весьма критически оценивал всех, кто «преклоняется перед “стихией”»[40].

Революция в отличие от стихийного бунта проходит как военная операция, с единым командованием и использованием оружия на профессиональной основе. Этот тезис рефреном звучит в целом ряде работ Ленина, причем как в ранних текстах, написанных еще в период первой русской революции, так и в более поздних, когда на первый план вышла задача интерпретации бурных событий начала XX века. К приме-

[35] История Всесоюзной коммунистической партии..: 196.
[36] Там же: 79.
[37] Нечкина 1955: 322.
[38] Ленин 1981: 27.
[39] Ленин 1970: 102.
[40] Сталин 1954: 132.

ру, и в «Двух тактиках социал-демократии…» (1905), и в «Детской болезни левизны в коммунизме» (1921) Ленин выделял вооруженное восстание как характерную черту настоящей революции[41].

Знак *вооруженное восстание* позволял в рамках советского кода определить подлинно революционную тактику. Весьма показательно четкое противопоставление на страницах «Краткого курса» большевистской и меньшевистской позиций во время декабрьских событий 1905 г. в Москве: «Меньшевики и большевики дали разную оценку декабрьскому вооруженному восстанию. Меньшевик Плеханов после вооруженного восстания бросил упрек партии: “Не надо было браться за оружие”. Меньшевики доказывали, что восстание – ненужное и вредное дело, что в революции можно обойтись без восстания, что успеха можно добиться не вооруженным восстанием, а мирными средствами борьбы. Большевики клеймили такую оценку как предательскую. Они считали, что опыт Московского вооруженного восстания только подтвердил возможность успешной вооруженной борьбы рабочего класса»[42].

Большевистская тактика вооруженного восстания предполагала обязательное привлечение армии на сторону восставших. Исключительное значение армии в революции было зафиксировано в советской культуре. К примеру, восстание на броненосце «Потемкин» имело, согласно Ленину, «громадное значение», поскольку «впервые крупная часть военной силы царизма, – целый броненосец, – перешла открыто на сторону революции»[43]. В целом переход армии на сторону революционеров Ленин считал переходом Рубикона[44].

Армия, гласили советские тексты, никогда не переходит на сторону революции просто так. Массовое выступление солдат является следствием кропотливой агитационной работы революционеров. Неудивительно поэтому, что *агитационная работа в армии* стала знаком подлинно революционной тактики в рамках советского революционного кода. «В особенности большую работу, – читаем в учебнике по истории партии о событиях лета 1917 г., – повели большевики в армии. Повсюду стали создаваться военные организации. На фронтах и в тылу большевики неутомимо работали над организацией солдат и матросов»[45]. В резолюции ЦК РСДРП (б), принятой утром 22 апреля/5 мая 1917 г., которая была опубликована впоследствии в собрании сочинений Ленина, говорилось, что для подготовки революции необходима «пропаганда и агитация от группы к группе среди каждого полка». Сходные мысли обнаруживаем и в публицистике. Так, в статье, посвященной 20-летнему юбилею октябрьских событий 1917 г., опубликованной в «Правде», сказано: «В ночь на 21 ноября Военно-революционный комитет назначил

[41] Ленин 1960: 44; Ленин 1981: 75.
[42] История Всесоюзной коммунистической партии…: 80.
[43] Ленин 1967: 336.
[44] Там же: 337.
[45] Там же: 184.

своих комиссаров по полкам питерского гарнизона с задачей сплотить вокруг себя революционные элементы, изолировать буржуазный командный состав, держать полки в полной боевой готовности»[46].

Тезис о работе в армии как признаке революционности был закреплен и растиражирован в советской культуре 1950-х гг. благодаря художественной литературе. В 1952 г. была издана автобиографическая повесть старого большевика (члена РСДРП с 1904 года) П. Никифорова «В годы большевистского подполья». Говоря о первой русской революции, автор отмечает, что необходимым элементом работы революционеров являлась работа в солдатской среде: «Николай рассказал мне, что он представитель военной организации Петербургского комитета партии и что ему поручено руководить работой среди солдат петербургского гарнизона. <...> Под руководством Николая я создал сначала небольшую группу, которую с его разрешения назвали “Социал-демократическая группа Гвардейского экипажа”. <...> В течение зимы мы создали кружки во всех четырех строевых ротах экипажа», «революционную работу в войсках петербургского гарнизона в 1904–1905 годах большевики вели широко и планомерно»[47].

Напротив, роль агитации и пропаганды в армии недооценивали оппортунисты. Их тактика «трусливого реформизма», исключавшая работу в армии, была признана бесперспективной. Согласно «Краткому курсу», меньшевики и эсеры старались ввести начавшееся революционное движение в «нужные либеральной буржуазии рамки», коренная ломка порядков, за которую выступали большевики, им была не нужна[48].

Советский революционный код, таким образом, включает в себя те же знаки, которые мы видим в трудах советских декабристоведов[49]. И это далеко не случайность. Знаки, зафиксированные в прецедентных текстах советской культуры, играли важную семиотическую роль – они являлись маркерами истинной революционности. Знание семантики указанных выше знаков в пределах советского революционного кода позволяет нам говорить о коннотативном пласте советской историографии декабризма. Повествование о тактике декабристов коннотировало на уровне вторичной знаковой системы идею *несомненной революционности* декабристов. Более того, восстание 14 декабря 1825 г., несмотря на его поражение, в пределах интересующего нас семиотического кода нельзя интерпретировать как бунт. Благодаря планомерности и вооруженному характеру оно оказывается неизмеримо ближе к *революции*, чем к стихийному выступлению по удобному случаю.

---

[46] Двадцать лет Великой Октябрьской социалистической революции…: 1.
[47] Никифоров 1952: 94–95.
[48] История Всесоюзной коммунистической партии…: 168.
[49] Разумеется, это вовсе не означает, что только этими знаками и ограничивается интересующий нас семиотический код. Мы рассмотрели в соответствии с задачами настоящей работы только ту часть революционного кода, которая связана с вопросами подготовки и проведения восстания.

Выводы. Таким образом, идея революционности движения декабристов была сформулирована в советской историографии интересующего нас периода не только в явном виде (т.е. на уровне естественного языка). Эта идея была включена в повествование на уровне вторичной знаковой системы через скрытые отсылки к ключевым для советской культуры событиям в России начала XX века и к истории партии большевиков, зафиксированным в прецедентных текстах советской эпохи. Межтекстовое взаимодействие порождало своеобразную интеллектуальную игру, когда в историческом произведении благодаря памяти контекста актуализировались искомые смыслы. Утверждение о революционности декабристов, сделанное на уровне двух знаковых систем – как денотативной, так и коннотативной, – лишь усиливало суггестивный эффект исторического повествования.

История революций, канонизированная в работах В.И. Ленина, И.В. Сталина и «Кратком курсе», была своеобразной точкой отсчета для построения истории всего общественного движения в России. Декабристы мыслились в советской культуре как предшественники большевиков, но интерпретировались при этом на основе истории своих легендарных потомков. Историографическое время в этом смысле текло в обратном направлении, поскольку ранние события оказывались в зависимости от более поздних. Российские революции начала XX в. и история партии большевиков были семантической доминантой, благодаря которой доступный декабристоведу материал исторических источников, представлявший массу неупорядоченной информации, обретал смысл и выстраивался в единое стройное повествование.

ИСТОЧНИКИ

Аксенов К. Северное общество декабристов. Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1951. 320 с. [Aksenov K. Severnoe obshchestvo dekabristov. L.: Leningradskoe gazetno-zhurnal'noe i knizhnoe izdatel'stvo, 1951. 320 s.].

Габов Г.И. Общественно-политические и философские взгляды декабристов. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. 293 с. [Gabov G.I. Obshchestvenno-politicheskie i filosofskie vzglyady dekabristov. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1954. 293 s.].

Двадцать лет Великой Октябрьской социалистической революции (тезисы для пропагандистов) // Правда. 1937. 5 ноября. С. 1. [Dvadcat' let Velikoj Oktyabr'skoj socialisticheskoj revolyucii (tezisy dlya propagandistov) // Pravda. 1937. 5 noyabrya. S. 1.].

Захаров Н.С. Петербургское совещание в 1824 г. // Очерки из истории движения декабристов: Сборник статей / Под. ред. Н. М. Дружинина, Б. Е. Сыроечковского. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. С. 84–120. [Zaharov N.S. Peterburgskoe soveshchanie v 1824 g. // Ocherki iz istorii dvizheniya dekabristov: Sbornik statej / Pod. red. N.M. Druzhinina, B.E. Syroechkovskogo. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj lite-ratury, 1954. S. 84–120.].

История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Государственное издательство политической литературы, 1946. 352 с. [Istoriya Vsesoyuznoj kommunisticheskoj partii (bol'shevikov). Kratkij kurs. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1946. 352 s.].

Ланда С.С. Дух революционных преобразований 1816–1825. М.: Мысль, 1975. 379 с. [Landa S.S. Duh revolyucionnyh preobrazovanij 1816–1825. M.: Mysl', 1975. 379 s.].

Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в социал-демократической революции // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической

литературы, 1960. Т. 11. С. 1–131. [Lenin V.I. Dve taktiki social-demokratii v social-demokraticheskoj revolyu-cii// Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij: v 55 t. Izd. 5-e. M.: Izd-vo po-liticheskoj literatury, 1960. T. 11. S. 1–131.].

Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической литературы, 1981. Т. 41. С. 1–104. [Lenin V.I. Detskaya bolezn' «levizny» v kommunizme // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij: v 55 t. Izd. 5-e. M.: Izd-vo politicheskoj literatury, 1981. T. 41. S. 1–104.].

Ленин В.И. Новые времена, старые ошибки в новом виде // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической литературы, 1970. Т. 44. С. 101–109. [Lenin V.I. Novye vremena, starye oshibki v novom vide // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij: v 55 t. Izd. 5-e. M.: Izd-vo politicheskoj literatury, 1970. T. 44. S. 101–109.].

Ленин В.И. Памяти Герцена // Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической литературы, 1968. Т. 21. С. 255–262. [Lenin V.I. Pamyati Gercena // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij: v 55 t. Izd. 5-e. M.: Izd-vo politicheskoj literatury, 1968. T. 21. S. 255–262.].

Ленин В.И. Революционная армия и революционное правительство // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической литературы, 1967. Т. 10. С. 335–344. [Lenin V.I. Revolyucionnaya armiya i revolyucionnoe pravitel'stvo // Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij: v 55 t. Izd. 5-e. M.: Izd-vo politicheskoj literatury, 1967. T. 10. S. 335–344.].

Медведская Л.А. Южное общество декабристов и польское Патриотическое общество// Очерки из истории движения декабристов: Сборник статей / Под. ред. Н. М. Дружинина, Б. Е. Сыроечковского. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. С. 276–319. [Medvedskaya L.A. YUzhnoe obshchestvo dekabristov i pol'skoe Patrioticheskoe obshchestvo // Ocherki iz istorii dvizheniya dekabristov: Sbornik statej / Pod. red. N. M. Druzhinina, B.E. Syroechkovskogo. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1954. S. 276–319.].

Нечкина М.В. Движение декабристов: В 2-х т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. Т. II. 505 с. [Nechkina M.V. Dvizhenie dekabristov: V 2-h t. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1955. T. II. 505 c.].

Никандров П.В. Мировоззрение П.И. Пестеля. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1955. 164 с. [Nikandrov P.V. Mirovozzrenie P.I. Pestelya. L.: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1955. 164 s.].

Никифоров П.М. В годы большевистского подполья. М.: Молодая гвардия, 1952. 327 с. [Nikiforov P.M. V gody bol'shevistskogo podpol'ya. M.: Molodaya gvardiya, 1952. 327 s.].

Оксман Ю.Г. Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX в. // Очерки из истории движения декабристов / Под. ред. Н.М. Дружинина, Б.Е. Сыроечковского. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1954. С. 451–515. [Oksman YU.G. Iz istorii agitacionno-propagandistskoj literatury dvadcatyh godov XIX v. // Ocherki iz istorii dvizheniya dekabristov / Pod. red. N.M. Druzhinina, B.E. Syroechkovskogo. M.: Gosudarstvennoe izda-tel'stvo politicheskoj literatury, 1954. S. 451–515.].

Порох И.В. Восстание Черниговского полка // Очерки из истории движения декабристов: Сборник статей / Под. ред. Н.М. Дружинина, Б.Е. Сыроечковского. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. С. 121–185. [Poroh I.V. Vosstanie CHernigovskogo polka // Ocherki iz istorii dvizheniya de-kabristov: Sbornik statej / Pod. red. N.M. Druzhinina, B.E. Syroechkovskogo. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1954. S. 121–185.].

Прокофьев Е.А. Военные взгляды декабристов. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1953. 175 с. [Prokof'ev E. A. Voennye vzglyady dekabristov. M.: Voennoe izdatel'stvo Ministerstva oborony Soyuza SSR, 1953. 175 s.].

Седьмой экстренный съезд РКП (б). Март 1918: Стенографический отчет. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. 401 с. [Sed'moj ekstrennyj s"ezd RKP (b). Mart 1918: Stenograficheskij otchet. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1962. 401 s.].

Сталин И.В. Вооруженное восстание и наша тактика // Сталин И.В. Сочинения: в 16 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. Т. 1. С. 131–137. [Stalin I.V. Vooruzhennoe vosstanie i nasha taktika // Stalin I.V. Sochineniya: v 16 t. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1954. T. 1. S. 131–137.].

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Алексеева Г.Д. История. Идеология. Политика (20–30-е гг.) // Историческая наука России в XX веке. М.: Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. С. 79–166. [Alekseeva G.D. Istoriya. Ideologiya. Politika (20–30-e gg.) // Istoricheskaya nauka Rossii v XX veke. M.: Nauchno-izdatel'skij centr «Skriptorij», 1997. S. 79–166.].

Анкерсмит Ф. История и тропология: Взлет и падение метафоры. М.: Канон+, 2009. 400 с. [Ankersmit F. Istoriya i tropologiya: Vzlet i padenie metafory. M.: Kanon+, 2009. 400 s.].

Барт Р. Основы семиологии // Нулевая степень письма. М.: Академический проект, 2008. С. 275–352. [Bart R. Osnovy semiologii // Nulevaya stepen' pis'ma. M.: Akademicheskij proekt, 2008. S. 275–352.].

Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 424–461. [Bart R. Tekstovoj analiz odnoj novelly Edgara Po // Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika. M.: Progress, 1989. S. 424–461.].

Барт Р. S/Z. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 232 с. [Bart R. S/Z. M.: Editorial URSS, 2001. 232 s.].

Бокова В.М. Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М.: Реалии-Пресс, 2003. 654 с. [Bokova V.M. Epoha tajnyh obshchestv: Russkie obshchestvennye ob"edineniya pervoj treti HIH v. Moskva: Realii-Press, 2003. 654 s.].

Дубровский А.М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930-1950-е годы) Брянск: Изд-во Брянского государственного университета им. акад. И. Г. Петровского, 2005. 800 с. [Dubrovskij A.M. Istorik i vlast': istoricheskaya nauka v SSSR i koncepciya istorii feodal'noj Rossii v kontekste politiki i ideologii (1930-1950-e gody) Bryansk: Izd-vo Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta im. akad. I. G. Petrovskogo, 2005. 800 s.].

Ильин П.В. Актуальные направления в изучении истории декабристов вчера и сегодня: некоторые оценки и наблюдения // Декабристы: Актуальные направления исследований: Сб. стат. и материалов / Сост., отв. ред. П.В. Ильин. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 3–24. [Il'in P.V. Aktual'nye napravleniya v izuchenii istorii dekabristov vchera i segodnya: nekotorye ocenki i nablyudeniya // Dekabristy: Aktual'nye napravleniya issledovanij: Sbornik statej i materialov / Sost., otv. red. P.V. Il'in. SPb.: Nestor-Istoriya, 2014. S. 3–24.].

Косиков Г. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. S/Z. М.: УРСС, 2001. С. 7–22. [Kosikov G. Ideologiya. Konnotaciya. Tekst // Bart R. S/Z. M.: Edit. URSS, 2001. S. 7–22].

Косиков Г. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Барт Р. Нулевая степень письма. М.: Академический проект, 2008. С. 5–50. [Kosikov G. Rolan Bart – semiolog, literaturoved // Bart R. Nulevaya stepen' pis'ma. M.: Akademicheskij proekt, 2008. S. 5–50.].

Лотман Ю.М. Культура и информация // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб: Академический проект, 2002. С. 143–153. [Lotman YU.M. Kul'tura i informaciya // Lotman YU.M. Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva. SPb: Akademicheskij proekt, 2002. S. 143–153.].

Лотман Ю.М. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992. С. 287–295. [Lotman YU.M. Scena i zhivopis' kak kodiruyushchie ustrojstva kul'turnogo povedeniya cheloveka nachala XIX stoletiya // Lotman YU.M. Izbrannye stat'i v trekh tomah T. I: Stat'i po semiotike i tipologii kul'tury. Tallin: Aleksandra, 1992. S. 287–295.].

Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб: Академический проект, 2002. С. 274–294. [Lotman YU.M. Tezisy k probleme «Iskusstvo v ryadu modeliruyushchih sistem» // Lotman YU.M. Stat'i po semiotike kul'tury i iskusstva. SPb: Akademicheskij proekt, 2002. S. 274–294.].

Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке. Середина 50-х гг. – середина 60-х гг. // Историческая наука России в XX веке. М.: Научно-издательский центр «Скрипторий», 1997. С. 244–268. [Sidorova L.A. Ottepel' v istoricheskoj nauke. Seredina 50-h gg. – seredina 60-h gg. // Istoricheskaya nauka Rossii v XX veke. M.: Nauchno-izdatel'skij centr «Skriptorij», 1997. S. 244–268.].

Успенский Б.А. История и семиотика. Восприятие времени как семиотическая проблема / Этюды о русской истории. СПб.: Азбука, 2002. С 9-45. [Uspenskij B.A. Istoriya i semiotika. Vospriyatie vremeni kak semioticheskaya problema / Etyudy o russkoj istorii. SPb.: Azbuka, 2002. S 9-45.].

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М.: РГГУ, 2005. 502 с. [Eko U. Rol' chitatelya. Issledovaniya po semiotike teksta. M.: RGGU, 2005. 502 s.].

Юрганов А.Л. Русское национальное государство: жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: РГГУ, 2011. 765 с. [YUrganov A.L. Russkoe nacional'noe gosudarstvo: zhiznennyj mir istorikov epohi stalinizma. M.: RGGU, 2011. 765 s.].

Iggers G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover & London: Wesleyan University Press, 1997. 182 p.

White H. Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, London: John Hopkins University Press. 1990. 244 p.

Каменев Евгений Владимирович, *кандидат исторических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет, доцент, ev.kamenev@yandex.ru*

«The Storming of the Winter Palace»: reverse time of the Soviet historiography on the Decembrists in the mid-1950s

The article explores the interpretive mechanism of the Soviet historiography of the Decembrist movement in the mid-1950s. The narrative about Decembrist tactics is taken as an example. It is shown that the idea of revolutionism of the Decembrists was formulated at the level of the secondary sign system on the basis of references to the events of the beginning of the 20th century that were important in the framework of Soviet culture. The Decembrists were named as the forerunners of the Bolsheviks in the Stalin era, but they were interpreted on the basis of the history of their legendary descendants. Historiographical time flowed in the opposite direction, because previous events depended on subsequent ones. Revolutions of the beginning of the XX c. were semantic dominant, thanks to which the material of historical sources was interpreted and built into a coherent narrative.

Keywords: Soviet historiography, Decembrism, historical interpretation, semiotics, intertext

Evgenii Kamenev, *PhD (History), associate professor, Petrozavodsk State University, docent; ev.kamenev@yandex.ru*

А.В. Миронова

ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ЦАРСКИХ ПРЕДКОВ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ[1]

В статье рассматриваются праздники царских предков, отмечавшиеся в Египте с Раннединастического периода. Прослеживается взаимосвязь культа древнего бога-павиана Хедж-ура с культом предков. Анализ надписей ярлыков царей Хора-аха, Семерхета, царских скарабеоидов, Текстов пирамид, Текстов саркофагов позволяет утверждать, что праздник Хедж-ура являлся предшественником праздника Тота и имел смысловую связь с культами «последователей Хора», «душами Гелиополя» и «душами Пе и Нехена», с которыми соотносились додинастические правители Египта и царские предки. Как показывает изучение сцен поклонения павианов солнечному богу в виньетках Книги мертвых и различных храмовых рельефах, души предков отождествлялись с павианами, уподоблявшимися, в свою очередь, небесным светилам. Такое посмертное состояние души выражалось словом *Ах*, его изображали на письме в виде хохлатого ибиса, священной птицы бога мудрости и письма Тота.

Ключевые слова: *Древний Египет, праздники, культ предков, Хедж-ур, бог Тот, храм Ниусерра, скарабеоиды, ярлыки, павиан, ибис.*

Культ царственных предков занимал одно из центральных мест в древнеегипетской религии. С момента сложения государства вплоть до греко-римского времени создавались списки царей, велись записи значимых событий и деяний правителей. Регулярное проведение праздников в честь царских предков было необходимым условием подтверждения законности власти правителя. Некоторые цари после смерти становились местными «святыми» и почитались защитниками и посредниками между людьми и богами. Сцены культа царских предков нередко встречаются в частных гробницах, особенно в период Нового царства. Изображая эти сюжеты на стенах гробницы, вельможа стремился, с одной стороны, продемонстрировать свою значимость и приближенность к царю, с другой – продолжить свое служение после смерти и разделить с правителем благополучную жизнь в загробном мире. Развитие культа проходило в двух аспектах: *имперсональном*, связанном с почитанием предков вообще, и *персональном*, имеющим отношение к памяти конкретных правителей. В настоящей статье мы рассмотрим первый из них и, привлекая сравнительный анализ памятников, содержащих сходные изображения обитателей иного мира, постараемся выяснить, имеется ли между ними сущностная связь, касающаяся культа предков.

[1] Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ (проект №19-18-00085) «Календарные праздники древнего Востока: календарный ритуал и роль темпоральных представлений в формировании традиционного сознания народов древнего мира».

Одной из важнейших египетских категорий, обозначавших посмертное существование человека, являлась *Ах* (Ах), что переводится примерно как «мощный», «сильный», «светлый» (в смысле обретения внутреннего света, зрячести)[2]. После проведения жрецом ритуала *сах* (sAx, «превращение в *Ах*») усопший вновь обретал зрение, слух[3], возможность передвигаться и сопровождать богов в их странствованиях по иному миру. Процесс превращение в *Ах* происходил в результате соединения души усопшего (*Ба*) с его телом, что соотносилось с идеей о соединении солнечного бога Ра во время его ночного путешествия с Осирисом, владыкой загробного мира[4]. В Текстах саркофагов описывается встреча богов Ра и Осириса в Мендесе и слиянии их в одну душу *Ба*[5]. Этот сюжет также встречается в сценах папирусов, изображающих ладью с солнечным богом, посылающим животворные лучи на мумию (ил. 1)[6]. Из этого видно, что оба бога равно нуждаются друг в друге: как Осирису для воскресения требуется животворный свет Ра в темноте подземного мира, так и Ра необходима эта ожившая сила, которая позволит ему возродиться утром и появиться на небе[7].

Ил. 1. Фрагмент прорисовки росписи саркофага Хенти-Тауи.
Нью-Йорк, музей Метрополитен[8]

Слово *Ах* служило также для описания определенных действий, совершаемых живым человеком в согласии с *маат*, т.е. мировым порядком. Одним из проявлений *Ах* являлось возведение царем храмов для богов или своих предков[9]. При этом на первый план выходило отношение отца и сына, бога и царя. В отношении усопшего предка царь выступал в роли Хора, который защищал своего отца Осириса, учреждал в

[2] Friedman 1985; Janák 2010: 19.
[3] Hodjash, Berlev 1982: 72.
[4] Darnell 2004.
[5] Faulkner 1973–1978. Vol. I, p. 261.
[6] См., напр., роспись саркофага Хенти-Тауи (Piankoff, Rambova 1957: 63, fig. 21).
[7] El Sebaie 2000: 42–43.
[8] Piankoff, Rambova 1957: 63, fig. 21.
[9] Friedman 2008: 10–12; Чегодаев 2009: 319.

его честь культ, возводил храмы, приносил подношения. Например, Сети I после строительства в храме Абидоса часовни в честь своего отца Рамсеса I оставил такую надпись: «*Царь Верхнего и Нижнего Египта, Меннпехтира* /=Рамсес I/, *я твой сын, Менмаатра* /=Сети I/. *Я совершил для тебя Axwt, (ибо) я построил для тебя храм для твоего Ка*»[10]. На это Рамсес I отвечал: «*За сделанное тобой да продлят они (боги) твои годы на земле и умножат для тебя хеб-седы*[11]*, согласно тому, что совершил ты Axw для меня; воистину я твой отец*»[12]. Установление царем культа в честь своего почившего отца являлось непременным условием получения от него благословения в земной жизни. Концепция взаимосвязи сына и отца в контексте обладания *Ах*-мощью прослеживается и в текстах заупокойной литературы, где говорится, что сын (Хор) становится *Ах* через своего отца (Осириса), который, в свою очередь, становится *Ах* через своего сына (Хора)[13]. Осирис, способный зачать Хора, сам является *Ах*-мощным. Таким образом, Хор оказывается проявлением *Ах* Осириса. Через своего отца Хор получает способность (*Ах*) воскресить тело Осириса, дав тому проглотить свое око[14].

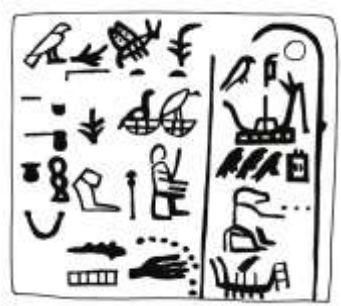
Как можно заметить, первичной силой (*Ах*) обладал Осирис, который даже будучи мертвым имел оплодотворяющую способность, обретенную им благодаря Исиде, оживившей детородный член своего супруга. Хор, получив силу от отца, мог теперь уже воскресить все его тело. Вследствие этого Осирис получал возможность говорить с сыном и дать ему благословение, что мы видели в надписи Сети I. Как Хор не может ничего совершать без силы Осириса, так и Осирис не может обрести жизнь в загробном мире без Хора. Кроме того, только воскресший Осирис мог передать трон своему сыну Хору и самому сделаться владыкой загробного мира. В контексте царского культа эти идеи означали, что царь не мог считаться «владыкой ритуала» (nb ir-xt), полноправным правителем страны без совершения подношений предкам. Эти жертвы, включавшие архитектурные постройки, ассоциировались с оком Хора, имели целью оживить усопшего и получить от него благословение. Отсюда следует, что любой ритуал должен был непременно начинаться с жертвоприношений почившим царям, после чего фараон становился уже не только Хором-сыном Осириса, но Хором-владыкой Египта. Наследование власти Осирису (=царскому предку), означало, что теперь правитель мог приступить к проведению ритуалов в честь богов.

Таким образом, обновление царского статуса должно было осуществляться ежедневно, как ежедневно умирает и воскресает Ра-Осирис,

[10] *KRI* I: 106 (7–10); Friedman 1985: 41.
[11] *Хеб-сед* – ритуал, отмечавшийся в определенные года правления царя с целью возрождения его сил и могущества.
[12] *KRI* I: 110 (9–10).
[13] Pyr. 633a, 648c; CT VII, 109 g–h.
[14] Friedman 1985: 44.

заходящий на западном горизонте и восходящий на восточном после своего ночного странствования. Появление небесного светила на небе египтяне описывали словом ха(t) («воссияние», «появление»). В ряде источников из Дейр эль-Медины, этим же словом обозначали праздники, посвященные статуям того или иного правителя[15]. Вероятно, первичным значением этих праздников являлось «воскрешение» усопшего царя и обновление царского статуса его преемника. Слово ха(t) в контексте царского культа означало смерть, погребение, восшествие на престол или коронацию правителя[16]. Поэтому не исключено, что некоторые праздники в честь царских предков могли отмечать указанные события.

Несомненно, названные праздники существовали с самого начала становления египетского государства. Один из них, вероятно, упомянут в надписи на ярлыке царя Семерхета из Абидоса (I династия) (ил. 2).



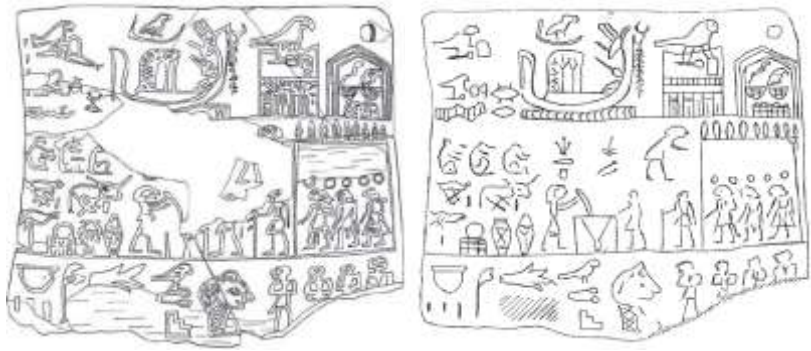
Ил. 2. Ярлык Семерхета из Абидоса (BM 32668)[17]

В правом столбце представлена группа знаков с изображениями «белого святилища» (aH-HD), трех ласточек, павиана и ладьи. Вся фраза переводится как «(праздник) бога-павиана Хедж-ура» (HD-wr, досл.: «великий белый»), или «(праздник) великих белых» (HD wrw, досл.: «великие белые»). Праздник, видимо, имел отношение к культу царских предков, обозначением которых считался белый павиан как обобщенный образ предков[18]. Важно, что данный праздник упоминается здесь как самостоятельное торжество, предполагавшее совершение водного плавания, на что указывает изображение ладьи под фигурой павиана.

Среди других источников, содержащих информацию о древнем культе царских предков, стоит отметить ярлык из Нагады царя Хора-аха (I династия) (ил. 3), предшественника Семерхета. Сцены этого памятника получали в литературе различные толкования: празднование объединения Египта[19]; празднование *хеб-седа* царя[20]; праздник в честь покой-

[15] McDowell 1992: 101.
[16] Barta 1980: 51–52.
[17] Petrie 1900, pl. 17.26.
[18] Frankfort 1948: 90; Friedman 1995: 23–25; Wilkinson 1999: 247.
[19] Emery 1961: 50.
[20] Legge 1906: 263.

ного царя Менеса, предшественника Хора-аха[21]; праздник бога Сокара[22]; объезд Египта с целью сбора налогов, предполагавший также посещение культовых центров[23]; жертвоприношения статуе Хора-аха[24].



Ил. 3. Ярлык Хора-аха из Нагады (два варианта прорисовки)[25]

Рисунки верхнего регистра содержат изображение святилища со знаком *mn* и фигурами богинь Нехбет и Уаджит, обозначающих, соответственно, территории Верхнего и Нижнего Египта[26]; следом указано имя Хора-аха и представлена ладья, плывущая по воде. В среднем регистре изображен большой сосуд, в котором два человека, вероятно, изготавливают масло или вино[27], либо растирают минерал (металл?)[28]. Левее них – жертвенные дары: скот, хлеб, вино, оливковое масло, птицы, вотивные фигурки или образы павианов[29]. Справа от сосуда стоит человек с посохом, вероятно, чиновник, наблюдавший за выполнением работы. Над ним расположена фигура человека в позе поклонения, позади которого идет надпись: «Сам царь» (nsw [n] Dt.f)[30]. Он обращен лицом к святилищу, где находятся три фигуры, которые, по всей видимости, представляют собой статуи, являющиеся объектами для поклонения (а не членов царской семьи или высокопоставленных вельмож, как полагает

[21] Grdseloff 1944.
[22] Есть версия, что его барка Hnw изображена в верхнем регистре (Gaballa, Kitchen 1969: 18).
[23] Helck 1987: 146; Mawdsley 2011: 63–64.
[24] Serrano 2002: 96.
[25] Kahl, Engel 2001: 12, Abb. 10 (слева); Helck 1987: 146 (справа).
[26] Heagy 2014: 77. По мнению З. Шотта, святилище следует называть «Обе Владычицы прочны» (Schott 1950: 113).
[27] Helck 1987: 146; Piquette 2013: 219–221.
[28] А. Серрано трактует надпись как «растирание минерала» (xwsi biA mX) (Serrano 2002: 96).
[29] Mawdsley 2011: 56
[30] По мысли А. Серрано, эта фраза относится к фигуре с посохом, представляющей собой статую царя (Serrano 2002: 96). Однако подобная трактовка вызывает серьезные возражения, поскольку надпись, во-первых, значительно отстоит от указанной фигуры, а во-вторых, находится позади согбенной фигуры.

А. Серрано[31]). Поскольку эти фигуры наряду с царем изображены в головном уборе, напоминающим царский плат-nms, есть основания полагать, что перед нами сцена поклонения и жертвоприношения образам царских предков, установленным в святилище. Таким образом, вся сцена оказывается соотнесенной с поминальным царским культом.

В нижнем регистре представлено четыре персонажа, обращенных лицом к группе иероглифических знаков, изображающих переднюю часть льва, сокола, лестничную платформу, ветку, цветок и сосуд. Вместе они составляют фразу «Прекрасное масло-sTy-Hr (или: sTy-wr)»[32]. Очевидно, находившееся в сосуде, к которому крепился ярлык, масло использовалось в ходе изображенных ритуалов. Характерно, что круглое отверстие для крепления ярлыка к сосуду находится в правом верхнем углу, где обычно помещался знак «года» (rnpt), объединяющий названия событий, случившихся в определенный год правления царя, что встречается на других ярлыках и записях Палермского камня. Вполне возможно, на ярлыке Хора-аха также имелся знак «года», обозначавший какой-то конкретный год царствования Хора-аха, в течение которого проводились праздники, представленные на ярлыке. Одним из них, видимо, был праздник в честь царских предков, называвшийся в Раннединастическое время Хедж-ур (Великий Белый), или Хедж-уру (Великие Белые). На это указывает и число статуй в святилище (три), являющееся, скорее, формой множественного числа, как в случае обозначения Великих Белых в виде трех ласточек (wrw, «великие»). Изображения ладьи и святилища с богинями Нехбет и Уаджит в верхнем регистре указывают на то, что во время праздника Великих Белых царь навещал святилища Верхнего и Нижнего Египта, посвященные его предкам. Тем самым он получал благословение от царей и символически объединял страну.

Среди церемоний, связанных с культом бога-павиана Хедж-ура, был ритуальный бег царя, представленный на рельефе фараона Джосера (ил. 4). Судя по рисунку, царь совершал бег на огороженной территории перед святилищем, где находилась статуя павиана. Смысл обряда состоял в получении царем власти от предков, представленных в виде бога Хедж-ура[33]. По мнению ряда исследователей, рельеф Джосера отображает одну из церемоний *хеб-седа*, во время которого происходило символическое обновление власти и сил царя[34]. Однако надпись на ярлыке Семерхета дает основание полагать, что при Джосере ритуальный бег проводился и во время праздника Хедж-ура[35], не связанного с *хеб-*

[31] Serrano 2002: 96.
[32] Koura 1998: 73–74; Mawdsley 2011: 62.
[33] Helck 1950: 428.
[34] Friedman 1995: 24; Barta 2015: 491.
[35] Ритуальный бег мог проводиться во время самых разных праздников, включая царскую коронацию, праздники Опет и Долины, где царь изображался в венцах Верхнего и Нижнего Египта.

седом, хотя, видимо, имевшего с ним общие черты. Слово wrw («великие»), входящее в состав названия праздника Великих Белых, могло служить для обозначения богов, обожествленных предков или *Аху*, т.е. преображенных усопших[36]. На ярлыке Хора-аха из Нагады над головами статуй, находящихся в часовне, можно увидеть кружки, которые, видимо, являются обозначением категории *Ах*, т.е. посмертного состояния души, ставшей «светлой», «сияющей», «белой» (𓅓, HD), подобно солнцу, взошедшему на восточном горизонте. Отсюда становится понятным соотнесение предков с белым цветом. Согласно заупокойным текстам, состояние *Ах* подразумевало возможность усопшего оказывался частью солнечного бога, его лучами[37]. Согласно Текстам пирамид, покойный царь заходил на западном горизонте как звезда и восходил вместе с богом Атумом как *Ах*, предварительно омывшись в Озере камыша[38].

Ил. 4. Панель Джосера из Саккары. III дин.[39]

Помимо Великих Белых для обозначения царских предков использовали понятия «души Нехена», «души Пе», «души Гелиополя». Впервые эти существа, почитавшиеся как боги, упоминаются в Текстах пирамид[40], но, несомненно, культ упомянутых «душ» (bAw) сложился ранее создания Текстов пирамид, т.е. до V династии, так как известно, что города Нехен, Пе и Гелиополь существовали с додинастического периода. Нехен (или Иераконполь) был верхнеегипетским центром почитания Хора, а Пе (или Буто) – нижнеегипетским. «Души Нехена», как правило, изображались с головой шакала, а «души Пе» – с головой сокола[41].

[36] Friedman 1995: 26, n. 142.
[37] Ibid: 46.
[38] Pyr. 158a–d, 519a.
[39] Barta 2015. Fig. 5.
[40] Pyr. 904 a–b, 1090c, 1262c, 1495c, 1549c; Frankfort 1948: 93–95.
[41] Frankfort 1948: 93.

«Души Гелиополя» отождествлялись с девяткой богов (эннеадой), почитавшихся в Гелиополе: это Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Нефтида и Сет[42]. Согласно Текстам пирамид, эти божества давали царю лестницу, чтобы он поднялся и «служил Солнцу в небе»[43] (на ярлыке Семерхета к носу ладьи под фигурой Хедж-ура прикреплена лестница). Судя по Текстам, «души Гелиополя» соотносились с «душами Пе и Нехена» и назывались «владыками Обоих Святилищ»[44] (святилищ Севера и Юга), куда после смерти отправлялся царь, желавший стать одной из «душ»: *«О, царь, стань душой (bA), как души Гелиополя! Стань душой, как души Нехена! Стань душой, как души Пе! Стань живой звездой во главе (со)братьев своих»*[45]. Как видно из текста, царь отправлялся в обитель звезд, с которыми отождествлялись его предки.

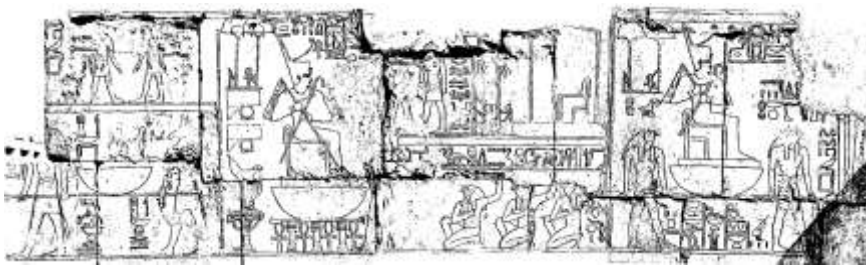
По сообщению надписей на Палермском камне, в период V династии в честь «душ Гелиополя» на 6-й лунный день проводился праздник с совершением обильных жертвоприношений[46]. Этот лунный день, как и другие дни первой половины лунного месяца, считался временем возрождения усопшего в ином мире и связывался с мифом о наполнении, т.е. исцелении ока Хора богом Тотом[47]. Согласно Текстам пирамид, праздник 6-го лунного дня соотносился с Гелиополем – культовым центром почитания солнечного бога[48]. Таким образом, он имел солярно-лунный характер, что отвечает представлениям египтян об ином мире, где душа усопшего совершает с богами ежедневное циклическое путешествие по небу, возрождаясь вместе с небесными светилами и звездами.

Начиная с Древнего царства образы различных «душ» часто встречаются в сценах, связанных с царским культом (коронация, *хеб-сед*). Считалось, что они помогали усопшему подняться на небо[49], с чем, по-видимому, связывался ритуал несения «душами Нехена и Пе» трона или царя на носилках, изображенный, например, в храме Ниусерра в Абу-Гурабе (V династия) (ил. 5) и в храме Сети I в Абидосе (XIX династия)[50].

В Текстах пирамид говорится о несении души усопшего царя «негибнущими» звездами, которые возносят его на небо[51]. В другом отрывке сообщается о пребывании царя в Полях подношений среди «негибнущих звезд, спутников Осириса»[52]. Вполне возможно, ритуал несения царя на носилках ассоциировался с путешествием царя на ладье в ином

[42] Pyr. 895 [468], 1262 [523], 1289 [535], 1655 [600].
[43] Pyr. 1090c–1090d; Pyr. 517b.
[44] Pyr. 1262b.
[45] Pyr. 904a–b.
[46] Wilkinson 1999: 153.
[47] Wallin 2002: 85–87.
[48] Pyr. 716a–e; Wilkinson 1999: 155.
[49] Pyr. 1089.
[50] Calverley, Broom 1935. Pl. 36.
[51] Pyr. 139a.
[52] Pyr. 749d–e.

мире и его приходом в область «негибнущих», т.е. околополярных звезд, с которыми отождествлялись «души Пе и Нехена» и «души Гелиополя». Эти божества оказывались посредниками между миром земным и небесным, способствуя вступлению царя после смерти в обитель богов.



Ил. 5. Сцена несения царя «душами Пе» (справа) и царского трона «душами Нехена» (слева). Прорисовка рельефа из храма Ниусерра в Абу-Гурабе[53]

Еще одно обозначение царских предков – «последователи Хора» (Smsw-@r)[54]. В записях Туринского царского папируса (датируется эпохой Рамессидов), последние додинастические правители названы «*Аху*, сопровождающими Хора» (Axw Smsw-@r)[55]. По Текстам пирамид, «последователи Хора» очищали усопшего и наряду с «душами Пе и Нехена» помогали ему подняться на небо[56]. Связь между названными божествами/душами предков прослеживается и в Текстах саркофагов, где спутники бога Хора названы «двоими из Пе» и «двоими из Нехена»[57].

Другой пример – *хеб-седные* сцены из храма Ниусерра[58] с изображением процессии людей, несущих штандарты и обозначающих «последователей Хора». За ними идет человек – представитель Гелиополя. Четверо людей несут трон, на котором восседает царь, одетый в *хеб-седное* платье (ил. 6). Вся группа направляется в сторону святилища Юга (pr-wr) и Севера (pr-nsr), где проводились церемонии *хеб-седа*. В нижнем регистре указано, что в этих святилищах почитались «Последователи Хора, боги, души Пе» (Smsw-@r nTrw bAw P). Видимо, в них помещали статуи царских предков, которые символически обновляли власть правящего царя. Судя по этим рельефам, в период Древнего царства главный центр почитания царских предков находился в Гелиополе, где, по представлениям египтян, возник первый холм творения и сложился институт царской власти. Во время важнейших праздников, имевших отношение к царскому культу, образы божеств-предков, олицетворявших различные области Египта, собирались в одном месте для утверждения

[53] Bissing, Kees 1928. Beiblatt A.
[54] Frankfort 1948: 93; Nuzzolo 2015: 370–371.
[55] Turin Canon II, 8 9.
[56] Pyr. 921a–d, 1245 c–e.
[57] CT II, 346c.
[58] Bissing, Kees 1923: 5. Bl. 11.

власти очередного правителя. Наиболее универсальным обозначением царских предков можно считать бога-павиана Хедж-ура.

Ил. 6. Сцены хеб-седа: посещение святилищ богов.
Рельефы из храма Ниусерра в Абу Гуробе[59].

Изначальный центр почитания Хедж-ура находился в Гермополе, который позднее рассматривался как город бога Тота (+Hwty), изображавшегося в виде ибиса и павиана. Вероятно, еще в период Древнего царства культ Хедж-ура трансформировался в культ Тота. Начиная с IV династии появляются сведения о существовании праздника в честь Тота[60], который, по данным памятников Среднего царства, отмечался 19-го числа 1-го месяца сезона разлива (в условной формуле – I Axt 19)[61]. Не исключено, что в те же числа проводился древний праздник Хедж-ура.

Праздник Тота нередко указывался рядом с праздником Уаг, посвященным усопшим предкам[62]. В 148-й главе Книги мертвых он упоминается наряду с лунными праздниками и праздником Осириса[63]. Вс это говорит о связи праздника Тота с заупокойным культом, а значит, и культом предков. Мифологический мотив исцеления Тотом левого глаза Хора, символизировавшего луну, связывался с благополучным воскрешением умершего, который уподоблялся Осирису, воскресшему после того, как Хор дал проглотить ему свой глаз. Таким образом, возрождение усопшего происходило при непосредственном участии бога Тота. Любое жертвоприношение богам и умершим предкам воспроизводило мифологический мотив передачи Хором глаза своему отцу Осирису, поскольку жертва символизировала исцеленное око Хора.

В период Нового царства имя Тота включалось в состав личных имен ряда правителей – Тутмосидов. Учитывая, что имя Тутмос означает «рожденный Тотом» или «бог Тот рожден», царь оказывался сыном

[59] Bissing, Borchardt 1923. Bl. 18.
[60] См. Spalinger 1994: 25.
[61] Schott 1952: 82; Spalinger 1994: 52–54.
[62] Spalinger 1996: 25, 27, 36; CT I, 276.
[63] Allen 1974: 254.

Тота или его земным воплощением. В данном контексте обратим внимание на рельеф из храма царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри с образом Тутмоса I, отца Хатшепсут, восседающего в облике павиана на святилище[64]. Очевидно, здесь Тутмос отождествляется с богом Тотом. Нетрудно заметить сходство этой композиции с древним образом Хеджура, сидящего на крыше святилища. В таком случае павиан-Тот может рассматриваться как обобщенный образ царских предков, передававших власть очередному царю. Отметим, что с павианом отождествлялся не только усопший царь, но и живой, свидетельством чему служит ряд надписей на скарабеоидах – в них рядом с тронным царским именем помещен образ павиана (ил. 7). Причем царский картуш и фигура сидящего павиана объединяются иероглифами, обозначающими «Владыка» или «Владыка Обеих Земель». Тем самым, видимо, подчеркивалась смысловая взаимосвязь между культами царя и бога Тота, с которым ассоциировался как правящий царь, так и его царственные предки, ставшие *Аху*.

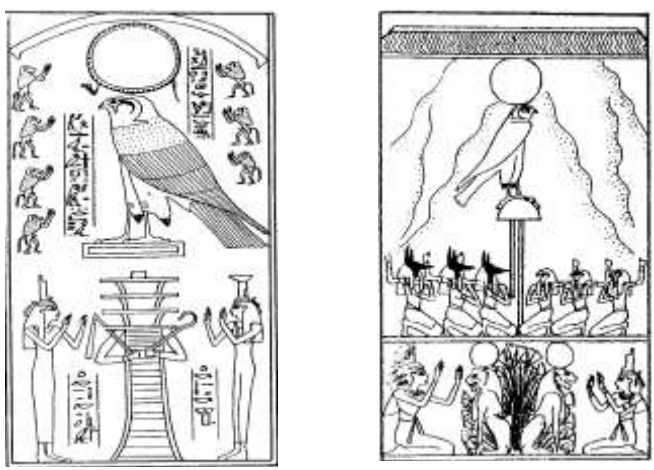
Ил. 7. Скарабеоиды с фигурами павианов, сидящих перед тронным именем царя. Слева – скарабеоид Тутмоса III (музей Гленкерн, США), справа – скарабеоид Рамсеса II (Музей искусств округа Лос-Анджелес)[65]

Важно, что наряду с царем посмертное состояние *Ах* могли приобретать и другие люди, о чем свидетельствуют уже надписи на памятниках Архаического периода[66]. Судя по Книге мертвых, состояние *Ах* связывалось с возможностью усопшего превратиться в обезьяну (gwf) и совершать в этом обличии плавание в ладье Ра (КМ, гл. 136)[67], причем это путешествие было сопряжено с необходимостью защищать солнечную ладью и «орудия богов». Как видим, образ павиана, во-первых, мог обозначать предков нецарского происхождения, во-вторых, имел отношение к мотиву ежедневного плавания Солнца по небосклону. Памятники Нового царства (храмы, царские и частные гробницы, виньетки Книги

[64] Ćwiek 2003: 227, n. 964.
[65] https://glencairnmuseum.org; https://collections.lacma.org/node/254082
[66] Kaplony 1963: 37.
[67] Naville 1886. Кар. 136, lines 3–4.

мертвых) содержат изображения богов-павианов, приветствующих восходящее или заходящее Солнце. Принято думать, что эти существа обозначали духов рассвета и заката, но из всего вышесказанного, возникает мысль об их возможной связи с образами умерших, желавших после смерти сопровождать солнечного бога в его странствованиях по небосклону. Общность представлений царя и его подданных о посмертной жизни дает основание проводить смысловые параллели между памятниками царскими и частными, описывающими обитателей иного мира, тем более что тексты и рисунки произведений заупокойной литературы, создаваемые для частных лиц (как Книга мертвых), находили отражение в храмовых рельефах, где изображен, например, царь, приветствующий заходящее Солнце[68] или работающий в Полях подношений[69].

Обращаясь к мотиву приветствия павианами восходящего или заходящего светила, отметим, что эти животные, как правило, изображались либо с молитвенно воздетыми лапами, как в храмовых рельефах и иллюстрациях к Книге мертвых, либо сидящими с опущенными лапами, как в настенных росписях царских гробниц Нового царства со сценами Книги Амдуат («Книга о том, что в Дуате»), где описывается 12-часовое ночное плавание Солнца в Дуате. Число фигур павианов могло варьироваться от двух до 18-ти и более. Скажем, на виньетке папируса Хунефера (XIX дин.) показано семь павианов, окружающих восходящее солнце, которое представлено в виде сокола с солнечным диском на голове, стоящего над знаком *джед* – символа позвоночника Осириса (ил. 8).



Ил. 8. Восход (слева) и заход солнца (справа). Виньетки 15-й гл. Книги мертвых[70]

[68] Medinet Habu… 1963. Pl. 422. Ср. КМ, гл. 15.
[69] Medinet Habu… 1963. Pl. 469. Ср. КМ, гл. 110.
[70] Слева: pLondon BM 9901,3 («папирус Хунефера») (Naville 1886. Pl. XXI); справа: pLeiden T 2 (SR) («папирус Кенны») (Naville 1886. Pl. XXII).

Так выражалась идея возрождения на рассвете солнечного бога Ра-Хорахте, сбрасывающего с себя, по окончании ночного загробного путешествия, оболочку Осириса, о чем повествует, например, Книга Амдуат.

Иногда рядом с обезьянами или вместо них изображались боги с головами сокола и шакала[71], напоминающие «души Пе и Нехена». На виньетке папируса Кенны (XIX дин.) с образом заходящего Солнца названные божества названы четырьмя Сыновьями Хора – Хапи, Имсети, Кебехсенуф и Дуамутеф (ил. 8). Эти существа, изображаемые с головами человека, сокола, павиана и шакала, считались хранителями четырех каноп для внутренних органов мумии. Впервые они упоминаются в Текстах пирамид как обозначения рук и ног царя, который восходит и заходит вместе с Солнцем[72]. Они же спасали усопшего от голода и жажды в ином мире[73], омывали его тело[74] и перевозили в Поля подношений[75], защищали от врагов в ином мире, помогая ему воскреснуть на рассвете[76].

В Текстах саркофагов они упоминаются наряду с «душами Пе и Нехена», а двое из Сыновей Хора – Имсети и Хапи – прямо называются «душами Пе»[77]. В 17-й главе Книги мертвых они оказываются одними из «семи духов» (Axw 7) и теми, кто сопровождает Осириса, находясь «за Бедром в северном небе»[78] (т.е. в созвездии Большой Медведицы). Таким образом, Сыновья Хора считались, в том числе, «негибнущими» (=околополярными) звездами, где обитали блаженные души усопших. Сопоставляя приведенные сведения о духах рассвета и заката, мы поймем, что в контексте заупокойной литературы между образами павианов и богов с головами сокола и шакала прослеживается сущностная связь, имеющая отношение к культу предков. По-видимому, семь обезьян, как и семь божеств-*Axy*, к которым принадлежали Сыновья Хора, отождествлялись с семью основными звездами созвездия Большая Медведица (егип. «Бедро в северном небе»). Все названные обитатели загробного мира соотносились с «душами Пе и Нехена», «душами Гелиополя», «последователями Хора», выполняя сходные задачи: они охраняли усопшего, доставляли его в целостности в загробный мир, помогали ему воскреснуть на рассвете вместе с Солнцем и вступить в Поля подношений, расположенные среди околополярных звезд.

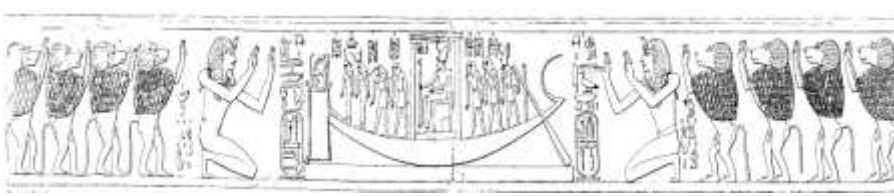
В некоторых списках Книги мертвых обезьяны отождествляются с богинями Исидой и Нефтидой, сестрами Осириса[79]. Однако это обстоя-

[71] См., напр., роспись гробницы Джхути (TT 45) (Davies, Gardiner 1948. Pl. IX);
[72] Pyr. 149a–c.
[73] Pyr. 552b–d.
[74] Pyr. 601b–d.
[75] Pyr. 1092b–d, 1228a–c.
[76] Pyr. 1333–1334 [541].
[77] CT II, 345c–348c.
[78] Budge 1898: 58–59.
[79] Naville 1886. Pl. XXX; pLondon BM 10470 («папирус Ани»), л. 10, стк. 124 (Budge 1898: 67).

тельство не противоречит предложенной ранее интерпретации образов павианов, а, скорее, полнее раскрывает их значение в контексте заупокойного культа, позволяя проследить смысловые параллели между богинями, участвовавшими в мумификации и погребении Осириса, и духами усопших предков, которые сохраняли неповрежденным тело покойного и провожали его душу в иной мир.

По сообщению Текстов саркофагов, души усопших, обретших состояние блаженства, т.е. ставших *Аху*, получали возможность не только сопровождать богов в загробном мире, но и вместе с ними «судить и говорить правду»[80]. В таком качестве они соотносились с богом Тотом, считавшимся «владыкой Истины», судьей в мире богов, выносившим окончательный приговор душе усопшего на суде Осириса. Высокое положение, занимаемое *Аху* в ином мире, наделяло их особой силой и властью в глазах живых людей, которые хотели получить от своих предков помощь в земной и загробной жизни. Неслучайно большинство праздников в Египте посвящались усопшим, в их честь проводились лунные праздники, праздник Уаг, праздник Долины и т.д.

Совершив благополучно переход из земной жизни в загробную, усопший присоединялся к богам-*Аху* и вместе с ними встречал восходящее и заходящее Солнце, тем самым уподобляясь павианам. Интересно, что во многих египетских храмах встречаются сцены совместного поклонения царя и павианов солярному богу. В качестве примера рассмотрим рельеф храма Амона-Ра-Хорахте в Карнаке (ил. 9)[81]. На входных косяках, ведущих во внутренний зал храма, в позе поклонения Амону изображены Рамсес III, павианы, «души Гермополя», души-*Ба*, а также люди-*пат* и люди-*рехит*, обозначающие, соответственно, представителей элиты и простых людей[82]. В символическом плане оказывается, что бога приветствуют все жители Египта, живые и мертвые.



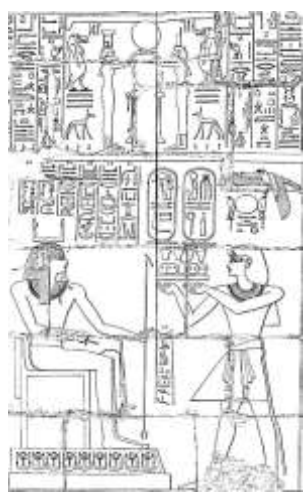
Ил. 9. Рамсес III вместе с павианами совершает поклонение ладье Ра.[83]

Приведем слова гимна павианов в честь Ра: «Павианы славят Ра, когда этот бог рождается в третий час утра. // Они встают ради него, когда он появляется. // Пребывают они в двух святилищах этого бога, когда он восходит на // восточном горизонте. // Они танцуют для него, //

[80] CT V, 159d–f.
[81] PM II-2²: 212 (40); plan XVIII.
[82] Bell 1997: 164.
[83] Рельеф архитрава часовни Ра из храма Мединет Абу. Medinet Habu… 1963. Pl. 421.

Они рукоплещут ему, // Они поют для него»[84]. Примечательно упоминание «двух святилищ» (itrty), т.е. святилищ Севера и Юга. Данные постройки описываются и в сценах праздника бога Мина, представленного на стене Второго двора храма Мединет Абу. Во время праздника в них помещали статуэтки покойных царей Верхнего и Нижнего Египта, которые оказывались «справа и слева» от статуи Мина[85]. Такие же святилища мы встречали в *хеб-седных* сценах царя Ниусерра и в Текстах пирамид, где назывались разные группы царских предков («души Гелиополя», «последователи Хора» и др.). Таким образом, в гимне из храма Мединет Абу четко проводится аналогия между павианами и царскими предками, почитавшимися в святилищах Севера и Юга.

Непосредственно под сценой поклонения ладье Ра изображены богини Исида и Нефтида, держащие в руках восходящее Солнце. Ниже идет сцена жертвоприношения, совершаемого царем перед образами *Ка* и *Ба* бога Ра[86] (ил. 10). *Ка* и *Ба* Ра иногда соотносились с царскими предками, чьи статуи носили и во время праздника Мина[87]. К тому же соединение *Ка* и *Ба* в ином мире означало превращение усопшего в *Ах*, воскресающего на рассвете вместе с солнечным богом. Вероятно, именно эта идея отражена в рельефах Мединет Абу. В таком случае оказывается, что в нижнем регистре отображены подношения статуе предка, а в верхнем – его преображение «в третий час утра», о чем сказано в гимне.



Ил. 10. Подношения Рамсеса III перед Ка Ра. Выше – восход солнца и текст гимна о приветствии бога павианами. Часовня Ра в храме Мединет Абу[88]

[84] Medinet Habu… 1963. Pl. 420; пер. по: Murnane 1980: 50.
[85] Medinet Habu… 1940. Pls. 201, 203.
[86] Medinet Habu… 1963. Pls. 420, 423–24.
[87] Murnane 1980: 51–52.
[88] Medinet Habu… 1963. Pl. 420.

Заметим, что пробуждение павианов описывается в гимне глаголом «воссиять» (ха), служившем также для описания восхода небесных светил и звезд. Таким образом, павианы в очередной раз уподобляются небесным телам, восходящим над горизонтом и заходящим за горизонт. Согласно Текстам пирамид, светлая душа (*Ах*), превращалась в негасимую звезду[89], которая «появляется», «поднимается на высоту» и «начинает светить»[90]. При этом душа должна «ухать, плясать и восклицать»[91]. Эти изречения напоминают описанное в гимне поведение павианов при встрече Солнца. В одном месте царь прямо называется «визжащим» и «ревущим» павианом[92]. Причем говорится, что он «совершает ликование», сидя «посреди юношей». Подобно павианам, царь хотел ежедневно славить на рассвете Солнце, оповещая мир об уходе тьмы, что соотносилось с мотивом уничтожения врагов бога. Об этом метафорически сказано в Текстах пирамид: «*Убита черная птица павианами*»[93]. В другом месте царь сопоставляется с небесным светилом и бабуином: «*Осветил Унис ночь, прогнал Унис (ночные) часы. Воссияли повелители, наделили они Униса (статусом) бабуина… Он великий ваш, властители. Затаитесь, люди-рехит, перед Унисом. Унис – бабуин, владыка ночного неба, бык павианов*»[94]. По-видимому, в данном случае усопший царь отождествляется с богом-павианом Тотом, который соотносился с луной, а значит, рассматривался как владыка ночного неба. Вспомним также имя Хедж-ура, переводимое как «Великий Белый» и указывающее, видимо, на лунный характер этого божества, обозначавшего предков. Кроме того, учитывая связь усопших со звездами, мы поймем, что культ предков имел лунно-звездный характер. Значит, павианы, встречавшие Солнце и обозначавшие блаженных предков, олицетворяли луну и звезды, сиявшие на ночном небе.

Интересно теперь сопоставить применительно к царскому культу смысловое значение трех видов божеств, почитавшихся в облике павианов: Хедж-ура, Тота и духов рассвета и заката. Все они символизировали одновременно правящего царя, его предков и небесные тела, видимые ночью. Поскольку с небесными телами отождествлялись только усопшие, ставшие *Аху*, то окажется, что павиан рассматривался и как образ правящего царя, переживавшего символическую смерть во время определенных ритуалов. Эта идея обыгрывалась, например, во время *хеб-седа*, направленного на обновление сил царя.

Исходя из сказанного, мы можем провести семантическую параллель между, скажем, статуей павиана царя Нармера (0 дин.), использо-

[89] Pyr. 217, 437.
[90] Pyr. 212a.
[91] Pyr. 214a.
[92] Pyr. 505a.
[93] Pyr. 1462 b.
[94] Pyr. 515a–c.

вавшейся в церемониях *хеб-седа*[95], и статуей павиана с фигурой правителя XVIII династии (ил. 11). Обе они выражают идею отождествления названного животного как с царственными предками, так и с конкретным царем, упомянутым в надписи статуи или представленным в виде скульптурной фигуры. Царь, проводивший определенные ритуалы перед подобными статуями, обозначал одновременно живого правителя, получавшего силу от своих предшественников, и умершего, которого боги наделяли в ином мире необыкновенными качествами.

Ил. 11. Статуи павиана. Слева: статуя с надписью: «Нармер» (Берлинский музей, инв. № 5782), справа: статуя павиана с фигурой царя (XVIII дин.; Музей истории искусств в Вене, инв. № 5782)[96]

Вероятно, ритуал, совершаемый перед святилищем бога-павиана, означал вступление царя в область околополярных звезд, где он не только встречался с предками, но и сам приобретал особую силу от богов. Смысл праздников, связанных с культом предков, сводился к идее возрождения и обновления сил как усопших, так и их потомков, которые в ходе праздников соотносили себя с луной и звездами, «рождавшимися» на ночном небе. Во время праздников живые и мертвые объединялись для защиты солнечного бога во время его еженощного странствования по Дуату, помогая преодолеть встречавшиеся на пути опасности и благополучно воскреснуть на рассвете.

Подводя итоги, выделим основные черты праздников, связанных с имперсональным культом царских предков. Во-первых, эти праздники, судя по всему, соотносились с лунно-звездным циклом и проводились в честь богов, олицетворявших эти небесные тела. К ним относились

[95] Hornung, Staehelin 2006: 13; Barta 2015: 490.

[96] https://www.flickr.com/photos/archaeology-archive/15060126904; https://www.khm.at/objektdb/detail/324283/

Хедж-ур, Тот, духи рассвета и заката, «души Пе и Нехена», «души Гелиополя», «последователи Хора», «последователи Хора», Сыновья Хора. Во-вторых, символическая программа праздников строилась на идее передачи власти от умерших правителей, олицетворявших разные регионы Египта, к их преемнику, который проходил этапы ритуальной смерти для «встречи» со своими предшественниками в области околополярных звезд, в т.ч. в созвездии Большая Медведица. В-третьих, праздники царских предков имели отношение к солярному культу и отмечали ночное путешествие Солнца в Дуате. Вполне возможно, основные праздничные церемонии в честь предков начинались на закате, что символизировало уход солнца в область Дуата. При этом период невидимости, т.е. «смерти» солнечного божества ночью, совпадал с периодом видимости, т.е. «рождения» луны и звезд на ночном небе. Такой двойственный характер праздников проявлялся в характере их ритуалов, в ходе которых царь выступал одновременно живым и усопшим, Хором и Осирисом. Совершая перед своим собственным образом церемонии, царь исполнял роли Тота и Хора, способствуя возрождению самого себя в облике Осириса, получающего исцеленный глаз Хора.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Чегодаев М.А. К древнеегипетской категории (Ах) // Петербургские египтологические чтения 2007–2008. Труды Государственного Эрмитажа. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа. 2009. Т. XLV. С. 318–330. [Chegodaev M.A. K drevneegipetskoi kategorii (Akh) // Peterburgskie egiptologicheskie chteniia 2007-2008. Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha. CPb.: Izdatel'stvo Gosudarstvennogo Ermitazha. 2009. T. XLV. S. 318–330].

Allen T.G. The Book of the Dead or Going Forth by Day. Ideas of the Ancient Egyptians concerning the Hereafter as Expressed in their own Terms (SAOC, 74). Chicago, Illinois: The Unversity of Chicago Press, 1974. 316 p.

Barta W. Thronbesteigung und Krönungsfeier als unterschiedliche Zeugnisse königlicher Herrschaftsübernahme // SAK. 1980. Bd. 8. S. 33–53.

Barta M. The oldest mythological run in Egyptian Western Desert? On the possible origins of the sed feast in Ancient Egypt // Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st ed. / S. Sázelová, M. Novák, A. Mizerová (eds.). Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015. P. 487–493.

Bell L. The New Kingdom “Divine” Temple: The Example of Luxor // Temples of Ancient Egypt / B. Shafer, D. Arnold (eds.). L.; N.-Y.: I.B. Tauris Publishers, 1997. P. 127–184.

Bissing F.W., Kees H. Das Re-Heiligtum des Königs Ne-Woser-Re (Rathures). Bd. II-III. Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1923-1928.

Budge W. The Book of the Dead: Chapters Coming forth by Day. L.: Kegan Paul, Trench, Trübner &Co., 1898. 354 p.

Calverley A.M., Broom M.F. The Temple of King Sethos I at Abydos. Vol. II: The Chapels of Amen-Re', Re'-Harakhti, Ptah, and King Sethos. L.: The Egypt Exploration Society; Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1935. VII p.; 46 pls.

Ćwiek A. Relief Decoration in the royal funerary Complexes of the Old Kingdom: Studies of the Development, Scene content and Iconography: Diss. Warsaw: Warsaw Univ., 2003. 357 p.

Darnell J.C. The Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity: Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun, Ramesses VI and Ramesses IX. Fribourg: Academic Press, 2004. 683 p.

Davies N., Gardiner A. Seven Private Tombs at Kurnah (Mond Excavations at Thebes, 2). L.: Egypt Exploration Society, 1948. 59 p.: ill.

El Sebaie S. M. The destiny of the world: A study on the end of the Universe in the light of Ancient Egyptian texts: thesis for the degree of Master of Arts. Toronto Univ., 2000. 112 p.
Emery W. B. Archaic Egypt. L.: Penguin, 1961. 269 p.
Faulkner R. The Ancient Egyptian Coffin Texts: 3 vols. Warminster: Aris & Phillips, 1973–1978.
Frankfort H. Kingship and the Gods: A study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature. Chicago: Univ. of Chicago pr., 1948. 444 p.
Friedman, F.D. The underground relief panels of King Djoser at the Step Pyramid Complex // JARCE. 1995. Vol. 32. P. 1–42.
Friedman R. The Root Meaning of Ax: Effectiveness of Luminosity // Serapis. 1985. V. 8. P. 39–46.
Friedman R. Remembering the Ancestors: HK6 in 2008 // Nekhen News. 2008. V. 20. P. 10–12.
Gaballa G.A., Kitchen R. The Festival of Sokar // Orientalia. 1969. Vol. 38. P. 1–76.
Hodjash S., Berlev O. The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. Leningrad: Aurora Art Publishers, 1982. 311 p.
Hornung E., Staehelin E. Neue Studien zum Sedfest (Aegyptiaca Helvetica, 20). Basel: Schwabe, 2006. 106 S.
Heagy T.C. Who was Menes? // Archéo-Nil. 2014. №24. P. 59–92.
Helck W. Rp't auf dem Thron des Gb // Orientalia. 1950. Vol. 19, No. 4. P. 416–434.
Helck W. Untersuchungen zur Thinitenzeit. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1987. 289 S.
Janák J. Spotting the Akh. The Presence of the Northern Bald Ibis in Ancient Egypt and Its Early Decline // JARCE. 2010. Vol. 46. P. 17–31.
Kahl J., Engel E. Vergraben, verbrannt, verkannt und vergessen. Funde aus dem "Menesgrab". Münster: Selbstverlag, 2001. 32 p.: ill.
Kaplony P. Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit. Vol. I (Agyptologische Abhandlungen, 8). Wiesbaden: Harrassowitz, 1963.
Koura B. Die allgemeinen und einzelnen Bezeichungen der ölhaltigen Produkte im Alten Ägypten // SAK. 1998. Bd. 26. S. 69–80.
Legge F. The labels of Negadah and Abydos // PSBA. 1906. Vol. 27. P. 252–263.
Lieblein J. Le Livre Égyptien Que mon nom fleurisse. Leipzig: I.C. Hinrichs, 1895. 47 p.
Mawdsley L. Two labels of Aha: Evidence of a pre-mortuary administrative function for First Dynasty potmarks? // Cahiers Caribeens d'Egyptologie. 2011. № 15. P. 51–68.
McDowell A. Awareness of the past in Deir el-Medina // Village Voices / R. Demaree, A. Egberts (eds.). Leiden: Leiden University, 1992. P. 95–110.
Medinet Habu. Vol. IV: Festival Scenes of Ramses III / J.A. Wilson, T.G. Allen (eds.). Chicago: Univ. of Chicago pr., 1940. 12 p.; 57 pls. (OIP, 51).
Medinet Habu. Vol. VI: The Temple Proper, Part II: The Re Chapel, the Royal Mortuary Complex, and Adjacent Rooms with Miscellaneous Material from the Pylons, the Forecourts, and the First Hypostyle Hall. Chicago: The Univ. of Chicago pr., 1963. 19 p.; 120 pls. (OIP, 84).
Murnane W. United with Eternity: A Concise Guide to the Monuments of Medinet Habu. Front Cover. Chicago; Cairo: Oriental Institute, University of Chicago, American University. 90 p.
Naville É. Das ägyptische Todtenbuch der XVIII. bis XX. dynastie. Bd. I. Berlin: Kessinger Publishing, 1886. 214 p.
Nuzzolo M. The Sed-Festival of Niuserra and the Fifth Dynasty Sun Temples // Towards a New History for the Egyptian Old Kingdom. Perspective on the Pyramid Age / P.D. Manuelian, T. Schneider (eds.). Leiden; Boston: Brill, 2015. P. 366–392.
Petrie W.M.F. The Royal Tombs of the First Dynasty. Part. I. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1900 (MEEF, 18). 51 p.; 67 pls.
Piankoff A., Rambova N. Mythological Papyri: 2 vols (Text & Plates). N.-Y.: Pantheon Books, 1957 (Bollingen Series, vol. 40, pt. 3).
Piquette K. E. "It Is Written"?: Making, remaking and unmaking early 'writing' in the lower Nile Valley // Writing as Material Practice: Substance, surface and medium / K.E. Piquette, R.D. Whitehouse (eds.). L.: Ubiquity Press, 2013. P. 213–238.
Schott S. Hieroglyphen: Untersuchungen zum Ursprung der Schrift. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaft en in Mainz 24. Mainz: Franz Steiner Verlag, 1950. 156 S.
Schott S. Das schöne Fest vom Wüstentale: Festbräuche einer Totenstadt. Wiesbaden: Akademie der Wissenschaften und Literatur, 1952. 138 p.
Serrano A.J. Royal festivals in the late Predynastic period and the First Dynasty. Oxford: Archaeopress, 2002. 116 p.

Spalinger A. Thot and the calendars // Revolutions in time: Studies in Ancient Egyptian Calendrics / A. Spalinger (ed.). San Antonio: Van Siclen Books, 1994. P. 45–60.
Spalinger A. The Private Feast Lists of Ancient Egypt. Wiesbaden: Harrassowitz, 1996. 184 p.
Wallin P. Celestial cycles. Astronomical concepts of Regeneration in the Ancient Egyptian Coffin Texts (Uppsala Series in Egyptology, 1). Uppsala: Dept. of Archaeology and Ancient History, 2002. 196 p.
Wilkinson T.A. Early Dynastic Egypt. L.; N.-Y.: Routledge, 1999. 436 p.

CT – The Egyptian Coffin Texts. Vol. I–VII / Ed. A. de Buck. Chicago, 1935–1961.
JARCE – Journal of the American Research Center in Egypt. Boston.
JSAS – Journal of the Serbian Archaeological Society.
IFAO – Institut Français d'Archéologie Orientale. Le Caire.
KRI I – Kitchen K.A. Ramesside Inscriptions: Historical and Biographical. Vol. I: Ramesses I, Sethos I, and contemporaries. Oxford: Blackwell, 1973.
MEEF – Egypt Exploration Fund, Memoirs
OIP – Oriental Institute Publications. Chicago.
PM II-2² – Porter B., Moss R. L. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. V. II: Theban Temples. 2 ed. Oxford: Clarendon, 1972. 622 p.
PSBA – Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. L. Pyr. – Sethe K. Die Altägyptischen Pyramidentexte: 4 Bde. Leipzig: Hinrichs, 1908–1922.
RdÉ – Revue d'Égyptologie. P.
SAK – Studien zur altaegyptischen Kultur. Hamburg.
SAOC – Studies in Ancient Oriental Civilization. Chicago.
ZÄS – Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. Leipzig; Berlin.

***Миронова Александра Вадимовна**, кандидат искусствоведения, доцент, Исторический факультет, Государственный академический университет гуманитарных наук; alevmir@mail.ru*

The festivals of royal ancestors in Ancient Egypt[97]

The article discusses the festivals of the royal ancestors, celebrated in Egypt since the Early Dynastic period. The relationship of the cult of the ancient baboon god Hedjwer with the cult of ancestors is traced. The analysis of the inscriptions on the labels of kings Horus and Semerkhet, the royal scarabeoids, the Pyramid Texts, the Coffin Texts allows us to assert that the festival of Hedjwer was a predecessor of the Thoth festival and had a semantic connection with the cults of the Followers of the Horus, the Souls of Heliopolis, and the Souls of Pe and Nekhen – the names used to describe, inter alia, the Predynastic rulers of Egypt and royal ancestors. The author studies the scenes of the vignettes from the Book of the Dead and various temple reliefs representing baboons worshipping the sun god. It was revealed that the souls of the deceased ancestors were identified with baboons, who, in turn, were associated with the celestial bodies. This posthumous state of the soul was expressed by the word *Akh*, depicted on the letter in the form of a crested ibis, who was also the sacred bird of Thoth, the god of wisdom and writing.

Keywords: Ancient Egypt, festivals, ancestor cult, Hedjwer, god Thoth, temple of Niuserra, labels, scarabeoids, baboon, ibis

***Alexandra V. Mironova,** PhD (Art History), Assistant Professor of the Department of History, State Academic University for Humanities; alevmir@mail.ru*

[97] This work is supported by grant of the Russian Science Foundation (project no. 19-18-00085 "Calendar Festivals of the Ancient Orient: Calendar Ritual and the Role of Temporal Representations in the Traditional Consciousness of the Ancient Peoples") and performed in Saint-Petersburg University.

А.В. Федин

«ОТРАЖАЯ ЦЕЛОМУДРЕННЫМ ТЕЛОМ МАЛЕНЬКИЙ ЛУЧ СЛАВЫ» ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О “ТУЗЕМНОЙ СВЯТОСТИ” В ИЕЗУИТСКОМ МИССИОНЕРСКОМ ДИСКУРСЕ В НОВОЙ ФРАНЦИИ

По мере знакомства с туземным миром Северной Америки и успехов в его христианизации, французские иезуитские миссионеры заменяли первоначально низкие оценки моральных характеристик индейца противоположными, подчеркивающими его благородство и духовный потенциал. В этом контексте формируется идея о том, что обращенный «дикарь» может быть святым, официально признанная орденом к началу XVIII в., когда было опубликовано житие ирокезской святой Катрин Текаквиты. Возникновение и признание феномена «индейской святости» стало завершением долгой тенденции в колониальной агиографии Новой Франции: образ «благородного дикаря» расширился, включив в себя те знаки святости, которые до этого были лишь прерогативой европейского миссионера.

Ключевые слова: *иезуиты, Новая Франция, миссионеры, редукции, святость, гендер*

21 октября 2012 года на площади Св. Петра папа Бенедикт XVI отслужил торжественную мессу по случаю причисления к лику святых Римско-Католической церкви ирокезской девушки Катрин Текаквиты (ок. 1656–1680)[1]. Католики и Нового, и Старого света ждали этого события более трехсот лет: с того времени, когда в 1680-х гг. в Новой Франции произошли первые чудеса, связанные с ее именем, и возник культ поклонения ее реликвиям и мощам. Это первый, и на сегодня единственный, представитель коренных народов Северной Америки, оказавшихся в зоне франко-английской колонизации в XVI–XVIII вв., канонизированный католической церковью. В своей гомилии папа особенно отметил те качества, которые делали Катрин святой: «Эта молодая ирокезская женщина, жизнь которой была наполнена христианской верой и горячей любовью к Иисусу в Евхаристии, нашла в Иисусе Христе силу противостоять враждебному давлению нехристианской культуры, в которой она жила, и хранить с героической преданностью обет девственности, который она дала 25 марта 1679»[2].

В своей проповеди папа отразил некоторые необходимые элементы дискурса святости, сложившегося еще в эпоху раннего христианства: гонения против потенциального святого, вызванные его верой, и безгрешность (чистота) жизни, для женщин, как правило, связанная с целомудрием. Поиск причин, почему из многочисленных атрибутов святости и оснований для канонизации Катрин были выбраны именно эти элементы, приводит к вопросу о роли иезуитского миссионерского дискурса XVII–XVIII вв. в формировании представлений о возможности обладания представителем т.н. «примитивных» народов качествами святого.

[1] Cappella Papale per la Canonizzazione Dei Beati. Omelia del Santo Padre Benedetto XVI. Piazza San Pietro, Domenica, 21 Ottobre 2012.
[2] Ibid: 37.

Вполне очевидно, что представления об экзотических племенах, формирующиеся в эпоху колониальной экспансии раннего Нового времени, в принципе не включали вероятность обладания их представителями христианскими добродетелями в такой степени, чтобы претендовать на статус святого. Подавляющее большинство этих народов (а на американском континенте – все) характеризовались как «дикарские» и «языческие», что, соответственно, ставило перед светскими и духовными конкистадорами задачи их цивилизации и обращения в истинную веру, часто рассматриваемых как единый процесс. Уже к концу XVI в. католическая церковь имела серьезный миссионерский опыт в обеих Америках, требующий своего осмысления и применения в новых сценариях религиозно-культурного контакта, разработка которых традиционно связывается с выходом в это время на глобальную арену миссионерской деятельности Общества Иисуса.

Руководствуясь в отношениях с коренным населением заморских территорий аккомодационной стратегией, иезуитские миссионеры смогли намного глубже понять ценности и паттерны традиционных культур с целью их трансформации из «языческих» в «христианские». Соответственно, такое погружение в чужеродные культурные миры, с одной стороны, порождало внутреннюю аксиологическую связь с ними у миссионера-аутсайдера, проявлявшуюся, в т.ч. в признании самоценности аборигенных традиций и эмпатии с их носителями. С другой стороны, возникали предпосылки для восприятия всего многообразия религий лишь как внешнего и формального при их сущностном единстве, основой которого являлась вера в одного общего Бога. Иезуиты, одними из первых в католической церкви предположившие, что не-европеец может быть святым, стояли, по сути, у основ современных католических концепций контекстуализации и инкультурации, опирающихся именно на такое понимание вселенской христианской церкви. Однако до эпохи аджорнаменто с его лозунгами «единства в многообразии» предстояло пройти долгий путь, и иезуитские миссионеры в Новой Франции XVII в. лишь вступили на него. Для них туземный мир был воплощением дикости и «царством Сатаны», которое следовало свергнуть путем обращения «его подданных» в истинную веру.

По мере знакомства с туземным миром Северной Америки и успехов в его христианизации, иезуитские миссионеры избавлялись от априорных установок относительно духовных качеств «дикарей». Первоначальные низкие оценки моральных характеристик индейца постепенно заменялись противоположными, подчеркивающими его благородство и духовный потенциал. Но главным условием трансформации «подлого» и «грязного дикаря» в «благородного» стало, прежде всего, принятие им христианской веры. Именно в крещении иезуиты видели путь к нравственному совершенствованию «дикаря». Более того, по мере расширения миссионного поля в Новой Франции, к середине XVII в. среди миссионеров все больше укреплялось мнение, что американские индейцы по

природе своей способны не только к пониманию истин веры, и, соответственно, к спасению, но обладают даже большим моральным и интеллектуальным потенциалом, чем анемичная, потерявшая веру Европа. «Дух божий повсюду свят и восхитителен, но слышат его не всюду одинаково, – отмечал иезуитский суперио Новой Франции о. Поль Рагено. – Неподвижность лесов кажется более приспособленной к принятию его воздействия, чем громкий шум Лувров и Дворцов»[3]. Так закладывалась будущая традиция противопоставления «благородной дикости» и «безнравственной цивилизации», определившая сущностные характеристики Благородного Дикаря в эпоху романтизма [4]. Роль же «подлых дикарей» окончательно закреплялась за оставшимися в язычестве.

Действительно, на глазах иезуитских отцов вырастала новая, «туземная» церковь, чистая от всех ересей и схизм, воплотившая не только контрреформационные идеалы, но где-то, в самих своих основах, выходящая далеко за их рамки, ближе по духу и формам к церкви времен апостола Павла. И благотворное влияние этой новой церкви обязательно должно было коснуться церкви старой, обновить и оживить ее.

Обращенные индейцы подчас демонстрировали такое рвение, которое превосходило даже требования орденской дисциплины в делах аскезы: неофиты бичевали друг друга кнутами и цепями, носили власяницы и вериги, подмешивали пепел в свою еду, часами простаивали голыми в покрытых льдом водоемах или во время метелей, клали пылающие угли между пальцами ног и лежали на циновках из терновника[5]. В миссионерских поселениях для неофитов (редукциях) в среде женщин распространилось движение девственности и целомудрия в подражание деве Марии. Молодые и старые одинаково посвящали свои тела Христу, сторонясь секса и брака вообще или, если уже были семейными, живя «как братья и сестры». И конечно, в условиях развернувшихся масштабных этнических войн, вошедших в историю Северной Америки как «Бобровые», они погибали в битвах и у пыточных столбов, очень часто, как уверяли иезуитские хроникеры, с именем Христа на устах. Для миссионеров это были не просто гибель или жертвоприношения, это были смерти мучеников за веру. Рано или поздно эти свидетельства веры индейских неофитов должны были заставить французских иезуитов внести коррективы в их понимание туземного христианства в целом, и допустить возможность достижения состояния святости в его рамках.

Впервые возможность применить категории «святости» или «мученичества» к американским индейцам возникла в среде иезуитских миссионеров еще в первой половине XVII в. В августе 1640 г. Жозеф Шихоатенхва, лидер маленькой гуронской христианской общины, был убит и скальпирован ирокезами-сенека. Шихоатенхва был известен иезуитам

[3] JR. Vol. XXXVII: 191-193.

[4] Подробнее о представлениях французских иезуитов о «благородном дикаре» см.: Федин 2010: 65-93.

[5] Du Creux 1952. Vol. II: 425.

не только своей ролью в создании и укреплении христианской церкви у гуронов, но и активной миссионерской деятельностью среди соседних племен, что способствовало их согласию на деятельность иезуитских священников в их деревнях. Будущему святому мученику о. Ж. де Бребёфу, руководившему похоронами гурона, ночью приснился яркий сон, который он записал в своем частном духовном журнале: «Своего рода павильон или купол спустился с Неба и накрыл могилу нашего христианина... Мне казалось, что Бог желал указать на состояние души этого доброго христианина»[6]. Бребеф не делает каких-либо конкретных выводов из этого неясного переживания, сохраняет его в тайне от коллег, но, очевидно, признает в индейском неофите нечто большее, чем очередную жертву этнического конфликта. Другие иезуиты в Гуронии отмечали неординарность христианского благочестия Шихоатенхвы, приближающую его к сонму святых заступников. Общую позицию гуронских отцов выразил настоятель миссии о. Ж. Лалеман: «Верно, что мы весьма надеялись на него в обращении этих племен, чьим Апостолом он стал…; но так как у Святых больше власти на небесах, чем на земле, мы полагаем, что извлекли больше пользы, чем потеряли с его смертью»[7]. Не называя гурона святым, иезуиты, тем не менее, сближают эти понятия.

В течение последующих десяти лет успехи иезуитских миссионеров среди индейских народов Новой Франции были весьма впечатляющи, что отчасти объяснялось эскалацией насилия в долине реки св. Лаврентия и регионе Великих озер, вызванной ирокезской экспансией. Наряду с уже известными иезуитам проявлениями христианского благочестия среди отдельных представителей христианизируемых народов, связанными с отказом от участия в традиционной обрядовой практике, полигамии, прозелитизмом в отношении своих языческих соплеменников или представителей других племен, утверждается новая добродетель туземцев, а именно, мученическая смерть за веру, как правило, в результате применения к ним характерного для народов североамериканского Вудленда обычая пыток военнопленных. Этот новый вид христианского рвения неофитов, особенно мужского пола, со временем стал весьма значимым для конструирования концепта «туземной святости» французскими иезуитами. Первым объектом в ряду индейских мучеников за веру стал алгонкин из иезуитской редукции Силлери Жозеф Онахаре, погибший в результате трехдневных пыток ирокезами в 1650 г. Смерть его наполнила иезуитов «и горем, и радостью». В *Иезуитской реляции* впервые формулируется предположение, что Онахаре мог быть святым, но весьма своеобразным способом: некоторые христианские гуроны, сообщает настоятель канадской миссии о. П. Рагено, «говорят, что он заслужил венец мученика, ибо на самом деле он пострадал за Иисуса Хри-

[6] MNF. Vol. VII: 480-81. Как отмечает канадский исследователь А. Грир, в барочной мистике образ «павильона или купола», как и дворца или подобного сооружения, связывался с небом, богом и святыми. – Greer 2000: 343.

[7] JR. Vol. XX: 83.

ста»[8]. Так автор выдвигает идею святости индейца Онахаре, одновременно дистанцируясь от нее, транслируя ее устами других индейцев.

Согласно Полю Рагено, Онахаре поднял оружие «лишь с целью спасения Церкви» от ее врагов-ирокезов, и принял «решение пострадать и умереть ради этой цели». Ирокезы насмехались над ним и над его верой, предлагая ему просить у Бога помощи так же, как Ирод приказал делать Иисусу. По сути, Рагено приравнял конфликт с ирокезами к священной войне, «ибо многие наши христиане не поднимали оружия,.. кроме как ради спасения Христианства в наших новых Церквях», а смерть Онахаре таким образом стала imitatio Christi, сделав его мучеником[9]. Здесь мы сталкиваемся со стратегией «культурной подмены». Сделав Христа моделью, Рагено заменил собственный культурный контекст Онахаре чужим – еврохристианским. «Но этот молодой человек, презирая их ярость, благодарил Бога за благодать пострадать как христианин, которую он даровал ему, а не как обычный дикарь». Впоследствии он перестал быть Онахаре (или даже Жозефом Онахаре) в *Реляциях*, превратившись в «Нашего Жозефа». Его смерть военнопленного была трансформирована в мученичество свидетеля веры[10].

Смерть Онахаре становится образцом для квалификации подобных инцидентов в иезуитских сообщениях из Северной Америки и моделирует представление об индейском мученичестве как близком к феномену святости во второй половине XVII в. В первом издании *Historia Canadensis seu Nova Francia* иезуита Франсуа Дюкре (Париж, 1664) она стала частью гравюры Грегуара Юрэ, изображавшей иезуитских мучеников Новой Франции, подвергающихся различным видам пыток. Самые главные, то есть, французские миссионеры, изображены в первых рядах: Изаак Жог, Жан де Бребеф, Габриэль Лалеман, Антуан Даньель и Шарль Гарнье, и на самом заднем плане – Жозеф Онахаре. Текст ниже гласит: «Жозеф Онахаре, молодой алгонкин, замученный в течение трех дней и ночей весной 1650 года за то, что отказался оставить веру в Христа». В тексте Дюкре также хвалит Онахаре, называя его «атлетом Христа», который «подражал всему, что Церковь почитает в святых мучениках», и повторяя пассаж Рагено о борьбе с врагами Церкви[11].

Однако расположение образа Онахаре на гравюре подчеркивает его маргинальность: главное действие разворачивается между индейцами (ирокезскими языческими дикарями) и миссионерами (европейскими христианскими священниками), причем первые жестоко убивают вторых за их веру, превращая тем самым в святых мучеников[12]. С одной стороны, Онахаре принадлежит ко второй группе, так как тоже претерпевает мучение за веру, но, с другой, он сам является индейцем («дика-

[8] JR. Vol. XXXV: 223.

[9] Например, для Фомы Аквинского смерть в священной войне уже была достаточной причиной для получения статуса мученика (Фома Аквинский 2014: 35, 36).

[10] JR. Vol. XXXV: 217-229.

[11] Du Creux 1952. Vol. II: 571.

[12] Подробнее об этом см.: Федин 2012: 173-201.

рем») и не обладает священническими полномочиями. Это могло породить скепсис и критику со стороны заинтересованных в дискредитации миссионерской деятельности иезуитов групп, таких как, например, реколлекты или сульпицианцы. Зная о «мученической смерти» Онахаре только со слов туземных очевидцев, иезуиты не могли доказать, что она имела христианский характер, а не являлась частью индейского ритуала пытки пленных[13]. В результате, если в ранних изданиях книги Дюкре его изображали на заднем плане в виде силуэта, лишенного каких-либо индивидуальных или культурных черт (не видно ни лица, ни элементов одежды, ни иных каких-либо маркеров), то в последующих изданиях его образ вовсе исчезает с гравюры. Рагено также не оставил записи о мученичестве Жозефа Онахаре в *Manuscrit de 1652*, первой версии агиографии канадских мучеников[14], а Жозеф Брессани даже не упомянул о нем в своей *реляции* 1653 г., написанной для высшего руководства ордена[15].

Реакция урсулинской настоятельницы Мари де л'Энкарнасьон на смерть Онахаре была более прямой и личной. Она знала его как усердного неофита, который часто посещал урсулинский монастырь для религиозного наставления. В письме своему сыну во Францию она описывает свое горе, но и материнскую гордость за его «великолепную смерть». «У меня больше нет доброго сына. Это, скорее, мой отец и заступник пред Богом»[16]. Мать-настоятельница уже была готова признать духовное превосходство туземца над собой, одновременно с иезуитами вплотную приблизившись к разработке концепции индейской святости.

Канадские иезуиты к концу XVII в. почитали как святых мучеников и других индейских христианских воинов. Этьен те Ганонакоа, один из первых ирокезов Су-Сен-Луи (Кахнаваке), был замучен до смерти в Онондага («столице» Ирокезии) в 1690 г., «охотно отдав свою жизнь, за которую Бог пролил всю свою кровь». О. Пьер Шоленек также сообщал о молодом могауке по имени Этьен Хаонвентситавет, убитом пьяными соплеменниками за попытку вернуться в иезуитскую редукцию, который «благодарил Бога за благодать умереть христианином… и молился за своих языческих родичей, и в особенности за своих убийц, которые, в ту же минуту, подняли топоры и раскололи его голову»[17].

Очищающее страдание, культивируемое христианской церковью с эпохи первых гонений, стало общим знаменателем, на котором иезуиты выстраивали дискурс «туземной святости». Уже в Средние века утвер-

[13] Сравним: японские христиане, официально признанные иезуитами мучениками, умерли таким образом, который сделал значение их смерти однозначным для христианских очевидцев: они были распяты в результате организованного государством гонений против Японской церкви в 1597 г. (Pearson 2014: 78, 224).

[14] MNF. Vol. II. 1979: 776; Vol. IV: 44; Vol. V. 1990: 284; Vol. VII: 554.

[15] JR. Vol. XXXVIII-XL. Образ Онахаре как мученика, наряду с иезуитскими миссионерами в Гуронии, вновь возник в середине XVIII в. в «Истории Канады» Шарлевуа (1744) (Charlevoix 1900. Vol. II: 238-240), но ненадолго. В 1930 г., когда Ватикан канонизировал канадских мучеников, об Онахаре вновь забыли.

[16] Lettres de la révérende mère Marie de l'Incarnation. 1876. Tome 1: 432.

[17] Lettres édifiantes et curieuses. 1838: 662-663, 667.

дилось представление о возможности достижения святости даже язычником через мученическую смерть, как это, например, представлено в «*Золотой легенде*» Якоба Ворагинского: «Потому и царица язычников-персов, приговоренная мужем к жестокой казни и еще не принявшая благодать крещения, стяжала пальмовую ветвь славного мученичества. Ведь мы не можем сомневаться в том, что она, омытая кровью, была удостоена войти в Небесные врата и обрести Царствие Небесное»[18].

Наблюдая массовые гекатомбы этнических войн в американском Вудленде, прежде всего, касавшиеся индейцев, которые приняли христианство, иезуитские миссионеры фактически вписали их страдания в уже существующую христианскую традицию. Особенно это было характерно для миссионеров, действовавших среди гуронов, где в результате упорного десятилетнего труда к началу 1640-х гг. была создана сравнительно постоянная христианская община, и ее члены тут же оказались жертвами ирокезских нападений, участившихся к тому времени. На этом фоне, в 1643 г. суперриор Гуронской миссии о. Жером Лалеман писал провинциалу Франции: «Войны стали более безжалостны, и, хотя они жесточайше разорили эту Страну, не щадя ни пола, ни возраста или состояния людей, однако мы можем истинно сказать, что, кажется, Богу угодно было пожать цветок наших Церквей тем острым мечом. В сердце этой Страны, и к дверям деревень, где наиболее преобладала Вера, ирокезы прибыли… чтобы убить тех, кто поддерживал ее и кто примером и святостью их жизней, уже обладал качествами Апостолов их страны, проповедуя лучше нас величие того, кто делает Святых из варваров»[19]. Смерть христианских «варваров» становится наиболее ярким проявлением ими истинной веры и благочестия, а также залогом возможности их превращения в святых. Здесь пока нет утверждения, что погибшие гуронские неофиты – святые, но возможность достижения этого статуса в качестве божьей милости уже признается. К концу XVII в. иезуиты фактически синонимизируют смерть и обретение индейскими неофитами святости, что, в целом, также укладывается в общехристианские нормы. «Признаюсь, – писал отец Карейль из миссии кайюга Сен-Жозеф в 1670 г., – большое утешение моему сердцу в том, что мы сейчас окружены множеством могил Святых, там, где, по моему прибытию, я видел только могилы нечестивцев»[20]. В случае индейцев Новой Франции эта традиция подкреплялась долгой практикой крещения только при смерти, что было вызвано как частыми эпидемиями, приводящими к массовым смертям, так и опасениями отступничества неофитов.

Важным и тесно связанным с мученичеством аспектом выявления святого с античных времен являлись гонения – попытки принудить христиан отказаться от своей веры, которые папа Бенедикт более мягко обозначил как «враждебное давление нехристианской культуры». Дей-

[18] Ворагинский Иаков 2017: 349.
[19] JR. Vol. XXVIII: 43.
[20] JR. Vol. LIV: 63.

ствительно, иезуитские сообщения из Канады наполнены историями стойкого сопротивления неофитов такому «давлению», что иногда приводило к их героической («святой») смерти. В них зафиксированы также факты расколов внутри племен или отдельных общин, вызванных религиозным противостоянием. Тем не менее, термин «гонение» подразумевает именно «гонение за веру», и иезуиты употребляли его в этом контексте, когда, например, описывали принуждение к замужеству юной неофитки Текаквиты ее домочадцами[21], или обвинения ее же в распущенном сексуальном поведении[22]. Представляется, что здесь продемонстрирован весьма односторонний и поверхностный взгляд на ситуацию. Конечно, конфликты существовали и подчас имели трагическую развязку, но вызваны они были не столько фактом обращения определенного индивида в иную веру, сколько последствиями этого решения для коллектива, членом которого он являлся (семьи, общины или племени).

В данном случае происходит столкновение двух основных векторов, отличавших социоморфистски ориентированные племенные религии от надэтнической христианской традиции. Подавляющее большинство ритуалов и обрядов индейских религий требовало участия всех членов коллектива – от лечебных обрядов до сезонных праздников или пиров по случаю успешной охоты. Полнота вовлечения гарантировала эффективность проводимых мероприятий, жизненно важных для всей общины, особенно связанных с лечением, ведь время утверждения христианской веры среди индейских народов Северо-Восточной Америки совпало с массовыми эпидемиями новых болезней, смертельных для коренных жителей[23]. Но иезуитские миссионеры квалифицировали эту деятельность исключительно как языческую, запрещая неофитам участвовать в ней, и, тем самым, разрушая единство коллектива. Именно это поведение туземных христиан вызывало негативную реакцию со стороны «традиционалистов», рассматривавших его как вредное или предательское. То есть, речь идет не столько о религиозном, сколько о социальном измерении конфликта, обозначенного миссионерами в рамках церковной традиции как «гонения».

В иезуитских текстах складывается определенная форма для описания персонажей и их поступков, связанных с дискурсом святости, но не признанных официально святыми. Прежде всего, эта форма характеризуется дистанционностью и недосказанностью, оставляющих для иезуитских агиографов пространство для маневра в признании или отрицании туземной святости. Пример такой недосказанности (незавершенности) в оценке поведения индейского неофита как святого хорошо ви-

[21] Именно благодаря этому стереотипу и родилось знаменитое прозвище Катрин Текаквиты как «Лилия могауков»: Клод Шошетье, описывая противостояние Катрин и ее родственников, назвал девушку «лилией среди терниев», подчеркивая неприятие окружающей средой ее веры (Chauchetière 1940: 142).

[22] Chauchetière 1940: 140, 179; Cholenec 1940: 259-260.

[23] О роли эпидемий в результатах иезуитской миссионерской деятельности см.: Федин 2016: 247-267.

ден в пассаже из *Истории Новой Франции* (1744) Шарлевуа: «Ирокез, окрещенный при смерти Жогом, умер на руках слуги Божьего, с чувствами, которые характеризуют смерть Святых. Могаукский кантон, который он оросил своей кровью, произвел изобильный урожай»[24]. Иезуитский историк не говорит «этот ирокез – святой», он говорит лишь о неких «чувствах», характерных для «смертей святых», дающих возможность двойного толкования этого факта: «умер святой человек» или «человек умер святой смертью», но сам святым не является. Несмотря на то, что в данном контексте употребление термина «святость» выглядит как синоним понятия «благочестие», к 1670 гг. в среде иезуитов Новой Франции, вероятно, появляется группа миссионеров, готовых идти дальше по пути признания «туземной святости» как самостоятельного явления. Смерть набожной могаукской девушки Катрин Текаквиты в иезуитской редукции Су-Сен-Луи, близ Монреаля, в 1680 г., предоставила возможность этим миссионерам объявить ее святой и инициировать развитие ее культа как целительницы и защитницы жителей колонии.

Итак, концепция туземной святости в иезуитском миссионерском дискурсе окончательно сложилась к концу XVII в., хотя впервые была опубликована в виде жития Катрин Текаквиты лишь в начале XVIII в. После ее смерти произошли «сверхъестественные события», свидетельствующие о ее святом статусе. И у индейцев, и у миссионеров были видения возносящейся на небо Текаквиты, а ее четки и земля на могиле обнаружили чудесную целительную силу. В конечном счете, ее могила стала местом паломничества, куда стекались и туземные и французские пилигримы, стремясь излечить физические или моральные недуги.

Ее иезуитский наставник Клод Шошетье не осмелился публично заявить об этом невероятном соединении дикости и христианской святости, но посвятил тридцать лет жизни задаче подтверждения своей веры в святость Текаквиты. Он записал рассказы всех, кто знал Катрин, зафиксировал и систематизировал все чудеса, последовавшие за ее смертью, по сути, став автором культа Лилии Могауков. Причем супериоры постоянно ограничивали его энтузиазм, и Шошетье прямо говорит, что это было из-за того, что Текаквита была «дикаркой» и официальная церковь не принимала свидетельства ее божественного избранничества[25].

Наконец, в 1717 г. на страницах своего парижского периодического издания «*Любопытные и поучительные письма относительно Азии, Африки и Америки*» Общество Иисуса официально издало Житие Катрин Текаквиты, которое стало весьма популярным не только во Франции, но и в Мексике, Германии и Голландии. Вслед за этим, в 1720 г., иезуиты издали жития других индейских «святых», которые были пленены и сожжены «неверными»[26]. Провозглашенные мучениками, они присоединились к Текаквите в качестве объектов колониального почи-

[24] Charlevoix 1900. Vol. II: 150.
[25] Chauchetière 1940: 114.
[26] Lettres édifiantes et curieuses… 1838: 647-668.

тания. Но несмотря на то, что автор этих сообщений о. Шоленек считал их самих и их мучения «святыми»[27], официальная иезуитская версия туземной святости ограничилась только Катрин Текаквитой[28].

В рамках иезуитского дискурса туземной святости XVII – первой половины XVIII в. можно выделить два аспекта этого феномена: мужской и женский. Это различие было обусловлено как традиционным распределением гендерных ролей в индейских обществах, так и паттернами, характерными для западной христианской цивилизации в целом и французского общества раннего Нового времени, в частности.

Охотничье-собирательские и раннеземледельческие общества североамериканского Вудленда диктовали естественное разделение труда между мужчинами, воинами и охотниками, и женщинами, земледельцами и собирателями, хранительницами семейного очага. Соответственно формировались и гендерные ценности: мужские, предполагавшие такие качества, как сила, храбрость, ловкость и пр., и женские, концентрирующиеся вокруг производства (трудолюбие, терпение, искусность) и воспроизводства (фертильность, заботливость). Аналогично определялись гендерные характеристики и во французском христианском обществе XVII в.: для мужчин они сводились к понятиям чести, храбрости, справедливости, для женщин – к смирению, чистоте (как нравственной, так и физической), хозяйственности. В данном случае важно отметить, что оба «гендерных комплекса», и индейский, и французский, предполагают активность мужских ролей и пассивность женских, что и получит свое воплощение в иезуитском дискурсе туземной святости: мужчины-святые – это воины, героически сражавшиеся, страдавшие и павшие за веру; женщины-святые – воплощение добродетелей целомудрия и смирения. Мотив страданий характерен для обоих полов, с той разницей, что мужчина, как правило, подвергается им извне (пытка, смерть в бою), а женщина – изнутри (аскетические практики самоумерщвления и самоограничения плоти); его страдания возвеличивают, ее – очищают.

Характерный для христианской традиции мотив целомудрия и невинности был многократно усилен в период Контрреформации[29], что нашло отражение во взглядах ее передового отряда – ордена иезуитов. Так, иезуитский миссионер в Труа-Ривьер Жак Бюте, в 1652 г. описывая христианку-аттикамек по имени Анжелик, отмечал те качества, которые, по его мнению, делали ее «истинной Святой», а именно, трудолюбие, благочестие и чистоту: «все свое время, свободное от работы, она посвящает наставлению ближних или молитве. О, какое замешательство для меня видеть, как эти бедные Варвары – без Священника, без Мессы

[27] Ibid: 665, 666, 668.

[28] Например, в Истории Новой Франции (1744) Шарлевуа отмечено, что в Lettres édifiantes et curieuses было сообщено «о жизни и святости Катрин Текаквиты», но в отношении других персонажей он упоминает лишь «о драгоценной смерти некоторых Ирокезских неофитов обоих полов, которые вынесли самую ужасную муку и пролили свою кровь за Христа» (Charlevoix 1900. Vol. I: 88).

[29] Репина 2002: 48-49.

и без какой-либо помощи – сохраняют себя в такой чистоте и пыле!»[30]. Иезуитами также подчеркивалась женская добродетель невинности и целомудрия: «Вот парадокс, который с трудом найдет доверие в умах, не знакомых с Дикарями. Там была крещена молодая женщина… которая оставалась девственной, хотя у нее было три мужа подряд. Эта бедная девушка была воспитана в невинности первых веков… и такова традиция этого племени»[31]. А в своей реляции за 1663 г. суперриор канадской миссии Ж. Лалеман подчеркивал святость целомудренной вдовы, «которая живет как Святая среди тех людей, хотя они не знают, какова Святость. Подавая пример, вовсе не известный среди тех людей, которые полностью преданы разврату, она добровольно посвятила оставшуюся часть своего вдовства Целомудрию»[32].

Совсем близко к признанию индейской девственницы святой иезуиты подошли к концу 60-х гг. XVII в. В 1668-1669 гг. в очередных томах Иезуитских реляций была опубликована история под названием «*Драгоценная и Замечательная Смерть Дикой Девочки 14 лет*», принявшей обет вечного целомудрия. Ее благочестие было вознаграждено видениями Девы Марии; иногда, она могла даже уловить райские ароматы. Естественно, она умерла молодой, причем ее труп оказался нетленным, когда могила была открыта девять месяцев спустя[33]. Здесь присутствуют элементы агиографии, но эта и подобные ей истории туземного благочестия оставались отрывочными и неполными, «дикую девочку» даже не назвали по имени. Никто не сохранил реликвии, не организовал культ поклонения, не написал жития. Индейцы продолжали оставаться лишь объектами приложения усилий европейских миссионеров, духовными подопечными, несмотря на явные признаки святости.

Апогея идея женской чистоты и святости достигла лишь в культе св. Катрин Текаквиты. Его инициаторы отцы П. Шоленек и К. Шошетье, миссионеры редукции Су-Сен-Луи (Кахнаваке), в которой окончила свои дни ирокезская девушка, первыми зафиксировали не только основные черты этого качества святой женщины, но и дополнили его новыми аспектами, отражавшими особенности и противоречия европейско-аборигенного контакта колониальной Северной Америки, формируя тот религиозно-культурный феномен, который А. Грир назвал «колониальной агиографией»[34]. К этим новым элементам относилось и гипертрофированное понимание чистоты, выходящее за рамки традиционных целомудрия и невинности, и включавшее стремление очистить объект еще и от неевропейских качеств – расовых, гендерных, культурных.

В рукописной версии жития Катрин (1695) ее исповедник о. П. Шоленек оставил интересное описание посмертной трансформации святой:

[30] JR. Vol. XXXVII: 59.
[31] Ibid: 153.
[32] Ibid. Vol. XLVIII. P. 125-127. Ср.: Vol. L: 123-125.
[33] Ibid. Vol. LII: 27-43, 228-33.
[34] Greer 2000: 325-329.

«Это лицо, столь обезображенное болезнью и смуглое, внезапно изменилось через четверть часа после ее смерти, и стало на мгновение настолько красивым и настолько белым, что я немедленно увидел это... Признаю открыто, что первой моей мыслью было то, что Катрин в тот момент, возможно, вступила на небеса, отразив своим целомудренным телом маленький луч славы, которой овладела ее душа»[35]. О. Шошетье, пишущий о том же событии независимо и параллельно Шоленеку, также отмечал, что лицо умершей Текаквиты «казалось более красивым, чем при жизни»[36]. Таким образом, Бог удалил не только знаки болезни и страданий, но и расовой неполноценности, наделив индейскую женщину сверхъестественными качествами чистоты: сиянием и белизной.

Залогом такого чудесного преображения мертвой индейской девушки, по крайней мере, с точки зрения Шоленека, ставшей официальной позицией всего ордена с XVIII в., стали именно невинность и целомудрие: Катрин сознательно и еще до крещения избегала брака[37]. В редукции только «девственность, целомудрие и сдержанность были предметом ее бесед» с неофитами и миссионерами[38]. Само название *Жития* Текаквиты за авторством Шоленека сразу акцентирует на мотиве девственности: «*Первая Ирокезская Дева*», фактически отрицая девство всех остальных ирокезок, крещеных и язычниц[39].

Более того, Шоленек утверждал, что Текаквита принесла обет безбрачия в 1679 г., за год до своей смерти, впечатлившись святой чистотой монреальских госпиталиток[40]. Это важный факт, который стал частью основы канонического признания святости Катрин в последующем. Но, во-первых, нет никакого документального подтверждения этого обета, кроме слов о. Шоленека, написанных спустя 15 лет после смерти Катрин, когда ее культ уже стал общепризнанным в Новой Франции и даже проник в придворное окружение Людовика XIV. Во-вторых, его коллега и инициатор признания Текаквиты святой о. Шошетье прямо заявлял в своей версии ее жития, написанной за десять лет до книги Шоленека, что «если бы кто-либо позволил ей дать обет, это не был бы обет безбрачия, хотя она полностью соответствовала такому обету, что заставляет меня полагать, что она получила заслугу этого. Священнику [Шоленеку? – *А.Ф.*] жаль, что после ее смерти это уже нельзя сделать»[41]. Из этого пассажа можно понять, что Катрин (возможно, при посредстве Шошетье) просила о том, чтобы ей позволили принести какие-то обеты, но Шоленек, исполнявший в то время функции супериора редукции[42],

[35] Cholenec 1940: 306-307.
[36] Chauchetière 1940: 205-206.
[37] Ibid: 125.
[38] Cholenec 1940: 299.
[39] Greer 2005: 173-174.
[40] Cholenec 1940: 276, 288.
[41] Chauchetière 1940: 211.
[42] Первый настоятель редукции в Су-Сен-Луи о. Ж. Фремен из-за плохого здоровья был вынужден летом 1678 г. вернуться во Францию, новый супериор Ж. Бруйя при-

отказал в этом. Тем не менее, обет безбрачия подчеркивал осознанное стремление «дикой христианки» к чистоте и поэтому был спустя годы отражен сначала в неофициальном иезуитском житии, а спустя столетия повторен на площади св. Петра папой римским.

Тот факт, что именно женщина стала первой признанной иезуитами святой среди туземных христиан, может быть объяснен комплексом факторов. Прежде всего, заметен субъективный фактор: Текаквита была лидером религиозного объединения женщин редукции, отказавшихся от брачных и сексуальных связей и предававшихся суровейшей аскезе (что, собственно, и стало причиной смерти Катрин). Впечатленный встречей с ней и ее образом жизни (и, конечно, смерти!) еще молодой и сравнительно неопытный миссионер Клод Шошетье воспринял все случившееся в мистическом ключе, переживая повторяющиеся видения и знамения, связываемые им с образом Катрин Текаквиты[43]. Именно он начал процесс сбора фактов, связанных с ее благочестивой жизнью и посмертными чудесами, которые в конце концов составили ее житие (1685)[44]: первое полноценное агиографическое произведение, посвященное американскому индейцу. Его энтузиазм был поддержан (не без колебаний) колониальным орденским руководством к концу столетия, а в начале следующего, супериорами в метрополии.

Менее очевидным, но вместе с тем и более значимым фактором, определяющим гендерную форму признанной «туземной святости», является общеевропейское представление о женщине, как находящейся на более низкой, по сравнению с мужчиной, ступени и в физической, и в духовной иерархической системе. В этом контексте представления о женской святости во Франции с позднего Средневековья структурировались вокруг идеи, что чем женщина менее знатна, образована и утонченна, тем вероятнее возможность обретения ею святости[45]. С этой точки зрения, индейская («дикая» в терминологии французов XVII в.) женщина оказывалась наиболее полным воплощением простоты, невежества, грубости, но и открытости божественному воздействию, проводником его мощи, что и делало ее святой в глазах европейской аудитории. В том же гендерном контексте, индейские мужчины, претендовавшие на статус святых на основе своих мученических смертей, менее подходили на эту роль, так как их было сложнее вырвать из культурного контекста туземной пытки, как ярко свидетельствовал случай Жозефа Онахаре.

Те же самые гендерные характеристики лежали в основе и общего восприятия европейцами Нового света и его коренного населения, прежде всего факта его покорения и освоения (как физического, так и духов-

был в 1679 г., до его появления о. Шоленек, как професс (иезуит четырех обетов) и более опытный миссионер, возглавлял это поселение (JR. Vol. L: 175).

[43] Грир, фактически, приписывает именно духовным исканиям Клода Шошетье то, что впервые в истории «колониальной агиографии» индеец был признан святым (Greer 2005: 23).

[44] The Positio 1940: 312-313, 406.

[45] Тогоева 2018: 149.

ного). Уже в XVI в. они были перенесены в качестве культурных маркеров на завоеванные заморские территории и народы. Покорность и смирение, характеризующие европейский женский гендер, стали качествами покоренных стран, вплоть до представления Америки в виде женщины (и, как правило, дикой) и связанные с этим стереотипы, дожившие до современных дней в образе Покахонтас, Сакагавеи и, в том числе, Текаквиты. Ассоциация колониальной действительности с женскими атрибутами, возможно, сыграла свою роль и в выборе женского аспекта туземной святости, как наиболее репрезентативной для европейцев.

Следуя концепции Эдит Вышогрод и Алана Грира о том, что важнейшими признаками святости являются «нарративность» (история подвигов святого), «текстуальность» (наличие письменного жития), «телесность» (сохранение присутствия святого в его материальных останках – мощах и реликвиях) и «чудотворность» (обладание сверхчеловеческими возможностями при жизни и/или после смерти)[46], мы видим, что из всех потенциальных индейских святых, о которых сообщали иезуитские корреспонденты, только Катрин Текаквита обладала всеми вышеперечисленными признаками.

Таким образом, формирование представлений иезуитов Новой Франции о возможности обладания американскими индейцами качествами святости прошло ряд этапов: от понимания в первой половине XVII в. святости как обычного благочестия, отличаемого от последнего лишь объектом применения этого термина – к умершим неофитам; через признание во второй половине века святыми туземных христиан, мученически умерших за веру, как правило, мужчин; к окончательному утверждению этого феномена в первой половине XVIII в. в форме культа св. Катрин Текаквиты, с одной стороны, отражавший степень колониального «присвоения» туземной Америки и ее обитателей, с другой, фиксирующей их успехи (и их пастырей-иезуитов) в христианизации.

Официальное признание феномена «индейской святости» к началу XVIII в. (хотя бы в рамках иезуитского ордена), стало завершением долгого процесса развития представлений об аборигенном населении Новой Франции и Нового света вообще: образ Другого, «благородного дикаря» расширился, включив в себя те знаки святости, которые до этого были лишь прерогативой европейского миссионера. Возможно, это стало результатом полемики между иезуитами и реколлектами о качественных результатах их апостолата в Канаде, развернувшейся в это время. Но возможно, «духовное» уравнивание туземца и европейца действительно отражало как степень христианизации аборигенного населения, так и эволюцию представлений иезуитов о роли и месте неевропейских народов в мировой истории (точнее, ее сакральном контексте). Другое дело, что «уравнивание» произошло ценой нивелирования индейской культурной традиции, присвоения индейскому христианину тех качеств, которые были элементами иной системы духовных и ценностных коорди-

[46] Wyschogrod 1990: 3-30; Greer 2005: 150.

нат. И когда папа Бенедикт озвучил добродетели ирокезской девушки Катрин Текаквиты, делавшие ее святой, он продолжил традицию «колониальной агиографии» и «присвоения культуры», которые лежали в основе иезуитского миссионерского дискурса «туземной святости».

ИСТОЧНИКИ

Cappella Papale per la Canonizzazione Dei Beati. Omelia del Santo Padre Benedetto XVI. Piazza San Pietro, Domenica, 21 Ottobre 2012 http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2012/20121021.pdf

Charlevoix P.-F.-X. de. History and General Description of New France / ed. J. G. Shea. Vol. I-VI. N. Y., Francis P. Harper, 1900.

Du Creux F. The history of Canada or New France / ed. by J. B. Conacher. Vol. I-II. Toronto, Champlain Society, 1951-1952.

The Jesuit Relations and Allied Documents, Travels and Exploration of the Jesuit Missionaries in New France, 1610–1791. 73 vols. / ed. by R.G. Thwaites. Cleveland, The Burrows Brothers Company, 1896–1901.

Lettres de la révérende mère Marie de l'Incarnation. T. 1-2. P., Librairie internationale catholique; Tournai, Vve. H. Casterman, 1876.

Lettres édifiantes et curieuses concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique: avec quelques relations nouvelles des missions, et des notes géographiques et historiques / publiées sous la direction de L. Aimé-Martin. T. 1. Paris, A. Desrez, 1838. 820 p.

Monumenta Novae Franciae. Vol. I–IX / ed. par L. Campeau. Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1967–2003.

The Positio of the Historical section of the Sacred congregation of rites on the introduction of the cause for beatification and canonization and on the virtues of the servant of God, Katharine Tekakwitha, the Lily of the Mohawks; being the original documents first published at the Vatican polyglot press now done into English and presented for the edification of the faithful. New York, Fordham University Press, 1940. 453 p.

Ворагинский Иаков. Золотая легенда. Т. I. Москва, Изд-во Францисканцев, 2017. 527 с. [Voraginskij Iakov. Zolotaya legenda. T. I. Moskva, Izdatel'stvo Franciskan-cev, 2017. 527 s.].

Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II-II. Вопросы 123-189. К., Ника-Центр, 2014. 736 с. [Foma Akvinskij. Summa teologii. CHast' II-II. Voprosy 123-189. K., Nika-Centr, 2014. 736 s.]

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Greer A. Colonial Saints: Gender, Race, and Hagiography in New France // The William and Mary Quarterly. Apr. 2000. 3rd Ser. Vol. 57. No. 2. P. 323-348.

Greer A. Mohawk Saint: Catherine Tekakwitha and the Jesuits. N.Y.: O.U.P., 2005. 249 p.

Pearson T.G. Becoming Holy in Early Canada. Montreal & Kingston; L.; Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2014. 295 p.

Wyschogrod E. Saints and Postmodernism: Revisioning Moral Philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1990. 326 p.

Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002. 352 с. [Repina L.P. ZHenshchiny i muzhchiny v istorii: Novaya kartina evropejskogo pro-shlogo. Ocherki. Hrestomatiya. M., 2002. 352 s.].

Тогоева О.И. “Idiotas, ac sine litteris mulierculas”? Жан Жерсон и проблема женской святости // Европа святых. Социальные, политические и культурные аспекты святости в Средние века. СПб., 2018. С. 143-158. [Togoeva O.I. “Idiotas, as sine litteris mulierculas”? ZHan ZHerson i problema zhen-skoj svyatosti // Evropa svyatyh. Social'nye, politicheskie i kul'turnye as-pekty svyatosti v Srednie veka. SPb., 2018. S. 143-158.].

Федин А.В. Влияние эпидемий на процесс христианизации индейцев Новой Франции в XVII в. // Диалог со временем. Вып. 55. М., 2016. С. 247-267. [Fedin A.V. Vliyanie epidemij na process hristianizacii indejcev Novoj Francii v XVII v. // Dialog so vremenem. Vyp. 55. M., 2016. S. 247-267.].

Федин А.В. «Дорогами, полными крестов…»: иезуитское миссионерское мученичество в XVII в // Диалог со временем. 2012. Вып. 40. С. 173-201. [Fedin A.V. «Dorogami, polnymi krestov…»: iezuitskoe missionerskoe muchenichestvo v XVII v // Dialog so vremenem. 2012. Vyp. 40. S. 173-201.].

Федин А.В. Идея «благородного дикаря» в «Иезуитских реляциях» XVII в. // Диалог со временем. М., 2010. Вып. 32. С. 65-93. [Fedin A.V. Ideya «blagorodnogo dikarya» v «Iezuitskih relyaciyah» XVII v. // Dialog so vremenem. M., 2010. Vyp. 32. S. 65-93.].

***Федин Андрей Валентинович**, доктор исторических наук, доцент, кафедра всеобщей истории и международных отношений, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского; avfedin@yandex.ru*

"Reflecting in chaste body a small ray of the glory»". Representations of "native sanctity" in the Jesuit missionary discourse in New France

In process of acquaintance to the native world of the North America and successes in its Christianization, the French Jesuit missionaries replaced initial low estimations of moral characteristics of the Indians to their opposite, underlining its nobleness and spiritual potential. The idea that a converted "savage" could become a saint, officially recognized by the Order to the beginning of the 18th century when the Life of an Iroquois saint Catherine Tekakwitha has been published was formed in this context. Emergence and recognition of the phenomenon of «Indian sanctity» signified an end of the long trend in the colonial hagiography of New France: the image of «the noble savage» was extended to include those signs on sanctity, which had previously been a prerogative of the European missionary.

***Keywords:** Jesuits, New France, missionary work, reductions, sanctity, gender.*

***Andrey Fedin**, Dr. Sc. (History), Associate Professor, Department of World History & International relations, Bryansk State University; avfedin@yandex.ru*

Ф.И. Уланов

КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 25-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 1837 И 1839 ГГ.

В статье рассматриваются коммеморативные практики 25–летнего юбилея Отечественной войны 1812 г., проведенные в 1837 и 1839 гг. Празднование этого юбилея фактически стало крупнейшим коммеморативным мероприятием, посвященным Отечественной войне 1812 г. в XIX в. На материалах публикаций в газетах и общественно-политических журналах, а также мемуарах современников автор рассматривает процесс формирования коллективной памяти: какие церемонии проводились, какие цели преследовало государство, какие нарративы исторической памяти существовали в прессе и в каком социополитическом контексте они существовали.
Ключевые слова: *Отечественная война 1812 года, коммеморативные практики, коллективная память, интеллектуальный контекст, юбилеи войны 1812 года.*

Для эпохи 1830-х гг. Отечественная война 1812 г. стала главным историческим событием, которое использовалось государством и образованной частью общества для конструирования национальной идентичности. Ещё свежие воспоминания многих участников войны и её история нашли свой отклик в сердцах послевоенного поколения.

Коммеморативная политика реализуется, в первую очередь, при помощи юбилейных мероприятий. Празднества, посвященные войнам с Наполеоном, проводились на протяжении 1830-х гг., и их апогеем стали торжества 1837 и 1839 г. – крупнейшие мероприятия, посвященными 1812 г. в первой половине XIX в. Их исследование в контексте проблематики мемориальной истории, что является целью данной статьи, имеет смысл проводить сквозь призму выявления сходств и различий коммеморативных практик во времена правления Александра I и Николая I, нарративов исторической памяти двух эпох.

Важнейшие источники по исторической политике и коммеморативным практикам – материалы периодической печати. Мы использовали центральные газеты и общественно-политические журналы: «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «Русский инвалид» и «Северная пчела», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Журнал Министерства внутренних дел» и «Военный журнал», «Сын отечества», «Библиотека для чтения», а также более либеральные «Московский телеграф», «Телескоп», «Галатея», «Отечественные записки», «Современник»[1]. Использовалось историко-публицисти-

[1] «Московскому телеграфу» и «Телескопу» оказалось не суждено дожить до юбилейных торжеств, они были закрыты по распоряжению Николая I в середине 1830-х. С 1838 г. «Современник» перешел в руки профессора Петербургского университета, поэта и критика П.А. Плетнева. В русле новой редакционной политики журнал сторонился важных общественных вопросов в этот период.

ческое сочинение «Торжество заложения храма во имя Христа Спасителя в Москве»[2]. Важную роль играют также воспоминания А.С. Пушкина[3], В.Г. Белинского[4], Д.В. Давыдова[5], А.Х. Бенкендорфа[6], В.А. Жуковского[7], историка А.М. Михайловского-Данилевского[8].

Торжества 1837–1839 гг. изучены лишь частично. Имеющиеся работы по проблеме социально-политического контекста эпохи и использования торжеств в политических целях[9], не рассматривают публикации об Отечественной войне 1812 г. через призму «мемориальной истории».

В 1820-е гг. память об Отечественной войне 1812 г. начала переходить из категории событий современности в категорию крупнейших исторических вех борьбы за национально-государственное существование. Историк Михайловский-Данилевский в 1819 г. во вступлении к статье «О сдаче Москвы», назвал войну 1812 года событием, принадлежащим истории «во всех отношениях»[10]. Похожие мнения высказывались и в периодике, например, в журнале «Сын отечества»: «…и происшествия, недавно совершившиеся, мало-помалу вступают в область истории»[11]. Писатель и критик Н.А. Полевой в статье, вышедшей в 1828 г. писал: «Влияние событий Отечественной войны 1812 г. существует для нас совершенно в историческом только отношении…». Появляются мнения о необходимости «уважения к достоинству исторических истин» и «применения оружия строгой критики», которая не только будет восхвалять смелость и отвагу русских воинов, но и объективно затронет действия французов: «Их подвиги также важны для истории. А французов мы не считаем уже… нашими неприятелями»[12].

Однако после 1830 г. память об Отечественной войне актуализируется с новой силой. Со страниц газет и журналов не сходили статьи и заметки, анекдоты и воспоминания, посвященные войне[13]. 1812 год становится главной исторической темой для современников, которые с «жадностью читают»[14] любые публикации, и «любопытство их совершенно не было удовлетворено»[15]. Некоторые публицисты даже ставят

[2] Торжество заложения храма… 1839.
[3] Пушкин 1948.
[4] Белинский 1954.
[5] Русская старина 1872. Т. 7.
[6] Исторический вестник. 1903.
[7] Жуковский 1902.
[8] Русский вестник 1890.
[9] Добровольская 2012; Шульц 2016; Цимбаев 2012; Тартаковский 1980; Кухарук 2002.
[10] Русский вестник 1819. № 5.
[11] Сын отечества 1819. № 46: 275.
[12] Московский телеграф 1828. №24: 2-3.
[13] См., напр.: Русский инвалид, 1834, № 79, 207; 1835, №2, 222, 224, 226, 229, 235; 1837, №144, 146.
[14] Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1836: 778.
[15] Северная пчела 1832.

под сомнение какую-либо возможность объективно и правильно оценить события 1812 г.[16] А.Г. Тартаковский связывает этот масштабный всплеск интереса к теме войны 1812 г. с «особым сплетением общественных умонастроений и политических тенденций, которые обнаружили себя уже с самого начала 1830-х годов». Главной причиной исследователь считает польское восстание 1830–1831 гг., результаты которого усугубились для России внешнеполитическими последствиями западноевропейских революций. Де-факто отделение польских земель от Российской империи в ходе восстания, претензии на отторжение от неё украинских, белорусских и литовских земель и постановление, принятое польским Сеймом во время Восстания 1830 года, которое формально лишало российского императора Николая I прав на трон Царства Польского, нанесли глубокую рану национальным чувствам дворянства и широких кругов общества. Эти уязвленные чувства обострялись угрозами Франции вмешаться в русско-польский конфликт, а подобные действия имели бы риск перерасти во всеобщий поход западных держав против Российской империи. Незримая угроза новой войны, которая, как и наполеоновские войны, зарождалась на волне революций, с новой силой пробудила воспоминания о победной войне 1812 г., которые сохранились и в памяти последующих поколений[17]. Об этом писали современники. Так, А.С. Пушкин в письме к своей жене сообщал: «Мне сдается, что мы без европейской войны не обойдёмся»[18], а Д.В. Давыдов полагал, что война с Польшей в 1831 г. «едва ли не была грознее войны 1812 года»[19]. Сравнения с Отечественной войной в свете неудач в польской кампании (до конца лета 1831 г.) вызывали ностальгические воспоминания о полководцах-победителях Наполеона, в особенности о М.И. Кутузове. Цикл стихотворений Пушкина «Перед гробницею святой», «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» ярко выражает эту сложную гамму патриотических настроений.

Параллели с 1812 г. возникали и в условиях общественной жизни 1830-х. На фоне растущих консервативных настроений, транслируемых государством обществу, молодое поколение видело в Отечественной войне эпическую эпоху, полную, по словам В.Г. Белинского, «дивных, почти мифических потрясений»[20]. 1812 год для поколения молодых людей 1830-х гг. символизировал раскрытие независимых и сильных характеров героев войны, подъем духовных сил народа, нравственное раскрепощение общества. Белинский, тонко прочувствовавший эти настроения, писал о «тоске по жизни» и «зависти к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел»[21] среди своих современников.

[16] Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1838: 613.
[17] Тартаковский 1980: 190-191.
[18] Пушкин 1948: 93.
[19] Русская старина. 1872: 8.
[20] Белинский 1954: 7.
[21] Там же: 503.

Важную роль в процессе актуализации памяти о войне 1812 г. сыграло государство. По сути, торжества 1837 и 1839 гг. являются одним, пролонгированным юбилеем, стало даже новой традицией в проведении юбилейных мероприятий в Российской империи отмечать одно событие в течение продолжительного времени[22]. Юбилейные церемонии 1837 и 1839 гг., посвященные 25-летию Бородинской битвы и победе над Наполеоном, предварялись несколькими акциями государственного масштаба, которые представляли из себя единый продолжительный процесс по мемориализации Отечественной войны 1812 г. Такими акциями стали установка Александровской колонны в 1834 г. в Петербурге в честь царя-избавителя, Триумфальных арок в Москве в том же году, а также возведение памятников Кутузову и Барклаю-де-Толли перед Казанским собором в 1837 г. Колонна символизировала главенствующую роль императора Александра I в войнах с Наполеоном, в первую очередь в Отечественной войне 1812 г.: впечатляющий, монументальный памятник-олицетворение личных заслуг императора в победе, которые затмевали собой решающий вклад армии, народа и полководцев. А.Х. Бенкендорф писал, что возведение этого памятника должно было показать, что в войнах 1812–1814 гг. «Россия и Европа стяжали столь блестящий успех благодаря лишь непоколебимой твердости покойного Александра I»[23]. Стоит заметить, что идея постройки мемориального храма и памятников полководцам была присуща и эпохе правления Александра I. 25 декабря 1812 г. Александр подписал манифест о строительстве Храма Христа Спасителя в честь изгнания неприятеля из России, в 1818 г. – издал рескрипт о возведении памятников. В 1835 г. совместно с прусскими войсками были проведены летние торжественные военные маневры в польском городе Калиш, а в 1836 г. Николай I издал высочайшее повеление, в соответствии с которым планировалось воздвигнуть монументы на местах важнейших сражений Отечественной войны (Бородино, Тарутино, Малоярославец и т.д.)[24]. В 1837 г. Николаем I был подписан Высочайший указ, который поручил Департаменту уделов приобрести село Бородино в подарок Цесаревичу. Император планировал создать дворцово-парковый ансамбль для увековечивания памяти о войне 1812 года.

Церемониальные практики коммеморации

Крупнейшим юбилейным мероприятиям 1839 г. предшествовала праздничная церемония 9 мая[25] 1837 г., на которой состоялась торжественная закладка памятника на Бородинском поле в присутствии императора, духовенства, военных и гражданских чиновников. Епископ Исидор Дмитровский произнес торжественную речь, в которой вспомнил

[22] Цимбаев 2012: 450.
[23] Исторический вестник 1903: 41.
[24] Селедкина 1997: 101.
[25] Здесь и далее даты приводятся по старому стилю.

храбрость и доблесть русских воинов, их жертву царю, Богу и отечеству, и возможность «ныне живых» по воле «благочестивого монарха» отдать павшим честь, воздвигнув памятник. Церемония закладки предварялась молебном, а после неё состоялся праздничный обед для приглашенных дворян[26]. Церемония 1837 г. не идёт ни в какое сравнение по размаху с празднествами 1839 г. – апогеем торжеств 1830-х гг. Это объясняется тем, что именно победа над Наполеоном в 1814 г. воспринималась современниками как окончательная победа над врагом, а особым образом вспоминать о 1812 г. – об отводе войск из столицы после тяжелого генерального сражения, не любили ни русские монархи, ни военачальники[27].

Одним из центральных церемониальных мероприятий в юбилее Отечественной войны в 1839 г. стали торжества на Бородинском поле. Участие в юбилее помимо, разумеется, монаршей семьи, высших военных, гражданских чинов и духовенства, приняли ветераны Бородинского сражения, 150 тысяч действующих войск и иностранные гости. Император лично пребывал на Бородинском поле с 17 августа до 1 сентября и предпочел ночевать не в Бородинском дворце, а в палатке среди солдат, По вечерам в солдатской среде царили «воинственный разгул и веселье при строгом порядке и опрятности»[28].

Первые несколько дней церемонии (до 23 августа) император вместе со свитой уделил приветствию и осмотру прибывавших войск[29]; а следующие два дня наблюдал и командовал учениями отдельных подразделений[30]. Программа торжеств 26 августа включала в себя открытие нового монумента на батарее Раевского, молебен, военный парад и маневры с реконструкцией эпизодов Бородинской битвы и перезахоронение останков генерала П.И. Багратиона. После молебна и торжественного открытия памятника был зачитан особый приказ, в котором Николай I провозгласил Александра I спасителем России: «Его твёрдою волей спасена Россия…»[31]. 29 августа был произведен большой маневр «тем же числом войск и на тех же самых местах, которые занимались нашими войсками во время Бородинского сражения»[32].

Следующим важным мероприятием в праздновании 25-летней годовщины Отечественной войны 1812 г. стала торжественная закладка нового Храма Христа Спасителя[33], которая проходила 9 и 10 сентября 1839 г. Как сообщалось в брошюре «Торжество заложения Храма Христа Спасителя», строительство монумента явилось исполнением завета,

[26] Московские ведомости 1837. №40.
[27] Кухарук 2002: 134.
[28] Горбунов 2012: 155.
[29] Сын отечества1839. Т. 10: 23.
[30] Московские ведомости 1839. № 69; Санкт-Петербургские ведомости 1839. № 195; Русский инвалид 1839. № 208.
[31] Правительственный Вестник 1892 г. № 186: 2
[32] Московские ведомости 1839. № 72; Санкт-Петербургские ведомости 1839. № 202;
[33] Первый Храм Христа Спасителя был заложен в 1817 г., но его строительство прекратилось через несколько лет.

данного Александром I. Храм символизировал земную славу России и благодарственную жертву Богу[34].

Автору проекта К.А. Тону император поставил условие выполнить его в древнерусском стиле. Предыдущий проект, созданный в 1817 г. А.Л. Витбергом, символизировал своей тройственной структурой представления Александра I о просвещенной, объединенной и христианской Европе. Новый проект наоборот, противопоставлял европейской цивилизации концепцию, принципы которой сформулировал С.С. Уваров: «православие, самодержавие, народность»[35]. Сам Николай I скептически относился к идее о единой либеральной Европе, став очевидцем революционных волнений 1820–1830 гг. (к ним можно отнести Испанскую, Неаполитанскую, Португальскую, Пьемонтскую революции 1820-х гг., Бельгийскую и, наконец, Июльскую революцию 1830 г. во Франции).

10 сентября после завершения торжественной литургии в Успенском соборе, от Кремля в сторону нового места строительства храма двинулся крестный ход. По его завершению митрополит Филарет произнес речь, в которой говорилось, что божественное провидение иногда дает одному избранному «возвышенную мысль» (идея Александра I о строительстве Храма Христа Спасителя), а другому предстоит её исполнить (Николай I возобновил строительство этого храма). Затем митрополит провел параллель между правлениями российских императоров и иудейских царей Давида и Соломона[36].

Юбилей 1839 г. стал своеобразным триумфом «теории официальной народности». Особое символическое значение было вложено и в то, как протекали торжества. Сначала на Бородинском поле были отданы почести русским войскам (народность), затем Александру I и императорской фамилии (самодержавие), а в конце состоялась закладка Храма Христа Спасителя (православие). Ошибочным является восприятие торжеств 1839 года как праздника Бородинской годовщины 26 августа, передвинутого на два года вперед, к круглой дате года взятия Парижа.

В прессех писали о патриархальных истоках русского самодержавия. «Война наглядно показала, что наша народность вполне исчерпывается словом “царь”, в отношении к которому “Отечество” есть понятие подчиненное»[37]. Александр I представлялся единственным победителем Наполеона, а его преемник, Николай I, приведшим Россию к апогею её развития. Юбилей «вдохновленный мыслию царя», был объявлен великим явлением в жизни народа, формирующим его «национальное самосознание»[38]. Посредством юбилейных торжеств 1830-х гг. определенное влияние оказывалось и на европейские страны (в т.ч. Священного сою-

[34] Торжество заложения… 1839: 5.
[35] Крючкова 2011: 18.
[36] Торжество заложения храма... 1839: 10-11.
[37] Отечественные записки 1839. №10: 18.
[38] Московские ведомости. 1839. №№ 8, 9, 36, 50, 59, 61, 65.

за) через присутствовавших иностранных гостей, включая монархов. Неизгладимое впечатление на них должна была произвести демонстрируемая на протяжении торжеств военная мощь Российской империи.

Формирование нарратива исторической памяти в периодической печати и исторических сочинениях в 1837 и 1839 гг.

После известных декабрьских событий 1825 г. и ареста многих декабристов, бывших авторами в издании, а также последующего ужесточения цензурного надзора над прессой, журнал «Сын отечества» стал более консервативным. В начале 1839 г. была опубликована статья, в которой сообщалось о запланированном открытии «памятника русской славы, чести и воинской доблести на полях Бородинских, орошенных 24-го и 26-го августа 1812 года кровью верных Царю и Отечеству сынов»[39], посвященного событию, которое прославило, укрепило и превознесло Российскую империю. Кроме того, в журнале был опубликован фрагмент воспоминаний и размышлений Наполеона Бонапарта об Абукирской битве 1789 г., в которой французский военно-морской флот потерпел сокрушительное поражение от британских кораблей под командованием адмирала Горацио Нельсона[40]. В статье, вышедшей в «Отечественных записках» затрагивалась тема личных качеств Наполеона Бонапарта и комментировались мотивы, побудившие французского императора жениться на Марии-Луизе Австрийской, как необходимость легитимизировать свое правление при помощи династического брака[41].

Не все исторические сочинения, выходившие в 1830-е гг. удостаивались высокой оценки газетных критиков. Например, ими был оценен как низкокачественный перевод с французского языка сочинения «Записки Наполеона», «которое лишилось всех красок своих»[42]. Критике подверглись «Записки корнета бессмертного гусарского полка», в которых, по мнению рецензента, искажались события и говорилось о маловероятных вещах: например, о наличии глубокого снежного покрова в сентябре 1812 г. «Записки корнета» были объявлены поддельными и несоответствующими «священным Русским сценам 1812 г.»[43]. В газете «Русский инвалид» Наполеона Бонапарта обвинили в хвастовстве за то, что в работе над записками на острове Святой Елены он назвал поход 1812 г. Московским, поставив его в один ряд со своими победами 1805–1807 гг., хотя на самом деле он таковым не являлся[44].

В анонимной рецензии на «Описание похода во Францию в 1814 г.» Михайловского-Данилевского, опубликованной в 1837 г., отмечена важность результатов труда историка в освещении исключительной роли императора Александра I в Заграничных походах русской армии при со-

[39] Сын отечества 1839. Т 7: 27.
[40] Сын отечества 1839. Т 8: 111.
[41] Отечественные записки 1839. Т. 7: 12.
[42] Русский инвалид 1837. №47.
[43] Русский инвалид 1837. №103.
[44] Русский инвалид 1837. №135.

здании стратегических планов наступления, его благосклонное отношение и покровительство столице Франции, спасшие Париж от разорения[45]. Газета «Русский инвалид» перепечатала в нескольких номерах большой фрагмент сочинения историка и завершила эту серию статей цитатой, описывающей твердую волю и непоколебимость духа Александра I, благодаря которым был повержен сильнейший полководец столетия и возвращена независимость европейским престолам[46].

Следующий труд Михайловского-Данилевского – «Описание Отечественной войны 1812 года», вышедший в 1839 г., был написан по личному поручению Николая I[47]. Весьма любопытна история редактирования этого сочинения. В 1838 г. Николай I получил первый вариант книги, он в целом одобрил труд историка и даже назвал его «монументальным сочинением во славу императора Александра». В «Описании» преобладает тенденция изобразить Александра I «верховным двигателем» событий войны 1812 г., подкрепить тезис о том, что все сословия «воспламенились» вокруг престола перед угрозой Отечеству[48]. Тем не менее, император жестко раскритиковал первый вариант сочинения историка за чрезмерную похвалу М.И. Кутузову, когда полководца необходимо было критиковать. Кроме того, требовалось еще больше возвеличить Александра I как дипломата и руководителя накануне и в период кампании 1812 г., оттенить верноподданнический характер народного движения, устранив некоторые не подлежащие огласке сведения внутри- и внешнеполитического характера[49].

Чтобы лучше понять отношение царской власти к теме Отечественной войны 1812 г., следует обратить внимание на дальнейшие попытки историка исследовать войны 1812–1815 гг. В 1840 г. Данилевский обращается к А.И. Чернышеву с просьбой разрешить создание исторического описания похода 1815 г. и параллельно подготовить небольшое издание, охватывающее всю историю войн 1812-1815 гг. Полученный через военного министра ответ императора гласил следующее: «Государь император крайне бы желал, чтобы г.-л. Данилевский описал поход во Францию в 1815 г. весьма кратко и тем закончил Отечественную войну, дабы сколь можно скоро приступить к изображению войны с Турцией с 1806 по 1812 год. Это описание, по мнению его величества, крайне будет любопытно, и оного у нас вовсе недостаёт»[50]. Обострение восточного вопроса понизило в глазах царя и правящих кругов актуальность войны 1812 г. в пользу истории войн с Турцией 1806-1812 гг.

[45] Библиотека для чтения 1837. Ч. 21. Отд. V: 1.
[46] Русский инвалид 1837. №№ 9-33.
[47] Русский инвалид 1836. № 52.
[48] Русский вестник 1890. № 9: 155-156.
[49] Там же: 158.
[50] Тартаковский 1980: 205.

Кроме этого, как вспоминал историк, император распорядился «соединить в один состав, слить в одно целое Отечественную войну с заграничными походами, которые кончились в 1815 г., включив туда же Венский конгресс, без которого не может быть полно и ясно изображение эпохи, когда благословенный Александр совершил освобождение Европы»[51]. Это напрямую говорит о том, что интерес власти к Отечественной войне был опосредован европейскими, завершающими этапами конфликта. В пользу этого вывода говорит и то, что первой крупной публикацией историка стало описание похода 1814 г., а не кампании 1812 г. Объединение войны 1812 г. с последующими заграничными походами является продолжением тенденции коммеморативной политики правления старшего брата Николая I, поскольку Александр I тоже стремился запечатлеть период 1812–1815 гг. в массовом сознании как единый конфликт. Конкретно это проявилось, например, в нереализованном поручении французскому военному теоретику А. Жомини создать такой единый труд, посвященный истории войн.

Книга А.И. Михайловского-Данилевского, нетерпеливо ожидавшаяся обществом, «имела необыкновенный успех и разошлась быстро в числе многих экземпляров». В критическом разделе «Отечественных записок» вышла большая статья, посвященная этому сочинению, в которой преимущественно пересказывалось его содержание, но во вступлении была выдвинута идея о том, что Отечественная война 1812 г. сыграла особую роль в освобождении Европы, а также ярко проявила «врожденные качества русского народа, – благоговения к вере, беспредельной преданности царю и отечеству»[52].

В официозной газете «Северная пчела» была опубликована статья с показательным названием «Правда о 1812 годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников», которая стала реакцией на полемику А.С. Пушкина и Л.И. Голенищева-Кутузова, племянника полководца, о роли и значимости деятельности М.Б. Барклая-де-Толли в войне 1812 г. Автор статьи Ф. Булгарин довольно прямолинейно заявил: «Спрашивается, кто же спаситель России? Бог!», а «земные спасители России суть: император Александр Благословенный и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай-де-Толли велики величием царя и русского народа; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но – не спасители России! Россия спасла сама себя, упованием на Бога, верностью и доверенностью своему царю»[53].

В опубликованной в Журнале Министерства внутренних дел заметке о завершении проведенного по частной инициативе сбора средств на сооружение памятника новгородскому ополчению в войне 1812 г., подчеркивалась важность установки подобных монументов[54]. Сам па-

[51] Русский вестник 1890. № 9: 160.
[52] Северная пчела 1839. №223.
[53] Северная почта 1837. № 7.
[54] Журнал Министерства внутренних дел 1839. Т. 6: 35.

мятник, созданный по эскизу А.П. Брюллова, был открыт в июле 1840 г. В письме офицера гвардейского отряда, опубликованном в газете «Русский инвалид», описывается, с какой торжественностью в назначенных для прохождения городах люди встречали марширующие к юбилейным мероприятиям войска[55]. Жителям нескольких городов (Вышнего Волочка, Торжка и Старицы) было объявлено императором высшее благоволение за крайне теплый прием гвардейских полков, которые отправлялись на юбилейные торжества. Местные жители разместили офицеров и солдат на ночлег и устроили торжественные обеды в их честь[56].

Литературно-публицистический журнал «Современник» в 1837 г. впервые опубликовал одно из самых знаменитых стихотворений о Бородинской битве – «Бородино» М.Ю. Лермонтова. С точки зрения В.Г. Белинского, главная мысль произведения заключена в характеристике поколений: « – Да, были люди в наше время, / Не то, что нынешнее племя: / Богатыри – не вы!»[57]. Это воспринимается как «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии и зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел»[58]. «Современник» опубликовал также письмо В.А. Жуковского Великой княгине Марии Николаевне, в котором он описывает Бородинские торжества, выражает уже довольно распространенную к тому времени мысль о решающей роли России в освобождении Европы от Наполеона и дает характеристику жизни в послевоенном мире. Наступившую эпоху поэт иллюстрирует как мирное время всеобщего благоденствия, объединения России и Европы и устремления к развитию общества и государства. Страна имеет для этого богатые ресурсы и возможности, а главное – самодержавную власть, которой обязана своей нынешней силой и могуществом[59].

В большой статье о жизни и военных заслугах М.И. Кутузова и М.Б. Барклая-де-Толли, а также их совместном вкладе в победной войне с Наполеоном, утверждается, что одна из главных заслуг Барклая – создание стратегического плана ведения военных действий в 1812 г., признанного одной из причин победы, наряду с «великой решительностью Александра I, храбростью войска и верностью народа»[60]. Кутузову выпала задача этот план реализовать. Автор замечает: «Барклаю не отдали тогда справедливости [в 1812 г.], не оценили его великих военных действий, которыми от пределов России до Смоленска сохранена была им русская армия, Наполеон завлечен в далекий поход и ни разу не видел уступки победы»[61]. Кутузов «дал бессмертную Бородинскую битву. Ка-

[55] Русский инвалид 1839. № 207.
[56] Журнал Министерства внутренних дел 1839. Т. 8: 69.
[57] Современник 1837. Т.5: 207.
[58] Белинский 1840: 35.
[59] Современник 1839. Т. 17: 199.
[60] Журнальное обозрение 1837. Т. 2: 372.
[61] Журнальное обозрение 1837. Т. 2: 376.

залось, что он этим только доказал неспособность удержать свирепого неприятеля», «сдал Москву», но спас армию, а затем разбил обманутого маневром Наполеона[62]. После смерти Кутузова в 1813 г. армии под командованием Барклая-де-Толли окончательно освобождают Европу. Но роль Александра I, по мнению автора, остается доминирующей.

В других статьях затрагивались темы церемонии открытия Александровской колонны на Дворцовой площади в 1834 г. (воспоминания Жуковского)[63] и сражения у Монтро, где описывается неудавшаяся попытка штурма города, в котором укрепились армии антинаполеоновской коалиции (перепечатка фрагмента сочинения Михайловского-Данилевского)[64]. В ней лично участвовал Наполеон, со слов историка, «демонстрируя пылкость и нетерпеливость в желании победить». В статье о пребывании Наполеона на острове Святой Елены Бонапарт представлен не как император Франции, «не как враг нашей Родины», а как человек, «в котором провидение заключило изумительную силу гения, дало ему поприще, соразмерное его силе, и потом хотело показать, что лишь прямое стремление к добру прочно и несокрушимо»[65]. В ряде материалов основное внимание уделялось истории создания первого варианта Храма Христа Спасителя в 1817 г., а затем и нового проекта. Подчеркивалось, что новый храм должен был стать памятником «незабвенной эпохи, который будет истинным выражением силы и просвещения нашего в настоящее время»[66]. Подробно описываются технологические и стилистические особенности обоих сооружений. Кроме того, акцентируется внимание на роли и заслугах императора Александра I в победе над Наполеоном, как и в благоденствии России, наступившем в правление его брата, Николая I. В другой статье описывается установка и открытие памятника на Бородинском поле[67] и приводится фрагмент из книги Д.П. Бутурлина «История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году», посвященный тому, как проходила Бородинская битва.

В «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» в 1837 и 1839 гг. вышло большое число статей о войне 1812 г. В статье с лаконичным названием «1814 год» приведено подробное изложение военной и дипломатической истории, связанной с вступлением русских войск в Париж. Франция с её завоевательными походами сопоставляется с Римской империей: она «возмечтала покорение вселенной», это «возрожденное страшилище Римского честолюбия, Римских идей, Римских чувствований»[68]. Печатались воспоминания Жуковского об открытии Александрийской колонны[69], статьи-описания памятников вой-

[62] Журнальное обозрение 1837. Т. 2: 378.
[63] Журнальное обозрение 1837. Т. 2: 309.
[64] Журнальное обозрение 1837. Т. 3: 151.
[65] Журнальное обозрение 1837. Т. 3: 156.
[66] Живописное обозрение 1839. Т. 4: 178.
[67] Живописное обозрение 1839. Т. 5: 41.
[68] Журнал для чтения... 1837. №20: 263.
[69] Журнал для чтения... 1837. №31: 287.

не 1812 г.[70], биографические очерки о Кутузове авторства Михайловского-Данилевского[71] и отрывки из походных записок русского офицера за 1814 г.[72] Были перепечатаны фрагменты сочинения генерал-лейтенанта И.Н. Скобелева «Беседы русского инвалида, или новый подарок товарищам», представляющие собой патриотические наставления будущим молодым воинам. Автор повествует о многочисленных примерах доблести русских воинов, начиная от простых солдат и гражданских жителей, оказывавших бескорыстную помощь армии, и заканчивая генералами и даже членами императорской семьи и лично Александром I[73]. Сама же война 1812 г., пишет автор статьи, «положила первый камень в основание свободы владыкам и народам»[74], то есть победа в ней России стала главным фактором, положившим начало освобождению Европы.

Журнал опубликовал большой материал о церемонии перезахоронения князя П.И. Багратиона, одновременно вспоминая о мужестве полководца, проявленном в годы войны: о сложных маневрах соединения его подразделения с основными частями армии под Смоленском и героическом командовании в Бородинской битве[75]. Многие статьи рассказывали об искренней доброте и готовности российских солдат прийти на помощь ближнему в трудную минуту, такие, как история о казаке, который поменялся обмундированием с генералом, чтобы укрыть его от вражеской пули во время их совместной разведки[76]. Подробно освещались и сами Бородинские торжества 1839 г.[77] Была опубликована статья из «Военного журнала» за 1817 год «Обозрение разных обстоятельств Отечественной войны (1812 года) и Заграничных (1813 и 1814 года) походов»[78]. Описания этих событий начинаются с декабря 1812 г. и не затрагивают таких событий войны, как Бородинское сражение. «Журнал для чтения…» опубликовал также сентиментальное письмо с воспоминаниями солдата (авторство не указано) о Бородинском сражении и юбилейных торжествах 1839 г. своему сослуживцу[79].

«Военный журнал» активно публиковал статьи с историей военных действий в 1813 и 1814 гг.[80] В «Журнале для чтения…» появилась статья Д.В. Давыдова о теории ведения боевых действий партизанскими отрядами и истории их применения после Бородинского сражения[81]. Эта

[70] Журнал для чтения... 1837. №35: 299.
[71] Журнал для чтения... 1837. №35: 269.
[72] Журнал для чтения... 1837. №36: 269.
[73] Там же: 98.
[74] Журнал для чтения... Т. 17. №67. 1839: 212.
[75] Журнал для чтения... Т. 19. №76. 1839: 538.
[76] Журнал для чтения... Т. 20. №77. 1839: 135-136.
[77] Журнал для чтения... Т. 20. №78. 1839: 261.
[78] Журнал для чтения... Т. 20. №80. 1839: 426.
[79] Журнал для чтения... Т. 21. №82. 1839: 111.
[80] Военный журнал. 1837. №№1-2, №4.
[81] Журнал для чтения... 1837. №14: 141.

статья с анализом действий партизанских отрядов в России и европейских странах была не единственной[82]. В статье «Военные действия отряда генерал-адъютанта Чернышева в 1812, 1813 и 1814 годах» подробно излагается история боевых действий партизанского, или летучего, отряда, руководимого А.И. Чернышевым[83]. Во введении к ней кампании 1813 и 1814 гг. называются «эпохою в истории, по влиянию, которое она имела на взаимные политические отношения европейских держав и на дух и образ мыслей народов, которые она ознакомила с их силами»[84], а война 1812 г. не упоминается. В журнале появился ряд публикаций с подробными историческими описаниями сражений войны 1812 г.[85]

***

После довольно продолжительного периода снижения интереса к войне 1812–1814 гг. в самом конце 1810-х и в 1820-е гг., в 1830-е гг. происходит реактуализация воспоминаний о ней под влиянием внешне- и внутриполитических событий, что выразилось в череде официальных коммеморативных мероприятий, всплеске интереса к войне в прессе и издании развернутых исторических сочинений.

Николай I в своей коммеморативной политике, на первый взгляд, был продолжателем дела старшего брата, императора Александра I. Однако можно увидеть несколько важных особенностей в мемориализации памяти о войне 1812 г. в период правления Николая I: это создание единого официального нарратива Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг., что выразилось в высочайшем повелении Михайловскому-Данилевскому создать единое историческое описание войн, а также в личном участии императора в его редактировании. Еще одна особенность – актуализация Бородинского сражения в качестве «места памяти», поскольку все официальные юбилейные мероприятия проводились именно на поле битвы возле села Бородино. Другим фактом, подтверждающим этот вывод, является крайняя распространенность Бородинской тематики в периодических статьях и публикациях.

При помощи юбилейных мероприятий, исторических сочинений, периодической печати транслировалась концепция о преобладающей роли царской власти в консолидации населения при борьбе с иноземным захватчиком. Помимо прочего, в том, как происходила мемориализация войны в 1839 г., можно наблюдать связь между событиями современности и прошлого, непрерывную связь между правлением Александра, освободившего Россию и мир от угрозы, заложившего основы для процветания империи, и Николая, подхватившего эту тенденцию и доведшего благосостояние страны до высочайшего уровня. Царская власть представляется главным благодетелем народа Российской империи.

[82] Журнал для чтения... 1837. №19: 276.
[83] Военный журнал 1839. №1: 1; Военный журнал 1839. №2: 1.
[84] Военный журнал 1839. №1: 2.
[85] Военный журнал 1839. №3: 139.; 181; 185.

Другой важной тенденцией, продолженной Николем I, было стремление объединить в массовом сознании войну 1812 г. с последующими заграничными походами, чтобы акцентировать внимание на финальных этапах борьбы с Наполеоном и освобождении Европы.

Государственные инициативы в мемориализации событий войны 1812 г. оказались активно восприняты обществом: участие народа в церемониальных мероприятиях, многочисленные публикации в прессе по теме войны, всё это говорит о существовавшем совпадении интересов и запросов общества, по крайней мере, образованной его части, с мемориальной политикой государства в конце 1830-х гг.

ИСТОЧНИКИ

1814 год // Журнал для воспитанников военно-учебных заведений. 1837. №20. С. 255-281.
А.К. Отрывок из письма к товарищу офицера Гвардейского отряда, следующего из С.-Петербурга в Бородино // Русский инвалид. 1839. № 207.
Абукирская битва. Сочинение Наполеона // Сын отечества. 1839. Т 8. С. 111-138.
Александровская колонна // Журнальное обозрение. 1837. Т. 2. С. 309-317.
Барклай-де-Толли и Кутузов // Журнальное обозрение. 1837. Т. 2. С. 372-383.
Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840. 168 с.
Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1954, т. IV, 684 с.
Бой при редуте Гевардинском, 24-го августа 1812 г. // Военный журнал. 1839. №3. С. 125-146.
Бонапарте и Мурат // Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений. 1839. Т. 17. №68. С. 382-399.
Военные действия отряда генерал-адъютанта Чернышева в 1812, 1813 и 1814 годах // Военный журнал. 1839. № 1. С. 1-37.
Военные правила Наполеона // Журнал для чтения… 1839. Т. 21. № 82. С. 223-248.
Воспоминание о торжестве 30-августа 1834 года // Там же. 1837. № 31. С. 282-289.
Добрый солдат // Журнал для чтения… 1839. Т. 20. № 77. С. 135-136.
Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 10. 558 с.
Журнал военных действий польской армии // Военный журнал. 1837. №4. С. 1-28.
Журнал военных действий союзных армий, со времени переправы их за Рейн, в декабре месяце 1813 года, до выступления из Франции в мае 1814 года // Военный журнал. 1837. № 1. С. 6-35.
Журнал Министерства внутренних дел. 1839. Т. 6. С. 35; Т. 8. С. 69.
Записки корнета бессмертного гусарского полка // Русский инвалид. 1837. № 103.
Записки Наполеона // Русский инвалид. 1837. № 47.
Записки партизана Дениса Давыдова. Воспоминания о польской войне 1831 года // Русская старина. 1872. Т. 7. С. 1-38.
Из воспоминаний А.М. Михайловского-Данилевского // Русский вестник. 1890. № 9. С. 155-161.
Из записок графа А.Х. Беркендорфа // Исторический вестник. 1903. № 1. С. 31-59.
Известия из Бородинского лагеря // Журнал для чтения… Т. 20. № 78-79. 1839. С. 258-263, 351-359.
Изъяснение к плану боя при редуте Шевардинском // Военный журнал. 1839. №3. С. 180-189.
Литературные известия // Северная пчела. 1839. № 223.
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1836. № 97; 1838. № 31.
М.Ю. Лермонтов. Бородино // Современник. 1837. Т. 5. С. 207-211.
Маленькое военное замечание о хвастовстве // Русский инвалид. 1837. № 135.
Михайловский-Данилевский А.И. «О сдаче Москвы» // Русский вестник. 1819. № 5. С. 5-24.
Монтро // Журнальное обозрение. 1837. Т. 3. С. 145-152.
Московские ведомости. 1837. № 40; 1839. № 69; № 72; №№ 8, 9, 36, 50, 59, 61, 65.
О партизанской войне // Журнал для чтения... 1837. № 14. С. 126-144.
Обозрение разных обстоятельств Отечественной войны (1812 года) и Заграничных (1813 и 1814 года) походов // Журнал для чтения… 1839. Т. 20. № 80. С. 396-435.

Описание войны 1812 года Дмитрием Ахшарумовым // Сын отечества. 1819. № 46. С. 275-277.
Описание похода 1814 г. во Францию, генерала Михайловского-Данилевского // Библиотека для чтения. 1837. Ч. 21. С. 1-15.
Описание похода 1814 г. во Францию, генерала Михайловского-Данилевского // Русский инвалид. 1837. №№ 9-33.
Остров Святой Елены // Журнальное обозрение. 1837. Т. 3. С. 156.
Отрывок из походных записок русского офицера // Журнал для чтения... 1837. №36. С. 269.
Отрывок письма Е.И.В. Великой княгине Марии Николаевне о Бородинском празднике. В.А. Жуковский // Современник. 1839. Т. 17. С. 195-210.
Очерк русской литературы за 1838 и 1839-й годы // Сын отечества. 1839. Т. 10. С. 130-155.
Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 годе) // Отечественные записки. 1839. Т. 7. С. 1-21.
Памятник на Бородинском поле // Живописное обозрение. 1839. Т. 5. С. 39-45.
Перенесение тела князя Багратиона на Бородинское поле // Журнал для чтения… 1839. Т. 19. № 76. С. 520-543.
Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду // Отечественные записки. 1839. №10. С. 10-35.
Письмо. Журнал для чтения… Т. 17. № 66. 1839. С. 80-95.
Полевой Н. Исторические известия о пожаре Московском 1812 года // Московский телеграф. 1828. № 24. С. 1-24.
Постепенное усовершенствование партизанства в Германии, Венгрии, Испании и России // Журнал для чтения… 1837. № 19. С. 260-276.
Правда о 1812 годе, служащая к исправлению исторической ошибки, вкравшейся в мнение современников // Северная почта. 1837. № 7.
Правительственный Вестник. № 186. 26 августа 1892 г.
Присутствие духа русских солдат // Журнал для чтения... 1837. № 30. С. 254-256.
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948, т. XV, 638 с.
Расписание российских и французских войск, находящихся в деле при редуте Шевардинском // Военный журнал. 1839. № 3. С. 181-215.
Русский инвалид. 1836. № 52.
Русский инвалид. 1839. № 208.
Самоотверженный поступок донского казака // Журнал для чтения… 1839. Т. 20. № 77. С. 135-137.
Санкт-Петербургские ведомости. 1839. № 195.
Санкт-Петербургские ведомости. 1839. № 202.
Северная пчела. 1832. 6 апр. № 80.
Современная история: летопись событий за август 1839 года // Сын отечества. Т. 10. 1839. Отд. V. С. 1-35
Современная история: летопись событий за январь и февраль 1839 года // Сын отечества. 1839. Т 7. Отд. V. С. 1-32.
Солдатское письмо из Бородина // Журнал для чтения… 1839. Т. 21. № 82. С. 108-115.
Торжество заложения храма во имя Христа Спасителя в Москве 1839 г. сентября 10-го дня. М.: Б. и. 1839. 23 с.
Хладнокровие русских офицеров // Журнал для чтения… 1837. № 30. С. 250-261.
Храм Спасителя в Москве. Статья первая // Живописное обозрение. 1839. Т. 4. С. 175-179.
Церковь, сооруженная на поле Бородинском // Журнал для чтения… 1837. № 35. С. 293-302.
Черты из жизни князя Кутузова-Смоленского // Там же. 1837. № 35. С. 269-280.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Война 1812 года и концепт "отечество": из истории осмысления государственной и национальной идентичности в России: исследования и материалы: монография / В.Е. Добровольская и др.; сост., ред. М.В. Строганов. Тверь: Изд-во СФК-Офис, 2012. 686 с. [Vojna 1812 goda i koncept "otechestvo": iz istorii osmysleniya gosudarstvennoj i nacional'noj identichnosti v Rossii: issledovaniya i materialy: monografiya / V.E. Dobrovol'skaya i dr.; sost., red. M.V. Stroganov. Tver': Izd-vo SFK-Ofis, 2012. 686 s.].
Горбунов А.В. Бородинские торжества 1839 и 1912 гг. как образцы празднования исторических юбилеев в Российской империи / Можайск: Госуд. Бородинский военно-исторический музей-заповедник, 2012, С. 153-161 [Gorbunov A.V. Borodinskie torzhestva

1839 i 1912 gg. kak obrazcy prazdnovaniya istoricheskih yubileev v Rossijskoj imperii / Mozhajsk: Gosudarstv. Borodinskij voenno-istoricheskij muzej-zapovednik, 2012, S. 153-161].

Крючкова О.Н. Семиотика храма в русском и английском общественном сознании на примере Храма Христа Спасителя в Москве и Собора Святого Павла в Лондоне: автореф. дисс. канд. культурологии. Москва: МГУ, 2011. 25 с. [Kryuchkova O.N. Semiotika hrama v russkom i anglijskom obshchestvennom soznanii na primere Hrama Hrista Spasitelya v Moskve i Sobora Svyatogo Pavla v Londone: avtoreferat dis. kandidata kul'turologii. MGU im. M.V. Lomonosova. Moskva, 2011. 25 s.].

Некруглая дата: открытие памятника на Бородинском поле в 1839 году / А. Кухарук // Родина. 2002. № 8. С. 134-136. [Nekruglaya data: otkrytie pamyatnika na Borodinskom pole v 1839 godu / A. Kuharuk // Rodina. 2002. № 8. S. 134-136].

Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. Москва: Наука, 1980. 312 с. [Tartakovskij A.G. 1812 god i russkaya memuaristika. Moskva: Nauka, 1980. 312 s.].

Селедкина С.Н. Изготовление и открытие Бородинского памятника по документам Российского государственного исторического архива // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. Бородино, 1997. С. 100-108. [Seledkina S.N. Izgotovlenie i otkrytie Borodinskogo pamyatnika po dokumen-tam Rossijskogo gosudarstvennogo istoricheskogo arhiva // Otechestvennaya vojna 1812 goda. Istochniki. Pamyatniki. Problemy. Borodino, 1997. S.100-108].

Цимбаев К.Н. Реконструкция прошлого и конструирование будущего в России XIX века: опыт использования исторических юбилеев в политических целях // Историческая культура императорской России. Формирование представлений о прошлом / Отв. ред. А.Н. Дмитриев. М.: ИД «НИУ ВШЭ», 2012. 626 с. [Cimbaev K.N. Rekonstrukciya proshlogo i konstruirovanie budushchego v Rossii XIX veka: opyt ispol'zovaniya istoricheskih yubileev v politicheskih celyah // Istoricheskaya kul'tura imperatorskoj Rossii. Formirovanie predstavlenij o proshlom / Otv. red. A.N. Dmitriev. M.: ID "NIU VSE", 2012. 626 s.].

Шульц М.В. Роль П. фон Хесса и А.И. Михайловского-Данилевского в создании официального варианта истории отечественной войны 1812 года / Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2016. № 6. С. 569-577 [SHul'c M.V. Rol' P. fon Hessa i A.I. Mihajlovskogo-Danilevskogo v sozdanii oficial'nogo varianta istorii otechestvennoj vojny 1812 goda. / Aktual'nye problemy teorii i istorii iskusstva. 2016. № 6. S. 569-577].

***Уланов Филипп Игоревич**, аспирант, Российский государственный гуманитарный университет, Факультет истории, политологии и права, кафедра истории и теории исторической науки: philx93@yandex.ru*

Practices of commemoration of 25th anniversary of the Patriotic war of 1812 in 1837 and 1839

This article is aimed to study practices of commemoration of 25th anniversary of the Patriotic war of 1812 in 1837 and 1839. The celebration of this anniversary became the most large-scale commemorative event in the social and political life of Imperial Russia in the 19th century dedicated to the Patriotic war of 1812. A historical analysis is performed on the material of mass media and memoirs of contemporaries. The focal point of our article is a set of commemoration practices the state used during the celebration: what ceremony was carried out and what goals are pursued by the state, what are the narratives of historical memory has existed in the press. Analysis of those practices can help understand the process and mechanism of formation of the collective memory.

Key words: the Patriotic war of 1812, practices of commemoration, collective memory, intellectual context, jubilees of the Patriotic war of 1812

***Philipp Ulanov**, post-graduate student, Russian State University for the Humanities, faculty of History, Political Science and Law; philx93@yandex.ru*

О.С. Поршнева

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В «РИТУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ» ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – XXI ВЕКА ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ[1]

В статье сквозь призму мемориальных практик рассматриваются проблемы эволюции политики памяти в отношении I мировой войны в Великобритании второй половины XX – начала XXI в. Показаны роль и взаимодействие акторов политики памяти: государства, агентов гражданского общества в процессе установления, поддержания и изменения ритуалов коммеморации и воплощенных в них «посланий». Характеризуется фактор Второй мировой в переосмыслении Великой войны и трансформации мемориальных практик, создании новых ритуалов, объединяющих память о павших в обеих войнах. Рассматриваются общественные дискуссии 1960–1980-х гг. вокруг «посланий», заложенных в государственные и местные ритуалы. Показана активизация общественной борьбы вокруг памяти о Великой войне в периоды подготовки и проведения 50-ти и 100-летнего юбилеев ее событий. Оба юбилея, при существовании национального консенсуса в отношении памяти о павших, проявили конкурирующие трактовки смысла войны и значения жертв, принесенных на ее алтарь. Актуализация памяти о Великой войне воплотилась в движении гражданского общества в 1970–1980-е гг. за восстановление специально посвященных ей коммеморации в День Перемирия 11 ноября и ритуала общенациональной минуты молчания. «Мемориальный бум» 1980–2010-х гг. проявился в превращении юбилеев I мировой войны в медийные события, в реализации многочисленных коммеморативных проектов, активизации изучения многообразного опыта войны. «Цифровой поворот» в практиках мемориализации позволил более широко приобщать британцев к результатам изысканий историков, документальному наследию войны, реализоваться плюралистическим моделям памяти и одновременно обеспечивать преемственность в традициях мемориальной культуры, ядром которых стало почитание памяти павших.
Ключевые слова: *Первая мировая война, Великобритания, политика памяти, мемориальная культура, коммеморативные практики, юбилеи.*

Историческая память и политика памяти в отношении Первой мировой войны, становление и эволюция мемориальной культуры стали популярными темами, воплощающими «мнемонический поворот» в историографии, начиная с 1980-х гг.[2] В исследовании этой проблематики проявилась приверженность авторов двум основополагающим парадигмам: во-первых, «политической»/национальной, восходящей к трудам Э. Хобсбаума и Б. Андерсена[3], рассматривающей феномены памяти в тесной связи с ритуалами и практиками национальной самоидентификации: ключевого элемента символического репертуара, «скрепляющего» нацию-государство и объединяющего граждан благодаря формированию коллективной национальной идентичности. Во-вторых, транснациональной и транскультурной парадигмы, обоснованной в работах Дж.

[1] Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00053 «Политика памяти vs историческая память: Наполеоновские войны и Первая мировая война в юбилеях»).
[2] Hynes 1990; Mosse 1990; Winter 1996; 2006; Heathorn 2005; Commemorating War...
[3] The invention of tradition…; Anderson 1991.

Уинтера[4], в рамках которой практики коммеморациий рассматриваются в антропологическом ключе, как выражение человеческой скорби и потребности в психологической реабилитации от потерь и пережитых страданий, в том числе и в публичных ритуалах поминовения.

Политический и психологический аспекты темы не могут, однако, быть разделены «непроходимой стеной», так как политика памяти всегда включает в себя скорбь (ритуалы скорби), а также способы преодоления психологических и физических потерь, связанных с войной[5]. Кроме того, в процессе и того, и другого взаимодействуют их составляющие элементы и акторы: государство, гражданское общество и индивиды, поскольку все они вовлечены в конструирование конкретного смысла и значения смерти на войне. При этом коммеморативная активность гражданского общества находит место в контексте «официальных толкований», влияющих на понимание того, кого и в каких терминах следует вспоминать. Можно согласиться с авторами коллективной монографии «Commemorating War: The Politics of Memory» в том, что и тот, и другой подходы не могут прояснить до конца пути трансформации национальных/социальных нарративов памяти в индивидуальные и их взаимодействия и для того, чтобы избежать методологической дихотомии нужно подвергнуть теоретическому анализу взаимосвязи между официальными (государственными), гражданскими и индивидуальными элементами политики памяти и практик коммеморациий[6]. Следует изучать политический и культурный процессы, воплощающие память и наделение смыслом ритуалов; прослеживать эффекты этих процессов и конфликты, их сопровождающие, т.е. все то, что обеспечивает переход от сферы социального к сфере индивидуального и наоборот.

Симптоматично, что такие исследования ведутся уже с 1990-х гг., достаточно назвать работы А. МакЛана Кинга[7]. Так, в своей докторской диссертации он поставил задачу изучить, как общественный отклик на войну приобретал в Великобритании 1914–1939 гг. формы официальных коммеморативных практик[8]. В диссертации и вышедшей в 1998 г. монографии он реализовал эту задачу через реконструкцию мемориальной активности акторов гражданского общества и местных политических институтов: комитетов по сооружению военных мемориалов, органов местного управления и самоуправления, добровольных ассоциаций, прессы. Преодоление Кингом односторонности психологического подхода проявилось в обосновании тезиса о том, что коммеморации были не только проявлением скорби по погибшим. Они, как он обоснованно утверждает, содержали дидактическую цель, вдохновляли дискуссии вокруг актуальных политических проблем, ведущиеся в понятиях, свя-

[4] Winter 1996; 2006; War and remembrance…
[5] Commemorating War: The Politics of Memory…: 9.
[6] Ibid.: 11-12.
[7] King 1993; 1998.
[8] King 1993: 2.

зывавших их с идеалами гражданства, утвержденными подвигом павших. Однако, подчеркивает Кинг, что именно коммеморации должны были означать для общества, было предметом политических дебатов. Установился консенсус по поводу того, что память о мертвых должна быть священной, но как их подвиг следует понимать, было открыто для разных интерпретаций. Различия выражались в «пристрастном» придании разными акторами значений символам мемориалов и церемоний. Священная задача прославления павших давала возможность приверженцам различных политических, социальных, религиозных групп для продвижения своих интересов настолько, насколько они могли сформулировать их как размышления о войне и ее последствиях[9].

В русле данного подхода, «соединяющего» политические и культурно-психологические аспекты коммеморациий и памяти о войне, мы рассматриваем взаимодействие акторов политики памяти в Великобритании в процессе модификации, поддержания и наделения смыслом ритуалов, посвященных войне во второй половине XX – начала XXI в. Мы ставим задачу показать связи между общественно-политическими процессами, переосмыслением опыта войны и эволюцией ритуалов коммеморациий. Взаимодействие государства и общества в процессе выработки коллективной памяти о войне, закрепленной в государственных ритуалах, происходило особенно активно в периоды подготовки и проведения юбилеев. В эти годы акторы политики памяти предпринимали усилия и по корректировке, изменению/сохранению ритуалов заложенных в них посланий, отражавших то или иное толкование смысла человеческих жертв и потерь. Начиная с 1960-х гг. государство постоянно испытывало давление общественно-политических сил, активных в «борьбе за память», вступая то в диалог с ними, а то и в противостояние и даже конфликт. Вовлечение в анализ факторов международного характера, внутриполитических процессов, мемориальных инициатив гражданского общества позволяет более глубоко осмыслить преемственность и разрыв в традициях памяти, выявить взаимосвязь национальных, социальных и индивидуальных форм и вариантов памяти о Великой войне.

***

В Великобритании, вышедшей из Первой мировой войны победительницей и в основном единой, уже в межвоенный период проявилась значимая черта в формировании политики памяти: помимо государства акторами памяти выступали различные агенты гражданского общества. В результате официальный нарратив памяти сконцентрировался вокруг концептов долга, службы стране, потерь и горя рядовых солдат и граждан в большей степени, нежели Победы и Триумфа.

Праздничные коммеморации Великой войны начали отсчет с Дня перемирия, учрежденного 11 ноября 1919 г. в ознаменование первой годовщины перемирия между воюющими сторонами. Король Георг V и правительство предложили установить по всей стране торжественное

[9] Ibid.: 3-4.

молчание на две минуты в знак признания памяти погибших. После этого две минуты молчания стали центральным событием Дня перемирия, которое происходило ежегодно до начала Второй мировой войны. Газета "The Times" так писала о возникновении этого ритуала: «Король Георг V 6 ноября в 1919 г. выпустил послание к народу, касающееся первой годовщины перемирия, где предложил ввести 2 минуты молчания в память о "славных павших". В течение последующих 20 лет у Кенотафа в Уайтхолле, в приходских церквах, школьных капеллах, в деревнях у мемориалов было наполненное слезами, живое, душераздирающее поминовение, скорбь о погибших, благодарение за их самопожертвование»[10]. Но ситуация с памятью была не столь однозначной: время от времени звучали требования сократить или устранить милитаристские элементы из церемоний Дня перемирия[11], а в конце межвоенного периода церемония воспринималась многими как подтверждение готовности Великобритании участвовать в новой войне. Согласно массовому опросу, проведенному в 1938 г., 43% населения были против продолжения соблюдения традиции молчания в День перемирия[12].

После окончания Второй мировой войны ситуация с мемориализацией Великой войны, изменилась не только в Великобритании, но и в большинстве стран, участвовавших в конфликте. Очевидная связь двух мировых войн создавала, как пишет Дж. Уинтер, ощущение, что погибшие в них образует одно сообщество павших. Однако после 1945 г. вступали в действие и факторы разрыва в мемориальной культуре: тема борьбы с нацизмом и фашизмом – «политический характер» Второй мировой войны и ее ужасающие последствия сделали невозможными воспоминания и скорбь по погибшим с использованием того же языка, который вырос из войны 1914–1918 гг.[13] Масштабы Второй мировой войны и ее жертв, ясность миссии союзников по антигитлеровской коалиции, в отличие от предшествующего мирового конфликта, смысл которого вызывал вопросы, «заслонил» на время память о Великой войне. 1940-е и ранние 1950-е гг. были «годами молчания» в отношении общественного внимания и воспоминаний о Великой войне, вытесненных героическими нарративами антинацистского сопротивления[14].

В 1945 и 1946 гг. был принят ряд решений, превративших День перемирия в национальный День памяти об обеих мировых войнах, отмечаемый в воскресенье, предшествующее 11 ноября, если оно не выпадает на 11 или 12 ноября[15]. В 1956 г. Елизавета II одобрила изменение правила, касающегося определения даты Воскресенья памяти: оно должно было проводиться во второе воскресенье ноября. Обоснование этого шага определялось «неудобством, проистекающим из прежнего прави-

[10] "The Times", 6.11.1967 г. // TNA. PREM 13/1941
[11] Commemorating War: The Politics of Memory: 264.
[12] Moran, Joe. The two-minute silence…
[13] Winter 1996: 9.
[14] Winter 2006: 26.
[15] TNA. Cab 21/ 4495

ла, по которому «Поминальное Воскресенье» выпадало то на первое, то на второе воскресенье ноября». Новое правило вступало в силу в 1960 г., так как до 1959 г. коммеморация и так выпадала на второе воскресенье ноября. Важным мотивом смены даты стало совпадение Поминального Воскресенья в 1948, 1949, 1954 и 1955 гг. с мероприятиями в честь Дня Всех Святых, всегда проводимых в первое воскресенье ноября[16].

Практики коммеморации свидетельствовали, что погибшие в обеих мировых войнах были объектом сакрализации, и в качестве таковых должны были быть коллективно поминаемы. Желание скорбеть и помнить не мешало, однако, возникновению конфликтов и споров вокруг значения ритуалов, церемоний и мемориалов, посвященных войне. Это отражало борьбу общественно-политических сил, влияние актуальных тенденций на трансформацию коллективной памяти о войне, активность агентов власти и гражданского общества в реализации политики памяти.

Дискуссия об изменениях в концепции посланий, оглашаемых на церемониях Поминального Воскресенья, впервые возникла в конфиденциальном порядке в правительственных кругах в 1958 г., когда Архиепископ Кентерберийский и другие представители церквей выступили с рядом предложений. Запрос на изменения отражал влияние антивоенных настроений, значимость миротворческой повестки, стремление актуализировать концепцию коммеморации. Архиепископ Кентерберийский в письме министру внутренних дел Р.О. Батлеру от 28 мая 1958 г. аргументировал необходимость внести изменения в церемонию тем, что служба в Воскресенье памяти «стала выглядеть архаично», будучи «обращена только в прошлое». Это, по его словам, стало очевидно на основании данных Административного совета Церквей и писем, которые он получает. Архиепископ отмечал, что Административный Совет не желает инициировать публичную дискуссию, особенно в присутствии прессы, но хотел бы обсудить этот вопрос с правительством. «Поминальное Воскресенье, – писал Архиепископ, – лучший повод для обращения к делам будущего, для молитвы за мир во внутренних и международных делах, и тогда жертвы, принесенные в прошлом, не будут напрасны... Должен быть соединен взгляд назад, в прошлое, и вперед, в будущее. Но ничего не меняется, кроме сборов за службу. По ходу времени живая память о самопожертвовании в прошлом тускнеет, и будет ужасно, если церемонии Воскресенья памяти превратятся в формальные ритуалы, имеющие мало реального значения»[17].

В то время правительство не согласилось что-либо менять в практике коммеморации, допуская лишь изменения в церковных службах на местах, не одобрило оно и предложение Архиепископа о специальном Обращении Королевы к нации в Поминальное Воскресенье, в котором отразилась бы смена акцентов в «послании памяти»[18].

[16] TNA. PREM 11/1199
[17] TNA. PREM 11/2216
[18] Ibidem.

Особая, отделенная от Второй мировой войны, память британского общества о Великой войне стала вновь возрождаться в 1960-е гг., накануне и в ходе 50-летнего юбилея событий, испытывая воздействие ряда противоречивых тенденций. С одной стороны, движения за мир, публикации книги Алана Кларка «Ослы», усиливавших критическое настроение в отношении войны (в книге Кларка военные лидеры периода Первой мировой войны сравнивались с ослами, которые вели сражавшихся как львы солдат к смерти). Следует отметить, что такое настроение подпитывалось и традицией памяти, восходящей к «пацифистской реакции» 1930-х гг. и образу разочарованного комбатанта, сложившемуся в литературе ряда стран, включая Великобританию, в межвоенный период[19]. Ян Ашвуд, на основе исследования военной литературы, художественных и документальных произведений о Первой мировой войне, вышедших в Великобритании, пришел к выводу о влиятельности пацифистского взгляда на войну в послевоенный период. Он пишет: «К 1960-м гг. альтернативные поколенческие нарративы были забыты, сложность военного опыта была редуцирована до трагедии, а другая память выхолощена. Миф военных поэтов перекрыл все другие образы, заслонив их[20].

Одновременно набирала силу и противоположная тенденция: рост общественного внимания к разным аспектам и проявлениям военного опыта, истории Великой войны. Этому способствовал ряд юбилейных мероприятий, в частности, трансляция в 50-ю годовщину начала войны посвященного ей 26-серийного телесериала Би-би-си, а также открытие Имперским военным музеем своего обширного архива документов Первой мировой войны[21]. Возрождение интереса к Великой войне проявилось также в публикации воспоминаний, которые описывали другой взгляд, предшествовавший пацифистской реакции 1930-х. В год 50-летнего юбилея войны критические по отношению к доминирующему пацифистскому взгляду позиции получили поддержку ветеранов[22].

Подготовка цикла мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею войны, актуализировала вопрос об изменении ритуала коммеморациий. В 1961 г. архиепископы Кентерберийский и Йоркский вновь выступили с инициативой изменения формы службы в Поминальное Воскресенье для использования ее во всех церемониях, с тем чтобы она направляла мысль паствы не только на прошлое, но и на настоящее и будущее[23].

Позиция правительства по этому вопросу была более острожной, оно предлагало не вносить серьезных изменений в общенациональный ритуал, отложив рассмотрение вопроса на будущее. Премьер-министр Гарольд Вильсон в июле 1968 г. отмечал, что изменения церемонии у Кенотафа пока не своевременны. Он утверждал, что мотивы покаяния и

[19] Isherwood 2017: 9.
[20] Ibidem: 161.
[21] Brandt S. Memory of the War…
[22] Isherwood: 161.
[23] TNA. PREM. 13/1941

посвящения будущему миру вместе с мотивами поминовения павших должны быть представлены в местных межконфессиональных службах. Подчеркивалось главное назначение церемонии у Кенотафа – поминовение павших: «должны быть поминаемы не только те, кто пал в двух мировых войнах, но и погиб, служа государству», хотя признавалось, что «должна быть и какая-то формула посвящения будущему». Премьер-министр и правительство отвергли и предложение министра обороны об особой службе в Соборе Св. Павла в понедельник после Поминального Воскресенья в связи с юбилеем, по аналогии с подобными службами во Франции и Бельгии. Аргументом стало соображение, что кульминация коммеморaций – церемония у Кенотафа – уже пройдет, и после нее мероприятия не будут иметь смысла. Отказ от серьезных изменений был связан с опасениями правительства, что ветераны и значительная часть общества воспримут «осовременивание» церемоний как свидетельство забвения, предательства памяти павших. Министр внутренних дел, ссылаясь на мнение премьер-министра, писал, что правительство должно иметь очень серьезные свидетельства необходимости изменений, так как малейшие упущения могут вызвать досаду у общества и чувство, что мы «забываем». Премьер-министр подчеркнул, что церемония у Кенотафа – национально-государственное событие, а не церковное, тем самым утверждая приоритет правительства как актора политики памяти. Общественная дискуссия по этому вопросу нашла отражение в публикациях "The Times", разместившей 16 ноября 1967 г. ряд материалов, посвященных Поминальному Воскресенью. В статье епископа Честерского звучала обеспокоенность по поводу снижения значения Дня памяти для современного британского общества, отмечалось, что с каждым годом уходят поколения, для которых две мировые войны имеют личностное значение, что около половины нации не имеют живых персональных воспоминаний об этих событиях. Епископ признавал, что нельзя превращать коммеморацию в нечто совсем другое, но утверждал, что акт поминовения надо дополнить: он требует покаяния за грехи и беды мира, посвящения миру, справедливости и заботе о бедных и угнетаемых. Автор полагал, что это имело бы значение для молодых людей, не имеющих опыта участия в войнах, но для которых перспектива ядерной войны – реальная угроза[24]. Акцент на молодежи свидетельствовал об обеспокоенности церкви ее настроениями, стремлении вовлечь эту важную для будущего страны аудиторию в коммеморации во имя обеспечения преемственности национальных традиций.

Признаки трансформации ритуалов коммеморaций и необходимость их дальнейшего обновления в соответствии с «духом времени» отмечались и в других публикациях. «Вчера, – писала "The Times" в редакционной статье «День поминовения», – в Ливерпульском кафедральном соборе двое молодых людей и две девушки, стоя перед Алтарем, читали пассажи молитвы посвящения, основанные на Преамбуле Хар-

[24] "The Times". 16.11. 1967 // TNA. PREM 13/1941

тии ООН. Эти и другие, еще более радикальные, изменения в характере церемонии делаются, чтобы ритуал не померк по мере смены поколений, так как общее отношение к войнам прошлого, как и к войнам настоящего и будущего, изменилось». В статье говорилось, что интерес молодежи к прошлым войнам, которые они не могут вспоминать, не способен пробудиться с помощью церемонии, сосредоточенной на прошлом, использующей милитаристские элементы, которые молодежь не одобряет. В материале также утверждалось, что тон публичных коммеморации должен подвергаться ревизии в соответствии с меняющимися эмоциями, но так, чтобы суть церемонии при этом не исчезла[25].

Трансформация ритуалов Поминального Воскресенья в период юбилея выразилась, в частности, в сокращении с семи до одного числа гимнов, используемых англиканской церковью и сохранении оставшегося гимна в новой форме, «более подходящей для современного дня»[26].

Накануне празднования 50-летнего юбилея событий Великой войны Британия предприняла подготовку своего участия в коммеморациях международного характера. Одной из них был юбилей двух дат – 50-летия начала Второй мировой войны и 20-летия освобождения Парижа в 1944 г., широко отмечавшиеся во Франции. Обращает на себя внимание обоснование участия Британии в этих мероприятиях: «Это даст возможность, – говорилось в письме Британского Посольства в Париже, – напомнить французскому народу о самопожертвовании британцев в ходе двух мировых войн»[27]. Событие должно быть хорошо подготовлено, освещено в прессе и представлено на самом высоком уровне, «тем более что Ее величество Королева примет участие в подобных коммеморациях в Бельгии». Обсуждалось также присутствие на мероприятии побежденной Германии, что отражало процесс формирования европейского союза и общеевропейских практик коммеморациий. В документе говорилось: «представители Германии будут приглашены Францией, но “на вторых ролях”. Французы понимают, что это деликатная проблема. Но на основании примера совместных коммеморациий в Вердене ясно, что этого не избежать и что нам с этим тоже придется столкнуться»[28].

В правительстве обсуждалось также предложение сотрудника Британского Посольства в Вашингтоне Дж. Киллика о необходимости совместных коммеморациий на правительственном уровне в связи с 50-летием вступления США в I мировую войну. Отрицательный ответ министерства иностранных дел и предложение отмечать это событие только на неправительственном уровне были аргументированы рядом соображений. Во-первых, тем, что это событие более значимо для США, чем для Европы; во-вторых, что оно очень затратно, так как надо привлекать к нему всех тогдашних союзников, включая Россию и Японию; в- треть-

[25] Ibidem.
[26] “The Times”. 28.08. 1968 // TNA. PREM 13/1941
[27] TNA. FO 371/ 172098
[28] Ibidem.

их, тем, что в самих США вряд ли до сих пор единодушно разделяют мнение о целесообразности вступления страны в войну. Обращалось внимание на международную конъюнктуру, формирование новой системы союзничества в Европе, необходимость избегать травматических для новых союзников воспоминаний: «И мы, и наши германские союзники (западногерманские союзники по блоку НАТО и формирующемуся евросоюзу – *О.П.*) будут неизбежно страдать, вспоминая то, что произошло в апреле 1917 г.[29], особенно в том, что касается связей с общественностью»[30]. Этот учет восприятия символических действий со стороны ФРГ свидетельствовал о целенаправленных усилиях правящих элит Западной Европы по формированию общей культуры памяти, на основе примирения и новых общеевропейских ценностей и, с другой стороны – об устойчивости национального формата памяти.

Частью коммеморaций, посвященных поминовению павших в войнах, стали проводившиеся по субботам, предшествовавшим Поминальному Воскресенью, «Фестивали Воспоминаний» (Remembrance Festival). Они организовывались Британским легионом совместно с представителями военного министерства, с приглашением высокопоставленных лиц. Строгая регламентация проявлялась в подготовке праздничной церемонии. Выпускались секретные рекомендации, касающиеся вопросов, которых премьер-министру нельзя касаться на ужине Британского Легиона, проводимом в рамках данного мероприятия, заранее готовились тексты тостов и ответных речей и т.д. Британский Легион был массовой общественной организацией ветеранов, в которой в 1961 г. состояло 700 000 членов, из них 30% воевали в годы Первой мировой войны. Помимо участия в общенациональных коммеморациях, социальной помощи ветеранам, Легион оказывал поддержку тем, что желал посетить могилы павших за границей родственников[31].

Большой вклад в обеспечение преемственности коммеморативной традиции вносило телевидение: прямые трансляции с церемонии на Кенотафе, документальные сериалы, гимны и песни в честь ветеранов войны находили отклик у публики и самих ветеранов[32].

Вопрос о приведении церемоний Поминального Воскресенья в соответствие с духом времени вновь был поднят в 1970-е гг., когда с рядом предложений выступила созданная из представителей важнейших министерств (внешнеполитического, обороны, внутренних дел и др.) Рабочая группа, подготовившая в 1976 г. на эту тему специальный доклад. В нем был поставлен вопрос о необходимости «расширения значения» церемонии у Кенотафа, посвящения ее не только павшим в двух мировых войнах, но и всем, погибшим в военное или мирное время во имя страны и соотечественников. Показательно, что большинство мини-

[29] Имеется в виду подводная война, ее восприятие общественным мнением.
[30] TNA. FO 371/185056
[31] TNA. WO 32/16143
[32] “Sunday Times”, 11.02.1977 // TNA. PREM 16/1505

стров, обсуждая доклад в 1978 г., пришли к выводу о нецелесообразности радикального расширения, ссылаясь на общественное мнение, которое будет против этого, граждан, ассоциирующих церемонию у Кенотафа с поминовением павших в двух мировых войнах[33]. В докладе говорилось и о необходимости представительства европейских стран на церемонии у Кенотафа, включая не только бывших союзников, но и противников в двух мировых войнах, в качестве жеста, означающего общность памяти и акт примирения. Вновь был поднят дискутировавшийся еще в 1950–1960-е гг. вопрос о привлечении молодежи к участию в церемонии, в частности, школьников, «чтобы вызвать у них чувство идентификации с праздником»[34]. Это говорило об актуальности проблемы сопричастности молодежи, а также о том, что молодежь с 1960-х гг. стала объектом особого внимания акторов политики памяти.

В документе обсуждался вопрос о целесообразности приглашения на церемонию у Кенотафа представителей национальных партий Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса. Несмотря на то, что этот шаг был признан несвоевременным, сама постановка проблемы отражала наличие общественного запроса на ее рассмотрение. Это было также связано с «казусом Д. Стюарта» – главы Шотландской национальной партии, ветерана Второй мировой войны, выдвинувшего в 1975 и 1976 гг. требование представительства партии на церемонии у Кенотафа и ее участия в возложении венков. Формальным основанием отказа, прозвучавшего в Записке премьер-министра Дж. Каллагэн от 29 сентября 1977 г., было то, что в церемонии участвуют только представители общенациональных партий Соединенного королевства, фактически же правительство не желало допускать на церемонию «националистические» партии, прежде всего, Северной Ирландии[35]. Шотландская национальная партия и ее лидер восприняли отказ как оскорбление памяти павших шотландцев, «оскорбление всех шотландцев – бывших военнослужащих». В газете “Scotsman” за 10 ноября 1976 г. сообщалось, что Хамиш Уотт, главный партийный организатор, написал премьер-министру письмо, в котором спросил, не рассматривается ли Кенотаф как поминовение только павших англичан, и что, по сути, эта ситуация поднимает вопрос о том, являются ли две мировые войны английскими, в которых роль шотландцев не учитывается[36]. Лорд Том МакНалли в письме премьер-министру от 10 ноября 1976 г. указал на то, что не допускать Д. Стюарта к возло-

[33] TNA. PREM 16/1505

[34] Ibidem.

[35] TNA. PREM 16/1505. По существующим правилам, в ритуале возложения венков участвовали только представители двух крупных оппозиционных партий. Правило менялось, в частности, в 1984 г. было принято решение, что венки к Кенотафу возлагают лидеры партий, набравших 6 и больше мест в палате общин после последних всеобщих выборов. Лидеры партий с более, чем одним местом приглашаются на церемонию, но не возлагают венки. См.: Письмо министра внутренних дел премьер-министру от 9 октября 1987 г. // TNA. PREM 19/4008

[36] “Scotsman”, 10.11.1976 г. // TNA. PREM 16/1505

жению венков у Кенотафа – серьезная ошибка. В его участии, отмечал МакНалли, есть политический смысл, так как это будет живое напоминание, что Шотландия является неотъемлемой частью Соединенного Королевства[37]. Однако просьба Стюарта так и не была удовлетворена.

Серьезный резонанс в британском обществе получила дискуссия по предложениям возвратить церемонию ежегодного поминовения павших в Великой войне на День Перемирия 11 ноября. Такое заявление на телевидении и в прессе сделал легендарный пилот, капитан группы ВВС Великобритании во Второй мировой войне, полковник авиации и филантроп Л. Чешир, остро поставив вопрос о необходимости восстановления Дня памяти 11 ноября, а минуты молчания – в 11 часов 11 ноября, независимо от дня недели, посвящении минуты молчания миру[38]. В его и других выступлениях звучала мысль о том, что поминовение павших в Великой войне «померкло», ее герои и жертвы незаслуженно забыты, делались сравнения по типу «прежде» и «теперь». В газете "Sunday Times" Чешир писал: «Когда я был маленьким мальчиком[39], День поминовения действительно многое значил. Вся школа маршировала к местному военному мемориалу, и ровно в 11 часов, когда звучали оружейные выстрелы, целый город не осмеливался пошевелить ни одним мускулом. В течение двух минут повсеместно было реальное молчание, когда каждый думал о погибших. А сейчас даже сама дата поминовения предана, а 11 ноября уступило место "удобному" воскресенью»[40].

Ярким феноменом, характеризующим ценность памяти о Великой войне в британском обществе, стала общественная кампания за восстановление минуты молчания и Дня поминовения павших 11 ноября, инициированная в 1982 году редактором газеты "Yours" М. Мэйсон. Она обратилась к читателям с просьбой высказать мнение по этому вопросу и принять участие в народном голосовании. Результаты, опубликованные в ноябрьском номере газеты, были ошеломляющими: 99% откликнувшихся читателей из более чем 500 принявших участие в опросе, выступили за восстановление минуты молчания 11 ноября в 11 часов, в традиционный День примирения. В письме к министру внутренних дел М. Мэйсон писала: «Вы получите петицию, которую доставит в ваш офис сегодня 90-летняя читательница, по своей инициативе, собственноручно собравшая 100 подписей в поддержку восстановления двухминутного молчания 11 ноября. Я была бы благодарна, если бы Вы довели мнение читателей газеты до сведения Ее Величества». В ответе министра внутренних дел У. Уайтлоу говорилось, что оснований для переноса минуты молчания с Поминального Воскресенья на 11 ноября нет, так как, во-первых, эта коммеморация посвящена павшим во всех войнах во имя страны, а не только в Первой мировой войне, а также потому, что

[37] TNA. PREM. 16/1505
[38] "Sunday Times", 11.02.1977 // TNA. PREM 16/1505
[39] Леонард Чешир родился 7 сентября 1917 г.
[40] "Sunday Times", 11.02.1977 // TNA. PREM 16/1505

в воскресенье она привлекает большое количество участников на всей территории Соединенного Королевства и стран Содружества[41].

Существенное изменение ситуации с памятью о войне началось в 1980–1990-е гг. в связи с «мемориальным бумом». Важным его симптомом и одновременно стимулирующим фактором было увеличившееся количество и расширяющаяся программа юбилейных мероприятий, благодаря которым военные коммеморации превратились в медийные события. Этот феномен отмечался во всем мире, но в Британии он проявлялся особенно ярко: прошла целая вереница военных юбилеев, ставших медийными мероприятиями, заметными для публики.

В 1993 и 1998 гг., в 75-ю и 80-ю годовщину перемирия, произошло подлинное воскрешение общественного интереса к Великой войне, значение которой в формировании контуров современного мира и масштаб самопожертвования нации стали осознаваться более глубоко. Развернулась широкая, сопровождаемая СМИ, кампания по восстановлению минуты молчания в День перемирия, массовым стало ношение маков молодежью, расширилась аудитория многочисленных документальных ТВ-сериалов, романов о войне и о ее памяти[42]. В результате в 1996 г. минута молчания в День перемирия была восстановлена. Вот как писал об этом Журнал военной истории Южно-Африканского военно-исторического общества в год 80-летнего юбилея: «Колесо сделало полный круг... В Великобритании еженедельный журнал “Spectator” 16 ноября 1996 года писал, что “в стране отмечается День перемирия. Миллионы людей молча склонили свои головы как дань памяти погибшим на войне”. Здесь важно, что в статье упоминается День перемирия, рабочий понедельник, а не День памяти, воскресенье. На той же неделе “The Economist” сообщил: “Миллионы людей замерли в безмолвной дани погибшим. Это был первый раз после окончания II мировой войны, когда молчание, посвященное окончанию I мировой войны, 11-го часа, 11-го дня, 11-го месяца проводилось в Лондоне в будний рабочий день”». “International Daily Telegraph” в 1997 г. сообщила: «Большая часть Британии замерла, так как примерно 40 миллионов человек соблюдали двухминутное молчание в День перемирия. Операции были приостановлены в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях, на большинстве радио- и телеканалов, в торговых центрах, судах, университетах и на фондовой бирже. …Официальные представители Королевского Британского легиона заявили, что предварительная оценка показала, что по крайней мере семь из десяти человек приняли участие в минуте молчания, что превышает прошлогодний показатель»[43].

Одновременно юбилеи, приобретая возросшую общественную значимость, создавали возможность для проявления конкурирующих вариантов памяти. В частности, в дни 100-летнего юбилея войны выявилась

[41] THA. HO 342/401
[42] Commemorating War: The Politics of Memory: 4-6.
[43] Kilmartin P. 11 NOVEMBER 1998…

напряженность в отношениях между официальной и неофициальными версиями коллективной памяти и истории этих событий, вызвавшая профессиональные и общественные дебаты. Историк Э. Мукок отмечает, что позиция правительства Великобритании, заявлявшего, что его роль в проведении юбилея сводится к обеспечению руководства и поддержке в организации общественных коммеморациий, хоть и понятна, но наивна. Оно недооценивает собственную роль в стимулировании идеологически обоснованных границ, касающихся того, как конфликт должен вспоминаться и что представляет собой его наследие для современного британского общества. Путем конструирования 100-летнего юбилея I мировой войны в рамках «национального» дискурса, правительство, по мнению историка, «провалилось» в осознании того, до какой степени мультинациональная структура Великобритании оказывала и продолжает оказывать воздействие на разделение, иерархизацию и фрагментацию памяти британского общества о войне[44].

Действительно, в период 100-летнего юбилея войны, ознаменованного реализацией в 2014-2018 гг. целого ряда коммеморативных проектов[45], проявилось стремление правительства утвердить и «продвинуть» национальный дискурс памяти о войне. Это прозвучало в 2014 г. в призыве министра образования Майкла Гоува «бороться с мифами о войне» и «уничижением подвига британских солдат», реабилитировавшем идеи «справедливой войны» и «священной жертвы, которую принесли солдаты, отдав свои жизни в борьбе с германской агрессией»[46]. Однако академический мир Британии скорее осудил заявление министра, а многие исследователи войны высказались в том духе, что нельзя превращать столетие исключительно в серию воспоминаний о боях и погибших, потому что это будет повторением пропагандистских клише эпохи самой Великой войны и не приблизит общество к пониманию причин последней и политических и социальных феноменов столетней давности. В период коммеморациий столетнего юбилея действовала и противоположная: был оценен вклад жителей доминионов и колоний, освещена роль азиатских и африканских стран и народов в годы Первой мировой войны, что способствовало переосмыслению прежних концепций, более глобальному и масштабному взгляду на войну[47].

Несмотря на определенный консенсус, сложившийся в британском обществе, память о войне никогда не была чем-то единым или фиксированным, ни в умах современников и участников событий, ни тех, кто создавал и посещал памятники, записывал воспоминания в автобиографических или литературных произведениях, ставил пьесы, снимал фильмы[48]. Наряду с телевидением в последнее двадцатилетие, особенно в свя-

[44] Mycock 2014: 161.
[45] См.: Голубинов 2019: 69-72.
[46] Цит. по: Там же: 71.
[47] Там же: 70, 74.
[48] Heathorn: 1121-1122.

зи со столетним Юбилеем войны, проявилась роль электронных СМИ в популяризации интереса к войне, создании документальных баз данных, в том числе источников личного происхождения: писем, воспоминаний, фотографий. Сети, сайты, посвященные Великой войне, отражают не только «цифровой поворот» в способах трансляции памяти и знания, но и интерес современного британского общества к переосмыслению опыта войны, ее антропологическому измерению, персональным историям. Яркий пример – созданный д-ром Т. Торпом, членом интернет-сети «I мировая война», подкаст Ассоциации «Западный фронт», в котором он выступает в качестве продюсера и ведущего. Цель WFA как национальной британской благотворительной организации – «развитие интереса к Великой войне через празднование, просвещение и обсуждение». Она имеет более 60 филиалов и 6 тыс. членов по всему миру. По заявлению создателей, это «неполитическая организация, которая не стремится прославлять войну, но увековечивает память, мужество и дружбу всех тех, кто служил своим странам во Франции и Фландрии, а также в своих странах во время Великой войны»[49]. С февраля 2017 г. Ассоциацией выпущено около 90 программ с общим числом загрузок 104000. Каждая еженедельная программа получает около 1000 просмотров[50]. Подкаст охватывает самые разные темы: от вдов, нянь и животных в Великой войне до сражений, лидеров и революционеров, вовлекает широкий круг историков, ученых и общественных проектов[51].

«Цифровой поворот» в способах мемориализации Первой мировой войны в полной мере проявился и в создании больших, размещенных в Интернете, банков документальных данных. Среди них такие, как Каталог из более 600 тыс. предметов (самолеты, оружие, интервью, музыка, плакаты, письма и многое другое) из коллекций Имперского военного музея. При этом 90 тысяч его объектов имеют оцифрованные изображения, звук или видео[52]. Различные цифровые проекты и ресурсы, касающиеся Первой мировой войны, представлены в Блоге историка Отто Верваарта. Автор блога так анонсировал его создание: «Среди множества инициатив, посвященных столетию Великой войны, есть место для веб-сайта, на котором можно собрать как можно больше интересных проектов, охватывающих широкий спектр тем и перспектив, и сделать цифровые проекты доступными для поиска»[53].

Несомненно, способствовало сохранению и актуализации памяти о войне, расширению круга источников ее изучения, создание ресурса доступных аудиовизуальных материалов BBC, посвященных I мировой войне (“BBC History: World War One, British Broadcasting Corporation”)[54]. Веб-сайт Оксфордского университета, посвященный столетию I миро-

[49] https://www.westernfrontassociation.com
[50] https://www.acast.com/mentionedindispatches
[51] https://www.westernfrontassociation.com
[52] http://www.iwm.org.uk/collections/search
[53] http://digital1418.wordpress.com/
[54] http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/

вой войны (World War I Centenary, University of Oxford JISC), содержит коллекцию учебных материалов: статей, изображений, интерактивных карт, аудио- и видео-лекций, электронных книг по войне. Он использует междисциплинарные подходы и темы для изучения культурного, социального, географического и исторического контекста войны. В частности, сайт содержит цифровой архив поэзии времен I мировой войны – онлайн-хранилище, включающее более 7000 элементов текста, изображений, аудио и видео для преподавания, обучения и исследований[55].

***

Таким образом, изменения ритуалов памяти, несмотря на действие противоречивых тенденций в общественной жизни, как показывает послевоенная история, происходили очень медленно и трудно, проходя сложную процедуру обсуждений, согласований и утверждений. Это было связано с существованием продуманного, сложившегося при активной роли правительства, политических сил и акторов гражданского общества общенационального консенсуса в отношении памяти о погибших и модели коммеморации, посвященных павшим в обеих мировых войнах. Новые общественные запросы, возникшие накануне и в период 50-летнего юбилея событий Великой войны, были связаны с пацифистскими, критическими настроениями в британском обществе, молодежным движением, актуализацией нарративов памяти «разочарованных комбатантов» 1920–1930-х гг. Этому способствовали смена поколений, уход носителей живой, коммуникативной памяти, снижение роли ветеранов в публичных коммеморациях, возникновение угрозы ядерной катастрофы, девальвировавшей саму идею войны как способа разрешения международных противоречий. В то же время юбилей вызывал стремление «разобраться в наследии» войны, осмыслить ее опыт более комплексно, обновить концептуализацию, скорректировать послание, заложенное в ритуалах, а также сами практики коммеморации. Антивоенный нарратив памяти стал подвергаться критике, утверждаться признание значимости британского опыта Великой войны.

Инициированные церковью в 1960-е гг. шаги по актуализации концепции «послания», заложенного в праздничную коммеморацию, сохранению ее общественной значимости были «подхвачены» в 1970–1980-е самыми разными общественными силами. Возрождение интереса к Великой войне в британском обществе выразилось в постановке его акторами вопроса, вылившегося в ситуации «мемориального бума» 1980–1990-х гг. в широкую дискуссию, о восстановлении отдельных, специально посвященных этой войне, коммеморации в День Перемирия 11 ноября. Результатом борьбы общественности за память о войне стала победа 1996 г., когда впервые после 1945 г. 11 ноября, в понедельник, состоялась общенациональная минута молчания. Это было проявлением важного сдвига в понимании Великой войны, влиятельности, несмотря на наличие альтернативных нарративов, национального консенсуса в от-

[55] http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/

ношении ее памяти и национального дискурса о войне. Он сформировался как своеобразный национальный миф в мемориальной культуре страны, базирующийся на представлениях об особой, «высокой» миссии и роли Великобритании в ходе и исходе Великой войны, о масштабности человеческих жертв, принесенных страной на алтарь борьбы за свободу, о самой войне – как главном событии XX века.

В условиях «мемориального бума» 1990–2010-х гг. череда юбилеев превратилась в значимые медийные события, а информационные технологии определили «цифровой поворот» в практиках мемориализации. Использование информационных технологий в политике памяти, реализуемой представителями научно-образовательного сообщества и общественно-политических сил, позволяет приобщать население и, что особенно важно, молодежь, к результатам профессиональных изысканий историков, документальному наследию войны, дискуссионным и антропологическим ее аспектам. Это дает возможность реализоваться плюралистическим моделям памяти, а с другой стороны, – поддерживать традиции и сохранять национальный консенсус в важнейшем вопросе об отношении к наследию Великой войны – почитании памяти павших.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Голубинов Я. А. Столетие Первой мировой войны в Великобритании и изучение конфликта в школах королевства // Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. Вып. 2 / Под ред. К. А. Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. С. 69-72.[Golubinov YA. A. Stoletie Pervoj mirovoj vojny v Velikobritanii i izuchenie konflikta v shkolah korolevstva // Prepodavanie voennoj istorii v Rossii i za rubezhom: Sb. st. Vyp. 2 / Pod red. K. A. Pahalyuka. M.; SPb.: Nestor-Istoriya, 2019. S. 69-72.].

Anderson, Benedict. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso, 1991. 224 p.

Brandt, Susanne. Memory of the War: Popular Memory 1918-1945, 1945 to the Present (Version 1.1) // 1914-1918-Online. International Encyclopedia of the First World War// URL: http://www.1914-1918-online.net/ (дата обращения: 18.04.2018).

Commemorating War: The Politics of Memory / Ed. by T.G. Ashplant, G. Dawson, M. Roper. New Brunswick, N.J.; London: Transaction, 2004, 282 p.

Heathorn, S. The Mnemonic Turn in the Cultural Historiography of Britain's Great War // The Historical Journal, 48, 4 (2005), pp. 1103-1124.

https://fwwnetwork.wordpress.com

https://www.acast.com/mentionedindispatches

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/

http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/

http://digital1418.wordpress.com/

http://www.iwm.org.uk/collections/search

https://www.westernfrontassociation.com

Hynes, Samuel. A War Imagined: First World War and English culture. L.: the Bodley Head, 1990. 514 p.

Isherwood, Ian Andrew. Remembering the Great War. Writing and publishing the experiences of World War I. London-New York, 2017. 210 p.

Kilmartin, P. 11 NOVEMBER 1998. The eightieth anniversary of Armistice Day // Military History Journal Vol. 11. No 2, December 1998.

King A. Memorials of the Great War in Britain: the Symbolism and Politics of Remembrance. Oxford: Berg, 1998 274 p.

King A. The Politics of Meaning in the Commemoration of the First World War in Britain, 1914-1939 Thesis (Ph.D.) University of London, 1993. 356 p.

Moran, Joe. The two-minute silence keeps a delicate balance between public coercion and private reflection // The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/nov/11/comment.mainsection
Mosse, G. L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York; Oxford: Oxford university press, 1990. 264 p.
The invention of tradition / ed. by Eric Hobsbawm and Terence Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 322 p.
The National Archive (TNA). Cab 21/ 4495; FO 371/172098, 371/ 185056; HO 342/401; PREM 11/1199, 11/2216, 13/1941, 16/1505, 19/4008; WO 32/16143
War and Remembrance in the Twentieth Century/ ed. by Jay Winter and Emmanuel Sivan. Cambridge: Cambridge university press, 1999. 260 p.
Winter Jay. Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century. New Haven & London: Yale University Press. 2006. 340 p.
Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge university press, 1996. 310 p.

***Поршнева Ольга Сергеевна**, доктор исторических наук, профессор, Департамент международных отношений, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина o.s.porshneva@urfu.ru*

First World War in the British "Ritual Policy" of the second half of 20th - early 21st century: traditions and innovations

The article discusses the evolution of the politics of memory regarding to the I World War in Great Britain of the second half of the 20th - beginning of the 21st centuries. The author analyses the role and interaction of the state and civil society actors in the process of establishing, maintaining and changing the rituals of memorials and "messages" embodied in them. II World War is characterized as a factor of rethinking of the Great War and of transformation of War memorial practices, the reason for creation of new rituals that combined the memory of those who fell in both wars. The article analyses the public discussions of the 1960s - 1980s around the "messages" embedded in national and local rituals, the modernization of commemorations, the role of concrete actors of the state and society in this process. The author shows in the political and sociocultural context the activization of the social striving for the memory of the Great War during the preparation and organization of the 50th and 100th anniversaries' events. It is proved that both anniversaries, despite the existence of a national consensus regarding the memory of the dead, showed competing interpretations of the meaning of the war and the significance of its sacrifices. It is shown that the actualization of the memory of the Great War was embodied in the movement of civil society in the 1970s and 1980s for the restoration of commemorations specially dedicated to this War on Armistice Day, November 11th. As a result, the ritual of the national two minutes silence on 11 November revived in 1996. Author shows that the "memorial boom" of the 1980s and 2010s manifested itself in the transformation of the anniversaries of the I World War into media events, in the implementation of numerous commemorative projects with the participation of the state and public organizations, and in the intensification of the war experience studies. The "digital turn" in memorialization practices allowed the British to become more widely involved in the projects being the results of professional historical researches. The "digital turn" helps to provide the documentary legacy of the war, to realize pluralistic models of memory and at the same time ensure continuity in the traditions of memorial culture, the core of which is respect for the memory of the fallen.

Keywords: First World War, Great Britain, politics of memory, memorial culture, commemorative practices, anniversaries

***Olga Porshneva,** Dr. Sc. (History), Professor, Department of International Relations, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin; o.s.porshneva@urfu.ru*

Т.М. Гавристова, Н.Е. Хохолькова

«ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»: АФРОЦЕНТРИЗМ, АФРОПОЛИТИЗМ, АФРОПЕЙСТВО

Статья посвящена проблеме формирования «постколониальной библиотеки» – нарративного пространства, в рамках которого происходит презентация прошлого и настоящего континента самими африканцами. В центре внимания авторов три дискурсивные формации – афроцентризм, афрополитизм, афропейство, сформировавшие три кластера «постколониальной библиотеки».

Ключевые слова: *Африка, диаспора, постколониализм, нарратив, афроцентризм, афрополитизм, афропейство*

«Глобальная Африка», «Афротопия», «Афрополития», «Афропея» – понятия, наводнившие в последние десятилетия научную литературу, СМИ и Интернет. Их появление свидетельствует как о возникновении новых нарративов, так и о масштабных трансформациях в мире. Африка, на протяжении столетий воспринимаемая исключительно как средоточие бедствий, конфликтов, катастроф, на исходе XX в. вышла за рамки стереотипов, став полем притяжения, великой идеей, «последним королевством катарсиса»[1] для людей, напрямую и косвенно, материально и духовно связанных с ней. На протяжении столетий африканские исследования велись с позиций евроцентризма. И хотя Африка воспринимается все еще как периферия, лишенная собственной истории, она обрела свой топос (место в истории) и голос, став подлинным актором мировой политики и в еще большей мере – культуры. В последние десятилетия в обсуждение прошлого и настоящего континента включились сотни профессионалов африканского происхождения, обозначив новые тренды в гуманитарных науках – в русле African и Black Studies, направленных на комплексное изучение африканцев континента и диаспоры.

Книга философа и писателя Вумби (Валентина) Йока Мудимбе «Изобретение Африки»[2] (его называют «Эдвардом Саидом современной африканистики») намного опередила свое время. В ней впервые была представлена новая парадигма африканских исследований. Ее основу, наряду с идеями Мудимбе, составила методология известных всему миру африканцев: историка и философа Шейха Анта Диопа (1923–1986), дуайена африканского литературоведения Абиолы Ireле (1936–2017), историка и политолога Али Мазруи (1933–2014). «Изобретение Африки» – альтернатива ретранслируемого в трудах европейских исследова-

[1] Larousse 2007.

[2] Mudimbe 1988. Вумби Йока (Валентин-Ив) Мудимбе родился в 1941 г. в Бельгийском Конго; долгие годы жил и работал в Бельгии, Франции, Швейцарии, США.

телей термина «открытие»; по мнению Мазруи, «изобретение» включало ряд стадий[3] и происходило в контексте постколониального дискурса. В последней трети XX в. под влиянием постколониализма и ориентализма в спектре концепций «альтернативных модерностей»[4] выделились теорий, инициировавших переосмысление «идеи Африки»[5].

Мы рассмотрим три дискурсивные формации: афроцентризм, афрополитизм и афропейство. Они, во многом, определили границы нарративного пространства, где реконструируются реалии прошлого и настоящего, воссоздается новый историко-культурный хронотоп. «И в этом конкретном и как бы всеобъемлющем хронотопе» происходит «раскрытие и пересмотр»[6] образа, который веками воплощала Африка. Так формируется альтернатива «колониальной библиотеки».

Термин «колониальная библиотека» ввел В.Й. Мудимбе, применив его к евроцентричным исследованиям. По аналогии «постколониальная библиотека» представляет собой собрание произведений, авторы которых покончили с предвзятостью в отношении Африки и африканцев. В определенном смысле это синоним постколониального дискурса, и его, в свою очередь, можно рассматривать одновременно как следствие доминирования колониального дискурса и альтернативу ему. Применительно к Африке развитие постколониального дискурса неразрывно связано с национально-освободительным движением, процессами деколонизации и последующей африканизации государственных, политических и социально-экономических структур. Приставка «пост-», указывающая на конкретную «точку отсчета» (1960 г. вошел в историю как Год Африки: в ходе него обрели независимость 17 государств континента), проводит грань между эпохами. Однако ни колониализм, ни постколониализм невозможно определить строгими хронологическими рамками.

Постколониальный дискурс унаследовал интеллектуальные традиции, оформившиеся задолго до фактического освобождения континента от колониальной зависимости. На исходе XIX века одним из его предтеч стал Эдвард Уилмонт Блайден (1832–1912) – «отец» панафриканизма и культурного национализма, автор концепции «африканской личности». В 1930–1940-х гг. «эстафету» культурной переориентации африканцев приняли создатели негритюда Эме Сезэр (1913–2008), Леон-Гонтран Дама (1912–1978) и Леопольд Седар Сенгор (1906–2001); в 1950-х гг. историк Ш.А. Диоп и философ, психоаналитик Франц Фанон (1925–

[3] В статье «Новое изобретение Африки: Эдвард Саид, В.И. Мудимбе и другие» Мазруи выделил пять стадий «изобретения Африки»: «на первой стадии Северная Африка рассматривалась как часть классического Средиземноморья»; вторая связана с взаимодействием Африки и семитских народов; третья – с распространением ислама; четвертая – с европейским влиянием и колониализмом; пятая – с глобализацией.

[4] Конрад 2018: 222.

[5] Global Africa: Into the Twenty-First Century 2017: 1.

[6] Бахтин 1975.

1961) обратились к вопросам духовной деколонизации африканского континента. Герои «пробудившейся Африки» – Кваме Нкрума (1909–1972) и Джулиус Ньерере (1922–1999), чьи имена ассоциируются с деколонизацией, заложили фундамент постколониальной философии, пережившей расцвет на рубеже XX–XXI вв.

Глашатаи независимости сделали ставку на обновление риторики при опоре на христианство и марксизм. Они акцентировали внимание на таких категориях как «судьба», «вера», «патриотизм», «жертва»[7]. Фабьен Эбусси-Булага (1934–2018), Полин Хунтонджи (род. в 1942), Энгельберт Мвенг (1930–1995), Теофиль Обенга (род. в 1936), Кваме Вireду (1936–2008) в попытке «понять себя и других»[8] пришли к осознанию собственной идентичности через актуализацию исследовательской деятельности, инстинктивно подвергнув сомнению ее смысл и достижения предшественников в погоне за пересмотром оценочной шкалы в ходе проведения научной экспертизы и проверки идеологических гипотез и теорий, включая негритюд. Всех их сближало увлечение в юности религией (некоторые стали священниками или хотели ими стать) и образование, полученное в лучших университетах Европы[9].

Хунтонджи в противовес афроцентристским оценкам вклада народов Африки в мировую цивилизацию признавал, что современную науку (систему знания) африканцы создать не могли[10]. Однако именно современная африканская философия и история стали продолжением или, по крайней мере, модификацией колониального дискурса, испытав на себе сильнейшее влияние со стороны культурного релятивизма с его уважением к традициям разных народов. Вместе они сложились в некую систему гуманитарных знаний, освобожденную от комплекса неполноценности, с присущим ей особым видением мира и человека. Ученым нужна была стратегия и методология. В их отсутствии было невозможно достичь сколько-нибудь высокого «уровня научной истины»[11].

Постколониальная теория соответствовала потребностям академического сообщества и общества в целом и должна была ориентироваться на будущее, не порывая с прошлым. Интеллектуалы сознавали специфику восприятия черных белыми и наоборот, и, не желая унижаться до дискуссий (на уровне биологических), ретранслировали на весь мир коммунализм и гуманизм африканских традиций, в результате на смену колониализму в Африку досрочно (но ненадолго) пришел социализм[12].

---

[7] Jackson, Rosberg 1982: 79, 184.
[8] Branden 1969: 1, 15.
[9] Mudimbe 1988: 39-40.
[10] Урсу 1983: 15.
[11] Там же: 178-180.
[12] Okoye 1980: 185.

1980-е гг. ознаменовались «постколониальным поворотом»[13]. Он был обусловлен не только политико-экономическими трансформациями и проявлением неоколониалистких обострений[14], но и зарождением принципиально новых интеллектуальных течений. Его начало спровоцировал выход в свет книги историка и литературоведа палестинского происхождения Э.Саида (1935–2003) «Ориентализм»[15] (1978), посвященной репрезентациям Востока в западной культуре. Саид заложил основу новой парадигмы изучения незападных сообществ, к ее формированию присоединились другие интеллектуалы. «Святую Троицу»[16] постколониальных исследований (postcolonial studies), по мнению британского ученого Роберта Янга, образовали, кроме Э. Саида, философ и теоретик литературы Гаятри Чакраворти Спивак и филолог Хоми Бхабха – оба индийского происхождения. Все трое – выходцы с Востока – сделали карьеру в престижных университетах США, а в своих исследованиях рассматривали проявляющиеся в разнообразных формах последствия колониализма и предлагали способы их преодоления. Их труды подвергались критике. Оппоненты указывали на «гибридность» взглядов теоретиков постколониализма и свойственную им «идентичность через дефис». По-другому быть не могло. Именно кажущаяся амбивалентность идей и представлений – на деле аналог абсолютного (бинокулярного) зрения – позволила представителям неевропейских этно-расовых сообществ применительно к своему опыту интерпретировать постколониализм иначе, чем западные исследователи. Как следствие, интерес к их трудам возрос в США и Европе, в кругу профессионалов, соотечественников и выходцев из Африки.

Африканцы не менее активно включились в процесс построения нового интеллектуального пространства с его новым семантическим рядом и иными терминологическими дефинициями, инициировав изучение проблем, лежащих на стыке наук. В исследованиях идентичности и аутентичности, историко-культурной памяти, индивидуальной и коллективной, души (soul) и разнообразных, веками формировавшихся и еще не полностью изжитых, комплексов вины и неполноценности они увидели не только свое призвание, но и свою Миссию, унаследовав от предшественников особое к ней отношение – на уровне мессианства.

В тесной взаимосвязи с постколониальным дискурсом начался процесс трансформации африканских исследований и становления Black studies – области знаний, обозначившейся на исходе 1960-х и «ориентированной на изучение вклада чернокожих людей в развитие обще-

[13] Бахман-Медик 2017: 217.
[14] Там же: 219.
[15] Саид 2006.
[16] Young 1995: 163.

ства»[17]. Одним из свидетельств новой стадии постколониализма можно считать появление социокультурной теории афроцентричности, автором которой стал Молефи Кете Асанте (род. в 1942 г. в США)[18].

Афроцентризм как направление мысли и комплекс интеллектуальных построений был предсформирован усилиями ряда ученых, политических и общественных деятелей, прежде всего Э.У. Блайдена, У. Дюбуа, (1868–1963), Ш.А. Диопа. Структурировав и переосмыслив их идеи в соответствии с актуальным социально-политическим контекстом, а также концепциями мультикультурализма и транскультурности, Асанте вывел дискуссию об «идее Африки» на аксиологический уровень.

Глобальной целью афроцентристов стало формирование новой «модели мира», в центр которой помещались Африка и африканцы. Любое событие или явление предполагалось рассматривать с «африканской точки зрения». М.К. Асанте и его коллеги в соответствии с принципами африкологии[19] стремились любыми способами «вернуть африканцев обратно в нарративы об Африке»[20]. В списке ключевых задач значились устранение пострабского комплекса неполноценности и чувства психологической дезориентации людей африканского происхождения и их последующая консолидация. Первостепенное значение для афроцентристов США, особенно на первых этапах развития теории, имело происхождение – корни (*Roots*). Вдохновленные одноименным романом Алекса Хейли[21], многие восстанавливали родословную посредством генеалогических исследований (с середины 1990-х – при помощи дорогостоящих анализов ДНК), изучали культуру и традиции предков. Афроцентристский эссенциализм, в основе которого кроется идея о некой глубинной сущности, подлинном сознании, характерном для людей африканского происхождения, был и остается предметом критики. Но, по сути, так формировалась память, которую в аналогичном контексте Владимир Набоков рассматривал как «длинную вечернюю тень истины»[22].

---

[17] Encyclopedia of Black Studies 2004: 276.

[18] Молефи Кете Асанте (Артур Ли Смит, младший), специалист в области массовых коммуникаций, заведующий и профессор департамента африкологии и африкано-американских исследований Университета Темпл в Филадельфии.

[19] Африкология – матрица междисциплинарных исследований, научный метод, основанный на идее афроцентризма, стратегия геополитики знаний, направленная на расширение границ изучения историко-культурного и социального опыта африканцев за счет слияния африканистики, египтологии и африкано-американских исследований.

[20] Из доклада М.К. Асанте «Аналитическая афроцентричность и будущее африканских исследований»; X Международная научная конференция «Африка в контексте формирования новой системы международных отношений», РУДН, Москва, 28 февраля 2020 года.

[21] Haley 1976.

[22] Набоков 1990: 312.

Однако подобная (весьма умозрительная) культурная укорененность (на уровне обретения самости) позволяла заинтересованным дистанцироваться от геттоизированных образов африкано-американца и приступить к конструированию нового паттерна идентичности – американского гражданина, эмоционально и духовно ориентированного на традиционные ценности предков. Позиционируя себя в качестве примера для подражания, на вопрос «Кто такой Молефи К. Асанте?», сам он отвечал: «Африканец с американским гражданством, живущий в современном обществе и пытающийся сделать все возможное для того, чтобы выполнить интеллектуальный и социальный долг, возложенный на него предками, с определенной долей честности и преданности истории»[23].

Африка представляла собой предмет сакрализации, в ходе которой неизменно обретала черты некой трансцендентной субстанции (постмодернистского симулякра), благодаря чему большинство африканоамериканцев смогли осознать свои корни. «Изобретение» Африки для них свершилось, хотя ее образ оказался далек от реалий. Афроцентристы превозносили достижения представителей черной расы, нередко игнорируя этно-конфессиональные, языковые, культурные особенности регионов в интересах борьбы за единство расового сознания. Они провоцировали интерес к континенту у массовой аудитории путем использования простейших и коммерчески выгодных атрибутов: имен, символов (вербальных и визуальных), одежды, украшений, причесок, еды. Призыв к их «потреблению» вызвал процесс коммодификации афроцентристских идей, а ее актуализация проходила через подъемы и спады, но свидетельствовала об устойчивости внимания ко всему африканскому.

В ходе десятилетий эволюции афроцентризм освоил не только теоретическое, но и практическое измерение. Идеи, распространяемые образовательными и общественными организациями, идеологами и сторонниками интеллектуального и эстетического движения, инициированного М.К. Асанте, превратились в тренд, повлияли на самосознание и репрезентацию, статус и этос, укрепив чувство гордости людей африканского происхождения за свою расу и принадлежность к ней. Асанте небезосновательно утверждал, что африкология «оказала влияние на все социальные науки и в какой-то мере изменила их навсегда». Он отмечал: «Социологи больше не говорят языком жертвы или меньшинства в своих трудах… Историкам жизни чернокожих людей видятся чрезвычайно важными для полного понимания американского общества. Они не используют термины "бушмены", "готтентоты", "пигмеи", "племена", "первобытные" в том объеме, в каком использовали до 1980 г. Мы, в сущности, изменили язык социальных наук и заново создали дискурс африканского народа. Мы сами творим свою собственную историю»[24].

[23] Turner, Asante 2002: 717.
[24] Zulu, Asante 2008: 81.

В «постколониальной библиотеке» выделился обширный кластер афроцентричных произведений, тяготеющий к трансконтинентальности. Он объединил внутри себя представителей литературной, академической, интеллектуальной элиты (африканской и африкано-американской), чьи взгляды хоть в чем-то совпадали с парадигмой афроцентризма: нигерийского поэта и писателя Чинуа Ачебе (1930–2013); вест-индского философа Ф. Фанона; камерунского историка Э. Мвенга; нигерийско-американскую писательницу Чимаманду Нгози Адичи[25]; американского общественного, политического и религиозного деятеля Малкольма Икса (1925–1965); поэтессу, активистку движения в защиту гражданских прав африкано-американцев Майю Анджелоу (1928–2014); историка, одного из теоретиков афроцентризма Маулану Каренгу (род. в 1941 г.)[26]; бывшую первую леди США Мишель Обама (род. в 1964 г.) и др.

Резонанс, вызванный появлением афроцентризма, трансформацией его теории и практики, а также образования, науки, литературы, музыки, моды, кино, способствовал дальнейшему «препарированию» и преобразованию идеи «африканской идентичности». В условиях эволюции и растущего влияния постколониальных теорий акцент сместился в сторону категории гибридности, рассматриваемой в значении продуктивности культурных взаимодействий, прежде всего миксаций и трансферов.

Афрополитизм и афропейство возникли на почве, подготовленной афроцентристами в уже трансформированном ими культурном пространстве. В отличие от предшественников афрополиты и афропейцы не абсолютизировали концепт культурной аутентичности: для них в равной мере были важны и корни *(roots),* и траектории *(routes)*[27], маршруты миграций и трансформации культурного опыта.

Афрополитизм – философия «африканцев мира», поколения молодых успешных профессионалов африканского происхождения, в настоящее время уже перешагнувших рубеж своего сорокалетия. Термин был введен англо-американской писательницей с ганаяно-нигерийскими корнями Тайе Туакли-Восорну, более известной как Тайе Селаси (род. 1979)[28], в эссе «Бай-бай, Бабар», где, провозгласив себя афрополитом, декларировала ряд установок, определивших жизненные принципы поколения Y – «поколения Африка» («AfriGen»). Афрополит, по мнению писательницы, – сложный «культурный гибрид», проживающий и рабо-

[25] Чимаманда Нгози Адичи родилась в 1977 г.; нигерийско-американская писательница, общественный деятель.

[26] Маулана Ндабезитха Каренга (Эверетт Рональд Маккинли), историк, политолог, лингвист, общественный деятель, профессор, руководитель кафедры Africana Studies Калифорнийского университета в Лонг-Бич; один из основателей радикальной «Организации Ю-Эс» («The Organization Us»), деятельность которой была нацелена на консолидацию и поддержание культурного единства чернокожих американцев.

[27] Clifford 1997.

[28] Тайе Селаси – также фотограф, продюсер, автор романа «Гана должна идти» (2013).

тающий в мегаполисе, склонный к консюмеризму, но сохранивший духовную связь с конкретным местом на африканском континенте («будь то страна (Эфиопия), город (Ибадан) или тетушкина кухня»). «Мы – не граждане, а африканцы мира», – заявляла Т. Селаси[29]. Ее персональный манифест вызвал широкий резонанс. В дискуссии вокруг понятия «афрополит», наряду с пользователями Интернета, было вовлечено сначала литературное (писательское), а затем академическое сообщество, в среде которого со временем и возникла философия афрополитизма.

По мнению камерунского философа Ахилла Мбембе, автора ставшей бестселлером книги «О постколонии» (2000), афрополитизм как объект исследования предстает в качестве совокупности путей и способов, благодаря которым африканцы или люди африканского происхождения могут осознать себя разными и равными в мире, который не ограничивается только Европой. В отличие от Селаси, говорившей от имени рассеянного по всему свету «поколения Африка», Мбембе считал, что Африка была не только «пунктом отправления», но и «местом назначения». Он поместил в фокус своей философии не только «африканцев мира» – пассионарных представителей черной расы, но и людей других рас, волею судеб ставших африканцами, в разные исторические периоды: арабов, азиатов и европейцев – завоевателей, торговцев, миссионеров, беженцев, добровольных мигрантов, под воздействием различных обстоятельств осевших на африканском континенте. Мбембе полагает, что в настоящее время их потомки вправе считать себя африканцами.

В идее афрополитизма Мбембе увидел неограниченный потенциал, на основе которого вполне можно создать новую прикладную философию, предназначенную для африканцев. Его первая статья об афрополитизме, опубликованная в коллективном труде «Африканский ремикс: современное искусство континента» начиналась с утверждения, что африканский дискурс доминирует почти на протяжении века в литературе, философии и искусстве благодаря трем политико-интеллектуальным парадигмам, которые не являются взаимоисключающими[30]. Первая парадигма, по мнению автора, представляла собой совокупность различных вариаций антиколониального национализма, вторая – множество реинтерпретаций марксизма и «африканского социализма» и, наконец, третья – панафриканизм во всем его многообразии, предусматривающий два типа солидарности: расовую и транснациональную (антиимпериалистическую и международную). С точки зрения А. Мбембе, к началу XXI столетия данные парадигмы не только не претерпели существенных изменений, но и стали еще более оторванными от реальной жизни обществ, нуждающихся в современной философии культуры.

[29] Selasi 2005.
[30] Mbembe 2005: 26.

Афрополитизм – «эстетика и поэтика» постколониального мира, «способ бытия в мире, вне виктимности»[31] для Мбембе стал инструментом изучения и презентации Африки в условиях глобализации. По его мнению, философия афрополитизма базируется на представлении о «мирах-в-движении». С ними неразрывно связаны и два явления: дисперсия (рассеяние, распыление) и иммерсия (вживание, погружение). Историю культуры континента, доколониальную и современную, он склонен рассматривать в контексте мобильности. Проблема перемещений – миграций – для него тесно связана с проблемами «вживания» и выживания, адаптации и ассимиляции. Взаимодействуя с новым (принимающим) обществом, меняя образ жизни и привычки, иммигранты становятся «культурными гибридами». Ключевыми топосами философии афрополитизма, помимо дисперсии и иммерсии, являются афрополитичный метрополис и «идея открытых границ», а также расширенное сознание и толерантность – необходимые условия существования.

В настоящие время миллионы африканцев проживают за пределами Африки или не в той стране, откуда родом. Они знают пять-шесть языков, владеют рядом едва ли не самых ангажированных профессий, и, будучи носителями и акторами глобальной транснациональной культуры, реализуют креативность там, где она востребована. Каждый «отдельный виток» «миров-в-движении» представляет собой новую фазу постколониального дискурса, в границах которого с позиций экзистенциализма и эссенциализма происходит процесс репрезентации Африки иначе – не так, как в «колониальной библиотеке».

Биньяванга Вайнайна (1971–2019) в эссе «Как писать об Африке» дал авторам «инструкцию» (от противного): «Всегда используйте слова “Африка”, “тьма” или “сафари” в заголовке, а в подзаголовке – “Занзибар”, “масаи”, “зулу”, “Замбези”… Полезно упомянуть слова: “партизаны”, “вечный”, “первобытный”, “абориген”. Обратите внимание, что слово “люди” обозначает африканцев, которые не являются черными, а выражение “эти люди” относится к черным африканцам». Ироничная рекомендация предлагает считать Африку «дикой, жаркой и пыльной “страной”», а в качестве иллюстраций для большей убедительности использовать фотографии изможденных женщин с АК-47, с обнаженной грудью и выпирающими ребрами[32]. Подобного рода аллюзии оказались и своевременны, и уместны. С большинством стереотипов было покончено, в среде африканцев исполненная иронии и кодовых намеков инструкция воспринималась как лихая постмодернистская шутка.

Б. Вайнайна – писатель, которого при жизни относили к числу самых влиятельных африканцев мира, к законодателям моды в литературе афрополитизма, так же, как Ч.Н. Адичи, хотя оба одновременно могут

[31] Ibid: 28-29.
[32] Wainaina 2005. АК-47 – автомат Калашникова.

рассматриваться в качестве его критиков. Такой дуализм во взглядах и оценках стал следствием их постоянных размышлений и поисков Африки в себе и себя в Африке. На уровне самоидентификации они не испытывали каких-либо противоречий, сознавая многомерность собственных ощущений и проявлений – в литературе и вне ее (в музыке, педагогической деятельности, киберпространстве), на родине и за ее пределами. На уровне национальной (коллективной, массовой) идентичности проблема также решалась однозначно, однако «не без дефиса».

«Постколониальная библиотека» в начале XXI в. вместила в себя обширный массив литературы афрополитизма. Преобладали в нем художественные произведения: повести, романы, рассказы – а также автобиографии и воспоминания. Ч.Н. Адичи, НоВайолет Булавайо[33], Петина Гаппа[34], Кабело «Селло» Дукер (ЮАР, 1974-2005), Теджу Коул[35], Алан Мабанку[36], Имболо Мбуе[37], Динау Менгисту (Дино Менджесту)[38], Адаоби Тришиа Нваубани[39], Чигози Обиома[40], Хелен Ойейеми[41], Т. Селаси, Олуфеми Терри[42], Амината Форна[43], мало известные российскому читателю, уже в молодом возрасте обрели признание, а с ним и способность воздействовать на общественное мнение. Языковое пространство, в котором существует «постколониальная библиотека», давно уже не ограничивается территорией бывших метрополий. Современная литература афроцентризма и афрополитизма переведена на десятки языков, включая не только английский и французский, немецкий и португальский, но и польский, румынский, финский, шведский, а также китайский, япон-

[33] НоВайолет Булавайо (Элизабет Зандиле Тшеле) род. в 1981 г.; зимбабвийский писатель, преподаватель Стэнфордского университета (США).

[34] Петина Гаппа (род. в 1971 г.); зимбабвийский писатель и юрист, живет в Швейцарии. Ее дебютный сборник рассказов «Элегия восточному ветру» в 2009 г. был удостоен премии британской газеты «Гардиан».

[35] Теджу Коул (род. в 1975 г.); американец нигерийского происхождения, писатель, историк искусства, фотограф, фотокритик «The New York Times Magazine».

[36] Алан Мабанку родился в 1966 г.; конголезский писатель, один из немногих франкофонов в среде афрополитов.

[37] Имболо Мбуе родилась в 1982 г.; американский писатель камерунского происхождения, проживает в США, автор романа «Вот мечтатели».

[38] Динау Менгисту родился в Эфиопии в 1978 г.; писатель, журналист; его называют «восходящей звездой» американской литературы.

[39] Адаоби Тришиа Обайне Нваубани (род. в 1976 г.); писатель, юморист, журналист; ее дебютный роман «Я вряд ли вернусь» (2009) в 2010 г. был удостоен премии писателей Содружества за лучший дебют (Африка); постоянно живет в Нигерии.

[40] Чигози Обиома (род. в 1986 г.); нигерийский писатель, доцент Университета Небраски-Линкольна.

[41] Хелен Оладжумоке Ойейеми (род. в 1984 г.); британский писатель нигерийского происхождения, с 2014 г. проживает в Праге.

[42] Олуфеми Терри — писатель, родился в Сьерра-Леоне, вырос в Нигерии.

[43] Амината Форна родилась в Великобритании в 1964 г.; афро-шотландская писательница, преподает в университетах Великобритании и США, постоянно живет в Лондоне. Книги писательницы переведены на 15 языков.

ский, арабский, хинди, что предельно расширило сферу ее присутствия и повлияло на обновление самого постколониального дискурса. В отличие от афроцентристов, ориентированных на коммуникацию и взаимодействие внутри трансафриканского сообщества, афрополиты стремились ретранслировать свои идеи на весь мир, стирая границы внутри него. Именно они, как принято считать, предприняли кибератаку на профессиональную аудиторию и читателей, отдающих предпочтение не бумажным носителям информации, а их электронным аналогам. Выступления на платформе TED[44], создание авторских колонок в онлайн-изданиях, блогов, постов преумножили их популярность. Произведения Ч.Н. Адичи в настоящее время входят в списки обязательного чтения для школьников в разных странах мира, не только в США и Нигерии, а в Швеции ее феминистский манифест «Дорогой Иджевеле»[45] бесплатно раздают подросткам, достигшим тринадцатилетнего возраста.

И хотя не все упомянутые авторы сами в полной мере соотносят себя с афрополитизмом, ритмы жизни «на перекрестке» и склонность к постоянным «путешествиям сквозь культуры <…> снова и снова, вместе со своими историями»[46] делают их «африканцами мира».

Афропейство – явление гораздо более локальное, в силу региона распространения (континентальная Европа, главным образом – Франция) и демократичное. В среде афрополитов гораздо больше селебрити. Термин «афропеец» появился в 2008 г. на страницах книги Леоноры Мьяно[47] «“Афропейская душа” и другие истории». Молодой человек, герой рассказа, называет себя «афропейцем – европейцем африканского происхождения»[48]. В настоящее время таких немало в Европе и прежде всего в Париже, где едва ли не каждый второй – выходец из Африки. Этимология слова проста и в определенном смысле может рассматриваться как результат ангажированности идеи культурной ассимиляции, определившей в свое время французскую стратегию колониального господства. Первая и вторая часть неологизма являются производными от двух лексем: «африканец» и «европеец». Смысловое его наполнение можно рассматривать как отражение не столько кризиса, сколько поиска идентичности и одновременно как альтернативу афрополитизму, адепты

[44] TED Talks – ежегодная конференция, инициируемая частной некоммерческой организацией TED (Technology. Entertainment. Design), созданной в 1984 г. в США с целью распространения уникальных идей в области науки и культуры. Участниками конференций в разные годы были Чимаманда Нгози Адичи (2009; 2014), Биньяванга Вайнайна (2015 г.) и другие известные ученые и писатели. HARD Talk – телешоу на канале BBC (Лондон); в числе его гостей была Чимаманда Нгози Адичи (2014).

[45] Adichie 2017; Адичи 2019.

[46] Phillips, Gappah 2016.

[47] Леонора Мьяно (род. в 1973 г.); камерунская писательница.

[48] Miano 2008: 53.

которого – носители англо-саксонской языковой и культурной традиции – реализовали себя преимущественно в Великобритании и США.

Очевидная в силу соматических признаков принадлежность к неевропейской расе, проживание на европейской территории и принадлежность афро-европейской культуре не позволяют афропейцам дать однозначный ответ на вопрос о своей идентичности. В рамках одного семантического поля они соседствуют с афро-французами, афро-немцами, афро-испанцами, афро-португальцами, афро-итальянцами – чернокожими европейцами. В реальной жизни все сходятся в том, что «быть черным в Европе – не обязательно быть эмигрантом», – так заявлено в их Манифесте[49]. В настоящее время они настороженно реагируют на то, чтобы называться «другими».

Актуализация термина «афропеец» велась преимущественно на страницах художественных произведений. Фату Диом[50], А. Мабанку, Л. Мьяно, Уилфрид Н'Сонде[51], Сами Чак[52], Абдурахман Вабери[53] инициировали диалог о том, что значит быть французом, франкоязычным писателем и афропейцем в XXI в. Дискуссии об аутентичности и идентичности в писательской и университетской среде выступили предметом анализа в книге «Франкоязычные афропейские литературы»[54]. Авторы предисловия с названием «Франкоязычные афропейцы» – Ники Хичкотт и Доминик Томас – рассматривали афропейство не как концепцию, а как возможность чернокожего европейского сообщества (прежде всего интеллектуалов) консолидироваться и выстроить свои отношения с обществом, культурой и историей. В афропейской литературе они видели некий симбиоз Африки и Европы, внутри которого произошло взаимное обогащение, а отчасти даже переформатирование традиций.

Кэтлин Нокс в книге «В объективе раса»[55] попыталась опровергнуть риторику «внутренней инаковости» и не воспринимать тех, кого во Франции все еще считают другими, как других. По ее мнению, следовало бы разоблачать подобные представления, ибо для многих чернокожих и их родителей Франция – родина. Они никогда не были в Африке и столь же далеки от нее, как белые французы.

---

[49] Grant 2019.

[50] Фату Дьом (род. в 1968 г.); сенегальская писательница, автор романа «Подбрюшье Атлантики» (2003).

[51] Уилфрид Н'Сонде, род. в 1968 г. в Конго (Браззавиль); французский писатель и певец; лауреат премии имени Ахмаду Курумы за роман «Океан, два моря, три континента» (2018).

[52] Сами Чак, род. в 1960 г. в Того; французский писатель; в 2004 г. получил литературную премию «Черная Африка» за свой роман «Фестиваль масок».

[53] Абдурахман Вабери, род. в 1965 г. в Джибути; писатель.

[54] Hitchcott, Thomas 2014: 1-13.

[55] Knox 2016.

Самоощущение темнокожих европейцев, очевидно, отличается от восприятия их белыми, в чьем сознании еще жива память о французских детских колониальных комиксах, романах и «зоопарках», куда французские зрители шли взглянуть на тех, кого подвергли колонизации. Между тем, попытки развенчать подобное отношение в XX–XXI вв. имели место. Свидетельством тому служит грандиозный фолиант – каталог выставки «Черный Париж»[56]. Ее лейтмотивом стала тема присутствия африканцев в жизни мегаполиса. Благодаря их вкладу в культуру и историю страны, африканцы – «новые негры», создатели негритюда, «сенегальские стрелки», литераторы, художники, музыканты – стали заметны не из-за цвета кожи, а благодаря выдающимся достижениям.

Анализируя прошлое и настоящее, К. Нокс акцентировала внимание на логике развития кросс-культурного диалога в области музыки и моды, прослеживая влияния: колониальные и постколониальные. Выводы привели ее к необходимости пересмотра представлений не только об инаковости, но и о норме, которая вплоть до настоящего времени не учитывает наличия в обществе множества расовых и этнических меньшинств. Следовало бы, по мнению исследовательницы, проанализировать проблему «белизны» («белое пятно» во французских культурных исследованиях) столь же детально, как «черноту и «африканство».

Становление и актуализация постколониального дискурса сделали очевидным, что афроцентризм в наибольшей мере проявил себя в сферах образования и науки, обозначив стратегию их развития в направлении деколонизации. Афрополитизм вел борьбу с предрассудками и стереотипами через Слово (с большой буквы – прим. авторов), обращенное к читателю, слушателю, пользователю Интернета, через обновление многих литературных жанров. Афропейство, будучи следствием локальной культурной гибридизации, проросло не только в публицистике и медиасфере, но и в музыкальной среде, сформировав не только один из кластеров постколониальной библиотеки, но и ее фонотеку.

Принадлежность литературы афроцентризма и афрополитизма постколониальному дискурсу бесспорна. И хотя изначально «африканцы мира», как и писатели старшего поколения (например, сочувствующий афроцентризму Ч. Ачебе), учились у античных авторов, В. Шекспира, Ч. Диккенса, В. Теккерея – у тех, чьи произведения можно было найти на полках домашней, школьной[57], а потом университетской библиотеки, знакомство с африканской литературой стало для многих из них, включая Ч.Н. Адичи и Б. Вайнайну, «откровением». В интервью газете «The New York Times» (23 апреля 2020 г.) Адичи упомянула десятки книг, оказавших и продолжающих оказывать на нее влияние. В их числе западная, индийская, японская, африканская литература, публи-

[56] Black Paris - Kunst und Geschichte einer schwarzen Diaspora 2006.
[57] Achebe 2009.

цистика Ришарда Капущинского (1932–2007), мемуары Б. Вайнайны[58], монография нигерийского историка Кеннета Дике (1917–1983) «Торговля и политика в дельте Нигера»[59], роман «Радости материнства» Бучи Эмечета (1944–2017)[60], повести «В ожидании, когда проголосуют дикие звери» Ахмаду Курумы (1927–2003) и «Африканский мальчик» Камара Лайе[61], философия и поэзия Л. Сенгора, произведения Лейлу А. Абулелу[62] и много что еще[63] из того, что в настоящее время составляет «золотой фонд» «постколониальной библиотеки».

Современные фолианты, авторы которых не претендуют на установление абсолютной истины, но стремятся показать меняющийся мир во всех его деталях, вряд ли могли бы оказаться в ситуации, подобной той, что описана в остроумном памфлете Джонатана Свифта «Битва книг» (1704). Сражение между книгами в Королевской библиотеке в Сент-Джеймском дворце, спровоцированное намерением авторов утвердиться в превосходстве над другими – талантливая интерпретация полемики во Французской академии в конце XVII в. о достоинствах литературы и искусства античности и современности (старых и новых)[64].

Идеи афроцентризма, афрополитизма и афропейства вполне гармонично сосуществуют в глобальном мире, хотя в границах постколониального дискурса их рождается немало. Передаваясь от поколения к поколению, вместе они образуют континуум – «питательную среду» – для дальнейшего развития постколониальных нарративов, где Африка уже обрела память и историю, стала «зримой и звучащей»[65].

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Адичи Ч.Н. Манифест от женщины к женщине. М.: Эксмо, 2019. 128 с. [Adichi CH.N. Manifest ot zhenshchiny k zhenshchine. M.: Eksmo, 2019. 128].

Бахман-Медик Д. Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре / пер. с нем. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 504 с. [Bahman-Medik D. Kul'turnye povoroty. Novye orientiry v naukah o kul'ture / per. s nem. S. Tashkenova. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017. 504 s.].

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 234-407 [Bahtin M.M. Formy vremeni i hronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoj pojetike // Bahtin M. M. Voprosy literatury i jestetiki. M.: Hudozh. lit., 1975. S. 234-407. URL: http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronotop3.html

[58] Wainaina 2011.
[59] Onwuka Dike 1962.
[60] Emecheta 1979.
[61] Лайе 1987.
[62] Лейла Абулела, род. в 1964 г. в Каире (мать – египтянка, отец – суданец); писательница; выпускница Лондонской школы экономики и права; пишет на английском языке; постоянно живет в Абердине (Шотландия, Великобритания).
[63] Tamaki, Adichie 2020.
[64] Swift 2007.
[65] Бахтин 1975.

Конрад С. Что такое глобальная история? М.: Новое литературное обозрение, 2018. 312 с. [Konrad S. Chto takoe global'naja istorija? M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2018. 312 c.].
Лайе К. Африканский мальчик» / Перевод с фр. (Пред. и примеч. И. Тогоевой). М.: Радуга, 1987. 125 с. [Laje K. Afrikanskij mal'chik» / Perevod s fr. (Predislovie i primechanija I. Togoevoj). M.: Raduga, 1987. 125 s.].
Набоков В. Весна в Фиальте. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4 М., Изд-во «Правда», 1990. С. 305-322. [Nabokov V. Vesna v Fial'te. Sobranie sochinenij v chetyreh tomah. T. 4 M., Izd-vo «Pravda», 1990. S. 305-322.].
Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб., Русский міръ, 2006. 637 с. [Said Je.V. Orientalizm. Zapadnye koncepcii Vostoka. Perevod s anglijskogo A.V. Govorunova. Sankt-Peterburg, Russkij mir, 2006. 637 s.].
Урсу Д.П. Историография стран Тропической Африки. М.: Наука, 1983. 262 с. [Ursu D.P. Istoriografija stran Tropicheskoj Afriki. M.: Nauka, 1983. 262 s.].
Achebe Ch. The Education of British-Protected Child. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2009. XII, 172 p.
Adichie Ch.N. Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2017. 80 p.
Black Paris - Kunst und Geschichte einer schwarzen Diaspora. Museum der Weltkulteren, Frankfurt om Main: Peter Hammer Verlag, 2006. 432 p.
Branden N. The Psychology of Self-esteem. A New Concept of Man's Psychological Nature. Los Angeles: Nash Publishing, 1969. 240 p.
Clifford J. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 1997. 408 p.
Emecheta B. The Joys of Motherhood. L.: Allison & Busby, 1979. 230 p.
Encyclopedia of Black Studies. Ed. by M. K. Asante, A. Mazama. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2004. 568 p.
Global Africa: Into the Twenty-First Century. Ed. D. Hodgson, J. Byfield. Oakland: University of California Press, 2017. 416 p.
Grant C. Afropean by Johny Pitts review – black Europe from the street up. 30 May 2019 // Guardian. URL: https://www.theguardian.com/books/2019/may/30/afropean-by-johny-pitts-review
Knox K.E. Race on Display in 20th- and 21st-Century France. Oxford: O.U.P., 2016. 224 p.
Haley A. Roots. N.Y.: Doubleday, 1976. 688 p.
Hitchcott N., Thomas D. Introduction: Francophone Afropeans // Francophone Afropean Literatures. Ed. by Nicki Hitchcott & Dominic Thomas. Liverpool: Liverpool U.P., 2014. 256 p.
Jackson R.H., Rosberg C.G. Personal Rule In Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant. Berkeley, Los Angeles, L.: University of California Press, 1982. 316 p.
Larousse P. Nègre, Négrier, Traite des Nègres: Trois articles du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Paris: Bleu autour, 2007. 112 p.
Mudimbe V.Y. The Invention of Africa. L.: Bloomington, 1988. 241 p.
Mbembe A. Afropolitanism / Trans. Laurent Chauvet // Africa Remix: Contemporary Art of a Continent / ed. by N. Simon and L. Durán. Ostfildern: Hatje Cantz, 2005. P. 20-36.
Ngara E. Art and Ideology in the African Novel: A Study of the Influence of Marxism on African Writing. L.: Heinemann Educational, 1985. IX, 126 p.
Okoye M. Embattled Men. Profiles in Social Adjustment. Enugu: Fourth Dimension Publicating Cooperation Ltd., 1980. XIV, 378 p.
Onwuka Dike K. Trade and Politics in the Niger Delta, 1830-1885: An Introduction to The Economic and Political History of Nigeria. Oxford: O.U.P., 1962. 250 p.
Phillips J., Gappah P. Petina Gappah on Zimbabwe, Language, and "Afropolitans". An Interview with the Author of the Book of Memory. February 22, 2016 // Literary Hub. URL: https://lithub.com/petina-gappah-on-zimbabwe-language-and-afropolitans/
Selasi T. Bye-Bye Babar. March 3, 2005. // The LIP Magazine
URL: http://thelip.robertsharp.co.uk/?p=76
Swift J. The Battle of the Books. January 15, 2007.
URL: https://www.gutenberg.org/files/623/623-h/623-h.htm
Tamaki J., Adichie Ch.N. What the Novelist Chimamanda Ngozi Adichie Reads While She Works. April 23, 2020. // The New York Times.

URL: https://www.nytimes.com/2020/04/23/books/review/chimamanda-ngozi-adichie-by-the-book-interview.html
Turner D.D., Asante M.K. An Oral History Interview. Molefi Kete Asante // Journal of Black Studies. 2002. Vol. 32. No. 6. Pp. 711-734.
Wainaina B. How to Write About Africa. 2005 // Granta 92. URL: https://granta.com/how-to-write-about-africa/
Wainaina B. One Day I Will Write About This Place: Memoir. Minnesota: Graywolf Press, 2011. 272 p.
Young R. Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race. N.Y.: Routledge, 1995. 236 p.
Zulu I.M., Asante M.K. Africology 101: An Interview with Scholar Activist. Molefi Kete Asante by Itibari M. Zulu // The Journal of Pan African Studies. 2008. Vol.2. № 2. Pp. 79-84.

Гавристова Татьяна Михайловна, *доктор исторических наук, профессор, кафедра всеобщей истории, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, tanja1994@mail.ru*

Хохолькова Надежда Евгеньевна, *кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Центр истории и культурной антропологии, Институт Африки Российской академии наук, khokholkova@gmail.com*

"Postcolonial Library": Afrocentrism, Afropolitanism, and Afropeanism

The article is devoted to the problem of the formation of "postcolonial library" - a narrative space within which the Africans present the past and the present of the African continent in their own way. The authors focus on three discursive formations - Afrocentrism, Afropolitanism, Afropeanism, which served as frameworks for the creation of the three clusters of the "postcolonial library".

Key words: Africa, diaspora, postcolonialism, narrative, Afrocentrism, Afropolitanism, Afropeanism

Tatiana Gavristova, *Dr. Sc. (History), Professor, Department of World History, P.G. Demidov Yaroslavl State University; tanja1994@mail.ru*

Nadezhda Khokhol'kova, *PhD (History), Senior Research Fellow, Centre for History and Cultural Anthropology, Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences; khokholkova@gmail.com*

В.Ю. Апрыщенко

БЫТЬ «БРИТАНЦЕМ» В БРИТАНИИ ДЕБАТЫ ОБ АНГЛО-ШОТЛАНДСКОЙ УНИИ 1603–1707 гг.

Статья посвящена влиянию англо-шотландских отношений на формирование идеи «Британии» в XVII в. Используя широкий круг, преимущественно нарративных источников, автор анализирует массовый и элитарный дискурс англо-шотландских отношений в период между двумя актами – 1603 и 1707 гг. Выделяя четыре этапа формирования «британскости» – рубеж XVI–XVII вв., 1630-е; 1640–1650-е; 1660–1670-е; 1690-е – 1707 г., он доказывает, что вопрос о соотношении между «английскостью», «шотландскостью» и «британскостью» обуславливался рядом факторов. Наиболее значимые среди них – отношение к династии Стюартов, понимание роли монархии в целом, а также интеллектуальное осмыслении шотландской истории. Автор приходит к выводу о том, что с точки зрения формирования идеи «британскости», 1603–1707 гг. были единым процессом инкорпоративной унии, ограниченным двумя правовыми актами и нашедшим отражение как в элитарном, так и в массовом дискурсе.

Ключевые слова: *англо-шотландская уния, идентичность, национализм, «британскость», петиции, Стюарты, XVII век*

Период между англо-шотландскими униями 1603 и 1707 г. является наиболее сложным этапом шотландской истории Нового времени, особенно с точки зрения формирования национальной идентичности, включая идею «британскости» – формирования представления об общем прошлом, настоящем и будущем народов, проживающих на территории Туманного Альбиона. Если политическая история этого времени исследована довольно хорошо, главным образом с акцентом на последствия унии корон и формирования предпосылок унии парламентов, а также гражданских войн 1640-1650-х гг., то вопрос об эволюции взаимных образах шотландцев и англичан остается все еще слабо отраженным в историографии. И здесь исследователи часто попадают в ловушку анахронизма и здравого смысла.

XVII век вошел в европейскую историю как «золотой век» и век кризиса. Исследователи, занимающиеся его изучением, акцентировали внимание, с одной стороны, на т.н. «научной революции», заложившей основы новой картины мира, а, с другой, на различных формах социального протеста, одной из которых стала «британская революция»[1]. В отличие от сторонников традиционной идеи «английской революции», авторы концепции «британской революции» отстаивают мысль о том, что в середине XVII в. Стюарты столкнулись с революционными потрясениями во всех трех частях королевства – и в Англии, и в Шотландии, и в Ирландии. Это привело к конституционным изменениям, гражданским войнам, казни монарха, развитию идей республиканизма, и в ко-

[1] Macinnes 2004.

нечном счете к реставрации. Оппозиционные настроения по отношению к Стюартам, рассматриваемым в качестве имперской династии, подчинившей себе народы Британии, во всех трех частях королевства постоянно развивались и принимали различные формы. Соответственно им менялся как сам образ Британии, так и восприятие отношений между Англией, с одной стороны, и Шотландией или Ирландией – с другой.

Такой подход к истории британского XVII века порождает важные исследовательские результаты, лежащие в двух плоскостях. Во-первых, рассматривая события середины XVII столетия в британском, а не в английском контексте, историк преодолевает англоцентричное понимание прошлого, ставя в центр исследовательского внимания не просто противостояние «кавалеров» и «круглоголовых», но большой и сложный комплекс массовых представлений, включая апокалиптические взгляды, распространенные в разных частях королевства, коммерческие сети, репрезентативные образы и распространяемые письменные тексты. Все это позволяет смотреть на, казалось бы, устоявшиеся проблемы в разных аналитических измерениях, включая национальные, но не только под углом английских интересов, но также шотландских и ирландских.

Не менее важно и второе последствие такого широкого «британского подхода». Идея «Британии» в своем развитии прошла несколько этапов, но, вероятно, именно XVII и начало XVIII в. занимают в этой эволюции особое место. Рассматривая историю этого периода, включая акт об унии корон, кромвелевское завоевание Шотландии, и акт 1707 г. как результаты английской политики исследователь попадает в ловушку анахронизма, полагая все события лишь шагами на пути к присоединению Шотландии и исключая все те развилки и варианты развития, каких было множество в истории британского XVII века.

Казалось бы, естественным, учитывая драматические, а порой и трагические страницы англо-шотландского противостояния периода Средних веков, предполагать взаимную враждебность, обуславливающую отношения между двумя народами в XVII в. И тогда английским правящим классам необходимо было приложить неимоверные усилия для того, чтобы подчинить Шотландию. Этой логике здравого смысла и следуют многие историки, подходящие к изучению этого вопроса с уже готовыми ответами. Однако, как это часто бывает, исторические свидетельства той поры говорят об обратном.

Несмотря на то, что ежегодно англо-шотландским отношениям в раннее Новое время посвящаются десятки публикаций, союз 1707 года все еще является дискуссионной проблемой. В самом общем виде многообразие точек зрения на унию 1707 г. может быть сведено к двум подходам. Сторонники первого исходят из того, что договор был заключен как результат мер дальновидных шотландских политиков, осознающих потребность стимулов для развития шотландской экономики и политической культуры, а также новых средств разрешения полити-

ческих и экономических проблем, с которыми столкнулась Шотландия в рамках унии корон. Эта точка зрения, восходящая, видимо, к оценкам Даниэля Дефо[2], была связана с вигским историописанием и преобладала в историографии с периода Просвещения до 1960-х гг.[3] В наиболее детализированной форме она представлена в трудах современных историков, прежде всего, Тома Смута и Кристофера Уотли, рассматривающих Шотландию как главного бенефициара унии[4]. В работе, опубликованной в 2006 г., К. Уотли характеризует шотландских политиков, обсуждавших перспективы унии, как «высокомерных циников», а само решение о союзе называет рациональным шагом[5].

Противоположную позицию представляют те исследователи, которые полагают, что уния была результатом политических манипуляций и коррупции, направленных на защиту привилегий шотландской парламентской элиты в ущерб интересам шотландской нации. Эта точка зрения занимает центральное место в ревизионистских исследованиях союза 1707 г., опубликованных в 1960-х и 1970-х гг. Уильямом Фергюссоном и Патриком Уильямом Джозефом Райли[6]. В той же степени, что вигская историография находилась под влиянием отчетов Дефо, бывшего личным свидетелем дебатов об унии в Эдинбурге, ревизионисты основывали свои идеи на интеллектуальном наследии якобитского политика Локхарта Карнвата, оставившего воспоминания об унии и, в частности, о коррумпированности шотландских парламентариев[7]. Среди современных историков, разделяющих эту точку зрения, выделяются Пол Скотт с его полемическим текстом «Союз 1707 года: как и почему»[8] и Аллан Макиннес. Последний в работе, посвященной якобитизму, выдвигает националистические аргументы, утверждая, что союз представляет собой принесенную в жертву национальную независимость и является результатом запугивания и манипуляции со стороны английских вигов и «очевидного презрения к общественному мнению, отраженному в наказах»[9]. В другом исследовании А. Макиннес утверждает, что доступ к благам империи имел решающее значение для достижения и поддержания союза. Подчеркивая высокий уровень «управленческого мастерства» в продвижении унии, историк полагает, что союз представлял собой «жертву шотландского суверенитета» и «служил, в первую очередь, интересам Англии»[10].

Вопрос о «шотландской нации» и «политическом участии» является центральной проблемой историографических дискуссий об англо-

[2] Defoe 1709.
[3] Whatley 2006: 23-24, 31.
[4] Smout 1964: 455-467; Whatley 1989:150-181.
[5] Whatley 2006.
[6] Riley 1979; Ferguson 1964: 89-110.
[7] Lockhart 1714.
[8] Scott 2006.
[9] Macinnes 1996: 193.
[10] Macinnes 2007: 11, 314, 316.

шотландском объединении и 1603, и 1707 г. В этой связи одной из наиболее сложных тем стала проблема отношения шотландского «народа» к объединению, концептуализируемая в категории «национальная идентичность». Представляя свой аргумент о том, что союз был результатом политической коррупции, Фергюссон утверждал, что «шотландская нация в целом была враждебна договору». Между тем, по мнению Уотли, некоторые шотландцы поддержали унию, и было великое множество тех, кто не определился с этим вопросом[11].

В XVII в. некоторые англичане все еще полагали шотландцев дикими варварами, создавая образы, подобные более поздней карикатуре, где изображен хайлендер, не ведающий как пользоваться благами современной ему цивилизации. Хотя мы не можем знать, насколько широко такой образ шотландца был распространен в Англии или разделялся англичанами, живущими в Шотландии, сам механизм создания и формы репрезентации взаимных образов все еще нуждаются в изучении. Несомненно, что листовки и памфлеты внесли свой вклад в конструирование таких образов, и их роль была особенно велика в периоды, когда южные британцы должны были мобилизоваться на сопротивление северянам. Но, как бы то ни было, за ганноверскую Британию и дома, и на континенте боролись как гэллы, так и равнинные шотландцы. Памфлеты и листовки, наиболее активно распространявшиеся в моменты кризисов, вроде того, что разразился в период, когда готовилась и обсуждалась уния 1707 г., заостряли проблемы, которые имплицитно существовали в обществе, порой провоцировали массовое недовольство, но неизменно отражали общественное восприятие того или иного сложного вопроса.

По мнению Дж. Джонса, наиболее полное представление о проявлениях общественного мнения в Шотландии дают петиции[12]. Петиции, как форма волеизъявления, должны были демонстрировать общественную солидарность, олицетворяя саму Шотландию и ее прошлое, единение всей нации в борьбе за идею накануне акта 1707 г. Начиная с 1690-х они имели неограниченное хождение среди противников унии и поддерживающих их политических сил. Характерно, что петиции практически не использовались проюнионистскими слоями, и парламент не получил ни одного такого документа в поддержку союза[13]. Памфлеты, листовки и петиции, пожалуй, больше, чем другие источники, правовые или документальные, дают информацию о разнонаправленных процессах формирования взаимных образов. В обоих лагерях были как сторонники объединения, пытавшиеся создавать взаимные комплиментарные образы, так и те, кто выступал с непримиримых позиций, настаивая на превосходстве южных британцев над северными, или на особом историческом праве шотландцев на независимость.

[11] Whatley 2006: 6.
[12] Jones 1993: 332.
[13] Atlas of Scottish History 1996: 391.

Взаимные образы и отражающие их памфлеты демонстрируют сложные дебаты об идентичности с точки зрения отношений центра и периферии. Помещенные в особый исторический контекст, когда дискутировалось и принималось решение об англо-шотландском акте 1707 г., они становились средством излечивания и историзации травмы[14], закладывая основу будущих гранд-нарративов следующего столетия. Полагая союз явлением значимым и, вероятно, необратимым, авторы памфлетов и листовок своей аудиторией считали тех британцев, кто более всего был озабочен судьбой объединения и его последствиями.

В этом смысле сопротивление союзу становится более сложным явлением, чем просто политическая борьба, в котором семейственность элиты, оппозиционная парламентская политика, критические политические тексты и «народные» действия, включая направленные против унии городские беспорядки, формируют единый антиуниатский дискурс. Все эти проявления протеста должны быть признаны неизбежно взаимосвязанными, что в свою очередь, означает невозможность полагания оппозиции унии ни в качестве свидетельства манипуляции «народом» со стороны элиты, ни как отражение «естественных» патриотических настроений. Отношение народа к объединению следует рассматривать как результат дискурса и событий[15]. А само общественное мнение мобилизовывалось, но не полностью контролировалось, оппозиционными политическими элитами и парламентским деятелями.

Эти настроения неизбежно отражали отношение к идее Британии и к «британскости». В период между униями 1603 и 1707 гг. идея исторического противостояния двух народов была одной из ключевых в объяснении англо-шотландских контактов предшествующих столетий. Она во многом лежала в основе антиуниатского дискурса, определяя национальную идентичность и политическую активность противников объединения. С другой стороны, образ воинственных шотландцев, отстаивавших независимость своей родины, основывался на представлении о мужестве их отважных предков, противостоящих южному агрессору и защищавших независимость Шотландии. Рыцарская основа шотландской национальной культуры в этом дискурсе подпитывала не только поведение элит, но и полагалась в качестве фундамента классической республиканской мужественности – отношение к прошлому и отношение в современной политике пересекались в идее республиканского героизма. Хотя все шотландцы рассматривались в качестве подданных монарха, кто именно мог претендовать на политическое участие (в данном контексте рассматриваемое как представление в парламенте своих взглядов) – вопрос, являвшийся предметом споров в рамках антиуниатского дискурса. С одной стороны, антиуниатская идеология была адресована «независимому человеку» – землевладельцу, свободному от податей и обязательств, а, с другой, апеллировала к более широкой народ-

[14] Репина 2012: 3-37.
[15] Bowie 2007: 92.

ной оппозиции, в которой шотландцем-патриотом мог быть любой человек, активно выступавший против унии.

Несколько десятилетий, последовавших за унией 1603 г., стали временем перемен, что позволяло многим шотландцам с оптимизмом смотреть в будущее. Представления о шотландской государственности, развиваемые в XVII в. сторонниками независимости Шотландии, основывались на антиуниатском дискурсе, отраженном в этноцентрическом подходе к шотландскому прошлому, и восходили к воззрениям Джорджа Бьюкенена (1506–1582). Влиятельная протестантская фигура эпохи Реформации, модератор Генеральной ассамблеи Шотландской церкви Бьюкенен представил прошлое Шотландии в концепции аристократической добродетели. Мыслитель рассматривал древнюю конституционную историю Шотландии, концептуализируя ее в рамках теории народного суверенитета, где «народ» означал собрание знати и вождей кланов[16]. Бьюкенианская традиция подпитывала идеи, направленные против акта 1603 года, подчеркивая шотландскую двухсотлетнюю независимость, начиная с правления Фергюса I.

В период гражданских войн 1640–1650-х гг. многие шотландцы, часть из которых были англиканами и даже епископами, и при необходимости задействовали свою британскую идентичность в качестве способа подтверждения антиковенантских настроений, поддержали монархию. Источники той поры, особенно свидетельства личного характера, где, как в случае письма Акселя Оксеншерне, отмечается, что «Британия — это моя Патрия…, так как здесь я родился»[17], свидетельствуют, что шотландцы поддерживали ту или иную сторону конфликта в зависимости от целого ряда обстоятельств, как правило, вполне прагматического характера. Документы отражают как расклад сил, так и отношение авторов к проблеме Британии: в случае 1640–1650-х гг., за редким исключением, когда термин «Британия» использовался в геополитическом смысле, он определял отношение к Стюартам и их месту на престоле[18].

Майкл Линч обратил внимание на то, что в английском парламенте 1640-х гг. был сделан целый ряд антишотландских выпадов[19]. Но это не означает отрицание английскими элитами «британскости» как перспективы развития англо-шотландских отношений. В 1616 г. граф Ноттингем в качестве английского верховного адмирала отправил датскому Кристиану IV послание, подписав его «англоязычный британец»[20]. Будучи верным слугой монарха, Ноттингем, возможно, следовал общему политическому тренду, в рамках которого англичане все чаще, особенно в частной переписке, ассоциировали себя с Британией, а не с Англией. 8 мая 1619 г. Джозеф Миккельтуэйт отметился в Лейденском уни-

[16] Kidd 1993: 20-21.
[17] Rikskansleren 1977: 959; James King to Axel Oxenstierna 1641.
[18] The Letters and Journals of Robert Baillie 1841: 357.
[19] Lynch 1991: 317.
[20] D[anish] R[igs] A[rchive]1616.

верситете в статусе «англо-британца». В 1619–1624 гг. как минимум дюжина других англичан были зачислены в этот университет как «англо-британцы». Эти сведения опровергают мнение о том, что быть «британцами» стремились лишь выходцы из Шотландии. Более того, британская идентичность, пусть и в ограниченном масштабе, уже в XVII в. являлась статусом, свидетельствующем о степени вовлеченности в общественные процессы на Британских островах и в колониях, к которому стремились не только жители древней Каледонии, но и выходцы с земель к югу от англо-шотландской границы. Эти процессы превращали «британскость» из перспективы в историческую реальность, не сводя ее лишь к усовершенствованной версии «английскости».

1640-е и 1650-е годы в этом смысле были решающим периодом. По мере того, как силы английского парламента, благодаря Армии нового образца, одерживали верх над роялистами, вопрос о взаимоотношении англичан и шотландцев обретал новое звучание, и расклад сил менялся. Армии двух частей королевства встретились 3 сентября 1651 года в сражении при Вустере, где сопротивление шотландцев было окончательно сломлено. Но означает ли это, что шотландцы и англичане ненавидели друг друга?

При беглом анализе англо-шотландских отношений 1650-х гг. мы сталкиваемся со свидетельствами, в которых шотландцы, проживающие в Лондоне, подвергаются осуждению, как те, кто благодетельствует в логове врага, в то время как их соотечественники подвергаются завоеванию[21]. Правда это осуждение носит, скорее, сочувственный характер, в нем отсутствуют мотивы злобы и негодования. Сэмюэль Хартлиб пишет о судьбах шотландских женщин-пивоваров в Лондоне, которые занимались своими делами в то время, когда Армия нового образца продвигалась на север, чтобы принять сражение с войском Карла II[22]. Даже после Вустера мы встречаем достаточно свидетельств сочувственного отношения со стороны жителей Англии, включая солдат, в отношении шотландцев. Прекрасная иллюстрация этого содержится в мемуарах Эндрю Мелвилла. Раненый в сражении при Вустере шотландец Мелвилл был оставлен полностью раздетым умирать на обочине дороги неподалеку от поместья некой английской леди. С помощью двух своих дочерей она втащила его в дом и, подвергаясь риску быть обвинённой в помощи неприятелю, ухаживала за Мелвиллом в течение более трех месяцев[23]. Источники хранят молчание о том, была ли эта леди роялисткой или просто доброй христианкой, но ее поведение бросает вызов тем исследователям, которые априори уверены во взаимном враждебном отношении англичан и шотландцев. Мелвилла обнаружил в доме англичанки один из солдат Кромвеля, отправленный в город с тем, чтобы искать беженцев-роялистов. Однако, найдя шотландца,

[21]Grainger 1997.
[22]Samuel Hartlib Papers 1650.
[23]Ameer-Ali 1918: 127-8.

солдат, ощутив вину и сочувствуя Мелвиллу, выпил с ним кружку пива, дал ему денег и оставил обещание не выдавать его местоположение; обещание, которое он, очевидно, сдержал[24]. В дальнейшем Мелвилл повествует о многочисленных других случаях, когда англичане давали ему деньги, хранили его историю в тайне и, как правило, шли на риск, помогая покинуть страну и отправиться на континент.

Источники сохраняли целый ряд примеров того, что шотландцы в Англии сохраняли в целом добрые отношения не только с местным населением, но и с административными институтами. Джордж Форбс, шотландец из Абердина, будучи клерком на службе Ост-Индской компании, выйдя на пенсию, получил пять шиллингов содержания плюс две комнаты в богадельне компании в Лондоне. Это было в два раза больше суммы, предоставляемой другими компаниями на содержание своих служащих[25]. Шотландские купцы на всем протяжении кромвелевской эпохи беспрепятственно вели торговлю в лондонском Сити. Уильям Бартон в 1653 г., Роберт Инглис – в 1656 г., Джон Лайон – в 1658 г. занимались в английской столице торговыми операциями, условием которых было получение лицензии[26]. В это же самое время офицеры Армии нового образца инвестировали средства в университеты Шотландии, чтобы обеспечить дальнейшее развитие шотландского образования. И сам лорд-протектор был связан с шотландцами узами дружбы, привлекая наиболее выдающихся из них на государственную службу. Джон Дюри занимал дипломатические посты в Швеции и Швейцарии, а Уильям Локхарт представлял режим в качестве посла и военного командующего во Франции[27]. И это, не говоря уже о многочисленных шотландцах, занимавших места в парламентах Содружества и протектората 1656 и 1659 гг., а также служивших в качестве младших чинов военно-морских сил Британии эпохи Кромвеля[28]. Важным фактором в англо-шотландских отношениях этого периода была религиозная терпимость, являвшаяся частью общего процесса интеграции.

При этом кромвелевская Англия была далека от единства, а «британскость» использовалась в качестве политического фактора как сторонниками протектора, так и его противниками. В то время как часть шотландцев присоединились к республиканской армии и политическому аппарату, существенное число англичан выступили против Кромвеля и стремились подорвать власть протектора. Так, генерал Томас Рокби обратился к полку шотландских солдат, расквартированному в Польше, с призывом присоединиться к делу роялистов, добавив: «Я очень рад этому случаю, чтобы сообщить вам об огромном служении, которое вы можете оказать своему королю, послав всех своих людей [в поддержку]

[24] Ameer-Ali 1918: 129-30.
[25] CMEIC 1654: 113. Court Minute 1651.
[26] Taylor 2003: 18-20.
[27] Murdoch 2006: 280-312.
[28] Pinckne 1967: 247-256; Casada 1972: 124-147.

монарху»[29]. Хотя Рокби не развивает идею «британскости» в своих заявлениях, рассуждая в терминах служения монархии, он не использует и антишотландскую риторику. В гражданских конфликтах середины XVII века политическое преобладало над национальным, и чувство «британскости» побуждало многих англичан, выступавших против Кромвеля, демонстрировать свою лояльность Стюартам.

Хотя в 1650-х гг. произошли, как минимум, два крупных сражения между армиями, преимущественно состоящими из представителей одной из наций, в повседневной жизни большая часть жителей двух частей королевства не выказывала явной принадлежности к какому-то одному лагерю. Эти люди просто занимались каждодневными делами, вели торговлю, вступали в брак с представителями другой нации. Англо-шотландское противостояние середины XVII века слишком часто и, вероятно, излишне поспешно изображается в националистических терминах, не отражающих тот факт, что в Шотландии, Англии и Ирландии шли, в первую очередь, гражданские войны, и армии каждой части королевства имели как союзников, так и врагов из другого лагеря. Дискурс «британскости» в середине XVII века имел ярко выраженный политический оттенок и был присвоен роялистами в качестве знака лояльности Стюартам. Учитывая это, стоило бы очень осторожно определять воинствующие стороны в британской гражданской войне.

С крахом протектората Ричарда Кромвеля для британцев во всех частях королевства начался новый этап истории, отразившийся на восприятии «британскости». Реставрация привела к тому, что многие бывшие сторонники лорда-протектора теперь всячески демонстрировали свою преданность Карлу II. Ярким примером этого является творчество английского поэта Эндрю Марвелла – некогда преданного сторонника Кромвеля и яростного критика всего шотландского. В 1669 г. он написал стихотворение «Верный шотландец», посвященное капитану Арчибальду Дугласу. В сражении при Меде в 1667 г. тот командовал полком шотландцев и проявил чудеса героизма, в то время как английский отряд бежал с поля боя, не выдержав натиска голландцев. Слова «наша английская молодежь воспоет песнь доблестному шотландцу»[30] не только соответствовали политическому дискурсу первых лет Реставрации, но также отражали стремление Карла способствовать примирению элит разных частей королевства. На смену англичанам и шотландцам должны были прийти британцы, и с 1650-х гг. это был уже вопрос не отношения к династии Стюартов, а проблема взаимодействия элит.

Марвелл, как и многие его современники, вторил своим предшественникам. В данном случае призывам Джона Мэйра, провозгласившего полутора веками ранее идею о необходимости «избавить остров от ядовитых слов «англичанин» и «шотландец»». Однако от других интел-

[29] Firth 1903: 61-81.
[30] Marvell 1974: 184-185.

лектуалов Марвелла отличало то, что ему уже были совершенно очевидны плоды протестантизма, под знаменами которого интеллектуальные и политические элиты размывали границы, разделявшие разные части Британии. При этом английская гегемония была несомненна[31].

С 1660-х гг. начинает формироваться новый шотландский национализм, основные черты которого сложились к концу XVII в., и дискуссии об унии были вытеснены с шотландских улиц в интеллектуальную сферу. Это означало начало нового этапа в формировании идеи «британскости». Большая часть столетия была отмечена появлением лишь небольшого числа самостоятельных философских идей в Шотландии. Чаще это была рецепция ренессансных текстов, подготавливавшая почву для интеллектуального взрыва следующего века[32]. Вместо абстрактных философских размышлений шотландцы XVII в. оставили целый ряд правовых и естественнонаучных трактатов, что соответствовало общеевропейской тенденции. В Шотландии вниманию к праву способствовал акт об унии корон, на который отозвался ряд мыслителей. В частности, сэр Томас Крэйг Риккартон в 1603 и 1605 гг. сравнивал английское и шотландское право для того, чтобы подтвердить обоснованность англо-шотландской правовой унии. Однако спустя несколько десятилетий его последователи – Джеймс Далримпл (1681) и сэр Джордж Маккензи (1684) работали над тем, чтобы обосновать разницу между шотландской и английской правовыми системами.

1680-е гг. стали в Шотландии временем интеллектуального процветания, совпавшим с общественным спокойствием и отразившим выработанный компромисс по вопросу англо-шотландских отношений. Лорд-адвокат Джордж Маккензи, оставивший заметный след в шотландской истории, написал ряд философских и политических трудов, трактатов по истории и праву и, будучи деканом Факультета адвокатов, основал Адвокатскую библиотеку. Его коллега Джеймс Далримпл, позднее – виконт Стар, в 1671 г. ставший Лордом-президентом Судебной сессии, опубликовал в 1681 г. труд «Институты шотландского права», окончательно сформировав тем самым шотландскую правовую систему на основе римского права. «Институты Стара» использовались многими поколениями шотландских студентов, поскольку содержали и теоретико-философский, и практический материал, формируя специфику шотландской правовой системы. Внешним показателем этого периода спокойствия служит архитектура и, в частности, дома знати, которые ранее строились как укрепленные сооружения, а теперь стали напоминать большие сельские дома. Некоторые земельные собственники стали проявлять больший интерес к расширению земельных владений. Это была эпоха Стара в праве, Брюса – в архитектуре, Сиббалда – в медицине. Жизненный уровень рядовых шотландцев, населявших городки и деревни, был в этот период выше, чем в соседних странах, включая Ан-

[31] Macinnes 2002: 17.
[32] Broadie 2010: 99-103.

глию. Однако по численности городского населения лишь Эдинбург входил в число крупнейших европейских городов.

В рамках бьюкенианской парадигмы в 1695 г. было опубликовано «Шотландское утверждение суверенитета» Джорджа Ридпата (1660?–1726). В реальности являясь переводом с латинского на английский язык трактата Томаса Крейга *«De Hominio»* (1602), текст был посвящен критике претензий английских историков на древний шотландский суверенитет. Взамен этого подчеркивалась успешность Шотландии в поддержании собственной многовековой независимости. Рассуждая в таком роде, Ридпат отрицательно оценивает роль южной соседки, подчеркивая, что пока Шотландия сохраняла свою независимость, Англия была склонна к вторжениям и подчинению.

Идеи интеллектуалов отражались и в политических практиках, в том числе в деятельности шотландского парламента, который к началу XVIII в. не был демократическим институтом в том смысле, который придавался этому слову после реформ 1832 г. В 1702–1703 гг. в шотландских выборах, где избирался Союзный парламент, могли принять участие только около двух с половиной тысяч шотландцев из примерно одного миллиона населения, выбиравших уполномоченных от бургов и графств. В дополнение к этим избранным членам парламента в его состав входили и не избираемые парламентарии. Все три сословия собрались вместе в однопалатном парламенте, в котором из-за ограничительных правил, позволяющих использовать патронаж для определения результатов выборов, доминировали землевладельческие элиты. Представители графств, известные как бароны, были преимущественно из низшего дворянства. После воссоздания Генеральной ассамблеи Шотландской церкви в качестве независимого религиозного политического органа в 1690 г. и удаления епископов, замененных уполномоченными графств, шотландский парламент стал светским органом, в котором преобладали землевладельцы, занимавшие 70% мест[33].

В этом шотландском парламенте на рубеже XVII–XVIII вв. доминировали две группировки – партия двора и партия земель, временами блокировавшаяся с якобитскими кавалерами. Эти две группы были более свободными объединениями политиков, чем современные политические партии, но идеологические и материальные интересы, которые лежали в их основе, как и вопрос о лояльности короне, сыграли значительную роль в дебатах об англо-шотландском союзе. Партию двора, доминирующую группу в союзном парламенте, возглавлял Джеймс Дуглас, герцог Куинсбери. Эта группировка поддерживалась монархом и установлениями 1690 года. Для членов партии двора парламентский союз являлся средством обеспечения протестантской преемственности, а также свободной торговли, которая считалась условием экономического роста Шотландии. Против двора выступили якобитские кавалеры. Хотя эта группа поддерживала урегулирование 1690 года, она была больше

[33] Brown 2005: 49-51.

связана с шотландским пресвитерианизмом, чем с панбританским протестантизмом придворной партии. Центральным элементом идеологии партии земель была приверженность независимости и суверенитету шотландской короны и парламента, а, следовательно, и шотландской нации. В отличие от якобитов, они были склонны поддерживать ганноверское правопреемство, стремясь к несколько иному конституционному устройству, нежели нынешний королевский союз.

Опираясь на свою веру в божественное право свергнутой династии Стюартов, якобиты выступили против ганноверского правопреемства, которое было изложено в английском Акте об урегулировании 1701 года и должно было быть гарантировано статьей II акта о союзе. Между якобитами и партией земель существовали серьезные религиозные (якобиты, в большинстве, были сторонниками епископата) и политические (в частности, по вопросу о престолонаследии) разногласия. Приверженность партии земель независимости Шотландии воплощалась в ее готовности развивать тесные связи с якобитами. Прочности этого союза также способствовала политика Джеймса герцога Гамильтона (1658–1712), лидера партии земель, чей личный якобитизм, обусловленный дружбой с Джеймсом VII, сочетался с семейными пресвитерианскими традициями, что означало его способность объединить разрозненную оппозицию, выступающую против договора[34].

Как бы то ни было, на рубеже XVI–XVIII вв. шотландские политики, представители шотландской аристократии, будучи уже одновременно и членами британского правящего класса, искренне полагали, что инкорпорация сможет сохранить «честь и привилегии Шотландии», независимость которой давно сохранялась лишь в названии. Это мнение не раз высказывалось в ходе парламентских дискуссий уже в 1703 г.[35]

После 1699 г. сторонники партии земель основывали свою политику на идее древней шотландской нации, которая находилась под угрозой объединения с более сильной соседкой. Как утверждает К. Уотли, среди шотландцев была распространена страстная уверенность в том, что их родина является старейшим независимым королевством в Европе с непрерывной королевской линией, восходящей к IX в., а теперь стоит перед угрозой исчезновения[36]. Идеи, распространяемые посредством печати, в т.ч. памфлетов, должны были «пробудить дух шотландского патриотизма», частью которого стали представления о политическом участии. Основой этого дискурса являлась концепция независимости как источника религиозных и других свобод, нуждавшаяся в защите.

Однако единство элит в отношении «британскости» не стоит преувеличивать. В этот период все еще наблюдаются значительные разногласия между королевским двором, с одной стороны, и значительной

[34] Bowie 2007: 14-16.
[35] Fletcher 1703.
[36] Whatley 2006: 11.

частью дворянства, объединяющейся с наиболее могущественными джентри, с другой, по вопросу о степени власти, которую необходимо сохранить за королем. Конституционные проблемы в сочетании с недовольством англиканским судом, одновременно заигрывающим с католицизмом и настойчиво преследовавшим пуритан и пресвитериан, свидетельствовали о новом политическом кризисе, теперь уже тесно переплетенном с националистическими интересами элиты.

Из-за того, что у Карла II не было прямого наследника мужского пола, всем было очевидно, что преемником престола станет брат монарха, католик Джеймс герцог Йоркский. После череды неудачных попыток протестантские группировки по всей Британии вновь установили свою власть и изгнали, теперь уже окончательно, династию Стюартов. Отныне на все три части королевства, где-то в результате военных действий, а где-то – политических деклараций, распространяла власть новая династия. И хотя процесс обретения власти по-разному реализовался на юге и на севере Британии, и в Шотландии, и в Англии закрепился протестантизм. Английская церковь была окончательно институциализирована как англиканская еще в 1688 г., а годом позже шотландская церковь в результате принятия «Билля о правах» еще больше укрепила свою обособленность[37]. Обе нации, наконец, согласились с разницей в исповедании, что являлось вопросом, вызывающим горячие споры на протяжении не одного столетия. И именно это окончательное размежевание сделало акт 1707 года совершенно предрешенным.

Несмотря на готовность элит двух частей королевства к союзу, массовое сознание было не столь оптимистично настроено в отношении унии. Источниками, позволяющими судить об этом, являются, помимо полемических трактатов, также эго-документы, оставленные, как правило, представителями образованных слоев. Уже в ходе предварительного обсуждения в 1702 г. выявился ряд проблем, символически олицетворяемых двумя образцами поведения. С одной стороны, это сэр Джеймс Далримпл, покинувший в 1702 г. дебаты об англо-шотландском союзе из-за «неудовлетворенности» английским отношением к Шотландии[38], а с другой, шотландец адмирал Дэвид Митчелл, назначенный в английский парламент с 1698 г. в качестве наблюдателя, и сохранивший свой парламентский пост и после 1707 г. Ни его служба в королевском флоте, ни пост в английском парламенте, ни его шотландское происхождение не являлись предметом каких-либо споров или возражений. Но в то же время в палате общин находились и те, кто выражал обеспокоенность слишком большим числом шотландцев на флоте. Поводом для беспокойства жителей юга стало и исчезновение названия «Англия», которое вскоре в официальных бумагах предстояло заменить на «Великобританию»[39]. С шотландской стороны недовольство, сопровождае-

[37] The Records of the Parliaments of Scotland 2007.
[38] Cruickshanks 2002: 825.
[39] Colley 1992: 13.

мое антианглийскими бунтами в Глазго и Эдинбурге в 1700 и 1702 гг., вызвал провал Дарьенского проекта. Однако теперь уже ничто не могло изменить политического курса на союз двух частей королевства.

Интеллектуальные дискуссии, сопровождавшие подготовку, подписание и обнародование парламентской унии 1707 г., не менее важны, чем ее политические, международные или экономические аспекты. Тем более они значимы, что именно интеллектуалы, публицисты, историки, писатели и художники, создавали тот образ союза, который затем уже во второй половине XVIII – начале XIX в. тиражировался в массовое сознание, формируя национальную шотландскую идентичность. Аргументы, приводимые сторонниками заключения союза 1707 г., включали как религиозные идеи, так и политические факторы.

Интересы Британской стратегической безопасности выразил в своих памфлетах Уильям Сеттон Питмедден (1673–1744), памфлетер с четко выраженной юнионистской позицией. Он был депутатом от графства Абердин в последнем шотландском парламенте 1703–1707 гг. и одним из комиссионеров, представлявших шотландскую сторону на переговорах по унии. Являясь членом партии двора, Сеттон Питмедден в значительной степени оказал влияние на позицию шотландской стороны по вопросу о новом союзе. В ходе голосования он высказывался «за» и по первой статье унии, и по договору в целом[40]. В отличие от своих предшественников, рассуждая об унии, политик использует концепт стратегической безопасности Британии: «поскольку уния защитит нашу религию, она будет способствовать безопасности, процветанию и миру Британии»[41]. Питмедден, однако же, обращает внимание на взаимные выгоды унии, поскольку если Англия обеспечит мир своим границам, безопасность со стороны Франции, а также «храбрых воинов для своего флота и армии», то Шотландия «станет не такой легкой добычей для внешних врагов», так как «будет защищена [английским] покровительством», не говоря уже об экономических выгодах союза с Англией[42].

В массовом восприятии в 1705–1707 гг. странным образом переплелись и представления о шотландском прошлом, и политические интересы, и патронажные практики. Очень сложно определить характер этого движения, развернувшегося в первые годы XVIII века – национальное, политическое, или экономическое – оно явило себя и в уличных протестах, и в интеллектуальных дискуссиях. Это позволяет говорить о новом, интегративном, этапе в формировании идеи «британскости». Бесспорно, что движение 1705–1707 гг. стало массовым ответом на процесс подготовки акта о союзе. Но в источниках мы редко встречаем прямые указания на то, что шотландцы не приемлют унию. Скорее настроения протестующих, как в форме петиций, составленных интеллек-

[40] Riley 1978: 131.
[41] William Setton of Pitmedden 1706: 5.
[42] Kidd 2008: 73.

туалами, так и бунтов, колебались между двумя состояниями: с одной стороны, очевидно осознание неизбежности происходящего, неотвратимости союза, а потому стремление максимально снизить его отрицательные последствия, а, с другой – нежелание реализовать этот союз в форме унии-инкорпорации. Последнее может объяснить тот факт, что именно в день голосования по первой статье унии, утверждавшей союз в форме инкорпорации, происходили наиболее ожесточенные столкновения.

Порой возникает соблазн полагать, что полный политический союз 1707 г. мог окончательно решить все вопросы идентичности, и на смену англичанам и шотландцам должны были прийти британцы. Однако такое восприятие событий противоречило бы историческим свидетельствам о разнообразной реакции на унию. В то время как по некоторым шотландским бургам прокатилась волна беспорядков, участники которых опротестовывали союз, в других частях Шотландии большинство населения были выступили с поддержкой объединения и даже выказывали готовность бороться за него. Совершенно очевидно и то, что многие шотландцы с энтузиазмом приняли название «Северная Британия» после 1707 г., что, вероятно, можно рассматривать как редукцию сложного политического противостояния накануне объединения. Но в этом упрощении также продолжалась традиция XVII века, о чем свидетельствуют записи Александра Лумисдена в 1614 г. и Питера Хея в 1627 г., принявших новое именование Шотландии[43]. Наряду с «Северной Британией» в исторических документах часто встречаем и термин «Южная Британия» – применительно к Англии[44]. Вместе со все более входящими в обиход новыми эпитетами большинство британцев еще продолжали использовать прежние обозначения для выражения своей идентичности.

Англо-шотландский акт 1707 г. об унии-инкорпорации традиционно рассматривается как документ, положивший начало истории нового британского государства. Вместе с тем, часто недооценивается тот факт, что он стал итогом более чем столетнего периода англо-шотландской интеграции в политической, интеллектуальной и экономической сферах, осуществляемой на индивидуальном, групповом, институциональном уровнях. При таком подходе весь период между актами об унии корон и унии парламентов следует рассматривать как единый процесс инкорпоративной унии, решение о которой хотя принималось элитами, но находило выражение и в массовом дискурсе. Наконец, такой подход к англо-шотландской унии 1603–1707 гг. позволяет рассматривать идентичность как процесс напряжения, в центре которого лежит не противостояние между интеграционным и сепаратистским взглядами на нацию, а конфликт между разными уровнями осмысления национального – индивидуальным, групповым, региональным.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

[43] Lumisden 1614; Hay 1627.
[44] Hall 1641: 17-18.

Репина Л.П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 3-37. [Repina L.P. Opyt sotsial'nykh krizisov v istoricheskoi pamyati // Krizisy perelomnykh epokh v istoricheskoi pamyati. M.: IVI RAN, 2012. S. 3-37].

Ameer-Ali T. Memoirs of Sir Andrew Melvill. London: John Lane, 1918. 179 p.

Atlas of Scottish History to 1707 / Ed. by P.G.B. Neill and H.L. McQueen. Edinburgh: The Scottish Medievalists 1996. 480 p.

Broadie A. A History of Scottish Philosophy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 392 p.

Brown K.M, Mann A.J. Introduction: Parliament and Politics in Scotland, 1567–1707 // Parliament and Politics in Scotland, 1567–1707 / Eds. by Brown K.M, Mann A.J. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. P. 1-56.

Bowie K. Scottish Public Opinion and the Anglo-Scottish Union, 1699–1707. Woodbridge: The Boydell Press, 2007. 193 p.

Casada J.A. The Scottish Representatives in Richard Cromwell's Parliament // The Scottish Historical Review, 1972. № 152 (2). P. 124-147.

CMEIC, 1650–1654.

Court Minute, 16 July 1651.

Colley L. Britons: Forging the Nation 1707–1837. New Haven: Yale Univ. Press, 1992. 429 p.

Cruickshanks E., Handley S., Hayton D. The House of Commons, 1690-1715. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 825 p.

D[anish] R[igs] A[rchive], TKUA, England AII/12. Brev fra Nottingham til Christian IV, 5 October 1616.

Defoe D. The History of the Union of Great Britain. Edinburgh, 1709.

Ferguson W. The Making of the Treaty of Union of 1707 // Scottish Historical Review, 1964. № 43 (136). P. 89-110.

Firth C.H. Royalist Soldiers and Cromwellian Allies? // Transactions of the Royal Historical Society. New Series, 1903. № 17. P. 67-119.

Fletcher A. Speeches by a member of the Parliament which began at Edinburgh the 6th of may, 1703. Edinburgh: Gale Ecco, 1703. 82 p.

Grainger J.D. Cromwell Against the Scots: The last Anglo-Scottish War, 1650–1652. East Linton: John Tuckwell, 1997. 202 p.

Hall R. Eroologia Anglorum. Or, An help to English history Containing a succession of all the kings of England, and the English-Saxons, the kings and princes of Wales, the kings and lords of Man, and the Isle of Wight. London, 1641. 21 p.

Hay P. An Advertisment to the Subjects of Scotland, Of the fearful dangers threatned to Christian States, And namely to Great Britane, by the Ambition of Spayne. Aberdeen, 1627. 49 p.

Jones J. Country and Court. England 1658–1714. London: Hodder Arnold, 1993. 384 p.

Kidd C. Subverting Scotland's Past: Scottish Whig Historians and the Creation of an Anglo-British Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 322 p.

Kidd C. Union and Unionisms: Political Thought in Scotland, 1500–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 322 p.

The Letters and Journals of Robert Baillie, Principle of the University of Glasgow MDCXXXVII-MDCLXII / Ed. by Lang D. Edinburgh, 1841. Vol. 1. 357 p.

Lockhart G. Memoirs concerning the affairs of Scotland, from Queen Anne's accession to the throne, to the commencement of the Union of the two kingdoms of Scotland and England, in May, 1707. London: J. Baker, 1714. 304 p.

Lumisden A. A Heavenly Portion Set Downe in a Sermon, Preached at the Funerall of Mistris Frances Sentleger, at Smeeth: In the Countie of Kent. London, 1614. 67 p.

Lynch M. Scotland: A New History. London: Pimlico, 1991. 499 p.

Macinnes A.I. The British Revolution, 1629–60. London: Red Globe Press, 2004. 348 p.

Macinnes A.I. Clanship, Commerce and the House of Stuart, 1603-1788. East Linton: Tuckwell, 1996. 288 p.

Macinnes A. I. Union and Empire: the Making of the United Kingdom in 1707. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007. 382 p.

Marvell A. Andrew Marvell: The Complete English Poems / Ed. by Dunno E.S. L., 1974. 200 p.

Macinnes A.I. The Multiple kingdoms of Britain and Ireland: the "British" problem // The Blackwell Companion to Stuart Britain // Seventeenth Century Companion to British History / Ed. By Coward B. London: Wiley-Blackwell, 2002. P. 3-25.

Memoirs of Sir Andrew Melvill / Ed. by Ameer-Ali T. London: John Lane Co., 1918. 297 p.
Murdoch S. Network North: Scottish Kin, Commercial and Covert Associations in Northern Europe, 1603-1746. Leiden: E. J. Brill, 2006. 425 p.
Pinckne P.J. Scottish Affairs at Westminster: A Letter from the Union Parliament of 1654-5 // The Scottish Historical Review, 1967. № 142. P. 247-256.
The Records of the Parliaments of Scotland to 1707 / Ed. by Brown K.M., A.R. MacDonald. Edinburgh: St Andres, 2007. 108 p.
Riley P.W. The Union of England and Scotland: A Study in Anglo-Scottish Politics of the Eighteenth Century. Manchester: Manchester University Press, 1979. 351 p.
Samuel Hartlib Papers CD Rom. HP 22/1/79B. Ephemerides, 1650. Part 4.
Scott P.H. The Union of 1707: How and Why. Edinburgh: Saltire Society, 2006. 85 p.
Smout T.C. The Anglo-Scottish Union of 1707: I. The Economic Background // Economic History Review, 1964. № 16 (3). P. 455-467.
Styffe C.G. Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling. Stockholm, 1977. Vol. 9. 959 p.
Taylor J. A Cup of Kindness: The History of the Royal Scottish Corporation, A London Charity, 1603–2003. East Linton: Tuckwell, 2003. 261 p.
Whatley C.A. Economic Causes and Consequences of the Union of 1707: A Survey // Scottish Historical Review, 1989. № 68 (2). P. 150-181.
Whatley C.A. The Scots and the Union. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. 424 p.
William Setton of Pitmedden. Scotland's Great Advantages By An Union with England: Showen in a Letter From the Country, To a Member of Parliament, 1706. Glasgow University Library Special Collections Unit, James Dean Ogilvie Collection.

***Апрыщенко Виктор Юрьевич**, доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории и международных отношений, директор, Институт истории и международных отношений, Южный федеральный университет; victorapr@sfedu.ru*

Being «British» in Britain: The Anglo-Scottish Union Debates of 1603-1707

The article is devoted to the influence of Anglo-Scottish relations on the formation of the idea of "Britain" in the 17th century. The author uses a wide range of narrative sources, and analyzes the mass and elite discourse of Anglo-Scottish relations in the period between the two acts, that of 1603 and 1707. The author emphasizes four stages in the development of the idea of "Britishness", including the turn of the 16-17th centuries – 1630s; 1640–1650s; 1660–1670s; 1690s – 1707, and argues that the relationship between "Englishness", "Scottishness" and "Britishness" was determined by a number of factors, among which the most significant were the relationship to the Stuart dynasty, understanding of the role of the monarchy as a whole, and intellectual understanding of Scottish history. The author concludes that from the point of view of the formation of the idea of "Britishness", the years 1603–1707 were a single process of incorporated union, limited by two legal acts and reflected in both elite and mass discourse.

Keywords: Anglo-Scottish union, identity, nationalism, Britishness, the Stuarts, 17th century

***Victor Yu. Apryshchenko**, Dr. Sc. (History), Professor, Department of World History and International Relations, Director of the Institute of History and International Relations, Southern Federal University; victorapr@sfedu.ru*

Т.А. Косых

СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН VS ДЭВИД ЮМ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ «КУЛЬТУРЫ ДУХА» И «КУЛЬТУРЫ РАЗУМА»[1]

Статья посвящена истории противостояния британских интеллектуалов XVIII века – Сэмюэла Джонсона и Дэвида Юма. Анализируются взгляды английского лексикографа и шотландского философа на ревностную религиозность и веру в чудеса, проблемы достижения счастья и историю. Акцентируется внимание на олицетворении Джонсоном и Юмом двух интеллектуальных традиций эпохи Просвещения. Джонсон являлся поборником «культуры духа», для которого свобода мысли вовсе не подразумевала посягательство на вопросы веры. Юм – ярким представителем «культуры разума», выступавшим за рациональное познание мира и человека.
Ключевые слова: *история Британии, эпоха Просвещения, английское Просвещение, шотландское Просвещение, интеллектуалы, Сэмюэл Джонсон, Дэвид Юм*

Имена двух современников – Сэмюэла Джонсона (1709–1784) и Дэвида Юма (1711–1776) – неизбежно ассоциируются с когортой британских интеллектуалов, писателей и философов XVIII века: Б. Мандевилем, О. Голдсмитом, Э. Берком, А. Смитом, Х. Блэром, А. Фергюсоном и др. Тем не менее, при первом приближении сопоставление взглядов Джонсона и Юма кажется парадоксальным и в какой-то степени неуместным, поскольку едва ли найдется среди британских просветителей XVIII в. два гения, чьи воззрения подчас были абсолютно противоположны. Как справедливо вопрошает современный американский исследователь У. Поткай, «есть ли два других интеллектуала XVIII столетия, столь непохожие друг на друга? Религиозный доктор и неверующий скептик; почтенный старец и несносное дитя; блестящий острослов и солидный философ»[2]. Впрочем, обращение к сочинениям двух просветителей свидетельствует о длительной дискуссии и интеллектуальном противостоянии между английским лексикографом и шотландским философом, а также не только о кардинальных различиях в их взглядах, но и об определенных сходствах. Данная статья посвящена поиску общего и особенного в трудах Джонсона и Юма.

Юм является одним из самых выдающихся мыслителей эпохи Просвещения вне зависимости от того, о какой просветительской традиции идет речь – шотландской, британской или общеевропейской. По мнению канадского исследователя Д.Ф. Нортона, в большей степени Юм известен своим вкладом «в эпистемологию, метафизику и философию религии», в меньшей – достижениями в области «моральной психологии, политической и экономической теории, истории»[3]. Тем не

[1] Исследование выполнено при поддержке гранта РНА № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: интеллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен, XVII-XVIII вв.»).
[2] Potkay 2000: 1.
[3] Norton 2005: 25.

менее, едва ли найдется труд по философской, исторической или общественно-политической мысли XVIII столетия, в котором не будет уделено внимание характеристике сочинений Юма. Несмотря на исследовательские дискуссии о месте шотландского Просвещения в общеевропейском интеллектуальном пространстве XVIII в.[4], авторитет Юма на олимпе деятелей эпохи Просвещения остается незыблем.

Иная судьба постигла Джонсона. Образ острослова и заядлого спорщика с внушительным перечнем предрассудков, созданный на страницах «Жизни Сэмюэла Джонсона» (1791) Дж. Босуэлла, привел к тому, что на протяжении двух столетий Джонсон был вычеркнут из числа ведущих деятелей эпохи Просвещения поскольку считалось, что его суждения не соответствовали духу времени. Как пишет канадский исследователь Н. Хадсон, «для историков, убежденных, что философская мысль XVIII в. стала вызовом для христианства, Джонсон представляет собой пример ревностной защиты религии и предрассудков в просвещенную эпоху»[5]. Более того, стоит согласиться с утверждением У. Поткая о том, что вплоть до настоящего времени Джонсон нередко остается в забвении у исследователей эпохи Просвещения, не занимающихся изучением наследия знаменитого английского лексикографа[6].

Однако поворот в изучении европейского Просвещения, который пришелся на 1980-е гг., привел к признанию его фрагментарности и многоликости, неразрывной связи с интеллектуальным климатом предшествующей эпохи и национальным контекстом[7]. В этой связи воззрения С. Джонсона стоит рассматривать не как пример «Контрпросвещения», а как подтверждение континуитета между «культурой духа» и «культурой разума», религиозной и просветительской традициями: «творческая мысль Джонсона ищет компромисс между просветительскими и христианскими устремлениями, пытается скорректировать просветительскую мысль, поставив ее на христианскую основу»[8]. Кроме того, ряд произведений Джонсона (например, эссе из «Рамблера» и «Айдлера» или проповеди) представляют собой ответ на сочинения других просветителей и пример «диалога» литератора с моралистами и философами. Одним из таких «адресантов» Джонсона был Дэвид Юм.

Джонсон и Юм были представителями одного поколения. Первый родился в 1709 г., второй – в 1711 г. Юм был третьим сыном шотландского юриста, принадлежавшего к дворянскому роду и владевшего поместьем в Бервикшире, Джонсон – сыном английского книготорговца из Личфилда. Финансовое положение семьи Юма было выше, чем у Джонсона, однако, будучи младшим сыном джентри, Юм был вынужден самостоятельно зарабатывать средства на жизнь наравне с Джонсоном.

[4] Высокова 2013 (а): 78–80. См.также: Высокова 2013 (б).
[5] Hudson 1990: 7.
[6] Potkay 2010: 6.
[7] См.: The Enlightenment in National Context 1981.
[8] Зыкова 2009: 21.

Конечно, нельзя не отметить, что образование будущего шотландского философа было более основательным: он обучался дома, после чего поступил в Эдинбургский университет в 1723 г.[9] Впоследствии он постигал азы латинского и, частично, греческого языков в грамматической школе Личфилда и лишь счастливый случай – небольшое наследство – позволил ему в 1728 г. отправиться в Пемброк-колледж Оксфордского университета для продолжения образования. Впрочем, оба оставили университеты без получения степени: Юм покинул университет после трех лет обучения, чтобы, по настоянию семьи, связать свою жизнь с юриспруденций (что оказалось безуспешным), в то время как Джонсон, обучавшийся в Оксфорде на протяжении 13 месяцев, был вынужден прервать образование из-за финансовых проблем.

Парадоксальным сходством в биографиях двух гениев является еще один факт: в период между 1729 и 1734 гг. и Джонсон, и Юм находились в состоянии депрессии. Позднее Джонсон характеризовал этот период своей жизни как время «болезненной меланхолии» и «ужасающей ипохондрии, сопровождавшейся постоянными вспышками гнева, раздражительностью, нетерпеливостью, подавленностью, унынием и отчаянием, что делало жизнь ничтожной»[10]. Недуг, поразивший Юма в эти же годы, его лечащий врач назвал «болезнью образованных», которая проявлялась в таких симптомах как «равнодушие и леность»[11]. Если Джонсона депрессия привела к религиозным исканиям и ревностному англиканству, то Юма – к сомнениям в вере и скептицизму.

В дальнейшем жизненные пути Юма и Джонсона были также схожи. Первых успехов на избранной стезе оба добиваются в конце 1730-х – 1740-е гг.: для Джонсона это были годы литературной поденщины, работы в журнале «Джентельменс мэгэзин» и издания поэм «Лондон» (1738) и «Тщетность человеческих желаний» (1749); для Юма – активной публицистической деятельности, приведшей к созданию «Трактата о человеческой природе» (1739–1740) и «Исследования о принципах морали» 1749 г. Всеобщего признания оба гения добиваются в 1750–1760-х гг. К Джонсону слава приходит после публикации «Словаря английского языка» (1755), а также редакции и издания восьми томов сочинений Шекспира (1765). Назначение литератору в 1762 г. пожизненной королевский пенсии размером 300 фунтов позволило ему пожинать плоды своих трудов: писать не ради денег, путешествовать и проводить время в «словесных дуэлях» в клубах и кофейнях. Юм становится знаменитым некоторое время спустя после издания «Естественной истории религии» (1752) – всеобщий успех и признание приходит к нему вместе с публикацией «Истории Англии» в 1754–1761 гг. В 1760-е гг. Юм получает известность во Франции, где сводит знакомство с такими философами, как Дидро, Д'Аламбер и Гольбах.

[9] Лабутина, Ильин 2012: 227.
[10] Boswell 1998: 47.
[11] Potkay 2000: 32.

Наличие определенных параллелей в судьбах интеллектуалов не привело к их близкому знакомству или открытой полемике между ними. Известно, что знаменитый биограф Джонсона Дж. Босуэлл был в дружеских отношениях Юмом. Однако Босуэллу, вопреки всем стараниям, не удалось добиться встречи английского лексикографа с шотландским философом. Несмотря на общий круг общения – оба были знакомы и состояли в переписке с А. Смитом, У. Робертсоном, Т. Смоллеттом – их пути практически не пересекались, и лишь благодаря мемуарам книготорговца Дж. Лэкингтона нам известен анекдот с описанием их мимолетного знакомства, состоявшегося в лодке на переправе через Темзу. По словам Лэкингтона, обнаружив, что он находится рядом с «деистом Юмом», Джонсон будто бы сказал, что, если бы узнал об этом ранее, «его ноги не было бы в этой лодке»[12]. Подобные истории о Джонсоне, отличавшемся эксцентричными поступками и резкими высказываниями, нередко встречаются в мемуарах его знакомых, однако вопрос, насколько можно доверять рассказу Лэкингтона, остается открытым.

Главным источником, позволяющим судить о неприятии Джонсоном и Юмом друг друга, являются сочинения и корреспонденция Босуэлла. Так, о враждебном отношении Джонсона к Юму известно по сочинению Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона». К примеру, Джонсон неоднократно высказывался о Юме как о человеке, который «никогда не читал внимательно Новый Завет»[13]. Или: «Юм и другие скептики – тщеславные люди, потакающие себе любой ценой. Правда – непозволительная пища для их тщеславия, поэтому они прибегают ко лжи»[14]. Кроме того, в «Журнале путешествия по Гебридам» (1785), который Босуэлл опубликовал после тура по Западным островам Шотландии, был записан следующий разговор с Джонсоном: «Я [Босуэлл] заметил, что мистер Юм, в некоторых произведениях которого были весьма нелицеприятные высказывания о религии, был тори. Джонсон: “Сэр, Юм, будучи шотландцем, случайно стал тори; но не из принципа или чувства долга, у него нет принципов. Если он и является кем-то, то Гоббсианцем”»[15]. Порой неприязнь интеллектуалов была обоюдна. Босуэлл утверждал, что Юм часто говорил о Джонсоне «в весьма нелестной манере»[16]. Тем не менее, именно Джонсон выступал с критикой сочинений Юма, в то время как шотландский философ был более сдержан в оценках творчества английского лексикографа. Так, в письме к издателю Уильяму Стрэхэну от 11 марта 1771 г., Юм писал, что памфлет Джонсона «Размышления о последних операциях на Фолклендских островах» 1771 г. «неплох и весьма забавен из-за своеобразия и помпезности стиля»[17].

[12] Lackington 1792: 439.
[13] Boswell 1998: 357.
[14] Ibid.: 314.
[15] Boswell 1785: 335.
[16] Цит. по: Russell 1990: 75.
[17] The Letters of David Hume 1932: 240.

Камнем преткновения между двумя интеллектуалами стало отношение к религии. Одной из целей философии Юма было стремление «опровергнуть притязания христианской метафизики и этики и создать светское моральное и политическое видение мира»[18]. Юм весьма критически относился к вере в чудеса, которая составляла одну из основ миросозерцания Джонсона. В «Эссе о чудесах» (1748) Юм утверждал, что «чудо есть нарушение законов природы, а так как эти законы установил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте. […] Всякому чудесному явлению должен быть противопоставлен единообразный опыт, иначе это явление не может заслуживать подобного названия»[19].

Опровержение Юмом чудес по причине того, что «во всей истории нельзя найти ни одного чуда, засвидетельствованного достаточным количеством людей, столь неоспоримо здравомыслящих, хорошо воспитанных и образованных, чтобы мы могли не подозревать их в самообольщении»[20]. Вера, по Юму, сама по себе является чудом, побуждающим «верить в то, что совершенно противоречит привычке и опыту»[21], что не могло не вызвать реакцию со стороны общественности. На Юма обрушились обвинения. Магистр Оксфордского университета Уильям Адамс утверждал, что шотландский философ не только сражается с религиозными предрассудками, но и угрожает общественным устоям: «непростительно оскорблять то общество, в котором позволяется вести дискуссии и свободные исследования»[22]. О сочинении Адамса положительно высказывался Джонсон. В письме к Сэмюэлу Ричардсону он утверждал, что Адамс «зарекомендовал себя принадлежащим лучшей части человечества опровержением “Чудес” Юма»[23].

Английский лексикограф неоднократно обвинял Юма в склонности к деизму, скептицизму и святотатству, что ярко иллюстрирует одна из его проповедей. В тексте проповеди, вошедшей в собрание сочинений Джонсона под номером 20, «литературный диктатор» Англии стремится разоблачить лицемерие и ограниченность вольнодумцев, к числу которых причисляется Юм: «эти люди, кажется, открыли кратчайший путь к познанию. Они решают важнейшие вопросы посреди празднеств и беспорядков. Они обнаружили, что противника легче заставить замолчать, чем пытаться опровергнуть. Они оскорбляют своих соперников вместо того, чтобы сразить их, и отказываются от битвы, торопясь одержать победу. У них есть устоявшееся правило: тот, кто высмеивает мнение, уже опровергает его. По этой причине они без угрызения совести

[18] Russell 1990: 78.
[19] Давид Юм 1996: 97–98.
[20] Там же: 99.
[21] Там же: 114.
[22] Adams 1752: 134.
[23] The Letters of Samuel Johnson 2014: 80.

нарушают все правила приличия и с величайшим пренебрежением относятся ко всему, что считается священным»[24].

По мнению литератора, сочинения, подобные упомянутому эссе Юма «О чудесах», могли быть написаны только теми, кто «не осведомлен о собственной слабости и самонадеянно убежден в своих силах», теми, кто научился «не только пренебрегать религией, но и оскорблять ее, не только быть порочным, но и насмехаться над добродетелью»[25]. Несмотря на последовательное разоблачение взглядов Юма, Джонсон не касается болезненного для церкви XVIII века вопроса – защищают ли апологеты основы христианского вероучения ««вследствие фанатизма и предубеждения, или скорее при помощи разума»[26]. Таким образом, сам Джонсон отказывается принять позицию соперника, хотя в других проповедях, напротив, выступал за необходимость «вести споры без неподобающей горячности и нечестных уловок»[27]. Во многом такая позиция литератора объясняется особенностями жанра проповеди. В беседе с Босуэллом Джонсон сообщал, что «свободу мысли не следует путать со свободой разговора, тем более со свободой вероисповедания»[28]: «каждый человек имеет физическое право думать, как ему заблагорассудится, потому что нет возможности узнать его мысли. Он не имеет на это морального права, так как обязан быть сознательным и мыслить истинно. Но, сэр, ни один член общества не имеет права проповедовать учение, противоречащее тому, что общество считает истинным»[29]. Когда дело касалось религии, Джонсон готов был защищать ее от любого посягательства наравне с другими моралистами и теологами конца XVII – середины XVIII в., такими как П. Браун (1665–1735), Д. Роджерс (1679–1729), С. Кларк (1675–1729) и У. Лоу (1686–1761).

Другим важным вопросом, который занимал умы обоих интеллектуалов, была проблема достижения человеком счастья. Как отмечает британский историк Р. Портер, одной из особенностей эпохи Просвещения стало признание того, что «счастье – это единственная существующая ценность»[30]. Впрочем, среди британских просветителей не было единого мнения по поводу того, как стать счастливым. Так, Р. Стиль «полагал, что свобода и собственность являются необходимыми компонентами существования человека. На его взгляд, свобода и собственность – это составляющие счастья»[31].

Позиция Джонсона, утверждавшего тщетность поисков абсолютного счастья в земной жизни, не была популярна среди философов XVIII в. Одно из самых известных его сочинений, восточная повесть

[24] The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson 1978: 220.
[25] Ibid.: 217–218.
[26] Hudson 1990: 35.
[27] The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson 1978: 78.
[28] Зыкова 2009: 22.
[29] Boswell 1998: 539.
[30] Porter 2001: 264.
[31] Лабутина, Ильин 2012: 89.

«История Расселаса, принца Абиссинского» (1759) нередко рассматривается как антитеза знаменитой повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», опубликованной в том же году. Современные исследователи признают, что хотя «на первый взгляд Вольтер и д-р Джонсон могут показаться столь же далекими друг от друга, как шампанское и ростбиф, их объединяют общие взгляды на многие вопросы»[32]. В данном случае оба писателя стремились представить свой взгляд на общую проблему – возможность достижения счастья. В то время как Вольтер убеждал читателей, что единственным делом, позволяющим познать счастье, является возделывание сада, Джонсон доказывал, что в мире вовсе нет наилучшего образа жизни и нет возможности познать абсолютное счастье. Впрочем, вывод Джонсона двойственен: «все человеческие надежды беспочвенны и не могут быть реализованы, но, несмотря на такую безысходность, необходимо использовать каждый шанс»[33].

Во взглядах Джонсона и Юма есть некоторое сходство в определении счастья и путях его достижения. В «Исследовании о принципах морали» Юм отмечает, что всем людям свойственен поиск счастья, однако преуспеть в осуществлении этого стремления весьма непросто: «Внутренний покой духа, сознание своей честности, удовлетворенность, возникающая, когда опрокидываешь взором собственное поведение, – эти условия крайне необходимы для счастья»[34]. В то же время взгляды Юма совпадают с Джонсоном, когда речь идет о сложности и, порой, недостижимости счастья: «Повсюду переплетены и смешаны добро и зло, счастье и несчастье, мудрость и глупость, добродетель и порок; нет ничего чистого и безусловно цельного. Все преимущества сопровождаются недостатками, всеобщее возмездие господствует при всех условиях жизни и существования»[35]. Джонсон более категоричен в вопросе о недостижимости счастья в земной жизни: «Каждому чего-то не хватает для счастья, а когда он получает то, чего ему первоначально хотелось, ему хочется чего-то еще; он растрачивает свою жизнь в погоне и усилиях и, умирая, возможно, сожалеет, что ему приходится оставить этот мир, как раз тогда, когда он предполагал насладиться им»[36].

Таким образом, воззрения Джонсона и Юма на счастье во многом совпадают. Оба рассматривали счастье не как мимолетное блаженство, но, напротив, по аналогии с Гоббсом, как постоянное движение и процесс, направленный на достижение счастья[37]. Оба интеллектуала были убеждены, что стремление к счастью свойственно человеку и определяет смысл человеческого существования, однако достижение счастья не всегда возможно. Более того, и Джонсон, и Юм сходятся в общей для

[32] The Enlightenment in National Context 1981: 47.
[33] Щербакова 2009: 52.
[34] Давид Юм 1996: 279.
[35] Там же: 376.
[36] The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson 1978: 127.
[37] Potkay 2000: 65.

английских просветителей формуле счастья: «будьте добродетельны, и вы будете счастливы»[38]. Правда, доктор Джонсон, в соответствии с христианским миросозерцанием, верил, что добродетельный человек познает счастье в жизни вечной.

Юм стал известен читающей публике во многом благодаря его «Истории Англии», и исследование традиций британского историописания XVIII в. немыслимо без обращения к труду шотландского философа. Джонсон вошел в историю как создатель «Словаря английского языка» и моралист, чьи взгляды на историю, казалось бы, не представляют интереса для исследователей. Тем не менее, анализ таких работ Джонсона, как эссе «Введение в политическое состояние Великобритании» (1756) и «Жизнеописаний важнейших английских поэтов» (1779–1781), позволяют сопоставить взгляды Юма и Джонсона на английскую историю. Нельзя не отметить, что английский лексикограф, исходя из общего неприятия философии Юма, никогда не читал «Историю Англии» и полагал, что Юм «никогда не взялся бы за исторические труды, если б Вольтер не подал ему пример. Он – эхо Вольтера»[39].

В представлении британских интеллектуалов XVIII столетия в английской истории не было периода более славного, чем елизаветинская эпоха. Джонсон полагал, что это правление заложило основы для дальнейшего развития страны[40]. Укрепление протестантизма, расширение торговых путей, основание колоний в Америке и внешнеполитические победы на европейском континенте – все это послужило на благо английского государства. Аналогично высказывался о политике Елизаветы и Юм. В «Истории Англии» он пишет: «Правлению этой королевы сопутствовали победы за границей и мир внутри страны, а потому она оставила государство в столь цветущем состоянии, что ее преемник, вступив на английский престол, получил все мыслимые преимущества»[41]. Эпоха Елизаветы Тюдор стала в георгианской Англии национальным мифом о великом прошлом – английском «золотом веке», и позиции Юма и Джонсона совпадали при интерпретации этого периода.

Иначе интеллектуалы оценивали последующие события английской истории. Особое внимание стоит уделить характеристике Кромвеля. «Кромвель, – утверждал Джонсон, – распустил парламент с помощью той же власти, которой он разрушил монархию, и сам стал монархом, под именем протектора, но с королевской и даже более чем королевской властью. Его власть никогда не претендовала на законность»[42]. Кромвель и его сторонники однозначно описываются Джонсоном как «повстанцы», «узурпаторы власти», «ответственные за смерть Карла I убийцы». Режим Оливера и Ричарда Кромвелей был «системой времен-

[38] Зыкова 2009: 20.
[39] Boswell 1998: 392.
[40] Johnson 1977: 130.
[41] Юм Т. 1. 2001: 6.
[42] The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson 2010: 132.

ного правительства, державшейся на одной только силе», однако она «естественным образом распалась на части, стоило этой силе удалиться»[43]. В то же время Юм, также называвший правление Кромвеля «узурпацией», видел куда больше достоинств в деятельности протектора. Если Юм пишет об успехах Кромвеля на международной арене, то доктор Джонсон с неудовольствием пишет о «тиране», у которого «пожалуй, не было времени на то, чтобы вникать в международные дела»[44].

Кроме того, у просветителей имелись расхождения во взглядах на Карла II Стюарта, который был для Джонсона олицетворением идеального монарха. Так, однажды в разговоре с Босуэллом, он отметил, что «Карл II знал свой народ и вознаграждал его по заслугам. Церковь не знала лучшего времени за всю свою историю. Он был лучшим королем за всю историю Англии вплоть до правления Его Величества (Георга III – *Т.К.*)»[45]. Более того, Джонсон высоко оценивал личные качества монарха: «Король, милосердию которого, пожалуй, нет равных во всем мире, отказался быть судьей или мстителем за ошибки отца или свои собственные»[46]. Куда негативнее о Карле II высказывался Юм: «Карл своими действиями, хотя они и казались всякий раз не более чем легкомысленной забавой короля, подвергал ее (Англию – *Т.К.*) опасности гражданской войны и даже иностранного вторжения, позорного и гибельного для Англии»[47]. Таким образом, два интеллектуала по-разному интерпретировали события английской истории XVII столетия.

Шотландские интеллектуалы XVIII в. стали создателями юнионистской традиции, способствовавшей интеграции Шотландии в единое британское государство[48]. Юнионизм выражался, в том числе, в готовности интеллектуалов интегрироваться в английское общество. Успешным примером такой инкорпорации можно считать Юма и его «Историю Англии». Тем не менее, лояльность шотландцев и их стремление преодолеть «травму» Унии 1707 г. далеко не всегда поддерживалась английскими интеллектуалами. Джонсон был убежден, что Шотландия никогда не сможет добиться равноправного с Англией положения и должна гордиться возможностью быть младшим партнером в Королевстве Великобритания. По мнению «чистокровного» англичанина, коим часто именовали Джонсона, Уния 1707 г. стала причиной коммерческого процветания Шотландии, а также привела к потере шотландской самобытности и попыткам создания мифов о шотландской исключительности посредством обращения к поддельным «поэмам Оссиана».

«Поэмы Оссиана» стали еще одним камнем преткновения для Джонсона и Юма. Опубликованные Дж. Макферсоном в 1761–1763 гг.

[43] Ibid.: 143.
[44] Johnson 1977: 138.
[45] Boswell 1998: 610–611.
[46] The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson 2010: 144.
[47] Юм Т. 2. 2001: 404.
[48] См.: Апрыщенко 2011: 5–23.

поэмы выдавались за аутентичный перевод сохранившихся рукописных фрагментов и устных преданий горцев. Для образованных шотландцев поэмы стали предметом национальной гордости и доказывали самобытность древней гэльской культуры. С восторженными отзывами о поэмах выступали просветители, литераторы и историки Х. Блэр, У. Робертсон и А. Смит. Юм в письме к Х. Блэру сообщал о том, что у него есть «свои особые причины верить в подлинность поэм»[49]. Доктор Джонсон вынес суровый приговор поэмам Макферсона, назвав их заурядным сочинением «лжеца и очернителя», а литераторов-защитников поэм – шотландцами, для которых «Шотландия дороже правды»[50].

Джонсон и Юм – представители одного поколения, появившиеся на свет в государстве, единство которого было подтверждено Актом об Унии 1707 г. Они олицетворяют две ветви британской просветительской мысли – «культуры духа» и «культуры разума», две части нового британского государства – Англии и Шотландии. Полемика между английским лексикографом и шотландским философом определялась традициями английского и шотландского Просвещения. Джонсон и Юм оказались по разные стороны баррикад в споре о «духовном» и «чудесном» во многом из-за различий в английской и шотландской интерпретациях религиозного вопроса. Характерная для шотландской и французской просветительской мысли рационализация выражалась в стремлении Юма выступить против религиозных предрассудков и суеверий и попытаться понять религию при помощи разума. С точки зрения Джонсона, воплощающего англиканские интеллектуальные традиции, подобное вольнодумство было неприемлемо по отношению к религии.

Джонсон представляет собой яркий пример защитника «культуры духа», для которого свобода мысли вовсе не подразумевала посягательство на вопросы веры. Литератор пытался найти компромисс между религиозным и светским, будучи убежденным, что просветительская мысль может существовать в рамках англиканства. Его идеи оказались надолго позабыты грядущими поколениями и уступили место «культуре разума», за которую ратовал Юм. Наследие Юма может по праву считаться воплощением апологии разума и эмпирического познания мира.

Сравнение взглядов Джонсона и Юма и сопоставление их интеллектуального наследия требует дальнейших исследований. Проблемы человеческой природы, возможностей рационального познания мира, отношение к Британской империи и Фолклендскому кризису 1770 г. – вопросы, на которые оба интеллектуала пытались дать собственный ответ, нередко тем самым вступая в дискуссию друг с другом. Несмотря на то, что на протяжении всего периода активной творческой деятельности просветители не вступали в открытую дискуссию друг с другом, диалог между ними состоялся – история интеллектуального противосто-

[49] Copy of a Letter from David Hume 1805: 5.
[50] The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson 1971: 119.

яния английского лексикографа и шотландского философа, английского литератора и шотландского историка, доктора Джонсона и мистера Юма сохранилась на страницах их произведений, ставших фундаментом британской интеллектуальной мысли XVIII столетия.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Апрыщенко В.Ю. Дэвид Юм и британская юнионистская традиция эпохи Просвещения // Диалог со временем. 2011. № 37. С. 5–23 [Apryshchenko V.Y. David Yum i britanskaya yunionistskaya tradiciya ehpokhi Prosveshcheniya // Dialog so vremenem. 2011. 37. S. 5–23]

Высокова В.В. Шотландские просветители: круг идей // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2013 (а). № 3. С. 78–90 [Vysokova V.V. Shotlandskie prosvetiteli: krug idej // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 2: Gumanitarnye nauki. 2013. № 3. S. 78–90].

Высокова В.В. Историографический и социальный контекст формирования концепции истории Дэвида Юма // Диалог со временем. 2013 (б). Вып. 45. С. 70-87 [Vysokova V.V. Istoriograficheskij i social'nyj kontekst formirovaniya koncepcii istorii Devida YUma // Dialog so vremenem. 2013 (b). Vyp. 45. S. 70-87].

Давид Юм. Собрание сочинений в двух томах. Т. 2 / Пер. с англ. С.И. Церетели, В.С. Швырева и др. М.: «Мысль», 1996. 800 с. [David Yum. Sobranie sochinenij v dvukh tomakh. T. 2 / Per. s angl. S.I. Cereteli, V.S. Shvyreva i dr. M.: «Mysl'», 1996. 800 s.]

Зыкова Е.П. Англиканство и Просвещение в творческом сознании Сэмюэля Джонсона // Английская литература XVIII века: поэтика жанров, диалог традиций, межкультурные взаимодействия. Межвузовский сборник научных трудов к 300-летию со дня рождения С. Джонсона. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. С. 16–24. [Zykova E.P. Anglikanstvo i Prosveshchenie v tvorcheskom soznanii Sehmyuehlya Dzhonsona // Anglijskaya literatura XVIII veka: poehtika zhanrov, dialog tradicij, mezhkul'turnye vzaimodejstviya. Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh trudov k 300-letiyu so dnya rozhdeniya S. Dzhonsona. Kirov: Izd-vo VyaTGGU, 2009. S. 16–24].

Лабутина Т.Л., Ильин Д.В. Английское Просвещение: общественно-политическая и педагогическая мысль. СПб.: Алетейя, 2012. 304 с. [Labutina T.L., Il'in D.V. Anglijskoe Prosveshchenie: obshchestvenno-politicheskaya i pedagogicheskaya mysl'. SPb.: Aletejya, 2012. 304 s.]

Щербакова Т.В. «Великий хан» английской литературы Сэмюэль Джонсон (1709-1784). Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. 161 с. [Shcherbakova T.V. «Velikij khaN» anglijskoj literatury Sehmyuehl' Dzhonson (1709-1784). Kirov: Izd-vo VyaTGGU, 2009. 161 s.]

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. Т. 1–2 / Пер. с англ. А.А. Васильева, под общ. ред. С.Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2001. [Yum D. Angliya pod vlast'yu doma Styuartov. T. 1–2 / Per. s angl. A.A. Vasil'eva, pod obshch. red. S.E. Fedorova. SPb.: Aletejya, 2001.]

Adams W. An Essay in Answer to Mr. Hume's Essay on Miracles. L.: Print. E. Say, 1752. 132 p.

Boswell J. The Journal of a Tour to the Hebrides, with Samuel Johnson, LL.D. L.: Printed by H. Baldwin. 1785. 524 p.

Boswell J. Life of Johnson: Unabridged / ed. by R.W. Chapman. Oxford: O.U.P., 1998. 1492 p.

Copy of a Letter from David Hume, Esq. to the Reverend Dr Hugh Blair, on the subject of Ossian's Poems, 19th Septem. 1763 // Report of the Committee of the Highland Society of Scotland Appointed to Inquire Into the Nature and Authenticity of the Poems of Ossian / H. Mackenzie. Edinburgh: Printed at the University Press, 1805. P. 4–8.

The Enlightenment in National Context / ed. R. Porter, M. Teich. Cambridge: C.U.P., 1981. 275 p.

Hudson N. Samuel Johnson and Eighteenth-century Thought. Oxf.: Clarendon Press, 1990. 272 p.

Johnson S. An Introduction to the Political State of Great Britain // The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson. Vol. 10. Political Writings / ed. by D. Greene. New Haven and London: Yale University Press, 1977. P. 129–150.

Lackington J. Memoirs of the First Forty-Five Years of the Life of James Lackington. London: Printed for the Author, 1792. 486 p.

The Letters of David Hume. Vol. 2 / ed. by J.Y.T. Greig. Oxford: Clarendon Press, 1932. 498 p.

The Letters of Samuel Johnson. Vol. 1: 1731–1772 / ed. by B. Redford. Princeton: Princeton University Press, 2014. 468 p.

Norton D.F. Introduction to Hume's Thought // The Cambridge Companion to David Hume / ed. by D.F. Norton. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 1–32.
Porter R. Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World. L.: Penguin Books, 2001. 728 p.
Potkay A. The Passion for Happiness: Samuel Johnson and David Hume. Itaka and London: Cornell University Press, 2000. 241 p.
Russell P.A. Hobbist Tory: Johnson on Hume // Hume Studies. 1990. Vol. 16. № 1. P. 75–80.
The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson. Vol. 9. A Journey to the Western Islands of Scotland / ed. by M. Lascelles. New Haven and L.: Yale University Press, 1971. 198 p.
The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson. Vol. 14. Sermons / ed. by J. Hagstrum, J. Gray. New Haven and London: Yale University Press, 1978. 366 p.
The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson. Vol. 21. The Lives of the Poets / ed. by J.H. Middendorf. New Haven and London: Yale University Press, 2010. 556 p.

***Косых Татьяна Анатольевна**, кандидат исторических наук, старший преподаватель, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; kskhtt@gmail.com*

Samuel Johnson vs David Hume: Confrontation of the «Culture of Spirit» and the «Culture of Reason»

The article is devoted to the history of confrontation between two British intellectuals of the Eighteenth century – Samuel Johnson and David Hume. The author analyses views of English lexicographer and Scottish philosopher on zealous religiosity and belief in miracles, on happiness and history. Attention is focused on the personification by Johnson and Hume of two intellectual traditions of the Age of Enlightenment. Johnson was an adherent of a «culture of the spirit», for whom freedom of thought did not imply an encroachment on faith. Hume was a prominent representative of the «culture of reason» who advocated rational cognition of the world and man.

Keywords: British History, Age of Enlightenment, English Enlightenment, Scottish Enlightenment, intellectuals, Samuel Johnson, David Hume

***Tatiana Kosykh**, Ph.D. (History), Senior Lecturer, Ural Federal University Named after the First President of Russia B.N. Yeltsin; kskhtt@gmail.com*

Д.А. Редин

ОЧАРОВАНИЕ «РЕГУЛЯРСТВА» ЕЩЕ РАЗ О «МЕНТАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ» ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЧАСТЬ 2. «РОССИЙСКОЕ ИМПЕРСКОЕ ГОСУДАРСТВО»*

Исследование посвящено эволюции воззрений Петра I на проблемы государственного и общественного развития. В первой части статьи было показано, что, несмотря на преобладающие в литературе представления о неспособности русского царя к концептуальным обобщениям, он обладал достаточным интеллектуальным потенциалом для подобного рода творчества. Во второй части автор статьи объясняет отсутствие у Петра I в 1690–1710-е гг. общего плана реформ тем, что в эти годы царь и не преследовал цели всеобщих преобразований, поскольку главным объектом его внимания была реформа вооруженных сил, а изменения в системе управления и организации экономики были лишь функцией этой реформы. Целостный и идеализированный взгляд на проблемы государственных реформ, который автор называет «ментальным», или «воображаемым» государством Петра Великого, сложился у монарха в последние годы жизни, в результате успешной военной реформы и знакомства с обширным и разнородным западным ренессансным и барочным литературным массивом. Это не была теория государства, но концепция государственного строительства, основанная на достаточно глубоком и последовательном усвоении постулатов раннего европейского камерализма. Она была изложена царем в цикле именных указов, уставов и регламентов 1718–1724 гг., который следует рассматривать в качестве авторского мегатекста Петра. Одновременно, эта концепция стала играть роль государственной идеи, заменившей для российской правящей элиты традиционную идею созидания священного царства. Нереализованные при жизни первого российского императора, сформулированные им концептуальные положения стали программным ориентиром государственного строительства и общественного развития на столетие вперед.

Ключевые слова: *Петр I, «ментальное государство», прагматическое мышление, концепция, государственное строительство, государственная идея, общественное благо, камерализм*

Очарование «регулярства»

Ренессансная и барочная культуры характеризовались переосмыслением ряда фундаментальных понятий, на которых покоились морально-политические устои средневековой Европы. Получившие распространение в обновленном (рационалистическом и индивидуалистском) виде с XVII в., логически взаимосвязанные философские теории *естественного права* и *общественного договора* (здесь и далее курсив мой. – *Д.Р.*) не только определили магистральное развитие общественной мысли, но обосновывали и объясняли необходимость перемен в устройстве государственного управления, организации общества и экономики, вызванных вполне объективными причинами: прогрессом производственных технологий, совершенствованием вооружений, колониальной экспансией и связанной со всем этим гло-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 20-09-42022 «“Ментальное государство” Петра Великого и эксперименты регионального администрирования. Первая четверть XVIII в.».

бальной перенастройкой международных связей. Модерные вариации теорий естественного права и общественного договора обусловили популярность представлений об *общественном благе*, или *общественной пользе* как выражения естественно-правовой справедливости и, одновременно, цели, к которой должны стремиться народы. Особая ответственность за достижение общего блага возлагалась на *светскую верховную власть*, в какой бы из форм она ни существовала.

Не обошли эти идеи и Россию; уже во второй половине XVII в., в усеченном, опосредованном виде, они, тем не менее, занимали некоторое место в умах отечественных «западников» допетровской эпохи, в риторике духовенства западнорусского происхождения, циркулировали в переводной литературе[1]. Петр, открытый новым знаниям, а значит и западным новациям, не только в общих чертах усвоил основные идеи означенных теорий, но и принял их (проинтерпретировав по-своему). Наиболее близкими юному монарху оказались мысли об *общественном благе*, тесно связанные с идеями о происхождении и долге царской власти. Риторика такого рода была вполне освоена государем довольно рано, о чем свидетельствует манифест от 16 апреля 1702 г., названный публикаторами «Полного собрания законов Российской империи» манифестом «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы исповедания»[2]. Начальные строки этого указа очень часто цитируются историками, когда они рассуждают о формировании «западнических» взглядов Петра I. Но комментария заслуживает весь документ, особенно его преамбула. Во-первых, потому, что он являет собой новаторское отношение царя к нормативному акту как к способу публичной коммуникации, с помощью которого стало возможно доносить до самой широкой аудитории не только волю монарха, облеченную в норму закона, но и мотивации, побуждавшие к принятию нормы. Во-вторых, потому, что в этом манифесте он кратко, но емко позиционировал себя как христианского просвещенного европейского государя, отказавшись от традиционных для его предшественников претензий на исключительную богоизбранность, связанную с принадлежностью к православию как единственно истинной форме христианского исповедания. Манифест начинался декларацией, что Петр с самого начала своего царствования был озабочен и прилагал старание к тому, чтобы все подданные «попечением нашим *о всеобщем благе* более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние». Таковое виделось государю в сохранении «внутреннего спокойствия», защите страны «от внешнего нападения» и в улучшении и распространении торговли. Царь подчеркивал, что был побужден также «учинить некоторые нужные и *к благу земли нашей служащие перемены*», сводившиеся к научению под-

[1] См., напр.: Лаппо-Данилевский 1990: 168–204; Лаппо-Данилевский 2005: 177–255; Лотман 2000: 39–59; Бугров, Киселев 2016: 57–82.
[2] ПСЗ. Т. 4. № 1910.

данных «ныне им неизвестным познаниям», в чем можно усмотреть одну из ранних петровских сентенций о пользе просвещения, хотя под «неизвестными познаниями» в данном тексте Петр понимал не просвещение вообще, а познания, ведущие к более искусному ведению все тех же торговых дел. Призвание на службу иноземцев монарх объяснял поиском дополнительных способов приведения государства в безопасность от нападения неприятелей, сохранения прав и преимуществ страны и поддержания всеобщего спокойствия в «Христианстве», т.е. во всем христианском мире, «как то христианскому монарху следует». Разумеется, поскольку Россия находилась в состоянии войны, обращение Петра в первую очередь адресовалось военным специалистам, но и «купно с прочими государству полезными художниками». Манифест гарантировал иностранцам не только свободу исповедания, но – и это было новацией – особую подсудность некой «Тайной военного совета коллегии», дела в которой будут рассматриваться на основании «Божеских законов», «по римскому гражданскому праву и другим народным обычаям», а также право отставки (и, по умолчанию, отъезда на родину, чего при прежних государях добиться служилые иноземцы просто не могли) на основаниях, которые «обыкновенно водятся у других европейских монархов». Текст манифеста, рассчитанный на западную аудиторию, был написан очень толково, оперируя ясными в этой среде понятиями и каждой своей строкой доказывая, что Россия – одна из европейских стран, жизнь и служба в ней строится на тех же основаниях, что и во всем христианском мире, а её монарх – надежный гарант счастья подданных и всех, кто захочет служить его скипетру.

В дальнейшем рассуждения об общем благе становятся одной из любимых тем петровских указов, а забота о нем – основой монаршего долга, фундаментом служения Петра. Через концепцию общего блага можно уяснить отношение царя к базовым понятиям общественного договора и естественного права. Долг правителя в деле обеспечения благоцветания подданных, безусловно, представлялся общим местом в морально-политической мысли барочной Европы. Как отмечал М. Раев, вследствие Реформации и ослабления политической роли церковной организации, перехода к регулярным армиям и связанным с этим инфраструктурным переменам в экономике, в странах европейского Запада значительно расширилась роль государства (светского правителя и его администрации) во всех сферах частной и общественной жизни, а соответственно вызрело убеждение в том, что «сильное независимое правительство и могущественный правитель являются необходимыми предпосылками для духовного и материального благосостояния подданных…»[3]. И если эти воззрения прежде всего возникают в протестантских государствах, то в тех или иных вариациях они распространяются во всех европейских странах того вре-

[3] Раев 2000: 51, 53.

мени. При этом вопрос о форме светской власти – монархической или республиканской – в этом смысле становится вторичным[4].

Долг доброго правителя в деле достижения общего блага оказывается одинаковым. Петру такая идея служения была близка. Она соответствовала его вестернизированному восприятию власти, но не противоречила и традиционным взглядам на природу и смысл царской власти: православный благочестивый государь по определению являлся источником блага и «тишины» для своего народа – эта идея была «отформатирована» русскими публицистами в спорах об отличии «истинного» и «злочестивого» царя еще в конце XV – XVI в. При этом «русским теоретикам была ближе римско-имперская мысль об эпифании – *непосредственном* воплощении божества в царе»[5]. Усиленная устранением из политического пространства церкви (в этом смысле Петр сначала фактической, а позже – юридической отменой патриаршества сделал ту работу, которую на Западе исполнила Реформация), эта мысль, с одной стороны, сняла вопрос о «договорных обязательствах между властью и народом», а с другой – облекла заботу об общественном благе в форму «патронального деспотизма»[6]. Отеческое отношение Петра к народу, отождествление последнего с детьми, которых следует воспитывать и приучать к добрым обычаям, в том числе и путем принуждения – один из устойчивых мотивов петровских указов и их «дидактических» интонаций[7]. Это тоже можно отнести на счет традиционного для России определения характера отношений между государем и подданными, но можно рассматривать и в русле того нового политического и морального дискурса, присущего барочной Европе[8] и усвоенного Петром под влиянием западных новаций. Вдобавок, принуждая своих «детей» к «ныне им неизвестным познаниям», ведущим к их же пользе, российский просвещенный монарх реализовывал цивилизаторскую миссию, «присовокупляя» подданных к числу цивилизованных «политичных» народов[9].

В рамках подобных представлений теоретические рассуждения об общественном договоре и тем более о естественном праве, едва ли были актуальны для Петра. Когда текущие политические обстоятельства чрезвычайного характера (вроде кризиса в отношениях со старшим сыном и обострившимся в связи с этим вопросом о престолонаследии) вынуждали его оправдываться в глазах общественного мне-

[4] Ср., напр.: «Все политические доктрины той поры исходят из того, что верховная власть существует для блага подданных». Лотман 2000: 50.

[5] Лотман 2000: 51.

[6] Там же.

[7] Воскресенский 2017: 350–351.

[8] О том, что, например, европейское камералистское полицейское государство представляло собой *не*-юридическую форму регуляции, организация в котором строится не на законе, а на представлениях монарха о благе народа и данных монархом установлениях, писал К. Трайб. Tribe 1995: 21.

[9] См.: Вульпиус 2012: 50–70.

ния (западного – в не малой степени) и искать дополнительные аргументы в обосновании своих поступков, он проявлял к ним интерес, прибегая при этом к профессиональной помощи специалистов вроде Феофана Прокоповича. В остальном же рассуждения о свободе воли, «естественных» и «искусственных» законах, соотнесенности свободы, равенства и собственности и прочие вещи были, похоже, для него избыточными. Показательно в этом смысле наставление Петра, данное им уже на склоне жизненного пути, в 1724 г., переводчикам неких «экономических на немецком диалекте книг»: «Понеже немцы обыкли *многими рассказами негодными* книги свои наполнят, толко для того, *чтоб велики казались*, чего, кроме самого дела и краткого пред всякою вещию разговора переводит не надлежит; но и вышереченной разговор, чтоб не празной ради красоты, но для вразумления и наставления о том чтущему был…»[10]. Обычно эту цитату приводят, чтобы лишний раз доказать пресловутый узкий прагматизм Петра. Но неприязнь к «многим рассказам негодным», которыми иные авторы злоупотребляют, стремясь, по его мнению, доказать свою ученость, могла корениться не только в практическом складе его мышления. Просто царь имел собственные и вполне ясные представления и о природе власти, и о «правах гражданских» (ярко и емко он изложил свой взгляд на этот вопрос в известном указе 1722 г.), и о наилучшей форме правления, а потому не особо нуждался в теоретических рефлексиях на этот счет. Может быть, именно поэтому сочинения Гоббса и Гроция красноречиво отсутствовали в его личной библиотеке, Х. Вольф интересовал его, скорее, как математик[11], а Пуфендорф – лишь как историк[12], равно как и лично знакомый ему Лейбниц, в чьем творчестве царя занимали «помимо истории, еще и правовые практики, а отнюдь не теоретические рассуждения… о праве»[13].

Итак, магистральной идеей в мировоззрении Петра I была идея достижения состояния всеобщего блага, стремление к общей пользе. При этом для царя не было различий в *государственной* пользе и *народной* пользе: они представлялись ему тождественными. Эту мысль он последовательно проводил в своих указах. Всеобщего блага можно было достичь с помощью правильно организованного, *регулярного* управления и правильного поведения всех членов общества, действовавших слаженно и согласно ради достижения общей цели. Примечательно, что само слово «регулярный» в значении «правиль-

[10] Воскресенский 1945. № 203.

[11] Из сочинений Христиана Вольфа в каталоге личной царской библиотеки зафиксировано лишь 2 экземпляра его «Elementa matheseos universale» – латиноязычных изданий, напечатанных в Галле и Магдебурге в 1713 и 1715 гг. соответственно. Библиотека Петра I 1978: 161.

[12] Основной теоретический труд Самуэля Пуфендорфа «De officiis hominis et civis» («О правах человека и гражданина») стал известен Петру только незадолго до смерти, в 1724 г. – Бугров, Киселев 2016: 95–96.

[13] Бугров, Киселев 2016: 91.

ный», «организованный», появляется в русском языке из латыни через польское опосредование именно в Петровскую эпоху, о чем свидетельствуют этимологические словари[14]. Как видно, в идее «регулярства» заключался мощный этатистский посыл, вера в то, что именно хорошо отлаженное государственное администрирование являлось своеобразным ключом к счастью. На государство и, в первую очередь, на государя, как на воплощение первого, возлагалась миссия создания условий для рационального управления материальными ресурсами и контроля над подданными, а также воспитание сам*и*х этих «полезных» подданных – просвещенных, нравственных, искусных в различных нужных «художествах», исполненных чувства долга к исполнению своих обязанностей.

Нетрудно увидеть в этих положениях постулаты, сформулированные ранними немецкими камералистами, логично соединившими в своих трактатах и передовые морально-философские воззрения[15], и «преимущественно механическое обобщение крупиц тривиальной административной мудрости», придавшие этим трактатам вид всеобъемлющей теории, «теории всего»[16]. Петру I камералистское учение было гораздо ближе, чем общие рассуждения о праве и морали именно благодаря своей внешней универсальности, ориентированности на практику в сочетании с «научностью»[17]. Экономическая составляющая камерализма, роднящая его с меркантилизмом, с присущими последнему протекционистскими мерами, ориентиром на импортозамещение в организации национального производства, нацеленным на достижение активного внешнеторгового баланса и мобилизацию внутреннего производственного потенциала, были хорошо известны царю по деятельности его предшественников (вспомним т.н. Новоторговый устав 1667 г., опыты с заведением текстильных и металлургических мануфактур и попытки реформирования денежной и налоговой систем). Знакомство Петра с административной или шире – «полицейской» составляющей камерализма[18] – было более слож-

[14] Фасмер 2009. Т. 3: 458; Шанский, Боброва 1994: 270.

[15] Идейная связь камерализма с трудами философов-рационалистов позднего Ренессанса и раннего Просвещения, а также с ранними сочинениями по политической экономии (главным образом, итальянскими), прослежена С.А. Рейнертом, исследовавшим источники творчества самой значимой фигуры немецкого камерализма второй половины XVII в. Ф.-Л. фон Зекендорфа. Reinert 2005: 277–278.

[16] Зубков 2013: 20.

[17] На эту универсальность указывал и фон Зекендорф: «В предисловии к “Немецкому княжескому государству” Зекендорф писал, что его мысли были адаптированы к потребностям государства среднего размера, но их легко приспособить *к любому* из государств “немецкой гражданской семьи”». – Reinert 2005: 278. Напротив, мысль о практической несостоятельности теоретических постулатов камералистов наиболее последовательно отстаивает Э. Уэйкфилд. – Wakefield 2009.

[18] Понимая под «полицейским» комплекс регулируемых государством мер по организации рациональной общественной деятельности. Позднее экономическая часть камералистского учения (точнее, вопросы управления экономикой) и его

ным. Его интерес к западным управленческим моделям прошел свою эволюцию и имел определенную специфику.

Ранний этап того, что мы по историографической традиции называем административными реформами, будь то т.н. первая городская реформа или первая губернская, она же областная реформа, дает очень мало информации, позволяющей говорить о стремлении монарха создать «хорошо организованное государство». Рискну предположить, что в эти годы (конец 1690-х – 1700-е, даже середина 1710-х гг.), царь и не ставил своей целью реформирование системы управления, тем более – в соответствии с некими передовыми западными образцами, если понимать под реформой осознанное и более или менее ясно декларированное *стремление к прогрессивным новациям*[19]. Что действительно стало объектом реформирования в модерном смысле этого понятия, так это вооруженные силы. Именно вооруженные силы, а не армия, потому что помимо регулярной армии, несопоставимо лучше организованной, чем это делалось царями Алексеем Михайловичем и Федором Алексеевичем, армии, включавшей в себя не только полевую пехоту и кавалерию, но и гарнизонные части, Петр I создал новый для России *вид* вооруженных сил – военно-морской флот. Это потребовало колоссального напряжения сил и беспрецедентной мобилизации ресурсов, тем более, что военная реформа шла в условиях затяжной войны с одним из сильнейших государств Европы того времени. Все усилия царя как организатора реформы были сосредоточены на проблеме материально-технического снабжения войск. Можно сказать, что в те годы вся страна стала приложением к вооруженным силам, что касалось также административной системы в самом широком смысле: все управленческие эксперименты указанных лет имели только одну цель – поиск средств. Этот утилитарный, фискальный смысл административных поисков 1700-х – первой половины 1710-х гг. впервые раскрыл П.Н. Милюков в исследовании губернского хозяйства. Единственной целью создания губерний было содержание за их счет «прикрепленных» к ним полков действующей армии. Еще ярче эта мысль подтверждается наблюдениями над функционированием административно-территориального аппарата губерний или аналогичных им образований, созданных *до* распространения губернского деления на всю страну (в первую очередь это касается Ингерманландской губернии 1702–1708 гг.). Нас не должно смущать усвоение в эти годы западных наименований, присвоенных должностным лицам и учреждениям новой администрации. Это были приме-

административная часть оформятся в рамках университетского набора дисциплин – камералистики, или камеральных наук (Kammeralwissenschaft), в Staatswirthschaft (государственная экономика) и Polizeiwissenschaft (полицеистика) соответственно. О позднем камерализме и камеральных науках, кроме классического труда Альбиона Смолла (Small, 1909), см., напр.: Tribe 1995; в том числе в России: Чаплыгина 2019: 80–94; Расков 2019: 62–79.

[19] См., например: Кром, Пименова 2013: 7–16.

ры простой подражательности, экземплификации, выполнявшей роль своеобразной культурной «мимикрии» – ее смысл сводился к тому, чтобы быть «как в других странах». Порой даже самому Петру не вполне был понятен действительный функционал тех или иных должностей в странах заимствования, как это было с должностью ландрихтеров образца 1707 г. или более поздних ландратов. За время существования первых «реформированных» администраций для них даже не было создано более или менее однотипных должностных инструкций. Не удивительно, что историки не могут найти и следов какого-либо «обдуманного и соображенного плана реформы» в эти годы. Гражданское управление в замыслах и действиях Петра имело вспомогательный характер по отношению к реформе вооруженных сил.

Но именно в ходе реформы вооруженных сил Петр приобретал практический опыт и теоретические познания, потенциально пригодные для реформы государственного аппарата, ориентированного на современные камералистские модели. Военное строительство на новых для России основаниях включало не просто переход к иным способам комплектования войск и применение передовых тактических приемов и вооружений. Организация управления, снабжения, правового регулирования и квартирования войск (включая и мирное время) стала хорошей школой администрирования, отработки техники нормативно-законодательного творчества и административного делопроизводства. Армия и флот стали для Петра *действующей моделью идеальной общественной организации*, устроенной в соответствии с идеями «регулярства» и служения «общественному благу»[20], а его познания в «натуральных науках», математике и ремеслах лишь усиливали убежденность в правильности действий. «Регулярному» государству предшествовала регулярная армия, и Петр, вовсе не из риторических побуждений, заявлял в преамбуле указа от 19 декабря 1718 г. (об учреждении коллегий): приведя в добрый порядок военные дела, он, «*управя оное*, и о земском правлении не пренебрег, но трудитца и сие в такой же порядок привесть, *как и воинское дело*»[21]. Управленческие новации, опробованные в войсках, применялись в сфере гражданского регулирования. Это касалось и первых опытов организации управления в фискально-финансовой сфере (институт комиссаров и провиантмейстеров – особых чиновников по денежным и продовольственным сборам и снабжению, учрежденный в армии и активно использовавшийся в гражданских учреждениях), и распространения норм Устава воинского в сферу общего судопроизводства[22], и широкого

[20] На то, что армия служила для Петра своеобразной моделью построения гражданской системы управления, указывали Е.В. Анисимов и Линдси Хьюз. Анисимов 2009: 133; Hughes 1998: 77–78.

[21] Воскресенский 1945. № 60.

[22] Указ о распространении норм Устава воинского на гражданские суды. Воскресенский 1945. № 38.

привлечения действующих и отставных офицеров, как наиболее подготовленных, приученных к «регулярству» управленцев на руководящих должностях госаппарата и судебно-следственных органов.

Беспрецедентной в сравнении с предшествовавшими военными преобразованиями стала работа по теоретическому обеспечению реформы войск. С первых лет XVIII в., по распоряжению Петра, начинаются целенаправленные выявление, отбор и приобретение текстов, содержавших сведения о структуре и принципах военного и военно-административного устройства практически всех значимых европейских государств: Священной Римской империи, Дании, Англии, Шотландии, Швеции, Голландии, Испании, Франции, Пруссии. Но уже в это время заметен интерес Петра к вопросам организации собственно *государственного управления*. Судя по тематике книг, приобретаемых по распоряжению царя, среди сочинений по военному праву и военному делу, были и издания гражданских законодательных актов западных стран. Так, из 36 книг на французском и латыни, закупленных в 1702 г., 10 содержали различные образцы французского законодательства[23]. Подробное описание организации гражданского и военного управления во Франции привез государю в мае 1709 г. А.А. Матвеев, бывший в 1705–1706 гг. русским резидентом при версальском дворе[24]. Анализ этих текстов, их систематизация, подготовка на их основе разнообразных «экстрактов» и сводных документов, оценка их пригодности для использования в России – вся та огромная работа, которая велась при личном участии Петра I, стала основой для вызревания его взглядов на государство *как правильно организованную систему* со специализированным и унифицированным управлением, рациональным ведением хозяйства и столь же рационально организованным обществом. Со временем внимание царя к государственным установлениям западных стран становилось все отчетливей, а сбор информации об организации управления – подлинно масштабным. Историки единодушно отмечают, что такой разворот к проблематике государственного строительства происходит у Петра в 1712–1715 гг., но, конечно, какой-то жесткой хронологической грани установить в этом отношении невозможно. Хотя основным источником информации о камералистских принципах управления для Петра оставались нормативно-законодательные акты различных государств, он не обходит вниманием и специальные обобщающие труды камералистов.

В его личной библиотеке выявляется небольшая, но очень показательная тематическая подборка такого рода литературы. Пожалуй, одним из первых камералистских сочинений, попавших в руки государя, стало «Fürstliche Macht-Kunst, oder Unerschöpfliche Gold-Grube, wodurch in Fürst sich kann mächtig und seine Unterthanen reich machen» Генриха фон Боде, профессора права в университете Галле, главном

[23] Бугров, Киселев 2016: 83.
[24] Законодательные акты 2020. № 99.

центре немецкого камерализма, изданное в Вайсенфельсе в 1703 г. Этот самый значительный труд фон Боде государь высоко ценил: с книги был сделан рукописный перевод под названием «Княжеских сил хитрость, или неисчерпаемый златый кладезь, чрез который государь сильным себя учинить и подданных своих обогатить может»[25]. Петр даже распорядился напечатать книгу на русском, но это намерение оказалось по каким-то причинам нереализованным[26]. Государь был знаком с творчеством Иоганна-Иоахима Бехера, одного из влиятельных теоретиков австрийского камерализма второй половины XVII в. Хотя в каталоге царской библиотеки не зафиксирован главный труд Бехера, «Politisch» 1667 г., но имелось другое сочинение, более «прикладного» характера: «Närische Weisheit und weise Narrheit, oder ein Hundert so politische, als physicalische, mechanische und mercantilische Concepten...» франкфуртского издания 1683 г. карманного формата в 12 долю листа[27].

Представления Петра о новациях в области права пополняли сочинения Бенедикта Карпцова (младшего), профессора Лейпцигского университета и заседателя лейпцигского верховного суда, признанного впоследствии основателем современного немецкого права, в т.ч. его «Jurisprudentia ecclesiastica, seu consistorialis rerum et questionum in… principis electoris Saxon...» – первое систематическое изложение протестантского церковного права, и «Responsa juris electoralia in... archiprincipis electoris Saxon...», изданные в 1685 и 1683 гг. соответственно[28]. К ним тематически примыкал 8-томный «Словарь филополитический, Или политический сундук сокровищ» («Thesauri Philopolitici. Oder: Politisches Schatz-Kästlein», Франкфурт, 1627–1631) Иоганна-Филиппа Абелина, писавшего под псевдонимом Иоганна-Людвига Готфрида, знаменитого основателя и издателя «Theatrum Europaeum», временник*а* по новейшей истории и международной политике[29]. Не это ли издание имел в виду Петр, когда в 1715 г., кому-то из своих зарубежных дипломатических агентов поручал узнать имя автора «Универсального лексикона», который следовало приобрести в Праге и перевести на русский А. Веселовскому, царскому резиденту при венском императорском дворе[30]?

Наконец, экономическая литература камералистского толка была представлена в петровской библиотеке настоящим «бестселлером» – новейшим сочинением Джона Лоо (или Жана Лауса, как на французский лад именовался этот финансовый гений и любимец регента, герцога Филиппа Орлеанского) «Considération sur le commerce et sur

[25] Библиотека Петра I 1978: 21; нем. оригинал на с. 112.
[26] Бугров, Киселев 2016: 102.
[27] Библиотека Петра I 1978: 109.
[28] Там же: 115.
[29] Библиотека Петра I 1978: 126.
[30] Воскресенский 1945. № 47.

l'argent», изданным в переводе с английского в 1720 г. Там же имелся рукописный русский перевод, осуществленный кн. И.А. Щербатовым и поднесенный Петру в том же году: «Деньги и купечество… чрез Ивана Ляуса, ныне управителя королевского банку в Париже»[31]. Какое-то представление имел царь и о новейшем фундаментальном труде по полицеистике: «Traité de la police» Николя Деламара, этой, по словам А.Е. Назимова, энциклопедии по французскому полицейскому праву XVIII в.[32] Как выяснил Н.А. Воскресенский, ряд положений из этого труда вошел в петровский Регламент, или устав Главного магистрата 1721 г.[33] Если добавить к этому списку классическое сочинение Факсардо Диего де Сааведры «Idea principis christiano-politici in centum symbolis expressa» (Брюссель, 1649) и его рукописный перевод 1707–1709 гг. Феофана Прокоповича («Изображение Христиана политического властелина, символами объясненное от Дидакоа Саведры Факсарда, ныне же с латинского на диалект русский переведенное»), то станет понятно, что Петр I имел возможность выработать собственное мнение о камералистском учении не только на основании уставов и регламентов западноевропейских стран.

«Регулярство», как фундамент государственного устройства, залог успешного развития даже при ограниченных ресурсах, стало к рубежу 1710-х –1720-х гг. глубоким убеждением монарха, которое он старался донести до своих подданных, даже тех, кому было не по силам освоить назидательные сентенции преамбул и «экспликаций» его указов. В записных книжках Петра, в которых он обычно коротко фиксировал разные мысли, пригодные для дальнейшей реализации, можно найти сделанную, вероятно, в 1718 г. запись: «Чтоб мужикам зделат какой маленкой регул и читать по церквам для вразумления»[34]. А во время работы над очередной редакцией Табели о рангах, видимо, в 1721 г., император многозначительно заметил: «Гишпания многия земли, флоты, войска имела, но понеже *регулярного разделения* и *учрежденное управление в советах не было*, и для того оная великая махина и сила *во времянное умаление… пришла…*»[35].

Когда в декабре 1718 г. Петр объявил о намерении привести в доброе состояние «земское управление», он уже точно представлял, какое государство будет строить.

[31] Библиотека Петра I 1978: 34, 133.
[32] Назимов 1903: 18.
[33] Воскресенский 2017: 471. Выдержку из «Traité de la police» (т. 1, кн. 1, титул 1, гл. 1) на французском языке с русским переводом находим в рабочих документах Петра I, использованных при подготовке текста Регламента Главного магистрата. Воскресенский 2020. № 212. Правда, насколько глубоко было знакомство царя с этим трудом, был ли он вообще в его распоряжении, или монарх пользовался только какими-то переведенными фрагментами, вроде вышеупомянутого, сказать невозможно. В библиотеке Петра этой книги нет.
[34] Воскресенский 1945. № 67.
[35] Воскресенский 2020. № 43.

«Российское имперское государство»

По традиции, говоря о петровских реформах последних лет его царствования, историки выделяют среди них коллежскую реформу, реформу Сената, судебную реформу, вторую областную реформу и др. Между тем, все они являлись составляющими одной большой реформы государственного управления, связанные единой целью, общей идеологией, и имели взаимодополняющий характер. Законодательное обеспечение этой реформы состояло в принятии серии указов, инструкций и регламентов, написанных при непосредственном участии Петра I или просто им самим, прошедших его редактирование и имевших, как сейчас бы сказали, пакетный характер. Большинство из этих законодательных актов были созданы в достаточно коротком временном диапазоне между 1718 и 1724 г. В них можно видеть некий *авторский мегатекст*, единое дискурсивное целое, не только нормативную основу, но также идейную концепцию, в соответствии с которой должны были развиваться отношения власти и общества. Если объединить весь этот нарратив под одной обложкой, дать общее наименование, сгруппировать указы и регламенты по тематическим разделам в виде частей и глав со своими названиями, снабдить введением и заключением, то мы получим солидный камералистский трактат, не уступающий лучшим зарубежным образцам жанра. Файт-Людвиг фон Зекендорф, этот, по выражению Альбиона Смолла, «Адам Смит камерализма»[36], назвал свой главный труд «Teutscher Fürstenstaat» («Немецкое княжеское государство»). «Трактат», составленный предложенным образом из петровских указов, можно было бы по аналогии назвать «Российским имперским государством» («Russischer Reichsstaat»). В нем мы и увидим петровский взгляд на свою империю, то самое «ментальное государство» Петра Великого. Так что же оно представляло собой в основных чертах?

Прежде всего, в полном соответствии с камералистской идеей, оно основано на мудрых установлениях, данных государем, – тех самых «правах гражданских», которые всем должно неукоснительно и в точности исполнять. Всякого рода толкователи законов (в петровской логике – уставов и регламентов) уподоблялись карточным шулерам, прибирающим «масть к масти». Любые вопросы, возникающие в связи с исполнением узаконений (в т.ч. в связи с наличием в них «темных мест»), разрешаются исключительно монархом[37]. Правильное управление, установленное государем «по примеру других христианских областей», есть залог порядка. Оно введено «ради ис-

[36] «To assist in fixing landmarks, we may say than Seckendorff was the Adam Smith of cameralism». Small 1909: 69.

[37] Указ «О хранении прав гражданских» от 17 апреля 1722 г. ПСЗ. Т. 6. № 3970. Подобное понимание законов как свода обязывающих норм и запрет на их толкование были присущи всем абсолютным монархам Европы XVIII в.; Р. Уортман называет этот феномен «антилегализмом». Уортман 2004. С.

правного определения и исчисления… приходов, и поправления полезной юстиции и полиции (то есть в расправе судной и гражданстве), такожде ради возможного охранения своих верных подданных, и содержания своих морских и сухопутных войск в добром состоянии, тако ж коммерции, художеств и мануфактур, и доброго учреждения своих морских и земских пошлин, и ради умножения и приращения рудокопных заводов и прочих государственных нужд…»[38].

Всё полезное государству оказывается полезным и народу, а всякое «похищение государственных интересов» влечет «бедственные народные тягости», отчего «многие всяких чинов люди, а наипаче крестьяне, приходят в разорение и бедность»[39]. Подданные «Российского имперского государства» являют собой образец добродетелей: они нравственны, трудолюбивы, склонны к просвещению и «размножению» всяких «полезных художеств». В их рядах нет места нищим, странникам, юродивым – всем тем категориям, которые были вполне приемлемы и даже нужны в прежней, традиционной социальности, поскольку фактом своего существования поощряли к христианскому милосердию, указывали на несовершенство мирских ценностей, обличали сильных мира сего и подавали пример смирения[40]. В камералистском «ментальном государстве» они становились лишними, ибо были непригодны для деятельности во имя всеобщего блага. Физически немощным был путь в богадельню, где они находили призрение благодетельной полиции и «доброго гражданства», а физически годным – принудительный труд в работных домах и солдатская служба.

В этом государстве доходы казны растут «без тягости народной»[41], с учетом «особливого состояния» всех «народов и провинций». для чего правительственные учреждения располагают исчерпывающими сведениями о ресурсах страны: «о натуре (природе), о ситуации (состоянии), о расположении, о расходах и оброчных статьях государства»[42]; имеют «генеральные и партикулярные ландкарты» с описанием «всех границ, рек, городов, местечек, церквей, деревень, лесов и прочего»[43]; поощряют жителей к полезным занятиям, таким как развитие «рудокопных заводов», от «прилежного устройства» ко-

[38] Генеральный регламент (Преамбула) от 28 февраля 1720 г. ПСЗ. Т. 6. № 3534.
[39] Указ «О разных государственных сборах, о наказаниях хищников за взятки лишением имения и живота» от 22 июня 1720 г. ПСЗ. Т. 6. № 3601.
[40] См., напр.: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим…». 1Кор. 4:10.
[41] Указ «О разных государственных сборах, о наказаниях хищников за взятки лишением имения и живота» от 22 июня 1720 г. ПСЗ. Т. 6. № 3601.
[42] Регламент Камер-коллегии от 11 декабря 1719 г. ПСЗ. Т. 5. № 3466.
[43] Генеральный регламент от 28 февраля 1720 г. ПСЗ. Т. 6. № 3534. О том же более подробно: Регламент, или устав главного магистрата от 16 января 1721 г. Гл. III. О состоянии городов. ПСЗ. Т. 6. № 3708.

торых «земля обогатеет и процветет, также пустые и безплодные места многолюдством населятся»[44]. Развитие собственного производства, поддержание активного внешнеторгового баланса через тарифную политику и поощрение промышленников и купечества – основа экономической деятельности власти: «Надлежит смотреть в подрядах и в покупке материалов, ружья и аммуниции, чтоб оное все было своего государства, кроме тех, которых в своем государстве сыскать невозможно, или и есть, да негодное; и ежели возможно, то что б и выписывать из чужих государств чрез своих купцов»[45].

Петровское государство – унифицированное, «статистически» организованное административное пространство. В его основе лежат дистрикты – административно-территориальные единицы («на манер шведского») с примерно равным количеством проживающих в них налогоплательщиков, снабжающих материальными ресурсами государство без «излишнего для себя отягощения»; они сменили хаотично и спонтанно возникавшие разнокалиберные уезды прежней России.

Это пространство пронизывает благоустроенная дорожная сеть – «для отправления всяких посылаемых из Сената, из коллегей указов и протчих писем и воспринимания на оные ответов»[46]. Законодательные импульсы из столицы достигают провинциальных административных центров быстро, ответные действия и отчеты об исполнении возвращаются в столицу незамедлительно. «…На все указы, когда где кто получит, на другой день тотчас ответствовать, что оной принят, и по оному что мочно в какое время сделать или что не мочно и зачем (т.е. по какой причине. – *Д.Р.*)» – категорически определяет именной указ от 19 марта 1719 г.[47] Впрочем, транспортные коммуникации призваны служить не только казенным надобностям. Вдоль них расположены постоялые дворы, обеспеченные необходимыми удобствами и запасами фуража и продовольствия: всякий проезжающий может воспользоваться этим по умеренным и справедливым ценам[48].

Основной принцип управления в «ментальном государстве» Петра Великого – конечно же, коллегиальный. Он торжествует во всей полноте в указах и регламентах конца 1710-х – 1720-х гг., монополизируя центральный аппарат, реализуясь в системе коллегий, хотя и несколько отступая на местном уровне власти.

Другой принцип управления, вместе с коллегиальностью формирующий основу «ментального государства» Петра – принцип спе-

[44] Указ «Об учреждении Берг-коллегии» (Берг-привилегия) от 10 декабря 1719 г. ПСЗ. Т. 5. № 3464.

[45] Регламент Адмиралтейства и верфи от 5 апреля 1722 г. (Гл. I. О должности Адмиралтейской коллегии, п. 17). ПСЗ. Т. 6. № 3937.

[46] Из текста именного указа от 30 апреля 1719 г. об улучшении почтового сообщения. ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 439. Л. 22–22 об.

[47] РГАДА. Ф. 248. Кн. 17. Л. 390.

[48] Инструкция, или наказ воеводам, январь 1719 г., п. 18. ПСЗ. Т. 5. № 3294.

циализации управленческих функций. Специализация управления видна во всем. Она перестраивает центральный коллежский аппарат, группируя коллегии в ведомственные блоки: военный, дипломатический, финансовый, промышленный, торговый, юридический. Сообразно специализации центральных органов власти организуются ведомственные управленческие вертикали на местах: от губернии / провинции до уезда / дистрикта; особенно четко заметны эти специализированные институции в финансовом, судебном, промышленном и военном (с момента развертывания полковых канцелярий и канцелярий сбора подушной подати) ведомствах.

Воображаемую государственную машину обслуживают многочисленные чиновники. Они носят новые, непривычные русскому уху наименования, настолько непривычные, что время от времени к указам приходится прилагать пояснения, подыскивать иностранным словам русские аналоги. Эти чиновники получают фиксированное жалованье за свой специфический труд. Им строжайше запрещается принимать, а тем более вымогать с населения любые виды частного вознаграждения. Их служебная деятельность тщательно продумана и законодательно организована должностными инструкциями, коллежскими и Генеральным регламентами.

Особая миссия лежит на местных управленцах, ведь они непосредственно олицетворяют регулярное государство в глазах населения. Помимо своих прямых обязанностей: организации обороны вверенных территорий, сбора податей, контроля над исправлением натуральных повинностей и обеспечения бесперебойного и правильно устроенного документооборота, инструкции возлагают на них широкий круг забот, связанных с благоустройством жизни и организации образования и нравственного воспитания народа.

Вероятно, первоначально у Петра I была мысль более последовательного разделения функций чиновничества. Помимо вышеперечисленных специализаций в сферах финансов, юстиции, торговли, промышленности и военного администрирования, он присматривался к возможности создания отдельных полицейских должностей, понимая их в самом широком камералистском духе, а камералистские трактаты относили полицейское управление к категории фундаментальных. Во всяком случае, работая над выписками и справками из иностранного законодательства при разработке Табели о рангах, император среди различных гражданских должностей особо выделил т.н. «полицеимастеров советников», о которых записал: «В моралиах, в политике и в экономии ученныя люди суть, оне учреждение чинят, которое к благоповедению всего государства касаетца, дабы подданныя в покое и в довольстве жили, дабы городы и поля дворами, мостами, корчмами, улицами, колодцами снабдены, и дабы безбожныя люди, гуляки к работе навыкали, и все дороги безопасны учинены

были. И для того оне в назначенныя им уезды по деревням ездят, смотрят, и примеченныя погрешения доводят и о всех доносят»[49]. Однако в конечных вариантах сочиненного Петром государства, никаких особых «полицейских советников» не появилось. Исключение составило столичное управление, в структуре которого в 1718 г. была учреждена должность генерал-полицмейстера[50]. Законодателем также мыслилось распространение полицейского управления на все российские города: слишком уж важна была идея Polizeistaat для достижения общественного блага. В результате, в Регламенте Главного магистрата 1720 г. появилось положение о полиции, значимость которой под пером венценосного автора приобрела универсальное значение, особенно в первой, наиболее пространной редакции, а фраза: «полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков, и фундаменталной подпор человеческой безопасности и удобности», стала одной из самых ярких и узнаваемых петровских метафор[51].

Тем не менее, широкие полицейские функции оказались возложены на лиц местной администрации общего и камерального профилей. Их попечению вверяется устройство и поддержание в порядке сухопутных и водных транспортных коммуникаций; учреждение и содержание постоялых дворов; надзор за ценами на продовольствие и фураж. Губернаторам и воеводам следовало иметь смотрение над академиями, школами и госпиталями (в «ментальном государстве» они имели, вероятно, широкое распространение), а земские комиссары, оказывается, были должны побуждать подданных «к правде и справедливости ко всем людям», воспитывая в них склонность «к добрым поступкам», «страху Божию и добродетели» и потребность к обучению своих детей «читанию и письму»[52]. Да и могло ли

[49] Законодательные акты 2020. № 43.

[50] См. «Пункты» (инструкцию) Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру от 25 мая 1718 г. ПСЗ. Т. 5. № 3203.

[51] Петр тщательно оттачивал эту фразу, вошедшую в беловой текст регламента. В черновом варианте она имела не столь совершенный вид и читалась так: «…полиция есть душа *гражданского обхождения*, и всех добрых порядков, и *фундамент подпори человеческого обхождения, хранения и благодеяние*». Регламент Главного магистрата. Гл. Х. О делах полицейских. Первая – А – редакция 1720 г. Законодательные акты 2020. № 208.

[52] Инструкция, или наказ воеводам, п. 4, 15. ПСЗ. Т. 5. № 3294. Нормы этой инструкции распространялись и на губернаторов, что было подтверждено отдельным указом в том же 1719 г. ПСЗ. Т. 5. № 3381. Обязанности земских комиссаров регламентировались Инструкцией, или наказом земским комиссарам, в частности, п. 19.1, 19.2, 20. ПСЗ. Т. 5. № 3295. Все эти сентенции об обязанностях местных администраторов способствовать просвещению и моральному воспитанию населения непосредственно навеяны шведской Инструкцией ландсгевдингам, добыть которую удалось через одного из агентов Я.В. Брюса в ноябре 1718 г. Расхваливая полезность этой инструкции и прося средств для расчета с агентом, Брюс, в частности, пояснял, что она важна и тем, что в ней описано «…также и о всяких земских и гражданских делех подробно, о академиах, о госпиталях, о школах, о си-

быть иначе, если «…академии и школы сочиняют новой народ и новой свет, как мы во многих иных эвропейских нациях видим… Сей есть главнейший пункт всей полицеи и единая из главных должностей высоких правителей»[53].

Наконец, все это великолепие и процветание охраняют от внешних посягательств мощные армия и флот, деятельность которых, по самой сути «хорошо организованная», детальнейшим образом регламентирована уставами: Воинским, Морским и Регламентом Адмиралтейства и верфи.

***

Конечно, Петр не был так наивен, чтобы не понимать некоторой иллюзорности созданной им концепции. Многое в указах и регламентах этого периода прямо указывает на то, что заложенные в них идеи воспринимались императором как перспектива, что модель его государства задана «на вырост». «Такое новое дело невозможно везде вдруг, или все в один раз учредить, ибо одна конфузия одной следовать будет», – написал он в одной из заключительных глав первой редакции Регламента Главного магистрата[54]. Эти слова справедливо отнести ко всему, декларированному в текстах последних лет его царствования. Более того, многие собственные его действия, предпринимаемые на практике, разрушали целостность заявленной концепции, плохо с ней сочетались и, в конечном итоге, привели к кризису всей системы управления, разрешать который пришлось его ближайшим преемникам и недавним соратникам[55]. Но значение написанного Петром заключается не в этом.

Став в результате длительной эволюции убежденным камералистом и предприняв к концу жизни грандиозный труд по преобразованию системы государственного управления, монарх разработал не просто перспективную программу реформ. Под его пером обрела отчетливые очертания *новая государственная идея*.

Петр больше не занимался созиданием священного царства, как это несколько столетий ранее начали делать его предшественники. Он осознанно провозгласил строительство государства всеобщего блага, которое должно было стать в одном ряду с процветающими и политичными державами «христианства». Хороша ли была эта идея, выиграла или проиграла от этого Россия, чего лишилась, а что приобрела – вопросы совершенно другого порядка. Но мобилизующее зна-

ротстве, о нищих и гулящих людех, о содержании мостов и дорог, о почтах, о рудокопных и протчих делех, вкратце сказать – о всем, что принадлежит ко владению и употреблению губернии». Воскресенский 1945. № 53.

[53] Регламент Главного магистрата. Гл. XXIV. О школах. Первая – А – редакция 1720 г. Законодательные акты 2020. № 208.

[54] Там же. Гл. XXVII. О порядке, которой при сем учреждении внимать надлежит. Первая – А – редакция 1720 г. Законодательные акты 2020. № 208.

[55] Редин 2016: 190–216.

чение такого рода идей, даже ложных (и – увы – чаще всего ложных), нам, пережившим XX век, хорошо понятно. «Ментальное государство» Петра Великого сумело интегрировать вокруг себя российские элиты на доброе столетие вперед, а его импульсы заметны, по крайней мере, еще в министерской реформе начала XIX в.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Анисимов Е.В. Петр Великий. Личность и реформы. СПб.: Изд-во «Питер», 2009. 600 с. [Anisimov E.V. Petr Velikij. Lichnost' i reformy. SPb.: «Piter», 2009. 600 s.].

Библиотека Петра I (указатель-справочник) / Под ред. Д.С. Лихачева; сост. Е.И. Боброва. Л.: Изд. отдел БАН СССР, 1978. 214 с. [Biblioteka Petra I (ukazatel'-spravochnik) / Pod red. D.S. Lihacheva; sost. E.I. Bobrova. L.: Izd. otdel BAN SSSR, 1978. 214 s.].

Бугров К.Д., Киселев М.А. *Естественное право* и *добродетель*: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII в. Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2016. 480 с. [Bugrov K.D., Kiselev M.A. *Estestvennoe pravo* i *dobrodetel'*: Integraciya evropejskogo vliyaniya v rossijskuyu politicheskuyu kul'turu XVIII v. Ekaterinburg: Izd. Ural. un-ta, 2016. 480 s. (B-ka Quaestio Rossica)].

Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники / Под ред. и с предисл. Б.И. Сыромятникова. Т. I. Акты о высших государственных установлениях. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1945. 601 [1] с., ил. [Voskresenskij N.A. Zakonodatel'nye akty Petra I. Redakcii i proekty zakonov, zametki, doklady, donosheniya, chelobit'ya i inostrannye istochniki / Pod red. i s predisl. B.I. Syromyatnikova. T. I. Akty o vysshih gosudarstvennyh ustanovleniyah. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1945. 601 [1] s., il.].

Воскресенский Н.А. Петр Великий как законодатель. Исследование законодательного процесса в России в эпоху реформ первой четверти XVIII века / Науч. ред. и вступ. статья Д.О. Серова. М.: НЛО, 2017. 640 с. [Voskresenskij N.A. Petr Velikij kak zakonodatel'. Issledovanie zakonodatel'nogo processa v Rossii v epohu reform pervoj chetverti XVIII veka / Nauch. red. i vstup. stat'ya D.O. Serova. M.: NLO, 2017. 640 s.].

Вульпиус Р. К семантике *империи* в России XVIII века: понятийное поле *цивилизации* // «Понятия о Росии»: К исторической семантике имперского периода. М.: НЛО, 2012. Т. II. С. 50–70. [Vul'pius R. K semantike *imperii* v Rossii XVIII veka: ponyatijnoe pole *civilizacii* // «Ponyatiya o Rossii»: K istoricheskoj semantike imperskogo perioda. M.: NLO, 2012. T. II. S. 50–70.].

Законодательные акты Петра I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобитья и иностранные источники. В 3 т. / Сост. Н.А. Воскресенский. Т. II. Акты об общественных классах. Т. III. Акты о промышленности и торговле / Отв. ред. А.В. Анисимов; предисл. И подгот. текста Д.О. Серов; археограф. Предисл. А.А. Богданов. М.: Древлехранилище, 2020 [Zakonodatel'nye akty Petra I. Redakcii i proekty zakonov, zametki, doklady, donosheniya, chelobit'ya i inostrannye istochniki. V 3 t. / Sost. N.A. Voskresenskij. T. II. Akty ob obshchestvennyh klassah. T. III. Akty o promyshlennosti i torgovle / Otv. red. A.V. Anisimov; predisl. I podgot. teksta D.O. Serov; arheograf. predisl. A.A. Bogdanov. M.: Drevlekhranilishche, 2020]

Зубков К.И. Камерализм как модель взаимодействия государства и общества: новое прочтение // Уральский исторический вестник. 2013. № 3 (40). С. 20–29. [Zubkov K.I. Kameralizm kak model' vzaimodejstviya gosudarstva i obshchestva: novoe prochtenie // Ural'skij istoricheskij vestnik. 2013. № 3 (40). S. 20–29.].

Кром М.М., Пименова Л.А. Феномен реформ в Европе раннего Нового времени (вместо предисловия) // Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале Нового времени (XVI–XVIII вв.) / Под ред. М.М. Крома, Л.А. Пименовой. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. С. 7–16 [Krom M.M., Pimenova L.A. Fenomen reform v Evrope rannego Novogo vremeni (vmesto predisloviya) // Fenomen reform na Zapade i Vostoke Evropy v nachale Novogo vremeni (XVI–XVIII vv.) / Pod red. M.M. Kroma, L.A. Pimenovoj. SPb.: Izd-vo Evropejskogo un-ta v Sankt-Peterburge, 2013. S. 7–16].

Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и культуры XVII–XVIII вв. / Отв. ред. А.И. Клибанов; подгот. текста М.Ю. Сорокина, Л.А. Черная. М.: Наука, 1990. 293 с. [Lappo-Danilevskij A.S. Istoriya russkoj obshchestvennoj mysli i kul'tury XVII–XVIII vv. / Otv. red. A.I. Klibanov; podgot. teksta M.Yu. Sorokina, L.A. Chernaya. M.: Nauka, 1990. 293 s.].

Лаппо-Данилевский А.С. История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом развития её культуры и политики / Пред. М.Ю. Сорокиной; подгот. текста М.Ю. Сорокиной при уч. К.Ю. Лаппо-Данилевского. Köln: Böhlau, 2005. 462 [32] с. [Lappo-Danilevskij A.S. Istoriya politicheskih idej v Rossii v XVIII veke v svyazi s obshchim hodom razvitiya eyo kul'tury i politiki / Pred. M.Yu. Sorokinoj; podgot. teksta M.Yu. Sorokinoj pri uch. K.Yu. Lappo-Danilevskogo. Köln: Böhlau, 2005. 462 [32] s.].

Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII – начало XIX века). 2-е изд. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 13–348. [Lotman Yu.M. Ocherki po istorii russkoj kul'tury XVIII – nachala XIX veka // Iz istorii russkoj kul'tury. T. IV (XVIII – nachalo XIX veka). 2-e izd. M.: Yazyki russkoj kul'tury, 2000. S. 13–348.].

Раев М. Регулярное полицейское государство и понятие модернизма в Европе XVII – XVIII веков: попытка сравнительного подхода к проблеме // Американская русистика. Имперский период. Антология / Сост. Майкл Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2000. С. 48–79. [Raev M. Regulyarnoe policejskoe gosudarstvo i ponyatie modernizma v Evrope XVII – XVIII vekov: popytka sravnitel'nogo podhoda k probleme // Amerikanskaya rusistika. Imperskij period. Antologiya / Sost. Majkl Devid-Foks. Samara: Izd-vo Samarskogo un-ta, 2000. S. 48–79.].

Расков Д.Е. Камерализм книг: переводы Юсти в России XVIII века // Terra Economicus. 2019. № 17 (4). С. 62–79. [Raskov D.E. Kameralizm knig: perevody Yusti v Rossii XVIII veka // Terra Economicus. 2019. № 17 (4). S. 62–79.].

Редин Д.А. Эффективность местного управления в Петровскую эпоху: парадоксы централизации // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4. № 3. С. 190–216. [Redin D.A. Effektivnost' mestnogo upravleniya v Petrovskuyu epohu: paradoksy centralizacii // Quaestio Rossica. 2016. T. 4. № 3. S. 190–216.].

Уортман Р.С. Властители и судии: развитие правового сознания в императорской России. М.: НЛО, 2004. 515 [1] с. [Wortman R. S. Vlastiteli i sudii: razvitie pravovogo soznaniya v imperatorskoj Rossii. M.: NLO, 2004. 515 [1] s.].

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. 4-е изд-е. М.: Астрель; АСТ, 2009. Т. 3. 830 [2] с. [Fasmer M. Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka. V 4 t. 4-e izd-e. M.: Astrel'; AST, 2009. T. 3. 830 [2] s.].

Чаплыгина И.Г. Камерализм и экономические дисциплины в Московском университете XVIII века // Terra Economicus. 2019. № 17 (4). С. 80–94. [Chaplygina I.G. Kameralizm i ekonomicheskie discipliny v Moskovskom universitete XVIII veka // Terra Economicus. 2019. № 17 (4). S. 80–94.].

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М.: Прозерпина, 1994. 400 с. [Shanskij N.M., Bobrova T.A. Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka. M.: Prozerpina, 1994. 400 s.].

Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great. New Haven; L.: Yale U.P., 1998. 602 p.

Reinert S.A. Cameralism and Commercial Rivalry: Nathionbuilding through Economic Autarky in Secendorff's 1665 Additiones // European Journal of Law and Economics. 2005. № 19. P. 271–286.

Small A.W. The Cameralists. The Pioneers of German Social Polity. Chicago: University of Chicago Press, 1909. 606 p.

Tribe K. Strategies of Economic Order. German Economic Discourse, 1750–1950. N.Y: Cambridge University Press, 1995. 285 p.

Wakefield A. The Disordered Polise State. Chicago: Un-ty of Chicago Press, 2009. 240 p.

***Редин Дмитрий Алексеевич**, доктор исторических наук, профессор, кафедра истории России, заведующий лабораторией эдиционной археографии, Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный университет; volot@mail.ru*

Charm of "Regularity" Once again about the "Mental State" of the Peter the Great. Part 2. "The Russian imperial state"*

The study is devoted to the history of the evolution of the views of Peter I on the problems of state and social development. In the scientific literature, the prevailing opinion is that the Russian tsar did not possess the ability to conceptual generalizations; but the article proves that he had sufficient intellectual potential for this kind of creativity. The absence of any general reform plan from the 1690s to the late 1710s the author of the article explains that in these years the tsar did not pursue the goal of global transformation. The main object of his attention was the reform of the armed forces and changes in the management system and organization of the economy were only a function of this reform. However, in the last years of his life, under the influence of the successes of military reform and his acquaintance with the vast and heterogeneous array of Western Renaissance and Baroque literature, the tsar developed a holistic and idealized view of the problems of state reform. The author of the article calls him the "mental" or "fancied" state of Peter the Great. It was not a theory of the state, but a certain concept of state building, based on a sufficiently deep and consistent assimilation by the tsar of the postulates of early European cameralism. He stated it in a series of personal decrees, charters and regulations of 1718-1724, which should be considered as the author's megatext of Peter. At the same time, this concept began to play the role of a state idea, replacing the traditional idea of building the holy kingdom for the Russian ruling elite. Not implemented during the life of the first Russian emperor, the conceptual provisions formulated by him became a program guide for state building and social development for a century ahead.

Keywords: Peter I, "mental state", pragmatic thinking, concept, state building, state idea, public good, cameralism

***Dmitry A. Redin**, Dr. Sc. (History), Professor, Department of Russian History, Head of the Laboratory of Primary Sources Research, Ural Humanitarian Institute of the Ural Federal University; volot@mail.ru*

* This article was prepared with the support of the RFBR grant No. 20-09-42022 «"The Mental State" of Peter the Great and experiments of regional administration. The first quarter of the XVIII century».

О.И. Журба, Т.Ф. Литвинова

ГЕТМАНЩИНА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УКРАИНСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX В. ЧАСТЬ 2. НОВЫЕ ОБРАЗЫ ОТЧИЗНЫ

Авторы рассматривают эволюцию представлений интеллектуальной элиты Левобережной Украины об особенностях статуса, социально-политического строя этой специфической области Российской империи, о роли разных социальных групп, прежде всего казачества и шляхты, в её истории и трансформациях рубежа XVIII–XIX вв. Персоналии, оказавшиеся в центре исследования (Григорий и Василий Полетики, Адриан Чепа, Семен Кочубей, Григорий Галаган), являлись авторитетными выразителями настроений значительной части местной элиты. Хронологическая разбросанность их высказываний позволяет проследить изменения во взглядах на место края в системе империи – от сохранения модернизированной в духе времени автономной Гетманщины до полной её политико-правовой интеграции, на роль гетманов и казацкой системы в жизни малороссийского общества, на возможные механизмы адаптации к новым социокультурным реалиям.
Ключевые слова: *Левобережная Украина, Малороссия, Гетманщина, Российская империя, украинское национальное возрождение, идентичности*

Поколение «детей» малороссийской социальной и интеллектуальной элиты в условиях рубежа XVIII–XIX вв. продемонстрировало готовность к корпоративной солидарности и решимость в защите национальных интересов. Одним из его лидеров стал сын Григория Андреевича Полетики Василий (1765–1845). Опираясь на «Права» 1768 г. и другие рукописи отца, следуя основным положениям его концепции, в тесном сотрудничестве с близкими по духу А.И. Чепой, Н.М. Стороженко, В.И. Чарнышем, А.А. Ригельманом, Ф.О. Туманским, Т.В. Калинским, Р.И. Марковичем, он заявил протест в связи с шением Герольдии отказать в дворянстве потомкам низших казацких чинов. В очередном ущемлении традиционных прав дворяне увидели не столько нарушение своих личных интересов, сколько оскорбление «патриотического чувства». Не признавая права низших малороссийских чинов, Герольдия оскорбляла память «вождей нации, ни во что не ставя их доблестные подвиги перед Родиной и престолом[1].

На защиту «братии меньшей» выступили ведущие представители элиты, которые уже давно и безусловно были нобилитированы как российские дворяне, что не позволяет говорить об их корпоративном эгоизме. Лидерами оппозиции стали губернские и уездные маршалы (предводители) дворянства, к которым стекались составленные местными интеллектуалами «записки» и «мнения». В них на многочисленных примерах, с обширными юридическими и историческими экскурсами доказывалась легитимность «давних прав и вольностей» малороссийского рыцарства и шляхты. Общественное движение, пик

[1] Записка о начале 1893.

которого пришелся на 1805–1810 гг., влекло на свою сторону и симпатии имперской администрации – генерал-губернаторов А.Б. Куракина, Я.И. Лобанова-Ростовского, Н.Г. Репнина.

А.И. Чепа в своей «Записке» ссылался на авторитет Г.А. Полетики, демонстрируя преемственность и значимость идейного наследия предыдущего поколения. В историческом экскурсе автор обосновывал первородство Малороссии тем, что она была «прародительной отчизной всероссийских монархов», к «подножию престола» которых малороссийские чины добровольно «повергнули» Малую Россию. Опорой такой, как видим, далекой от провинциальности самоидентификации, было убеждение, что истоки политической самобытности Отчизны закладывались еще во времена Великого княжения Киевского, а предками малороссийского народа – древние руссы. Огромной заслугой Малой России А.И. Чепа считал и то, что «под чужим игом сохранила она от времен древнего русского правления православную веру, русский язык… древние права и уставы, обычай и разделение состояния народа»[2].

Пафосные патриотические манифестации поколения «детей» опирались на идейное наследие 1760-х. И, хотя об административно-политической автономии речь уже идти не могла, осознание исключительного положения своей отчизны определяло характер мысли и действия. Их девизом были слова В.Г. Полетики, писавшего 2 февраля 1810 г. А.И. Чепе: «Как приятно трудиться для славы и пользы отечества!»[3]. «Дети» были уверены и в появлении «внуков»: «На сем поприще возобновится память прежних, незабвенных во веки наших патриотов. Щасливы будем ежели увидим новых, защищающих с таким же усердием права, преимущества, вольности и свободы своего отечества. Напротив сего должны мы отвратить взор свой с омерзением от пагубностных предателей отечества, вредных себялюбцев»[4].

Острый накал писаний малороссийских интеллектуалов совсем не означал их единодушия. Шел интенсивный поиск оптимальных путей интеграции Отечества в имперские структуры при безусловном сохранении его особенностей к преумножению «чести нации нашей»[5]. Однако все это общественное напряжение эпохи З. Когут свел к двум конкурирующим позициям: «ассимиляторы» и «традиционалисты»[6], что благодаря авторитету историка неоднократно повторено зарубежными и украинскими авторами. Такие маркировки не позволяют понять разнонаправленность социальных и идейных процессов,

[2] Записка о преимуществах 1897: 297.
[3] Журба 2009: 212.
[4] Там же: 213. В данном случае, вероятно, речь идет об анонимном авторе «Замечаний до Малой России принадлежащих» начала XIX в.
[5] Там же: 198.
[6] Когут 1996: 226. Об уязвимости этой схемы, условности и неопределенности предложенных понятий, вслед за которыми появились подобные – «реставраторы» и «модернисты», уже доводилось писать. – Журба 2013; Литвинова 2019: 29.

например то, почему А.И. Чепа, за которым в историографии прочно утвердилась репутация «автономиста», в письме к В.Г. Анастасевичу 28 августа 1816 г. характеризовал гетманское правление как «самое адское», а гетманов как «пренечистивых деспотов»; писал, что «Малоросия, ежели и имеет какие отличныя преимущества, к добру ей служащия, то имеет по милости Российских Государей»[7].

Скептическое отношение к «гетманскому правлению», ставшему символом узурпации власти, не было и ранее чем-то исключительным в среде малороссийской элиты. Еще Г.А. Полетика в своем прошении к Елизавете Петровне 1760 г., представляя суть личного конфликта с гетманом К. Разумовским, писал об узурпации власти[8]. Отрицательное отношение лично к Разумовскому, вероятно, связано и с той ролью, которую гетман, он же президент Академии, сыграл в запрещении к печати в мартовской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1757 г. его большого исследования «О начале, возобновлении, и распространении учения и училищ в России, и о нынешнем оных состоянии»[9]. Но главное, что этот знаток права неоднократно выступал за разделение военной и гражданской властей на основе Литовского статута, за установление принципов сеймового, коллективного управления. Привыкшая к неоднократному запрещению гетманской должности на протяжении XVIII века, элита края спокойно отнеслась и к её ликвидации в 1764 г., не связывая с этим, как считают историки[10], крушение всей автономной системы Гетманщины. Она сохраняла свою административно-территориальную и военную организацию еще до начала 1780-х гг., правовую автономию – вплоть до 1840-х гг., а идейно-культурную и социальную – до начала XX в. Поэтому в актуальной малороссийской повестке принципиально важным было не сохранение / восстановление гетманского уряда, а закрепление и упорядочивание «давних прав и свобод».

Констатация того, что «традиционалисты не смогли остановить постепенную ассимиляцию и интеграцию украинской шляхты с имперским российским дворянством»[11], коренится в народнических представлениях о «предательстве» интересов народных масс и непонимании социальной элитой «национальных задач». Это стало и составной частью исторической концепции М.С. Грушевского, что еще в 1966 г. подверг резкой критике О. Прицак[12].

Деятельность украинских интеллектуалов второй половины XVIII – первой половины XIX вв. принято рассматривать в контексте схемы М. Гроха, адаптированной к отечественным реалиям в виде

[7] Журба 2009: 202–204.
[8] ЧИМ. Ал. 502/15/60.
[9] Литвинова 2001.
[10] Лазарев 2016: 186.
[11] Когут 1996: 240.
[12] Прицак 2007: 180.

теории «национального возрождения». В современной историографии она выполняет двоякую задачу: вписывания домодерной Малороссии в контекст общих с Восточной Европой социокультурных процессов (с одновременным выписыванием из имперских) и идейной борьбы с современным «малороссийством», ставшим, начиная с революции 1917 г., одним из главных врагов модерного украинского проекта. Исходя из этого, украинцы второй половины XVIII – середины XIX в., которые тогда почему-то назывались малороссами, как бы передают эстафетную палочку деятелям украинского движения второй половины XIX в., а те, в свою очередь, оставляют это наследство поколению М.С. Грушевского с его политическими притязаниями. Эта линейная, анахроничная схема, столь популярная и в аналитическом, и в дидактическом историописании, не выдерживает критики, так как отказывает интеллектуалам «украинских» регионов империи в их адекватной самоидентификации, навязывая формы мышления и саморепрезентации в категориях иного времени и стиля мышления. Так, С.Н. Плохий, констатируя, что «История русов» идеально вписывается в первый этап украинского национального возрождения, а год её первого датированного списка удивительным образом совпадает по времени с публикацией первой грамматики модерного ***украинского*** языка, выходом первого сборника ***украинских*** народных песен, первой ***украинской*** пьесы, ссылается на работы А. Павловского, Н. Цертелева и И. Котляревского[13]. Они же, наверное, наивно и ошибочно, считали, что издают «Грамматику ***малороссийского*** языка», публикуют «***малороссийские*** песни», перелицовывают «Энеиду» на «***малороссийский*** язык».

Оптика «украинского национального возрождения» определила и репрезентации отечественного историографического процесса[14] как целостного, беспрерывного, линейного развития, без сомнения, ***украинской*** исторической мысли с древних времен. Выходит, что действуем по принципу: если история не укладывается в рамки «универсальной» теории, то тем хуже для истории. Здесь уместно вспомнить замечание французского историка В. Робера: «Какое у нас право полагать, что люди XIX века ошибались? Конечно, историкам, осведомленным о дальнейшем ходе событий, легко демонстрировать ретроспективную проницательность и подчеркивать значение детали, ускользнувшей от внимания современников, но содержащей в себе предвестие будущего. …если они [современники] придавали некоему событию первостепенное значение, мы обязаны к ним прислушаться. Раз они так поступали, значит, у них наверняка были для этого резоны, сформулированные открыто или только подразумеваемые. Осталось понять, что это за резоны»[15]. Нам очень близок такой ситуатив-

[13] Плохій 2013: 387.
[14] Колесник 2000; Кравченко 1996; Калакура 2012.
[15] Робер 2019: 53–54.

ный подход, акцентирующий внимание не на том, чем данное явление станет через много десятилетий, а на том, чем оно было.

Инерция, заданная украинской историографией, ощущается и в построениях российских авторов, которые истоки украинской нации и украинского нациестроительства начинают с 1760-х гг.[16], в то время как осознание этнонационального единства заманифестировано в узком кругу кирилло-мефодиевцев только в середине XIX в. Насколько сложным и долгим оказалось вызревание этого маргинального до революции 1917 г. интеллектуального продукта свидетельствует то, что даже в конце XIX в. «украинские интеллектуалы все еще расходились относительно того, где именно проходят границы "Украины"»[17].

Вместе с тем обращает на себя внимание, что в текстах малороссийских интеллектуалов первой половины XIX в. ярко и четко отразились представления об уникальности их Отчизны, понимание её территориальных границ, отличия от соседних, в том числе украиноэтничных регионов, т.е. все то, что позволяет определять административно-территориальный патриотизм как важнейшую черту этого национального организма. Поэтому не случайно вместе с понятием «малороссийский народ» продолжает нередко употребляться и самоназвание «малороссийская нация». В политическом плане она встраивала себя в систему подданства российскому монарху, требуя взамен защиты и поддержки своего эксклюзивного национального пространства. Домодерная малороссийская нация как политическая и политико-правовая реальность к началу 1840-х гг. постепенно растворялась. Однако инерция «долгого времени» ментальных структур и стереотипов обеспечила её устойчивость и живучесть, наполняя новым содержанием, смыслом которого становился поиск новой, этнической Родины, пространство которой оказалось значительно шире административно-территориальных границ бывшей Гетманщины.

О том, что Малороссия в первой половине XIX в. скорее жива, чем мертва, свидетельствовали проекты С.М. Кочубея (1832) и Г.П. Галагана (1857), стимулированные польским фактором: в первом случае последствиями восстания 1830–1831 гг., а во втором – ликвидацией в 1856 г. указов и постановлений николаевского времени, направленных на «перевоспитание» поляков, что, по мнению элиты Левобережной Украины, изменило «соотношение сил» в Киеве[18].

С. Кочубей связывал успехи Малороссии прежде всего с социально-экономическим «национализмом» (развитие городов, ремесел, промышленности, путей сообщения, в т.ч. строительство канала в обход днепровских порогов, что сделает главную реку края полностью судоходной) и избавлением от архаических «военно-пастушеских» форм жизни (казацкие хутора, традиционная пища, одежда), предлагая

[16] Лазарев 2016.
[17] Velichenko 2002.
[18] Литвинова 2015.

вместе с тем расширить границы края за счет Слобожанщины и переименовать три составляющие Малороссию губернии в Украинскую Полтавскую, Украинскую Черниговскую и Слободско-Украинскую[19].

Примером поиска и организации нового пространства Малороссии стал административный проект Г.П. Галагана, представителя нового поколения, для которого, однако, бывшая Гетманщина, еще долгое время представлялась «островом, окруженным морем − Россией». А уже в конце 1850-х гг. в своем проекте он очертил более широкие границы Старой Малороссии, включив в нее не только левобережные, но и правобережные и материковые южные губернии, невольно конструируя тем самым новое национальное пространство и новую историческую память. Этот, по сути интеграционный, проект интересен, в первую очередь, с точки зрения «собирания» Отечества и представлений о его возможных новых границах. Своеобразным символом и важным аргументом его реализации стал для автора Николаевский мост через Днепр, заложенный в 1848 г. и освященный в 1853 г. в один день с памятником князю Владимиру в Киеве. Заметим, что создание новой ментальной карты было результатом не только напряженного творчества самого Галагана, но и активной многолетней работы по «собиранию малороссийского наследия», деятельности Киевской археографической комиссии, малороссийской историографической экспансии и обсуждения проблем своей Родины в определенном кругу интеллектуалов. Галаган же выступил как своеобразный лидер, осуществляющий «мозговой штурм». Оформление его результатов в виде проекта было одновременно демонстрацией возможностей административного фактора, способного четко организовать пространство, создавая тем самым новые ментальные карты в сознании не только узкого круга интеллектуалов, но и широких масс, а также новый «национальный ландшафт» как важный элемент мобилизации национального самосознания и постановки национальных задач.

Именно в это время на той же основе в рамках одного поколения «внуков» Г.А. Полетики наметился раскол. Не случайно именно к концу 1850-х гг. относится крайне резкая оценка Г.П. Галаганом манифестирования его ровесником П.А. Кулишем новой системы национальной идентичности. Галаган возмущенно писал Н.А. Ригельману о предательстве национального малороссийского патриотического дела, определяя это в категориях: Кулиш сошел с ума[20], так как тот, кроме прочего, исключал из «народа-нации» шляхту-дворянство, т.е. разрушал идею социального единства, характерную для Малороссии. Народ же с той поры стал отождествляться только с социальными низами, прежде всего, с крестьянством. Даже казацкий миф постепенно уходил на второй план, переосмысливаясь в народнических категориях борьбы за социальные права угнетенных. Особую горечь

[19] Галь 2004: 118–123, 124–127.
[20] Литвинова 2019: 556.

у Г.П. Галагана и его единомышленников, промоутеров модерного малороссийского проекта (В.В. Тарновского, М.А. Максимовича, М.А. Юзефовича, Н.А. Ригельмана, О.М. Бодянского и др.), вызывало то, что именно они материально, морально и организационно поддерживали Т.Г. Шевченко, П.А. Кулиша, Н.И. Костомарова и др., как им казалось, национальных малороссийских деятелей.

Так что, если говорить о разрыве в украинском национальном строительстве, то его следует искать не в деятельности Г.А. Полетики, вменяя ему то, чего он не мог и не имел намерения делать – формировать новый антиимперский политический язык, идеалы «независимой Украинской казацкой державы»[21], а в поколении его «внуков». Именно они на одном и том же материале сформулировали два конкурирующих модерных национальных проекта – малороссийский, вписывающийся в систему имперской лояльности и органично выросший на плечах «дедов и отцов», и украинский, присвоивший и переопределивший чужую историю, идеи, культурное наследство.

Уже в начале 1858 г. раскол национального движения явно ощущал и болезненно переживал Галаган, доверительно писавший жене о «раздражении», которое «в нашем маленьком Малороссийском мире уже царствует»[22]. И если «разрыв» в национальном движении середины XVIII в. сконструирован исключительно историографическим путем, то драматизм столкновения двух национальных проектов в середине XIX в. явственно осознавался и переживался его творцами. Относительно невозможности достижения единства, Галаган сокрушался: «Беда нам бедным! Судьба наша преследует во всей нашей истории! Вечно разъединение и распри между нами Малороссиянами! Это губило наше возрождающееся государство, наше благосостояние и наконец нашу национальность. Не понимают наши ни с верху, ни с низу что нам нужно». Сокрушаясь, что направление П.А. Кулиша «сделалось просто возмутительно», считая его нападки на дворянство несправедливыми, Галаган писал: «…он сам пан, обязан всем панам, не только в отношении своей личности, но и в отношении возрождения нашей национальности». И далее задавался вопросом: «В ком так сильно возродилась наша национальность? Не в простом народе, который вовсе об этом не хлопочет и продолжает с каждым днем больше и больше Москалиться; она возродилась в избранной части панов. За что же казнить целое сословие без различия? Эту двойную неблагодарность нельзя иначе растолковать как стремлениями революционными, сумасшедшими»[23]. Вряд ли это может быть подтверждением расхожего представления о том, что «не элита творила национальный миф, а далекая от нее интеллигенция»[24].

[21] Лазарев 2016: 199.
[22] ИР НБУВ. Ф. III. № 46100. Л. 2 об.
[23] Там же. № 46109, Л. 2–2об.
[24] Лазарев 2016: 199.

Комбинации идентичностей порождают специфику региональных идентичностей. Для малороссийской элиты ситуация осложнялась поисками не только новой социального, но национального самоопределения в условиях конкуренции многочисленных домодерных и модерных проектов. Это не в последнюю очередь было обусловлено, по наблюдениям М. фон Хагена[25], чрезвычайной культурной и политической проницаемостью общеукраинского пространства.

Малороссийская идентичность, существовавшая как минимум в двух видах: на уровне традиционной административно-территориальной и национально-этнической, вписывалась в иерархию общероссийских структур. Они находились в отношениях, которые типологически можно обозначить как конфликт «отцов и детей», под одним и тем же – «малороссийское» – подразумевавших не одно и то же. Украинская же идентичность, задекларированная с кирилло-мефодиевцев, сепарируя себя, выписывая из ментального, идейного, прежнего этнического контекста, предусматривала начать строительство собственной иерархии. Малороссия же в исключительно новом территориальном смысле, как регион, включалась в новую систему идейных и политических иерархий. Украинство (как идентичность), стремившееся к самодостаточности, лишало дворянство традиционной легитимации (через российское дворянство), требуя поисков другой социальной идентичности. Поэтому широкая меценатская помощь со стороны Галагана, Тарновских и их единомышленников, во всяком случае до середины XIX в., предоставлялась «украинскому движению» как малороссийскому. В то же время в рамках украинского проекта, по сути, рождается «Третья» Малороссия.

«Первая» Малороссия – это бывшая Гетманщина, с её правами, легитимацией через казацкое право, гетманские статьи, польско-шляхетское, со своим осознаваемым местом в системе элит, с тем, что было живым в структурах идентичностей до начала XIX в., пока не исчезло поколение непосредственно наблюдающих. Это та Малороссия, которая, растворившись в российских политико-административных структурах, умирая, оживала в них.

«Вторая» Малороссия – национально-этническая – была рождена романтизмом, литературой. Ее границы, демография стали предметом поиска всего XIX в., в который активно включились «дети» «старых» малороссов, постепенно осознавшие, что их Отчизна не ограничивается Полтавской и Черниговской губерниями. Тогда встал вопрос: «кто мы?». Но эти «дети» не просто «оплакивали Малороссию в рукописных произведениях» и «хранили память о ней»[26], а работали, как могли, на развитие малороссийской «нации».

«Третья» Малороссия, похожая и непохожая на две первые, возникает с формированием украинского национального проекта, кото-

[25] Хаген фон 2000: 66.
[26] Когут 2004: 98.

рому «вторая» Малороссия идентична во всех смыслах. Кроме одного – они (малороссийский национально-этнический и украинский проекты) вмонтированы в конфронтационные иерархии идентичностей.

«Вторая» Малороссия – alter ego «третьей», одна и та же «персона». Поэтому спор между «Украиной» и «Малороссией» – это спор не двух субъектов, а душевный конфликт тождественного, спор о том, с кем дружить, с кем гулять. Здесь общее прошлое, культура, население, но им придется выбирать из двух взаимоисключающих дорог. Поэтому в «Украине» нет места «второй» Малороссии. А вот «первая» имеет шанс на «возрождение». «Украина» хочет вывести её за рамки Полтавской и Черниговской губерний и расширить во всяком случае на Правобережье и Слобожанщину. Отсюда и путаница в головах, порождающая терминологическую путаницу, в т.ч. в работах историков, что хорошо прочитывается даже в современных попытках российских авторов расширить представления об украинском национальном движении второй половины XIX – начала XX в.[27]

В заключение важно еще раз подчеркнуть, что исторические параллели между Украиной и Шотландией корректны прежде всего с точки зрения унийных процессов, имевших следствием создание империй. И тут трудно не согласиться с японским русистом Кимитаки Мацузато, который Левобережную Украину-Малороссию считает одним из трех макрорегионов, составлявших территориальное ядро Российской империи и имевших статус «внутренних губерний». При этом «ядровой статус» в империи, по мнению историка, не означал потери исторической и этнической специфики, поскольку Российская империя представляла собой своего рода коалиционное государство трех макрорегионов[28]. Не случайно у социальной элиты этого региона, не испытывавшей систематического дискомфорта как минимум до середины XIX в., не было особых проблем вписывания в имперскую систему. Империя для них была общим пространством, в создании которого на протяжении всей её истории они, иногда задавая тон, принимали активное участие. Но это не отменяло осознание национальной отдельности, а, напротив, усиливало её. Об этом малороссийская элита хорошо помнила и не уставала напоминать, как один из главных «акционеров» империи. Остается надеяться, что преодоление национальных нарративов, а также комплекса периферии украинскими историками позволит писать «нормальную» историю империи как «ничейного» пространства, где происходило взаимодействие вне формального «национального тела».

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (ИР НБУВ). Ф. III, Ф. VIII.

Черниговский исторический музей им. В.В. Тарновского (ЧИМ). Ал. 502/15/60.

[27] Федевич 2017.

[28] Мацузато 2002.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Галь Б., Швидько Г. «…Мысли мои о крае сем…» (С.М. Кочубей і його записка про Малоросію) // Схід-Захід. 2004. С. 101–128 [Gal' B., Shvyd'ko G. «…Mysli moi o krae sem» (S.M. Kochubei i yoho zapyska pro Malorosiiu) // Skhid-Zakhid. 2004. S. 101–128].

Журба О.И. Региональное историописание второй половины XVIII – первой половины XIX в. в плену «украинского национального возрождения» (проблемы украинской исторической и историографической культуры) // Мир историка. 2013. Вып. 8. С. 124–165 [Zhurba O.I. Regional'noe istoriopisanie vtoroj poloviny XVIII – pervoj poloviny XIX v. v plenu «ukrainskogo nacional'nogo vozrozhdeniya» (problemy ukrainskoj istoricheskoj i istoriograficheskoj kul'tury) // Mir istorika. 2013. Vyp. 8. S. 124–165].

Журба О.І. «Представьте Вы себе, какой зверь был гетман! Это были пренечистивые деспоты!» (з листа свідомого українського патріота, автономіста та традиціоналіста початку XIX століття) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. 2009. С. 161–220. [Zhurba O.I. «Predstav'te Vy sebe, kakoj zver' byl getman! Eto byli prenechistivye despoty!» (z lysta svidomoho ukrainskoho patriota, avtonomista ta tradytsionalista pochatku XIX stolittia) // Dnipropetrovs'kyi istoryko-arkheohrafichnyi zbirnyk. 2009. S. 161–220].

Записка о начале, происхождении, и достоинстве Малороссийского дворянства, писанная маршалом Роменского повета Василием Полетикою // Киевская старина. 1893. Январь. Приложение. С. 1–14 [Zapiska o nachale, proiskhozhdenii, i dostoinstve Malorossijskogo dvoryanstva, pisannaya marshalom Romenskogo poveta Vasiliem Poletikoyu // Kievskaya starina. 1893. Yanvar'. Prilozhenie. S. 1–14].

Записка о преимуществах чинов Малороссийских. Сочинена статским советником Адрианом Чепою 1809 года, февраля 18 дня // Киевская старина. 1897. Январь. Приложение. С. 23–39. [Zapiska o preimushchestvah chinov Malorossijskih. Sochinena statskim sovetnikom Adrianom Chepoyu 1809 goda, fevralya 18 dnya // Kievskaya starina. 1897. Yanvar'. Prilozhenie. S. 23–39].

Калакура Я.С. Українська історіографія. Київ, 2012. 512 с. [Kalakura Ya.S. Ukrains'ka istoriohrafiia. Kyiv, 2012. 512 s.].

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760–1830. Київ. 1996. 317 с. [Kohut Z. Rosiiskyi tsentralizm i ukrainska avtonomiia. Likvidatsiia Hetmanshchyny 1760–1830. Kyiv. 1996. 317 s.].

Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. Київ, 2004. 352 с. [Kohut Z. Korinnia identychnosti. Studii z rannomodernoi ta modernoi istorii Ukrainy. Kyiv, 2004. 352 s.].

Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок XX століття). Київ. 2000. 256 с. [Kolesnyk I.I. Ukrains'ka istoriohrafiia (XVIII – pochatok XIX st.). Kyiv. 2000. 256 s.].

Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина XIX ст.). Харків. 1996. 296 с. [Kravchenko V.V. Narysy z ukrains'koi istoriohrafii epokhy natsionalnoho Vidrodzhennia (druha polovyna XVIII – seredyna XIX st.). Kharkiv. 1996. 296 s.].

Лазарев Я.А. Идейное поле «национального» интеллектуала имперского периода: взгляды Г.А. Полетики (1725–1784) на «украинскую государственность» // Slověne=Словѣне. 2016. № 1. С. 184–202. [Lazarev Ya.A. Idejnoe pole «nacional'nogo» intellektuala imperskogo perioda: vzglyady G.A. Poletiki (1725–1784) na «ukrainskuyu gosudarstvennost'» // Slověne=Slověne. 2016. № 1. S. 184–202].

Литвинова Т.Ф. «Помещичья правда»: дворянство Левобережной Украины и крестьянский вопрос в конце XVIII – первой половине XIX века. М., 2019. 648 с. [Litvinova T.F. «Pomeshchich'ya pravda»: dvoryanstvo Levoberezhnoj Ukrainy i krest'yanskij vopros v konce XVIII – pervoj polovine XIX veka. M., 2019. 648 s.].

Литвинова Т.Ф. Малоросс в российском культурно-историографическом пространстве второй половины XVIII века // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. 2001. С. 28–64. [Litvinova T.F. Maloross v rossijskom kul'turno-istoriograficheskom prostranstve vtoroj poloviny XVIII veka // Dnipropetrovs'kij istoryko-arheograficheskij zbirnyk. 2001. S. 28–64].

Литвинова Т.Ф. Роздуми над «малою українською трилогією» Даниеля Бовуа // Український історичний журнал. 2015. № 6. С. 154–174. [Lytvynova T.F. Rozdumy nad «maloiu ukrains'koiu trylohiieiu» Danyelia Bovua // Ukrains'kyi istorychnyi zhurnal. 2015. № 6. S. 154–174].

Мацузато К. Ядро или периферия империи? Генерал-губернаторство и малороссийская идентичность // Український гуманітарний огляд. 2002. Вип. 7. С. 76–78. [Macuzato K. Yadro ili periferiya imperii? General-gubernatorstvo i malorossijskaya identichnost' // Ukrains'kyi humanitarnyi ohliad. 2002. Vip. 7. S. 76–78].

Плохій С.М. Козацький міф. Історія та націотворення в епоху імперій. Київ. 2013. 440 с. [Plokhii S.M. Kozatskyi mif. Istoriia ta natsiotvorennia v epokhu imperii. Kyiv. 2013. 440 s.].

Полетика Г.А. Мнение о начитанном проекте правам благородных // Сборник РИО. СПб, 1882. Т. 36. С. 346–356. [Poletika G.A. Mnenie o nachitannom proekte pravam blagorodnyh // Sbornik RIO. SPb, 1882. T. 36. S. 346–356].

Прицак О. У століття народин М.С. Грушевского [1966] // Україна модерна. 2007. Ч. 12. С. 170–190. [Prytsak O. U stolittia narodyn M.S. Hrushevskoho [1966] // Ukraina moderna. 2007. Ch. 12. C. 170–190.].

Робер В. Время банкетов: политика и символика одного поколения (1818–1848). М., 2019. 656 с. [Rober V. Vremya banketov: politika i simvolika odnogo pokoleniya (1818–1848). M., 2019. 656 s.].

Сборник Русского императорского исторического общентва. СПб., 1869. Т. 4; 1871; Т. 8; 1881. Т. 32; 1882. Т. 36. [Sbornik Russkogo imperatorskogo istoricheskogo obshchentva. SPb., 1869. T. 4; 1871; T. 8; 1881. T. 32; 1882. T. 36.].

Федевич К.К., Федевич К.І. За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські монархісти і український національний рух (1905–1917 роки). Київ. 2017. 308 с. [Fedevych K.K., Fedevych K.I. Za Viru, Tsaria i Kobzaria. Malorosiiski monarkhisty i ukrainskyi natsionalnyi rukh (1905–1917 roky). Kyiv. 2017. 308 s.].

Хаген фон М. Имеет ли Украина историю? // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 51–72. [Hagen fon M. Imeet li Ukraina istoriyu? // Ab Imperio. 2000. № 1. S. 51–72].

Velichenko S., The Issue of Russian Colonialism in Ukrainian Thought. Dependency Identity and Development» // «Ab Imperio». 2002. № 1. С. 323–367.

***Литвинова Татьяна Федоровна**, доктор исторических наук, профессор, Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара (Украина), профессор, кафедра истории Украины; litviniva.tf@i.ua*

***Журба Олег Иванович,** доктор исторических наук, профессор, Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара (Украина), заведующий, кафедра историографии, источниковедения и архивоведения; zhurba.oi@i.ua*

Hetmanate in the views of the Ukrainian intellectual elite (second half of the XVIII – middle XIX cc.) Part 2. New images of the Fatherland

The focus is on the evolution of the ideas of the intellectual elite of the Left Bank Ukraine about the peculiarities of the status, the socio-political structure of their homeland, this specific region of the Russian Empire, about the role of various social groups, primarily the Cossacks and the gentry, in its history and transformations at the turn of the the 18th – mid-19th cc. The personalities who found themselves in the center of the study – G. and V. Poletik, A. Chepa, S. Kochubei, G. Galagan and others, reflected not only their own views on the past, present and future of the region, but were also authoritative exponents of the sentiments of a significant part of the local social elite. The chronological scattering of their statements makes it possible to trace changes in views on the place of the region in the system of the empire - from the preservation of the autonomous Hetmanate modernized in the spirit of the times to its full political and legal integration, to the role of hetmans and the Cossack system in the life of Little Russian society, as well as to possible mechanisms of adaptation to new socio-cultural realities.

Key words: Left-bank Ukraine, Little Russia, Hetmanate, Russian Empire, Ukrainian national revival, identity

***Tatyana F. Litvinova,** Dr. Sc. (History), Professor, Department of History of Ukraine, Oles Honchar Dnipro National University (Ukraine); litvinova.tf@i.ua*

***Oleg I. Zhurba,** Dr. Sc. (History), Professor, Head of the Department of Historiography, Source Studies and Archival Studies, Oles Honchar Dnipro National University (Ukraine); zhurba.oi@i.ua*

ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТЬ

О.Г. Сидорова

СЭР ТОМАС БРАУН И ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

XVII век в истории Англии был не только временем бурных политических событий, но также периодом развития науки и языка. Имя и труды сэра Томаса Брауна, медика, философа, писателя, были широко известны современникам, его труд «Вульгарные ошибки» был европейским бестселлером. Позднее его популярность заметно сузилась. Труды Брауна не переводились на русский язык вплоть до XXI века и почти не изучались в России. В статье рассматривается вопрос о вкладе сэра Томаса Брауна в формирование интеллектуальной атмосферы Англии XVII века, исследуются проблемы интертекстуальности и контекстуальности созданных им текстов.
Ключевые слова: *XVII век, Томас Браун, «Религия медика», «Вульгарные ошибки», методология познания, коллекционирование, словотворчество.*

Имя и труды сэра Томаса Брауна (1605–1682), знаменитого английского медика, философа и литератора, мало известны в России. Его книги долгое время не переводились на русский язык – впервые его трактат «Гидриотафия, или погребение в урнах»[1] был переведен и напечатан в издательстве Уральского университета в 2013 г.; в 2019 г. в том же издательстве вышла книга Т. Брауна «Двойное рассуждение»[2], включающая переводы «Гидриотафии» и «Сада Кира». Справедливости ради отметим, что краткие сведения о жизни и творчестве Т. Брауна можно найти в первом томе академической «Истории английской литературы»[3], который увидел свет в 1945 г. Высоко оценивал творчество Брауна знаток английской литературы Д.П. Святополк-Мирский (1890–1939), но в силу того, что его судьба сложилась трагически, статья Мирского «Барокко и английская литература»[4] впервые появилась в печати только в 1987 г. Кроме того, на русский язык было переведено и неоднократно печаталось в разных изданиях эссе Х.Л. Борхеса «Сэр Томас Браун»[5] из сборника «Расследования» 1925 г., в котором знаменитый аргентинский писатель восторженно отзывается об английском философе XVII века. Добавим, также, что Борхес переводил прозу Брауна на испанский.

Рецепция творчества Т. Брауна в Великобритании была неоднородной в разные исторические периоды. При жизни его труды были широко известны на родине автора и за ее пределами, в последующие века его популярность, как правило, ограничивалась узкими рамками групп почитателей, что дало повод знаменитой писательнице Вирджи-

[1] Браун 2013.
[2] Браун 2019.
[3] История… 1945.
[4] Мирский 1987.
[5] См.: Борхес 2011.

нии Вулф, поклоннице Брауна, написать, что, хотя этих людей мало, они составляют «соль земли»[6]. Действительно, в XVIII в. биографию Т. Брауна написал знаменитый литератор и публицист С. Джонсон[7], в XIX в. им увлекались английские романтики и американские трансценденталисты, которых привлекало не только литературное мастерство писателя, но также его оригинальное мировоззрение; в XX в. среди его почитателей, кроме Х.Л. Борхеса и В. Вулф, были другие писатели и мыслители – Г.К. Честертон, Э.М. Форстер и др.

Когда готовилось издание перевода эссе «Гидриотафия» на русском языке, мы обратились с вопросом, насколько труды Брауна известны в современной Великобритании, к своим коллегам-филологам из Оксфорда. Процитируем их ответ: «Конечно, сэр Томас Браун не знаком английскому читателю. Давайте сузим аудиторию до образованных читателей, имеющих диплом о высшем образовании – полагаем, они его также не знают. Знаком ли он тем читателям, которые имеют ученые степени по литературе? Лишь небольшой части из них. Читают ли они произведения этого автора? Только некоторые представители этой группы. Таким образом, его имя известно лишь очень небольшой части читателей, а его работы – еще более ограниченному количеству. НО: эта группа включает не только филологов. Есть люди – чаще всего, представители старшего поколения, которые с удовольствием прочитали некоторые труды Брауна. При упоминании его имени эти странные читатели (а читают они глубоко, любят мифологию, потайное знание, вообще что-нибудь необычное) поднимут голову. Думаем, у нас найдется не так уж мало читателей такого рода…»[8]. Отметим, однако, что ситуация с рецепцией Томаса Брауна в Британии меняется. Его работы издаются; с завидной регулярностью появляются исследования, посвященные его творчеству. Четырехтомное издание философских текстов Т. Брауна, его писем и дневников вышло в 1965 г.; сборники его основных работ –в 1977 и 2006 гг.; отдельные произведения автора неоднократно переиздавались уже в XXI в. В 2014 г. в серии «Оксфордские авторы XXI века» были изданы труды Т. Брауна, его дневники и письма в одном томе объемом около тысячи страниц с развернутыми академическими комментариями и предисловием одного из ведущих британских специалистов по творчеству Брауна К. Килина (Kevin Killeen). Упомянем также привлекшую широкое внимание критики и публики монографию Хью Олдерсли-Уильямса «В поисках сэра Томаса Брауна: жизнь и наследие самого любознательного человека семнадцатого века» (2015)[9].

В издательстве Оксфордского университета готовится к печати академическое издание полного собрания сочинений сэра Томаса Брау-

[6] Woolf 1923.
[7] Johnson 2008.
[8] Hewitt 2012.
[9] Обширную библиографию трудов, посвященных Т. Брауну, см. на сайте: http://www.bbk.ac.uk/english/tbs/TBSBibliography.html#Editions

на в восьми томах (гл. ред. К. Престон, выход первого тома запланирован на 2021 г.), в котором будут напечатаны не только известные работы автора, но также его дневники, переписка и ряд ранее не публиковавшихся текстов. Более того, обнаруживается явная тенденция к популяризации наследия Брауна: в течение нескольких последних лет на радио BBC-3 и BBC-4[10], а также на британском телевидении вышло несколько программ об авторе и его трудах, а в Норидже, где он безвыездно прожил более сорока лет и где ему установлен замечательный памятник, уже в нашем веке начали проводить посвященные ему фестивали. К. Килин пишет: «Мне кажется, что англичане предпочитают читать романы, а эссе Брауна, в которых он пишет “обо всем и ни о чем”, не очень сочетаются с устоявшимися вкусами. Полагаю, что некоторых отталкивает его религиозность, хотя часто его воспринимают (и печатают) как писателя-мистика – и, самое любопытное, – у него большое число почитателей среди медиков, которые живо интересуются его работами – вы найдете множество статей о нем в медицинских журналах»[11].

Поскольку для отечественных читателей Браун остается фигурой малоизвестной, приведем данные о его биографии, которая основательно документирована и изучена британскими исследователями[12]. Томас Браун родился в Лондоне в семье обеспеченных горожан. Дворянский титул был дарован ему в конце жизни Карлом II, когда король посетил Норидж. Всю свою жизнь он был известен как доктор Томас Браун. Наследство рано умершего отца, а также редкое упорство и любознательность позволили Брауну получить прекрасное образование: в 1626 г. он получил звание бакалавра, в 1629 г. – магистра медицины в Оксфордском университете. Мемуаристы и исследователи единодушно отмечают, что в те годы медицинское образование в Оксфорде находилось на невысоком уровне: Э. Госс указывает, что в городе не было клиники, а образование сводилось к изучению текстов Гиппократа и Галена в оригинале[13]; возможно, этот факт сподвиг молодого человека продолжить свою профессиональную подготовку в университетах континентальной Европы, первым из которых стал университет Монпелье на юге Франции. Медицинская школа Монпелье славилась на всю Европу – студентам преподавали полный цикл естественных наук, особое внимание уделялось биологии и фармации – знаменитый ботанический сад университета является старейшим во Франции. Предполагалось, что каждый врач должен уметь вырастить собственный «аптекарский огород», использовать растения в лекарственных целях и составлять из них лекарственные средства. Забегая вперед, отметим: Т. Браун приумножал полученные в Монпелье знания в области ботаники в течение всей жизни. Там же, в медицинской школе Монпелье, впервые был организован

[10] См.: Bragg 2019; Sweet 2017; Nikolson 2013.
[11] Kileen 2020.
[12] См: Gosse 1905; Barbow 2013.
[13] Gosse 1905: 6-7.

первый в Европе анатомический театр. После двух лет пребывания во Франции Браун перебирается в Италию, в университет Падуи, где пробыл с осени 1731 г. до осени 1732 г., а затем вновь переехал – в голландский университет Лейдена, который славился, прежде всего, тем, что давал студентам теоретическую подготовку в области химии. Выбор университетов для приобретения профессии врача был очень удачным – Браун сумел получить лучшее медицинское образование, доступное в то время в Европе. Э. Госс также подчеркивает, что убежденный сторонник англиканской церкви Браун проявил определенную смелость, выбирая для получения образования католические Монпелье и Падую в эпоху политической и религиозной нестабильности в Европе[14]. Более того, Монпелье, бывший оплот французских гугенотов, был покорен войсками Людовика XIII буквально за несколько лет до появления там Брауна, и в целом обстановка в городе была неспокойной.

Вернувшись в Англию, Браун начал работать как практикующий врач, а в 1637 г. получил степень доктора медицины в Оксфорде и медицинскую практику в Норидже, где он провел оставшуюся часть жизни, став одним из самых уважаемых горожан. Будучи физически оторван от центров интеллектуальной жизни, прежде всего, от Оксфорда и Лондона, он продолжал проводить исследования, вел обширную переписку со многими интеллектуалами. В 1642 г. двумя пиратскими изданиями в Лондоне вышел трактат «Религия медика» («Religio Medici»), выправленный авторский текст был напечатан в 1643 г.; в 1646 г. появился обширный труд «Вульгарные ошибки». Уже при жизни автора оба произведения стали европейскими бестселлерами, они неоднократно переиздавалась, в XVIII в. были переведены на латинский, французский, датский, итальянский языки. В 1658 г. был опубликован труд под названием «Двойной трактат»: «Гидриотафия, или погребения в урнах» и «Сад Кира». Еще несколько работ были опубликованы посмертно.

Доктор Томас Браун приехал в Норидж в самом начале революционных событий. Горожане активно поддерживали армию парламента, тогда как Браун был роялистом. Известно, что в начале войны он отказался участвовать в подписке на нужды армии парламента, а в 1660 г. приветствовал реставрацию монархии. Однако его невмешательство в политику и высокая репутация врача-профессионала и эрудита позволили ему относительно спокойно пережить потрясения эпохи. Более того, в его литературных трудах и письмах отсутствуют отклики и комментарии на злободневные темы дня. Мудрого автора интересуют проблемы врачевания, человеческие заблуждения, природа времени, античность, вечность, множество других философских проблем, но, кажется, оставляют равнодушным политические партии, военные столкновения и смена социального строя. Особенности эпохи косвенно проявляются в «Религии медика», частично автобиографическом произведении, в котором

[14] Gosse 1905: 9-11.

автор, в частности, описывает свое пребывание во Франции и Италии и касается проблем религии. В эпоху религиозного противостояния в Европе он демонстрирует исключительную толерантность и миролюбие, оставаясь при этом убежденным сторонником англиканской церкви. Вспоминая католические страны, Браун рассуждает: «Я не могу смеяться [над католиками], я скорее сочувствую странным путешествиям пилигримов и с презрением смотрю на жалкое положение монахов; …но я никогда не мог слышать *Аве Марию*, не испытывая восторга»[15]. В начале главы 6 он провозглашает: «Я никогда не противопоставлю себя никому на основании разницы во мнениях, и не рассержусь на его высказывание, если он со мной не согласен… Я не склонен к спорам по религиозным вопросам, и всегда полагал разумным избегать их»[16].

Уже в «Религии медика», а затем и в последующих сочинениях наглядно проявилось мировоззрение автора. Английский XVII век – эпоха не только политических перемен, но период бурного развития науки, при этом религия и наука в сознании человека не противоречат, но дополняют друг друга. В сознании людей осуществляется переход от пассивного приятия Божьей воли к активному научному исследованию мира, который воспринимается как уникальное, но не до конца понятное человеческому разуму создание Творца. Браун, как многие его современники, опирается на взгляды Ф. Бэкона, прежде всего на его идеи об индукции, то есть переходе от частного к общему, как методологии познания. По Бэкону, человек получает знания о мире из эксперимента, наблюдения и проверки гипотез, и Браун, медик по образованию и естествоиспытатель по призванию, воплощает эту программу в своей жизни и трудах. Его книга, которую сегодня для краткости часто именуют «Вульгарные ошибки», в оригинале имела двуязычное название «Pseudodoxia Epidemica, or Enquires into very many received Tenants and commonly preformed Truths» («Лженаука суеверий (лат.), или Расследование многих популярных Заблуждений и общепризнанных Истин»), может служить ярким тому примером. Содержательно книга Брауна явно соотносится с идеями Бэкона об источниках человеческих заблуждений, называемых автором идолами.

Сочинение Брауна объемом около 500 страниц состоит из семи разделов (названных в оригинале книгами), скомпонованных по тематическому принципу: первая книга посвящена «общим» (General) заблуждениям, вторая – тем, которые касаются минералов и растений, третья – животным, четвертая – человеку, пятая – ошибкам, запечатленным в живописи, шестая – географии и истории, шестая – всеобщей истории и истории Священного Писания. Книги состоят из отдельных глав, в каждой из них рассматривается и опровергается одно распространенное за-

[15] Browne 2014: 6. Перевод наш. Далее цитаты из этого сочинения и из «Вульгарных ошибок» приводятся в нашем переводе, из поздних эссе – по опубликованным переводам В. Григорьева.
[16] Browne 2014: 8.

блуждение. Согласимся с Х. Олдерсли-Уильямсом: Браун «стоит у ворот современной науки, но при этом счастливо остается в плену античности и ее загадок»[17]. В тексте «Вульгарных ошибок» Браун собирает распространенные заблуждения и анализирует их с точки зрения научного подхода XVII в. Приведем несколько примеров. Глава 5 книги 3 называется «О том, что у барсука лапы с одной стороны тела короче, чем с другой", в ней автор разбирает поверье о своеобразном строении конечностей барсука, которое, по общему мнению, позволяло животному быстро и ровно передвигаться по склонам холмов и убегать от охотников. Браун опровергает данное заблуждение «тремя доводами в пользу истины: ссылкой на авторитеты, здравым смыслом и разумом» («three determinators of truth: authority, sense and reason»)[18]. Он цитирует средневекового ученого и философа Альберта Великого (Albert Magnus), обращается к анатомии, утверждающей, что строение всех млекопитающих симметрично, ссылается на собственный опыт и наблюдения – методология Бэкона в действии. В главе 22 книги 3 Браун развенчивает бытовавшее среди европейцев мнение, что страус питается железом. Автор выделяет два источника этого заблуждения: во-первых, люди были поражены размером и силой тех нескольких особей, которых привозили в Англию, и делали фантастические предположения об их питании; во-вторых, многие животные и птицы глотают, например, камни и песок для лучшего переваривания пищи. Для подтверждения своей мысли Браун цитирует мнение средневековых ученых, которые выступали за (Лев Африканский) и против (Альберт Великий) устоявшегося мнения, а также вновь опирается на собственный здравый смысл и знание анатомии[19]. Тема страуса развивается автором в дневниках[20]. Браун описывает, как он лично провел перед клеткой страуса несколько часов, наблюдая и записывая, что птица ела. Страус отказался от предложенных ему кусочков железа, тогда Браун принес эти кусочки в тесте. Страус с удовольствием съел тесто, но выплюнул железо, а Браун, опираясь на проведенный опыт, смог закончить главу книги.

Знание анатомии и опыт позволяют автору развенчивать популярные заблуждения, например, то, «что человек становится тяжелее после смерти, чем при жизни, и перед едой, чем после» (гл.7 кн.4) [21]; «что в теле существуют разные проходы для поглощения еды и питья» (гл. 8 кн. 4)[22], и др. Аналогичным образом автор развенчивает популярные заблуждения, источником которых является текст Священного Писания, например, «что у мужчины на одно ребро меньше, чем у женщины» (гл.

[17] Aldersey-Williams 2015: 78.
[18] Browne 2014: 235-236.
[19] Browne 2014: 298–100.
[20] Browne 2014: 768.
[21] Browne 2014: 350.
[22] Browne 2104: 352.

2 кн. 7)[23]. Вообще, текст Священного Писания становится для Брауна источником многостороннего анализа: так, он указывает, что существующие в живописи изображения Адама и Евы неверны, поскольку на них персонажи имеют пупки, что не соотносится с библейским текстом, и объясняет анатомию и физиологию этого элемента человеческого тела (гл. 5 кн. 5)[24]. В заключительных главах автор приводит отдельные, не всегда собранные тематически «общие места» и комментирует их. Так, он не согласен с Плутархом, который описывал спартанское воспитание детей – Браун эмоционально заявляет, что спартанцы были «благородным народом» (noble nation)[25], следовательно, не могли быть жестокими по отношению к детям. Он также касается популярной точки зрения, что смеяться грешно: в Писании есть несколько упоминаний о том, что Христос плакал, но нет указания, что он не смеялся. Между тем, полагает Браун, евангелисты описывают детство и юность Христа как жизнь обычного человека, следовательно, ему – в этот период, по крайней мере, были свойственны все человеческие эмоции (гл. 16 кн. 7)[26].

После публикации книга немедленно стала бестселлером в Англии, а затем, в переводах, и на континенте. Объем произведения и тематическое разнообразие поражают воображение, как и редкая эрудиция автора. Кроме того, Браун точно определил потребность человека Нового времени в переосмыслении знаний и популярно продемонстрировал методику этого переосмысления. Читателями Брауна в Англии и на континенте были не только интеллектуалы, но гораздо более широкие массы читателей, число которых в этот период заметно выросло – к концу XVII в. в Англии грамотными были 40% мужчин и 25% женщин[27], чтение как времяпрепровождение входило в моду, а Браун представил современникам увлекательный научно-популярный текст.

В 1658 г. Браун публикует два небольших эссе в одном томе – «Гидриотафия, или Погребение в урнах» (*Hydriotaphia, Urn Burial*) и «Сад Кира» (*The Garden of Cyrus*), которые стали его последними прижизненно опубликованными работами. Эти сочинения вошли в историю английской литературы как высокие образцы английской прозы периода барокко. С. Моэм отмечал: «Прозаики периода барокко… были заблудившимися поэтами», поскольку «поэзия – это барокко. Барокко – трагический, массивный, мистический стиль. Оно стихийно. Оно требует глубины и прозрения»[28]. Среди «заблудившихся поэтов» эпохи барокко Моэм упоминает и сэра Томаса Брауна, проза которого отличается усложненным изысканным стилем. Толчком к написанию «Погребения в урнах» послужил тот факт, что в окрестностях Нориджа были найдены

[23] Browne 2014: 492.
[24] Browne 2014: 373–375.
[25] Browne 2014: 504.
[26] Browne 2014: 492.
[27] См.: Cressy 1980.
[28] Моэм 2012: 78.

древние захоронения. В тексте эссе автор рассуждает о погребальных обрядах различных цивилизаций, о жизни и смерти, о памяти, тлене, бессмертии, вечности: «В серьезных изысканиях подземного мира слой верхний глубиной в два-три ярда щедро награждает старателей… Природа обставила одну часть земли, а человек – другую»[29]. Браун вновь демонстрирует свою уникальную эрудицию: содержательно эссе представляет собой антропологическое исследование погребальных обрядов и ритуалов разных цивилизаций. Текст, однако, приобретает поэтические черты, одной из самых замечательных является уникальный ритм, который задается первой же фразой «Погребения в урнах» («When the funeral pyre was out and the last valediction over…»[30]) и сохраняется на протяжении всего текста трактатов в сочетании с иными приемами, которые обычно ассоциируются с поэзией. Красота повествования достигается, в том числе, обилием ассонансов, аллитераций, внутренних повторов, параллельных конструкций и противопоставлений, обильного использования авторских неологизмов, которые самым причудливым образом сочетаются с серьезностью и даже мрачной торжественностью темы и объекта повествования – смерти и погребальных ритуалов.

Полное название второго эссе «Сад Кира, или квинкунксиальные, ромбовидные и сетевидные насаждения древних, естественно, искусственно и мистически рассмотренные» (The Garden of Cyrus, or the Quincunciall, Lozenge, or Net-work Plantations of the Ancients, Artificially, Naturally, Mystically Considered) звучит замысловато. Слово «quincunciall» было так же непонятно читателям XVII в., как и современным, но его использование в прозе Брауна, изобилующей непонятными словами и неологизмами, вполне закономерно. Словом, «к которому сэр Томас Браун испытывал такую чрезмерную любовь, что использовал его к месту и не к месту»[31], астрологи обозначали определенное расположение планет; позднее оно стало применяться садовниками для обозначения расположения деревьев или других растений, когда одно из них высаживалось в центре прямоугольной площадки, а четыре других – по ее углам. Браун ищет и находит Божественный квинкунксиальный порядок в цивилизации и в природе: «Хотя сей порядок, свойственный растениям, находит совпадения или подражания в различных произведениях Искусства, не избежать также и природных примеров... Удовлетворимся ли положеньем светил в вышине, иль обнаружим мудрость сего порядка, что столь незыблемо хранят небес недвижны Звёзды…»[32].

Ботаника и садоводство приобрели в Англии XVII века чрезвычайно высокий статус, на создание садов тратились состояния, и пример тому находился перед глазами Брауна. Его близкий друг и покровитель

[29] Браун 2013: 33.
[30] Browne 2014: 22.
[31] Gosse 1905: 123.
[32] Браун 2019: 261.

сэр Николас Бэкон, владелец поместья Джиллинсгем, разбил там огромный сад и погрузился в изучение садового искусства. Поддерживая друга в его начинаниях, Браун посвящает ему «Сад Кира» и пишет вдохновляющие строки: «Турки, проводящие дни свои в садах, будут иметь сады и в загробной жизни, Цветами услаждаясь на земле, в Раю должны иметь и Лилии, и Розы… Катон души не чаял в капусте»[33]. Сам доктор Браун разбил прекрасный сад при своем доме в Норидже, где выращивал многие редкие растения[34], и его глубокие знания ботаники находят отражения в тексте с целью подтверждения основной идеи: «Белый зонтик, или лекарственный куст Бузины, есть Воплощение сего порядка: поднимающийся из пяти основных стеблей, Квинкунксиально расположенных, и сносно сохраняемый в своих ответвлениях»[35]. По сути, в тексте трактата ярко проявляются натурфилософские взгляды автора, который воспринимает мир в его целостности и единстве. Автор демонстрирует свои обширные и глубокие знания ботаники, но в тексте также рассыпаны факты по истории, архитектуре, поэтике. К. Килин характеризует «Сад Кира» как «самую глубокую с научной точки зрения, хотя и несколько бестолковую»[36] работу Брауна.

Еще одним важным поводом обращения автора к «садовой» теме в 1658 г. стало его знакомство и сотрудничество с Джоном Ивлином (John Evelyn), знаменитым мемуаристом и садовником, одним из основателей Лондонского Королевского общества (Royal Society of London). Именно в это время Ивлин собирал материал для написания большого научного трактата по ботанике и садоводству «Elysium Britannicum». Этим планам не суждено было сбыться, но некоторая подготовительная работа была им проделана. Как сообщает Ивлин, сэр Томас Браун согласился написать для этого труда несколько глав и начал активно работать над проектом. Объемный трактат «Описание некоторых растений, упоминаемых в Священном Писании» («Observation upon several Plants mentioned in Scripture»), который был опубликован уже после смерти автора, относится, скорее всего, к периоду сотрудничества Брауна с Ивлином.

В своих мемуарах Ивлин рассказывает, как он искал знакомства с прославленным автором «Вульгарных ошибок» и как польщен был его дружбой. Напомним: всю вторую часть жизни, начиная с 1637 г. и до смерти в 1682 г., Браун безвыездно жил в Норидже, в значительном отдалении от Лондона и Оксфорда, ведущих центров научной жизни. Его общение с другими интеллектуалами эпохи осуществлялось либо в Норидже (если они туда приезжали, как Ивлин, или жили, как Артур Ди), либо благодаря переписке. А. Николсон характеризует Брауна как «гения-затворника, который использовал свои записные книжки для разгадывания тайн вселенной»; он также утверждает, что XVII век стал пер-

[33] Браун 2019: 187–188.
[34] См.: Evelyn 2004; Gosse 1905.
[35] Браун 2019: 265.
[36] Kileen 2014: XVI.

вым в Англии периодом распространения письменного слова, эпохой само-описания (self-depiction) людей[37]. Кроме возросшего уровня грамотности, этому немало способствовало то, что в 1635 г. королевская почта (Royal Mail), располагавшая налаженной системой оборудования и персонала, стала доступной для частных лиц, что давало людям возможность вести регулярную переписку. Среди постоянных корреспондентов Брауна был, в частности, Элиас Эшмол (Elias Ashmole), известный антиквар и алхимик. Его обширная коллекция произведений искусства легла в основу первого в Англии общедоступного музея (Эшмолианский музей до сего дня является одной из достопримечательностей Оксфорда). Любопытно, что принцип, лежавший в основании собрания Эшмола, наглядно отражал дух эпохи, когда коллекции создавались не столько по тематическому или жанровому принципу, но, скорее, по принципу оригинальности предмета и представляли собой собрание редкостей. Браун не остался в стороне от коллекционирования. В 1671 г. Ивлин пишет в дневнике: «Весь его дом и сад – это рай и собрание редкостей, прекрасная коллекция, особенно медалей, книг, растений и разных природных объектов»[38]. В 1651 г. после смерти своего друга А. Ди (Arthur Dee) Браун получил по завещанию большое собрание книг и древних рукописей. Артур Ди, медик и знаменитый астролог, принадлежал к тому же интеллектуальному слою эпохи, который сформировал Брауна и, одновременно, некоторым образом формировался им. В 1623–1637 гг. А. Ди был медиком российского царя Михаила Федоровича, а затем, после возвращения в Англию, медиком Карла I. Последние годы жизни он провел в Норидже, где и подружился с Т. Брауном.

Каковы были роль и место Т. Брауна в интеллектуальной жизни Англии его эпохи? Дж. Холт оценивает их критически: «Он не был мыслителем первого ранга (как Ньютон), ни даже второго (как Гоббс)»[39], – и справедливо отмечает, что Браун не встречался ни с одним из своих великих современников – Мильтоном, Бойлем, Гоббсом, Локком, Ньютоном (последний, напомним, жил в Кембридже, относительно недалеко от Нориджа). С другой стороны, нет сомнений, что текст «Вульгарных ошибок» был известен, хотя бы по названию, большинству из упомянутых лиц, а Бойль прямо ссылался на труды Брауна[40]. Существует глубоко укорененное в общественном сознании заблуждение, что в 1662 г. Браун стал одним из основателей Лондонского Королевского общества по развитию знаний о природе (The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge). Очевидно, это заблуждение базируется на нескольких основаниях, во-первых, на репутации Брауна и его принадлежности к кругу интеллектуальной элиты, а во-вторых, на тот факт, что среди основателей общества были его знакомцы Э. Эшмол и Дж. Ивлин.

[37] Nikolson 2013.
[38] Evelyn 2004: 273.
[39] Holt 2015.
[40] См.: Gosse 1905: 152.

Э. Госсе предполагает, что Браун не был приглашен основателями общества присоединиться к ним, поскольку интересовался, среди прочего, астрологией и имел репутацию ученого астролога (не отсюда ли его пристрастие к понятию «quincunciall»?). Думается, что это не вполне верно – Эшмол также имел репутацию известного астролога, что не помешало ему войти в группу создателей одного из старейших мировых научных обществ. Современные исследователи предлагают иное, более прозаическое объяснение[41]: к моменту создания Королевского общества Браун был немолод, обременен большой семьей и обширной практикой, и в его планы явно не входило путешествие в Лондон и пребывание там – длительная и утомительная поездка по меркам XVII века. Несколько позже членом общества стал его старший сын, лондонский врач, чем Браун очень гордился.

Сфера, где вклад Т. Брауна сложно переоценить, – это английский язык. Повторимся: Браун писал не только содержательно глубокую и оригинальную прозу – он писал ее изысканно. Будучи представителем старой школы европейской учености, он хорошо знал несколько иностранных языков, при этом одним из рабочих языков (в ряде случаев, первым) была для него латынь. С другой стороны, мощное развитие науки и публицистики, возросший уровень грамотности среди населения, распространение частной переписки наглядно выявили недостаток в английском языке научной терминологии и лексики для описания абстрактных понятий. С этим связана словотворческая деятельность Брауна. Знаменитый английский поэт-романтик XIX в. С. Кольридж, страстный поклонник Брауна, писал о нем: «Хотя он был настоящим гением, сначала он по-настоящему ранил литературный вкус нашего народа, вводя в язык ученые слова – в первую очередь по той причине, что они были учеными»[42]. Браун активно вводит в английский текст заимствования из латыни, греческого, итальянского и других языков. В своих работах он создает массу слов на основе латинских и греческих элементов – согласно Оксфордскому толковому словарю английского языка, в его трудах зафиксировано более 700 слов, которые именно он употребил впервые – исследователи творчества писателя окрестили их «брауницмами». Некоторые из них встречаются в корпусе текстов автора лишь один раз – например, zodiographer (греч. zodiakos – животное + grapho - писать), т.е. «человек, который пишет о животных, описывает их»; подобные слова не входят далее в английский язык. Но среди тех слов, которые сэр Томас Браун первым употребил по-английски, находим analoguous, anonymous, cylindrical, electricity, ferocious, generator, gymnastic, hallucination, literary, medical, migrant, coma, medical, hallucination, prairie, polarity – список нетрудно продолжить. Повторимся, что новоанглийский язык XVII века еще находился в стадии становления, а сам сэр Томас Браун искренне полагал, что его родной язык может быть возвы-

[41] См.: Bragg 2019; Sweet 2017.
[42] Coleridge 1955: 432.

шен до состояния должной «элегантности» (elegancy) только с помощью латыни, и способствовал этому процессу по мере сил.

Сложно однозначно определить роль сэра Томаса Брауна в интеллектуальной жизни Англии XVII века, а также его вклад в дальнейшее развитие гуманитарного знания. При всей своей огромной эрудиции и тяге к научному осмыслению мира Браун остается фигурой промежуточной: в «Вульгарных ошибках» он подводит итог вековым заблуждениям, царившим в умах предшествующих поколений, пользуясь методиками Нового времени, но сам при этом остается в плену некоторых старых заблуждений. Кроме астрологии, упомянем, в частности, его веру в реальное существование ведьм и участие в качестве эксперта обвинения в судебном процессе над двумя жительницами Нориджа. Браун не выдвигал собственной философской системы, не сделал научного открытия, но он, несомненно, участвовал в формировании интеллектуальной среды своего времени, которая высоко оценила его труды. Кроме того, сэр Томас Браун вошел в историю английской литературы как замечательный стилист. Возможно, самым очевидным вкладом сэра Томаса Брауна в развитие интеллектуальной жизни Англии XVII в. и последующих эпох является его словотворчество, в результате которого английский язык обогатился лексикой, описывающей абстрактные понятия, общенаучными терминами. И последнее – по порядку, но не по значимости: сама личность сэра Томаса Брауна, редкая для XVII века толерантность, доброжелательность, огромная эрудиция, живая любознательность, пытливость и другие качества, ярко проявляющиеся в его текстах, притягивала его современников и продолжает привлекать исследователей и читателей сегодня.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Борхес Х. Л. Сэр Томас Браун // Борхес Х. Л. Собр. соч. в 4 тт. Т. 1. СПб.: Амфора, 2011. С. 50–56. [Borges J. L. Sir Thomas Browne. // Borges J. L. Sobraniye sochinenii v 4 tomah. T. 1. SPb.: Amphora, 2011. S. 50–56].

Браун Т. Погребение в урнах, или рассуждение о погребальных урнах, недавно найденных в Норфолке / Перевод В. Григорьева, вст. статья О. Сидоровой. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2013. 200 с. [Browne T. Pogrebeniye v urnakh, ili rassuzhdeniye o pogebal'nikh urnakh , nedavno naidennikh v Norfolke. Perevod V. Grigorieva, vstupit. statya O. Sidorovoy. Yekaterinburg, izdatel'stvo Uralskogo Universiteta, 2013. 200 s.].

Браун Т. Двойное рассуждение / Пер. В. Григорьева, вст. ст. О. Сидоровой. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2019. 516 с. [Browne T. Dvoinoye rassuzhdeniye. Per. V. Grigorieva, vst. statya O. Sidorovoy. Yekaterinburg, izd-vo Uralskogo un-ta, 2019. 516 s.].

История английской литературы. Т. I, вып. II / Под ред. М.П. Алексеева, И.И. Анисимова. М.–Л.: изд-во АН СССР, 1945. 657 с. [Istoriya Angliiskoi literatury. T. I, vyp. II / Pod red. M.P. Alexeyeva, I.I. Anissimova. M.- L.: izdatelstvo AN SSSR, 1945. 657 s.].

Мирский Д.П. Барокко и английская литература. // Мирский Д.П. Статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1987. С. 21–70 [Mirskyi D. P. Baroccо i angliiskaya literatura. // Mirskyi D. P. Statji o literature. M.: Khudozhestvennaya literatura, 1987. S. 21–70].

Моэм С. Подводя итоги. Сер. «Эксклюзивная классика». М.: АСТ, 2012. 320 с. [Maugham S. Podvodya itogi. Ser. «Ekskljusivnaya classica». M.:AST, 2012. 320 s.].

Aldersey-Williams H. In Search of Sir Thomas Browne: the life and afterlife of the seventeenth century's most inquisitive mind. L.: Granta, 2015. 330 p.

Barbow R. Sir Thonas Browne: A Life. Oxford: Oxford University Press, 2013. 534 p.

Bragg M. In our time: Sir Thomas Browne. BBC Radio-4, June, 06, 2019. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/m0005ml9
Coleridge S.T. General Comments on Prose and Style // Coleridge on the Seventeenth century / Ed. R. F. Brinkley. Durham, N. C.: Duke University Press, 1955. P. 425–445.
Cressy D. Literacy and the social order: reading and writing in Tudor and Stuart England. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 256 p.
Evelyn J. The Diary / Ed. by Guy de la Bédoyère. Woodbridge; N.Y.: Boydell Press, 2004. 360 p.
Gosse E. Sir Thomas Browne. London–N. Y.: Macmillan, 1905. 215 p.
Hewitt K. Letter to O. Sidorova. April, 19, 2012.
Holt J. "In Search of Sir Thomas Browne" by Hugh Aldersey-Williams // The New York Times. 2015, July 13. URL: https://www.nytimes.com/2015/07/19/books/review/in-search-of-sir-thomas-browne
Johnson S. Sir Thomas Browne's Christian morals with the Life of the Author. L.: Pomona Press, 2008. 244 p.
Killeen K. Introduction // Sir Thomas Browne. Works. 21st-century Oxford authors series / Ed. by K. Killeen. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. XI–XXXIX.
Killeen K. Letter to O. Sidorova. May, 11, 2020.
Nikolson A. The Century that wrote itself. BBC 4 TV documentary series. 2013.
URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/b01rw3yy
Sir Thomas Browne. Works. 21st-century Oxford authors series / Ed. by K. Killeen. Oxford: Oxford University Press, 2014. 980 p.
Sweet M. Sir Thomas Browne and Adventures in Human Beings. BBC Radio-3. March, 14, 2017. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/b05sy6qv
Woolf V. Review of the Golden Cockerel edition of the Works of Sir Thomas Browne // Times Literary Supplement, 1923.
URL: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sir_Thomas_Browne

***Сидорова Ольга Григорьевна**, доктор филологических наук, профессор, заведующая, кафедра германской филологии, Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, ogs531@mail.ru*

Sir Thomas Browne and his Intellectual Heritage

The 17th century in Britain was full of political upheavals, but it was also a period of scientific and linguistic development. Sir Thomas Browne was a famous medic, thinker and man-of-letters whose name and works were very popular in his lifetime, his book "Vulgar Errors" was a European best-seller. In later periods, his popularity decreased. His works have not been translated into Russian till the 21st century and they have not been studied by the Russian scholars. The article analyzes Sir Thomas Browne's contribution into the English intellectual development of the 18th century, as well as inter-textual and contextual links of his works.

***Key words**:* the 17th century, Thomas Browne, "Religio Medici", "Vulgar Errors", cognition methodology, collecting, word-coinage

***Olga Sidorova**, Dr. Sc. (Philology), Professor, Head of Germanic Philology Department, Ural Federal University after the First President of Russia B. Yeltsin, ogs531@mail.ru*

С.И. Цеменкова

ПЕРВЫЕ КАРТОГРАФЫ ГОРНОЗАВОДСКОГО УРАЛА МИХАИЛ СИЛЫЧ КУТУЗОВ*

Статья посвящена реконструкции отдельных эпизодов жизни и деятельности известного уральского картографа «эпохи де Геннина и Татищева» Михаила Силыча Кутузова (1704–1741). Исследование следов его документального наследия, включающего в себя визуальные (карты, чертежи, планы), текстовые источники (отчеты-доношения), а также сведения, извлеченные из делопроизводственной документации, позволяют проследить судьбу не просто героя второго плана, служителя фронтира, но и вполне типичного представителя служилого дворянства, сформировавшего свои карьерные установки в эпоху Петра I.

***Ключевые слова**: история картографии, история горнозаводской промышленности Урала, история российского дворянства, Михаил Силыч Кутузов*

Герой статьи – яркий представитель той части дворянства, чье мировоззрение и система ценностей сформировались под влиянием идей Петра I: Михаил Силыч Кутузов был активным, сознательным, быстро схватывающим новые знания человеком поколения сильной руки и решительного действия.

Интерес к фигуре М.С. Кутузова возник не случайно. Работая над базой данных «Картографические документы Уральской горной администрации первой половины XVIII в.» я не раз с удовольствием изучала его чертежи, планы и карты. Затем, шаг за шагом, следуя документам Российского государственного архива древних актов (далее – РГАДА) и Государственного архива Свердловской области (далее – ГАСО), удалось воссоздать события его жизни практически по месяцам. Документы эти можно разбить на две категории: организационно-распорядительного плана (делопроизводственные, канцелярские) содержащие как наказы, инструкции, так и описание результатов его деятельности; и документы, составленные лично Кутузовым (в основном, отчеты). И так, постепенно, сквозь текст официальных документов, стал проступать, прорисоваться жизненный и карьерный путь Михаила Силыча, некоторые черты его характера, деяния и устремления.

В формате историко-биографического исследования, т.е. персональной истории, или новой биографической истории[1] попробуем проследить ключевые события жизни и деятельности Михаила Кутузова, выпускника Морской академии, получившего образование, необходимое для морского офицера, а на практике ставшего горным специали-

* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда. Проект № 20-18-00233 «Екатеринбург в 1733 г.: историко-антропологическая и архитектурно-пространственная реконструкция».

[1] См. подробнее: Репина 2010.

стом, грамотным руководителем и одним из самых известных создателей картографической документации уральской горной администрации.

«В чину учимых». Морская академия. Санкт-Петербург. 1720–1724

Психология служилого сословия была фундаментом самосознания дворянина XVIII в. Формировалась эта психология посредством и ряда государственных мероприятий, и личной деятельности Петра, и активного просвещения молодого дворянства. Новые учебные заведения, которые учреждались при жизни государя, были призваны дать стране образованных управленцев, профессиональных военных, инженеров, геодезистов – всех тех специалистов, в которых так нуждалась держава.

Одним из таких учебных заведений «нового типа» стала Морская академия, учрежденная 1 октября 1715 года в Санкт-Петербурге. В Академию старались набирать преимущественно дворян, имеющих некоторое состояние[2]. Программа обучения в Морской академии, по задумке Петра, была максимально приближена к идеям прагматизма, ценностям и качеству европейского образования, приобщала молодых людей к истокам отечественной и мировой культуры. Первоначально комплектование академии шло довольно быстро, «без особых принуждений» со стороны царя, и «во всем пространстве Российского государства не было ни одной знатной фамилии, которая бы не представляла в Морской академии сына или ближайшего родственника»[3]. Как оказался в числе гардемаринов Михайло Силин сын Кутузов – добровольно или по принуждению – мы не знаем. Известно лишь, что в академию он был определен в 1718 г., в 1724 г. ему было 20 лет, а отец его – капитан Сила Иванович Кутузов проживал в Белозерском уезде в собственном имении, которое досталось ему после смерти первой жены – матери Михаила[4].

Несмотря на элитный характер учебного заведения, жилось гардемаринам сложно. Академии выделили дом бывшего единомышленника Петра I А.В. Кикина. Здание находилось в непосредственной близости от Адмиралтейства, на месте будущего Зимнего дворца, но было небольшим и мест для проживания не хватало. Ученики жили, в основном, на квартирах мелких чиновников, матросов и мастеровых[5]. Михаил Кутузов в 1724 г. показал, что «квартиру имеет у соляных амбаров во второй Преведенской слободе у писаря Никифора Мартынова», а один из его товарищей – Петр Зеленой, жил в той же слободе «у десятника Родиона Коновалова»[6]. По замечанию Веселаго, особенно тяжелыми для Академии были три последних года жизни Петра. Ученики бедствовали: были плохо одеты, жалованье им выдавалось с недоимками, да и то не деньгами, а товарами. «Школьники» выживали, как могли: кто-то убе-

[2] Цит. по: Веселаго 1875: 600.
[3] Зуев 2005: 12.
[4] РГАДА. Ф.271. Оп.1. Д. 696. Л.378.
[5] Веселаго 1875: 608.
[6] РГАДА. Ф.271. Оп.1. Д. 696. Л.385-386.

гал, а кто-то и подворовывал, кто-то ходил по миру[7]. Эту картину дополняют факты из биографии самого Михаила, который осенью 1724 г. попался на мелком воровстве: «при раздаче товара» взял тайно «конец китайки»[8] и спрятал под полу[9]. Денег на пропитание не хватало.

Залогом будущей успешной деятельности Кутузова в качестве талантливого картографа послужила особая программа обучения, которая помимо общеобразовательных предметов, иностранных языков, основ военного и морского дела, включала в себя точные и прикладные науки. Особо важными в его образовательном опыте стали практическая астрономия, сферическая тригонометрия, или «сферика», общая и математическая география, основы картосоставления. Англичане Генри Фарварсон и Стефан Гвин обучали морскому делу, картографии и навигации. Ученики приобретали навыки обращения с геодезическими и астрономическими инструментами (буссолями, астролябиями, квадрантами и пр.)[10]. Как свидетельствуют документы, Михаил успешно освоил все эти науки и значился в числе самых успевающих учеников[11]. И, конечно же, Морская академия не могла не повлиять на становление его как личности, мыслящей категориями и ценностями новой, петровской эпохи, впитавшей идеалы европейского Просвещения.

В 1724 г. Михаил оказался в числе лучших двадцати учеников, отобранных лично В.Н. Татищевым для обучения горным наукам в Швеции. Но события развернулись иначе: через Берг-коллегию в академию обратился В.И. Геннин, с просьбой прислать толковых «школьников» к строительству горных заводов на Урале. Рекомендовано было обратить внимание только на шляхтичей, а в Швецию «к подлым наукам» отправить простолюдин. Так решился последующий жизненный путь Михаила Кутузова и некоторых его товарищей. В декабре 1724 г. Берг-коллегия отвела им четыре месяца на дорогу «по зимнему пути», снабдила строгими инструкциями и не без заминки выдала денег на проезд[12].

Картограф. Сибирский обер-бергамт. Екатеринбург. 1725–1730 гг.

Наибольшую ценность картографического фонда ГАСО представляют чертежи, планы и карты (ландкарты), созданные в первой половине XVIII в. Это было время активного промышленного освоения Урала и новых территорий, время, когда картографическую документацию создавали, в основном, не столько профессиональные геодезисты (их было слишком мало), а люди, подобные М.С. Кутузову – «петровские универсалы». Кроме того, в этот период картографический документ выступал в качестве особого управленческого и даже идеологического

[7] Веселаго 1875: 606

[8] Китайка – первоначально шелковая, а затем и хлопчатобумажная ткань.

[9] РГАДА. Ф.271. Оп.1. Д.1010. Л.382.

[10] Гольденберг, Постников 1990: 21-22.

[11] РГАДА. Ф.271. Оп.1. Д.1010. Л.385 об.

[12] Там же. Л. 393, 405 об.

инструмента – поскольку изображал, устанавливал и закреплял не только территорию империи, но и демонстрировал ее протяженность, красоту и величие. И еще один значимый момент: карты этого периода – продукт достаточно индивидуальный, что позволяет исследователю понять геодезические навыки составителя, оценить уровень его артистизма и особое видение репрезентации пространства. В это время на Урале твердою рукою государства и В.И. Геннина активно строилась казенная горная промышленность. К середине 1720-х гг. в ее хозяйстве значились Екатеринбургский, Алапаевский, Каменский, Лялинский, Уктусский, Пермские – Пыскорский и Ягошихинский, Полевской и Синячихинский заводы. Обширный металлургический комплекс остро нуждался в толковых администраторах и специалистах разного профиля, в том числе и в области создания картографической и инженерной документации.

Начало горнозаводской графике было положено в Екатеринбурге, как горнозаводском центре Урала и Сибири. Здесь находились самый большой и передовой в техническом отношении завод, горная школа, технические кадры. Именно в Екатеринбург в апреле 1725 г. прибыли выпускники Морской академии, в т.ч. и Михаил Кутузов. Изначально определенный к Екатеринбургской плавильне[13], он пробыл там недолго. Уже в сентябре 1725 г. ему назначили новое место службы: быть учителем в школе, преподавать арифметику, геометрию и науку составления чертежей, «понеже свыше ево, Кутузова, в науках… при Екатеринбурхе не имеется, и между присланными от Академии учениками он, Кутузов, искуснее»[14]. К новой обязанности Михаил Силыч относился с полной ответственностью: в архивных документах сохранилась его аккуратная подпись «учитель Михайло Кутузов», а также ряд отчетов, описывающих уровень знаний учеников[15]. В ноябре 1725 г. на Урал из поездки в Москву вернулся Геннин. Он, наверняка, лично побеседовал с каждым из выпускников академии и оценил способности Михаила. Вчерашний «школьник» прекрасно рисовал, знал «живописную геодезию», владел точными науками, отличался способностями к обучению и был хорошим исполнителем. И довелось Михаилу Силычу за свою не слишком долгую жизнь «сочинить» планов, чертежей и ландкарт немалое число (а по охвату территорий – от Вятки до Иркутска, р. Лены и Байкала). Должность учителя пришлось оставить – на время, но не навсегда.

В это славное и трудное время – время «сотворения мира»[16], мира уральского, горнозаводского, промышленного – складывалось особое сообщество горных людей – «бергманов». Это были руководители, чьи имена навсегда вошли в историю Урала, иностранные специалисты-мастера, молодые шихтмейстеры и недавно прибывшие «школьники».

[13] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д. 55. Л. 330 об.
[14] Сафронова 2000: 49-50.
[15] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.55. Л. 1081.
[16] Корепанов 2006: 111.

Почти все они, включая В.И. Геннина, практически навсегда были вырваны из прежней жизни, но многие из них верили в свое предназначение в деле строительства новой державы. Именно тогда, в июле 1726 г., генерал поручил Михаилу Силычу проведение первых картографических работ. Сам Кутузов пишет об этом так: «…послан я был на заводы Каменской, Алапаевской и Синячихинской для положения на карту оных и рудников со облежащими речками и другими знатными местам»[17]. Не успел он оформить полевые материалы в окончательные карты и планы, как 16 августа Геннин повелел ему ехать с той же целью на Лялинские, Пыскорские и Егошихинские казенные заводы. Кутузов с успехом справился и с этой задачей и «объявил» ее результаты 27 января 1927 г. лично Геннину. Часть осени, и начало зимы было посвящено обработке полевых материалов. Результаты съемок на местности нужно было превратить в понятный и узнаваемый визуальный образ – план или ландкарту: обозначить рельефы, русла рек, населённые пункты, промышленные объекты; «подштриховать» и раскрасить графику.

Кто выбрал стезю служение державе, тот вынужден был учиться всю жизнь. В марте 1727 г. Михаил Кутузов и его товарищ по Академии Василий Горчаков уехали на Пыскорские заводы, на Григорову гору обучаться маркшейдерскому делу[18] у Вильгельма Штифта[19] – овладение подземной геодезией, заключающей в себе правила съемки подземных горных выработок, было делом чрезвычайной важности. Как констатировала Берг-коллегия в одном из указов 1726 г., она «в маркшейдерской науке из руских учеников…поныне еще ни одного человека не видит». Именно на Урале велась их подготовка, первых на всю Россию, и неудивительно, что Кутузов оказался в их числе[20]. Кроме того, с 1720-х гг. было определено магистральное направление в деле подготовки горнозаводских офицерских кадров: «…вновь в чины производить прежде таких, которые в металлургии, в горных и в заводских произведениях искусны будут» [21]. Было вполне ясно, что все, кто не думал избегать трудностей, а решил посвятить жизнь Уралу, были одержимы стремлением к учебе и совершенству. В течение года Горчаков и Кутузов изучали новую для них науку и оказались «весьма способны»: «могут править маркшейдерское дело при горных делах так, как надлежит маркшейдерам» – было написано в аттестатах, данных им от Вильгельма Штифта[22].

Кутузов быстро зарекомендовал себя как специалист. Уже вскоре Геннин дал ему такую характеристику: «Кутузова надлежит произво-

[17] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.117. Л.2
[18] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.152. Л. 318.
[19] Вильгельм Штифт приехал с Олонца вместе с В. И. Генниным в 1722 г. и дал обязательство обучать русских маркшейдерским и плавильным наукам.
[20] Сафронова 2000: 50.
[21] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.1068. Л.224 об.
[22] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.280. Л.34.

дить по степени в чины так, как и протчих шихтмейстеров при горных делах, а паче маркшейдерских дел, понеже оного Кутузова наука ко оным маркшейдерским делам прилична»[23]. Еще один пакет картографических документов был подготовлен Кутузовым в 1729 г., когда Геннин, получив особый указ Сената, распорядился о составлении «обстоятельных» планов Екатеринбургского и других новых заводов, а также чертежей рудников и месторождений. Качество карт было высоким, художественное исполнение – красочным и изящным. Часть этих карт украшала «каморы» Сибирского обер-бергамта на протяжении многих лет[24].

К концу 1720-х гг. Михаил Кутузов, объездил все казенные уральские заводы и для каждого из их составил запрошенные Берг-коллегией и Генниным комплекты рисунков, карт и планов[25]. Он «сочинял» сложные и обширные по территориальному обхвату ландкарты, он грамотно составлял тот вид графической документации, который сегодня называют «горно-графической»: планы и разрезы рудников, месторождений, схемы расположения промышленных объектов и пр. К 1729 г. он был уже в должности берг-гешворена: усердная служба давала результаты.

Михаил Силыч стал автором первых планов Екатеринбурга (1726, 1729). Особый интерес представляет его «Рис Екатеринбургских медных и железных фабрик»[26] 1729 г., выполненный в аксонометрической проекции – уникальный в своем роде чертеж фабрик-цехов Екатеринбурга. По сути дела, такой прием передачи изображения промышленных объектов мы видим позднее в иллюстрациях «Описания Уральских и Сибирских заводов» В.И. Геннина. Исследователи до сих пор спорят, был ли Михаил Силыч среди авторов иллюстраций протографа рукописи[27].

Маркшейдер. Сибирь. Илимский уезд. 1730–1735 гг.

В 1730 г. жизнь Кутузова круто изменилась. Летом Геннину явился крестьянин баронов Строгановых Федор Семенников и заявил, что обнаружил в Илимском уезде в горах свинцовые руды, которые «по пробам явились свинцом богатые, також в некоторых есть по малой части и серебра»[28]. В России в допетровскую эпоху серебра добывали очень мало. Петр I предпринял меры для привлечения серебра в казну, его добывали на Нерчинских месторождениях, но чеканка серебряной монеты, и при жизни Петра, и в 1730-е гг. велась из привозного сырья. Алтайское

[23] Сафронова 2000: 50-51.
[24] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.450. Т.1. Л.11 об. Некоторые из этих карт до сих пор приводятся в различных научных изданиях в качестве примера классической горной графики. См., напр.: Рябов 2016: 26.
[25] ГАСО. Ф.24. Оп.1 Д.121. Л.101.
[26] Рис – рисунок вообще, например, каких-либо строений, в отличие, например, от грундериса – рисунка земной поверхности.
[27] См. подробнее: Каменский 1957: 7-8; Корепанов 2004: 287; Карелин 2008: 159-163; Антропов 2013: 88, Алексеев 2017: 193 и др.
[28] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Л.490. Л.446.

серебро потребностей государства не покрывало, и вдруг появилась надежда организовать добычу драгоценного металла в Восточной Сибири.

Геннин обратился в Берг-коллегию, и в ноябре того же года приняли совместное решение: отправить в разведочную экспедицию берг-гешворена М. Кутузова с командой искусных штейгеров и плавильщиков. Маршрут предстоял не ближний: Тобольск – Тара – Томск – Енисейск – Илимск. А далее, «по сказке» рудоискателя, от Илимска «в сторону на Орленскую слободу» еще 280 верст. Итого – 3825 верст.

В непростое путешествие с берг-гешвореном были отправлены иностранец плавильный мастер Ост-Ворман, бергаур М. Мельников, три горных ученика и копиист Н. Мещеряков. За три месяца добрались до места, в апреле начали бурить первые штольни, построили печи для пробных плавок, наняли два десятка дополнительных работников. Летом объехали все показанные места, где «по сказкам» должна была быть свинцовая и серебряная руда. Работали и зимой в тяжелых условиях, преодолевая огромные расстояния для покупки пороха в Иркутске (который был крайне плох и дорог), уклада, иных припасов и материалов[29].

Уже в конце 1732 г. стало ясно – экспедиция похожа на авантюру. Кутузов сообщил в Екатеринбург, что в показанных местах «руда пресеклась и впредь надежды не уповает». В ответ получил указание: «…в тамошних и по близости в других местах серебряных и протчих всяких руд по горному обыкновению приискивать со всяким прилежанием». Еще год изнурительной работы не принес положительного результата, хотя команда Кутузова провела разведку немалых по охвату территорий, в основном, вдоль берегов Лены. Михаил Силыч представлял подробнейшие отчеты, подготовил ценный комплект чертежей рудников и ландкарт территорий[30]. «Три года во многих местах… радетельно работали», – сообщал он в одном из рапортов, – «как старые прииски, на которых работа производится, так и вновь отысканные серебряные руды весьма плохи и редки и все верховые и надежды к пользе и интереса от оных быть не уповаемо». Присланные в Екатеринбург образцы прошли пробы, в результате – «меди и свинцу хотя и содержат, токмо, малое число». В августе 1733 г. такой же вывод сделал мастер серебряного дела Козьма Шапошников, едущий из Нерчинска с комиссаром Т. Бурцовым на Ангару строить заводы. Он по сплаву получил лишь чугун и констатировал: «серебра и свинца ничего не явилось и, по мнению моему, в показанном месте руды не годны»[31].

---

[29] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.424. Л.719 – 719 об.

[30] Одна из них – «Ландкарта плоская Илимского уезда Орленской слободы при реке Лене имеющимся серебряным и свинцовым и медным рудника, також при том с описанием деревень, речек, гор и лесов», значится в описях Сибирского обер-бергамта за 1734 г., но в современных фондах ГАСО ее нет.

[31] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.425. Л.1054-1055.

Жилось тяжело. В мае 1734 г. Кутузов сообщал, что деньги закончились, он и все его служители и работники «претерпевают великую нужду и пришли во всеконечную скудость», а хлеб, обувь, платье и купить не на что, да и негде. От безысходности, в мае 1734 г. составив «воровски» подорожную с поддельной подписью Кутузова. сбежал «неведомо куды» копиист Никита Мещеряков[32]. Наконец, в январе 1734 г. в Обер-бергамте приняли решение: М. Кутузову велеть «то горное дело за пресечением руд работаю оставить» и возвращаться в Екатеринбург. Но указ на каком-то отрезке пути затерялся. В итоге, до сентября 1735 г. Кутузов продолжал писать отчеты, а с Урала еще пять раз посылали ему предписание сворачивать экспедицию. Только к маю 1735 г., через Иркутск, наконец-то вернулись в Екатеринбург.

Управитель. Полевской завод. «Башкирская шатость». 1735–1737 гг.

Вскоре последовало новое задание уже от нового горного начальника В.Н. Татищева – сочинять и исправлять карты и планы для внесения в «Гисторическую книгу» чертежам Уральского региона[33]. В конце 1735 г. Михаил Силыч Кутузов был назначен управителем Полевского завода. Серьезных задач было много, и одной из них была задача обороны – началась «башкирская шатость»[34]. Башкирское восстание 1735–1740 гг. стало одним из крупнейших в череде башкирских волнений XVIII столетия. Мятеж затронул и районы уральских заводов, где русские деревни, приписанные к заводам, подверглись нападениям[35]. Непосредственным же поводом для выступлений башкир стала деятельность Оренбургской экспедиции, о которой речь пойдет ниже.

Между тем у Кутузова складывались непростые отношения с горными служителями. Еще в 1728 г. вместе с Петром Зеленым он был обвинен в избиении поляка Гогольского, повара соликамского бургомистра, а на Лялинских заводах выстрелил из фузеи дробью в Инглина («как лицо, так и голову изранил»), хорошего мастера-плавильщика, но известного выпивоху и дебошира[36]. В 1736 г. на Полевском заводе произошел конфликт с другим иностранцем – штейгером Симоном Качкой. Штейгер обвинил заводского управителя в сожительстве с женой одного из ссыльных[37]. Неясно, так ли было дело, или Кутузова оклеветал человек, ранее уже замеченный в конфликтах с сослуживцами. С простым людом Кутузов ладил лучше: просил у горной администрации денег на шубы присланным рекрутам, хлопотал о небольшом жаловании мальчикам, учившимся при заводе барабанному бою[38].

[32] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.490. Л.857, 861.
[33] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.583. Л.6.
[34] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.610. Л.515; Д.616, Л.365.
[35] Кузьмин 1987: 243-244.
[36] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.188. Л.397-398.
[37] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.588. Л.404 – 405.
[38] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.588. Л.850.

Весной 1736 г. Кутузов вновь приобщился к проблеме добычи серебра. Но в этот раз уже он выступал в роли консультанта – помогал снарядить штейгеров уральской горной администрации в экспедицию «к городу Архангельску» на Медвежий остров, что в Белом море[39].

В это же время набеги башкир становятся интенсивнее: их видели уже и в окрестностях завода. Кутузов отправил в Екатеринбург донесение о том, что крестьяне боятся заготавливать дрова: «башкиры шалят», угля на зиму для работы медеплавильных печей не хватит[40]. Начальство приказало «иметь всегдашний объезд драгунами и мастеровыми людьми» близлежащих территорий. Из Екатеринбурга прислали несколько солдат с капралом, но для обороны их было мало, и вскоре управитель получил распоряжение вооружаться самостоятельно, обучать подчиненных стрельбе, собирать «охотников в поход на башкирцев». «Охотников» набралось немного, но во главе с надзирателем лесов М. Карцевым впервые сходили на ближнее расстояние, на учения, а в крепости проверили охрану и обороноспособность – «палили из пушек»[41]. Когда башкиры подошли к заводу, отбивались яростно, в бою пострадали несколько человек, в т.ч. маркшейдер Кутузов, которого проткнули копьем[42].

До 10 июля 1737 г. Кутузов, несмотря на ранение, руководил заводом, занимался составлением новых чертежей[43]. Чувствовал себя плохо: «Я при оных делах за долговременным бытием чрез тринадцатилетное время и дальних посылках, к тому же от неприятелей воров башкирцов принятою смертельной раной, стал быть весьма не здоров»[44].

Строитель. Уфимская провинция. Иковский завод. 1738–1739 гг.

Трагические эпизоды в биографии Кутузова связаны с деятельностью Оренбургской экспедиции. Созданная по проекту И.К. Кириллова в 1734 г., Оренбургская экспедиция решала политические и экономические задачи относительно Средней Азии, Бадахшана и Приаралья. Идее создания Новой России Кириллов чаял подчинить и природные богатства Урала: освоить новые территории, строить города и заводы. Но первые же мероприятия (в частности, начало строительства Орска) вызвали недовольство башкир, спровоцировав восстание 1735–1740 гг.

Строительство первого завода на территории Уфимской провинции Оренбургская экспедиция начала в апреле 1735 г., но оно было плохо подготовлено, русского населения здесь практически не было, большая часть местных жителей относилась к деятельности новых властей крайне отрицательно. Первая попытка закончилась неудачей[45]. Назна-

[39] Там же. Л. 781, 876 об.
[40] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.639. Л.47,56-57.
[41] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.610. Л.313, 510-512.
[42] Корепанов 2000: 64.
[43] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.901. Л.504.
[44] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.691. Л. 324.
[45] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.920. Л.150-152.

ченный в июне 1737 г. руководителем Оренбургской экспедиции после смерти Кириллова В.Н. Татищев снова решил начать строительство завода. Нужен был толковый и опытный руководитель. Выбор Татищева пал на Кутузова. Напрасно Михаил Силыч указывал горной администрации на подорванное недавно здоровье: вопрос о его руководстве строительством Иковских заводов считался окончательно решенным[46]. 28 января 1738 г. Кутузов с командой прибыл в Нагайбакскую крепость и начал осматриваться[47]. В распоряжении, данном Татищевым, жестко, но не вполне определено было написано: завод на речке Байряш строить немедленно! А где брать строителей? Русских деревень в окрестностях не было – места, в принципе, пустынные. Кутузов пишет в Екатеринбург: «какими людьми оной завод строить, того не показано»[48]. В инструкции, которую он вскоре получил от уральской горной администрации, также нет конкретики: «…иметь старание о вольных работниках».

Месяц ушел на подготовительные работы: осмотрели два рудника, находящихся в 60 верстах от Нагайбакской крепости «в степи и в пустом месте», составили чертежи для строительства завода. Убедились, что в округе нет в достатке необходимых инструментов: топоров, буров, молотов, кирок и пр. Всё это можно было закупить либо в Казани, либо везти с уральских заводов. В близлежащем же Мензелинске невозможно было приобрести даже свеч, бумаги и клея, не говоря уже о съестных припасах. Не было и леса для строительства плотины.

Обстановка в этих местах была, фактически, военная. Соседи – киргиз-кайсаки, каракалпаки, местное население – татары, чуваши, башкиры – также не составляли единого целого – некоторые согласились переменить веру и «новокрещенные» были определены в казачью службу. Но надежды на их помощь была слабой. Татар к заводскому строению и в работы «употребить не можно», вольных же не сыскать и «днем с огнем». На двух рудниках на постоянной основе работали лишь люди, привезенные с Пермских казенных заводов – всего 31 человек. Часть работников болела, многие «пожелтели», а лекаря и медикаментов в отряде не было. Многие просили священника «для исповеди»[49].

Вся полугодовая командирская жизнь Кутузова на строительстве подробно отражена в отчетных приходно-расходных книгах, входящих и исходящих документах Канцелярии, журналах регистрации. Особо он жаловался на ненадежность охранников – «из Нагайбакских записавшихся из татар в казаки, також и новокрещенных казаков»[50]. С ними, в основном, и происходили постоянные конфликты. Живя в особых,

[46] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.691. Л.333-334.
[47] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.791. Л.290–298.
[48] Там же. Л.476.
[49] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д. Д.791. Л.182, 624.
[50] Новая группа служилых людей – казаков, православных по вероисповедании, говоривших на тюркском (татарском) язык

комфортных условиях, отвечая только за организацию охраны, со строителями и работниками завода казаки вели себя вызывающе. Михаил Силыч не выдержал, начал, как и прежде, по уральским обычаям, собственноручно наказывать казачков. В Мензелинск полетели жалобы, и власти встали на сторону новокрещенных[51].

В июле 1738 г. Кутузова вызвали для разбирательства в Мензелинск. В августе канцелярия генерал-майор Соймонова сообщила в Екатеринбург, что Кутузов арестован: он стоящего у себя на карауле казака «в шумтсве» плетьми застегал до смерти[52]. В ноябре Военный суд (кригсрехт) вынес приговор: «За учиненные им, Кутузовым, придерзости… отнять у него обер и унтер офицерские ранги». Было принято решение Кутузова определить «за штейгера» с ежемесячным жалованием всего в два рубля[53].

Так решилась его судьба – защитить его горная власть не могла, да и не хотела. В то время В.Н. Татищев приложил немало усилий, чтобы усмирить местное население мирным, гуманным путем, путем уступок и преференций. И самоуправство Кутузова было абсолютно не приемлемо с позиции новой национальной политики. На место Кутузова с декабря 1738 г. был назначен его товарищ по Академии Алексей Васильевич Лавров. А Кутузова в том же месяце отправили работать на Кармалинский рудник[54]. Об условиях его жизни там свидетельствует коллективная челобитная работников рудника, составленная рукою Михаила Силыча в марте 1739 г. В ней значилось, что присланные к работам в ноябре 1738 г. горные и заводские служители рудника были вынуждены на скорую руку, поскольку стремительно наступала зима, построить себе «своим коштом» землянки для проживания и сохранения «провианту и харчевых припасов», в которых «во время зимнее и стужи хотя и с нуждою, но обитали». Но как только наступила весна, землянки стали разваливаться, потолок протекать, стены и полы осклизли. Вследствие постоянной сырости стало душно, припасы, платье и обувь начали подгнивать. Люди от постоянной работы в сырой одежде простужались и болели. Далее челобитная сообщала, что в том же руднике имеются «деревянные квартиры», сухие и теплые. В них живут казаки из новокрещенных татар, но «для обсушки» никого не пускают. На казаков напрямую не жаловались, но просили горные власти в лице Алексея Лаврова создать условия для просушки одежды[55].

К лету 1739 г. верховной власти стало ясно – успехов от строительства заводов в крае ожидать не следует. Приказали строительство сворачивать, все хозяйство передать в частные руки, людей возвратить на

[51] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.791. Л.97.
[52] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.742. Л.815-818, 834.
[53] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.791. Л.1 об – 2.
[54] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.791. Л.159 об.
[55] Там же. Л.165.

Урал. Распоряжение об этом Лавров получил в октябре 1739 г. Кутузова же, в конце года направляют на Полевской завод, на рудники, в помощники к берг-мейстеру Иоганну Крумбигелю[56].

Ветеран. Екатеринбург. 1740–1741 гг.

14 февраля 1740 г. был издан манифест «Об оказании высочайшей милости для окончания турецкой войны». В четвертом пункте документа «всех тех, которые во время прошедшей войны за не исправление должностей своих военным судом осуждены и чинов лишены», всемилостивейше прощали с возвращением прежних чинов «и оставлением их от военной службы»[57]. Михаил Силыч попал под «милости», его быстро вернули в Екатеринбург, начали собирать необходимые для реабилитации документы. А пока он оставался «бывшим маркшейдером» и получил новое задание: описать сенокосные места вокруг Екатеринбургского, Уктусского и Верх-Исетского заводов, разделить их на участки, «и положить на чертежи»[58]. Это была сложная работа. Дело в том, что уже с 1726 г. Сибирский обер-бергамт озаботился распределением покосов: всё население заводов – от высших офицеров до мастеровых – обзаводилось лошадьми, крупным и мелким рогатым скотом. Упорядочение системы сенокосных наделов стало жизненно необходимым.

Кутузов вновь проявил себя блестящим практиком: потребовал ранние чертежи, старожилов, которые знают местность – «без них сыскать и положить на чертеж участок невозможно»; размерщиков; опытных помощников-учеников, а не тех, «кто к тому делу не способны, геометрии и тригонометрии аккуратно не знают, да на практике геодезического дела не бывали – от них мне помощи не уповаемо»[59].

В октябре 1740 г. в Екатеринбурге получили от Берг-директориума подтверждение о прощении М. Кутузову вины и указ быть при Канцелярии в должности шихтмейстера[60]. Всю зиму и весну трудился Кутузов над обработкой материала полевого сезона. В мае 1741 г. он представил в Канцелярию отчет: «места я описал и на чертеж положил и с которого описания сочинение черной и белой чертежи, тако ж описание сенокосных мест при сем покорнейше объявляю»[61]. Лето также прошло в трудах по выделению покосов, теперь, преимущественно для тех, кто держал крупный рогатый скот[62].

На этом трудоемком участке работы прошел финальный отрезок жизненного пути Михаила Силыча Кутузова. За заслуги в проведении предыдущей работы его представили к очередной должности – берг-

[56] ГАСО.Ф.24. Оп.1. Д.877. Л.224 об.
[57] ГАСО. Ф. 24. Оп.1. Д..854. Л.1.
[58] ГАСО. Ф.24. Л.854. Л.1.
[59] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.850. Л.803.
[60] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.849. Л.347.
[61] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.865. Л.57 об.
[62] Там же. Л.99.

гешворена с повышением жалования. Но здоровье было подорвано. Психические нагрузки также, наверняка, дали о себе знать. В итоге он не успел завершить дело – умер Михаил Силыч поздней осенью 1741 г.

В ноябре 1741 г. уральская горная администрация определила: похоронить Кутузова за счет заслуженного им «по день смерти жалованья»[63]. Ушел из жизни, но оставил после себя дела славные и не очень, достойных учеников, в числе которых были картографы И. Бортников и А. Кичигин, обширный корпус качественных чертежей, планов и карт. Оставшееся от М.С. Кутузова небольшое имущество продали с публичного торга. Из вырученных денег оплатили его долги, а оставшиеся 81 рубль и 21 копейку необходимо было передать родственникам. Жены и детей, равно как и имущества, Михайло Силыч не нажил[64]. Со временем нашлись два сводных брата, служивших в Нарве, подпоручик Матвей Кутузов и сержант Иван Кутузов, им и передали деньги в 1752 г.[65]

Деяния Кутузова как рядового служителя фронтира – хорошая возможность для историка взглянуть на механизмы имперского процесса изнутри, равно как и понаблюдать за имперской идеологией в действии. Михаил Силыч не был приближен к власти и не находился в центре принятия решений, но он активно участвовал в строительстве Российской империи «со всеусердным радением, сколько возможно»[66]. Как отмечает Валери Кивельсон: «Империи строятся и на границах, а не только из центра»[67]. Казалось бы, Михаил Кутузов – герой второго плана в контексте укрепления рубежей империи на Урале, но перед нами классический пример «деяний» «птенцов гнезда Петрова», сложивших свои головы «во славу отечества», а уж когда речь заходит об истории уральской картографии – «в веках не меркнет имя его».

Архивные материалы

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф.271. Берг-коллегия.
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф.24. Уральское горное управление.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Алексеев Е.П. Принадлежность к миру огневой работы: художники на уральских заводах XVIII – начала XXI в. // Вестник Томск. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2017. № 27. С. 192-206 [Alekseyev Ye.P. Prinadlezhnost' k miru ognevoy raboty: khudozhniki na ural'skikh zavodov XVIII – nachala XXI v. // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye. 2017. № 27. S. 192-206.]

Антропов Д.Н. Образ горнозаводского Урала XVIII в. в иллюстрациях «Описания Уральских и Сибирских заводов» В.И. де Геннина // Известия УрФУ. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2013. № 4 (120). С. 86-97 [Antropov D.N. Obraz gornozavodskogo Urala XVIII v. v illyustratsiikh «Opisaniya Ural'skikh i Sibirskikh zavodov» V.I. de Gennina // Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 2, Gumanitarnyye nauki. 2013. № 4 (120). S. 86-97]

Веселаго Ф. Ф. Очерк русской морской истории: Ч. 1. СПб.: Тип. Демакова, 1875. 652 с. [Veselago F. F. Ocherk russkoy morskoy istorii: CH. 1. SPb .: Tip. Demakova, 1875. 652 s.]

[63] ГАСО. Ф.24. Оп.12. Д.298. Л.153.
[64] РГАДА. Ф.271. Оп.1. Д.696. Л.361.
[65] Там же. Л.382 об.
[66] ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.424. Л.719 об.
[67] Кивельсон 2012: 187.

Голденберг Л.А., Постников А.В. Петровские геодезисты и первый печатный план Москвы. М.:Недра, 1990. 160 с. [Gol'denberg L.A., Postnikov A.V. Petrovskiye geodezisty i pervyy pechatnyy plan Moskvy. M.: Nedra, 1990. 160 s.]

Зуев Г.И. Историческая хроника Морского корпуса. 1701–1925 гг. М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 447 с. [Zuyev G.I. Istoricheskaya khronika Morskogo korpusa. 1701–1925 gg. M.: ZAO Tsentrpoligraf, 2005. 447 s.]

Каменский В.А. Художники крепостного Урала. Свердловск: Свердл. кн. из-во, 1957. 82 с. [Kamenskiy V.A. Khudozhniki krepostnogo Urala. Sverdlovsk: Sverdl. kn. iz-vo, 1957. 82 s.]

Карелин В.Г. К истории рукописи «Описание уральских и сибирских заводов. 1734» // Четвертые Чупинские краеведческие чтения: материалы конференции (Екатеринбург, 14–15 февраля 2008 г.). Екатеринбург, 2008. С 40–47. [Karelin V.G. K istorii rukopisi «Opisaniye ural'skikh i sibirskikh zavodov. 1734 »// Chetvertyye Chupinskiye krayevedcheskiye chteniya: materialy konferentsii (Yekaterinburg, 14–15 fevralya 2008 g.). Yekaterinburg, 2008. S.40–47].

Кивельсон В. Картография царства: Земля и ее значение в России XVII века. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 360 с. [Kivel'son V. Kartografiya tsarstva: Zemlya i yeye znacheniye v Rossii XVII veka. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2012. 360 s.]

Корепанов Н.С. Никифор Клеопин. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. 212 с. [Korepanov N.S. Nikifor Kleopin. Yekaterinburg: Bank kul'turnoy informatsii, 2000. 212 s.]

Корепанов Н.С. Геннин на Урале. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2006. 280 с. [Korepanov N.S. Gennin na Urale. Yekaterinburg: Bank kul'turnoy informatsii, 2006. 280 s.]

Кузьмин А.Г. Татищев. М.: Молодая гвардия, 1987. 368 с. [Kuz'min A.G. Tatishchev. M.: Molodaya gvardiya, 1987. 368 s.]

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 1994. 399 с. [Lotman YU.M. Besedy o russkoy kul'ture: Byt i traditsii russkogo dvoryanstva (XVIII – nachalo KHIX veka). SPb.: Iskusstvo-SPB, 1994. 399 s.]

Репина Л.П. От исторической биографии к биографической истории // В тени великих: образы и судьбы. СПб.: Алетейя, 2010. 400 с. [Repina L.P. Ot istoricheskoy biografii k biograficheskoy istorii // V teni velikikh: obrazy i sud'by. SPb.: Aleteyya, 2010. 400 s.

Рябов Б.Г. Уникальные «махины» горнозаводского Урала и Сибири. (XVIII – середина XIX в.). Екатеринбург: Демидов. ин-т, 2016. 416 с. [Ryabov B.G. Unikal'nyye «makhiny» gornozavodskogo Urala i Sibiri. (XVIII – seredina XIX v.). Yekaterinburg, 2016. 416 s.]

Сафронова А.М. Первые школы Екатеринбурга (1724–1734): К 275-летию основания. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та. 2000, 144 с. [Safronova A.M. Pervyye shkoly Yekaterinburga (1724–1734): K 275-letiyu osnovaniya. Yekaterinburg. 2000, 144 s.]

***Цеменкова Светлана Ивановна**, кандидат исторических наук, научный сотрудник, Лаборатория эдиционной археографии, департамент «Исторический факультет», Уральский федеральный университет; s.i.tcemenkova@urfu.ru*

The first cartographers of the Urals mines: Mikhail Silych Kutuzov

The article is devoted to the reconstruction of particular episodes of the life and work of M.S. Kutuzov (1704–1741), a famous Ural cartographer of the "era of de Gennin and Tatishchev". The study of his documentary heritage, including visual (maps, drawings, plans), reports, as well as information extracted from office documentation, allow us to trace the fate of not just a supporting hero, a servant of the frontier, but also quite a typical representative of the service nobility, who formed their career lines in the era of Peter I.

***Keywords**:* history of cartography, history of the mining industry of the Urals, history of the Russian nobility, Mikhail Silych Kutuzov

***Svetlana Tsemenkova**, PhD (History), researcher, Laboratory of Editional Archeography, Department of History, Ural Federal University (Yekaterinburg); s.i.tcemenkova@urfu.ru*

Е.П. Антонов. В.Н. Антонова

«ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ» НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ ПЛАТОН ОЙУНСКИЙ*

Рассматриваются идеи партийно-советского руководителя Якутии П.А. Ойунского по обретению национальной государственности в форме автономной республики, что означало скачок от статуса «неисторического народа» к «историческому». В ходе разграничения с соседними регионами Ойунский пытался присоединить земли, населенные этническими якутами. Важное значение имели разработка Ойунским экономической основы для закрепления прав на земли, леса, воды, развитие промышленности и сельского хозяйства, установление внешних связей. Продемонстрировано, как государственность повлияла на формирование якутской нации.

Ключевые слова: *национальная государственность, автономная республика, якутизация, коренизация, якутская интеллигенция, идентичность, национализм*

В первой четверти XIX в. Г.В.Ф. Гегель, провозгласив государство высшей формой человеческого духа, причислил народы, создавшие его, к историческим: «Во всемирной истории может быть речь только о народах, которые образуют государство». Одной из важнейших черт новой модели историописания стала с тех пор актуализация «своей» национальной истории. Сегодня на передний план выходят исследования региональной культуры, в которых региональная идентичность понимается не как данность, а прежде всего как результат активности элит[1].

Жизненный путь Платона Алексеевича Ойунского, одного из «отцов-основателей» национальной государственности Якутии в форме автономной республики, поэта, писателя, ученого-филолога и знатока якутского фольклора – олонхо, неразрывно связан с исторической судьбой родного народа в эпоху революционных и постреволюционных трансформаций. Биография П.А. Ойунского подробно описана, а цель настоящей статьи – реконструкция его идей.

Детство и юность Платона Слепцова прошли в сельской местности Якутии, где мудрость, опыт народа, отшлифованные в мифологии и эпосе, верованиях и обычаях, различных поверьях и фольклоре, очень рано стали источником его интеллектуальной энергии[2]. «П.А. Ойунский, – отмечал народный писатель Якутии Д.К. Сивцев Суорун Омоллон, – еще в детстве впитал в себя, как впитывают корни растений сок родной земли, тайны художественного творчества своего народа. Если мы, последующее поколение, учили якутский язык по книгам, то Платон познавал его из первоисточника – от самого народа»[3]. В школьные годы Платон читал русские романы «Юрий Милославский», «Князь Серебря-

*29 ноября 1920 г. будучи зав. отделом Якутского губревкома П.А. Слепцов переменил свою фамилию на «Ойунский». – См.: Платон 2018: 8.

[1] Цит. по: Маловичко 2016: 92–94; Репина 2019: 8.

[2] Николаев 1993.

[3] Сивцев 1969: 145.

ный» и др. О его начитанности вспоминал учитель С.И. Прокопьев. Однажды он рассказал ученикам о Л.Н. Толстом. Его рассказ Платон слушал с большим интересом, а потом, попросив слова, рассказал об отдельных произведениях писателя. «Я очень ясно помню, – говорил Прокопьев, – как восхищался им, как мне понравился его рассказ»[4].

Начало XX века стало временем исторического выбора, разворота новых политических сил и борьбы идей, движения народов к свободе и равноправию. Молодой Платон Слепцов и его поколение по образу жизни, социальному положению и устремлениям вписывались в это движение, поскольку, с ранних лет критически воспринимали социальную несправедливость, нищету и бесправие большинства улусных якутов. Активное общение с представителями политической ссылки, нарождающейся якутской интеллигенции, литературные занятия подготовили почву для политического выбора и мировоззренческой ориентации.

В 1911 г. 17-летний Платон Слепцов с друзьями организовал в городском четырехклассном училище кружок учащихся-якутов, в котором, по словам его членов, «очень важным» был «спор литературный и политический». Впоследствии он подтверждал, что на собраниях кружка «шли оживленные споры на разные религиозные и политические темы», говорили «о науке, религии, иногда разгоралась дискуссия о власти, о царе». Этот кружок привил молодым людям живой интерес к политическим вопросам, дал толчок самостоятельной работе мысли, к размышлениям о путях развития своего народа. В статье Платона Слепцова в рукописном журнале «Юность» за 1914 г. есть такие слова: «богатые всасывают труд темных людей, как паразиты… Нет, друзья, это ужасно! Бесчеловечно. Так жить нельзя! Это ад, в котором погибает жизнь». Как видно, уже тогда он внутренне самоопределился как борец за изменение «ужасного» положения бедноты, и в словах «Так жить нельзя» определил себя как активного в будущем политического деятеля. В годы учебы он стал одним из лидеров учащейся молодежи города.

Через нелегальный литературный кружок «Первые шаги», а затем и подпольный марксистский кружок, Платон Слепцов с друзьями приобщились к марксизму. Молодых людей увлек радикализм достижения целей и решения задач путем революционных преобразований. С этого он решил посвятить себя без остатка революционной борьбе за свободу и равенство людей на началах социализма. Платон Слепцов искренне верил в правильность своего выбора, считал себя солдатом партии большевиков и честно проводил в жизнь ее линию. В свой выбор он вложил самое сокровенное – желание быстрее раскрепостить трудовой народ от социального и национального гнета, создать для него достойные условия жизни и деятельности[5].

[4] Пермяков 1974: 45, 46.
[5] Николаев 1993.

Дореволюционный режим отстранил элиты имперской периферии от управления, потребовав от них безоговорочного подчинения имперской гегемонии. Равноправие могло быть достигнуто только через ассимиляцию. Поэтому революция в окраинных регионах многонациональной империи вылилась в бунт лишенных культурной и национальной самостоятельности меньшинств[6]. Платон Слепцов и его единомышленники искренне приветствовали Февральскую революцию 1917 г., значение которой он видел в свержении монархии, в рождении «обновленной России», устранении «несправедливости и проклятий». Его мечтой была «обновленная Якутия», и во имя ее реализации он со своими друзьями «лихорадочно работал в дни революции». Одним из результатов стало проведение в 1917 г. первого областного съезда якутов и русских крестьян. Съезд выявил новых лидеров национально-культурного движения – Максима Аммосова и Платона Слепцова – первых социалистов из якутской массы[7]. В апреле 1917 г. Слепцов стал зам. председателя Совета рабочих депутатов (позже объединен с Советом солдатских депутатов), в августе окончил Якутскую учительскую семинарию и поступил на историко-филологический факультет Томского учительского института. Уже тогда он говорил: «Нам необходима автономия территориально-национальная и культурная…». В марте 1918 года Слепцов вступил в Томскую организацию РКП(б), а 1 июля с красным отрядом во главе с А.С. Рыдзинским участвовал в штурме Якутска[8].

Платон Ойунский провел огромную работу по созданию якутской государственности, был автором первого правового документа о местных органах власти – ревкомах, одним из авторов правового акта по землеустройству и других важных документов[10]. Он отмечал, что бывшая Якутская область имела губернские права, но весной 1920 г. Сибревком преобразовал Якутию в район Иркутской губернии. На эту ошибку не раз обращали внимание якутские руководители, но безрезультатно. Поэтому национальное движение в Якутии было склонно к радикализации и даже к полному отделению Якутии из состава РСФСР. Ойунский же открыто выражал негодование тем, что ВЦИК и Наркомнац предоставили бурятам автономию, а Сиббюро и Сибревком имеют «безумный аппарат, который расстреливает якутов-автономистов»[11].

В своем докладе 13 апреля 1921 г. на Сибирском совещании Ойунский подробно разъяснял необходимость обретения собственной государственности и особенности Якутской губернии, которая «представляет из себя территориально-обособленное царство», где «русские казаки и крестьяне, а также и политические ссыльные» «скоро становятся по-

[6] Баберовски 2006: 179.
[7] Николаев 1993.
[8] Статьи... 1969: 9, 102; П.А. Ойунский... 1998: 62; Платон... 2015: 111.
[10] Николаев 1993.
[11] Платон... 2015: 114, 115, 111.

чти “якутами” (объякучиваются)». Несмотря на политику русификации, с помощью православной церкви, просвещения и полиции все «не ставшее «якутским» замирает, погибает». После покорения Якутии при Борисе Годунове монархия препятствовала поступлению якутской бедноты в высшие и средние учебные заведения. Однако якуты в полной мере пользовались в низшей своей инстанции самоуправлением. При этом все идеи образованных политических ссыльных, у которых обучались многие якутские дети, «преломлялись под углом автономии, возрождения якутской нации». Отсутствие массового доступа коренных народов к средней и высшей школе стало причиной зарождения мысли о том, что «только своя власть, свой язык – разрешат все эти вопросы положительно». Ойунский призвал большевиков возглавить культурное и экономическое возрождение якутов[12].

В апреле 1921 года Ойунский, секретарь Якутского губернского бюро РКП (б) И.Н. Барахов и ответственный работник ЦК А.В. Агеев поставили перед Сиббюро и Сибревкомом вопрос об образовании Якутской АССР. Член Сиббюро В.И. Хотимский и председатель Сибревкома И.Н. Смирнов, учитывая оторванность Якутии, культурную отсталость населения, считали, что организация автономной Якутской республики не вызовет революционного подъема среди якутов и приведет к ее захвату Японией или США. Отмечалась также активность туземной буржуазной интеллигенции, панмонгольских и шовинистических элементов при полном отсутствии пролетариата и слабости коммунистической туземной организации РКП (б)[13]. По этому поводу Платон Алексеевич ответил оппонентам, что «вечно мерзлая, вечно недоступная по Северному Ледовитому океану, малонаселенная» Якутия «менее интересна, чем даже Камчатка и Сахалин, которые более близки и доступны японо-американскому империализму». Он призвал предоставить народам области «широкую возможность строить свою жизнь сообразно местным особенностям культуры, быта и нравов»[14].

Модернизация в России имела эндогенный тип, которая характеризовалась жесткой вертикальной направленностью преобразований, когда главным инициатором реформ является правитель и его ближайшее окружение. Большая часть населения страны при этом являлись либо пассивными созерцателями, либо полигоном или даже жертвами модернизационных процессов. Жесткие меры русских царей объяснялись общностью их реформаторских действий, иллюстрирующей особенности модернизационных процессов, которые можно проследить в других азиатских странах[15]. Советская власть делала ставку на молодежь, кото-

[12] Платон... 2015: 109-112.
[13] Макаров 1988: 129, 130; ГАНО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12а. Л. 23–25, 31.
[14] НА РС (Я). Фр. 2. Оп. 1. Д. 393. Л. 12, 12об.
[15] Мухин 2011: 154.

рые в перспективе представляли будущее и из которых его руководители хотели сформировать «новых людей». Стремительное осуществление в СССР программы всеобщего начального образования в 1930-х гг. не случайно совпало с террором, который помимо прочего был направлен на то, чтобы ликвидировать «неподдающихся перевоспитанию»[16]. Применения революционного террора не избежала и Якутия. Президиум Якутгуббюро в составе Г.И. Лебедева, А.Г. Козлова, М.К. Аммосова и А.В. Агеева представил 22 августа 1921 г. проект постановления об изоляции в губревком. Якутский губревком в составе председателя Ойунского, Г.И. Лебедева, С.М. Аржакова, А.Г. Козлова утвердил его 29 сентября. Изоляции и принудительным работам подвергались активные, злостные враги советской власти и другие опасные элементы, подразделявшиеся на четыре категории. К ним применялись лишение избирательных прав при выборах в Советы, конфискация или «взятие на учет» имущества и привлечение к принудительным работам[17]. Однако Ойунский и его сподвижники быстро приняли новую экономическую политику, которая была единственно подходящей для Якутии. Были исправлены ошибки в отношении к середняку[18]. Постановление Якутгуббюро и Якутгубревкома (за подписями Ойунского, С.М. Аржакова, А.Г. Козлова и Г.И. Лебедева) от 18 октября 1921 г. потребовало, чтобы изоляция не применялась в отношении учителей, фельдшеров, кооперативных работников, нарсудей, волостных и сельских секретарей, т.е. представителей интеллигенции[19]. 1 декабря 1921 г. губернская тройка по вопросам изоляции в составе Ойунского, Г.И. Лебедева и А.В. Агеева отменила изоляцию лиц первой категории, «запятнавших себя в прошлом антисоветской и контрреволюционной деятельностью». Этим же постановлением распускались «тройки по изоляции»[20].

Весь свой интеллектуальный багаж, всю практическую энергию Ойунский вложил в создание национальной государственности в форме автономной республики. 4 октября 1921 г. была образована комиссия во главе с ним для разработки проекта Конституции, подготовившая проект "Декларации прав и обязанностей трудящихся", согласно которому земельный фонд Якутии передавался трудящимся всех национальностей на основе уравнительного землепользования. Леса, недра и воды местного значения, советские хозяйства и крупные сельскохозяйственные предприятия стали общенародным достоянием Якутии, а недра – федеральным достоянием РСФСР. 15 мая 1922 г. на конференции рабочих, служащих и красноармейцев Ойунский отметил отсутствие в Якутии

[16] Мерль 2016: 17.
[17] Макаров 1988: 215–219; Башарин 1996: 123.
[18] Николаев 1993.
[19] Платон... 2015: 127, 128.
[20] Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф.р. 49. Оп. 1. Д. 125. Л. 90.

«фабрик, заводов, пароходства, крупных хозяйств» и говорил о переходе «от бесклассового общества к коммунистическому». 11 ноября 1922 г. он уже с удовлетворением заявил о постановлении Совета Труда и Обороны РСФСР «о передаче пушнины и товаров в распоряжение ЯАССР», что свидетельствовало о поддержке Федерацией «своих слабых братьев и сестер в тяжелые их годины»[21].

Несмотря на «культурный поворот», охвативший всю сферу социально-гуманитарного знания на исходе XX в., когда приоритет в регионально-исторических исследованиях все более переходил из сферы экономики к культурной специфике региональных сообществ, последние продолжают и сегодня определяться по территориально-административным границам и номинироваться по названиям соответствующих округов или исторических областей. Согласие по поводу формирования коллективной идентичности в форме государственности не решало проблему разграничения границ. Как правило, горячие головы националистов и расчетливые политики требовали максимальной территории, и в результате возникал соблазн применить разного рода этнические чистки. Наличие этнической однородности облегчало улаживание границы, но этническая однородность, достигнутая в результате изгнания, как правило, вызывала возмущение[22].

9 ноября 1921 г. председатель Якутгубревкома Ойунский составил пояснительную записку о присоединении Охотского побережья, связанного с выходом Якутии на внешний рынок, Бодайбинских золотых приисков с перспективой формирования национального центра промышленности и якутского рабочего класса, а также Камчатки и Чукотки. В спорных территориях Якутская республика брала на себя ответственность посредника между присоединяемыми территориями и центром. В 1924 г. Ойунский и его соратники в Конституцию Якутской АССР ввели расширение внешних границ за счет присоединения к Якутской республике Гижигинского, Охотского и Аянского районов, поскольку Охотск и Аян представляли собой «необходимые порты для обслуживания товарооборота». Еще ранее 27 февраля 1922 г. Платон Алексеевич своей телеграммой представителю американской кооперации во Владивостоке нашел вполне приемлемым «установить товарообмен и торговую связь». В тот период «правительство США еще не заключило с правительством РСФСР торговых договоров». Поэтому Ойунский вынужден был рекомендовать американцам выйти в скором времени на связь с Сибвнешторгом и Центросоюзом[23].

27 апреля 1922 г. сформировалось первое правительство Якутии – Совнарком под руководством Ойунского, а 23 января 1923 г. на I Все-

[21] Статьи. 1969: 37–39; П.А. Ойунский... 1998: 25, 29; Платон... 2015: 129, 158, 161, 162.
[22] Репина 2019: 7; Мегилл 2010: 56, 57.
[23] Платон... 2015: 134, 135, 144, 145; Платон...2018: 59.

якутском Учредительном съезде Советов его избрали председателем ЯЦИК. 22 апреля 1922 г. он подписал манифест об амнистии повстанцев[24], а 29 апреля 1923 г. его, как "идеолога автономности Якутии", приняли почетным членом культурно-просветительного общества "Саха омук"[25]. Значительна заслуга Ойунского в принципиальной поддержке национальной интеллигенции в условиях «классового расслоения». Гуманная амнистия участников антисоветских движений, в первую очередь интеллигентов, свидетельствовала о стремлении сохранить интеллектуальную силу народа для его «духовного раскрепощения». В проведении и отстаивании этой политики он занимал принципиальную позицию, что дало председателю Якутского губбюро РКП (б) Г.И. Лебедеву повод заговорить о «национализме» Ойунского[26].

В 1928 г. после подавления выступления конфедералистов во главе с П.В. Ксенофонтовым, добивавшихся предоставления Якутии прав союзной республики, национально-культурного самоопределения и обеспечения прав личности, руководство Якутской АССР было обвинено в "систематическом вьдвижении" на руководящие должности националистически настроенной интеллигенции". На VI областной партийной конференции (2–6 сентября 1928 г.) партиец А.И. Кремнев сказал, что "Ойунский, один из представителей бывшего руководства, считает ниже своего достоинства приходить на конференцию и считает за лучшее отсиживаться дома"[27]. Когда в 1933–1935 гг. в СССР обнаружилось, что национальные коммунисты объединились с традиционными элитами вместо того, чтобы отстранить их от рычагов власти, Сталин дал указание уничтожить нелояльных коммунистов[28].

Ойунский и его соратники понимали, что провозглашение автономной республики является мощным рычагом экономического, политического и культурного возрождения народов Якутии. В 1920-е гг. была проведена большая организаторская работа по мобилизации народа на восстановление разрушенного Гражданской войной народного хозяйства, социально-культурное возрождение, создание промышленности как фундамента развития всей экономики, ликвидацию архаичной классной системы землепользования и др. Платон Алексеевич определил в качестве главных две задачи: «экономическое раскрепощение трудящихся…и духовное раскрепощение» народа. Он стремился подчинить всю систему государственных органов для решения этих задач[29].

Постановлением ЯЦИК от 13 апреля 1923 г. за подписью Ойунского допускалась для трудовых хозяев сдача части покосных и хлебопа-

[24] П.А. Ойунский... 1998: 13, 24, 25.
[25] Платон... 2015: 235.
[26] Николаев 1993.
[27] НА РС (Я). Ф. 605. Оп. 2. Д. 12. Л. 169.
[28] Баберовски 2006: 189.
[29] Николаев 1993.

хотных земель в аренду и получения вознаграждения в виде денег, продуктов и пр. Создание социалистического крупного сельского производства он связывал с превращением «всей Якутии в единую сеть кооперации», которая «не скоро еще изживет частную собственность». Особое внимание Ойунский уделял развитию Алданской золотой промышленности, полное снабжение которой местной сельскохозяйственной продукцией планировал к 1925 г. Он видел решение этой задачи в усилении экономического влияния якутского торгового аппарата на приисках, увеличении ввоза сельхозпродукции и ширпотреба. В добыче золота Ойунский видел источник «развития всей торгово-промышленной жизни страны и весьма существенной поддержки основных отраслей якутского хозяйства, в частности скотоводства и земледелия»[30].

Как в случае с эмансипацией женщин, «социалистическая модернизация» сделала ставку на эмансипацию более ста этносов. Избранная руководством страны политика аффирмативного действия должна была создать условия для догоняющего развития этносов, не имевших собственной письменности и элит. Политика коренизации была вполне успешной и способствовала формированию национального самосознания отдельных народов. Ойунский призывал «без колебания» перейти «на якутский язык всех высших органов власти». Якутизация госаппарата означала для него «широкое привлечение трудящихся Якутии к активному и непосредственному участию в государственной жизни, в строительстве новой жизни своего социалистического отечества»[31].

Декларирование коммунистами достаточно либеральной позиции в вопросе национальной культуры создало условия для того, чтобы якутская интеллигенция сконцентрировала свои творческие усилия на разработке механизмов воспроизводства и функционирования этнической культуры в ущерб (к разочарованию партии) интегративному моменту, предполагавшему культурное развитие якутов в общесоветском контексте. Как оказалось, «политического самоопределения» 1923 г. было недостаточно, и в общественном дискурсе актуализировалась проблема «культурного самоопределения», создания «культурной» этнонации[32].

В 1928–1931 гг. будучи наркомом просвещения Якутии Ойунский внес вклад в формирование сети новых школ, культурно-просветительных учреждений, книгоиздательской деятельности, в развитие национальной печати и культуры[33]. Наркомпрос Якутской АССР тогда имел некоторую самостоятельность. Руководство всей культурной жизнью республики было сосредоточено в этом органе исполнительной власти[34],

[30] Платон...2018: 40, 41, 49, 57.
[31] Мерль 2016: 18; Платон..., 2018: 50, 52.
[32] Варнавский 2003: 159, 179.
[33] П.А. Ойунский… 1998: 14.
[34] Варнавский 2003: 179, 156, 158.

и через просвещение национальная интеллигенция попыталась конструировать якутскую нацию. Археология и этнография предлагали «ясные и доступные исторические образы, которые пробуждали в полуграмотных массах национальное самосознание»[35].

В ноябре 1925 г. вышло постановление Президиума ЯЦИК «О мерах борьбы с шаманизмом в ЯАССР». Исходя из политики центральных органов РСФСР по отношению к религиозным культам, Президиум ЯЦИК постановил считать шаманство, опирающееся в своей практической деятельности на религиозные воззрения якутов, «явлением особенно вредным, тормозящим культурно-национальное возрождение и политическое развитие народностей, заселяющих ЯАССР». Наркомату просвещения и здравоохранения республики предписывалось разработать обращение, разъясняющее «истинную природу и характер шаманизма», наркомату юстиции – инструкцию для судебных и следственных органов о порядке привлечения к ответственности шаманов за совершение преступных деяний[36].

В 1930 г. Ойунский написал и выпустил научно-популярную брошюру «Происхождение религии», где возникновение религий объяснял бессилием человека перед силами природы. Основным средством борьбы с «опиумом народа» он признавал интеллектуальную дискуссию с её представителями. Привитие народу атеистических взглядов не сводилось к закрытию церквей и гонениям против священников и шаманов. Карательные меры могли применяться, по его мнению, лишь в том случае, когда население усомнится и отойдет от традиционных верований. Так, поэт подчеркивал тесную связь антирелигиозной борьбы с распространением просветительства и избавлением от патриархальных суеверий и предрассудков отсталого в социально-экономическом и культурном развитии якутского народа. Эта цель не была сугубо социалистической, поскольку она носила общедемократический характер и являлась одной из важных задач по секуляризации церкви в ходе буржуазных революций в Европе в новое время. Примечательно, что, когда началась массовая коллективизация, и развернулись репрессии против крестьянства, Платон Алексеевич писал о необходимости толерантного отношения к священнослужителям и шаманам[37].

Вершиной государственной деятельности Ойунского являлось его избрание в 1937 г. депутатом Верховного Совета СССР первого созыва – знак всенародного признания его заслуг перед республикой. Но репрессивная машина тоталитарного государства прервала его депутатскую деятельность. Он был необоснованно арестован в конце 1938 г. и 31 октября 1939 г. умер в застенках Якутского НКВД.

[35] Репина 2012: 19.
[36] Васильева 2000: 42.
[37] Антонов 2003: 51.

Социалистический идеал Ойунского считать ошибкой нелепо, ибо о социалистическом будущем мечтали лучшие умы человечества задолго до Платона Алексеевича. Естественно, что молодой революционер не мог предвидеть или предугадать все последствия октябрьского переворота. Поэтому он продолжал славить партию и Сталина, а внутренне – протестовал, что подтверждается личной его трагедией, когда он был репрессирован тоталитарным государством, избавившимся от социалистических идеалов. Платон Алексеевич работал не напрасно, поскольку боролся не за абстрактные политические лозунги, а за реальные положительные изменения в жизни трудового народа, за такое общество, которое обеспечило бы своим гражданам достойные условия жизни и подлинные духовные ценности[38]. Он был государственным деятелем широкого размаха, общепризнанным лидером масс, целеустремленным политиком и руководителем[39].

В условиях авторитарной, однопартийной системы, с господствующей классовой идеологией, партийно-советское руководство Якутии в лице П.А. Ойунского, при поддержке главным образом дореволюционной интеллигенции, сумело добиться статуса национальной государственности в форме автономной республики, последовательно отказавшись от статусов района и области. Переход от гегелевского варианта «неисторического народа» к народу «историческому» в Якутии был основан на широко практиковавшейся системе местного самоуправления. Якутский народ поверил в своих лидеров, возникло широкое автономистское и национально-культурное движение, которое привело к формированию якутской нации. В ходе разграничения границ Ойунский и его соратники настаивали на присоединении земель, населенных этническими якутами. Важными представляются идеи П.А. Ойунского о законодательном закреплении за республикой прав на земли, леса, воды, а также попытки установления внешних связей Якутии с Японией и США в целях «экономического раскрепощения» и укрепления национальной государственности Якутии.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. 1. Оп. 2. Д. 12а.

НА РС (Я). Фр. 3. Оп. 3. Д. 271; Фр 14. Оп. 1. Д. 37; Ф. 605. Оп. 2. Д. 12; Фр 2970. Оп. 34. Д. 6.

Антонов Е.П. Взгляды П.А. Ойунского на религию // Якутский архив. 2003. № 3-4. С. 49-64 [Antonov E.P. Vzgliady P.A. Oiunskogo na religiiu // Iakutskii arkhiv. 2003. № 3-4. S. 49-64]

Баберовски Й. Сталинизм и нация: Советский Союз как многонациональное государство 1917–1953 // Ab Imperio, 1/2006. С. 177-196 [Baberovski I. «Stalinizm i natsiia: Sovetskii Soiuz kak mnogonatsional'noe gosudarstvo 1917–1953 // Ab Imperio, 1/2006. S. 177-196].

Варнавский П. Границы советской бурятской нации: «национально-культурное строительство» в Бурятии в 1926–1929 гг. в проектах национальной интеллигенции и национал-большевиков // Ab imperio. 2003. №1. С. 149–176 [Varnavskii P. Granitsy sovetskoi buriatskoi natsii: «natsional'no-kul'turnoe stroitel'stvo» v Buriatii v 1926–1929 gg. v proektakh natsional'noi intelligentsii i natsional-bol'shevikov // Ab imperio. 2003. №1. S. 149–176].

[38] Николаев 1993.

[39] Акимов 2003.

Васильева Н.Д. Якутское шаманство 1920–1930-е гг. / Отв. ред. В.Н. Иванов. Якутск: тип. Департамента начального и среднего образования Минобра РС (Я), 2000. 144 с. [Vasil'eva N.D. Iakutskoe shamanstvo 1920–1930-e gg. Otv. red. V.N. Ivanov. Iakutsk: tip. Departamenta nachal'nogo i srednego obrazovaniia Minobra RS (Ia), 2000. 144 s.].

Витухновская-Кауппала М. "Карелия для карел!" Гражданская война как катализатор национального самосознания // Ab Imperio, 4/2010. С. 245–282 [Vitukhnovskaia-Kauppala M. "Kareliia dlia karel!": Grazhdanskaia voina kak katalizator natsional'nogo samosoznaniia // Ab Imperio, 4/2010. S. 245–282].

Макаров Г.Г. Северо-восток РСФСР в 1918–1921 гг. Якутск: Кн. изд-во, 1988. 303 с. [Makarov G.G. Severo-vostok RSFSR v 1918–1921 gg. Iakutsk: Kn. izd-vo, 1988. 303 s.].

Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив в структуре национальной истории долго девятнадцатого века // Диалог со временем. 2016. №54. С. 83–119. [Malovichko S.I. Natsional'no-gosudarstvennyi narrativ v strukture natsional'noi istorii dolgo deviatnadtsatogo veka // Dialog so vremenem. 2016. №54. S. 83–119].

Мегилл А. Границы и национальное государство: предварительные заметки // Диалог со временем. 2010. No. 30. С. 42-58. [Megill A. Granitsy i natsional'noe gosudarstvo: predvaritel'nye zametki // Dialog so vremenem. 2010. №30. S. 42-58].

Мерль Ш. Существует ли «трансатлантическая модернизация»? Размышления о роли России в концепте «модернизация» // Диалог со временем. 2016. №57. С. 5-23. [Merl' Sh. Sushchestvuet li «transatlanticheskaia modernizatsiia»? Razmyshleniia o roli Rossii v kontsepte «modernizatsiia» // Dialog so vremenem. 2016. №57. S. 5-23].

Мухин О.Н. Петр Великий vs. Иван Грозный. Личность правителя в контексте специфики российских процессов модернизации // Диалог со временем. 2011. № 35. С. 153–174. [Mukhin O.N. Petr Velikii vs. Ivan Groznyi. Lichnost' pravitelia v kontekste spetsifiki rossiiskikh protsessov modernizatsii // Dialog so vremenem. 2011. No. 35. S. 153–174].

Николаев М.Е. П.А. Ойунский и современность // Республика Саха. 1993. 12 нояб. [Nikolaev M.E. P.A. Oiunskii i sovremennost' // Respublika Sakha. 1993. 12 noiab.].

Ойунский П.А. Избранные произведения. III том: Научные труды (на як. яз.). Якутск: Бичик, 1993. 480 с. [Oiunskii P.A. Izbrannye proizvedeniia. III tom: Nauchnye trudy (na iak. iaz.). Iakutsk: Bichik, 1993. 480 s.]

П.А. Ойунский: взгляд через годы. Новосибирск: Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии им. А.А. Трофимука, 1998. 211 с. [P.A. Oiunskii: vzgliad cherez gody. Novosibirsk: Ob"edinennyi institut geologii, geofiziki i mineralogii im. A.A. Trofimuka, 1998. 211 s.].

Пермяков К.К. Детство и юность // Основоположник якутской советской литературы. К 85-летию со дня рождения П.А. Ойунского / Редколл.: И.А. Аргунов (председ.), Софр. П. Данилов, Н.Д. Дьячковский и др. Якутск: Якутское книжное издательство, 1974. 264 с. [Permiakov K.K. Detstvo i iunost' // Osnovopolozhnik iakutskoi sovetskoi literatury. K 85-letiiu so dnia rozhdeniia P.A. Oiunskogo / Redkoll.: I.A. Argunov (predsed.), Sofr.P. Danilov, N.D. D'iachkovskii i dr. Iakutsk: Iakutskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1974. 264 s.].

Платон Алексеевич Ойунский. Жизнь и деятельность. Сб. арх. док. Сост.: Н.С. Степанова (отв. сост.), Е.В. Саввина, Э.М. Яковлев и др.; редколл.: Н.Р. Константинов, Н.С. Степанова и др. Якутск: Бичик, 2015. 448 с. [Platon Alekseevich Oiunskii. Zhizn' i deiatel'nost'. Sb. arkh. dok. Sost.: N.S. Stepanova (otv. sost.), E.V. Savvina, E.M. Iakovlev i dr.; redkoll.: N.R. Konstantinov, N.S. Stepanova i dr. Iakutsk: Bichik, 2015. 448 s.]

Платон Алексеевич Ойунский. Жизнь и деятельность. Сб. арх. док. Сост.: Н.С. Степанова (отв. сост.), А.В. Казаев, А.А. Калашников и др.; редколл.: Н.А. Макаров, П.В. Румянцев и др. Якутск: Бичик, 2018. 168 с. [Platon Alekseevich Oiunskii. Zhizn' i deiatel'nost'. Sb. arkh. dok. Sost.: N.S. Stepanova (otv. sost.), A.V. Kazaev, A.A. Kalashnikov i dr.; redkoll.: N.A. Makarov, P.V. Rumiantsev i dr. Iakutsk: Bichik, 2018. 168 s.]

Репина Л.П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 3–37. [Repina L.P. Opyt sotsial'nykh krizisov v istoricheskoi pamiati // Krizisy perelomnykh epokh v istoricheskoi pamiati / Pod red. L.P. Repinoi. M.: IVI RAN, 2012. S. 3–37].

Репина Л.П. История регионов, или «территория историка» после пространственного поворота // Диалог со временем. 2019. № 69. С. 5-16 [Repina L.P. Istoriia regionov, ili «territoriia istorika» posle prostranstvennogo povorota // Dialog so vremenem. 2019. № 69. S. 5-16].

Сивцев Д.К. Его правда – правда жизни // П.А. Ойунский. Статьи и воспоминания. Якутск: Якутское книж. изд-во, 1969. 238 с. [Sivtsev D.K. Ego pravda – pravda zhizni // P.A. Oiunskii. Stat'i i vospominaniia. Iakutsk: Iakutskoe knizhnoe izd-vo, 1969. 238 s.].

Статьи и воспоминания о П.А. Ойунском. 1893–1968 гг. Якутск: Кн. изд-во, 1969. 208 с. [Stat'i i vospominaniia o P.A. Oiunskom. 1893–1968 gg. Iakutsk: Kn. izd-vo, 1969. 208 s.].

Тобуроков Н.Н. Завещание Ойунского // Республика Саха. 1995. 24 авг. [Toburokov N.N. Zaveshchanie Oiunskogo // Respublika Sakha. 1995. 24 avg.].

Трудная дорога к знанию // Якутия. 1993. 29 июня [Trudnaia doroga k znaniiu // Iakutiia. 1993. 29 iiunia].

***Егор Петрович Антонов**, ведущий научный сотрудник, Отдел истории и арктических исследований, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» кандидат исторических наук, доцент; Antegor@yandex.ru*

***Антонова Венера Николаевна**, доцент, кафедра социальной педагогики, Педагогический институт, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова*

"Founding Father" of the National State of Yakutia Platon Oyunsky

The article is focused on the ideas of P.A. Oyunsky, a Soviet leader of Yakutia about the gaining of national statehood in the form of an autonomous republic, which essentially meant a historic leap from the status of "unhistorical people" to "historical". It is shown how, during the delimitation with neighboring regions of the borders, Oyunsky tried to attach lands inhabited by ethnic Yakuts. It seems important that Oyunsky develops a serious economic basis for independence in securing rights to land, forests, water, the development of industry and agriculture, and the establishment of external relations with foreigners. It is demonstrated how statehood influenced the formation of the Yakut nation.

Keywords: national statehood, autonomous republic, Yakutization, indigenousization, Yakut intelligentsia, identity, intellectuals, transformations, nationalism

***Egor P. Antonov,** PhD (History), Associate Professor, Leading Researcher, Department of History and Arctic Studies, Institute for Humanitarian Research and Problems of the Small Peoples of the North, Federal Research Center "Yakut Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences", Antegor@yandex.ru*

***Venera N. Antonova**, Ph.D., Associate Professor, Department of Social Pedagogy, Pedagogical Institute, of the Northeast Federal University named after M.K. Ammosov candidate of pedagogical sciences.*

В.А. Квашнин

ГАННИБАЛ В КРОТОНЕ: «НЕЭВКЛИДОВО» ПРОСТРАНСТВО АНТИЧНОГО НАРРАТИВА

Статья посвящена пребыванию Ганнибала на юге Италии. Особое внимание уделено его действиям в отношении храма Геры (Юноны) Лацинии, находившегося в окрестностях Кротона. Этот эпизод нашел отражение в сочинениях Цицерона, Ливия, Полибия, восходя к несохранившимся работам Целия Антипатра и, возможно, сицилийского историка Силена, сопровождавшего Ганнибала во время италийского похода. По сообщению Полибия, Ганнибал распорядился поместить в храме надпись, содержащую перечень его побед на греческом и пунийском языках. Как показывают источники, за интересом, проявляемым карфагенским военачальником к местным религиозным культам, скрывается борьба за умы и симпатии как греческих полисов южной Италии, так и населения Италии, в той или иной степени подвергшегося эллинизации к концу III в. до н.э. Религиозные образы и мифологемы в годы Ганнибаловой войны подвергались многочисленным трансформациям и переосмыслению, играя роль идеологического оружия в борьбе за лояльность народов Италии.

***Ключевые слова**: древний Рим, Ганнибал, религия, пропаганда, Юнона, Мелькарт*

Личность карфагенского полководца Ганнибала неизменно привлекает внимание исследователей. Его деятельность, рассматриваемая, как правило, на фоне грандиозной картины военного противостояния двух сильнейших держав Западного Средиземноморья, породила огромную литературу. Внушительный пласт историографии посвящен различным аспектам военной и политической истории, но проблемы духовной культуры мультиэтничного населения изучены далеко не в равной мере, что обусловлено скудостью источниковой базы[1]. В этой связи можно только приветствовать появление в последние годы ряда работ, посвященных римско-карфагенскому противостоянию в сфере идеологии[2]. Пропагандистские модели и клише, используемые обеими сторонами, позволяют увидеть те стороны религиозной, интеллектуальной и культурной жизни населения Италии, в своем единстве представляющие феномен античной культуры, что обычно оказываются заслонены военными и политическими баталиями эпохи Второй Пунической войны.

В этой связи наше внимание привлек эпизод, связанный с пребыванием Ганнибала на юге Италии. Рассказывая о событиях 207 г. до н.э., Ливий отмечает: «Ганнибал провел это лето возле храма Юноны Лацинии; он поставил и посвятил алтарь с большой надписью на греческом и пунийском языках, перечислявшей его подвиги» (XXVIII.46.16. Здесь и далее пер. М.Е. Сергеенко). Достоверность этих сведений подтверждается Полибием, который сообщает, что в храме Юноны Лацинии им был

[1] Даже такой, казалось бы, частный вопрос о месте перехода армии Ганнибала через Альпы породил огромную литературу, причем дискуссия не утратила актуальности до настоящего времени. См.: Billot 2009: 59-66.

[2] Billot 2009; Miles 2011: 260-279; Fabrizi 2015: 129-136.

обнаружен перечень войск на медной доске, изготовленной по приказанию Ганнибала. Греческий автор счел эти сведения вполне достоверными, использовав их в своем труде (III.33.18). Как принято считать, речь в данном случае идет об известном храме Геры Лацинийской, находившемся в окрестностях Кротона на мысе на восточном берегу Бруттия[3]. Сохранилось описание этого храма:

> «В шести милях от Кротона находился еще более знаменитый храм Лацинийской Юноны, почитаемой всеми окрестными народами. Он стоял в густой роще, огражденный высокими пихтами; в середине ее было роскошное пастбище, где пасся всякий скот, посвященный богине. Пастуха там не было, вечером стада разных животных возвращались в хлева раздельно. Звери на них никогда не нападали, люди не обижали, и поэтому доход от скота был большой. На эти деньги сделали колонну, всю из золота, и посвятили ее богине; храм был славен богатством, не только святостью» (Liv. XXIV.3-6).

Ливий особо отмечает, что храм Геры Лацинской не был заурядным святилищем. «Таким замечательным местам приписывают обычно какие-нибудь чудеса; тут шла молва, что в преддверии храма есть алтарь, пепел с которого не сдует никакой ветер» (XXIV.7). Эти сведения подтверждает Плиний (HN. II.107). О золотой колонне в храме сообщает также Цицерон, ссылаясь по ходу рассказа на Целия Луция Антипатра:

Целий пишет, что когда Ганнибал хотел вынести из храма Юноны Лацинии стоявшую там золотую колонну и усомнился, золотая ли она вся или только позолоченная, то приказал просверлить ее насквозь. Обнаружилось, что колонна подлинно золотая, и Ганнибал велел ее вынести. Но во сне ему явилась Юнона и предостерегла, чтобы он этого не делал, пригрозив, что если он не послушается, то она позаботится о том, чтобы он и тот глаз, который у него хорошо видел, потерял. И этот умнейший человек не пренебрег полученным советом. А из высверленного золота он повелел сделать статуэтку телушки, которую поставил на верх колонны. А вот, что еще можно прочитать в греческой истории Силена, подробнейшим образом описавшего жизнь Ганнибала (Целий во многом следует этому историку). (De div.I.48-49. Пер. М.И. Рижского).

Хотя рассказ Целия в изложении Цицерона выглядит анекдотично, его сведения ценны тем, что указывают на возможный первоисточник. Таковым, судя по всему, было сочинение Силена Калактинского, греческого историка второй половины III в. до н.э., родившегося на Сицилии[4] В годы Второй Пунической войны он сопровождал Ганнибала, оставив, по свидетельству Цицерона, подробное описание его жизни[5].

Чем же был вызван повышенный интерес карфагенского полководца к святилищу Геры/Юноны в Лацинии? Судя по упоминаемой в ис-

[3] В настоящее время храм Геры Лацинии локализован в местности, носящей название Capo Colonna (Capo della Colonne) в Калабрии. Мыс, на котором он был построен, в древности носил название Promunturium Lacinium. Современное название место получило благодаря сохранившейся колонне дорического ордера высотой 8,2 м.

[4] Miles 2011: 264, 273; Fabrizi 2015: 135. Not. 67.

[5] Силен был также автором исторических сочинений о Сицилии и войне с римлянами, небольшие фрагменты которых сохранились в пересказе других авторов.

точниках таблице с перечислением побед, одержанных Ганнибалом на территории Италии, его действия могли быть связаны с последствиями поражения в конце июня 207 г. до н.э. в битве при Метавре прибывшего из Иберии карфагенского войска, в которой среди прочих погиб его младший брат Газдрубал Барка[6]. Напоминая о своих победах над римлянами, карфагенский полководец, возможно, пытался восстановить свой пошатнувшийся авторитет в глазах жителей южной Италии. Культ Геры, почитавшейся жителями негреческой части Италии в ипостаси Юноны, в то время не оставался без внимания и в Риме. Описывая события 208 г. до н.э., Ливий сообщает о том, что во время подготовки очистительных обрядов молния попала в храм Юноны Регины на Авентине. Это, казалось бы, ординарное событие вызвало довольно бурную реакцию в Риме (XXVII.37.7-15). Рассказ Ливия интерпретируется современными исследователями как указание на то, что Гера/Юнона воспринималась как божество, враждебное римской общине, в силу чего ее следовало умилостивить дарами и ритуалами[7]. Вергилий в «Энеиде» прямо называет Юнону богиней, благоволившей к Карфагену[8].

> Звался он Карфаген — вдалеке от Тибрского устья,
> Против Италии; был он богат и в битвах бесстрашен.
> Больше всех стран, говорят, его любила Юнона,
> Даже и Самос забыв; здесь ее колесница стояла,
> Здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня,
> Если позволит судьба, средь народов то царство возвысить
> (Verg.Aen.I.12-19. Пер. С.А. Ошерова).

Принято считать, что этот концепт восходит к римской литературе эпохи Августа и запечатлен в эпосе Вергилия и Силия Италика[9]. Однако в источниках присутствует любопытный сюжет, возможно свидетельствующий о существовании схожей традиции в более ранний период. Как сообщает Валерий Максим, «известно, что консул Варрон столь несчастливо сражался с карфагенянами при Каннах из-за гнева Юноны» (I.1.16). Это повторено у Лактанция, который дает развернутый комментарий по поводу враждебности Юноны римлянам (Inst.II.16.16-17). История консула 216 г. до н.э Гая Теренция Варрона, оскорбившего Юнону, выглядит довольно загадочно. Исследователи скептически относятся к ней, отмечая ее ретроспективный характер[10]. Д. Рич полагает, что свидетельство Валерия Максима–Лактанция уникально, поскольку другие источники не содержат подобного объяснения поражения римлян от войска Ганнибала. Появление в рассказе не Юпитера, которому посвящены игры, а его жены Геры свидетельствует, по мнению Рича, о позднейшем происхождении этой традиции, возможно, эллинистической[11].

[6] Billot 2009: 163.
[7] Feeney 1991: 116-117; Miles 2011: 274.
[8] Прослеживается параллелизм между «Пуникой» Силия Италика (I.12-19) и «Энеидой» Вергилия (I.441-493), в которых храм Юноны помещается в центре Карфагена.
[9] Wilson 1993: 219; Billot 2009: 36.
[10] Rosenstein 1990: 68-69
[11] Rich 2012: 94

То есть, ее происхождение связывается с прокарфагенскими грекоязычными источниками. Однако схожий сюжет у Валерия Максима находит подтверждение в римских источниках. Как он сообщает: «не избежал наказания и Квинт Фульвий Флакк, когда перевез мраморные плиты из храма Юноны Лацинии в храм Фортуны Эквестрис, который возводил в Риме» (I.1.20). Речь идет о цензоре 173 г. до н.э. Квинте Фульвии Флакке, причем данный эпизод попал в поле зрения Тита Ливия. В том же году лишился крыши храм Юноны Лацинийской. Цензор Квинт Фульвий Флакк сооружал храм Фортуны, покровительницы всадников, и ревностно старался, чтобы в Риме не было более роскошного и обширного храма. Рассудив, что мраморные плиты чрезвычайно украсят его крышу, он отправился в Бруттий и наполовину снял крышу храма Юноны Лацинийской, полагая что этого хватит для покрытия возводимой постройки. Когда же цензор был приглашен и явился в курию, все сенаторы, вместе и поодиночке, с еще большим ожесточением стали поносить его: кричали, что ему мало было осквернить священнейший храм страны, который не тронули ни Пирр, ни Ганнибал, он снял с него крышу и этим обезобразил и почти разрушил его. Верхушка храма сорвана, крыша снята, и он открыт дождям, которые сгноят его. Еще до доклада было ясно мнение сенаторов, а после рассмотрения дела все единодушно решили, что следует отвезти эти плиты назад, водрузить их на храм и принести искупительные жертвы Юноне (XLII.3.1-10. Пер. Н.Н. Трухиной).

Сообщение Ливия подтверждает исключительный статус лацинийского святилища и особое отношение к культу Юноны/Геры в Риме[12]. Почитание Геры в ее различных обличьях жителями Карфагена не является выдумкой римских авторов эпохи Августа. Даже после уничтожения Карфагена долгое время население северной Африки поклонялось ей под именем Юноны Келестис (Калестис). Представленный в римском эпосе сюжет о связи семьи Ганнибала с Юноной, избравшей его орудием удовлетворения своих амбиций, мог иметь реальные основания. На то указывают, в частности, монеты III в. до н.э., отчеканенные на территории Иберии. На них одновременно присутствуют Мелькарт /Геракл, представленный в эллинизированном образе, и финикийские мифологические сюжеты, большей частью связанные с Танит, которая в свою очередь отождествлялась с Герой. Слияние греческих и финикийских культурных традиций происходило в контексте политики Баркидов, пытавшихся говорить с новыми подданными на языке средиземноморского

[12] Возможно, два этих эпизода у Валерия Максима объединяет не только мотив гнева Юноны, направленного на того или иного римского магистрата. Квинт Фульвий Флакк был сыном одноименного полководца эпохи Ганнибаловой войны, консула 237, 224, 212 и 209 гг. до н. э. В последнее консульство его провинцией были Лукания и Бруттий, причем полномочия Флакка продлевались на 208 и 207 гг. до н.э. Таким образом, Квинт Фульвий Флакк и Ганнибал находились в Южной Италии в одно и то же время. Это позволяет с известной долей осторожности предположить, что Фульвии Флакки были связаны особыми отношениями с храмом Юноны Лацинии, что позволяет в какой-то мере объяснить поступок цензора в рассказе Ливия.

культурного койне[13]. В этой связи можно предположить, что тема покровительства Юноны Карфагену и семье Ганнибала, в частности, берет свое начало не в эпосе Вергилия, а имеет куда более ранние корни. Возможно, сюжет об особых отношениях Юноны с Баркидами и его связь с историей Энея и Дидоны восходит к эпосу Гнея Невия, который был непосредственным свидетелем Ганнибаловой войны и оказал влияние на многих римских поэтов, включая Энния и того же Вергилия[14].

В отличие от Юпитера, представлявшего собой древнее божество, почитаемое латинами, культ Юноны был заимствован у этрусков, и это произошло, согласно традиции, после взятия Вей в 396 г. до н.э, причем заимствован именно культ Юноны Регины, в честь которой был воздвигнут храм на Авентине, что возвращает нас к событиям 208-207 гг. до н.э. (Liv.V.22.4-7; Val.Max.I.9.3; Plut.Cam.VI). Включение Юни/ Юноны в круг римских богов, носило, таким образом, «политический» характер, символизируя интеграцию новых территорий в римско-латинский союз[15]. В то же время, в центральной Италии, по мнению Ж. Дюмезиля, этрусскую богиню Юни отождествляли с финикийской Астартой. Одновременно с ее превращением в римскую Юнону этрусскую богиню начинают почитать в различных образах, в т.ч. в обличии пунийской Танит[16]. Острая реакция римских властей на неблагоприятные знамения, связанные с храмом Юноны Регины, была, возможно, связана с попытками Ганнибала использовать культ Геры со всеми ее локальными ипостасями для утверждения идеи о том, эта богиня оказывает покровительство карфагенянам, перейдя на их сторону. Культ Геры был популярен не только среди грекоязычного населения Южной Италии, но получил распространение и у народов центральной части полуострова, например, у самнитов, поклонявшихся ей под именем Гора/Hora (Ovid. Metam. XIV.851). В этой связи показателен интерес, который Ганнибал проявлял к еще одному святилищу Юноны, находившемуся на берегу Авернского озера в Кампании, с V в. до н.э. находившейся под контролем самнитов[17]. Будучи естественным водоемом вулканического происхождения, оно почиталось как одно из мест, служивших вратами в подземное царство Аверна, божественного супруга Юноны Аверны. Высказывалось предположение, что Ганнибал поклонялся в Авернском святилище Астарте, принявшей облик Юноны, но возможно, еще одним объектом поклонения был ее супруг Мелькарт, который в свою очередь

[13] Miles 2011: 267; Daniels 2018: 245-246.
[14] Goldberg 1995: 43, 54; Billot 2009: 36.
[15] Пребывание Юноны в составе капитолийской триады не делало ее божеством, безусловно лояльным к Риму. Ее состав – Юпитер, Юнона и Минерва – очень напоминает этрусскую триаду, включавшую Тини, Юни (Уни) и Менрву. Некоторые исследователи предполагают, что изначально у римлян была иная, более древняя триада, соответствующая общей индоевропейской модели, в которую входили Юпитер, Марс и Квирин. Подробнее см.: Moscetti, Melis, 1994.
[16] Dumézil 1970: 680-682.
[17] Huss 1986. S. 235-236.

воспринимался как одно из обличий Геракла[18]. Таким образом, религиозные ритуалы, осуществлявшиеся Ганнибалом в Аверне, были не только попыткой заручиться поддержкой местных божеств или изменить «сакральный пейзаж» Италии, но и мощным пропагандистским оружием, призванным подчеркнуть связь между Ганнибалом и его божественным покровителем Мелькартом/Гераклом. В этой связи вызывает интерес содержащееся у Сервия в комментариях к «Энеиде» Вергилия упоминание о том, что храм Юноны/Геры Лацинской был построен ни кем иным как Гераклом, что позволяет связать воедино два эпизода, связанных с религиозными практиками Ганнибала на юге Италии (III.552)[19].

Реконструкция, созданная современными исследователями, достаточно громоздка, содержит ряд натяжек и допущений. Если принять возможность идентификации Юноны с этрусскими и финикийско-карфагенскими богинями, то мы получим следующий ряд отождествлений:

Юни=Астарта
Юнона=Танит
Юнона=Танит=Астарта

В случае его распространения на божественные пары, получаем:

Юнона+Авернус=Астарта+Мелькарт

При этом мы исходим из того, что: *Юнона=Гера, Мелькарт=Геракл.*

В результате мы получаем итоговую формулу:

Юнона+Авернус=Астарта+Мелькарт= Гера+Геракл?

Упрощая, суть проблемы заключается в том, что Астарта являлась женой Мелькарта, но Гера не была женой Геракла. В мифологической традиции богиня является злейшим врагом героя, который был побочным сыном Зевса, хотя по одной из версий она вскормила его своим молоком (Paus.IX.25.2; Diod.IV.9.6). Впрочем, после трансформации Геракла в божество Гера помирилась с ним и выдала за него свою дочь Гебу. Таким образом, Гера могла быть кормилицей и тещей Гераклу, но не его женой[20]. Говорит ли это о том, что исследователи не правы, а все их конструкции базируются на натяжках и допущениях? Как представляется, это не так, если принять во внимание ряд обстоятельств.

Прежде всего, необходимо учитывать наличие множества локальных версий и вариантов, сопровождавших мифологических героев, при-

[18] Miles 2011: 274.

[19] Как подчеркивается в литературе, привязка к Гераклу Ганнибала, моделирующая самоидентификацию с мифологическим героем была инициирована и исходила от самого карфагенского полководца. См.: Billot 2009: 21.

[20] Обращает на себя внимание, что связь между этими двумя персонажами, по крайней мере, в контексте рассматриваемых сюжетов, куда глубже, чем принято считать. Само имя Геракла (Ἡρακλῆς) буквально означает «слава Гере». С именем Геры (Ἥρα) возможно связано и имя легендарного антагониста Геракла великана Гериона (Γηρυών, Γηρυονῆς). Птолемей Гефестион во 2-й книге своего сочинения передает предание, согласно которому Гера в союзе с Герионом сражалась против Геракла и была им ранена. При этом, остров Эрифия, на котором жил Герион, Страбон и Плиний Старший называют, со ссылкой на Эфора и Филистида, островом Геры (Strabo.III.2.11; Plin.NH.IV.120).

том, что свода канонических текстов наподобие книг новозаветного канона в античной традиции не существовало. Кроме того, следует обратить внимание на имя карфагенского полководца, позволяющее выстраивать вокруг него разные смыслы и контексты. Ганнибал (ḥnbʿl) – о это теофорное имя, дериват от имени финикийского бога Баала, которое можно перевести как «*Баал милостив*» или «*дар Баала*». Помимо того, что это конкретное божество ассиро-вавилонского пантеона, из которого оно было перенесено на Ближний Восток, Баал являлся эпитетом понятий «божество, владыка» в их абстрактном значении. В силу этого имя Ганнибал могло восприниматься как означающее «дар» или «любимец» некоего божества с привязкой к конкретной религиозной традиции. Выше уже упоминалось о том что на отчеканенных на территории Иберийского полуострова монетах наибольшей популярностью пользовались образы Мелькарта и Танит, причем в эллинизированном облике. Как известно, Мелькарт довольно рано, возможно, уже в VII в. до н.э., был отождествлен с Гераклом[21]. Тит Ливий сообщает, что отправным пунктом похода Ганнибала в Италию стал город Гадес, в котором находился знаменитый храм, посвященный Мелькарту/Гераклу, о котором упоминается сразу в нескольких источниках (XXI.21.9,22.5)[22].

С другой стороны, Астарта – греческий вариант имени Ашторет, ближневосточной богини, за которой скрывается вавилонская Иштар. В Финикии она почиталась как главное женское божество, «божественная мать», дающая жизнь и имеющая множество имён. Вавилоняне поклонялись Иштар, связывая её культ с Венерой, которая входила в астральную триаду Солнце – Луна – Венера. Финикийская Астарта также была связана с Венерой и рассматривалась ими как богиня вечерней и утренней звезды, указывающая путь. Одновременно Астарта была связана с карфагенским культом богини Танит, который был распространен в пределах всего финикийско-карфагенского мира Западного Средиземноморья, а после гибели Карфагена сохранился в форме почитания одной из ипостасей Юноны. Сыном Астарты был Мелькарт, отождествленный греками с Гераклом (в найденной на территории Мальты билингве его имя прямо переводится как *Геракл-архегет*)[23]. Астарта одновременно была супругой Мелькарта как бога-покровителя Тира (Ios.Flav.IA. VIII.5.3)[24]. Птолемей Гефестион в II книге своего сочинения сообщает, что в Фивах, одном из центров поклонения Гераклу, исполнялся в честь героя гимн, в котором он назывался сыном Зевса и Геры. Впрочем, со-

[21] Изначально Мелькарт был божеством-покровителем Тира, тесно связанным с институтом царской власти. Точное время появления культа Мелькарта неизвестно, возможно, это было время правления Хирама I (X в. до н.э.). См.: Miles 2011: 266-267; Daniels 2018: 239-240.

[22] Strab.III.5.5-9; App.Iber.IV.2.8; Mela.III.6.46; Philostr.Ap.V.5. Как особо отмечает Аппиан, божество, которому поклонялись в храме, было не «Фиванским», но «Тирским» Гераклом.

[23] Bonnet 1988: 244-247; Miles 2011: 265-266

[24] Daniels 2018: 240.

гласно широко представленной в античной традиции версии, сама Гера была одновременно сестрой и женой Зевса, так что различные логические несостыковки и несоответствия тем или иным мифологическим версиям, получившим распространение в определенный период времени, не должны, как представляется, смущать исследователя.

Возвращаясь к сюжету о пребывании Ганнибала в Кротоне, отметим еще раз тот интерес, который в разгар тяжелейшей войны проявлялся карфагенским полководцем к, казалось бы, чуждым ему религиозным культам. Это еще раз показывает, что в тот период шла борьба за умы и симпатии как греческого населения южной Италии и греко-финикийского населения Сицилии, так и народов Италии, к концу III в. до н.э. в той или иной степени уже подвергшихся эллинизации. Несомненно, в условиях того времени идеологические и пропагандистские модели и клише должны были иметь религиозно-мифологическую оболочку. Насколько позволяют судить источники, основной акцент делался на двух ключевых фигурах: Геракле, который подавался как покровитель и проводник Ганнибала в его походе на Рим, и Гере, выступавшей в качестве защитницы Карфагена и его населения. В свою очередь Рим не только пытался заручиться лояльностью Юноны (это показывают события 208 и 173 гг. до н.э.), но и прибегает к покровительству иноземных божеств, установив в течение войны почитание культа Венеры Эруцинской, Менс и Кибелы. Похожая ситуация складывается с культом Геракла, который пытались использовать обе стороны. Апелляция к Гераклу со стороны Карфагена, бесспорно, имела практическое значение, поскольку признание особых отношений, связывавших древнего героя с Ганнибалом, помимо прочего, подразумевало, что покровительствовавшее Риму божество перешло на сторону его противника. В то время как Ганнибал, в т.ч. через чеканку монеты, всячески подчеркивал свою связь с героем, в Риме, где культ Геракла в ипостасях Hercules Invictus и Hercules Victor был закреплен в местном пантеоне с III в. до н.э., получает распространение предание, которое связывало с ним род Фабиев (Ovid.Fast.II.237; Juven. VIII.14)[25]. То, что имя Ганнибала позволяло создавать разнообразные смыслы, семантически связанные с местными религиозными практиками и мифологической традицией, удачно накладывалось на утвердившуюся в эллинистический период традицию обожествления правителей.

Как показывает приведенный материал, религиозные образы и мифологемы в годы Ганнибаловой войны подвергаются многочисленным трансформациям и переосмыслению, играя роль идеологического оружия в борьбе за умы и лояльность народов Италии. Латинская Юнона в зависимости от локальной традиции легко уподоблялась не только греческой Гере, но и этрусской Юни, самнитской Горе, финикийским Танит или Астарте, так же как греческий Геракл перевоплощался в Геркулеса, Мелькарта, Херкле либо получивших распространение в цент-

[25] Miles 2011: 268.

ральной Италии Hereklui, Herclo или Hercolo[26]. В связи с этим, как представляется, можно говорить о неком «неэвклидовом пространстве» духовной культуры Западного Средиземноморья, в котором различные религиозные образы и идеи достаточно плавно перетекали друг в друга и трансформировались – процесс, еще более усилившийся в русле глобалистских тенденций, связанных с Восточным походом Александра и созданием системы эллинистических государств[27].

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Billot F.A. Representations of Hannibal: A comparison of iconic themes and events from the life and times of Hannibal. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. The University of Auckland. Auckland, 2009.

Bonnet C. Melqart: cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerrannée. Leuven, 1988.

Bradley G. Aspects of the cult of Hercules in central Italy // Heracles and Hercules. Exploring a Graeco-Roman Divinity / H. Bowden & L. Rawlings (eds). Swansea, 2005. P. 129-151.

Daniels M. Annexing a Shared Past. Roman Appropriations of Hercules-Melqart in the Conquest of Hispania // Rome, Empire of Plunder. The Dynamics of Cultural Appropriation / Ed. by M. P. Loar, C. MacDonald, Dan-el Padilla Peralta. Cambridge, 2018. P. 237-260.

Dumézil G. Archaic Roman Religion. Tr. P. Krapp. Chicago, 1970.

Fabrizi V. Hannibal's March and Roman Imperial Space in Livy, *Ab urbe condita*, Book 21 // Philologus: Zeitschrift für Antike Literatur Und Ihre Rezeption. 2015. 159 (1). P. 118-155.

Feeney D. The Gods in Epic: Poets and Critics of the Classical Tradition. Oxford, 1991.

Goldberg S. Epic in Republican Rome. Oxford, 1995.

Huss W. 1986.Hannibal und die Religion // Studia Phoenicia 4: Religio Phoenicia. Acta Colloquii Namurcensis Dec. 1984 / C. Bonnet et al. (eds). Namur, 1986. S. 223-238.

Moscetti E., Melis M. La Triade Capitolina. Archeologia e culto. Palestrina, 1994.

Miles R. Hannibal and Propaganda // A Companion to the Punic Wars / D. Hoyos (ed.). Oxford, 2011. P. 260-279.

Rich J. Roman attitudes to defeat in battle under the Republic // Vae Victis! Perdedores en el mundo antiguo / F. Marco Simón a.o. (eds.). Barcelona, 2012. P. 83-111.

Rosenstein N. Imperatores victi: Military Defeat and Aristocratic Competition in the Middle and Late Republic. Berkeley etc., 1990.

Wilson M. Flavian variant history, Silius «Punica» // Roman Epic / A.J. Boyle (ed.). Routledge, 1993. P. 218-236.

Квашнин Владимир Александрович, *доктор исторических наук, профессор, кафедра юриспруденции и всеобщей истории и мировой политики, Вологодский государственный университет; kvashninv195@mail.ru*

Hannibal in Croton: «non-Euclidean» space of the ancient narrative

The article is devoted to some aspects of Hannibal's stay in southern Italy. Hannibal took a special interest in the temple of Juno, near Croton. This episode is reflected in the works of Cicero, Livy and Polybius. The source of this tradition is the work of Caelius Antipater, who, in turn, could use the information of the Greek historian Silenus. According to Polybius, Hannibal ordered to place in the temple an inscription containing a list of his victories in Greek and Punic. The attention paid by the Carthaginian commander to religious cults conceals the struggle for the minds and sympathies of Greek Polis of southern Italy and the peoples of Italy. In the conditions of that time, ideological and propaganda models and cliches had to have a religious form. Religious images and mythologems during the Hannibal war were subjected to numerous transformations and reinterpretations, playing the role of ideological weapons in the struggle for the loyalty of the peoples of Italy.

Keywords*: ancient Rome, Hannibal, religion, propaganda, Juno, Melqart*

Vladimir Kvashnin*, Dr. Sc. (History), Professor, Vologda State University; kvashninv195@mail.ru*

[26] Bradley 2005: 132.

[27] Daniels 2018: 239, 251.

А.А. Паламарчук, С.Е. Федоров

КОНСТРУИРУЯ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АВТОНОМИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ДИСКУРСЫ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ[1]

В Европе раннего Нового времени параллельно развивались разнонаправленные дискурсы: универсалистский и партикуляристский; соответствующие дискурсивные практики не только видоизменяли сферу универсализации, но и требовали осмысления особой функциональной единицы, условно обозначенной как «территориальная автономия». К концу XVI в. соблюдение внешних границ и фиксированных привилегий феодальных автономий оставалось важным элементом внутренней организации композитарной монархии; однако гораздо более важными компонентами понятия «автономия» становятся локальный обычай, институты взаимодействия корпорации с верховной властью, а также история, традиции и состав самой корпорации.

Ключевые слова: *автономия, феодализм, монархия, государство, Англия, Тюдоры, Стюарты*

В современной литературе неоднократно говорилось о существовании[2] и параллельном развитии в равной степени востребованных обществом раннего Нового времени и при этом разнонаправленных дискурсов: универсалистского и партикуляристского[3]. Первый из них развивал идею общеевропейской христианской империи, второй создавал интеллектуальную основу для легитимации территориальных монархий в раннее Новое время. При взаимодействии два дискурса субординировались, обнаруживая тенденцию к взаимному использованию смыслообразующих доминант: формирующиеся таким образом дискурсивные практики не только видоизменяли сферу универсализации, связывая ее с преодолением внутренней разнородности территориального государства[4] и конституированием протонациональных, а позднее – национальных идентичностей, но и нуждались в осмыслении особой функциональной единицы, которую сейчас мы условно обозначим как «территориальную автономию», в большинстве случаев совпадавшую с автономией этнокультурной. Такие автономии объяснялись как локально консолидированные, основанные, с одной стороны, на поддержании, а с другой – на «ре-конструировании» территориальных и региональных общностей, а также связанных с ними идентичностей.

На каждом уровне «универсалистский» дискурс эксплуатировал хорошо известные со времен античности представления об империи как о территориально расширяющейся структуре, абсорбирующей (и в опре-

[1] Статья написана при финансовой поддержке СПбГУ (проект № 11515401 «Федерализм: идеи и практики в Британии и Германии XVII в.» и проект № 42346241 «Европейские монархии в раннее Новое время»)

[2] Работа А.А. Паламарчук выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (грант 43925435 «Европейский корпоративизм XV–XVII вв.»)

[3] Федоров 2012.

[4] Паламарчук 2018.

деленной мере унифицирующей) ранее самобытные и обособленные *gentes*. При этом «партикуляристский» дискурс использовал интеллектуальные ресурсы средневековой концепции корпоративизма, развивающей идеи уникальности и самодостаточности внутренне интегрированной, но пространственно обособленной общины. Применительно к раннему и классическому Средневековью термин «автономия» является сугубо аналитическим и не относится к политико-правовому словарю эпохи. Но именно Средневековью суждено было стать временем становления и расцвета множественных автономий, территориальных и нетерриториальных; большинство из них изначально имели или приобрели корпоративный характер. Авторы не ставят цель подробно осветить путь становления и развития средневековых автономий. Речь пойдет о нескольких аспектах, важных в контексте тех интеллектуальных построений, которые будут осуществляться в раннее Новое время.

Первый аспект касается греческого концепта «автономии», который складывался из следующих четырех элементов. Он тесно соотносился с греческой концепцией *eleuteria* – свободы (противопоставления человека, рожденного свободным человеку, рожденному в рабстве; качества индивидуума могли переноситься на полис); буквально слово «автономия» означало «устройство жизни согласно собственным законам» и относилось не к индивидууму, а только к коллективному субъекту; «автономия» могла интерпретироваться как «независимость» от кого-либо; наконец, «автономия» возникала только в тех ситуациях, когда речь шла о системе взаимодействия между полисами, находившимися в состоянии конкуренции[5]. Термин «автономия» не являлся необходимым предикатом к существительному «полис» и возникал на страницах источников только в тех случаях, когда речь шла о системе взаимоотношений между полисом и гегемоном (лидером группы равных полисов или внешней политической силой, например, Персидским царством). Дж. Розих отмечает, что концепция «автономии» в греческом мире с момента ее появления в V в до н.э. была и оставалась преимущественно политической. Правовое измерение «автономия» впервые приобретает только в 377 г. до н.э. (т.н. декрет Аристотеля из Марафона, первый общий договор II Афинского морского союза)[6]. Рефлексия об автономии как о *политическом* конструкте[7] получит развитие только в XVI в., в связи с событиями Реформации и Аугсбургским религиозным миром, и особенно в XVII в. в трудах Иоганна Альтузия и Жана Бодена.

Второй аспект связан с унаследованным от поздней античности и развитым в средневековом каноническом и цивильном праве видением

[5] Rosich 2019: 19-20, 23.

[6] «Автономия» как значимый политический концепт в полной мере была разработана в «Истории» Фукидида (Фукидид 1981. Кн.1. 114, 115, 130 и др. В русском переводе термин «автономия» передается как «независимость» или «угодное им государственное правление»). Текст Фукидида Европа заново откроет лишь в XIV в. благодаря итальянским гуманистам. См. Pade 2006: 780-810.

[7] Hueglin 1999.

институциональной власти как иерархически организованной системы юрисдикций. Система нисходящих юрисдикций[8] делала потенциально возможным исключение определенных объектов (как персон, так и действий) из сферы применения той или иной юрисдикции. Юридической формой ттаких исключений были иммунитет, изъятие (латинские эквиваленты: более ранний и широкий по значению термин *libertas* и утвердившийся не ранее XII в. термин *exemptio*[9]. «Иммунитет» использовался преимущественно в светском феодальном праве, *exemptio* – главным образом в каноническом). Вслед за Б. Розенвайн подчеркнем, что эти термины, использовавшиеся в латинских источниках для фиксации самого факта передачи определенного объема юрисдикции, определяли форму явления в самом общем виде и не представляли собой единообразный в масштабах всей Европы институт, отражая лишь часть сложной системы распределения прав, привилегий и взаимных обязательств.

Особенность средневековых автономий (как и многих других явлений данного периода) состояла в том, что феодальная терминология дошедших до нас латинских документов на самом деле фиксировала статус сторон, но далеко не полностью описывала сущностную подоплеку и предысторию взаимодействия субъектов. Реальные объемы власти, основанной на неформальном авторитете, складывались из различных нередко еще дофеодальных (или не-феодальных) источников[10].

Таким образом, некорректным было бы воспринимать процесс становления средневековых автономий (реализуемый в даровании иммунитетов и свобод) как дисперсию некогда консолидированной «государственной» публичной власти (а если такая дисперсия возникала, как в случае распада Каролингской империи или королевства Вильгельма I в Англии, то распределение иммунитетных прав не было ее фундаментальной причиной)[11]. Подтверждение привилегий и дарование иммунитетных прав для средневековых монархов было, скорее, одним из каналов в механизме управления. Полицентризм и полиморфизм власти вообще был качественно присущ средневековой феодальной монархии.

Третий важный аспект – реалии средневекового права, в котором практики королевских и церковных судов и вырабатываемые в процессе их деятельности правовые нормы дополнялись широким спектром локальных обычаев (в данном случае под обычаем мы подразумеваем нормативную практику и неписанное право)[12]. Обычай был плотно укоренен в традиции и исторической памяти конкретной территориальной (бург, манор, графство, «свобода» и т.д.) или этнической общности; более того, он составлял важную часть коллективного самосознания кон-

[8] Паламарчук 2014.
[9] Rosenwein 1999: 4-5.
[10] Об этом рассуждает, в частности, С. Рейнолдс: Reynolds 1996.
[11] См., напр., рассуждения П. Фуракра: Fouracre 1995: 53-81.
[12] Д. Иббетсон выделяет три аспекта существования обычая в средневековой культуре: обычай как нормативная практика, обычай как неписанное право и обычай как оппозиция праву. См.: Ibbetson 2007: 151–175.

кретной общины. Исидор, отмечая превосходство писанного права (lex) над неписанным, писал: «обычай же есть право, установленное согласно нравам [народа]» (consuetudo autem est jus quoddam moribus institutum) (Lib.5., iii, 3)[13]. Ацо определял обычай как «неписанное право, нравами народа издревле введенное» (jus non scriptum moribus populi diuturnis introductum)[14]. Фиксация «обычая», проходившая в Европе на протяжении всех Средних веков в разных формах (запись «варварских правд» в раннем Средневековье, право бургов и марок в XI–XII вв., становление городских корпораций в XII–XIII вв., фиксация кутюм и фуэрос во Франции и Испании и др.) предполагала более четкую фиксацию внешних границ той или иной общности и, следовательно, определяла координаты ее взаимодействий в системе властных отношений. Словом, значительная часть средневекового права имела территориальный или этно-территориальный характер и, по мнению средневековых авторов, в определенной мере отражала «нравы» населявшего территорию народа.

К началу XVII в., до унии 1603 г., в «составной» (multiple) державе Тюдоров[15] сохранялись крупные территориальные автономии. Среди них можно выделить следующие категории: четыре автономии феодального происхождения со статусом палатината, привилегии которых были формально зафиксированы в период правления нормандцев и Плантагенетов. Это палатинат епархии Дарема, светская юрисдикция над которым принадлежала епископу Даремскому; палатинат епархии или со светской юрисдикцией епископа Илийского; палатное герцогство Ланкастер и палатное графство Честер, до 1535/6 г. входившее в т.н. Валлийскую марку. Палатинаты обладали собственной администрацией, повторявшей структуру администрации королевской (включала должность канцлера и канцлерский суд), графство Честер обладало собственным парламентом, герцогство Ланкастер – феодальным советом; а епископ Даремский – монетным двором). При этом палатинаты не были представлены в английской палате общин, а на их территории было ограничено действие предписаний (writs) судов общего права (За исключением т.н. placita coronae – обвинений в мятеже, измене, фелонии и связанных с ними действиях)[16]. Герцогство Корнуолл, старейшее из английских герцогств, имело особый статус коронного владения (dominium), а его титул был зарезервирован для наследника престола. Формально не являясь палатинатом, Корнуолл обладал многими схожими чертами, в т.ч. специфической администрацией и рядом привилегий.

Вторым комплексом феодальных владений, степень автономии которых была формально ниже, чем у палатинатов, были графства Валлийской марки (Глостер, Герифорд, Пемброк и Шресбери). Акт об ин-

[13] Isidore of Seville 2006: 117.
[14] Цит. по: Ibbetson 2007: 154.
[15] Далее мы ограничим наш анализ островом Британия; история формирования дофеодальных и феодальных автономий в Ирландии требует отдельного анализа.
[16] Кок определяет их, как преступления contra coronem et dignitatem. Coke 1809: 21-22.

корпорации Уэльса 1535/6 г. (17 Hen.VIII c. 26) принес ряд изменений в положение этих графств, до того момента обладавших регальными правами; вместе с княжеством Уэльс они были инкорпорированы в состав «имперских владений» английского монарха. Самой крупной автономией дофеодального происхождения был Уэльс (его часть, которая лежала за пределами Марки); статус Уэльса как автономного княжества, подвластного английскому монарху, определялся Раддланским статутом 1284 г. (при этом внутри княжества разделялись две юрисдикции – Северный и Южный Уэльс с соответствующими юстициариями).

Наконец, нужно упомянуть автономии, располагавшиеся на островах Ирландского моря и Ла-Манша: королевство острова Мэн, главой которого являлся английский король, коронные владения на островах Джерси, Гернси и Уайт. На континенте последним знаковым анклавом английских владений был город Кале.

Помимо формализованных автономий в границах владений английского монарха выделялись две культурно-исторические зоны «пограничья»: пограничье Англии и Уэльса (не сводившееся к фиксированным границам Марки) и пограничье Англии и Шотландии – комплекс феодальных «свобод» и «франшиз» на территориях Нортумберленда и Камберленда, где действовало «право пограничья», а контроль английской короны был весьма условным. (После Унии 1603 г. Яков I будет настойчиво использовать по отношению к территориям английского и шотландского пограничья умиротворяющий термин «Срединные графства» (Middle Shires)[17]). Понятие «Западный полуостров» или «Западные земли» включало в себя не только формально автономный Корнуолл, но и графство Девон. Противопоставление склонных к мятежу и беззаконию «северян» жителям столицы и центральной Англии обострилось в период войны Роз и сохранялось еще долгое время[18].

Уже в историографии второй половины XIX в. возникло мнение, согласно которому феодальные автономии постепенно утрачивают свои реальные привилегии к исходу Средневековья, а Тюдоры наносят им ряд весомых ударов. Наиболее одиозным событием в этой картине нередко представляется уже упомянутая инкорпорация Уэльса и графств Марки Генрихом Тюдором. Помимо этого, в 1535 г. парламент принимает «Акт о юрисдикции в свободах» (Jurisdiction in Liberties Act, 27 Hen.8. c.24), значительно расширявший королевскую юрисдикцию внутри свобод и франшиз (данный акт был частью кампании против монастырей). В 1572 г. Елизавета Тюдор упраздняет палатный статус епархии Гексама, который становится частью графства Нортумберленд (14 Eliz.I c.13).

Объем вопросов, находившихся в ведении локальной администрации, оставался существенным, а интенсивность судебной, административной и экономической деятельности была значительной[19]. Процесс

[17] См., напр., речь 1609 г.: The Political works of James I 1918: 311.
[18] Goodman 1981: 224-246.
[19] Thornton 2001; Ellis 1986; Cooper 2003.

инкорпорации Уэльса и графств Марки превратил внешние границы региона в более проницаемые, способствуя созданию одной обширной территориальной корпорации, позволившей обеим сторонам обновить условия феодального контракта. Активное взаимодействие верховной власти с автономиями способствовало развитию и расширению прерогативных полномочий короны, позволявших уравновешивать влияние тех административных институтов, которые функционировали на основе общего права. Уже в эпоху ранних Тюдоров верховная власть уделяет пристальное внимание вопросам поддержания и функционирования локального права внутри автономий; монарх одновременно выступает и в качестве гаранта существующих «обычаев», и совершенствует их. Так, «право Пограничья» активно дополняется Тюдорами (1533 – Генрих VIII, 1549 – Эдуард VI, 1553 – Мария, 1563, 1596 – Елизавета I)[20]; два региональных совета – Совет Севера и Совет Уэльса – получают разрабатываемые Тайным советом инструкции, регулировавшие, в том числе, и способы сочетания в судебной процедуре и практике локального «обычая», королевской прерогативы и общего права. Корона активно занимается институциональным строительством, учреждая региональные советы (уже упомянутые Совет Севера и Уэльса, а также просуществовавший лишь десять лет совет Западных частей королевства; продолжал функционировать и Ученый совет герцогства Ланкастер).

Все эти обстоятельства подводят к мысли о заинтересованности верховной власти не столько в унификации этнокультурного ландшафта, сколько в управляемости автономий и создании/воссоздании каналов диалога и компромисса. Внутренняя структурная неоднородность тюдоровской и раннестюартовской монархии при ограниченных ресурсах применения насилия правящей династией оказывалась залогом устойчивости всей системы властных отношений[21]. Сама по себе централизация и унификация инструментов управления не мыслилась в качестве единственно возможного блага, а политика короны по отношению к автономиям (и кажущееся их ограничение) современникам представлялась как упорядочение принципов подчинения английскому монарху держаний с различным статусом. Конструирование автономий, тем не менее, не сводилось исключительно к практической инициативе верховной власти. Акторами конструирования автономий и региональных идентичностей могли выступать разные группы: центральные и локальные элиты, верховная власть, институты, религиозные общины и движения и т.д.[22]

Конец XVI – первая половина XVII в. отмечены появлением локально ориентированных нарративов[23]; в большинстве случаев их авторы были тесно связаны (происхождением или должностными обязанностями) с теми сообществами, которые были объектами их внимания. На-

[20] Leges Marchiarum 1747: 45-117.
[21] Федоров, Паламарчук 2020.
[22] Nuñez 2000: 123.
[23] The Vale-Royall of England 1656.

пример, Р. Керью, автор «Описания Корнуолла»[24] предлагает читателю альтернативную, корнуолл-ориентированную версию заселения Британии. Название Корнуолл он выводит от Коринея, кузена Брута; этот Кориней, высадившись в Плимуте, сразился с гигантом Гогмагогом и сбросил его со скалы в море, получив в награду землю. Затем, рассуждая о правдоподобности мифов о заселении Британии, Керью замечает: если уж признавать легенду о Бруте заслуживающей внимания, то следует признать и то, что он высадился, не в Дувре, а в городке Тотнес (совр. Девон), а значит, история заселения Британии начинается в Корнуолле.

В исторической мысли обретает новое звучание концепция «Гептархии» – семи саксонских королевств, из которых впоследствии образовалось английское королевство. Впервые эта концепция была озвучена в XII в. Генрихом Хантингтонским[25]; в XVI в. Уильям Ламбард, выдающийся юрист, антиквари и один из творцов англо-саксонизма, вновь сделал ее достоянием интеллектуалов. При этом Ламбард, много лет посвятивший юридической практике в графстве Кент, не только заслужил у потомков титул «отца локальной истории», но и настаивал, что этнокультурное своеобразие того или иного региона определяется спецификой доминировавшего там права. «Каждая страна [Гептархии], – пишет он, – имеет свои собственные законы и обычаи, и образ жизни, и никто не может сомневаться, что эти народы... имели собственные правила, порядки и институты. Среди них самые известные те, что нашими древними авторами названы датскими законами, уэссекскими и мерсийскими законами; первые были принесены данами, вторые бытовали среди западных саксов, третьи – в королевстве мерсийцев»[26].

У. Смит, автор нарратива «Королевская долина»[27], посвященного реконструкции локальной истории палатного графства Честер, практически полностью опирается на хорошо известные «Хроники» Рафаэля Холиншеда. Но если Холиншеду история Британии видится как протяженное во времени собирание территорий и династий в единое целое, как демонстрация континуитета монархической власти над рожденным из разнородных частей королевством Англия[28], то Смит применяет тот же принцип на локальном уровне, к истории конкретной автономии. Меняется ее статус и даже название (королевство Мерсия – герцогство Мерсия – графство Честер – Палатинат); линия преемства 22-х королей Мерсии сменяется чередой вассалов Вильгельма Завоевателя, однако сохраняется континуитет институтов власти, административная организация и локальные привилегии, творящие территориальную целостность.

Д. Додридж, создавая краткую «Историю древнего и нового состояния княжества Уэльс, герцогства Корнуолл и графства Честер»[29] акцен-

[24] Carew 1769: 1-3.
[25] Генрих Хантингтонский 2015:101-132.
[26] Lambarde 1596: xiv-xvi.
[27] The Vale-Royall of England 1656.
[28] The Oxford Handbook of Holinshed's Chronicles 2013: 336-337.
[29] Dodridge 1630.

тирует внимание на том, что три этих автономии образуют титулатуру наследника английского престола, их земли – основа королевского домена и, что особо отмечает автор, источник дохода и благосостояния династии. Вместе с этим именно монаршая воля, выраженная в даровании привилегий и закреплении статуса автономий по отношению к прочим землям королевства, становится залогом и основой их существования. Вновь отметим концептуальное соответствие: восприятие королевской власти как организующего и упорядочивающего начала для государства было характерно для антикварных и правовых нарративов, рассматривавших историю потестарных институтов в общеанглийском масштабе.

К концу XVI в. в восприятии автономий произошло заметное смещение акцентов, которые были характерны для классического средневековья. Соблюдение внешних формальных границ и фиксированных привилегий феодальных автономий оставалось важным элементом внутренней организации композитарной монархии. В раннее Новое время гораздо более важными компонентами понятия «автономия» становятся локальный обычай, институты взаимодействия корпорации с верховной властью, а также история, традиции и состав самой корпорации.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Генрих Хантингтонский. История англов. Пер. С.Г. Мереминского. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2015. 591 с. [Genryh Hantingtonskij. Istorija Anglow. Per. S.G. Mereminskogo. Moskwa: Universitet Dmitrija Pozarskogo. 2015. 591 s.].

Паламарчук А.А. Композитарная монархия и правовой полиморфизм в раннестюартовской Англии: к постановке проблемы // История. Электронный научно-образовательный журнал. 2018. № 1(65). [Palamarchuk A. A. Composite Monarchy and Legal Polymorphism in Early Stuart England: a Problem Statement // Istotiya-Electronnyi Nauchno-obrazovatelnyi zhurnal. 2018. № 1(65).].

Паламарчук А.А. Юрисдикция и методы ее регулирования в системе судебных институтов раннестюартовской Англии // Электронный научно-образовательный журнал. История. 2014. Вып. 10 (33) [Palamarchuk A. A. Jurisdiction and Its Regulation in Early Stuart England Legal System // Istotiya-Electronnyi Nauchno-obrazovatelnyi zhurnal.2014. № 10 (33).].

Федоров С.Е. Универсализм vs этноцентризм: империя и монархии к исходу средних веков // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. №6. С. 176-189. [Fyodorov S.E. Universalism vs etnozentrism: imperija I monarhii k ishodu srednih vekow // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenije. 2012. №6. S. 176-189.].

Федоров С.Е., Паламарчук А.А. Рассуждения о формуле власти // Средние века. 2020. Т. 81. Вып.1. С. 21-30. [Fyodorov S.E., Palamarchuk A.A. Rassuzhdenija o formule vlasti // Srednie veka. 2020. T. 81. Vyp.1. S. 21-30.].

Фукидид. История. Л.: Наука, 1981. 543 с. [Fukidid. Istorija. Leningrad: Nauka, 1981. 543 s.].

Carew R. The Survey of Cornwall. London: Printed for B. Law, 1769. 365 p.

Coke E. The Second Part of the Institutes of the Laws of England. L.: Clarke and Sons, 1809. 388 p.

Cooper J.P.D. Propaganda and the Tudor State. Political Culture in the Westcountry. Oxford: Clarendon Press, 2003. 285 p.

Dodridge J. The History of the Ancient and Modern Estate of the Principality of Wales, Dutchy of Cornewall and Earldome of Chester. London: Printed by Tho. Harper, 1630. 142 p.

Ellis S. Crown, Community and Government in the English Territories, 1450–1575 // History. Vol. 71. № 232. 1986. P. 187-204

Fouracre P. Eternal Light and Earthy Needs: Practical Aspects of the Development of Frankish Immunities // Property and Power in the Early Middle Ages. New York, Cambridge University Press, 1995. P. 53-81.

Goodman A. The War of the Roses. London and New York: Routledge, 1981. 298 p.

Hueglin Th. O. Early Modern Concepts for a Late Modern World: Althusius on Community and Federalism. Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1999. 265 p.
Ibbetson D. Custom in Medieval Law // The Nature of Customary Law. Legal, Historical and Philosophical Perspectives. / Ed. by A. Perreau-Saussine and J.B. Murphy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 151–175.
Isidore of Seville. The Etymologies of Isidore of Seville / Ed. and transl. by S. A. Barney, W.J. Lewis, J.A. Beach, O. Berghof. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 489 p.
Lambarde W. A perambulation of Kent: conteining the description, hystorie, and customes of that shyre..First published in the year 1576, and now increased and altered after the authors owne last copie. London: By Edm. Bollifant, 1596. 588 p.
Leges Marchiarum, or Borderlands… London: printed for M. Hamilton, 1747. 330 p.
Nuñez X.M. Autonomist Regionalism within the Spanish State // Identity and territorial Autonomy in Plural Societies. Ed. by W. Safaran and R. Màiz. London: Frank Cass, 2000. P. 121-141.
Pade M. Thucydides Renaissance readers // Brill's companion to Thucydides / Ed. by A. Rengakos and A. Tsakimakis. Leiden, Boston: Brill, 2006. P. 780-810.
Reynolds S. Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford: Clarendon Press, 1996. 560 p.
Rosenwein B. Negotiating Space: Power, Restraint and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe. Ithaca: Cornell University Press, 1999. 354 p.
Rosich G. The Contested History of Autonomy: Interpreting European Modernity. London, New York: Bloomsbury Academic, 2019. 258 p.
The Oxford Handbook of Holinshed's Chronicles / Ed. by P. Kewes, J. Archer and F. Hill. Oxford: Oxford University Press, 2013. 771 p.
The Political works of James I / Ed. By C.H. McIlwain. Vol.1. Cambridge: Harvard University Press; London: Humphrey Milford, 1918. 354 p.
The Vale-Royall of England, or, The County Palatine of Chester Illustrated… Performed by William Smith, and William Webb, Gentleman; published by Mr. Daniel King. London: printed by J. Streamer, 1656. 493 p.
The Vale-Royall of England, or, The County Palatine of Chester Illustrated… Performed by William Smith, and William Webb, Gentleman; published by Mr. Daniel King. London: printed by J. Streamer, 1656. 493 p.
Thornton T. Fifteenth-century Durham and the Problem of Provincial Liberties in England and the Wider Territories of the English Crown // Transactions of the Royal Historical Society. Vol. 11. 2001. P. 83-100.

Паламарчук Анастасия Андреевна, *доктор исторических наук, доцент, кафедра истории средних веков, Институт истории, СПбГУ, e-mail: a.palamarchuk@spbu.ru*

Федоров Сергей Егорович, *доктор исторических наук, профессор, кафедра истории средних веков, Институт истории, СПбГУ, e-mail: s.fyodorov@spbu.ru*

Constructing Medieval Territorial Autonomies: the Early Modern Reality and Discourses

Two divergent discourses, universalistic and particularistic, were simultaneously developed in Early Modern Europe. Corresponding discursive practices not only transformed the space of universalization, but also required conceptualization of a special functional unit conditionally termed here as a territorial autonomy. By the late 16th century observance of external formal boundaries and formalized privileges of feudal autonomies remained an important element of the internal structure of the Early Modern composite monarchy. Nevertheless, local customs, institutes, securing the interaction between a corporation and supreme power, local history, and traditions as well as the structure of a corporation itself became a more important component.

Keywords: *Autonomy, Feudalism, State, Monarchy, the Tudors, the Stuarts, England*

Sergey E. Fyodorov, *Dr. Sc. (History), Professor, Medieval History Department, Institute of History, St. Petersburg State University, e-mail: s.fyodorov@spbu.ru*

Anastasia A. Palamarchuk*, Dr. Sc. (History), Assistant professor, Medieval History Department, Institute of History, St. Petersburg State University, e-mail: a.palamarchuk@spbu.ru*

Н.С. Креленко

ЧАТТЕРТОН VERSUS УОЛПОЛ (ОБ ИСТОКАХ ОДНОГО РОМАНТИЧЕСКОГО МИФА)

Внимание автора статьи сосредоточено на конфликте, возникшем между Х. Уолполом, известным деятелем английской культуры XVIII века, и поэтом Т. Чаттертоном. Уолпол усомнился в подлинности присланного ему Чаттертоном трактата о живописи, будто бы написанного в XV в. Обиженный Чаттертон объявил его злодеем, отказавшимся помочь талантливому бедняку. Ранняя смерть Чаттертона позволила поэтам эпохи романтизма создать мифологизированный образ «дивного отрока» («marvellous boy»), преследуемого бессердечным богачом.

Ключевые слова: *английская культура, Просвещение, предромантизм, антикварий, мистификация, Х. Уолпол, Т. Чаттертон*

Восприятие потомками того или другого исторического эпизода всегда обрастает оценками, чаще всего имеющими определенную тенденциозность, обусловленную обстоятельствами, зачастую лишь косвенным образом связанными с самим эпизодом. Исходя из того, что «главную роль в формировании исторической памяти играет не столько событие, сколько представление о нем…»[1], рассмотрим, как произошло формирование представлений об одном конкретном событии.

Этот случай начался с письма, полученного в конце марта 1769 г. Хорасом Уолполом (1717–1797), человеком, занимавшим заметное место в культурной жизни Англии своего времени. К тому времени Уолпол был известен как автор готического романа «Замок Отранто», большого труда об истории живописи в Англии, сочинения о Ричарде III, нескольких стихотворных произведений и политических памфлетов. Кроме того, он был владельцем частной типографии. Письмо содержало заманчивое для Уолпола предложение: «Сэр, будучи сведущ немного в древностях, я обнаружил несколько интересных рукописей, среди которых могут быть полезные для Вас как будущего издателя «Анекдотов живописи в Англии» при исправлении ошибок (если таковые будут)»[2].

Стоявшее внизу имя Томас Чаттертон ничего не говорило Уолполу, но сам факт, что имеются какие-то свидетельства, поясняющие состояние английской живописи в XIV–XV вв., заставил его потерять осторожность. В ответном письме он проявил большую заинтересованность. В это время Уолпол работал над переизданием «Анекдотов из истории живописи в Англии» и рассчитывал получить подтверждение своему предположению о том, когда английские художники стали использовать масляные краски. Между тем, автор письма Т. Чаттертон, обещал прислать (и прислал!) копии нескольких прозаических и поэтических сочинений бристольского священника Томаса Роули, жившего в XV в. На первый взгляд их язык воспринимался как старинный, хотя

[1] Событие и время в европейской исторической культуре… 2018: 18.
[2] Цит. по: Ketton-Cremer 1946: 259.

Уолпол признался: «к сожалению, я не владею саксонским языком и без ваших пояснений не в состоянии понять текст Роули»[3]. Он увидел в присланных рукописях материал для новых публикаций в своем домашнем издательстве. Больше всего его заинтересовал трактат «Возрастание живописных ремесел в Англии, писанное Т. Роули в лето 1460 года для мастера Кэнинга», в котором он видел подтверждение своего предположения, что живопись маслом появилась в Англии раньше, чем нидерландский мастер Ян ван Эйк прославил эту живописную технику. Но, чтобы ссылаться на этот трактат в своем сочинении, ему необходимо было убедиться, что он был написан в XV в.

В ходе переписки стало очевидно, что все не так просто. Чаттертон дал понять, что находится в трудном материальном положении. Это насторожило Уолпола, он познакомил с присланными ему текстами знатоков староанглийского языка, поэтов Т. Грея и У. Мейсона, и те единодушно усомнились в их древности. Тон письма Уолпола изменился, он просил прислать подлинники рукописей и советовал автору писем сначала обеспечить себя материально, а потом обратиться к антикварным изысканиям. Ответ Чаттертона (апрель 1769 г.) звучал так: «Я копировал поэмы Роули с записей, которые принадлежат джентльмену, уверенному в их подлинности… Рукопись давно в руках ее нынешнего владельца, который все знает о ней…». Далее он с язвительной вежливостью благодарил Уолпола за совет «заниматься своим делом», обещая впредь только писать и переписывать юридические документы. В его словах звучала мальчишеская обида: «Хотя мне только 16 лет, я живу достаточно долго, чтобы видеть, насколько близки бедность и литература…»[4]. Текст письма наводил на мысль, что присланные «средневековые раритеты» были продуктом творчества самого Чаттертона. Ведь он свел все к своим занятиям литературой, а не антикварным поискам и находкам.

Чаттертон потребовал вернуть ему присланные тексты. Уолпол готовился в это время к отъезду в Париж, и не сразу откликнулся на это требование. Позднее рукописи были возвращены. Уолпол написал сопроводительное письмо, которое начиналось со слов, что он не видит большого преступления в невольной задержке присланных ему копий. Ведь это копии, а подлинники находятся у владельца. Из первого письма он понял, что сам адресат является владельцем, теперь вдруг выясняется, что они принадлежат некому мистеру Барретту, который, очевидно, не знал происхождения рукописей, если считал их древними.

В письме дается оценка того, что сделал Чаттертон: «Имею смутное подозрение, что ваши письма были направлены на то, чтобы посмеяться надо мной, если я попаду в эту западню, вы позволите мне сохранить оригиналы ваших писем, как образец изобретательной, хотя и безуспешной хитрости…»[5]. Письмо не было закончено, не было отправле-

[3] Walpole 1914: 274.
[4] Works of Horatio Walpole 1798: 236.
[5] Works of Horatio Walpole 1798: 238.

но. Только двадцать лет спустя, в 1792 г. Уолпол послал его в журнал, после того как там появилась публикация, связанная с Чаттертоном.

Уолпола подвела его импульсивность. Дав первый заинтересованный ответ на предложения неизвестного ему корреспондента, он зародил у того надежды на покровительство авторитетного мецената и издателя. Усомнившись в подлинности присланных текстов, а значит, поставив под вопрос возможность их публикации, он пробудил жгучую ненависть Чаттертона. Такая реакция становится понятна, если узнать обстоятельства жизни неудачливого мистификатора.

Томас Чаттертон (1752–1770) родился в Бристоле. Отец его был бедный учитель приютской школы Св. Фомы. Томас появился на свет через три месяца после смерти отца. Матери пришлось содержать себя и двоих детей, дочку и маленького сына. Она была умелая швея и вышивальщица и этим обеспечивала семью. Томас с раннего детства был поэтически одарен, мечтательно настроен, очень честолюбив и убежден в собственной исключительности. Семи лет он выучился читать по отцовской Библии, и с тех пор чтение стало смыслом его жизни, а любимым местом пребывания – церковь Марии Рэдклифской, где помощником священника служил его дядя. В сундуке, хранившемся в этой церкви, мальчик нашел много старинных рукописей, освоил старинный почерк и, подражая старинной манере речи, начал писать от имени людей, живших в старину. Он придумывал характеры и биографии своим персонажам, в частности, сочинял от лица клирика Томаса Роули поэмы и прозаические сочинения. Начиналось все, как игра мальчика-подростка. Думается, собственное имя Томас он дал Роули не случайно, надев на себя маску поэта-монаха, он как бы стал им. Среди любителей старины в родном Бристоле он нашел людей, которые поверили в подлинность рукописей, красиво написанных на старинных пергаментах, с которых были соскоблены старинные надписи. Помощник учителя Т. Филлипс, врач и антикварий У. Барретт, интересующийся всем понемногу Д. Кэткот считали подделки, изготовленные юным Чаттертоном, подлинными старинными документами. Так, для Барретта юный мистификатор сочинил интересные сведения об истории Бристоля, а честолюбцу Кэткоту сконструировал родословную, которой тот был очень доволен.

А вот первая публикация Т Чаттертона была совсем иного характера. В 1763 г. в местном издании появилась его злая стихотворная сатира по поводу бессмысленного сноса старинного каменного креста на бристольском кладбище. Таким образом, юный литератор имел как бы два голоса: мечтательно-лирический, стилизованный под старину, и сатирический, злой и язвительный обращенный к современности.

После окончания школы в 1767 г. юный Томас вынужден был начать работать у адвоката Д. Ламберта. Это было вполне приемлемое трудоустройство для юноши из разночинной среды, но Томас воспринял необходимость постепенно добиваться чего-то в жизни как нечто оскорбительное. Быт его семьи был скромным, но вполне достойным

для начинающего жизненный путь юноши. Но привыкнув жить в придуманном мире, он житейские реалии воспринимал через призму своих идеальных образов. Томас не делал различия между поэтическим творчеством и подделкой исторических свидетельств. Он надеялся, что сочинительство обеспечит ему известность и материальное благополучие. Его творения были «взрослыми» по своему художественному уровню, но на уровне житейски-бытовом он мыслил и вел себя по-детски.

Стремясь приобрести известность, Чаттертон послал несколько своих квазисредневековых сочинений лондонскому издателю Доудсли. Не получив от него ответа, он обратился к Уолполу, который мог не только оценить, но и издать его сочинения, а тот сначала обнадежил его, а потом отверг, да еще в оскорбительной, с точки зрения юного гения форме. Именно Уолпол стал для него воплощением всех недоброжелателей, не способных оценить его дарований. Чаттертон написал длинный обличительный стих, в котором проклинал своего обидчика. Вот несколько строк оттуда: «Уолпол! Я и в мыслях не имел, / Сколь ты жестоко сердцем очерствел / Вкушая Роскошь / Ты не внял Мольбе / Подростка одинокого к тебе…»[6]. Обличение полно пыла и страсти, при этом опущена одна деталь: переписка начиналась не с просьбы о поддержке, а с делового предложения, причем лукавого предложения приобрести фальшивку в качестве исторического источника. Главный упрек Чаттертона сводился к тому, что сам Уолпол издал «Замок Отранто» не просто анонимно, но от лица некоего сочинителя, будто бы жившего в XV в. При этом осталось без внимания то, что «Замок Отранто» Уолпола не претендовал на историческую подлинность, а предложенный им «Трактат о масляных красках», будто бы написанный средневековым клириком Роули, выдавался за исторический памятник и должен был создать ошибочное представление об истории английского искусства.

Весной 1770 г. Чаттертон приехал в Лондон. Он много писал и издавался в разных журналах, причем от своего имени он публиковал сатирические произведения. Одно из них характеризует его не лучшим образом. Сатира «Зрелище» очень метко и зло преподносит нравы бристольских врачей и юристов, которые привечали юное дарование и которых он безжалостно выставил на всеобщее осмеяние. Заинтересованные лица восприняли (и вполне оправданно) язвительные обличения Чаттертона, как проявление вопиющей неблагодарности. А с какой презрительной неприязнью писал он о городе, в котором вырос. Все написанное отличает яркость и убедительность образов, но, сколько в этом было озлобленности на мир, который не спешил признать его таланты…

Все это время Чаттертон не забывал уделять внимание своему главному обидчику, для чего он использовал все, что знал о жизни и быте своего недруга. Уолпол подарил своей приятельнице актрисе миссис Клайв коттедж неподалеку от Строуберри Хилл. Это послужило темой для сатиры Чаттертона «Тайный брак», в котором Уолпол был

[6] Цит. по: Уайтхед 1986: 16-17.

выведен под именем барона Отранто, а Китти Клайв изображена его любовницей под именем миссис Хейбельбург. Вся палитра чувств одаренного юноши, обделенного благами жизни, выплескивалась в этих пасквилях, ибо трудно назвать иначе эти сочинения. Между тем, стало очевидно, что многочисленные публикации в разных журналах не решают материальных проблем молодого поэта. Издатели охотно брали и публиковали его произведения, но не спешили выплачивать за них деньги. Спустя некоторое время Чаттертон запутался в проблемах взрослой жизни и покончил с собой, отравившись мышьяком[7].

В романе П. Акройда «Чаттертон» (1987) этот эпизод преподнесен не как жест отчаяния, а как результат неосторожности молодого человека. Дело в том, что тогда мышьяк применяли в качестве лекарства от сифилиса, болезни, весьма распространенной во всех слоях общества. Такая версия имеет право на существование, но именно в качестве версии. Как увязать с ней тот факт, что, умирая, Чаттертон постарался уничтожить все бывшие у него под рукой рукописи? Смерть его прошла незамеченной, но спустя пару лет его «открыли» и сделали культовой фигурой представители формирующейся романтической культурной традиции. Его характер и судьба идеально укладывались в параметры новой эстетической матрицы: юный, талантливый, непонятый, несчастный. А фигура Уолпола прекрасно дополнила эту картинку, в качестве старого, богатого, благополучного антиквария, не пожелавшего поддержать молодое дарование. Ведь «он не внял Мольбе…» Что стояло за этими трогательными строчками казалось не столь важным.

В стихах поэтов-романтиков постоянно варьируется образ гениального юноши страдальца: «Тот юный гений, / Мятежный дух, угасший в цвете лет.» (У. Вордсворт); «О, Чаттертон! О, *жертва злых гонений*! / Дитя нужды и горестных тревог!» (Д. Китс); «Чаттертон, агонией доселе истомленный» (П.Б. Шелли); «О, Чаттертон! Над бедным прахом плачет / Тот, для кого твой гений столько значит. / Прощай *страдалец*!» (С. Кольридж). Появились драматические произведения, в которых обыгрывался сюжет, соответствовавший требованиям романтической драмы и просившийся на сцену. В период расцвета романтизма Альфред де Виньи написал драму «Чаттертон», а несколько позднее она обрела музыкальное звучание, став оперой, музыку для которой написал Руджеро Леонкавалло под тем же названием (1876). Основной лейтмотив – Чаттертон бедный страдалец, жертва. Прерафаэлит Д.Г. Россетти написал о Чаттертоне в своем цикле «Пять английских поэтов». несколько сместив акценты и сосредоточившись на противоречивости личности самого поэта: «Скорбь Гамлета занявший – у Шекспира, У Мильтона – гордыню Князя Мира… *к погибели влеком*».

Признанный художник Г. Уоллис написал картину «Смерть Чаттертона» (1856) На полотне прекрасный юноша в белой рубашке, кар-

[7] См. подробнее: Халтрин-Халтурина 2013.

тинно свесив руку, умирает на кушетке в убогой каморке. Правда, внешность красавца, изображенного на полотне, имеет мало общего с единственным известным портретом подлинного Томаса Чаттертона, на котором он выглядит капризно-инфантильным. Уоллис писал свою картину в той самой чердачной комнате, где все произошло. В прямоугольнике открытого окна виден блеклый рассвет. На подоконнике стоит трогательно хрупкий комнатный цветок. На полотне запечатлен лишь творческий беспорядок и никаких признаков грубой правды. В действительности смерть от мышьяка выглядит безобразно. Картина и сделанная на ее основе гравюра пользовались известностью среди широкой публики.

Несколько поколений поэтов, драматургов, художников и композиторов создали на основе известных фактов образцовую модель творческой личности в понимании романтической эстетики. «Чаттертон – идеальный герой романтической литературы: гениальные способности, нужда, страдания, ранняя смерть, театральность поведения, наконец, сама маска, которую он по доброй воле надел на свое лицо, тайна, окружавшая его»[8]. С этим остается только согласиться. Созданная модель способствовала формированию мифологии романтизма, для которой нужны были притесняемая жертва и суровые внешние силы, будь то стихийные бедствия или бессердечные гонители, а лучше один – в этом случае создается более цельное и выразительное противостояние.

Возвращаясь к проблеме жертвы и гонителей, следует сосредоточиться вот на чем. Все писавшие о трагической судьбе Чаттертона отмечали, но, как бы не замечали, что опытный профессионал и знаток литературы издатель Доудсон ничего не ответил Чаттертону по поводу присланных рукописей; что другие издатели печатали, но редко платили поэту за его сатиры; а конфликт с Уолполом произошел за два года до самоубийства поэта. Указывается, но опять же, остается вне внимания, что Уолпола заинтересовал документ, который он считал историческим источником, а не образчики средневековой поэзии, приложенные к нему. В 1779 г., когда Чаттертона «открыли», и вышло несколько изданий его литературного наследия, в частном письме У. Коули Уолполом дано его видение того, что определило судьбу поэта-честолюбца: «Думаю, успех Макферсона с “Оссианом” был более гибельным для Чаттертона, чем я»[9]. В феврале 1792 г. он отправил в «Европейский журнал» письмо, в котором попытался расставить все по местам и объяснить схему взаимоотношений, несколько подробнее представив историю своей переписки с Чаттертоном[10].

Объяснение было воспринято как оправдание, а оправдание, особенно самооправдание принято рассматривать косвенным признанием вины. Уолпол был стар, богат, известен как знаток-дилетант. Он не принадлежал к какому-нибудь авторитетному ученому сообществу, а

[8] Уайтхед 1986: 22.
[9] Walpole 1914: 322.
[10] Works of Horatio Walpole 1798: 239.

значит, не имел «группы поддержки», готовой его защищать. То есть, он оказывался идеальной фигурой на роль Сальери. Показательно, что на самой заре романтической эпохи, в 1795 г. Исаак Д'Израэли в сочинении «История гения» писал об Уолполе с обвинительными интонациями: «Он отверг самого Чаттертона»[11]. Звучит так, что слово «самого» просится быть написанным большими буквами.

Две культурно-исторические эпохи, Просвещение и Романтизм отличались очень разным эмоциональным настроем. Для Просвещения было характерно ироническое мировосприятие. Романтизм культивировал драматизм и жертвенность. Те, кто подводил итог диалогу Уолпола и Чаттертона, исходили из романтической системы ценностей, согласно которой ироническая легкость не одобрялась, воспринималась как проявление беспечно-бессердечной аристократической культуры.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Д'Израэли И. Литературный характер или история гения. Дубна, 2000, 368 с. [D'Izraelay I. Literaturnyjj kharacter ili istorija genija, Dubna, 2000, 368 c.]

Поэзия английского романтизма. М.: Художественная литература. 1975, 670 с. [Poehzija anglijskogo romantizma. M., Khudozhestvennaja literature, 1975, 670 s.]

Событие и время в европейской исторической культуре XVI – начала XX века / Под ред. Л.П. Репиной, М.: Аквилон, 2018. [Sobitie i vremja v evropejjskojj istoricheskojj culture XVI – nachala XX veka / Pod. red. L.P. Repinojj. M., Akvilon, 2018, 512 c.]

Уайтхед Д. Серьезные забавы. М.: Книга, 1986. 287 с. [Vajtkhed D. Sereoznye zabavy. M., Kniga, 1986. 287 c.]

Халтрин-Халтурина Е. «Дивный отрок» Томас Чаттертон – мистификатор par excellence // Иностранная литература. 2013, № 4. С. 160-170. [Khaltrin-Khalturina E. "Divniy otrok" Tomas Chatterton – mistifikator par excellence // Inostrannaya literatura. 2013. № 4. C. 160-170.]

Havens M. Horace Walpole and Strawberry Hill Press. 1775–1789. The kirgatepress, 1901. 85 p.

Greenwood A.D. Horace Walpole's world. A sketch of whig society under George III. L.: Bell and sons, 1913. 300 p.

Gwinn S. The life of Horace Walpole. L.: Thornton Butterworth. 1934. 286 p.

Ketton-Cremer R.W. Horace Walpole, L.: Fuber and Faber, 1946. 334 p.

Walpole H. Selected letters of Horace Walpole. L.: Bell and sons, 1914. 386 p.

Works of Horatio Walpole earl of Orford in 5 vols, Vol. IV, L.: Paternoster-Row and J. Edwards, 1798. 468 p.

Креленко Наталия Станиславовна, *доктор исторических наук, профессор, кафедра всеобщей истории, Институт истории и международных отношений, Саратовский национальный исследовательский университет; krelenkon@mail.ru*

Chatterton versus Walpole. On the roots of a romantic myth

The author's attention is focused on the conflict between H. Walpole, a well-known cultural figure of the eighteenth-century England, and poet T. Chatterton. Chatterton sent Walpole a treatise on painting allegedly written in the fifteenth century, but Walpole doubted its authenticity. Offended, Chatterton called him a villain, who refused to help a talented poor man. Chatterton's early death allowed romantic poets to create a mythologized image of a "marvellous boy", who was persecuted by a heartless rich man.

Key words: English culture, the Enlightenment, Pre-Romanticism, antiquary, mystification, H. Walpole, T. Chatterton

Natalia S. Krelenko, *Dr. Sc. (History), Professor, Department of World History, Institute of History and International Relations, Saratov National Research University; krelenkon@mail.ru*

[11] Д'Израэли 2000: 95.

И.М. Эрлихсон

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ

В предлагаемой рецензии анализируется монография Т.Л. Лабутиной и М.А. Ковалева «Британские интеллектуалы эпохи Просвещения: от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка» (2020), представляющая собой опыт систематизации и осмысления британской интеллектуальной культуры конца XVII – XVIII века.

Ключевые слова: *Просвещение, Великобритания, интеллектуалы, публицистика, власть, политика*

Одной из тенденций современной исторической науки является стремление произвести ревизию традиционных представлений об эпохах, ставших переломными в общественной и духовной жизни европейского и глобального мира. В этом контексте эпоха Просвещения как время беспрецедентной мобильности и вариативности взаимоисключающих идей и мировоззренческих установок, радикальной трансформации социального бытия человека представляет особую притягательность.

Историографической аллегорией эпохи Просвещения может служить безмятежно пасторальный, в традициях Ж.-Ж. Руссо, ландшафт, на фоне которого уже несколько столетий разгораются интеллектуальные баталии относительно характера и направленности его системообразующих элементов. Абсолютно справедливо утверждение Б.Г. Капустина о невозможности подвести единый теоретический или политический знаменатель под всё многообразие духовных и социальных явлений, «вследствие чего спор о том, "что такое Просвещение?", обещает длиться столь же долго, сколько длится наша Современность»[1]. Просвещение, стремившееся избавить человечество от догм и предрассудков, имеет такую давнюю историографическую традицию, что в определенной степени подверглось догматизации, сводящей его духовно-интеллектуальный контент к набору хрестоматийных штампов, таких как «торжество разума», «культ разума», «век разума» и т.д. По мнению авторитетного британского историка Джонатана Израэля, «Просвещение на самом деле – и вопреки общепринятому представлению – как исторический феномен сегодня довольно плохо исследовано, и наши знания о мыслителях этого периода отрывочны и нагружены клише»[2].

Реконструкция идейного наследия эпохи Просвещения – амбициозная задача для историка, особенно если в прошлом у него уже имелся богатый опыт обращения к этой теме. Вышедшая в 2020 г. в издательстве «Алетейя» монография «Британские интеллектуалы эпохи Просве-

[1] Капустин 2015: 69.

[2] Цит. по: Ойттинен 2017: 5.

щения: от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка» является логическим продолжением целого цикла работ, посвященных английскому Просвещению конца XVII – XVIII в.[3] Попытка дать универсальную оценку духовных коллизий и интеллектуальной амбивалентности эпохи Просвещения, безусловно, невозможна без учета *национальной* специфики проявления этого феномена. «Такой подход чреват сильным упрощением реального положения дел и в конечном счете обеднением нашего представления о Просвещении, так как, принимая за своего рода стандарт черты одного из возможных изводов Просвещения (чаще всего французского), мы рискуем упустить из внимания все остальные черты, характерные для этого культурного явления в других регионах[4].

Т.Л. Лабутина, один из самых авторитетных специалистов в области истории Англии XVII–XVIII вв., в свое время открыла для российской науки имена деятелей раннего английского Просвещения (1689–1714) – лорда Болингброка, маркиза Галифакса, Дж. Сомерса, У Темпля, а также внесла фундаментальный вклад в реконструкцию интеллектуального наследия знаменитых литераторов Д. Дефо, Дж. Свифта, Р. Стиля и Дж. Аддисона. Специфика морально-этической платформы английских просветителей XVIII в. и взаимосвязь их идейно-политических воззрений с практической государственной деятельностью — два актуальных научных сюжета, которым посвящена рецензируемая монография.

«Почему и как литераторы попадали в политику? Чем определялся их выбор политической и партийной позиции? Как формировалась идейно-политическая просветительская платформа? Наконец, каким образом поддерживался диалог писателей и журналистов с властями?»[5]. Ответы на эти вопросы представлены в десяти независимых биографических очерках, посвященных как выдающимся деятелям британского Просвещения – Д. Дефо, Дж. Свифту, Дж. Болингброку, С. Галифаксу, Э. Берку, Р. Стилю, Дж. Аддисону, Г. Филдингу, Ф. Честерфилду, так и менее известным – Ф. Дэшвуду и Дж. Литтлтону. Методологически применение историко-биографического метода оправдано, так как каждый герой являет собой персонифицированную метафору эпохи, а потому вполне закономерным представляется поместить их жизнь и творческое наследие в фокус авторского анализа.

Для проникновения во внутренний мир этих неординарных личностей и постижения их глубинной мотивации принципиальным моментом является четкое разграничение ключевых позиций понятийно-категориального аппарата, к которым относятся термины «интеллектуал» и «просветитель». Примечательно, что понятие «интеллектуал» дается авторами монографии в трактовке Википедии: «человек с высоко развитым умом и аналитическим мышлением… до XVIII века интеллектуалом в современном смысле оказывался любой грамотный человек…

[3] См.: Лабутина 1994, 2005; Лабутина, Ильин 2012.
[4] См.: Крыштоп 2018: 85.
[5] Лабутина, Ковалев 2020: С. 8. Далее ссылки на эту книгу даются в тексте рецензии.

С конца XVIII века… выражение “человек букв” приобрело более узкое значение, связанное с окололитературной деятельностью» [9].

Возникает закономерный вопрос: какой смысл вкладывают в данное понятие авторы применительно к исследуемому периоду? И главное – остается неясным, тождественны ли термины «интеллектуал» и «просветитель» или же они различаются по смысловому наполнению. Следствием терминологической путаницы стало спорное, с нашей точки зрения, причисление к просветителям некоторых персон, таких как, например, Фрэнсис Дэшвуд, чья биография характеризует его, скорее, как интеллектуального либертена и не очень успешного политика. Возможно, если бы авторами рецензируемой монографии были привлечены иные источники, помимо известного «Дневника пребывания в Санкт-Петербурге в 1733 году», то глава «Неизвестные просветители Англии» более соответствовала ее названию. Но поскольку ни во введение, ни в главы книги не включено описание источниковой базы, судить о наличии вводимых в научный оборот новых источников, а также говорить об элементах новизны в реинтерпретации уже известных достаточно сложно.

Хотелось бы подчеркнуть присущую монографии неоднородность в плане широты освещения жизни и интеллектуального творчества ее героев. Главы, посвященные Свифту, Дефо, Аддисону, Стилю, с источниковедческой точки зрения фундированы весьма основательно, а биографическая и аналитическая компоненты в них гармонично соразмерны. Так, в главе «Мораль и политика Джозефа Аддисона» представлен блестящий экскурс, в котором на основе анализа журналистских эссе из журналов “Freeholder” и “Spectator” в полной мере раскрываются грани политико-философских воззрений писателя на фоне его триумфального восхождения к вершине политического Олимпа. А коллеге Аддисона по литературному и политическому цеху Генри Филдингу повезло гораздо меньше. Значительную часть очерка составляет пересказ хорошо известных по самой популярной книги Пэта Роджерса[6] биографических фактов Филдинга, а также сюжетов его пьес и романов. Логика изложения настолько своеобразна, что Филдинг предстает не как блестящий интеллектуал и выдающийся социальный реформатор эпохи, помимо прочего, заложивший теоретические основы британской полиции, а далекий от нравственных идеалов недобросовестный магистрат, расследующий дела, связанные с воровством постельного белья [394]. Источники использованы авторами монографии предельно сдержанно, если не сказать аскетично, а общественно-политическим трактатам Филдинга, анализ которых органично бы заполнил упомянутую лакуну, отведено очень скромное место. Так, содержание более чем 200-страничного сочинения «Исследование причин участившихся преступлений…» (1751) укладывается в лаконичной констатации, что корень проблемы Филдинг усматривал в падении нравов и чрезмерном потреблении алкоголя.

[6] См.: Роджерс 1984.

Хотелось бы обратить внимание на одну важную методологическую деталь: авторы фактически отказываются от академической манеры, предполагающей демонстрацию знакомства с современной исследовательской литературой, касающейся интерпретации тех или иных аспектов анализируемых концепций. Представленный во введении историографический обзор крайне фрагментарен: ограничиваясь ссылками на фундаментальные труды советских и российских историков, авторы фактически проигнорировали самые актуальные на сегодняшний день зарубежные исследования, посвященные феномену Просвещения, такие как труды Роя Портера, Джонатана Израэля, Дэна Эделштейна, Гертруды Химмельфарб[7]. В силу этого наличествуют фактологические ошибки. Представляется некорректным утверждение: «термин “британское Просвещение” нам не доводилось встречать в зарубежной литературе» [18]. Так, монография авторитетного американского неоконсервативного историка идей Г. Химмельфарб представляет собой апологию именно *британской* просветительской модели, отдавая ей как хронологический приоритет, так и философское первенство. Р. Портер указывал на то, что «в терминологическом отношении “английский” и “британский” являются взаимозаменяемыми применительно к идеям и теориям, широко разделяемым элитой Британских островов, так как практически все просвещённое мышление вышло из английских голов в первой трети XVIII века», а также извинялся за то, что «дерзко включил шотландских мыслителей в британскую историю Просвещения»[8].

Итак, какими же базовыми характеристиками наделяется британское Просвещение? В целом авторская позиция совпадает с традиционными представлениями, презентующими его как умеренное, основанное на равновесии между разумом и традицией, прагматизме, интересе к вопросам государственного устройства, этическим, экономическим и историческим сюжетам. Но хотелось бы остановиться на одном важном моменте. Интеллектуальная история предполагает балансирование на тонкой грани, преодоление которой может обернуться полным исключением социального и общественно-политического измерения и односторонним фокусированием на «чистой» истории идей. Между тем, теоретико-методологический подход, в русле которого трактуются просветительские концепции в рецензируемой книге, ведет к обратной крайности.

Мы согласны с авторским тезисом, что морально-этическая платформа английских просветителей базируется на гуманистических идеалах эпохи Ренессанса. От гуманистов просветители унаследовали критическое отношение к существующим порядкам и авторитетам, свободомыслие, исторический оптимизм, приверженность вечным для всех народов категориям добра, справедливости, счастья и мира на Земле. «Они призывали к борьбе за достижение гармонии в обществе посредством распространения знаний, просвещения, культуры среди сограждан. И ни-

[7] См.: Porter 2001; Israel 2013; 2020; Edelstein 2010; Himmelfarb 2005.
[8] Porter 2001: XVIII.

какие преследования властей не могли отвратить наших героев от борьбы за эти благородные идеалы Просвещения, которые они словом и пером отстаивали на протяжении всей своей жизни» [7-8]. Правда, по логике повествования, буржуазная действительность вносила серьезные коррективы в мотивацию литераторов, которые ставили свой талант на службу властным структурам, не жалевшим ни сил, ни средств, чтобы привлечь их на свою сторону.

Сквозным сюжетом, объединяющим главы, является принципиальный вопрос общественной жизни – вопрос о взаимоотношениях интеллектуалов и власти. Ориентация на общечеловеческие ценности и политическая ангажированность – своего рода дихотомия британских просветителей – намеренно акцентируется во всех представленных биографиях, причем приоритет явно отдается последней. Этот парадокс авторы объясняют так: «Нельзя сказать, чтобы деятели культуры становились слепым орудием в политике власть предержащих. Большинство из них сознательно сотрудничало с властями, отрабатывая "словом и пером" правительственные заказы, поскольку сами принадлежали к тем социальным слоям (отстаивавшим "денежные" и "земельные» интересы), которые стояли у руля правления… Когда же власти отказывались от услуг наемных литераторов и те, что называется оказывались "не у дел", тогда-то просветители переходили в стан оппозиции и принимались обличать во всех смертных грехах своих вчерашних хозяев. Захватнические войны, доведение народа до нищеты, коррупция чиновников… – все это становилось предметом острой критики, благодаря которой они широко прославились на века не только в своей стране, но и далеко за ее пределами» [455]. Подобная трактовка вызывает ассоциации со знаменитой статьей Эрнста Блоха «Интеллектуал и политика». Немецкий социолог-неомарксист полагал свободно действующую интеллигенцию иллюзией и сводил "людей умственного труда" к "беспринципным журналистам и беспомощным наблюдателям"[9]. На наш взгляд, сведение идейного плюрализма британских интеллектуалов XVIII века к обслуживанию интересов правящих кругов равнозначно приравниванию выдающихся писателей, философов, публицистов к низкопробным журналистам с Граб-стрит, именуемым великим Дефо «продажными писаками» и «второсортными прожектёрами»[10]. Идея о том, что деятели британского Просвещения могли придерживаться политико-ценностного нейтралитета, кажется авторам монографии неприемлемой. По их мнению, главная функция просветителей заключалась в идеологической обработке общественного мнения, а сами они руководствовались исключительно классовыми, партийными или меркантильными интересами.

Подобные умозаключения очевидно свидетельствуют о скованности авторов бытующими в историко-философской мысли не одно столе-

[9] Блох С. 79.
[10] Moreton 1841.

тие историческими объяснениями Просвещения. Так, Р.Ю. Виппер писал: «Самые крупные литературные силы бросились в борьбу – Дефо, Стиль, Аддисон со стороны либеральных вигов, а с противной – Свифт и Болингброк; сменявшие у правления партии субсидировали их, сообщали им темы и секреты, инспирировали направление их статей или, напротив, черпали сами в них вдохновение и силу» [11]. Разумеется, каждый историк свободен в выборе теоретико-методологических ориентиров, но, с учетом богатого арсенала современных научно-исследовательских парадигм, возведение принципа партийности (или другого принципа), в ранг монопольной установки, неизбежно ведет к упрощенному пониманию уникальной интеллектуальной культуры как английского, так и любого другого национального варианта Просвещения. Сложность интерпретации Просвещения как универсального феномена, на наш взгляд, заключается в том, что его можно понимать трояко: как систему ценностей и мировоззренческих координат; как определенный способ мышления и осмысления реальности и как движение к некой цели, которую сами просветители видели совершенно по-разному. Когда же «из поля зрения ускользает внутренняя сложность – характер взаимосочетания различных явлений, образующих единую систему»[12], происходит искажение как образа эпохи, так и ее творцов. Британские просветители не просто ставили свое перо на службу власти, они трансформировали властные практики и отношения силой СЛОВА, генерируя идеи и имплементируя их в социально-правовую, политическую, экономическую, духовную жизнь общества, тем самым модернизируя его.

Резюмируя, можно заключить, что в композиционном и содержательном планах монография «Британские интеллектуалы эпохи Просвещения: от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка» отражает логику достижения цели и решения сформулированных исследовательских задач. В более ранних публикациях авторы уже неоднократно освещали разные аспекты данной проблематики. Рецензируемая монография носит обобщающий характер, в которой представлена авторская, органически связанная с более ранними научными работами концепция английской интеллектуальной культуры XVIII века. Исследование является приглашением к внимательному разбору феномена британского Просвещения как комплексного явления со своей внутренней логикой и конфликтующими тенденциями в богатейшей палитре мнений, взглядов и идей.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Блох Э. Интеллектуал и политика // Философия и общество. 2006. № 3 (44). С. 78–86. [Bloh E. Intellektual i politika // Filosofiya i obshchestvo. 2006. № 3 (44). S. 78–86]

Виппер Р. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе. 2-е изд. М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. 208 с. [Vipper R. Obshchestvennye ucheniya i istoricheskie teorii XVIII i XIX vv. v svyazi s obshchestvennym dvizheniem na Zapade. 2-e izd. M.: Tip.. t-va I.N. Kushnerev i K°, 1908. 208 s.]

[11] Виппер 1908. С. 48.

[12] Липатов 1998. С. 169.

Капустин Б.Г. Просвещение как критика // Вестник Российского университета дружбы народов. Политология. 2015. № 4. С. 68–84 [Kapustin B.G. Prosveshchenie kak kritika // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Politologiya. 2015. № 4. S. 68–84].

Крыштоп Л.Э. Феномен немецкого Просвещения // Идеи и идеалы. 2018. № 2 (36), т. 2. С. 84–99. [Kryshtop L.E. Fenomen nemeckogo Prosveshcheniya // Idei i idealy. 2018. № 2 (36), t. 2. S. 84–99].

Лабутина Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М.: Наука, 2005. 457 с. [Labutina T.L. Kul'tura i vlast' v ehpokhu Prosveshcheniya. M.: Nauka, 2005. 457 s.]

Лабутина Т.Л., Ильин Д.В. Английское Просвещение: общественно-политическая и педагогическая мысль. СПб.: Алетейя, 2012. 304 с. [Labutina T. L., Il'in D. V. Anglijskoe Prosveshchenie: obshchestvenno-politicheskaya i pedagogicheskaya mysl'. SPb.: Aletejya, 2012. 304 s.]

Лабутина Т.Л., Ковалев М.А. Британские интеллектуалы эпохи Просвещения от маркиза Галифакса до Эдмунда Берка. СПб: Алетейя, 2020. 462 с. [Labutina T.L., Kovalev M.A. Britanskie intellektualy epohi Prosveshcheniya ot markiza Galifaksa do Edmunda Berka. SPb: Aletejya, 2020. 462 s.]

Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии. Политическая мысль английского Просвещения (1689–1714 гг.). М.: ИВИ РАН, 1994. 302 с. [Labutina T.L. U istokov sovremennoj demokratii. Politicheskaya mysl' anglijskogo Prosveshcheniya (1689–1714 gg.). M.: IWI RAN, 1994. 302 s.

Липатов В.А. Эпоха Просвещения: светские и духовные начала // Славянский альманах. 1997. Т. 1998. С. 169–173. [Lipatov V.A. Ehpokha Prosveshcheniya: svetskie i dukhovnye nachala // Slavyanskij al'manakh. 1997. T. 1998. S. 169–173].

Ойттинен В. Двуликое Просвещение. Концепция Просвещения Джонатана Израэля // Vox. Философский журнал. 2017. № 23. С. 1–10. [Ojttinen V. Dvulikoe Prosveshchenie. Koncepciya Prosveshcheniya Dzhonatana Izraehlya // Vox. Filosofskij zhurnal. 2017. № 23. S. 1–10. URL : http://vox-journal.org].

Роджерс П. Генри Филдинг. Биография. М.: Радуга, 1984. 208 с. [Rodzhers P. Genri Fielding. Biografiya. M.: Raduga, 1984. 208 s.]

Edelstein D. The Enlightenment: A Genealogy. Chicago: Un-ty of Chicago Press, 2010. 224 p.

Himmelfarb H. The Roads to Modernity: The British, French and American Enlightenments. New York: Vintage Books, 2005. 304 p.

Israel J.I. The Enlightenment that failed. Oxford: Oxford University Press, 2020. 1088 p.

Israel J. I. Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution and Human Rights. 1750–1790. Oxford: University Press, 2013. 1066 p.

Moreton A. [Defoe D.] Second Thoughts are Best: Or a Further Improvement of a Late Scheme to Prevent Street Robberies. Oxford, 1841.

Porter R. The Creation of the Modern World: The Untold Story of the British Enlightenment. W.W. Norton & Company, 2001. 768 p.

Эрлихсон Ирина Мариковна, *доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина; i.erlihson@365.rsu.edu.ru*

Intellectuals and Power

The present book review analyzes the collective monograph authored by T.L. Labutina, M.A. Kovalev. The reviewed monograph systematizes and assesses history of British intellectual culture of the late 17th – 18th centuries.

Keywords*:* Enlightenment, Great Britain, intellectual, politics, journalism, authority

Irina M. Erlihson, *Dr. Sc. (History), Professor, Department of World History and International Relations, Ryazan State University named for S.A.Yesenin; i.erlihson@365.rsu.edu.ru*

С.А. Панарин

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ «УТОПИЯ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В книге В. Дятлова, Я. Гузей и Т. Сорокиной рассказывается о преступлении, совершенном российской стороной в 1900 г. во время обстрела ихэтуанями г. Благовещенска. Тогда, вместо того чтобы депортировать находившихся в городе китайских трудовых мигрантов, их попросту утопили в Амуре. Книга заслуживает высокой оценки за удачную композицию, прекрасный стиль изложения и особенно за сделанный авторами акцент на диалогической интерпретации восприятия события его современниками и сетевым сообществом в наше время. Эту оценку не подрывают ни непреднамеренное использование паралогизма для доказательства одного из авторских тезисов, ни весьма спорная квалификация авторами утопления как погрома.

Ключевые слова: *Благовещенск, событие, мигранты, диалог, паралогизм*

В книге, о которой пойдет речь[1], рассказывается о событии, случившемся на окраине Российской империи в то время, когда в Китае развернулось движение ихэтуаней. 2 июля 1900 г. начался обстрел китайцами со своего берега Амура стоявшего на другом берегу российского Благовещенска. Особого вреда он не причинил, но в городе почти не было воинских подразделений, и вспыхнула паника. Второй ее причиной было наличие нескольких тысяч китайских трудовых мигрантов. В них сразу заподозрили враждебную силу, и губернатор К. Грибский приказал переправить их на китайский берег. Место переправы выбрали у поселка Верхне-Благовещенского, где ширина Амура была порядка 200 м. Плавсредства в поселке имелись, на них можно было перевезти человек 600 за раз. Отправленная утром 4 июля первая партия депортируемых насчитывала, по разным оценкам, от 1300 до 4 тыс. чел. Вели ее 85 вооруженных топорами конвойных во главе с помощником пристава Шатановым. Идти надо было около десяти верст, по жаре; старики и больные стали отставать, и Шатанов приказал их ликвидировать. Зарубили несколько десятков. У переправы к конвою присоединились местные казаки. Рисковать своими лодками они отказались. Китайцам велели переправляться вплавь, в воду их загнали с помощью тех же топоров, нагаек и стрельбы. Очень многие не умели плавать либо плавали не так хорошо, чтобы при быстром течении одолеть расстояние даже в 200 м, и утонули. В итоге от первой партии уцелело человек сто-двести. Вечером пригнали вторую, в 84 человека, ее постигла та же участь. В последующие дни «переправили» еще две партии: в 170 и 66 человек[2].

О «Благовещенской Утопии» быстро узнали и в резиденции краевого губернатора в Хабаровске, и в Петербурге, и за рубежом. Для расследования назначили несколько комиссий, по их выводам пострадало

[1] Дятлов, Гузей, Сорокина 2020. Ссылки на книгу даются в тексте рецензии.
[2] Благовещенская утопия 2020.

начальство: некоторым – немногим – вменили в вину нераспорядительность и прямое подстрекательство к расправе и уволили. Грибский тоже был снят со своего поста, но получил аналогичный в западных губерниях. Никто из тех, кто лично убивал и загонял в Амур, не был наказан. Китайцы довольно быстро вернулись в Благовещенск, общероссийского резонанса «Утопия» не получила; в СССР вовсе забылась. Но в Китае ее хорошо помнят…

Книга буквально приковывает внимание, и причина не только в самом событии, но и в безупречной ее композиции, представляющей собой естественную смену мизансцен. Они развертываются перед читателем от одной начальной буквы *р* к другой: *р*ассказ о пространственно-временном контексте события → *р*еконструкция события → *р*асследование властей → *р*ефлексия местного сообщества → *р*еакция образованного российского общества тогда → *р*еакция сетевого сообщества теперь → *р*езультаты рефлексии, включая авторскую. Месту события и китайцев в нем отведена одна глава, событию – тоже одна, а вот его оценке различными субъектами, на разном уровне и в разное время – пять. Очевиден акцент на *истолковании* происшедшего, он представляется абсолютно верным. Блестящая находка авторов – переход от *монологического* описания к *диалогу* авторов с читателями и авторов и читателей *со своим временем через призму прошлого*. Этому двойному диалогу отдана шестая глава, где анализируется дискуссия в социальных сетях по поводу той давней статьи Виктора Дятлова об «Утопии»[3], с которой начался путь к книге. Глава эта так интересна, что просто не допускает пересказа – ее надо прочитать и перечитать!

Читательское внимание *удваивается* благодаря языку, которым написана книга, хотя, по мнению многих, научные книги *не должны* так писаться. Стиль, облегчающий понимание, – это якобы только для научно-популярной литературы, удел научной книги – т.н. академический стиль, «сторонящийся яркости и броскости изложения, демонстрации личностного самовыражения» [7]. Я же убежден: настаивают на этом «стиле» те, кто не способен использовать для выражения своей мысли всё богатство русского языка. Какие бы научные или научно-популярные том*ы* ни сооружали *такие* пуристы стиля, их *oevres* получаются *неудобочитаемыми* и для широкого читателя, и для узкого специалиста. Верно, однако, и обратное: если ученый «ясно мыслит и ясно излагает», его текст может обрести столь широкий круг читателей, что его впору будет числить по разряду научно-популярных. С разбираемой книгой так и получилось: это книга и легко читаемая, и *образцовая* научная, и оценивать ее я буду именно как *научную*. Но прежде остановлюсь на единственном в ней признаке жанра научно-популярного.

Производя тексты, мы накладываем на них отпечаток разделяемой нами идеологии /смежных ей особенностей мировидения. В научно-по-

[3] Дятлов 2002.

пулярном тексте профессионал в какой-то области, передает, в облегченном виде, свое знание людям, которым эта область не близка, и *должен* дать понять, с каких позиций он доносит до читателя предлагаемую им информацию. Позиционирование себя в пространстве идей обязательно и в научном тексте. Но в нем такое «самоопределение» автора не должно совершаться в ущерб соблюдению двух старых добрых «позитивистских» правил: не отступать при выстраивании доказательств от формальной логики и не следовать подсказке своих мировоззренческих предпочтений. До конца это никому не удается; но на то и рецензенты, чтобы показать, *где* не удалось. К счастью, неудач того и другого рода в книге немного; я остановлюсь лишь на двух, наиболее значимых. И одна из них – яркий пример паралогизма *ignoratio elenchi*.

Когда в первой главе авторы обрисовывают контекст «утопии», они включают в него и синдром «желтой опасности». Логика «включения» такова. Первый ход: соседство русского Дальнего Востока с Китаем + зависимость региональной экономики от китайских мигрантов = критически важная проблема для края и Империи в целом. Второй: российское общество – от государственных деятелей до просвещенных обывателей – смотрело на «критически важную проблему» сквозь призму синдрома «желтой опасности». То есть верило во врожденную противоположность «желтых» «белым», в проистекающую отсюда враждебность двух рас и их грядущую схватку. Четвертый: синтез «синдрома» с господствовавшим в историческом и обыденном сознании концептом «татаро-монгольского ига» породил «грозную метафору “панмонголизма” – грядущего нового монгольского нашествия» [14].

Утверждение об усилении «игом» «синдрома» и о страшном дитяти, произведенном на свет Божий их синтезом, впечатляет. Но действительно ли оно необходимо для объяснения причин «Утопии»? Или оно появилось вследствие паралогизма, неосознанно допущенного авторами и заключающегося в наделении одного субъекта знаковой характеристикой другого? Я склонен ответить «нет» на первый и «да» на второй вопрос. Нам сначала показали содержание представлений об «иге», «синдроме» и «панмонголизме»; далее убедили в возможности влияния этих представлений на культурную и политическую элиту; затем *предположили*, что «желтая опасность» стала реальностью для благовещенцев [45]. Но вот что конвойные и казаки так же были поражены синдромом «желтой опасности» и страхом перед новым Чингисханом, как и завсегдатаи столичных салонов и потому на деле имелась связь между грозными пророчествами о грядущей войне рас и утоплением китайцев, нам *не доказали*. Впрочем, если даже казаки и конвойные читали эти пророчества или что-то слышали о них, сомнительно, что рубили и топили они, вдохновляясь интеллигентскими страшилками. Не до того было – им надо было решить конкретную задачу: быстро и *без риска для себя* избавиться от китайцев. Благо те были «чужими»; а в сознании решав-

ших эту задачу, как хорошо показано в книге, этические нормы, принятые между «своими», на «чужих» не распространялись. Резюме: авторы убедительно обрисовали идейный контекст действий *начальства*. Но и в российской истории не всё решалось «наверху». В книге приводится пара примеров того, *как* «русское простонародье» относилось к китайцам – как к нелюди [21–22]. Но их для понимания действий непосредственных виновников недостаточно. Надо было применить к «низам» так хорошо удавшийся авторам с «верхами» метод контекстуального анализа; однако это не было сделано.

Второе мое несогласие с авторами касается их квалификации исследуемого события[4]. Она есть уже в заголовке: самым крупным кеглем на титульном листе набраны слова «Китайский погром». Обусловлено это не только расчетом на привлечение внимания к книге, не меньшую роль сыграли мировоззренческие предпочтения. Под их влиянием авторы посчитали «утопию» сродни еврейским погромам, например, случившимся в Кишинёве и Одессе в начале XX в.[5], в польских Едбавне и Кельце – ближе к его середине[6].

Авторы справедливо исключают возможность применения к событию в Благовещенске определений «этническая чистка» и «геноцид» [178–184]. Остаются: 1) совпадение случайностей; 2) военное преступление; 3) погром. Авторы выбирают погром, хотя и признают, что это ненаучная категория. Действительно, определения погрома на русском языке нет ни в Социологическом и Политологическом словаре, ни в Советской исторической энциклопедии. Там же, где оно есть, без изменений воспроизводится значение, которым Большой академический словарь русского языка наделил «погром» еще в 1960 г.: «реакционно-шовинистическое выступление, сопровождающееся массовыми убийствами, грабежом и разорением имущества»[7].

В словарях английского языка названы и социальный субъект погрома, и его наиболее вероятные жертвы[8]: «a mob attack approved or condoned by authority, frequently against religious, racial, or national minorities – most often against Jews. Однако к «Утопии» и это определение подходит не полностью. Да, в Благовещенске имелось меньшинство, сразу и религиозное, и национальное, и расовое. Но не было *толпы*. Во время упомянутых выше погромов на евреев нападала толпа, численно их превосходившая. А что мы видим во время расправы с первой партией китайцев? Вместо бушующего скопища насильников – организованно составленный *конвой* из людей, чье поведение должно было подчиняться воинской команде, пусть даже подавляющее большинство составляли

[4] Слово «квалификация» дается здесь в значении «характеристика предмета, явления, отнесение его к какой-либо категории, группе». – Современная энциклопедия 2020.
[5] Написано о них много, см., напр.: Кишинёвский погром 2017; Хамфри 2012.
[6] См.: Гросс 2002; Engel 1998.
[7] Словарь 1960: 201. Ср.: Ожегов, Шведова 2003: 531
[8] A Dictionary 2003: POGROM

«новобранцы» [69]; вместо пространственно рассеянной совокупности жертв – воедино собранную и направляемую *колонну*. Соотношение предполагаемых погромщиков и их жертв вообще перевернуто: на 1,3–4 тыс. китайцев – всего 85 конвойных. Присоединившихся к ним у переправы казаков могло быть максимум сотни четыре[9], так что китайцы значительно превосходили числом своих убийц. Но скованные страхом, обезволенные привычкой слушаться начальства и надеждой, что, буде они поведут себя «хорошо», их действительно переправят в Китай, они своим преимуществом и не попытались воспользоваться. Даже нападения на них в строгом смысле слова не было – только механическое избиение отстающего меньшинства и принуждение большинства войти в воду. Не было и слепой ярости, когда «жида» крушили ломом или молотком пока он не превращался в месиво[10]. Всё это плохо напоминает погром. Зато ассоциации с Бабьим Яром всплывают сами собой: 1) организованный сбор; 2) спокойная, как ни кощунственно это звучит, процедура ликвидации; 3) никаких стихийных зверств. И над Яром тоже витала надежда на депортацию, чуть ли не в Палестину[11]… Вместе с тем, напоминая по форме акт геноцида, «Утопия» им все-таки не была.

Видимо, ощущая недостаточную обоснованность выбора погрома, авторы прибегают к доводу: о терминах не спорят, о них договариваются [189–190]. С этим можно было бы согласиться при условии, что предметами договоренностей стали *все* варианты квалификации; но авторы даже не взглянули в сторону военного преступления и, едва упомянув, сразу отмели в сторону совокупность случайностей [178], ограничились рассмотрением всего трех «номинантов» и выбрали самого расплывчатого. Знаменательно, однако, что и он, и два отвергнутых едины в том смысле, что обязательной предпосылкой действия, обозначаемого каждым из них, является резко негативное отношение большинства к меньшинству. В военном же преступлении и в цепи случайностей такое отношение может быть, а может и не быть.

Сейчас отношение к меньшинствам стало главным критерием для оценки любого события с их участием, притом оценки, не допускающей оговорок, способных бросить тень на поведение самих меньшинств. Как следствие, отношение к ним тех, чьи действия подлежат оценке, из критерия *ad hoc* превратилось в критерий универсальный, постоянный, неоспоримый, т.е. ценностный. Им создается когнитивная ситуация, в которой меньшинство автоматически переводится наблюдателем в страдательный залог. При этом применяются два способа. При первом способе меньшинство – жертва *sui generis*; при втором оно ставится в положение

[9] В 1897 г. в Верхне-Благовещенском насчитывалось 519 жителей (Населенные места 1905: LXXII, 57), значит, помощников конвоя из казаков могло набраться не более 400 человек – и то при условии, что присоединились бы все дееспособные взрослые и дети старше 10 лет.

[10] Добровски 2000.

[11] Черная книга 2015: 35. Ср.: Томас 2014: 262.

жертвы посредством *квалификации события*, в ходе которого оно пострадало. В книге применен второй способ: «Утопия» отождествлена с феноменом погрома. Однако отождествление это, как я старался показать выше, *предопределено* разделяемой авторами ценностью – одним из фильтров их мировосприятия. Чем это чревато, хорошо сказали они сами (с. 175): «Недвусмысленная оценка в названии (например, “погром”) навязывает одну, заранее сложившуюся трактовку, ограничивает исследовательские возможности, сужает исследовательскую оптику».

***

Если читатель ждет квалификации исследованного в книге события мною, то напрасно. Место ей все-таки не в рецензии, а в специальной статье. И мне совершенно не хочется закончить рецензию на критической ноте. Несмотря на высказанные претензии к книге, если бы меня попросили дать ей образное определение, я назвал бы ее «подарок для читателя». Причем в ряду аргументов в пользу такого определения особо выделил бы такой: пока представление об автономной ценности человеческой жизни не является общепризнанным в мире и в России, *ценностная* квалификация исторического действия не просто неизбежна, но и необходима. Авторы книги всем ее содержанием убеждают: «утопия» была преступлением, подлежащим безоговорочному осуждению. И всё же… Осуждение действия *требует* его объяснения, без которого будет неполным, неточным, ошибочным наше знание и об общностях и обществе, которым принадлежали люди – субъекты осуждаемого действия, и о его стимуле и ограничителе – пространственно-временном контексте. А наилучшим образом задача обрести большую, чем прежде, полноту знания решается в научном тексте тогда, когда пафос осуждения не сужает, пользуясь словами авторов, исследовательскую оптику.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Благовещенская «утопия». [Blagoveshhenskaya «utopiya»]. URL: https://www.sites.google.com/site/hrolvganger/home/blagovesenskaa-utopia---svesti-kitajcev-v-amur

Гросс Я.Т. Соседи. История уничтожения еврейского местечка. М.: Текст, 2002. 160 с. [Gross YA.T. Sosedi. Istoriya unichtozheniya evrejskogo mestechka. M.: Tekst, 2002. 160 s.]

Дятлов В. Благовещенская «Утопия»: из истории материализации фобий // Вестник Евразии. 2002. № 4 (19). С. 84–103. Dyatlov V. Blagoveshhenskaya «Utopiya»: iz istorii materializatsii fobij // Vestnik Evrazii. 2002. № 4 (19). S. 84–103.

Добровский Е. Размышления о еврейском погроме 1946 года в Кельце // Лехаим, май 2000. Dobrovskij E. Razmyshleniya o evrejskom pogrome 1946 goda a Kel'tse // Lekhaim, maj 2000. URL: https://lechaim.ru/ARHIV/97/dabro.htm

Дятлов В., Гузий Я., Сорокина С. Китайский погром. Благовещенская «Утопия» 1900 года в оценке современников и потомков. СПб.: Нестор–История, 2020. 208 с. Dyatlov V., Guzij YA., Sorokina S. Kitajskij pogrom. Blagoveshhenskaya «Utopiya» 1900 goda v otsenke sovre-mennikov i potomkov. SPb.: Nestor–Istoriya, 2020. 208 s.

Кишинёвский погром 1903 года. Другое лицо Холокоста: библиография. Chișinău: [б.и.], 2017. 25 с. Kishinyovskij pogrom 1903 goda. Drugoe litso Kholokosta: bibliografiya. Shișinău: [b.i.], 2017. 25 s.

Населенные места Российской империи в 500 и более жителей… по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года / Под ред. Н.А. Тройницкого. СПб.: Тип.

«Общественная польза», 1905. [Б.п.] Naselennye mesta Rossijskoj imperii v 500 i bolee zhitelej… po dannym Pervoj vseobshhej perepisi naseleniya 1897 goda / Pod red. N.A. Trojnitskogo. SPb.: Tip. «Obshhestvennaya pol'za», 1905. [B.p.]

Ожегов С.Н., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М.: ИТИ технологии, 2003. 944 с. Ozhegov S.N., Shvedova N.YU. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka. 4-e izd., dop. M.: ITI tekhnologii, 2003. 944 s.

Словарь современного русского языка. Т. X. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 1774 стб. Slovar' sovremennogo russkogo yazyka. T. X. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1960. 1774 stb.

Современная энциклопедия: КВАЛИФИКАЦИЯ [Sovremennaya ehntsiklopediya: KVALIFIKATSIYA. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/22118]

Томас Д.М. Белый отель. СПб.: Азбука, 2014. 320 с. [Tomas D.M. Belyj otel'. SPb.: Azbuka, 2014. 320 s.]

Хамфри К. Одесса: погромы в городе-космополите // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 214–247. Humphry K. Odessa: pogromy v gorode-kosmopolite // Antropologicheskij forum. 2010. № 12. S. 214–247.

Черная книга / Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. М.: АСТ; CORPUS, 2015. 768 с. Chernaya kniga / Pod red. V.Grossmana, I. Erenburga. M.: AST; CORPUS, 2015. 768 s.

A Dictionary of World History. Oxford: Oxford University Press, 2003. URL: https://www.pdfdrive.com/oxford-dictionary-of-world-history-e193137302.html

Engel D. Patterns of Anti-Jewish Violence in Poland, 1944–1946. Jerusalem: Shoah Resource Center, The International School for Holocaust Studies, 1998. 39 p.

Панарин Сергей Алексеевич, *кандидат исторических наук, зав. Центром исследования общих проблем современного Востока, Институт востоковедения РАН; sergpanar@mail.ru*

Blagoveshchensk' "Utopia": a Crime without Statute of Limitations

A book written by Viktor Dyatlov, Yana Guzei and Tatyana Sorokina focuses upon just one event that took place in 1900 when Chinese boxer rebels had begun shelling of the Russian city Blagoveshchensk. Then, almost all the Chinese who have been living and working in the city – instead of being repatriated onto the other side of Amur – were drowned by the Russian recruit convoy and Cossacks in the river. The book deserves high appraisal for its stylistics, composition, and the emphasis upon dialogical interpretation of what were perceptions of the event by its contemporary viewers and network community members nowadays. Such appreciation is not undermined by the authors' use of paralogism in the course of argumentation, or by their questionable qualification of the event as a pogrom.

Keywords*:* the city of Blagoveshchensk, migrants, event, dialogue, paralogism

Sergei A. Panarin*, Candidate in History, Head of the Department for the Study of Common Problems of the Contemporary East, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences; sergpanar@mail.ru*

Т.А. Булыгина

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ОГОНЬКА» ДРУГИЕ ВРЕМЕНА, ДРУГИЕ ЗАДАЧИ…

В рецензии анализируется монография: А.В. Танцевова. «Записная книжка» Страны Советов: страницы истории журнала «Огонек» в 1920-е годы. М., СПб., 2020.
Ключевые слова: *журнал «Огонёк», советская власть, массовое сознание*

Интеллектуальная жизнь молодой советской республики как объект исторического исследования чаще всего рассматривалась в контексте истории художественной культуры, образовательной или научной жизни того времени. Автор обозреваемой книги поставила цель восстановить одну из форм интеллектуальных коммуникаций в новой социокультурной и политической реальности и одновременно реконструировать один из инструментов формирования новой модели массового сознания. Новая власть для пропаганды нового уклада жизни, системы ценностей, новой картины мира использовала иллюстрированные журналы универсального содержания, среди которых был и «Огонек». [2; 5].

Журнальные сюжеты были интересны и понятны человеку массы с разным социальным, материальным, образовательным, профессиональным статусом, создавая привлекательный образ нового общества как для сторонников нового строя, так и для сомневавшихся. Советская периодика тех лет была не только средством пропаганды и агитации, но и элементом легитимизации большевистской власти. Наряду с этим через письма читателей власть получала сигналы обратной связи [2; 7].

А.В. Танцевова удачно вписала историю конкретного издания не только в контекст становления советской власти, но и в историю формирования системы управления на новых принципах, расширив понимание контекста интеллектуального пространства советского общества того периода. В книге показана эволюция государственно-партийного контроля над печатью от деклараций о классовом характере советской печати и к выработке системы мер по практическому осуществлению властного контроля над выходом газет и журналов, к оформлению цензуры и диктату партийных органов в работе сотрудников прессы. Характерным для культурной политики власти стало стремление к централизации управления всеми формами интеллектуальной жизни, включая и периодическую печать, что аргументировано в первой главе анализом разнообразных источников. В связи с этим освещены функции Наркомпроса и Агитпропа [2; 30, 33]. Интерес представляет история хозяйственного становления журнала в контексте перехода от методов гражданской войны к инструментам новой экономической политики [2; 37]. Автор объясняет крах множества небольших издательств не столько конкуренцией, сколько политической цензурой [2; 45]. А.В. Танцевова показала не только возможности перевода издательств на систему хоз-

расчета для свободы печати, но и сложности этого процесса. Механизм хозрасчета в отношении периодики в 1922 г. уже фактически не действовал, так как создавался режим особого благоприятствования и субсидирования для партийно-государственного официоза.

Интересны заметки о создателе издания М. Кольцове и его соратниках по организации журнала, об авторах журнала. Анализ текстов главного редактора об «Огоньке» расширяют представления о горизонте ожидания команды М. Кольцова и трудностях становления нового издания, об острых проблемах советской периодики [2; 76 - 85].

В работе акцентируется мысль о том, что и структура управления периодикой, и особенности формирования советской периодики и даже хозяйственная сторона процесса уже в 1920-е гг. не были подчинены ни задаче расширения информационного поля граждан, ни даже экономическому прагматизму. Главным целеполаганием советской печати в этот период и, в частности деятельности журнала «Огонек», стала переделка массового сознания агитационно-пропагандистскими средствами.

Особый интерес представляет проблема формирования новых ценностей и особенностей их советской пропаганды в 1920-е гг., попытка показать механизм использования разных журнальных жанров для воздействия на ментальные установки населения. Вдумчивое исследование содержания «Огонька» позволило говорить о многообразии форм подачи информации как в текстах, так и визуально, и раскрыть разнообразные способы воздействия этих форм на процесс внедрения положительного образа советской власти и советского общества в массовое сознание социума [2; 62–64] Особенно подробно описаны фотографические жанры «Огонька», которые фиксировали событие или лицо таким образом, чтобы воздействовать на эмоциональный и психический мир читателя. Именно этому служили также стихи и частушки. Судя по анализу текстов «Огонька», психоэмоциональное влияние было орудием идеологической обработки самых широких слоев советского общества. Особое внимание автор уделяет визуальному воздействию «Огонька» на сознание людей. Это связано не только с большим эффектом такого влияния, но и с малограмотностью той части общества, из которой надо было «выковать» нового человека.

В интересном сюжете о конструировании образа советской власти автор описывает элементы, с помощью которых создается положительный портрет власти. Это, как нам представляется, сочетание визуального и официального нарратива с привлекательной картиной советской повседневности, построенной также на визуальном и текстовом материале. Такое сочетание позволяло внедрить в массовое сознание совмещение усилий власти с положительными переменами в жизни народа. Так складывался советский миф, о котором автор упоминает, но который еще предстоит более подробно проанализировать [2; 101].

А.В. Танцевова довольно много внимания уделила деятельности «Огонька» в контексте новой экономической политики. Одной из орга-

низационно-правовых форм хозяйственной жизни того времени стали акционерные общества, характерные для российской экономики до революции. Однако теперь деятельность таких обществ регламентировалась государством. Таким акционерным издательским обществом и стал журнал «Огонек». С одной стороны, это было средством укрепления материальной базы издания [2; 135]. С другой стороны, это общество имело ряд существенных отличий. В частности, не вкладывалось в реализацию основного капитала средств пайщиков, а вопрос решался через рекламодателей [2; 137]. Автор рассматривает основные направления работы Акционерного общества «Огонек». Наряду с общими идеологическими задачами и борьбой за читателя одной из насущных проблем стала рентабельность издания [2; 145]. Исследовательница показала, какое место занимал журнал в акционерном обществе.

Книга богата постановочными проблемами, ждущими своего изучения. Например, интерес представляет сюжет о сотрудничестве издания с советскими и зарубежными литераторами, среди них – И. Бабель и А. Толстой, Г. Уэллс и Т. Манн, К. Гамсун и Р. Тагор [2; 152, 153]. Это упоминание может быть развернуто в рассказ о намерениях издателей и о влиянии этого обстоятельства на содержание журнала и сознание его читателей. Представляется перспективным комплексное изучение места всех описанных в книге форм работы общества в формирующемся советском интеллектуальном пространстве.

Автор отмечает, что в 1920-е гг. зарождается военная тематика, развитая в 1930-е гг., т.е. в массовое сознание внедрялся образ СССР как осажденной крепости. Любое осложнение международной обстановки на страницах советской прессы трактовалось именно в таком контексте. Обращает на себя внимание и милитаристская лексика в описании мирных событий. Так «Огонек» закладывал советские лексические шаблоны вроде «трудового фронта», «борьбы за урожай», «побед на бытовом фронте» и проч. [2; 106-107]. Исследовательница вскрыла, что по мере стабилизации жизни в стране к концу 1920-х гг. в журнале разрастается тематика повседневности, в которой важное место занимали такие направления, как борьба с религией, семейные отношения, положение женщины, коммунистический труд, новые праздники и организация досуга советского человека [2; 109]. Более того, сам журнал становится частью новой повседневности. «Огонек» помещал на своих страницах беллетристику и издавал дешевое литературное приложение, сохранившиеся на протяжении всего советского периода – «Библиотека «Огонька»», юмористические публикации. Издание первым в стране начало публиковать интеллектуальную викторину. Автор книги подробно и интересно рассматривает этот жанр и его предназначение [2; 122–123].

В работе есть ряд спорных, дискуссионных положений, которые свидетельствуют об открытости проблемы дальнейшей разработке отельных вопросов. Не могу согласиться с толкованием периодики как

«сундуке» с помещенными туда источниками. Эта позиция, высказанная В. Рынковым [1], не учитывает социальной природы периодики как самостоятельного вида источника. Таковым периодика является, если источник рассматривать как целенаправленный продукт человеческой деятельности в рамках конкретного общества конкретного времени, а также как фрагмент культурного комплекса этого периода, так как у периодической печати были самостоятельные социальные функции.

А.В. Танцевова широко использует в контексте своей проблемы термин «общественное сознание». Нам представляется, что феномен общественного сознания шире такого понятия как массовое сознание, которое является разновидностью общественного сознания, и «Огонек» по своему характеру больше был направлен на преобразование массового сознания в советском обществе.

Было бы полезным более детально проанализировать, почему принципиально новый журнал был создан под старым названием, [2; 4, 71] чем привлекло оно советских идеологов. Хотелось бы услышать не только мнение создателей журнала, но и точку зрения автора книги. Представляется, что, во-первых, это название было привычно читателю, знакомому с дореволюционным одноименным изданием. Во-вторых, это слово легко входило в общий революционный дискурс «огонь – пламя – огонек – искра». Исследовательница подводит читателя к вопросу о профессиональной и технологической преемственности этих универсальных еженедельников, но на него не отвечает, хотя и пишет о возрождении издания в советский период. [2; 73] и даже упоминает реплику М. Кольцова: «старорежимный “Огонек”» [2; 76].

В целом книга расширяет историческое знание советской эпохи, помогает понять место советской периодики в преддверии советской модернизации. Становится ясным, что эпоха экономических и социальных преобразований сталинской модернизации началась с преобразований в сознании советского общества.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

Рынков В.М. Периодическая печать: место в системе исторических источников // Отечественные архивы.2010. № 3. С. 44–50.

Танцевова А.В. «Записная книжка» Страны Советов: страницы истории журнала «Огонек» в 1920-е годы. М., СПб.: Петроглиф Центр гуманитарных инициатив, 2020. 198 с.

***Булыгина Тамара Александровна**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, профессор, Гуманитарный институт, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь); bul.tamara2011@yandex.ru*

Revival of the “Ogonyok”: other times, other tasks…

The book review analyzes the monograph «“Notebook” of the Land of the Soviets: pages of the history of the magazine “Ogonyok” in the 1920s» authored by A.V. Tantsevova.

Keywords: “Ogonyok” magazine, Soviet power, mass consciousness

***Tamara A. Bulygina**, Dr. Sc. (History), Professor, Leading Researcher, Chair of Russian History, North-Caucasus Federal University (Stavropol); bul.tamara2011@yandex.ru*

CONTENTS

History and Theory

Zinaida A. Chekantseva
Time and history in the Anthropocene intellectual culture……. 5
Igor Ionov
Correction of the temporal regime and problems of the theory of history. Part 3…….. 20

Intellectual History Today

Olga Zaichenko
"Russian Theme" in the early publications of Ernst Moritz Arndt in the context of
transformations of the European discourse about Russia at the 18th – early 19th cc…….. 37
Andrey B. Sokolov
«In Search of the Russian Soul»
about the features of Russian nationalism in the first half of the 19th century…… 54
Konstantin Rudenko
On the Question of the Cyclicity of Scientific Hypotheses from the 17th to the 21st Century
(on the Example of Ethnogenesis of the Volga Bulgars)…….. 69
Ksenia M.Belik, Natalya V. Grishina
Introductions to the dissertations on Russian history at the turn of the 19th – 20th cc.
as a form of the translation of academic conventions and practices…… 82
Alexander A. Zaitsev
Mediaevalism as a factor of the epoch's socio-political worldview
the N.A. Berdyaev's "new middle ages"……... 98

History and Memory

Igor Morozov, Irina Sleptsova
Memory discourses in museum format contemporary narratives of family history……. 113
Anna Seregina
Historical memory and confessional identity of a Catholic noble
Sir Thomas Arundell and the siege of Esztergom…… 130
Dmitri M. Bondarenko
Representations of Slavery and the Civil War of 1861–1865
in the US North and South: Discrepancy of Historical Discourses…… 143
Alexey Vasilyev
The 'Habsburg Frames' for Polish Memory in the Austro-Hungarian Empire
of the second half of the 19th – the beginning of the 20th cc. …….. 158
Natalia Kriuchkova, Igor Kryuchkov, Galina Rokina
The Habsburg myth in historical memory of Visegrad Europe and its neighbors…….. 174
Evgenii Kamenev
«The Storming of the Winter Palace»
reverse time of the Soviet historiography on the Decembrists in the mid-1950s…… 187

Cultural practices and representations

Alexandra V. Mironova
The festivals of royal ancestors in Ancient Egypt……... 201
Andrey Fedin
"Reflecting in chaste body a small ray of the glory»".
Representations of "native sanctity" in the Jesuit missionary discourse in New France…… 221
Philipp Ulanov
Practices of commemoration of 25th anniversary
of the Patriotic war of 1812 in 1837 and 1839…… 237

Olga Porshneva
First World War in the British "Ritual Policy"
of the second half of 20th - early 21st century: traditions and innovations…….... 253
Tatiana Gavristova, Nadezhda Khokhol'kova
"Postcolonial Library": Afrocentrism, Afropolitanism, and Afropeanism…….. 270

Ideas and Values in the Era of Changes: Russia and Britain in the 17th – 18th cc.

Victor Yu. Apryshchenko
Being «British» in Britain: The Anglo-Scottish Union Debates of 1603–1707…….. 286
Tatiana Kosykh
Samuel Johnson vs David Hume
Confrontation of the «Culture of Spirit» and the «Culture of Reason»……... 303
Dmitry A. Redin
Charm of "Regularity". Once again about the "Mental State" of the Peter the Great.
Part 2. "The Russian imperial state"…… 315
Oleg I. Zhurba, Tatyana F. Litvinova
Hetmanate in the views of the Ukrainian intellectual elite
(second half of the 18th – mid-19th cc.) Part 2. New images of the Fatherland……... 335

History through Personality

Olga Sidorova
Sir Thomas Browne and his Intellectual Heritage…….. 346
Svetlana Tsemenkova
The first cartographers of the Urals mines: Mikhail Silych Kutuzov……. 359
Egor P. Antonov, Venera N. Antonova
'Founding Father' of the National State of Yakutia Platon Oyunsky……. 373

Historical Essays

Vladimir Kvashnin
Hannibal in Croton: «non-Euclidean» space of the ancient narrative…… 385
Sergey E. Fyodorov, Anastasia A. Palamarchuk
Constructing Medieval Territorial Autonomies: Early Modern Reality and Discourses…... 394
Natalia S. Krelenko
Chatterton versus Walpole. On the roots of a romantic myth…… 403

Reading books…

Irina M. Erlihson
Intellectuals and Power…….. 410
Sergei A. Panarin
Blagoveshchensk' "Utopia": a Crime without Statute of Limitations……... 417
Tamara A. Bulygina
Revival of the "Ogonyok": other times, other tasks…….. 424

CONTENTS……..... 428

СОДЕРЖАНИЕ

История и теория

З.А. Чеканцева
Время и история в интеллектуальной культуре Антропоцена……..... 5
И.Н. Ионов
Коррекция темпорального режима и проблемы теории истории. Статья 3…… 20

Интеллектуальная история сегодня

О.В. Заиченко
«Русская тема» в ранней публицистике Эрнста Морица Арндта на фоне
трансформаций европейского дискурса о России на рубеже XVIII–XIX вв…….. 37
А.Б. Соколов
«В поисках русской души»: об особенностях
российского национализма в первой половине XIX в……..... 54
К.А. Руденко
К вопросу о цикличности научных гипотез от XVII до XXI в.
(на примере этногенеза волжских булгар)……..... 69
К.М. Белик, Н.В. Гришина
Предисловия к диссертациям по русской истории второй половины
XIX – начала XX в. как форма трансляции академических конвенций и практик……... 82
А.А. Зайцев
Медиевализм как фактор социально-политического
мировоззрения эпохи: «новое средневековье» Н.А. Бердяева……..... 98

История и память

И.А. Морозов, И.С. Слепцова
Дискурсы памяти в музейном формате: современные нарративы семейной истории….. 113
А.Ю. Серегина
Историческая память и конфессиональная идентичность аристократа-католика
сэр Томас Эренделл и осада Эстергома……..…….. 130
Д.М. Бондаренко
Репрезентации рабства и гражданской войны 1861–1865 гг. на Севере и Юге США
расхождение исторических дискурсов…….. 143
А.Г. Васильев
«Габсбургские рамки» польской памяти в Австро-Венгерской империи
второй половины XIX – начала XX в……..... 158
Н.Д. Крючкова, И.В. Крючков, Г.В. Рокина
Габсбургский миф в исторической памяти Вишеградской Европы и ее соседей……..... 174
Е.В. Каменев
«Захват Зимнего дворца»: обратное время
советской историографии декабризма середины 1950-х гг……..... 187

Культурные практики и репрезентации

А.В. Миронова
Праздники в честь царских предков в Древнем Египте…….....…….. 201
А.В. Федин
Представления о «туземной святости» в иезуитском миссионерском дискурсе
в Новой Франции XVII – первой половины XVIII в……... 221
Ф.И. Уланов
Коммеморативные практики 25-летнего юбилея
Отечественной войны в 1837 и 1839 гг……...……..... 237

О.С. Поршнева
Первая мировая война в «ритуальной политике» Великобритании
второй половины XX – начала XXI века: традиции и новации…… 253
Т.М. Гавристова, Н.Е. Хохолькова
«Постколониальная библиотека»: афроцентризм, афрополитизм, афропейство……. 270

Идеи и ценности в Эпоху перемен: Россия и Британия в XVII–XVIII вв.

В.Ю. Апрыщенко
Быть «британцем» в Британии: дебаты об англо-шотландской унии 1603–1707 гг…... 286
Т.А. Косых
Сэмюэл Джонсон vs Дэвид Юм
Противостояние «культуры духа» и «культуры разума»……... 303
Д.А. Редин
Очарование «регулярства»: еще раз
о “ментальном государстве” Петра Великого. Часть 2…….. 315
О.И. Журба, Т.Ф. Литвинова
Гетманщина в представлениях украинской интеллектуальной элиты
второй половины XVIII–XIX в. Часть 2……..... 335

История через личность

О.Г. Сидорова
Сэр Томас Браун и его интеллектуальное наследие…… 346
С.И. Цеменкова
Первые картографы горнозаводского Урала: Михаил Силыч Кутузов……..... 359
Е.П. Антонов, В.Н. Антонова
«Отец-основатель» национальной государственности Якутии Платон Ойунский…..... 373

Исторические этюды

В.А. Квашнин
Ганнибал в Кротоне: «неэвклидово» пространство античного нарратива…… 385
А.А. Паламарчук, С.Е. Федоров
Конструируя средневековые территориальные автономии
Реальность и дискурсы раннего Нового времени…… 394
Н.С. Креленко
Чаттертон vs Уолпол (об истоках одного романтического мифа)……..... 403

Читая книги…

И.М. Эрлихсон
Интеллектуалы и власть……..... 410
С.А. Панарин
Благовещенская «утопия»: преступление без срока давности……..... 417
Т.А. Булыгина
Возрождение «Огонька»: другие времена, другие задачи……..... 424

CONTENTS……..... 428